ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№ 4 2011

Виктор Астафьев
Печальный монолог

Сергей Есин
Страницы дневника

Александр Астраханцев
Ты, тобою, о тебе

Елена Крюкова
Меч Гэсэра

Встреча. Легенды Сибири | **холст, масло**

Источник | **холст, масло**

«Живопись и графика *Владимира Фуфачёва*—неординарная попытка внедрения семантического начала в интерпретацию культурно очерченного и жёстко-очевидного видеоряда. Технология подобного соединения, синтеза с виду абсолютно проста: берётся *знак* (иероглиф, символ, буквица, петроглиф, векторный рисунок, клинопись, шифр) и раздвигается до размеров живой, движущейся *фигуры*, претендующей на автономную жизнь на плоскости… Предельно ясная позиция, у которой в искусстве большое будущее: создание креативного, богатого и сложного образа на основе простого знака-молекулы, «элементарной частицы» видимого Космоса—видеоархетипа. Корни этих изобразительных разработок—в колодцах времени… Чем глубже погружаешься в мир его уникальных образов, тем яснее осознаёшь, что время совершило свой трагический и великий круг, и в современной культуре наступает *востребованность мифа*—на уровне почти компьютерной сжатости трёх пластов культурного мироздания: пластики, философии и технологии. Нелишне заметить, что нынешний миропорядок в представлении мыслителей раскололся надвое: одни утверждают, что наступил век ультраТехно, век торжества голой технократии, роботообразных людей, обученных молиться не Богу, а машине; другие, напротив, провидят приход нового толкования старых религиозных, образных и семантических констант, новое открытие старого Космоса. Трудно сказать, кто доподлинно прав. Художник—вот та суровая нить, что крепко сшивает не только времена, но и антагонистов внутри времён».

Елена Крюкова

ДЕНЬ и НОЧЬ
литературный журнал для семейного чтения
№ 4 (84) | июль–август | 2011

«Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть».
Е. А. Баратынский

В номере

ДиН память
Виктор Астафьев
3 **Печальный монолог**

Страницы Международного сообщества писательских союзов

Тойво Ряннель
7 **Вспоминая ледоход**
Виктор Шоно
9 **Васильковые глаза**
Василий Ширко
13 **Второе дыхание**
Ольга Кузьмичёва-Дробышевская
24 **Поющий пилигрим**
Владимир Гундарев
26 **Тронуть трепетные струны…**
Ольга Григорьева
29 **«Душа моя, озябшая синица…»**
Геннадий Ударцев
31 **На земле святой и грешной**
Галина Вишнякова
33 **Почему я выбрала папу**
Шакир а-Мил
43 **Герой аула Ак-таш**

Клуб читателей

8 **Программист и бабочка**
Алёна Бондарева
12 **Квантунский роман**
Кирилл Ковальджи
23 **Открытый всем ветрам**
Евгений Минин
224 **От жажды умирая…**
Борис Кутенков
225 **Как сварено стекло и другие вопросы**

ДиН антология
Михаил Лозинский
42 **Скрижали огневые**
Владимир Луговской
75 **Спасибо—кто дарит**
Дмитрий Мережковский
200 **О вечной Розе…**

ДиН публицистика
Сергей Есин
50 **Страницы дневника**

ДиН стихи
Илья Иослович
28 **Марш-бостон**
Ольга Гуляева
89 **Бабья песня**
Сергей Шабалин
107 **Жёлтое на чёрном**
Анатолий Третьяков
149 **Ночные страхи**
Александр Цыганков
151 **Лирический фантом**
Феликс Чечик
153 **На осеннем ветру**
Николай Ерёмин
155 **Живая мишень**
Ян Бруштейн
157 **Там, где душа…**
Владимир Данилкин
169 **Калужская электричка**
Андрей Коровин
201 **Мой ледосплав**
Сергей Главацкий
203 **Белый шумер**
Александр Пылькин
205 **Промеры человеческого**
Александр Корамыслов
220 **Мои гулливеры**

ДиН юбилей
Александр Лейфер
76 **«Мы вернёмся назад!..»**
Вильям Озолин
78 **Ветром и солью**
Сергей Кузнечихин
80 **Из рассказов Петухова Алексея Лукича**

ДиН мемуары
Галина Эдельман
90 **Стёклышки**
Наталия Слюсарева
164 **На открытом сердце**

ДиН роман
Александр Астраханцев
108 **Ты, тобою, о тебе**

ДиН диалог
Юрий Беликов, Леонид Бородин
159 **Если не придёт дерзкий…**

ДиН проза
Елена Крюкова
170 **Меч Гэсэра**

Библиотека современного рассказа

Игорь Герман
206 **Пограничное состояние**
Тамара Гончарова
212 **Везучая Марьяна**
Андрей Белозёров
218 **Уроки гадания**

ДиН цитата
Елизавета Зорина
211 **Искусство быть искусственным?**

ДиН мегалит
Наталия Черных
221 **О поэзии**

В гостях у «Жёлтой гусеницы»

Римма Алдонина
232 **Собаки ходят босиком**
Дина Бурачевская
233 **Игрушечное**
Игорь Лагерев
234 **Домовой и компания**
Татьяна Сапрыкина
235 **Укрдыч и последняя капля**
Олег Бундур
236 **Не верится**
Сергей Силин
237 **Самая любимая**
Ая эН
239 **Как один мальчик придумывал**

ДиН полемика
240 **«Не верьте, юноши, не ста́реет она!»**

246 **Авторы**

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

по прозе

Эдуард Русаков
Александр Астраханцев

по поэзии

Александр Щербаков
Сергей Кузнечихин

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Михаил Стрельцов

СЕКРЕТАРЬ

Наталья Слинкова

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков
Набережные Челны

Юрий Беликов
Пермь

Светлана Василенко
Москва

Валентин Курбатов
Псков

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Александр Лейфер
Омск

Марина Москалюк
Красноярск

Дмитрий Мурзин
Кемерово

Марина Переяслова
Москва

Евгений Попов
Москва

Лев Роднов
Ижевск

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Евгений Степанов
Москва

Михаил Тарковский
Бахта

Владимир Токмаков
Барнаул

Илья Фоняков
Санкт-Петербург

Вероника Шелленберг
Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

О. А. Карлова
Заместитель председателя правительства Красноярского края

А. М. Клешко
Заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края

П. И. Пимашков
Глава города Красноярска

Г. Л. Рукша
Министр культуры Красноярского края

Т. Л. Савельева
Директор Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края

В оформлении обложки использована картина Владимира Фуфачёва «Тепсей».

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при поддержке Агенства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Редакция благодарит за сотрудничество Международное сообщество писательских союзов.

Рукописи принимаются по адресу: 66 00 28, Красноярск, а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь»

или по электронной почте: kras_spr@mail.ru.

Желательны диск с набором, фотография, краткие биографические сведения.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН
246 304 27 49

Расчётный счёт
407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале «Банка Москвы» в г. Красноярске.

БИК
040 407 967

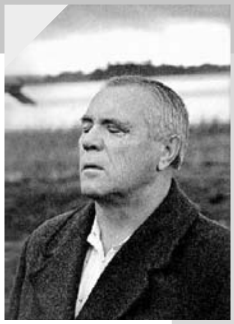
Корреспондентский счёт
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75[а],
офис «День и ночь»
Телефон редакции:
(391) 2 43 06 38

Подписано к печати:	15.08.2011
Тираж:	1500 экз.
Номер заказа:	10143

Отпечатано в типографии ООО «Издательство ВВВ».

ул. Пограничников, д. 28, стр. 1.



Виктор Астафьев

Печальный монолог

Предисловие Владимира Любицкого

Как всё-таки несправедливо устроена эта самая наша небесконечная жизнь. Сколько бесполезных, никому не нужных людей живёт на свете, недоумков, хамов, убийц, воров, дармоедов, рвачей, а хорошего человека вот нашла смерть, измучила болезнью, иссушила в нём соки, истерзала страданием и убила. Неужто это по-божески?—святой должен страдать за грешных, и грешные, видя муки святого, должны терзаться и обретать его облик? Но что-то много страдают мученики и мало действуют их страдания на человеческий мусор. Он чем был, тем и остался…

Виктор Астафьев. «Зрячий посох»

Жизнь писателя—всегда монолог. Пишет ли он книгу, просто ли думу думает в укромном, насиженном своём углу или отводит душу со встреченным по жизни человеком—всё равно ежечасно он ведёт свой сокровенный монолог, обращённый к современникам, а может, если так рассудит время,—то и к потомкам.

Конечно, бывали в прежние годы встречи писателей с читателями (в библиотеках или домах культуры), случались Дни и даже Декады литературы на заводах и ударных стройках, организуемые заботливыми партийными комитетами для «смычки» писателей с жизнью. Проходят и нынче всяческие «творческие вечера» в киноконцертных залах. Публикуются интервью—более или менее схожие со стриптизом. Но всё это—как теперь, так и тогда—не что иное, как шоу. Представление. Зрелище для праздных или непраздных. Но уж никак не наш с писателем диалог.

Минуло скоро уж десять лет, как завершился жизненный монолог Виктора Петровича Астафьева—мудрого русского человека, жизнелюба по Божьему промыслу (иначе не быть бы ему писателем) и страдальца—по судьбе и по сердечному призванию. Проставлены точки в написанных и не написанных им книгах. Умолк хрипловатый голос, звучавший в непритязательной квартире посреди красноярского Академгородка или в небольшом домике, что в Овсянке, на берегу Енисея. Но я включаю диктофон—и снова слышу этот голос, словно прорывающийся сквозь немоту, торопящийся досказать что-то недоговорённое…

На кассете дата—19 мая 1987 года. В ту пору, будучи корреспондентом «Правды», я с коллегой приехал в Красноярск с редакционным заданием организовать «разговор за круглым столом» учёных, хозяйственников и прочих заинтересованных лиц о судьбах Сибири. Время было перестроечное, людям искренне хотелось произнести «дозволенные речи» о наболевшем—так что мы надеялись завлечь такой же возможностью и знаменитого писателя. Однако жена его, Мария Семёновна, бдительно оберегала творческий покой мужа от подобной суеты: все наши усилия пробиться к Виктору Петровичу пропали втуне. Да и недомогал он в те дни, как потом выяснилось. Но… почитая журналистский напор своей профессиональной доблестью и движимые беспощадно-тщеславным эгоизмом, мы при посредничестве близкого Астафьеву человека—Романа Солнцева, поэта, драматурга, а позже—главного редактора журнала «День и ночь»,—были-таки приглашены Виктором Петровичем к нему домой.

Он встретил нас в стареньком спортивном костюме из простого трикотажа, с грелкой пониже спины, провёл на кухню, усадил за приземистый столик, поизвинялся за неуют. У нас, конечно, «с собой было»—но Виктор Петрович, благословив наше застолье, водрузил перед собой лишь бутылку домашнего квасу. Стало неловко за то, что потревожили прихворнувшего человека, отвлекли. Подумалось, что из-за нашего бездельного визита, быть может, останутся ненаписанными какие-то важные, выстраданные строки… Но уже через несколько минут разговора стало ясно, что для бездельных, пустых слов в этом доме нет ни места, ни времени. То, о чём повёл речь Астафьев, сидело в нём так глубоко, так жгло его, так болело, что всё остальное было не важно: ни грелка на заднице, ни малознакомые люди за столом, ни плохое самочувствие… Он говорил—и, несмотря на условие не включать диктофон, я в какой-то момент спохватился, что уходит что-то очень важное, неповторимо ценное… Виктор Петрович, конечно, заметил нарушение условия, но, похоже, понял и простил.

Многие годы я хранил эту запись неопубликованной. Сначала—боясь обмануть доверие, чем-то повредить писателю. Позже, прочтя ещё журнальный вариант повести «Зрячий посох» и снова мучаясь тем, что отнимаю, быть может, драгоценные минуты у вечности, написал Виктору Петровичу письмо-отклик: дело в том, что герой повести, известный литературный критик Александр Николаевич Макаров, сыграл в моей жизни некоторую роль—и так меня взволновало астафьевское повествование о нём, что удержаться я не мог.

Виктор Петрович, к моему удивлению и радости, был этим откликом растроган, прислал в ответ книгу с надписью: «Владимиру Любицкому

с берегов Енисея поклон и пожелание сохранить живу душу и совесть чисту, работая даже в такой газете, как наша «Правда». 7 сентября 1988 г. Село Овсянка». А в сопутствующей открытке сообщил: «Дорогой Владимир! Не отвечал на Ваше прекрасное письмо только потому, что хотел отблагодарить Вас книгой. И вот она вышла, да ещё и в приличном виде… 19-го сентября буду в Москве… А пока уезжаю на Украину, на встречу ветеранов родной дивизии, думаю, на последнюю — одряхлели, состарились вояки».

На эти встречи он ездил до конца. И дико было читать и слышать кликушества людей, пытающихся «приватизировать» патриотизм, которые ставили (и ставят) ему в вину некую «клевету на русского солдата, на историю Великой Отечественной войны». Человек, прошедший ту войну не маршем, а пешком, от края и до края, писатель, изболевшийся ранами всех своих родных «вояк», — Астафьев имел право говорить о войне так, как считал нужным. И слов его уже не стереть. Как не стереть из памяти и тот памятный монолог — начатый и оборванный на полуслове. Как сама его жизнь.

Печальный монолог

Есть у меня родственник — Николай. Всю жизнь он проработал на нашем рейде, на лесозаготовках, потом сплавлял лес. Редко мы с ним видимся. А тут я в прошлом году поехал в деревню зимою, чего-то съел неладно — и слёг там. Он на другом конце деревни живёт, но пришёл. А дядя у него умер два года назад. Вот Марья Семёновна, как увидела Кольку, говорит: Витя, а ведь он выглядит старше дяди… И правда: морщины, с головы всё повыпадывало, руки скрючены, лицо вытянулось, нос куда-то загнулся… А он пулемётчик бывший, командир расчёта, орденоносец… И вот сел он около меня, больного-то, стал чего-то говорить… А рассказчики у нас, к слову, вся родня как на подбор. Причём я его не обязывал — просто так, пошло у него, пошло… И за три часа рассказал он мне всю свою послевоенную рабочую судьбу. И то, что он рассказал о рабочем классе, — никакой ЮАР, никакой Бразилии, никакой самой даже закабалённой капиталистической стране не снилось! Бесправие — полное! Безответственность! Обращение с людьми — самое варварское!..

Вот на этой речке их выбрасывали километрах в двадцати отсюда — проводить сплав. Ни барака! Ни землянки! Ни сушилки! Более того, шоблы, значит, что из этого же рабочего класса выделены, воруют консервишки, хлеб. И вот однажды люди там ждут, мокрые, еду — а им привезли мешок овса. Ядрицы!.. Вы можете себе представить, чтоб в ЮАР неграм это, а? Ведь это сразу бы на весь мир, понимаешь: чёрных белые овсом кормят! А эти что?! Они там, правда, чуть не убили этого… снабженца… Но на это их только и хватило. Больше ни на что и не хватало никогда! Вот напиться, к бабе придраться — это да. Бывало, приду к нему — а они с бабой дерутся! У них ребятишек-то нет… Я прихожу — у него баба под столом. Загнал! А побеждал у них всегда кто трезвее…

Так что во многом люди наши сами, конечно, виноваты. Но… во многом и не виноваты.

Помню, меняли паспорта. Так Колька и тут пострадал, да ещё вдвойне. Он тогда приходил, плакал горькими слезами: Витя, помогай! А я говорю: «Ничем тебе, Колька, помочь не могу. Ты упёрся в стену. Бетонную!» Ну, начнём с того, что когда он работал зимой в лесу, лесозаготовки с каждым годом уходили всё дальше. Сейчас они уже вообще от нас далеко — но сейчас уже их ведут вахтовым методом. А тогда вахтового метода не было, и люди ездили до 250 километров в день. И им никто не оплачивал за это ни копейки. За всё время — ни копейки! Конечно, это местные конторы мудрили — потому что законодательство-то, конечно, предусматривало. Но законов-то люди не знали — сам он учился мало, потом воевал, потом и вовсе не до учёбы…

Но последнее, что с ним сделали… Ему в рабочей карточке… или как? в трудовой книжке!.. надо было записать: лесозаготовитель-сплавщик. И тогда он уходил бы на пенсию в 55 лет. А ему конторские ставят слово «лесозаготовитель» и не ставят слово «сплавщик»: им надо было, чтоб старики продолжали работать, потому что не хватает людей — всё время они держались на вербованных. А ведь начальник рейда был наш, деревенский! Начальник сплавной конторы — помладше, но по существу тоже наш, деревенский. И такую подлянку человеку сотворили! Понимаете? И ещё, кроме того, шалашовки в Дивногорске, что паспорт ему выдавали, не указали число. Ну, разговаривали про чулки, про яички, про очередь — и не указали число… Раньше он мне, бывало, говорит: скоро, Витя, пойду я, значит, на пенсию, не могу уже — руки болят, ноги болят… Да и правда: постой-ка там, на рейде! Он достоялся до того уже, что его стало в ворота сдёргивать. Там, когда идёт в ворота лес, если вынесет кого, то унесёт куда-нибудь в океан — Великий или Ледовитый… И вот раньше он сам спасал вербованных. Те с непривычки как багор-то всадят глубоко в бревно (а лиственница, она же тяжёлая!) — их и тащит. Тогда мужики, значит, всем обществом спасать… Ну, там мнёт кого-нибудь, конечно… А тут его самого стало сдёргивать!

И работал Колька пять лишних лет — только потому, что в карточке ему профессию написали неправильно да в паспорте дату не указали. А бухгалтерша ещё и издевается: раз ты такой разгильдяй, что не проверил пачпорт, так я тебя ещё восемь лет работать заставлю! Он уж перед ними взмолился! А я говорю: Колька, ну пойдём к начальству вдвоём. Ты же ударник труда (коммунистического, значит!), так? Награждён орденами на фронте! И двумя трудовыми орденами награждён — «Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени! Не в навозе же найденный ты! Ты ж наш, на глазах рос, все тут тебя знают!

Нет, пять лет заставили работать… Пока не стала отниматься половина… Короче говоря, когда он вышел на пенсию — три месяца безвылазно лежал в больнице. И сейчас вот болен — даже мало очень выпивает. Да ну, — смеётся, — меня ничто не берёт…

Потеря вот таких рабочих, издевательства над ними (а это издевательство — никак иначе не назовёшь!), бесправие, которому их подвергли, — вот за это всё сейчас и получаем! Сейчас в деревне вот таких честных, порядочных, невербованных — наших! — почти не осталось. Сама власть, обманывая их, дискредитируя, кормя втриголода, третируя, обижая их, — так уж, по-деревенски, скажем, — она и ликвидировала честный рабочий класс.! А теперь хочет перестройки… Во! — а не перестройка…

Если только с детского сада начинать, да ещё надо, чтоб хорошие воспитатели были, учителя… словом, всё с нуля!.. тогда только, может быть… Но я сомневаюсь в этом!

У нас, правда, школа в деревне хорошая. И откуда-то ещё берутся учителки… Библиотекарь тоже очень хороший — наша, деревенская. Словом, есть порядочные люди просто. Но я ещё удивляюсь, что они откуда-то берутся. Видать, всё же недопортили народ…

Школа-то у нас в деревне небольшая, неприметная. Вот, казалось бы, маленькая ячейка — а на ней тоже всё видно. Сначала школа была в доме моего прадеда. У него ещё была маленькая мельница на речке — там теперь бугорок один остался. Она молола только на Овсянку. И прадед сам её строил. Он и пострадал за эту меленку — его, голубчика, ста двух лет сослали в Игарку, где он в первый же день помер. Ну а отец мой, значит, одноглазый, угадал в тюрьму: всех мужиков тогда сажали, от шестнадцати лет и дальше, — боялись бунта в дороге. И в результате моя бабушка — с неродными шестью детьми и с одним родным, грудным, — поехала в ссылку. С неродными детьми!.. Ну, как их высадили на берегу, что с ними было — это тоже не поддаётся никакому описанию. Даже у меня в рукописях — смягчённое, конечно, — это всё обычно выбрасывалось.

…Так вот, о школе. Построил прадед на окраине деревни дом — хороший дом, у меня он на карточке есть — сзади, правда. Скота много держали, лошадей… Лошадей таких, что не удержишь — ворота вышибали!.. Вот в нашем доме и помещалась школа. И я в этой школе начинал учиться. У нас первая группа была от восьми до шестнадцати лет — все мы вместе учились. Ну а потом, как подросли, надо было делиться — в том конце деревни построили школу деревянную, барачного типа. Сплавная контора уже была — она помогала строить. А мы, школьники, посадили деревья. К нынешним годам из них вымахали вот такие ели, лиственницы — видные со всех сторон. Словом, сибирский сад, насаженный школьниками из поколения в поколение. С Енисея на деревню любо было посмотреть…

И вот какой-то хрен за одну ночь всё это спилил-срубил — давай там строить дачу. Я могу показать: дача из кирпича, ровные швы… с какими-то верандами наверху, гараж… Крышу покрыл — где-то же взял! — нержавеющим железом! Люди, конечно, куда-то писали, жаловались. Ну и чё? Ведь лес он уже спилил, блин! Всё свалил! Потом, как стали писать, он нержавеющее железо покрыл толем. Прикрыл, значит! Он вообще строится уже лет пятнадцать. Как в стране перестройка — он прекращает, как послабленье во власти — опять строит. Как в том кино: скидавай сапоги — власть переменилась…

А ещё на берегу Уманского Быка есть особняк — ворюга один построил. С сауной! Ко мне подходит: чего это у тебя бани нет? А меня домик-то обыкновенный, финский… Впрочем, я его люблю. Но сидишь, бывало, — идёт прогулочный катер, а с него такой прокуренный голос: «Повернитесь направо. Там, в горах, в экзотическом месте, живёт наш замечательный писатель…» Это про тот, значит, особняк!

Я потом как-то начальника наших экскурсионных дел увидел, с горечью говорю: «Послушай, мужик, ну прекратите вы это!..» — «А чё такое?» Я рассказал. Он вроде понял. А потом пошёл катер обратно — и уже другой голос, позвонче, — видно, пионервожатая какая-то: «Поглядите налево. Там, на берегу…» Да ёшь-же твою!.. Я даже с берега ушёл — подальше от греха…

…И вообще я от суеты убегаю, прячусь, на звонки не отзываюсь, а то работать не дадут! Только вечерами летом, часов так в одиннадцать, перед сном, возьму и похожу по деревне. Это лучшие мои часы. Может, она больная, придурошная стала — но маленько-то осталось старой деревни! После раскулачивания она убыла — самая большая убыль была после коллективизации: восемьдесят пять домов оставалось. А раньше доходило до двухсот пятидесяти домов. Для Сибири это, в общем, нормальное село.

И вот я, значит, иду и думаю: ну хорошо, вот мне седьмой десяток. Здесь как гора стояла — она и стоит, сколько деревьев было — если браконьеры не вырубят, тоже устоят (горные леса — они ведь саморегулирующиеся: ни в рост не прибывают, ни количеством — в природе всё строго очень, поэтому вмешательство там — о-о-у-у-у! Когда случается пожар — тыщи лет мало, чтоб дерево нашло себе среду, выжило — да ещё десятки деревьев за него погибнут, чтоб оно одно выжило!). И вот я сколько живу — а они какие были, такие и есть. Мы, люди, тут — мимолётные мотыльки…

И вот смотрю я на это село — как и на всякое русское село, пережившее чёрт знает что, — и думаю: что же из него получилось? А должен сказать, что наше село — ещё ничего, даже свои академики есть… Да! Пётр Иннокентьевич Астахов — академик, живёт в Ленинграде. А отец у него был кузнецом. Ваш покорный слуга — тоже не последнего десятка гражданин, так сказать, Страны Советов. Есть учителя, есть врачи, не помню — генералов, по-моему, Бог миловал, нету (а то генералами обычно хвастаются!). Даже, видимо, лейтенантов не завелось. Есть путние люди, есть — а в большие чины военные, видимо, не вышли, потому что народишко отчаянный — его просто повыбили на фронте. Он просто не успевал там, скажем, до сержанта дойти. Ума, может, не хватало, а то и это дело… керосинили… Отчаянные все!.. Вот…

Но сколько же эта деревня дала в то же время несчастных ссыльных, зеков, преступников…

А преступники ж не сами собой рождаются! Их создаёт социальная среда, перевороты, пертурбации, вот эта вот нервотрёпка… Жили: баба—там, мужик—здесь… Я помню маму… Ведь не случись с папой этого, не попади он в тюрьму—мама была бы живая. Она им руководила—так бы и руководила. А то он и свою жизнь запутал, и ещё там нескольким женщинам, детям. И она, бедная, двадцати девяти лет утонула. Она передачу ему везла—утонула: косой поймалась под боны—и пока косу не оторвало, её, бедную, всё мотало там, значит… Бедная женщина, за какие грехи?.. За наши, наверное, за будущие… А она—что? Она труженица была—как вся крестьянская семья…

И прикинул я за прошлый год—дай-ка, думаю, возьму себе за наблюдение (ведь социальные вычисления можно сделать на любом месте!): сколько же народу за осень, за полтора месяца, что я здесь живу, погибло?! Оказалось, пятнадцать человек. Пятнадцать—своих и чужих—погибло!..

Ехали после работы двое—выскочил пьяный на «Волге», а они на «жигулях». Ударило—двух нету! Пьяные…

Шёл улицей Юрка Мащенко. Его же сотоварищ, Козёл, освободился из заключения—и гуляет, уже два преступления совершил. Чего-то корячится с друзьями к девчонке—ученица, идёт со школы… Ну, Юрка к ним: вы чё, ребята, совсем? не видите, к кому пристаёте? И всё—убили. Два раза ножом в грудь, четыре раза в живот, и уже упавшего, мёртвого так топтали, так били, что потом на него, на мёртвого, не могли надеть рубаху и пиджак—кости были искрошены, как макароны… Моя соседка шла мимо, плакала: Петрович, говорит, посмотри—ведь эсэсовцы так не били своих врагов, как они Юрку Мащенко, своего сотоварища по школе!

Нет, ничего даром не проходит! Ничто к нам не явилось само собой. Мы все—сами творцы своего счастья. Что сотворили, то и получили. Как бабушка у меня говорит в книжке: «своеручный ад». Своеручный ад!

Вот сейчас мне пишет Макс Володин из Керчи, капитан… Сел на берег, а когда-то в Литинституте учился. Говорит: ты ж писал, Петрович, и тогда чего хотел, и потом… А я не чего хотел—то была мера моего, значит, мужества, моего, так сказать, Богом отпущенного таланта, мера правды… Не то что я не боялся—тоже боялся, внутренний цензор был. Может только, мой цензор послабее был, а я его похрабрее—вот и вся разница. Поэтому то, что сейчас пишут, что говорят—я уж давно написал. О том, к примеру, что кто не работает—тот живёт, и живёт лучше, чем тот, кто работает. Чиновник какой-нибудь—лучше труженика.

…Сейчас, вы знаете, академии есть при цк кпсс, куда берут крупных руководителей, учат там… Чему учат—я спрашивал. Хорошо учат! Откровенно уже учат—и за границу посылают: учитесь, ради Бога, спасайте экономику… А как её спасать? У меня племянник—он на заводе работает—говорит: «Если я сегодня ничего не спёр—я себя плохо чувствую. Я, дядя Витя, хоть перепрячу то, что кто-то спёр,—тогда мне спокойнее». Представляете? Простой парень, каких много…

Но ведь чиновники тоже не все виноваты. Сама система их вывела. А они ведь ограниченные. Тоже в недостатках, особенно послевоенных, росли: ели картошки мёрзлые, гнилые, вместе с поросятами замерзали, холодали, худали, значит… И учились в нашей же школе. Ну и недоразвиты! Умственно недоразвиты! Говорят, у человека вообще включено семь процентов мозга, а у многих и на полтора не вытягивает… Да и на хрен его включать, между нами говоря? Что этим мозгом делать?

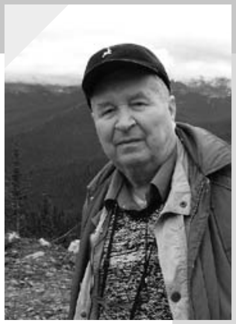
Я был на Благовещение в церкви. Как они все идут в народ—особенно в конце службы! Обнимаются, целуются… А назавтра сел он в президиум—ёшь-ть, народная власть! Рабоче-крестьянская! От всех отделена метра на полтора. Буфет у них там свой… Научились спать с открытыми глазами. Вижу: каждый второй на заседаниях спит. А если не спит явно—так он нравственно спит. Научились слова пропускать сквозь уши.

Но самое страшное, конечно, самая большая беда… Где-то я уже говорил: если бы, когда мы воевали, командовали частями политотделы—мы потеряли бы и Родину нашу, и советскую власть любимую, и нас победили бы за полтора месяца. Были, конечно, командиры частей, которые занимались своим делом, но те, правда, почти все под судом всё время ходили… Вот у меня был командир, Алексей Кондратьевич,—так он говорил, что каждый день себя чувствовал под трибуналом. Работал! А товарищ Брежнев командовал политотделом…

В общем, давно всё это началось—что о том говорить! И всё же… Вот я был в Игарке—и все в разговорах на том сходились, что самое ценное, что мы потеряли,—рабочий класс и общество тридцатых годов. Закат наш—и быстрый очень!—с того и начался. Мы потеряли это не вдруг, не сразу. Потеряли на войне, потом ещё сколько—за счёт обмана, обсчёта, отдельной жратвы, демагогии… Ну и самая страшная, конечно, ошибка, которую нам с вами, увы, никакими словами не исправить,—то, что «партия и правительство», не научившись это делать, начала руководить хозяйством. Взяла на себя хозяйственные функции. «Партия и правительство» должна была заниматься идеологией, демагогией (чем она и занималась!)—а она и идеологию упустила, и хозяйство развалила. Какой, скажем, из Брежнева хозяйственник? А он ещё и царём, императором стал—объединил и советскую власть, и партийную… Умудрился! Кто-то ему подсказал, дураку!..

Боюсь, что не скоро у нас это кончится…

Выпуск подготовила
Марина Переяслова



Тойво Ряннель

Вспоминая ледоход

Исповедь

Прости меня, лихой двадцатый век,
Я не сумел найти суровых красок,
Чтоб рассказать о лжи и воровстве
В наивных пусть, но праведных рассказах.

Я не сумел подстроиться к тебе,
Чтобы идти с тобой в ряду едином,
Чтоб отклонить насилие в судьбе,
По правде не являясь блудным сыном.

Мой малый труд, одобренный тобой,
Наградами достойными отмечен.
Но тихую стыдливую любовь
К тебе предметно доказать мне нечем.

И даже за колючкой лагерей
Я не копил отмщенья и обиды,
А был надеждой слабою согрет,
Друзьям мои страдания не выдав…

Христос терпел, и нам велел терпеть,
И заслужил бесстрашие и славу,
Но всё течёт… и я другой теперь—
Второй щеки врагам я не подставлю!

Я выдумал последнюю любовь—
И потому хожу, как виноватый.
Ведь нам уже не праздновать с тобой
Счастливых дней расцвеченные даты.
Привыкшие к условностям давно,
Мы нашу жизнь на составные делим,
И потому нам свыше не дано
Распоряжаться ею, как хотели б.
Не можем мы с согласия Творца
Мир за неделю переделать снова,
Чтоб не скулить в молитвах без конца
За хлеб насущный в жизни бестолковой…
Не принимай, забудь мои слова,
Вспорхнувшие с похмелья по ошибке…
Я верю, что любовь ещё жива—
Цветут ещё во мне твои улыбки!

Сомнения

Сумерки, мороз и ветер,
И ещё—зелёная тоска.
Так всю ночь до тусклого рассвета
Буду что-то главное искать.
Что ищу я? Толком сам не знаю—
Между сердцем, светом и тобой…
Не судьба ль коварная вонзает
В нашу жизнь сомнения и боль?

Вспоминая ледоход

Я видел бунт стихии грозный—
На Енисее ледоход,
И спину трогало морозом,
Душа срывалась на полёт!
И резко льдины грохотали,
И мутно пенилась река,
И с нетерпеньем люди ждали
Волну тепла издалека…
Толпа, сплочённая участьем,
Смотрела бой на высоте,
И лишь один искатель счастья
Спускался к бешеной воде.

Быть может, в этой круговерти,
Опохмелившись поутру,
Причину для красивой смерти
Искал открыто на миру.
А может, он искал общенья
С самой энергией весны,
Гонимый жаждой риска гений,
В потоках яростных речных?

И он, безумьем окрылённый,
Взлетал по скользким гребням льдин,
Везучий акробат и клоун,
Весны и ветра властелин.
Скрывалось следствие в причине,
И без вопросов зрел ответ:
Рождался в подвиге мужчина
И Божьей милостью поэт!

Утро в заповеднике «Оутланга»

Рассвет, рассыпанный на хвое,
Роняет искорки в росу,
И воздух на цветах настоян,
Струится холодком в лесу.

И возникает птичий посвист,
И раскрываются цветы,
Здесь так величественно просто,
В зелёном храме красоты.

И кажется, что круг полярный
Натянут в дальней синеве,
Чтоб над ущельем Паанаярви
Струною кантеле звенеть.

Легко душою раствориться
Здесь в первозданной красоте
И потеряться, словно птица,
Над миром в синей высоте.

Домой из Лондона

Роману Солнцеву

Опять лечу во мглу, в Россию,
Где водка — яд и горек хлеб,
Пустых надежд слепая сила
Зовёт в клокочущий вертеп,
Где каждый мнит себя стратегом
И примеряет плащ вождя…
Москва встречает мокрым снегом
И сетью серого дождя…
Так кто же дверь на стук откроет
На склоне гаснущего дня?..
Не ждут оставленные мною,
Не ждут предавшие меня!..
Так что же всё-таки ищу я
В раздором вздыбленной стране?
Судом предписанную пулю,
Судьбой отложенную мне…
Я знаю, сверены расчёты,
Мосты сгоревшие дымят,
И за дорожным поворотом
Всё та же пуля ждёт меня.
Но здесь мой дом, могилы предков,
Разлив рассветов по весне,
И я прикован каждой клеткой
К забытой Богом стороне.
Не много надо мне на счастье
На перевале долгих лет:
С друзьями старыми встречаться,
И пить за тех, кого уж нет,
И снова лезть в чужие драки,
Не ждать победы впереди,
Домой вернуться, как собака,
С цветком репея на груди.

На Киваче

Алмазна сыплется гора…
Г. Державин

Я, оглушённый водопадом,
Стою у скального плеча,
Внимаю музыке каскадов,
Органный рокот Кивача.

Как будто Ятти-великаном
Разорван подземелья ад,
Чтоб нескончаемым фонтаном
Вода и камень пели в лад.

И вольное воды паденье
Здесь превращается в полёт,
И голос сказочной сирены
В иную даль меня зовёт.

Я очарован вод кипеньем
И радуг красочной игрой,
Что возбуждают вдохновенье —
Щемящий радости настрой.

Здесь на бессмертье околдован
Себе на радость и беду,
И в неизбежный час условный
Я как на исповедь приду.

Так просто подвести итоги
И отчитаться, как могу,
Перед собой и перед Богом
Ещё на этом берегу.

И если голос той сирены
Меня когда-то позовёт,
То в хаосе летучей пены
Свершу последний свой полёт.

Клуб читателей

Программист и бабочка

Представляем новую книгу — сборник современной прозы «Программист и бабочка», вышедший в израильском издательстве «Млечный Путь».[1] Вот что пишет в предисловии к сборнику его составитель Леонид Шифман:

«Даже программисты не станут отрицать, что они народ необычный. Недаром о них сложено столько анекдотов — Василий Иванович с Вовочкой позавидуют. Вот и родилась идея собрать под одним переплётом произведения авторов-программистов.

В сборник вошли рассказы пятнадцати авторов из США, Израиля, России, Украины и Эстонии. Всю информацию об авторах можно найти на сайте издательства «Млечный Путь»: http://milkyway2.com.

Меня, как составителя, поражает диапазон интересов программистов: прочитав этот сборник, вы узнаете правду о приходе Обамы в Белый дом, о подноготной властвования Сталина, о средневековой Японии, о последствиях грядущей ядерной катастрофы, вопросах генетики и контакте с инопланетным разумом. Тут и сказки, и серьёзные рассказы о любви и семье. А юмор… Это только внешне программисты производят впечатление замкнутых, устремлённых в себя людей, а на самом деле это очень даже весёлый народ.

Не пугайтесь, о компьютерах программисты не пишут, они сыты ими на работе. И их русский язык ничем не напоминает Java и C++.

Пользуясь случаем, благодарю всех участников сборника за сотрудничество и проявленное терпение и понимание. Я получил море удовольствия, работая над составлением сборника.

Надеюсь, читатель получит океан!»

1. Книга продаётся в магазине издательства «Млечный Путь»: http://litgraf.com/shop.html?shop=1

Виктор Шоно

Васильковые глаза

Баламут

История произошла очень давно, несколько десятилетий назад. Рассказал случайный попутчик на вокзале—до поезда оставалось ещё несколько часов.

…Был у нас Петруха—забавный мужик, мастак на всевозможные выдумки и шутки. И так, считай, с самого раннего детства. То мяч набьёт камнями, аккуратно так, хорошо. Положит на дорогу, а сам сидит с ребятами за поленницей и наблюдает. Каждый в детстве мяч гонял, ещё мальчонкой. Нога, сам понимаешь, чешется при виде круглого предмета. Камни ещё куда ни шло, а если навоз? Я раз сам попал: стоишь, как чучело, посреди дороги, не зная, что делать, а внутри закипает понятно что.

Соседского кота Ляпу за то, что цыплёнка стащил, вымазал в дёгте и вдобавок вывалял в перьях. Ляпа после этого в Петрухин огород, а тем более в курятник—ни шагу.

В школе раз написал сочинение, «Как мы провели детство», молоком. На вопрос учительницы гордо ответил: «А я—как Ленин, Мария Ивановна». Баламут, да и только. Кличка ещё со школы так и присохла, прикипела к Петрухе. Многие, особенно молодые, до сих пор не знают, как его зовут. Баламут, и всё тут.

Но в одном Петрухе не было равных в нашей округе. Мог починить что угодно, будь то швейная машина или телевизор. В технике разбирался, как Кулибин. Работал в наших совхозных мастерских. Чуть какая неполадка—все к нему. Один раз, это когда только-только стали появляться иномарки, одна из них сломалась, не доехав несколько километров до села. Дотащили. А Петруха машину поставил на ноги. Руки золотые. А когда они такие, сам понимаешь, соблазнов много. То один пол-литра, то второй, то третий за выполненную работу. Баламут стал потихоньку втягиваться. Начальство терпело, тем более в загул «Кулибин» не уходил. Жена, Вера, тоже свыклась, хотя ругались они всё чаще. В один из таких дней Петруха проснулся после вчерашнего «калыма». Вера денег на похмелье не дала. В сердцах он выдохнул: «Чем с такой жить, лучше удавиться!» А Верка в ответ: «Одним ханыгой меньше будет». И стала собираться на работу.

Баламут, он и есть баламут. Петруха решил жену проучить. Присобачил верёвку к потолку основательно. Ещё продел в подмышки, картинно застыл. Верка зашла, вскрикнула, запричитала и выбежала из хаты. Через некоторое время примчалась, запыхавшись, соседка тётя Груша. Баламут недолюбливал её—вечно суёт нос в чужие дела, да и жадная до ужаса и скупая. Зимой и льда не выпросишь. А тут, для вида поохав и постонав, тётя Груша, воровато озираясь, полезла в подпол. Достав сало, торопливо спрятала за пазуху. Баламут такого нахальства вытерпеть не смог. И гаркнул своим громовым голосом с высоты: «А ну положи сало, паскуда!» Тётя Груша разом скопытилась вместе с салом. Тут подоспели Верка с участковым в погонах. Глядь, а в хате уже двое: один висит, вторая лежит. Баламут и тут в своём репертуаре: «Гражданин начальник, чистосердечно заявляю. Нахожусь в здравии, скоро первое апреля. Решил тут жену разыграть, да переборщил малость. А у Груши с юмором не лады. Живого висельника не встречала, что ли? Сала надо меньше есть».

В общем, когда участковый полез развязывать верёвки, баламут, чтобы не упасть, обнял его. В конечном итоге грохнулись оба. Служивый сломал руку и подвернул ногу. Тётю Грушу откачал прибежавший фельдшер. Сало вернули в погреб. Соседку и товарища в погонах положили в больницу. Оба написали на баламута заявление. Состоялся суд. Баламут получил условный срок. Пить «завязал» совсем. Тётя Груша не ест с тех пор сало и собирается переехать в другой район. Участкового повысили в должности…

«…Баламут, он и в Африке баламут»,—рассмеявшись, добавил собеседник.

Верный

Псу снилась его мама Альма, когда он, будучи щенком, впав в азарт, бросался на неё, силясь повалить, припадая на передние лапы и покачиваясь в стороны, тявкая голосом будущего матёрого пса. Потом, вцепившись неокрепшими зубами в шею, пытался сомкнуть на ней челюсть, а захватывал только кожу. От попавших шерстинок першило в горле, и щенок громко чихал, раскрыв пасть и сплёвывая волосинки. Затем, зарывшись в густую шерсть, он забывался, успокоившись, понимая, что ему никто и ничто не грозит, даже проклятый кот Васька, который вчера больно-пребольно поцарапал нос, теперь не страшен.

Поддавшись воспоминаниям, когда щенячья обида снова напомнила пронзительной болью о себе, пёс вздрогнул и жалобно тявкнул во сне. Волны пробуждения покатились по телу пса лавиной, сбрасывая неприятные ощущения. Он мгновенно вскочил на лапы, дрожа от нервного возбуждения. В чернильном июльском небе полыхали мириады звёзд, рассыпанных по небу, собираясь в жгуче-яркие островки света.

Пёс встряхнулся, потом, опершись на передние лапы, с наслаждением потянулся, выгибаясь

дугой. Открыв пасть, шумно зевнул со вздохом, прочищая ноздри.

Яркий росчерк падающей звезды пронёсся по небу, задев созвездие Большой Медведицы. Пёс видел полёт, но он не был человеком, поэтому не мог загадать желание.

Аромат ночи распространялся неторопливой тягучестью, насыщая каждую клетку пса энергией радости жизни. Она присутствовала в каждом его движении, выливаясь через край, и даже пространство вольера с железными прутьями не могло остановить её.

Пёс, прикрыв глаза, аккуратно вдыхал, наслаждаясь, терпкий, вкусный до щекотания ноздрей запах лета, совершенно отключив слух. Точнее сказать, это произошло само собой, непроизвольно, сработали природные рычаги, не зависящие от него самого.

Блуждающее воспоминание о маме — Альме — опять стало приближаться ещё пока размытыми картинами.

Пёс прилёг, боясь нарушить наступление сна. Едва шевелясь, осторожно вытянулся, приняв своё любимое положение — подперев правым боком стенку. Картина сна становилась отчётливее и яснее, и когда, казалось, в предвкушении щенячьего детства она действительно вот-вот должна была выйти в полный цвет и пёс непроизвольно сглотнул слюну, какой-то посторонний звук скомкал появляющееся изображение.

Шаги человека в тишине ночи, звенящие набатом, запах, стремительным порывом проникающий везде, запах, который пёс узнал бы из многих тысяч подобных. Запах родного и любимого человека.

Уняв мгновенно закипевшую кровь, пёс вытянулся, замерев в ожидании. Лишь прерывистые колебания хвоста выдавали его волнение.

И когда человек вошёл в вольер, пёс, не в силах сдержать хлынувшие чувства, стремглав бросился ему навстречу, едва не сбив с ног, стараясь лизнуть в лицо.

Человек не стал отстраняться, понимая чувства пса, трепля за ухом. Уняв вспыхнувшую радость встречи, пёс уткнулся в колени, опять проваливаясь в воспоминания детства. Человек, закурив папиросу, тихо пожурил пса:

— Ты зачем вчера, дурачок, чуть Боя не порвал, Верный? А?

Пёс сконфуженно прикрыл глаза, стараясь не смотреть на хозяина. Бурный восторг встречи и начавшие было приближаться проблески детства ушли. Пёс шумно вздохнул, ругая себя за вчерашний поступок перед человеком, которого любил так же, как свою мать.

«Он поймёт, он поймёт, — думал пёс, с трепетом замирая от поглаживаний рук человека. — А Бой сам напросился, мерзкий и пакостливый пёс, и хозяин у него такой же. Вечно ходит в засаленной гимнастёрке, и пахнет от него противным запахом перегара. От своих же собак едой торгует. Я же вчера видел. А Бой не поверил. — Пёс вздохнул. — А полосу препятствий я всё равно прошёл лучше всех, что даже большой человек в папахе моему хозяину руку жал перед строем».

Пёс глубже уткнулся в колени курящего человека. Умиротворённость сознания, близость родного и любимого человека опять натянули одеяло сна.

Потусторонний звук маленьким колокольчиком прервал видение, разрастаясь в ширине и глубине ударами боя.

Пёс встрепенулся, ещё до конца не отойдя от сна. Голос хозяина с ласковой укоризной сбросил пелену:

— Никак уснул? Но ничего, ничего. Скоро пойду. Знаешь, Верный, — мужчина кашлянул в кулак, убрав руку с шеи пса, — я тут от комбата иду. Фрицы, будь они неладны, прорвались справа от нас. Собрали танки в одном месте и прут напролом. Пушек мало там: кто ж знал про этот манёвр? Снимать наши танки — времени в обрез, да и пробираться туда тяжело. Сразу за нами болотина, пока гать наведёшь, немец вперёд уйдёт. В общем… — человек опять кашлянул. — Верный, готовься. Чует моё сердце, нас, подрывников, призовут вскорости. Только-только вас, собачек, обучил — и сразу в бой. — Человек вздохнул. — Ты, это, Верный… — он положил руки на голову пса. — Не подкачай, а? К тебе вот первому пришёл. Потом к Дозору надо и ещё к трём собачкам.

Наклонившись к уху пса, человек тихо прошептал:

— Привык я к тебе, Верный. Ты уж не серчай за обиды. Вот прогоним немца — ко мне в село поедем. Выпрошу у комбата тебя обязательно. Ну, бывай, отдыхай, пока время есть.

Взвод подрывников с собаками был поднят по тревоге через два часа. Пёс Верный погиб, подорвав головной танк фашистской колонны. У сержанта Баева погибли все пять собак. Он был представлен к ордену Красной Звезды, по одной грани за каждого пса.

Щенка чёрного окраса он вёз домой с войны и назвал Верным, выполнив обещание, данное четвероногому другу, и в память о нём.

Васильковые глаза

Любовь. Всего шесть букв в этом слове, а как много можно сказать, когда перехватывает дыхание, и ты проваливаешься в трепетную полудрёму воспоминаний о той, единственной, с весенним запахом дивных каштановых волос, отливающих золотом в весенних лучах солнца, когда счастье переполняет тебя до краёв, падая капельками на радость прохожим.

…История эта случилась много лет назад, когда мы с Андреем поехали в город Н. на преддипломную практику. Был месяц март, весна ещё не спешила занять своё место, раскачиваясь понемногу, поэтому было холодно. Темы дипломных работ были разными, мы находились в противоположных друг другу цехах. Встречались только вечером, разбегаясь рано поутру.

Андрей, статный парень, душа нашего курса, балагур и весельчак, по которому вздыхала добрая половина девчонок нашего курса, спустя несколько дней как-то спал с лица, стал задумчиво грызть

карандаш, сидя за столом или лёжа, уткнувшись в подушку. Ел он плохо. Спросил его как-то:
— Андрей, что случилось?

В ответ—тишина, но потом, видимо собравшись с духом и изнывая от потребности с кем-то поделиться, он разговорился, постепенно убыстряя свой рассказ, словно боясь пропустить мельчайшую деталь, поскорее избавляясь от давившего груза. Он влюбился без памяти, по уши, и, не стесняясь, говорил, говорил взахлёб, входя в раж, всеми силами стараясь донести до меня своё чувство, вскакивая в горячке с постели и яростно жестикулируя руками. Помню, как отпустил по этому поводу нашу студенческую солёную шуточку, на что Андрей, психанув, запустил в меня тапком, и не увернись я вовремя—попал бы точно. «Всё-таки не зря раньше в школе был такой предмет—гражданская оборона»,—подумал я.

Молчали оба минут десять. Первым подал голос Андрей:
— Знаешь, Виктор, помнишь первый день, когда мы ушли по цехам?
— Да, конечно,—произнёс я, приподнимаясь с постели и удобнее усаживаясь.
— Так вот, в тот день я впервые увидел её. Работает на фрезерном станке. Проходя мимо, ненароком взглянул на неё и, ей-богу, словно онемел, утонул в её васильковых глазах, как в омуте. Не помню, как проработал в отделе над чертежами, потому что спешил занять место в столовой поближе к ней. Зовут Ольга. Позавчера был на центральной проходной, в отделе капитального строительства. Увидел её фотографию на стенде передовиков. Формат большой, крепление ничего, снять можно. Инструменты в слесарке у мужиков взял. Вечером сегодня схожу. Ты же знаешь, что с девчонкой познакомиться для меня нет проблем, а здесь не могу. Руки, блин, потеют, как в первом классе у доски, все мысли из башки вылетают напрочь. Вчера ночью, пока ты спал, речь для знакомства задвигал в ванной, перед зеркалом, как артист, по Станиславскому. Заучил, как молитву, а не смог. Выручай, брат.
— Андрей, значит, это у тебя серьёзно, коль так говоришь. Так, сегодня шестое, шестое, погоди… Ё-моё, так завтра седьмое, а там восьмое марта, праздник. Ты кто—мужик или не мужик? Нюни распустил, как пацан,—в этот день у ног любимых женщин должна стоять корзина, полная цветов, и коробка конфет из Москвы фабрики «Рот Фронт». Момент просекаешь? Так, деньги на бочку, оставляем на дорогу до дому, ремни можно потуже затянуть. Как-никак студенты, не привыкать жить на стипендию. Завтра с утречка двигаем на рынок за розами—только розы, Ромео. Хоть узнал адресто? Как это—«где-то за мостом»? Значит, так: ты должен найти её во что бы то ни стало! Сам, понимаешь? Если любишь, то обязательно найдёшь. Открытку сам подпишу с поздравлениями, а то у тебя руки ходуном ходят и в голове марш Мендельсона звучит. Фотографию-то точно надумал снять? Может, потом, а? Завтра дел невпроворот, голова нужна свежая, а ноги рабочие. Спать надо лечь пораньше.

Проснувшись наутро, съездили на рынок, купили большой букет роз, тщательно завернув в несколько слоёв бумаги, а потом положив в утеплённую сумку. С грехом пополам достали нужные конфеты у спекулянтов и двинулись домой. Чтобы Андрей плотно поел перед дорогой и упаковался. В тот день он не нашёл Ольгу. Придя домой, устало присел на стул, бережно опустил сумку на пол. Немного погодя заговорил:
— Там, оказывается, много домов частных, а дальше, за путями, есть несколько деревянных двухэтажек. Сегодня я обошёл всех хозяев, а дотуда не успел добраться, завтра с утра пораньше побегу. Я всё равно её найду, понимаешь?

Через полчаса он уже спал. Это был уже совсем другой человек, уверенный в своих силах, ведомый святым чувством—чувством любви, сметающей любые преграды, возникающие на пути.

Утром восьмого, видя, как Андрей бережно пеленает цветы, проверяет, на месте ли открытка, по-мужски основательно завтракает, я вдруг понял по загадочному блеску в его тёмных карих глазах, что сегодня они встретятся точно. Ближе к обеду в комнату влетел, как метеорит, Андрюха, усталый, чумазый, но такой безумно счастливый, с искрящимися глазами, полными радости, и заорал своим громовым голосом:
— Я нашёл её, нашёл!
— Постой-ка, постой: подарок вручил, значит, а почему же не остался? С будущей тёщей, тестем поговорил бы,—спросил я, радуясь успеху друга.
— А их там не оказалось никого.
— То есть как это никого? Подарок обратно притащил, небось, бедолага?
— Дом их предпоследний оказался, а сосед пояснил мне, что живут они там недавно. Вчера вроде в гости собирались все втроём. Ну, значит, я и наказал ему вручить подарок молча, без комментариев. Сам к ней подойду, решил я там, сидя перед домом, перед тем как зайти.

Так оно и получилось, и встретились две половинки, судьбою предназначенные друг для друга, чтобы составить единое целое. Расцвело дерево счастья, давая кристально чистые побеги любви, нежно переплетающиеся друг с другом. Такое трудно было не заметить. Два юных сердца бились ровно в такт, выстукивая в глубине души каждого священную мелодию—мелодию любви.

Мешало одно обстоятельство, и оно сыграло в этой истории свою роковую роль. Ольга до Андрея была знакома с парнем, который сейчас служил в армии, и чувств, похожих на их отношения с Андреем, никогда к нему не испытывала, поскольку они ей тогда ещё были неведомы, а отношения с ним она поддерживала только благодаря своей матери, воспитавшей её одну. Мать боялась, в силу своей женской логики, что дочь повторит её судьбу, и поэтому твёрдо считала: муж хоть какой, но должен быть. Любовь не так важна. Ольга, скромная и честная девушка, смирилась и парня обещала дождаться. После знакомства с Андреем, захватывающего её всё больше и больше каждый день, она написала тому парню. Андрей был в курсе. Ответа всё не было.

Практика между тем подходила к концу. За день до нашего отъезда у них произошла последняя встреча. Андрей вернулся потухший, сразу постаревший на много лет. Ольга не могла нарушить своего обещания, не дождавшись ответа, и даже любовь не смогла поколебать её решимость, а он никак не мог этого понять.

…С Андреем я встретился спустя десять лет, будучи в отпуске. Дома у него разговорились, вспоминая свою студенческую молодость. Женат. Супругу зовут Марина. Тут в нашу комнату зашла девушка, и у меня, честное слово, захолонуло в груди. Как она была похожа на Ольгу: те же васильковые глаза и кудри, спадающие на плечи. Видя мою реакцию, Андрей предложил продолжить в кафе, где, сидя за уютным столиком, поведал:

— Знаешь, старик, любил я тогда Ольгу страшно и до сих пор люблю. Отдал все силы до конца — и сгорел, как мотылёк. Даже жену Марину во сне Ольгой зову. Вернуть бы сейчас то время хоть на чуть-чуть…

Чуть погодя он добавил:

— А фотографию я всё-таки снял со стенда. В тот день, когда мы с Ольгой расстались. Тебе ничего не сказал. Хотел, чтобы это осталось в тайне. Теперь ты знаешь всё…

Он замолчал, потом вытащил сигарету и закурил…

А с Ольгой я встретился спустя ещё пять лет, находясь в командировке. Замужем за тем парнем. Трое детей. Уже в конце беседы она спросила, немного зардевшись, с тихой грустью в голосе:

— Виктор, а ты не знаешь, как там Андрей?

Снова, как тогда, вспыхнули и зажглись её васильковые глаза, словно время повернулось вспять, возвращая её в ту незабываемую пору, когда она любила и была любима. Не помню, что ответил и как попрощался. Как во сне, сел зачем-то в трамвай, очнулся, потому как в сознание словно током ударило название объявленной остановки. Вышел и присел на ту, прежнюю, скамейку, где мы сидели с Андреем перед отъездом из города, уезжая от Любви… Тогда мы были молодыми…

Берегите свою любовь! Правильно кто-то из великих сказал: «Кто не любил — тот не жил». И Андрей, и Ольга познали трепетную любовь сполна, и я думаю, что они обязательно найдут друг друга, и опять зажгутся её небесные васильковые глаза теплом любви…

Клуб читателей

Литературное Красноярье

Алёна Бондарева

Квантунский роман

Александр Матвеичев уже одним названием своего романа *«Казанов А. в Поднебесной»*[1] задаёт правила игры и тон повествования.

Главного героя — молодого офицера Антона Казанова (по жизни не такого уж и Казанову, каким он сам себе кажется) — мы застаём в Китае, он служит на Ляодунском полуострове недалеко от Порт-Артура и Дальнего (города, исконно принадлежавшего русским), в местечке, известном под японским названием Квантун.

Бывший кадет Казанов давно устал от службы. Поэтому большую часть времени он проводит в ресторанных кутежах, самоволках, ухаживаниях за белоэмигранткой Любой и мечтах о покинутых им в Союзе двух девушках. Стиль и манера повествования чем-то напоминают Куприна, недаром Антон чувствует родство с поручиком Ромашовым из «Поединка». Однако сходство это говорит и о том, что русская армия с царских времён не особо изменилась.

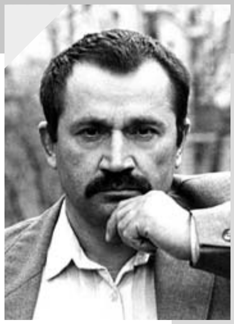
Впрочем, в тексте Матвеичева встречаются и серьёзные стилистические огрехи: «По сияющему лицу Любы, по распахнутым для прогулки по извилинам её души глазам он понял: она ему искренне рада».

Но в то же время автору многое удаётся — например, описание солдатского быта. Получается балансирование между плутовским романом (эпизоды соединяются по цепочной модели) и военной прозой, с присущей ей лексикой и грубоватым мужским юмором.

Резкость эта присуща и описанию женщин, в романе получившихся в основном хваткими и вызывающими. Впрочем, нельзя забывать и того, что речь идёт о неспокойном времени. 1950-е годы на Ляодунском полуострове для русской эмиграции стали по-настоящему тяжёлыми. По сути, ни в чём не повинные люди оказались зажаты между китайцами и красноармейцами, одинаково не признанные ни теми, ни другими. Эмигранты были вынуждены либо возвращаться в Союз, либо скитаться по миру. В любом случае, нормальной жизни их лишили на долгие годы.

Нужно отдать автору должное: при мнимой лёгкости повествования и постоянной залихватской браваде главного героя (впрочем, что тоже по-своему характеризует молодого человека), поднятая тема звучит серьёзно. Однако Казанов слаб. А то, что он видит вокруг: непрерывные попойки, ханжество, дедовщина, достаточно частый разврат и полная утрата каких бы то ни было ориентиров (это касается как советских служилых, так и эмигрантского круга) — говорит лишь о глобальности всеобщего распада.

1. Матвеичев А. В. Казанов А. в Поднебесной. — Красноярск: ООО «День и ночь», 2010.



Василий Ширко

Второе дыхание

Берись за то, к чему ты сроден,
коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец.
Иван Крылов

На дворе царила-хозяйничала золотая осень. Ещё не злой и колючий ветер-озорник то замирал, впадая в дрёму, то нежданно-негаданно просыпался и весело шалил, срывая с тополей, берёз и редких старых-престарых яблонь пожелтевшие листья. Вокруг порхали синицы, снегири; распустив хвосты, скакали с дерева на дерево рыжие пушистые белочки, словно рядом не шуршали по асфальту машины, не звенели по рельсам трамваи.

Севастопольский парк Минска жил своей обычной повседневной жизнью. Он словно не знал, что ещё совсем недавно горе-архитекторы планировали вырубить под корень деревья, сравнять бульдозерами пригорки, настроив вокруг десятки многоэтажек. К счастью, не получилось. Народ горой встал за любимое место отдыха.

Медленно бреду по утоптанной тропинке, на душе покойно и светло, пусть и волнуюсь немного. До встречи с председателем республиканского государственно-общественного объединения «БООР» Иваном Болеславовичем Коростиком больше часа. Мысленно, в который уже раз, прокручиваю в голове вопросы, которые задам нынче главному, если можно так сказать, охотнику страны.

Невольно вспомнился молодой корреспондент «Комсомолки», явившийся когда-то брать интервью у самого президента Академии наук СССР, трижды Героя Социалистического Труда Келдыша. Молодой человек не потрудился хоть что-то прочесть о жизни и научной деятельности гениального математика и механика, исследовавшего многие проблемы авиации и атомной техники, руководившего рядом советских космических программ, включая полёты человека в космос.

Когда юный журналист поинтересовался, в каком году родился всемирно известный академик, Мстислав Всеволодович, удивлённо взглянув на журналиста, ответил, а когда тот спросил, где и на кого он учился, показал комсомольцу на дверь: «Вы не дорожите моим и своим временем, могли бы перед встречей заглянуть хотя бы в энциклопедию, посидеть лишние полчаса в библиотеке!»

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день: бедняга-корреспондент ушёл несолоно хлебавши. Но это была наука на всю жизнь. Молодой человек впоследствии стал известным в стране очеркистом, выдал на-гора не одну занимательную книгу и в МГУ, на встречах с будущими журналистами, почти всегда рассказывал о своей незабываемой встрече с академиком Келдышем.

Готов ли я к беседе с Иваном Болеславовичем? Достаточно ли знаю об охоте и рыболовстве, проблемах общества, поисках, находках, планах на будущее? И каков он, человек, возглавляющий самое массовое государственно-общественное объединение? Удастся ли найти общий язык, вызвать на откровенность?

Ответы на эти вопросы, должен признаться, были далеко не полными. Да, читал кое-что об Иване Болеславовиче, расспрашивал его знакомых и друзей, сотрудников объединения. Не однажды писал об охотниках и рыболовах, егерях, сам брал в руки ружьё, об удочках и говорить не приходится — на рыбе вырос: наша небольшая Уздянка кормила всю деревню щуками, язями, окунями, плотвой, но «БООР», чёрт возьми, — это более чем шестидесятитысячный коллектив, миллионы гектаров охотничьих угодий, десятки рыбных водоёмов…

С чего начать беседу? О чём спросить председателя в первую очередь? На ум явилось философское изречение: «Не мудрствуй лукаво, начни сначала!» И вот я в кабинете Ивана Болеславовича Коростика. Крутится магнитофонная лента, наматывая мои вопросы и ответы председателя. Иван Болеславович не Келдыш, а я не наивный молодой корреспондент, мы одногодки, у нас много общих знакомых, в том числе охотников, людей, о которых я не однажды писал, и это как-то сближает, не возникает грань отчуждения.

«Прощай, мама!»

Жизнь прожить — не поле перейти. У одного это поле большое, как у отца Ивана Болеславовича. Почти девяносто осеней он пахал, сеял, убирал хлеб, бульбу, косил травы. А вот поле его жены, Павлины Игнатьевны, оказалось и в длину короче, и в ширину уже. Ей не удалось разменять шестой десяток. Оставила сиротой пятнадцатилетнего Ваню, двадцатилетнего Казика и двух довоенных дочерей — Терезу и Ядвигу, вышедших из-под опеки родителей и успевших твёрдо стать на ноги.

Хутор Руляки, где через три года после войны появился на свет Ваня, был небольшой. Всего-навсего семь дворов. Раскинулся он недалеко от Докшиц. Учился Ваня в райцентре. Четыре километра туда, четыре обратно. Нелегко ранней весной, осенью — дождь, слякоть, ноги вязнут в липкой грязи; а ещё хуже зимой — прохудившаяся обувь, старая свитка, а в торбе с книгами — завёрнутые в газету краюха хлеба, пара картофелин. Хорошо тем, у кого семьи поменьше, дети повзрослее.

Любимыми предметами Вани были математика и физика. Мог бы и отличником стать, но времени

на подготовку домашних заданий не хватало, да и характер у парня был ершистый: заводила, везде первый.

«Без науки проживёшь,—говорили старики и старушки,—а без хлеба ноги протянешь».

Уже с четырнадцати лет Ваня наравне с отцом и старшим братом косил, ходил за плугом. Труд для подростка, в общем-то, каторжный. Умные селяне на время сенокоса берегли сало—на голодный желудок не потянешь косы. Мать души не чаяла в младшем сыне, пыталась как могла оградить от тяжёлого, не детского труда.

— Мама,—улыбался Ваня,—я вычитал, что труд подливает масло в лампу жизни. Без масла лампа погаснет. Не волнуйся. Мне и косить нравится, и за плугом походить не лень.

— Хотелось, чтобы ты, сынок, лучше учился. Дед твой не великий грамотей, а повторял часто: некручёный—не ремень, а неучёный—не человек.

Мать листала Ванин дневник и говорила мужу:

— На всё наш младшой здатны: и учится хорошо, и с плугом и косой управляется, как взрослый.

Во время летних каникул Ваня мог бы не работать в колхозе, как некоторые его сверстники, помогал бы по дому родителям, гонял мяч, но его тянуло в поле. Пахал, косил, сгребал сено. Вырабатывал за летние месяцы до девяноста трудодней.

Говорят: не стало отца—ребёнок сирота, умерла мать—круглый сирота. Ваня часто ходил на мамину могилу, приносил полевые и луговые цветы. Ему не верилось, что нет на свете самого дорогого человека на земле: не проведёт в школу, не обнимет, не скажет ласкового слова. В душе оборвалась какая-то невидимая нить, связующая подростка с детством. Он в одночасье повзрослел.

Похоронили мать на кладбище в Докшицах.

— Пойдёшь, сынок, в девятый класс или думаешь поступать куда-нибудь?—спросил сына Болеслав Владимирович.

— Наскучило сидеть за партой. Буду поступать.

— Небось, в техникум? Учителя хвалят, говорят, задачи щёлкает, как орехи.

— Техникум никуда от меня не убежит. Отвезу документы в профтехучилище. Оно, считай, рядом с домом, в Глубоком. Готовит трактористов-машинистов широкого профиля. Получу права шофёра, тракториста, разряд слесаря. Плюс среднее образование.

Сын не сказал отцу, что при училище есть общежитие, там кормят, дают спецодежду, во время практики можно заработать неплохую копейчину. Одним словом, обойтись без помощи из дому. Какой уж тут техникум, где стипендии даже на питание не хватит? Знакомые ребята учатся. Каждые выходные норовят в деревню приехать за салом, выпрашивают у родителей денег на шмотки и даже на дорогу. Это не для него, Ивана Коростика. Вон отцу шестьдесят—откуда у него деньги? Были рубли, да превратились в воробьи.

Где пущи—гущи, речки—быстротечки

От Докшиц до Глубокого рукой подать. Дорога прямая. Постоянно курсируют автобусы. Ваня знал, что Глубокский район едва ли не самый красивый в республике, а когда однажды попал туда с однокашниками, посмотрел, послушал экскурсовода—воочию убедился: это действительно так. Древние костёлы и церкви, пущи, где раздолье для дичи, перепады высот, небесной голубизны озёра, и среди них самое глубокое в Беларуси озеро Долгое, около 54 метров, а ещё третье по глубине—Гиньково, почти 44 метра. Мелководной Нарочи остаётся завидовать. Как не вспомнить большое заболоченное озеро Шо, которое многие свои и зарубежные учёные считают центром Европы. Чисто и светло звучат имена: Мнюта, Аута, Плиса.

Промчатся, словно быстрые кони, годы, ми́нут десятилетия, годы, уже не Ваня—Иван Болеславович объедет и обойдёт почти все районы республики, а Глубоччина, как первая любовь, будет вспоминаться с особой теплотой.

Учёба Ивану Коростику давалась довольно легко. Из группы (три десятка учащихся) он легче других усваивал теорию, всё, чему учил мастер Марьян Адамович Татаринов, схватывал на лету. И это естественно. Базовую школу он заканчивал в деревне, а потом перешёл в городскую СШ, где требования намного выше, к тому же Ваня был хорошистом, а в СПТУ поступали, в основном, не самые лучшие ученики.

— Запоёшь Лазаря, когда начнётся практика,—подбрасывали Ивану шпильки друзья.—Водить трактор или машину—это тебе не фунт изюма, а слесарить и того потруднее.

К удивлению ребят, Иван и на вождении, и в слесарной мастерской дал многим фору. Рулил, словно играясь, и трактором, и машиной, в мастерской быстрее всех мог выточить на токарном станке деталь.

— Эх, парень, тебя институт ждёт не дождётся,—то ли хвалил, то ли жалел смышлёного ученика завуч Шкелко.

— Он от меня никуда не убежит и не улетит, словно перелётная птица,—как когда-то отцу, по-взрослому отвечал Иван.

Больше других он сдружился с братьями Снарскими. Умные, весёлые ребята. У них историй занимательных—мешок под завязку. И про охоту и охотников наврут с три короба, хоть сами никогда ружья в руках не держали, и про рыбалку и рыбаков десятки былей и небылиц наплетут. Давно было, а те рассказы Иван Болеславович помнит. Один из братьев стал председателем колхоза, настоящим, не случайным. И по сегодняшний день председательствует.

В училище имелось подсобное хозяйство. Здесь проходили практику. Опытные преподаватели, прошедшие огонь, воду и медные трубы, учили не только водить технику, но и ремонтировать её.

— Грош цена тому механизатору,—говаривал мастер Татаринов,—который надеется только на техпомощь. Нужно уметь кое-что и самому. Застрянешь в поле ночью, за десять вёрст от населённого пункта, и что… потопаешь в мастерскую или, засучив рукава, сам возьмёшься искать неисправность? Вывод простой: из-за дурной головы ногам нет покоя.

За время учёбы Иван вырос, стал шире в плечах, возмужал. Товарищи избрали его комсоргом, а вскоре (партия велела — комсомол ответил: есть!) в числе лучших учащихся училища был направлен в Казахстан на целину.

«Здравствуй, земля целинная…»

Не верьте словам ни своим, ни чужим,
верьте только делам своим и чужим.

Лев Толстой

В плацкартном вагоне, кроме эспэтушников, ехали старик со старухой. Вторые сутки они не слазили с верхних полок. Кто-то из ребят высказал опасение, что пожилые люди приказали долго жить. Опасения, однако, оказались напрасными. Дед время от времени всхрапывал. Старушенция что-то выкрикивала спросонья.

— Не поезд, а хромая лошадь, — промолвил кто-то вслух. — Седьмые сутки в пути.

— Свят, свят! — громко запричитала бабуля. — Изыди, сатана!

Все захохотали: старушенции во сне чёрт явился.

Где-то под утро затрещало радио. Бодрый голос пожелал всем добра, и удивительно звонкий голос артиста, возможно, в десятый раз громко затянул песню, слова которой за длинную дорогу все хорошо запомнили:

Родины просторы, горы и долины,
Серебром одетый, зимний лес грустит.
Едут новосёлы по земле целинной,
Песня молодая далеко летит.

— О Боже, ирод опять горло дерёт, не даёт спать, — затряс редкой бородкой старик. — Чтобы ты, гад печёный, стоял на горе и солнце не видел…

— Чтобы тебя намочило и не высушило, — поддержала спросонья старуха.

Все покатились от гомерического смеха, но артист, нисколечко не смущаясь, орал во все лёгкие:

Ты ко мне приедешь раннею весною
Молодой хозяйкой прямо в новый дом.
С голубым рассветом тучной целиною
Трактора с тобою рядом поведём.

«А песня всё же хорошая, — подумал Иван, — к сожалению, поздновато мы родились, время новосёлов прошло, и трактора придётся водить без любимых — по той простой причине, что не успели обзавестись подругами… всё впереди!»

На душе стало легко, радостно, и немножко жаль стариков, для которых сон — единственная отрада. А за окном раскинулась степь. Она изо всех сил бежала под стук колёс. Лишь изредка мелькали постройки, стеклянные блюдца озёр, да ещё реже пробегали вдали похожие на коз стада каких-то животных.

— Сайгаки, — пояснил, окончательно проснувшись, многоопытный дед, — здесь их десятки тысяч. Стреляют — не перестреляют. И с машин палят, и с вертолётов. Вкусное мясо, шкурка хорошая, рога в цене.

Когда показался областной центр Кзыл-Орда, вздохнули с облегчением: приехали! Никто не знал, что целина бескрайняя. До места работы колесить да колесить.

Иван Коростик попал в Джологадский район. «Скорее всего, дадут трактор — и айда в степь, — рассуждал он, — говорят, эти степи длинные-предлинные, сел за баранку МТЗ-82 или за рычаги ДТ-75 — и вперёд, полю конца-края не видно, не то что на родной Витебщине, где негде развернуться, участки — как дородной бабе присесть. Здесь иной совхоз побольше белорусского района».

Ребят поздравили с прибытием, угостили вкусным казахским пловом, дали сутки на отдых, а там вручили технику: кому гусеничный трактор, кому «Беларусь», а некоторым ключи от грузовых машин.

— Стране нужен хлеб, — напутствовал молодых механизаторов то ли второй, то ли третий секретарь райкома партии, — мы надеемся, что белорусы не подведут.

Оставался не у дел лишь Иван. Он не получил ни машины, ни трактора.

— Повезло, отправят назад, — подбрасывали шпильки ребята, — выплатят компенсацию, и будь здоров. Пришла телеграмма из Витебска, что без тебя область не обойдётся.

Чёрный юмор, а на душе скребут кошки. Затянулось ожидание: сколько можно тянуть тянучку?

Неожиданно к Ивану подошёл, несмотря на жару — в белой рубашке и чёрном костюме, солидный мужчина.

— Вы Иван Болеславович? — спросил он.

— Да-а, — удивился юноша.

По имени-отчеству назвали его едва ли не впервые.

— Я — директор местного СПТУ. Хочу предложить вам должность мастера. Будете готовить трактористов. Зарплата сто двадцать рублей.

— Какой из меня мастер? — растерялся Иван.

— У вас прекрасная характеристика, хорошие оценки по материальной части, вождению. Не хватает механизаторов. Есть желающие учиться, а учить некому.

— А жить где?

— Дадим общежитие. И места у нас красивые. Сырдарья рядом, а в степи архары, косули, джейраны, сайгаки. На охоту возьму, на верблюдах прокатим, на ишаках.

Иван рассмеялся, представив себя на верблюде. Директор ему понравился, и он — директору. Может, действительно согласиться?

— Не боги горшки обжигают, у нас народ простой, всегда поможем.

И Ваня неожиданно для себя кивнул головой. Уже через час был подписан приказ о назначении его мастером. Ученик в мгновение ока превратился в учителя.

— Не жалели потом? — спросил я.

— Нисколечко, — улыбнулся Иван Болеславович, — хоть едва ли не все ученики были постарше мастера: казахи, украинцы, молдаване… Изучали материальную часть, вождение гусеничного ДТ-75 и нашего МТЗ-82. Учил и сам учился пахать, сеять — одним словом, всему тому, чему учили меня в Глубоком.

— Удалось поплавать в Сырдарье, сходить на охоту, прокатиться на верблюде?
— Сырдарья быстроходная, но купался, а вот с верблюдом и охотой не получилось. Не до них было. Занятия. Подготовка к занятиям. Всё это занимало много времени. Какие уж тут развлечения? Много узнал о Казахстане, его людях, и сегодня, когда смотрю сюжеты об этой большой стране, вспоминаю свою целинную эпопею, радуюсь успехам братской республики, где сегодня проживает более ста тысяч белорусов.

Ребята возвращались домой радостные, возбуждённые, при деньгах, пусть не больших, но и не малых для учащихся СПТУ. Можно было справить обновки, купить родным подарки.

У развёрнутого знамени

Попала недавно в руки «Комсомольская правда». Нарвался на рубрику «Анекдот в номер». Читаю: «Учёные проанализировали медицинскую статистику, и оказалось, что у мужской половины населения России, достигающей возраста 27 лет, самопроизвольно проходят неизлечимые болезни».

Задумался. Долго не мог взять в толк, от чего они, чёрт возьми, эти болезни, проходят. Раз перечитал, второй, третий — ну никак не мог понять, где смеяться. Ребус получается. Ведь люблю юмор, сам пишу юмористические рассказы, а допетрить, что к чему, не могу. Что это за болезни у наших соседей, и почему они ни с того ни с сего самопроизвольно проходят именно после двадцати семи лет, а не после двадцати пяти или, скажем, после двадцати шести?

Решил показать заумный анекдот знакомому журналисту. Тот удивлённо посмотрел на меня, покрутил пальцем у виска: мол, рехнулся, если не понимаешь таких простых вещей — после двадцати семи ребятам не надо «косить» от армии.

Немая сцена. Через несколько секунд меня начало трясти от смеха. Как всё просто: в России, получается, призывники не хотят по доброй воле идти в армию, вот и придумывают себе болезни. Шуточка ещё та: «достойных» защитников отечества воспитывает «Комсомолка».

Рассказал эту историю Ивану Болеславовичу, и он, как я когда-то, рассмеялся.
— О времена, о нравы! И я, и мои сверстники охотно шли в армию. После «дембеля» какое-то время с гордостью ходили в военной форме. В ней даже на танцы заявлялись. Отбоя от девчат не было, они считали, что не служивший в армии — ни Богу свечка, ни чёрту кочерга.

После окончания училища, целинной эпопеи Иван Коростик зашёл к председателю колхоза имени Суворова.
— Возьмите на работу! — заявил с порога.
— Почему бы не взять, механизаторы как воздух нужны, — ответил председатель.

До призыва в армию Иван пахал, сеял, перевозил грузы. Случалось, трудился по двенадцать часов в сутки. В колхозе рабочий день ненормированный, тут не до жиру — быть бы живу.

— Увольняйся, — советовали друзья, — хоть месяц перед армией погуляешь!

Молодой механизатор не внял советам товарищей. Ему нравилась его работа, общение с людьми. Уже тогда начали зреть мысли, как и за счёт чего увеличить производительность труда, повысить урожайность, уменьшить ручной труд.

Пройдут годы, и не Ване, а Ивану Болеславовичу Коростику удастся не только воплотить юношеские мечты в реальность, но и сделать куда больше.

В сентябре, когда окончилась уборочная страда, весь хлеб был свезён в закрома, полным ходом шла уборка картофеля, Ивана Коростика призвали в армию.

Служить направили в ГДР, во внутренние войска. Начались армейские будни. Ранние подъёмы, зарядка, кроссы с полной выкладкой, разборка-сборка автомата, пистолета Макарова, запланированные и внеплановые учения.

Многим ребятам, особенно городским, попавшим в армию сразу после школы, было особенно тяжело. Кое-кто не мог больше двух-трёх раз подтянуться на турнике, уложиться в нормативы на кроссах. Случалось, плакали в подушку.
— Хорошо тебе, — завидовали Ивану, — ты и за плугом ходил, и сено косил, и плавал, и бегал, вот и кроссы нипочём.
— Допустим, в городе плуга не было и дефицит на косы, но ведь у вас хватало бассейнов: кто мешал плавать, бегать хотя бы за девчатами? — полушутливо парировал Иван.
— Родители виноваты, — вздыхал коренной москвич, — вбивали в голову, что физический труд притупляет ум.
— А где твой собственный ум был? — улыбался Иван. — Помнишь, у Некрасова: «Эту привычку к труду благородную нам бы не худо с тобой перенять…» Ещё не поздно, главное — терпение: будешь бегать кроссы не хуже других и подъёмы с переворотами на турнике делать. На том же кроссе держись за мной, старайся не отстать, перетерпи — сам себя зауважаешь. В конце я, конечно, взвинчу темп, отстанешь, но, как минимум, окажешься в золотой средине, а со временем, чем чёрт не шутит, всех обставишь.

Физически крепкий, выносливый, всегда спокойный и доброжелательный, Иван пользовался авторитетом и среди друзей, и среди командиров. Присвоили звание ефрейтора. Послали на родину первую благодарность и снимок у развёрнутого знамени, а через полгода — опять благодарность и фото у знамени. Такой чести удостаивался далеко не каждый солдат.

Служить за границей было нелегко. В увольнение (как бы чего не вышло) отпускали крайне редко и то группой, чаще всего во главе со сверхсрочником. Вот и бежало время медленно. В свободное время писали письма знакомым и даже незнакомым девчатам.

— Жаль, не сохранились те письма и ответы, — улыбается Иван Болеславович, — посмеялись бы вместе.

Между тем служба подходила к концу. Ивана Коростика отправили на шестимесячные офицерские курсы, по окончании которых присвоили звание младшего лейтенанта. Настойчиво предлагали остаться в армии.

— Многие офицеры и сверхсрочники мечтают попасть за границу,— говорил Ивану замполит,— считай, что тебе повезло, поймал журавля в небе. Оставайся — не прогадаешь. Многие написали рапорты. Крутить в колхозе баранку и коровам хвосты всегда успеешь.

Обидно такое слышать.

— Нет уж,— отвечал молодой офицер,— лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Словно магнитом, тянуло домой. Молодость бескомпромиссна. Редко гонится за выгодой. Возвращался Иван на родину весёлый, радостный: казалось, весь мир у него ног, протяни руку — и вот оно, счастье, совсем рядом.

Начальник над начальниками

Всему на свете своё время, всему под небесами свой час. Есть время родиться и время умирать, время сеять и время корчевать…

Библия

Счастье было отнюдь не рядом. Для Ивана Коростика началось, пожалуй, самое непростое время, время поисков своего места в жизни. Друзья советовали податься в милицию: как-никак офицер, прекрасная характеристика из армии. В Докшицком РОВД, если обратиться, только обрадуются: не хватает кадров. Можно выбирать: хочешь — иди в патрульную службу, хочешь — в участковые. Там и подучиться можно. С направлением поступить в среднеспециальное училище и даже академию намного легче. Не хочешь идти на стационар — учись на заочном.

— Не моё это,— отвечал Иван.

— Почему не твоё?

— Сердцем чувствую — не моё…

— А что твоё?

— И сам не знаю, как в сказке: иди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что! Буду искать!

— Удачи, дружок! Кто ищет — тот всегда найдёт.

Красивая пословица, но можно и всю жизнь прожить в поиске. Учёба действительно никуда не убежит от Ивана Болеславовича: он окончит Пинский индустриально-педагогический техникум, а там и Великолукский сельскохозяйственный институт.

После раздумий и колебаний Иван устроился трактористом в Докшицкий дорожно-эксплуатационный участок. Интересная, но однообразная работа. Хотелось чего-то нового; сменил трактор на грузовую машину, а там перешёл в лесничество, а ещё через год — в Полоцкую автобазу Витебского облпотребсоюза. Здесь Иван Болеславович (отныне будем называть его так) трудился слесарем пятого разряда, исполняя обязанности механика…

— Как в песне,— вспоминает он,— и носило меня, и кидало меня. Это была серьёзная школа жизни. Везде старался трудиться честно. Может, по этой причине начальство примечало, и в августе тысяча девятьсот семьдесят седьмого года стал я начальником автоколонны той же Полоцкой автобазы Витебского ОПС.

— Трудно было учиться и работать?

— Непросто. Работа. Семья. Женился рано, в семидесятом, в двадцать два года. Жена Антонина Фёдоровна — инженер-строитель, малая дочь, за которой глаз да глаз нужен, а тут ещё курсовые, сессии. Думал, больше учиться не буду, ан нет, друзья уговорили — поступил в Великолукский сельхозинститут. Само собой, на заочное отделение.

— Вы работаете начальником автоколонны, и вдруг сельхозинститут. Это как-то нелогично. В чём причина?

— Трудно объяснить, но где-то в глубине души теплилась любовь к земле, маленькие корни этой любви разрастались.

— Но у вас была высокая должность — как говорят в народе, начальник над начальниками…

— Это вы хватили через край, я не чувствовал себя начальником. Справлял добросовестно свои обязанности, никогда не обижал честных, бесхитростных людей: они верили мне, я им. Не целинная, уже вторая эпопея затянулась, в общем-то, на восемь лет. А там ещё отработал три года в «Лепельмежрайгазе» — начальником Докшицкого цеха сжиженного газа. Не покидало чувство, что это всё долгая прелюдия, тропинка, просёлок, впереди главное поле жизни. И это поле надо тщательно подготовить, засеять, убрать урожай.

В августе 1986 года Коростика избрали председателем колхоза «Комайский». Через полгода хозяйство влилось в колхоз имени Суворова, и возглавить объединённый коллектив общее собрание доверило Ивану Болеславовичу.

Проба огнём

«Горбатая» перестройка поставила на колени лучшие хозяйства республики. Когда-то на всю Беларусь гремели имена дважды Героев Социалистического Труда, двух великих Владимиров — Бедули и Ралько. Это были лучшие хозяйства великой страны, аббревиатура которой — СССР — пугала полмира. В брестские колхозы «Оснежицкий» и «Советская Белоруссия» набраться ума-разума приезжали кремлёвские чиновники, руководители областей, районов, сельскохозяйственных коллективов «от Москвы до самых до окраин». Владимиру Бедуле посвятил поэму далеко не придворный, охаянный в своё время самим Хрущёвым поэт Андрей Вознесенский.

Две золотые звезды на пиджаке — это и слава, и власть. С ними «достучаться до лимитов» было во много крат проще. Они, люди со звёздами, образно говоря, если было желание, открывали двери почти в любой кабинет ЦК КПБ, что уж говорить о Совмине или Министерстве сельского хозяйства республики. Давно известно: что можно Юпитеру — не позволено быку. Мудрым народом были древние. Прошли тысячелетия, а не многое изменилось.

На пятки «Оснежицкого» и «Советской Белоруссии» наступал кировский «Рассвет» Кирилла

Орловского. Знаменитому чекисту, а позднее—заменившему его Василию Старовойтову аппаратчики рангом пониже из ЦК КПБ боялись дважды на день позвонить.

Казалось, колхозный строй держался на трёх китах: «Оснежицком», «Советской Белоруссии», «Рассвете»… Две золотые звезды на груди—это бронзовый бюст при жизни.

Были и другие маяки, но три кита, три государства в государстве—святое, вне критики. Корреспондента «Сельской газеты», органа ЦК КПБ (теперь «Белорусская нива»), в «Рассвете» изволил принять лишь заместитель главного бухгалтера. Василий Константинович не удосужился: знай, сверчок, свой шесток.

И всё это в одночасье рушилось, летело в тарарам. Треснули налаженные связи, перестали поступать корма, прекратилось финансирование, до заоблачных высот взлетели цены на технику, запчасти, строительные материалы. Из трёх «китов» ослаб, но не дышал на ладан лишь один—бедулинский. Мудрому председателю удалось удержать колхоз на плаву, а «Рассвет» и «Оснежицкий» сдавали позицию за позицией. Что уж говорить о других лидерах, о средних и слабых хозяйствах!

— Можно сказать, в недобрый час вы приняли хозяйство. До развала великой страны оставалось каких-то три года. Назревали грозовые события. Что представлял собой докшицкий колхоз имени Суворова? Какое наследие получили вы от предшественника?—интересуюсь у Ивана Болеславовича.

— Очень даже завидное наследство: полтора миллиона рублей долга. Не сегодняшних, а советских, полновесных. Ни дорог, ни жилья, ни клубов, ни приличных животноводческих ферм. Зарплату начисляли, но не всегда выплачивали, и была она мизерной. Отсюда и дисциплина хромала. К тому же райцентр рядом—там нужны механизаторы, водители.

— Короче, куда ни кинь—везде клин?

— Можно сказать и так. Предвидел ли надвигающийся хаос, развал великой страны? Не буду хитрить, выставляя себя этаким провидцем: конечно же, нет, иначе трижды подумал бы, принимать ли колхозную печать, а с ней—всю ответственность за хозяйство. Но взялся за гуж—не говори, что не дюж. Главное—заинтересовать народ: хорошо платить за хорошую работу, обеспечить специалистов, молодых механизаторов и животноводов, достойным жильём. Тогда не побегут люди из хозяйства, и дисциплина улучшится.

— Наша белорусская пословица гласит: «Лёгка сказаць, ды цяжка дыбаць».

— Это действительно так. Я пришёл в хозяйство не с улицы. Было немало друзей, руководивших колхозами. Не однажды беседовали, расспрашивал о поисках, находках, на праздниках и даже на совместной охоте прислушивался к спорам председателей колхозов, районных руководителей. Я знал, чем живут хозяйства района, какие у них проблемы.

Сказать, что первое время у «суворовца» Коростика не было свободного времени—ничего не сказать. Вставал раньше солнца, ложился спать, когда на небе высыпали звёзды. Они, высокие и недоступные, сверкали, подмигивали: дерзай, председатель. Случалось, и среди ночи будили. Сегодня поездка в Минск, завтра в Витебск, послезавтра в Гомель. И всегда надо отпрашиваться у районного начальства, ставить в известность о своих передвижениях.

— И чего ты в том Гомеле не видел?—вопрошал начальник управления сельского хозяйства.—Это, в конце концов, не наша область. Небось, к друзьям намылился?

— Разве от вас скроешь что-либо?—подбрасывал сухое поленце в пылающий гневом костёр Иван Болеславович.—Друзья-то, в отличие от вас, подешевле суперфосфат ценят. Съезжу на сутки, а зарплату свою оправдаю на годы. Не грех, как вы говорите, и намылиться!

Всего лишь за три года Иван Коростик выведет хозяйство на новый виток: без преувеличения, произойдут коренные изменения. Как и за счёт чего—стоит рассказать подробнее, иначе не объяснить, почему отсталый колхоз стал одним из лучших в районе, почему через одиннадцать лет Президент страны Александр Григорьевич Лукашенко подпишет Указ о назначении Ивана Болеславовича Коростика председателем Полоцкого райисполкома, а в сентябре 2006 года даст согласие на избрание председателем государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов».

Такой карьерный рост неслучаен. За красивые глазки в наши времена людей не жалуют, иначе в стране сельхозколлективами, районными и областными исполкомами руководили бы случайные люди. А ведь, словно грибы после тёплого августовского дождя, в стране поднимаются агрогородки, растут урожаи хлебов, кукурузы, сахарной свёклы. В городах также не спят в шапку. Наши тракторы, БелАЗы, МАЗы известны всему миру. И это во многом благодаря талантливым, энергичным, грамотным специалистам, похожим на Ивана Болеславовича Коростика. Я называю этих людей руководителями новой формации.

Любимая пословица

Как известно, скоро сказка сказывается, да не скоро дела делаются.

Урожаи зерновых в колхозе Суворова в лучшие годы не превышали 24-х центнеров с гектара. Почва плохо заправлялась органикой, не хватало калийных, азотных и особенно фосфорных туков. Сорта неперспективные, семена массовых репродукций. Сплошь и рядом нарушалась технология возделывания зерновых культур, да и пропашных.

— При урожае в двадцать центнеров о рентабельности зерновых не может быть и речи,—сказал главному агроному Иван Болеславович,—надо приобретать новые сорта ячменя, тритикале, а со временем, возможно, озимой и яровой пшеницы. Это высокоурожайные культуры, в отличие от

ржи. Семена должны быть элитными или первой репродукции.
— А где деньги взять? В колхозной кассе пусто, хоть шаром покати.
— Где, где — в банке, вестимо! Под лежачий камень вода не течёт, — вспомнил свою любимую пословицу Иван Болеславович. — Возьмём кредит, а там сами развернёмся.

Агроном ехидно усмехнулся, но промолчал. «Так и дадут тебе, миллионеру по долгам, этот самый кредит. Жди Петра — сыр съешь».

Как Коростик уговаривал банкиров, сегодня никто не знает, но кредит на семена дали. Денег на элиту и первую репродукцию хватило лишь на две трети площадей, но и это была маленькая победа.

Иван Болеславович проследил, чтобы почва была хорошо подготовлена, заправлена органическими и минеральными удобрениями.

Любой агроном скажет, что треть урожая можно потерять, если плохо провести защиту растений от сорняков и болезней. Агроном честно признался, что раньше на защиту растений жалели денег.
— Скупой платит дважды, — сказал, как отрезал, Иван Болеславович, — надо приобрести современные ядохимикаты, организовать учёбу людей…

На всё про всё нужны деньги. Коростик начал развивать подсобное хозяйство. Открылись цехи по переработке овощей, розливу водки, производству блоков. В то время это было оправдано на все сто процентов, иначе хозяйство не поднялось бы с колен.

Росли надои молока, привесы на откормах. Появились деньги для покупки премиксов, прочих минеральных добавок, корма заготавливались с соблюдением технологий. А это опять же деньги. Сотни миллионов рублей шли на строительство. За две пятилетки Ивану Болеславовичу Коростику удалось возвести 200 домов! Это по двадцать домов в год! Скажи кому сегодня — не поверят. Даже в самых лучших хозяйствах республики строят за год не больше пяти домиков и, как правило, не за свои собственные деньги. Что уж говорить о средних и слабых СПК? Мне кажется, что построй Коростик в колхозе имени Суворова лишь эти две сотни домов — и то оставил бы о себе память на долгие годы. Но дома домами — появились, словно по мановению волшебной палочки, кирпичный завод, два торговых центра, две молочно-товарные фермы, два водоёма, Дом культуры, школа, детсад, зерноочистительный комплекс… И это далеко не полный перечень.

Асфальтировались дороги, строились спортплощадки, и самое главное — резко выросла зарплата. Она стала самой высокой в районе. На каждый заработанный рубль колхозники получали столько же. Обошли по этому наиважнейшему показателю благополучный во всех отношениях, один из лучших в области колхоз «Заря коммунизма», где мне, редактору отдела журнала «Беларуская думка» (основатель — Администрация Президента Республики Беларусь), пришлось не однажды побывать. В «Комзарю», как шутили острословы, приезжал из Москвы сам академик Чазов, тогдашний министр здравоохранения, лечивший первых лиц государства. А тут какой-то, ещё вчера бедный, родственник обошёл богатенького Буратино по зарплате.

Впрочем, и в колхоз зачастили корреспонденты, специалисты и руководители других хозяйств. Не обделяло своим вниманием и высокое начальство.
— Пойдёшь на повышение — не забывай про нас, сирых, — шутили друзья.

И они как в воду глядели. Однажды Ивана Болеславовича вызвали в облисполком. Принял сам губернатор.
— Засиделся ты, браток, в колхозе, пора расти по службе. Как смотришь на то, чтобы возглавить один из районов области?
— Не знаю, — растерялся Иван Болеславович.
— Тогда выбирай: Городок, Россоны, Чашники, Полоцк. Впрочем, на раздумье времени в обрез, раскачиваться некогда.

Крутой поворот

Выйдя из кабинета губернатора, Иван Болеславович спустился по ступенькам вниз, вышел на улицу. Он, забыв о водителе, который ожидал его в машине, подался почему-то в сторону пристани, где Западная Двина впадала в Витьбу и Лучосу. Хотелось побыть одному, собраться с мыслями. Перед очень уж сложным выбором поставил его губернатор. Одно дело руководить колхозом, совсем другое — районом. Это всё равно что капитана, минуя должности и звания старших офицеров, произвести сразу в генералы, наделить полномочиями, дать в подчинение дивизию.

Не совсем кстати вспомнился роман Ивана Стаднюка «Война». Там главный герой становится генералом, и перед ним открываются двери всех учреждений, домов чиновников самого высокого ранга, куда он, полковник, раньше был не вхож; и страшная ответственность за всё и вся.

«Когда ошибается председатель колхоза — это одно, а когда глава администрации района — совсем другое, — рассуждал Иван Болеславович, — он несёт ответственность за всех и вся. Это десятки колхозов, предприятий, строительных организаций, культура, спорт, школы, газета, радио, в конце концов — правоохранительные органы и многое, многое другое. Готов ли я взять ответственность за целый район, где живут и трудятся тысячи и тысячи людей?»

Рыжее апрельское солнце заставляло щуриться. Весна набирала силу и здесь, на Витебщине. Ещё кое-где чернел затверделый лёд, в тени прятался лежалый чёрный снег, под ногами хлюпала вода, и приходилось обходить лужи.

Перед непростым выбором поставил его губернатор Владимир Павлович Андрейченко. Каждый район по-своему уникален. В Чашницком — десятка полтора промышленных предприятий, знаменитая на всю страну Лукомльская ГРЭС; в Рассонах, где партизанил Пётр Миронович Машеров, — прославленное озеро Нещердо, воспетое белорусским и польским писателем-сказочником Яном Борщевским. Его «Шляхтича Завальню» сегодня знает вся Европа. Что уж говорить о древнейшем славянском городе Полоцке и его окрестностях.

Невольно подумалось: «Нет красивее Витебщины, её чудо-озёр, быстрых рек, лесов и пущ, где подпирают небо бронзостволые сосны, её красивого языка с удивительно живучими окончаниями на «еть»: идеть, пяеть. Но как непросто здесь выращивать зерно, тот же картофель. Мелкая контурность, неплодородные почвы, часто пески, подстилаемые песками, отсюда самый низкий в республике балл земли, и даже сроки сева короче, чем в других областях. Не раз об этом говорили в высоких кабинетах и даже на охоте руководители хозяйств, районов, товарищи из области, республики. Кое-кто высказывал мнение, что области не стоит так много площадей засевать зерном, а нужно делать ставку на травы, выращивать скот. В этом, конечно, есть доля истины, но, к сожалению, в мире нет рынка зерна, дорого оно стоит, нельзя без своего хлебушка…»

Возле освободившейся из-подо льда Западной Двины игрались мальчишки, бросая в воду камушки, соревновались, кто больше нарежет кругов на воде. Неожиданно для себя Иван Болеславович поднял плоский камушек и что есть силы, как когда-то в детстве, пустил по воде.

— Раз, два, три… пять… десять,—считали восхищённые ребята,—во дядя даёт, двенадцать кругов!

Надо было торопиться домой, в свой Докшицкий район. И в колхозе дел невпроворот, а ещё придётся сдавать хозяйство. И как деликатно сказать о переезде жене? Ведь одиннадцать лет на одном месте прожили, а это не одиннадцать дней или недель. Какой бы район ни выбрал, с квартирой какое-то время придётся подождать. Жить придётся раздельно, но тут уж ничего не поделаешь.

Иван Болеславович остановил свой выбор на Полоцком районе. Ему там не однажды приходилось бывать. Древний город подкупал своей красотой: церкви, собор, монастырь, где в маленькой каменной келье жила и трудилась Евфросинья Полоцкая. Не однажды любовался Западной Двиной, в которую впадала река Полота, возможно, и давшая название прославленному в летописях и веках городу-труженику, городу-бойцу, городу, подарившему миру знаменитого Франциска Скорину. Вспоминались запавшие в душу скориновские строки: «Понеже от прирождения звери, ходящие в пустыни, знают ямы своя; птицы, летающие по воздуху, ведают гнёзда своя; рыбы, плавающие по морю и рекам, чуют виры своя; пчёлы и тым подобная боронят ульев своих,—тако ж и люди, игде зродилися и ускормлены суть по Бозе, к тому месту великую ласку имають». Сотни лет минуло, а сказано будто вчера.

Но как ни красив Полоцк, как ни трогают душу звуки знаменитого органа, ему, Ивану Болеславовичу, больше всего легла на душу природа района: бескрайние леса, низины, равнины, сотни озёр, гордая Западная Двина с её притоками Ушача, Сосница, Полота, Нача. Как слова красивой песни с чистой, светлой мелодией, звучат названия тех же озёр: Ведета, Навлицкое, Янова и даже… Гомель. А леса, занимающие территорию в полрайона! Впору воскликнуть: это же как в раю! Увы, почвы далеко не плодородные: много песчаных, супесчаных. Трудно взять богатство из земли. А ведь с него, Коростика, будут спрашивать в первую очередь за урожайность зерновых, картофеля, свёклы, заготовку трав. Но ему ли бояться ответственности—в тех же Докшицах зе́мли не намного лучше. «Правда, я отвечал за одно хозяйство, а здесь десятки, да и район один из самых крупных в республике, на треть больше того же Докшицкого. Ох, как нелегко придётся».

— Волновались ли перед встречей с Президентом?

— Само собой, но Александр Григорьевич встретил всех нас, новых назначенцев, если можно так сказать, приветливо. На душе отлегло. Вышли из Администрации Президента со старым знакомым, Анфимом Ивановичем Михалевичем. «Поздравляю, полочанин!»—сказал он на улице. «И тебя поздравляю, товарищ чашничанин,—ответил я.—Будем дружить». Мы пожали друг другу руки и разошлись. Теперь встречаемся в Минске: Анфим Иванович—в Палате представителей Национального собрания, а я вот здесь, рыболов, охотник,—улыбается Иван Болеславович.—Судьбу, в народе говорят, на хромой кобыле не объедешь.

В небольшом очерке подробно не расскажешь, как непросто было в районе стабилизировать производство, реконструировать фермы, животноводческие комплексы. Район до прихода Коростика занимал в области по животноводству последнее место, а вышел в первую пятёрку.

Как когда-то в своём колхозе имени Суворова Иван Болеславович во главу угла ставил строительство, так и в Полоцком районе, как никогда, интенсивными темпами росли новые дома, клубы, фермы. Спортсмены района занимали первые и призовые места в области по волейболу, многоборью, игровых видах спорта.

С каждым годом становилась выше урожайность основных сельхозкультур, росли привесы на откормах, надои молока. Обновлялся машинно-тракторный парк. На смену старым тракторам, комбайнам приходила новая, современная техника.

— До Полоцка,—говорит Иван Болеславович,—я чаще находил время на охоту, мог позволить себе побродить с ружьём по лесу, посидеть с друзьями у костра. Забили зверя, не забили, но можно погутарить, обменяться опытом, договориться о взаимопомощи. Увы, это счастье для председателя райисполкома скорее исключение, чем правило.

Медленнее, чем хотелось бы, ещё недавно отстающий район набирал силу, выходил на уровень областных показателей. Не могу не процитировать строки из характеристики председателя Полоцкого районного исполнительного комитета Ивана Болеславовича Коростика:

«Зарекомендовал себя грамотным специалистом, умелым организатором, способным глубоко и оперативно анализировать ситуацию и принимать эффективное решение.

Наметились положительные тенденции в развитии сельскохозяйственного производства, промышленности, строительства, торгового и бытового обслуживания населения, социальной сферы.

Обеспечено выполнение доведённого задания по строительству жилья.

Стабилизировалась работа учреждений здравоохранения, образования, культуры, улучшилось социальное обеспечение жителей района, в первую очередь инвалидов, ветеранов войны, престарелых граждан.

И. Б. Коростик уделяет большое внимание подбору и воспитанию кадров работников исполкома, руководителей районных служб, организаций, предприятий, хозяйств, побуждает специалистов к активному творческому труду, не терпит равнодушия, безразличия к порученному делу.

Как руководитель района, он постоянно встречается с трудовыми коллективами, населением, доступно разъясняет политику, проводимую Президентом и правительством страны; внимательно выслушивает просьбы жителей района, вникает в их нужды и запросы, принимает оперативные решения по удовлетворению законных интересов граждан.

Пользуется авторитетом в районе и коллективе райисполкома».

Вот такая характеристика. За каждым словом, каждой строкой, пусть даже написанной казённым, канцелярским языком, виден человек с большой буквы, который все силы отдаёт порученному делу.

Более четырёх лет возглавлял Полоцкий райисполком Иван Болеславович Коростик. За это время он сделал столько, что другому за всю долгую жизнь не снилось. Уходил с района с сожалением, что не всё успел осуществить. Но разве можно объять необъятное?!

Указ № 450

Все страны мира озабочены, как сохранить своё национальное богатство — животный и растительный мир. Для этого создавались и создаются специальные департаменты охраны, инспекции, комитеты. Даже в самых демократических странах нарушители закона строжайше караются, а кое-где к ним применяется даже смертная казнь: сто раз подумаешь, прежде чем охотиться без лицензии на редких животных, ловить крабов и раков-краснокнижников, уничтожать ценные растения. Впрочем, кому в Китае придёт в голову стрелять в панду — бамбукового медведя? Ответ прост: только больному на голову. Как не припомнить: в своё время областная газета одной из советских республик Азии напечатала заметку про отважного пастуха. Он пас отару и заметил, как снежный барс схватил овцу и пытался её унести. Смелый сторож уложил кровожадного зверя с первого выстрела. Заметка так и называлась: «С первого выстрела».

Ответ корреспонденту дал в «Комсомольской правде» лауреат Ленинской премии, писатель с мировым именем, известный во всём мире защитник «братьев меньших» Василий Песков. Он написал, что таких барсов остались единицы, они на вес золота. Одно такое животное стоит не одной отары овец; не мужество, а скорее преступление — убить зверя-краснокнижника.

В нашей стране до середины девяностых годов был период разброда и шатаний, когда браконьеры чувствовали себя вольготно. С приходом к власти первого Президента Беларуси час беззакония прошёл, но любителей лёгкой наживы это не всегда останавливало. Надо было принимать эффективные меры для защиты бесценного народного достояния. Государство нуждалось в опытных, волевых кадрах, которые готовы защищать природу от всех нарушителей, невзирая на должности и ранги.

В начале нового столетия директором департамента охраны рыбных ресурсов и охотничьих видов животных Министерства природных ресурсов и окружающей среды был назначен Иван Болеславович Коростик, а через некоторое время выдвинут на должность заместителя начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

— И опять переезд, Иван Болеславович, и опять новое дело.

— А меня всегда привлекала новизна. Я из тех людей, кому в самом комфортном кабинете тесновато. Сижу в кресле, как на гвоздях, а тут предлагают святое дело: защиту природы, которую люблю больше жизни. Я и раньше всеми фибрами души ненавидел браконьеров, проходимцев, негодяев, готовых из-за рубля сто вёрст гнать дубцом жабу. Читал когда-то заметку, как в Сибири за мешок орехов срезали могучие кедры, и на глаза невольно наворачивались слёзы. Тот же зверь может убежать, а дерево беззащитно. Сохраним природу в её первозданной красе — внуки и правнуки будут благодарны нам.

— Как вы отнеслись к знаменитому Указу Президента № 450, преобразовавшему общественное объединение «БООР» в государственно-общественное?

— Сказать «положительно» — ничего не сказать. Прежнее объединение дышало на ладан, тысячи охотников и рыболовов выходили из него, оно являлось по существу бесправным, не имело государственного удостоверения на ведение охоты, нужны были коренные изменения, и президентский Указ был как нельзя кстати. Первый пункт гласил: «Согласиться с предложением общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» о преобразовании его в установленном порядке в республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество охотников и рыболовов» (далее РГОО «БООР») при соблюдении условий, установленных в настоящем Указе».

— И что это были за условия?

— Перечислять все не стану, сами ознакомитесь с Указом № 450, а вот некоторые значимые назову. Это содействие в реализации единой государственной политики в области ведения охотничьего и рыболовного хозяйства, охоты и рыболовства; создание членами объединения надлежащих условий для охоты и рыболовства; обучение граждан страны правилам охоты и любительского рыболовства, подготовка их к сдаче специального экзамена для получения государственного удостоверения на право охоты и любительского рыболовства; содействие органам госуправления в реализации

международных природоохранных конвенций, участником которых является Беларусь; организация и ведение охотничьего собаководства. РГОО «БООР» наделялось правом создавать свои организационные структуры, иметь флаг, эмблему, вымпел, а полученные от предпринимательской деятельности прибыль, доходы, имущество после уплаты налогов, выплаты зарплаты направлять на выполнение указанных задач. Указ Президента №450—это наиважнейшая веха в жизни объединения, второе дыхание. Государство взяло объединение под своё крыло. Благодаря его поддержке укреплялась материальная база, появились средства на биотехнические и спортивные мероприятия, что давало возможность выходить на результативные показатели.

— На четырнадцатом внеочередном съезде «БООР» поступило согласованное с Президентом страны предложение от Совета Министров избрать вас председателем РГОО «БООР». Небось, волновались: а вдруг народ проголосует против?

— Не без того, доверием людей всегда дорожил и дорожу. Против проголосовал один участник съезда, двое воздержались. И вот уже пять лет я руковожу объединением.

— Что собой представляет сегодня РГОО «БООР»? Что удалось сделать за последние годы, что нет? Какие проблемы волнуют вас накануне славной даты—девяностолетия организации?

Иван Болеславович поднялся из-за стола. За окном шумел город, куда-то бежали машины, спешили люди, и, как в начале разговора, неторопливо крутилась лента диктофона.

Монолог Коростика

— Говорят, красноречивее слов—цифры. 16,8 миллионов гектаров охотничьих угодий страны предоставлены в аренду и безвозмездное пользование. Самый крупный арендатор—наше объединение. За нами числится десять миллионов гектаров! Больше трети этой площади—под лесами, 60 процентов—полевые, менее продуктивные угодья, и 5 процентов—водно-болотные. Короче, мы арендуем 62 процента всех охотничьих угодий Беларуси. Плюс более 70-ти водоёмов платного любительского рыболовства и рыборазведения. В объединении сегодня состоит свыше 60 тысяч рыболовов и охотников.

Главой государства поставлена задача в 2011 году всем сработать рентабельно, выйти на международный уровень развития охотничьего хозяйства. Должны быть на высоте биотехнические мероприятия, экологические, спортивные и прочие.

Добиться этого не так уж и просто. Наше объединение владеет далеко не самыми продуктивными угодьями по сравнению с другими пользователями, у которых под лесами 54 процента площадей, полевые угодья занимают 38 процентов, и 8 процентов—водно-болотные. Львиную часть охотугодий, которые подверглись радиоактивному загрязнению и являются по сути дотационными, арендует РГОО «БООР». Решениями райисполкомов до первого января 2010 года передано в пользу юридических лиц 3,7 миллионов гектаров охотничьих угодий, или более трети от арендуемых нами территорий. Сделано это без ведомственной подчинённости, республиканских органов государственного управления и госорганизаций.

Даже самые скромные подсчёты показывают, что наше республиканское государственно-общественное объединение «БООР» (правопреемник ОО «БООР») за прошедший период потеряло более 50 тысяч членов общества, проживающих на отчуждённых территориях. Эти потери только от вступительных и членских взносов составляют около 3,5 миллиардов рублей, а с учётом средней продуктивности переданных охотугодий лишь в 2009 году недополучено ещё 5,5 миллиардов рублей от охото-хозяйственной деятельности.

При всём при том часто изымались лучшие охотничьи угодья и передавались лицам без ведомственной подчинённости, преследующим собственные интересы, связанные с основным бизнесом. Их деятельность не всегда соответствовала и соответствует задачам, определённым Государственной программой развития охотничьего хозяйства на 2006–2015 годы.

После Указа Президента №450 доходы объединения выросли в 3,7 раза, превысили 10 миллиардов рублей, но некоторым организационным структурам тяжело выйти на безубыточную работу без привлечения денег, поступающих за членские взносы.

Отрадно отметить, что благодаря налаженной охране фауны, биотехническим мероприятиям постоянно растёт численность основных охотничьих видов животных: кабана—на 143 процента, лося—на 128, оленя—на 132 и косули—на 124 процента.

Строятся Дома охотников и рыболовов, реконструируются и ремонтируются действующие базы. Перевыполнен план по увеличению доходов над затратами.

При каждой районной оргструктуре открыты юношеские секции охотников и рыболовов.

РГОО «БООР»—член ряда международных организаций: Совета по охоте и охране дичи, Кинологической федерации, Конфедерации рыболовного спорта. Кстати, объединение признано национальной федерацией по рыболовному спорту. Мы постоянно проводим по рыбспорту чемпионат и соревнования на кубок Республики Беларусь. Наши спортсмены в 2010 году впервые принимали участие в чемпионате мира по рыболовному спорту. Из 32-х команд—участниц соревнования белорусы заняли почётное восьмое место.

Всё вышесказанное вселяет оптимизм, позволяет уверенно смотреть в будущее. Надо трудиться не покладая рук, искать новые формы и методы работы, активнее использовать зарубежный опыт, а задачи, поставленные Президентом страны, мы обязательно выполним.

Эпилог

За окном шелестит налетевший невесть откуда дождь, стучится в окно, словно обижается, что не пускаем его в кабинет. Мы на время как-то незаметно отвлеклись от разговоров об охоте и рыболовстве. Расспрашиваю Ивана Болеславовича о родных и близких. Оказывается, дочери Ира (юрист) и Наташа (главная медсестра

поликлиники) подарили бабушке и деду четверых внуков, в которых те души не чают. Антонина Фёдоровна и Иван Болеславович живут вместе сорок лет.

Мне ничего не остаётся, как пожелать председателю объединения, чтобы все его мечты воплотились в жизнь.

Выхожу на улицу. Дождь звонко стучит по зонтику, и под этот мерный перестук вспоминаю, как тепло отзывались об Иване Болеславовиче руководители и сотрудники всех областных объединений, где мне пришлось недавно побывать. Такие отзывы, знаете ли, надо заслужить.

Кирилл Ковальджи

Открытый всем ветрам

Евгений Степанов. «Историк самого себя»
Стихи. Двуязычное русско-румынское издание.
Перевод Лео Бутнару
Изд. Культурный Фонд Поэзия. Яссы, 2010

Творческие личности бывают разные. Одни, так сказать, «местнические», действующие в пределах определённого жанра, другие — открытые, экстенсивные, так сказать — «имперцы». Что кому дано — был бы талант. Так вот — Евгений Степанов принадлежит к числу создателей собственной литературной империи. Он и поэт, и прозаик, и критик, и переводчик, и редактор, и издатель…

спокойно
никаких истерик
историк самого себя
живу — не смят и не растерян —
и не влюбляясь а любя

В поэзии (а речь сейчас о ней) он также склонен к ненасытной экспансии — легко переходит от традиционных форм к самым авангардным — от ямба к верлибру, от сонета к минимализму (вот, например, одностишие: «твоя душа-синичка села ко мне на ладонь»), беспокойно ищет себя — то в изобретательной звукописи, то в том, что мы сегодня называем «текстами». Его талант определяется прежде всего жизнелюбием, неуёмной энергией, напряжённой внутренней работой и — внешней литературной деятельностью. Его самосознание не чуждо иронии:

так получилось
я главный редактор издательства
    и нескольких журналов…
говорю правильные речи
молодые поэты меня слушают
неужели они не видят
я тоже молодой поэт…
я сам ничего не умею.

Редкий случай, когда деловой успех не является самоцелью, не замыкает человека на себя, а напротив — является средством плодотворного служения культуре. И собственной душе, собственному творческому развитию.

Всё, что хотел — увидел.
Всё, что хотел — сказал.
Всё, что хотел — купил.
Всё, что хотел — раздал.

Недаром в другом «тексте» Евгений говорит, что будь он богат, как Абрамович, дарил бы серебряные яхты налево и направо…

А пока дарит стихи. Себя, от себя. Ум пытливый, самокритичный, характер сильный, душа ранимая. Противоречивость натуры автора создаёт ту ауру доверия, сопричастности, которые и определяют интерес к его стихам. Интерес тем самым уже обеспечен при переходе от личных к темам отвлечённым — приглашение вместе сделать шаг в область сокрытых аналогий:

вино превращается в кровь
семя — в плоть
простолюдин точно Иисус
творит волшебство

Запоминаются и мини-портреты («старые руки / детские мозги / любимые глаза»), и развёрнутые — «бурлюк в нью-йорке» (жаль, что нельзя полностью процитировать!), старик одиноко аукает друзей-футуристов, а «стеклянные-оловянные глаза небоскрёбов / смотрят на него / и ничего не видят»…

Да, наибольшие удачи у Евгения Степанова — в чистом верлибре, отсутствие привычных поэтических атрибутов освежает слова, их сцепления, неожиданную логику образов (за исключением тех случаев, когда текст соскальзывает в обыкновенную прозу!). Я бы отметил стихи про «украинца коротича», который «оказался сильнее бессмысленных танков империи», про «союз писателей мёртвых», где общаются бессмертные, и, наконец, самое главное, вполне современное, с болью, иронией и надеждой:

упал самолёт
упали акции
упали доходы
душа
великомученица
взлетела

(Я рад, что в Румынии проявили интерес к русскому поэту, издали его книжку-билингву, что Лео Бутнару целиком её добросовестно перевёл. Позволю себе, однако, улыбку: переводчик в строке «а ты печальнее, чем плач» последнее слово случайно прочитал как «палач», чем, наверное, позабавил румынского читателя…)

Ольга Кузьмичёва-Дробышевская

Поющий пилигрим

Попросила:
— Богатства дай, Бог…
Дал мне Бог много-много дорог.
Я их в косу тугую вплела
и торить своё счастье пошла.
Каждый пройденный путь-волосок
златом падал в большой туесок,
что судьбою зовётся моей,
он с годами — полней и полней.
И становится злато добром,
осветляя виски серебром.
Только звона не слышно монет,
только не было денег и нет.
Что ж? Махнула рукой:
ну и пусть —
с ними путами стал бы мой путь
и мечте не лететь высоко.
Я шагаю по жизни легко!

Знать, такое богатство в душе,
что и денег не надо уже.

Памяти мамы

Кладбищенское поле.
Стою среди крестов.
Поверить трудно, больно:
теперь вот здесь твой кров,
теперь сюда с цветами
иду ко дню рожденья,
иду к любимой маме
в столь тихое селенье.
Не приняты здесь песни,
а как с тобой мы пели,
лишь соберёмся вместе…
Теперь поют метели,
да ветры в непогоду
печаль холмов молчащих
возносят к небосводу
с молитвами скорбящих.
Прости! Прости, что плачу…
О Боже, Крепкий, Святый,
дай силы мне, иначе
не вынесу утраты…
Родная, спи покойно.
К Святым взываю:
— Пусть
душе твоей достойной
лежит пресветлый путь.

Ах, надену любимое платьице красное,
обхвачу крепко талию я пояском,
позабуду обиды и ссоры напрасные
и — за город! А там, по траве босиком,

по знакомой тропинке в лесу, до излучины
нашей чистой реки — да к могучей сосне
прибегу, запою свою песенку лучшую.
Ты услышишь, придёшь на свиданье ко мне.

И закружатся чайки в стремительном танце,
обожжёт нам ступни раскалённый песок,
и прошепчет река: «Вам нельзя расставаться…»
Соскользнёт, заалеет в песке поясок.

Пасха в Москве

Взметнулись купола.
Христос воскресе!
Звенят колокола.
И сердце полнят радостные песни.
И я не умерла.
И я иду поющим пилигримом.
Апрель меня хранит.
Мелькают окна, город — мимо, мимо.
Под каблуком — звенит.
Из лабиринтов тёмных переходов
зовут ступени вверх.
В едином ликовании народа
замаливаю грех…
Раззолочённым светом «аллилуйя»
звенит, течёт с небес.
Пронзают землю благостные струи.
Воистину воскрес!

Держи меня! Я — странница. Держи.
Любовью крепко-накрепко вяжи…
Слетело с безымянного кольцо,
и камешек рассыпался пыльцой,
осколки сердца ветры замели
с земли до неба, с неба до земли…

Свободу пью изгнанницей всех стран
до боли в глотке, до саднящих ран.
Мне в вены въелась воля, будто ржа.
Безумец! Не удержишь птицу-жар.
Читай сиянье звёзд во млечной мгле:
поэту мало места на земле.

...Ведь человек есть не что иное,
как узкий мостик между природой и Духом...
Герман Гессе

Закрываю глаза... И вижу
тусклый свет над скоплением крыш.
Фонари. Облака. А чуть выше —
недоступная звёздная тишь.

Но Вселенной туманная просинь
тем, кто слышит, нетайно поёт
о любви, что прощенья не просит
и живёт, бесконечно живёт.

И нисходит небес откровенье:
между тленным и вечным есть связь —
тонкий мостик — полёт сновидений
и стихов предрассветная вязь.

Ужель, поэт,
тебе
всего дороже
пути?
В конце туннеля —
Божий свет?
Не Божий?..

Спеша за эхом
призрачной свободы,
монетами бросаешь
звонко годы.
Наград не ищешь, но —
живое слово,
как истину, и...
жизнью платишь снова.

Молитва о поэте:
— Небо, ты
убереги его
от немоты.

Собака в сугробе лежит.
Собака под вьюгой дрожит.
На морде простуженной — снег,
но теплится взгляд из-под век...
Вокзал. Поезда. Суета.
Бродяжья душа — сирота,
заложница вольных путей
и дней череды без затей...
В вагоне сижу у окна,
мчит поезд в метель. Я — одна.
Снежинками ветер стучит.
И вечность навстречу летит.

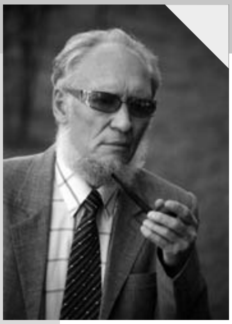
Девка распутная, рыжая,
с норовом дерзким — права!
Ты сыновьями унижена,
продана бесу, Москва.

Снова в осенней сумятице
на перекрёстке стоишь,
спрятав распятье под платьице,
блеском фальшивым горишь.

Снова раскаркались вороны
над беспокойной судьбой.
Ты ли не знала, что вороги
вскормлены будут тобой?

Огненным ливнем умылась ты
в годы лихие не раз,
но не просила о милости —
и нисходил к тебе Спас...

Время безумное катится.
На перекрестье стоишь
и во всемирной сумятице
златом сусальным горишь...



Владимир Гундарев

Тронуть трепетные струны…

Я в твоём пленительном плену.
Я тобой безжалостно пленён.
Зельем лихоманным опоён
Иль хмельным нектаром опьянён—
Коль смотрю на мир сквозь пелену?

Или это Божья благодать?
Наваждене ль дьявольское вдруг?
Заколдованный порочный круг
Иль неисцеляемый недуг?—
Нечего терзаться и гадать:

Как бы оно ни было, и впредь
Ничего не изменю в себе.
Радоваться буду и скорбеть,
Выстраданной вверившись судьбе,
Сладкий гнёт безропотно терпеть.

Без пяти двенадцать

Не надо за будущим гнаться
И рваться вперёд напролом:
Уже без пяти двенадцать,
А бездна—за первым углом.

Ведь с участью не разминуться,
Напрасны пред нею мольбы:
Мгновенье—и стрелки сомкнутся
На циферблате судьбы.

Но в духе извечных традиций
И в самозабвенье святом
День изо дня надо трудиться—
Жизнь не отложить на потом.

И время транжирить негоже,
Безделье и праздность—порок.
Свершить бы побольше, чем можешь,
Суметь за отпущенный срок.

В любви напоследок признаться,
Душой не старея и впредь,
Пока—без пяти двенадцать,
И многое можно успеть.

Ты, честь свою не уважая,
Извне благодеяний ждёшь,
Другим нескладно подражая,
С чужого голоса поёшь.
Доколе будешь ты бессильной,
Жить, унижаясь и скорбя?
Иди своим путём, Россия,
Надеясь только на себя.

«Казнить нельзя помиловать».

Текст без знаков препинания—
это партитура без нот.
А. Чехов

Стремятся бездари, прикинувшись поэтами,
Каким-то вывертом привлечь к себе внимание.
Их захватило модное поветрие—
Писать стихи без знаков препинания.

Теперь поэзию бессмыслица заполнила—
С кокетством и снобизмом графомания.
Осталось лишь достичь абсурда полного:
Писать стихи—из знаков препинания.

Примерно так:

« . — ; … — , : ! ?»,—
… ; . — :— , ? ; !!
« : , . — … ; — : ??»,—
; … : , — ; .— … !!!

У модернистов современной выделки
Ум изощрён, а слова нет заветного.
Невольно вспомнишь: голь хитра на выдумки,
Да только проку ни на грош от этого.

Ода воробьям

Воробьи—как евреи: бытуют везде,
На широтах любых, до полярного круга.
Если туго, то так же поддержат друг друга,
Ни за что не оставят беднягу в беде.

Воробьи—неунывы, их нрав незлобив,
Дружно держатся вместе весёлой ватагой.
На обидчика кинутся с дерзкой отвагой,
По-мужски опекают своих воробьих.

Увлекутся, как дети, вдруг шумной игрой.
К ним напрасно относятся люди предвзято.
Если даже слегка озоруют порой—
Но ведь это у них от избытка азарта.

Обитатели самых суровых краёв,
Терпеливо зимуют в предчувствии лета.
…Я чем дольше живу в мире суетном этом,
Тем всё больше и больше люблю воробьёв.

Был сызмальства я жизнью битым:
Мёрз, голодал, не видел света…
Теперь вознаграждён за это—
Я стал сибирским сибаритом.

Музыка и слово

Как на флейте и на скрипке
людям я играл, бывало,
Чтобы жизнь со мной мирилась
и меня не забывала.
Тудор Аргези

Не сподобился играть я ни на скрипке, ни на флейте,
Даже простенькой гармошки не затрагивал лады.
Тренькал чуть на мандолине, но учитель мой заметил:
«Пальцы слишком неуклюжи — ни туды и ни сюды».
Был я молод, мне мечталось ловко шпарить на гитаре,
Подражать кумирам-бардам, в упоительном угаре
Головы кружить девчатам, хмель вдыхая их волос…
Но ни разу семиструнку в руки взять не довелось.
Ксилофоном долго бредил, Гарри Гродберга органом,
Завораживали сердце гусли пращуров-славян,
Вера Дулова из арфы волны музыки кругами
Извлекала, выпуская в поднебесный океан.
Всей душой моей владели, отзываясь дрожью в теле,
Нежный вздох виолончели, неземная грусть свирели,
И сливались воедино от Ишима до Днепра
Украинская бандура и казахская домбра.
Все созвучия вбирая, чем я мог ответить людям,
Откровеньями какими, мучаясь в ночной тиши? —
Только словом вдохновенным, одолев рутину будней,
Тронуть трепетные струны человеческой души.

Суровой улыбкой и нежным оскалом судьбы
Довольствуюсь я — нет от прежних страстей ни следа.
И прожитых лет верстовые мелькают столбы,
И лента дороги уводит меня в никуда.

Подхлёстнутый плёткой, вздымается конь на дыбы,
Артачась, летит, разметая копытами грязь,
Потом устаёт, выбиваясь из сил и смирясь
С суровой улыбкой и нежным оскалом судьбы.

От гонки за призрачной целью и я изнемог.
Как надолбы — путь заграждают вельможные лбы.
Одно утешение — в одолевающих смог
Суровой улыбке и нежном оскале судьбы.

Когда ужаснёшься тому, сколь у нас голытьбы,
А сильные мира — в порочной погрязли гульбе,
Невольно прозреешь: даровано благо тебе
В суровой улыбке и нежном оскале судьбы.

Деревню город уничтожил:
Поля бурьяном заросли,
Безлюдье — аж мороз по коже —
И запустение земли.

Селенья брошены. Разруха,
Как будто здесь прошла война.
Ничто не потревожит слуха —
Пугающая тишина.

Так безрассудный сын сурово —
Злодею лютому под стать —
Безжалостно лишает крова
Свою беспомощную мать.

Замутнённый родник

Я хожу темнее тучи,
А душа горит огнём:
Наш «великий и могучий»
Непонятней с каждым днём.

Зрю: на полосе газетной
(То же говорит экран) —
«Толерантный», «транспарентный».
Может, это парень с репой?
И причём тут Талейран?

Журналистов рать ретиво
Сей использует момент:
«Как же быть без креатива? —
Без него контента нет».

Зря алмазы слов когда-то
Собирал в лукошко Даль:
Вытеснил их модератор
И, простите, мундиаль.

Если из бутылки бренди
Не отпить хотя бы треть,
То от бренда можно сбрендить,
А от тренда — затрындеть.

Выдаст менеджер лобастый
С мониторингом подсчёт:
Сколько «баксов» за год Басков
(Или «басков» Коля Баксов?)
Из «Шарманки» извлечёт.

А на вывески взгляните:
Супермаркеты кругом,
«Гранды», «Плазы», «Меги», «Сити» —
Будто Лондон за окном.

Перед взором всё померкло:
Что за сленг теперь у нас?
Я от кастинга с ремейком
В транш впадаю… Или в транс?

Всюду лизинг стал желанным,
Драйвер прёт, что спасу нет:
«Айналайын, что с он-лайном?
Где же наш мент Алитет?»

Речь — родник, святыня, слава,
То, чем жив любой народ.
Но не сточная канава
И не мусоропровод.

Держусь от власти в стороне:
Власть для богатых — не по мне.
Но и она день ото дня
Сильней косится на меня.

Я быть богатым не хочу —
Мне этот груз не по плечу.
Иметь достаток не мешало б —
Но и его не получу.

О русских

Признать и горько мне, и грустно:
Увы! Разноплемённый люд
Не жалует повсюду русских—
Не потому, что много пьют.

Коль сами—что страшней недуга,—
Не вверясь помыслам благим,
Не любят русские друг друга,
То как же их любить другим?

Рассеявшись под стать евреям
По белу свету, «русаки»,
От них в отличье,—не согреют,
Не подадут в беде руки.

Там, на чужбине, в час невзгоды
Всяк по себе, как за стеной,
Друг друга русские обходят
На всякий случай стороной.

Они и в матушке России
Влачат судьбу свою едва,
От разобщённости бессильны,
Нет между русскими родства.

Я тоже русский… Кем-то проклят.
Но как бы ни был нравом тих,
Я стал вместилищем пороков
Единокровников моих.

Повадки предков и ухватки
Впитав, как лепестки росу,
Достоинства и недостатки
На генном уровне несу.

Во мне живут антагонисты:
Бунтарь, и раб, и сноб, и жлоб,
Смогли в душе соединиться
И русофил, и русофоб.

Бахвалы лезут вон из кожи—
Возвысить нацию свою.
А я не льстец, сужу я строже
И многих русских не терплю.

Но если кто худое слово
О русских вякнет вдруг при мне—
Тому дам отповедь сурово
И не останусь в стороне.

Илья Иослович

Марш-бостон

Когда я попаду на облака,
Меня там встретит добрая собака,
И будем с нею мы гулять, пока
На мне всё та же белая рубаха,
На ней всё тот же красный поводок,
Нам улыбаются все встречные соседи,
И райский сад оттуда недалёк,
Мы не спеша в автобусе доедем.

Марш-бостон

Сыграем в регби в поздний час,
Сыграем в регби,
Хотя, наверно, не для нас
Все эти кегли.

Отходный марш звучит для всех,
Звучит со сцены,
Хотя, наверное, у тех
Другие цены.

Парадный отбивая шаг
Под звук волынки,
Мажор вращает медный шар,
Таращит зенки.

И под команду: «Сабли вон!» —
Поддержим моду—
Сомкнём ряды и с головой
Уйдём под воду.

Где Поляков Езекиил
торгует хлебом,
Там раздаётся шорох крыл
и страх неведом.

Где Иослович Илия
снуёт иголкой,
Там меловая пелена
во тьме прогорклой.

В юго-восточных городах,
Где жили предки,
Их нет могил, а пыль и прах,
Трава и ветки.

И там звучит аккордеон,
Цветёт лаванда,
Где окружила стадион
Зондеркоманда…

Социальная лестница
Не имеет перил—
Так божественный Август
Нам всегда говорил,
А когда по столице
Начинается бенц,
Надо быть за границей,
Это так, экселенц.

Ольга Григорьева

«Душа моя, озябшая синица…»

…А когда всё зардеет, забагровеет, заохрится,
Вот тогда лишь вступит осень в свои права.
Но пока сентябрь. И дожди моросят, как водится,
И ещё не печален лес, зелена трава.
Ожидаем осень, как старость свою,—с опаскою:
Вдруг зарядит опять одинокий и серый дождь?
Но раскрасит октябрь леса золотою краскою,
И заплачешь—лишь оттого, что ещё живёшь!
Что была твоя жизнь короткой, пустой и грешною,
Но являет Господь и тебе свои чудеса…
И тоскою кроткой, светлой, почти нездешнею
Сквозь листву золотую поглядят в тебя небеса.

«Поцелуй» Климта

Что за глупая, смешная отвага!
Не подумав, так и в бездну летят:
Целоваться над обрывом, оврагом
Безрассудно—даже пятки висят!
Да такое может только присниться…
Что он шепчет ей, какие слова?
И стройна, и длинноного девица,
Запрокинута её голова…
То ли девушки блондинистый локон
Их опутал с головы и до пят,
То ли нежности сияющий кокон—
Даже искры золотые летят.
Ах, бегу к тебе с душевным порывом,
Ни минуты больше ждать не могу.
Только так—над неизбежным обрывом,
На цветущем сумасшедшем лугу!

* * *

Даже если ехать со скоростью двести—
То есть лететь по ночному шоссе,—
Звёзды всё равно остаются на месте,
Не суетятся, как все.
Крошево алмазное, солёная наледь…
Стойте, полюбуйтесь, кто не успел!
Видимо, раствор слишком крепкий налит
И на стенках колбы кристаллами сел.
Эй, вы, наверху, встряхните немножко
Этот неподвижный ночной мирок,
Чтобы полетела звёздная крошка
На горячий красный степной песок.
А куда лечу я—сама не знаю.
Встречу? Потеряю? Опять найду?
Но на горизонте в ладонь поймаю
Самую большую свою звезду.

* * *

Стираю даты, забываю лица.
Найдёшь моё письмо—прошу, порви.
Душа моя, озябшая синица,
Чего ты ждёшь ещё, какой любви?
Каких ладоней—нежных и надёжных—
Ты ищешь в середине декабря?
Прекрасно зная—это невозможно…
Живи на воле и люби, скорбя.
Коль нету золотого—что полушки!
Душа моя, птенец, доверься мне.
Не привыкай к обманчивой кормушке.
Не привыкай ни к веку, ни к стране.
Неволя многолика. Но свобода—
Она всегда единственна, одна:
Растаять точкой в бездне небосвода,
Познав любовь и ненависть до дна.

Цветы

Цветов немного мартовских, апрелевых—
Подснежник, одуванчик-желтоцвет…
За ними май наставит клякс сиреневых,
Подарит нам черёмухи букет.
Акация цветёт—резная, липкая,
И вьюн свою развешивает прядь.
В соцветье каждом—волшебство великое,
И нам его вовек не разгадать.
Ну, может быть, пока играем в ладушки,
Мы понимаем—сердцем, не умом,—
Застенчивую робость в первом ландыше
И звуки в колокольце голубом.
Останься в них! Из времени их выхвати!
Дождинки каждой принимая дрожь,
Цвети—и умирай по чьей-то прихоти…
Не зная, что весною оживёшь.

Небесные одуванчики

Облака—одуванчики Божьи,
Парашютики, ниточки, пух…
Незаметно подуй, осторожно,
Чтобы этот закат не потух,
Чтоб открылся таинственный ларчик—
Тот, откуда летят облака.
Солнца жёлтый степной одуванчик
Отразила большая река.
Так всё сказочно и невесомо,
Что не страшен оставшийся путь.
Взять с собой только Память и Слово.
Одуванчиком в небо вспорхнуть.

Интернет, как и Бог, пишется с большой буквы,
И на шее носят флешку вместо креста.
От ненужных знаний наши мозги распухли,
Только истина—неразгаданна и проста…

Ю. П.

Ах, дела у нас с тобой совсем неважные—
Мы последние писатели бумажные.
Остальные сразу пишут в Интернет,
А у нас с тобой такой привычки нет.

Всё-то водим по листочкам авторучкою…
Потешаются над нами дети с внучкою:
Мол, всё это, дорогие, прошлый век—
И растает, как весною старый снег.

Только кажется, что ваше виртуальное,
Вседоступное и, в общем, нереальное—
Как возникло—и исчезнет в никуда
(Вдруг останутся без света города!).

А листочки, а бумажечки—останутся
И, возможно, драгоценностью окажутся.
И прочтут тогда отца и мать…
Если люди не разучатся читать.

…А мне лет двадцать, тебе лет сорок,
И смотрим мы из окна вагона:
В Кунгуре маленький кунгурёнок
По лужам шлёпает упоённо.

И чем на сердце мрачней и хуже,
Тем ярче в памяти та картинка:
Весенний поезд, Кунгур и лужи,
Малыш в промокших своих ботинках.

Жизнь разлетелась, как одуванчик…
Но я в порядке. И дом твой полон.
А мог быть нашим такой же мальчик.
Но только знака никто не понял.

Словно птица в золочёной клетке—
Не летаю и не говорю.
Ушлый воробей клюёт ранетки.
Мягкие ранетки к ноябрю.
Схвачены морозцем… И настолько
Захотелось эту кисть погрызть,
Чтоб, как в детстве, было сладко-горько!
Сладко-горько, как любовь и жизнь.
Бусинки прозрачные на ветке…
Счастлив ты, беспечный воробей!
Светятся замёрзшие ранетки
Над судьбой и памятью моей.

Крошки подбирать—что за проза!
Но голодным—как веселиться…
Ошалев совсем от мороза,
Села мне в ладони синица.

Хлеб клюёт из сумки—вот наглость!—
Прилетев за первой, другая…
Ах ты, моя зимняя радость,
Птаха ты моя дорогая!

В этот жуткий холод острожный
Нас друг к дружке тянет и клонит.
Только выбирай осторожно,
У кого сидеть на ладони.

Слава в юности—это невиданно.
Поживи, пострадай, поучись!
Все мы—копии Мартина Идена:
За признание платится жизнь.
Как писалось, как пелось мне в юности!
Но, увы, не читалось никем.
Мол, оставь эти детские глупости,
Нет серьёзных ни мыслей, ни тем…
Но теперь, на последней излучине,
Озирая нехитрый улов,
Понимаю, что самые лучшие—
Те смешные стихи про любовь.

Мелкими перебежками:
Дом—магазин—назад…
Беленькими орешками
Сыплет на землю град.
Что их бояться, градинок?
Это не боль, а смех.
Дождик холодный радует—
Это ещё не снег.
Встречи, любови—вешками.
Чувствовала? Была?
Мелкими перебежками…
Так вот и жизнь прошла.

Вот и пришёл
Мудрый ответ:
Там хорошо,
Где нас—нет.
Там хорошо, где нет нас:
Рук загребущих,
Завистливых глаз…
Есть только души,
Тот свет.
Там хорошо.
Там нас—нет.

Геннадий Ударцев

На земле святой и грешной

Так и живём

Так и живём, земные дети:
Чередой то радость, то беда.
Только жить от этого на свете
Не надоедает никогда.
Что бы ни случилось, есть надежда,
Что минуют пасмурные дни,
И, глядишь, безоблачно, как прежде,
Нам заулыбаются они.
Но надолго ль? То-то и оно-то—
Вкривь и вкось опять пошли дела…
Как охотник глупого енота,
Вновь судьба на мушку нас взяла.
На возможный выстрел чем ответим?
Только б стороной прошла беда,
Только б жить—ведь жить на этом свете
Не надоедает никогда…

Как ни бодришься, как ни пыжишься,
Вдыхая жизни аромат,
А напоследок не надышишься,
В рай направляясь или в ад.

«Жизнь хороша», нам «лет до ста расти»—
Трубил восторженно поэт,
Но от болезней и от старости
Гарантий не было и нет.

Где б ты ни жил—в России, в Англии,
Кончай с иллюзиями, брат,
И пусть по наши души ангелы
По расписанию летят.

Спасибо

Спасибо всем! Друзьям хорошим,
Что не дадут в беде пропасть.
Врагам—и тем спасибо тоже:
Не позволяют в спячку впасть.
Спасибо утке—вольной птице—
За взмах крыла в рассветный час.
Теплу спасибо, что струится
Из глубины любимых глаз.
Спасибо шалым вешним водам,
В окно влетевшему шмелю—
Ведь сам я тоже часть природы
И этот шумный мир люблю.
Луне спасибо, что окошко
Моё опять не обошла.
Спасибо матери за то, что
Меня когда-то родила…

Тот уголок земли…

Ты меня не забыла, родина?
Ну а я—разве я забыл
И Чумыш, и село Забродино,
Где когда-то я жил да был?
За лесами, горами, долами
Мой давно затерялся след.
Был крещён я огнём и холодом,
Много горестей знал и бед.
Сколько лет колесил по свету я!
Оторвавшийся от сохи,
Я связал свою жизнь газетами,
Заказные слагал стихи.
Но каким бы я ни был грешником,
Вдалеке, на краю земли,
Видел домик с дуплом-скворечником,
Кур, купающихся в пыли.
В красно-белых играя конников,
Я, как птица, взлетал в седло—
От цветущей в логах черёмухи,
Помню, было белым-бело.
Нет, меня не забыла родина,
Как и я её не забыл.
Как живёшь ты теперь, Забродино,—
Уголок, что так сердцу мил?

Человек

Каким он был—двадцатый век?
Что ж, предыдущего покруче.
А царь природы—человек?
Он стал умнее. Но не лучше!
Разброд. Россия без царя.
Братоубийственная сшибка.
Колхозы, мор, концлагеря—
Век с нами нянчился не шибко.
Мы изменяли русла рек,
Мы разбудили спящий атом.
Но человеку человек
Не стал товарищем и братом.
Мы так мудры, мы говорим:
Не сотвори себе кумира.
Но тут же идолов творим,
И те решают судьбы мира.
Команда: «Взлёт!»—и человек
Рванул в космические дали.
Но, двадцать первый встретив век,
Мы человечнее не стали.
Мы мир изменим, обновим.
Ну а природу человека?
И позавидуешь ли им—
Собратьям будущего века?

* * *

Стремглав сменяются года,
Всему на свете свой черёд.
Моя закатится звезда,
Твоя, сверхновая, взойдёт.

Она одна, всего одна,
Неповторимая, твоя,
И дай-то Боже, чтоб она
Была счастливей, чем моя…

* * *

Как жилось?
Да не особенно.
Не лентяй, а бедовал.
Но друзей своих и Родину
Никогда не продавал.
В годы страха и безверия
Верил в разум здравых сил.
Посадил у дома дерево
И наследника взрастил.
Пил по-русски,
лишь стаканами,
Но ума не пропивал.
И не путался с путанами,
Хоть в святошах не бывал.
Может быть,
немного сгорбился
И, везучий человек,
Удостоился, сподобился—
Двадцать первый встретил век.
Не спеши ты,
моё солнышко,
Заходить за облака.
Жизнь, как мёд,
допью до донышка,
До последнего глотка.

Эка невидаль!

Всё в этом мире быстротечно—
И, к сожаленью, жизнь сама.
Небытие лишь длится вечно…
Есть от чего сойти с ума.

Но мы живём, с ума не сходим,
Поём, смеёмся, водку пьём…
Мы оптимисты по природе:
Ну эка невидаль—умрём!

Давай поверим…

Е. В.

Не бывают годы лишними,
Как и деньги в кошельке.
Прошагали бы по жизни мы
Лет до ста рука в руке,
А потом не в землю стылую—
Прямиком на небеса…
Ну давай поверим, милая,
Что бывают чудеса.

Покаяние

Да, тяжелы мои грехи,
Коль разобраться строго.
Ну, например: писал стихи.
Простите, ради Бога.
Ещё винюсь: не раз, не два
Рука тянулась к чарке.
А как кружилась голова
От женских взглядов жарких!
Я не пишу теперь стихов,
Не пью, без женщин маюсь
И, очищаясь от грехов,
Лишь каюсь, каюсь, каюсь…

Душа

Я давно готов к уходу
В мир нездешний, в мир иной,
Хоть в него не верил сроду
Ни минуты, ни одной.

Только как в него не верить?
От реалий не уйдёшь:
Предстоит и мне примерить
Деревянный макинтош.

И, почувствовав свободу,
Бестелесная душа
Устремится к небосводу,
Тихо крыльями шурша.

А потом куда-то канет,
Затерявшись в сизой мгле.
Но и там не перестанет
О родной грустить Земле.

* * *

Я живу во мраке ночи,
Вижу солнце лишь во сне.
Вот и эти двадцать строчек
Диктовать придётся мне.

Как хотелось бы ворваться
В лучезарный, светлый мир,
Чтобы вновь полюбоваться
На него хотя бы миг.

Пусть всего лишь на мгновенье
Воссияют небеса,
Вновь повергнут в изумленье
Те же долы и леса.

И как заново родиться—
Через столько мглистых лет
Мне бы вновь увидеть лица
Тех, кого дороже нет.

Всё же выше нет награды,
Чем на Божий мир смотреть.
Много, мало ли мне надо?
Умереть или прозреть.

Галина Вишнякова

Почему я выбрала папу

Маленькая повесть

…Мы были юны и красивы,
Любили мы свой жалкий кров,
И нам казался справедливым
Наш мир голодных и рабов…

Сандро Белоцкий

Мне приснился сон: будто я нахожусь в каком-то тёмном полуподвальном помещении без окон, со стенами из тёса. Сквозь щели наискосок пробиваются полоски солнечного света, в котором, как рыбки в аквариуме, медленно плавают крошечные пылинки. Я чувствую себя как в западне: окон нет, а дверь высоко. И вдруг сквозь щёлочку замечаю, что по улице идёт отец. Он открывает скрипучую дверь, но в темноте не видит меня. Плача, я пытаюсь дотянуться — обнять его за ноги, и ужасаюсь неестественному холоду, проступающему сквозь старенькие штанины: «Папа, мне сказали, что ты умер…»

«Доченька…» — впервые в жизни я слышу в голосе отца потрясающую нежность…

Просыпаюсь на залитой слезами подушке с чувством невосполнимой утраты. И первая мысль: «Может быть, известие о смерти отца — только страшный сон? Вот я проснулась, и теперь всё будет как прежде…»

Но нет! Холодный поезд с белыми махровыми окнами сквозь стылую морозную ночь мчит меня в маленький целинный посёлок на похороны папы.

Я вспоминаю своё безотрадное детство, и айсберг обиды, многие годы дрейфовавший в акватории моей души, начинает медленно таять и проливается на свет Божий горячими слезами.

Смерть прощает…

Мокруша

— Ах ты, мокруша! Раздевайся, сегодня ты будешь спать не на матрасе, а на голой кровати! — голос отца звучит так грозно, что я не осмеливаюсь ослушаться и начинаю медленно снимать старенькое платье, чулки на резинках и ложусь на холодную металлическую сетку. В доме с утра не топлено, моя кровать стоит у заиндевевшего окна, от которого ужасно дует.

— Нет! Всё снимай! И трусы тоже! Маме надоело стирать твои вонючки! Матрас уже прогнил от твоей мочи! Ты весь дом нам провоняла! Мокруша!

Не поднимая глаз, я обречённо снимаю майку и трусы, медленно складываю вещи на полу у кровати и сворачиваюсь на койке голым клубочком… Мне скоро шесть лет. У меня энурез. Каждое утро я просыпаюсь в мокрой постели и в страхе быть наказанной.

Мой четырёхлетний братик Костик смотрит на меня с осуждением и повторяет вслед за отцом:

— Мокруха, мокруха, мокруха…

От холода и несправедливости меня колотит дрожь, зуб не попадает на зуб… Обидная игра, затеянная отцом, затягивается, я пытаюсь подняться с кровати, но папа за шею всё сильнее прижимает меня к ребристой проволочной сетке, которая больно режет кожу…

— Я тебя воспитаю! Язви тебя в душу! Ты будешь лежать здесь голышом до тех пор, пока не дашь мне честное слово, что больше не будешь мочиться в постель!

Пытаясь вырваться из его больших и недобрых рук и захлёбываясь от боли и обиды, я не знаю, как объяснить взрослому человеку, который знает всё на свете, почему же это происходит со мной, — ведь каждый вечер, ложась спать, я мечтаю только об одном — проснуться в сухой постели…

— Честное слово…

— Что? Я не слышу!

— Больше не буду…

— Ну то-то же! Попробуй мне ещё хоть раз… Всю жизнь будешь спать на голой кровати! Язви тебя…

Сказка

— Мама, расскажи нам сказку!

— Пусть папа вам сказки рассказывает! Мне некогда… — мама раздражённо гремит посудой.

Отец лежит на кровати с закрытыми глазами и изо всех сил борется со сном.

— Папа, расскажи сказку! Ну расскажи… — канючим мы с братом.

— Ладно, ложитесь, укрывайтесь… — неохотно сдаётся отец, не открывая глаз.

— Мы уже укрылись! — радуясь редкой минуте родительского внимания, мы с Костиком устраиваемся удобнее.

— В некотором царстве… жил-был… язви его… — не отрывая головы от подушки, начинает своё повествование отец.

— Иван-царевич…

— Ну да… Поехал он… — сказочник медленно погружается в нирвану дрёмы, пауза затягивается.

— Искать себе невесту! — переглянувшись, в два голоса громко подсказываем мы отцу развитие сюжета.

— А? — пугается папа, вырываясь из объятий Морфея.

— Иван-царевич поехал искать невесту!

— Да… Значит… поехал…

— Пап, а потом что?

— Поехал… поехал… Под Атбасаром машина стала… гружёная…—отец опять замолкает и… вдруг тихонько всхрапывает…
— А что потом?
— Крестовина, язви её, полетела… Без неё не поедешь… Закрыл машину… и пошёл…
— А дальше?..—не сдаёмся мы.
— Шёл, шёл… Километров… шесть… отмахал…
— Пап, отмахал… А потом?
— Добрался до автобазы… Нашёл… у ребят крестовину—и назад…—бормочет еле внятно наш рассказчик.
— Лучше бы он на коне поехал, конь не ломается…—Костик пытается спасти сказку и изо всех сил трясёт отца за плечо.

На мгновение тот открывает ничего не понимающие глаза:
— Кто… не ломается?.. Ох, язви вас… Когда ж только вы повырастаете?..

Расстрел

— Собирайся,—говорит мне отец,—пойдём со мной!
— Куда?
— Только быстро! Увидишь…

Отец ждать не будет. Торопясь, на босу ногу я надеваю большие мамины валенки, с трудом застёгиваю худенькое пальтецо. Мы выходим на улицу.
— Шагай за мной след в след, а то снег глубокий—провалишься…

Отец идёт впереди в распахнутом овечьем полушубке, на плече у него новенькая берданка, в руке на поводке—наша старая чёрная собака неизвестной породы по кличке Кутька. Пёс упирается, с трудом карабкается по глубокому снегу, поскуливая, он то и дело оглядывается на меня. Мы с братом всей душой любим нашего лохматого друга. Он каждый день преданно сидит на улице перед окнами дома—ждёт нас… Сколько в его собачьих глазах ошалелого восторга, когда, пряча от родителей, мы в кармане украдкой выносим ему кусочки сахара. Прежде чем жадно проглотить лакомство, пёс, повизгивая, с благодарностью облизывает тёплым шершавым языком наши руки и щёки…

Любимая игра Кутьки—стащить с руки варежку, потом отбежать в сторону и быстро закопать её в снег. Мы карабкаемся по сугробам, находим рукавичку, откапываем, но собака, улучив момент, успевает ухватить свою добычу у нас из-под носа и во всю прыть несётся её перепрятывать…
— Пап, мы на охоту идём?—на всякий случай уточняю я.
— На охоту, на охоту!—скороговоркой отвечает отец.

За посёлком открывается бескрайняя снежная целина. На фоне ярко-голубого неба снег искрится мириадами таких ослепительных искр, что смотреть на него просто невозможно. Я стараюсь шагать как можно шире, с трудом поспеваю за отцом. Белые хлопья набиваются в широкие голенища валенок и медленно тают, но я не решаюсь остановиться и вытряхнуть снег, потому что боюсь отстать от охотника. Лёгкий морозец пощипывает мои голые ноги—второпях я не успела надеть чулки, руки тоже покраснели от холода—варежки недавно закопал в сугроб Кутька, а я не смогла их отыскать…

Вчера вечером приходила соседка и громко ругалась из-за того, что наш пёс придушил её курицу. Мать с отцом пообещали ей, что разберутся… Но если папа взял собаку на охоту—значит, никаких разборок не будет. Ведь родители прекрасно понимают, что наш добряк не то что курицы—мухи не обидит. Как он будет охотиться? Если встретит зайца, то наверняка тут же начнёт играть с ним…
— Разве это собака? Перед всяким хвостом машет… Какой с неё сторож?—всегда сердится отец.
— Да у нас и охранять-то нечего!—возражала ему мама.—Забава детям—и то ладно!
— Ну вот… пришли! Стой тут и не двигайся!

Я в недоумении оглядываюсь: на кого же мы будем охотиться? Недалеко наш посёлок, метрах в двадцати—одинокое заиндевелое дерево. Ни заячьих, ни лисьих, ни волчьих тебе следов…

Отец привязывает к стволу берёзы упирающегося и скулящего пса… Вскидывает ружьё…

До меня доходит весь ужас происходящего…
— Не надо!!! Па-а-а-а-а-а…—рвётся на части моё маленькое сердце.

Теряя в глубоком снегу валенки и обжигая босые ступни, я со всех ног бросаюсь к собаке…

Выстрел грянул как гром среди ясного неба.

Не успев добежать до Кутьки несколько шагов, я падаю лицом в красный снег…

Мне кажется, что убили меня…

Почему самолёт летает

Из-под машины видны кирзовые сапоги: папа ремонтирует свой старенький газик, а мой братишка сидит рядом на корточках—помогает ему.
— Так, а теперь найди мне накидной ключ на двадцать семь!—поступает команда, и Костик безошибочно находит в брезентовой сумке-раскладушке нужный инструмент и подаёт его отцу.
— Ни хрена не подлезть им… Дай-ка рожковый…

Из-под машины доносится сопение и пыхтение. Длительная пауза, а потом радостный возглас
— Кажется, подтянул! Скоро она у нас как новенькая бегать будет! Собирай железки, сейчас заводить будем!

Пользуясь хорошим расположением духа нашего родителя, мой братишка задаёт очень важный вопрос, занимающий его в последнее время:
— Пап, а почему самолёты летают?

Сапоги зацарапали каблуками землю и исчезли, из-под машины показалось чумазое лицо, а потом и весь отец.
— Ну, во-первых, у самолёта, как и у машины, есть двигатель, а ещё пропеллер и… плоскостя…—както не совсем уверенно начал он своё объяснение.
— И?
— Я ж говорю… Мотор работает, пропеллер нагнетает под лопастя воздух… Самолёт разбегается… И пошёл, пошёл, пошёл…—для убедительности рожковым ключом рассказчик продемонстрировал отрыв самолёта от земли и плавную динамику полёта.

— Но… почему же самолёт не падает, ведь он же большой и же-лез-ный!
— Ах, язви тебя! Да воздушная подушка не даёт ему упасть! Понятно?
— П-п-подушка?..— растерянно моргает глазами Костик.

В его планы не входит испортить настроение отцу: не очень-то приятно постоянно чувствовать себя досадным недоразумением, которое способно только на то, чтобы осложнять и без того безрадостную жизнь родителей. Смущаясь своей непонятливости и борясь с сомнениями, он, помолчав, всё же решается задать ещё один важный вопрос:
— Пап, а для чего ж тогда нужны самолёту крылья?
— Вот ты… дурило!!! — отец, выпучив глаза, прямо задохнулся от такого глупого вопроса.— Это же и есть — сами плоскостя!

Старая карга

На нашу голову свалилась гостья: из Полтавы приехала папина мама, которую он за глаза называл Старой Каргой — это что-то типа Бабы Яги, только гораздо зловредней… Бабушка привезла конфеты, печенье, а ещё пелёнки и всякую всячину для нашей новорождённой малышки.

Отец находится в долгосрочной командировке, и мы встречаем незваную гостью сами.

За одним столом со взрослыми мы пьём чай с невероятно вкусными ирисками и, навострив ушки, слушаем, как бабушка «пилит» маму.

В деревянной качке заливается плачем наша маленькая сестрёнка. Мы уже привыкли к её крику и не обращаем на него никакого внимания. Но Каргу — видно, с непривычки,— этот противный писк с каждой минутой раздражает всё больше.
— И дэ ж цэ було, шоб дитё, как кошеня, жило два мьесяцу без имьени? — шипит наша гостья, смешно коверкая русские слова.
— Папа сказал, чтоб мы её Салапетей звали…— пытаюсь я «защитить» родителей.
— Вот дурило! — аж подпрыгнула на табуретке наша гостья.
— Илюша не хотел больше детей… А я чего только ни делала — и тяжести поднимала, и со стула прыгала… Девочка родилась недоношенная. Орёт день и ночь… Он ругался страшно… Потом уехал… В командировку… У меня молоко пропало… Сил никаких уже нет…— обречённо оправдывается мама, крупные прозрачные капли текут по её бледным щекам и падают в кружку с остывшим чаем.
— Ильюша ни хотив дитэй…— противным голосом передразнивает маму Карга, морщась, как от зубной боли, от крика нашей безымянной сестрёнки.— «Був дурный, да узяв дурновату, воны не зналы, шо робыть,— подпалылы хату!» А ты не знаешь, от чего диты родятся? Не хочитэ детей — предохраняйтэся!
— Не хочет он п-п-п-предохраняться…
— Сто чиртив у его пичёнки! Вин у батьку своёго уродывсь: ни муж, ни батька и ни хозяин…— смягчает грозный тон бабушка.— До тэбэ тры разу був охвициально жинат — дитэй прижив. А скильки раз ниохвициально… Ваших жэнихив война забрала, вот вин тэпирь за усих и отдуваеца! И на цэлыну завербовавсь, шоб от алиментив удрать… Как же ш ты за ёго пишла? Ни бачилы очи, шо куповалы?
— Нет у меня никого… А вы же знаете, какой он бывает, когда хочет кому-нибудь понравиться… Прилип как банный лист… Не говорил, что женат был… Не пьёт… Не курит… Не бьёт… Не ругается матом… На гармошке играет…
— На гармошке грае… Э-э-э-эх, Салапетя ты, Салапетя! — горько вздыхает наша гостья.— Да вин же кохае тилько сэбэ!
— Бабушка Карга, а кто такая Салапетя? — уточняет Костик.
— Это батько твий мэнэ Каргой величае? Ох же ш придумщик! Хто така Салапетя? Да у нашей деривни дурочка одна була полоумна…

Я злюсь на незваную гостью за то, что она, как говорил папа, «точит зуб на нашу семью» — говорит непонятные и обидные слова маме, от которых та плачет горькими слезами; ругает нашего папу, который старается, работает, деньги в командировке зарабатывает…
— Усё! — решительно и грозно проскрипела Карга на своём корявом языке.— Хватэ тут сопли распускаты! Дитё як надрывается… Воно вже грыжу себе накрычало… Сейчас наносимо воды, натопимо грубу, намоемо диток… Потом пиду у контору — усэ разузнаю про ёго… кон-ман-дировку… Давнэнько я энтого битюга за кучерявый чуб не тягала!..

Мама с бабушкой быстро растопили печку, наносили из речки и нагрели на плите в больших вёдрах воду, установили корыто.

Не отрывая глаз, мы с братом следили за действиями гостьи. Папа не раз повторял, а мы «мотали себе на ус», что с бабушкой всегда надо «держать ухо востро»: «Карга — она и есть Карга!»

Вот она осторожно берёт на руки посиневшую от крика безымянную девочку…
— Добралась…— с ужасом шепнул мне Костик.

Но буквально на наших глазах зловредная Баба Яга стала трансформироваться в нормального человека: добрым светом засветились её глаза, смягчились морщинки на загорелом лице, и голос стал тихим, ласковым… Но мы на всякий случай бдительности не теряем!
— Назвэм дитятко Олею…— заворковала бабушка.— Цэ такэ красивэ имья… Таке добре… Даже если кажешь Олька, оно усэ одно — звучит ласково…
— Нарикаю тэбэ Ольгой! — громко крикнула она прямо в ухо нашей сестрёнке и, перекрестив, осторожно погрузила её в тёплую водичку, на поверхности которой плавали маленькие листочки чистотела, потом стала осторожно мыть кукольное тельце, тихо приговаривая какие-то непонятные слова.
— Мам, что это она делает? — мы с братом буквально впились руками в бортик цинкового корыта, когда Карга, низко наклонившись, стала большими жёлтыми зубами покусывать животик малышки вокруг пупка…
— Загрызёт!!! — ужаснулась я.
— Бабушка так грыжу лечит — «закусывает»…— успокоила меня мама.

Туго запеленав притихшую вновь наречённую в мягкие пелёнки, наша гостья напоила её из бутылочки с соской тёплым молоком и уложила в качку. Потом в этой же воде вымыла маму, приговаривая:
— Кажное дитятко прийходэ в цей мир со своим шматком хлиба. Ни займай дитей, воны растут долго, а вырастают ох как быстро! У них друга жизть будэ… Помянэшь потом моё слово,—как видно, бабушка знала о тайных замыслах судьбы,—с Олькой ты свой вик доживать будэшь… А щас лягай и спы!
— Гарный хлопчик! Лобастэнький! Бог ума для його не пожалив! У моёго дида уродывсь… Той був знатный атаман в Украйне!—приговаривала она, когда мы с ней в четыре руки мыли, а потом укладывали в постель Костика.
— А Ганною тэбэ у мою чисть назвалы… Прыдумалы якыйсь эну-рес… Цэ ж простый спуг… Вылэчу я тэбэ, и бильш нихто николы не будэ займать…

Странно, но я начинаю ясно понимать речь, которая ещё совсем недавно так резала мой слух…

В бабушкиных руках жёсткая мочалка, намыленная брусочком невиданного мною до сих пор душистого земляничного мыла, привезённого из далёкой Украины, не дерёт кожу, а мягко скользит по моей спине и по груди, по рукам, пена не жжёт глаза.
— Ты вода очистна, ты очищаешь луга, ты очищаешь бэрэга…—ласковым шёпотом произносила она волшебные слова заговора, поливая меня из старого ковша наговорённой водичкой.—Ты очисть Божью рабу Ганну от сглазу, от порчи, от усих хворий…

Повязанные белыми платочками, ошеломлённые добрыми словами и нежными руками бабушки, мы, привыкшие к сосредоточенному молчанию мамы и постоянному раздражению отца, лежали с братом в тёплой, чистой, сухой постели и слушали её грудной голос, проникающий в самое сердце:
— Вы—роднэньки братик и сестрычка. Николы ни ругайтесь, как задериха с неспустихой, усигда помогайтэ друг дружке…

Я смотрела в усталые бледно-голубые глаза, и мои подозрительность и недоверие постепенно растворялись, таяли, исчезали, как мыльная пена в воде…

То ли «очистна» вода подействовала, то ли волшебные слова, но что-то перевернулось в детской душе… Не зная, как выразить переполнявшее меня чувство, всем сердцем я вдруг потянулась к этой большой и сильной женщине, ощутив в ней не только родную кровь, но и—впервые в жизни—понимание и надёжную защиту. Прижав к своему лицу горячую морщинистую руку, я прошептала:
— Бабушка, мы больше никогда-никогда не будем называть тебя Каргой!

Утро нового дня я встретила в сухой постели. В доме вкусно пахло жареными пышками. За столом сидели отец, бабушка и мой братишка Костик, они пили чай и о чём-то тихо разговаривали.

Мама и малышка Олька проснулись только к вечеру. Открыв глаза, мама обнаружила, что у неё вновь появилось грудное молоко…

Фаршированная щука

Папа наш вообще-то не пьёт, но выпивает довольно часто. И если «примет на грудь» граммов двести водочки, то засыпает тут же, за столом. Наша маленькая, худенькая мама каким-то непонятным образом доставляет его из гостей домой, раздевает, укладывает в постель, укрывает.

Выспавшись, часов в пять утра отец начинает будить нас всех по очереди своими вопросами:
— Когда я вчера пришёл? Не помню ни гада… Хто меня привёл? Вот вы паразиты! Спите… Батька вас кормит, поит, воспитывает, а вы ему отвечать не хотите… язви вас в душу…

Сегодня мама приволокла отца, но ему не спится. Он стонет, мечется, ахает, охает…
— Может, тебе водички подать?—беспокоится мама.
— Нет… Не надо…

Отец пытается встать, но пол уплывает у него из-под ног, тошнота подступает к самому горлу, кружится потолок…
— Может, рассольчику?
— Умираю…—стонет он.—Прощайте все… Э-э-эх! Не довелось мне порадоваться жизни…
— Давай промоем желудок?—пытается спасти «умирающего» мама.—Промывание хорошо помогает!
— Э-э-э-эх! Салапетя ты, Салапетя… Какое промывание? Я что, каждый день фаршированную щуку ем? Язви тебя в душу!..

Забыл

Сегодня замечательный день: за то, что я помогала маме присматривать за младшей сестрёнкой, отец взял меня с собой в командировку!

Мы выехали из дома ещё затемно. Первыми загрузились в поле у новенького комбайна «Нива», и часа через полтора тряски по целинному бездорожью наш видавший виды ГАЗ-54 прибыл на пыльный ток. Под длинным красным транспарантом «Дадим стране миллиард пудов целинного хлеба!» возвышались золотистые барханы пшеницы. Папа раскрыл борта, и весёлые девчата в выгоревших ситцевых платьях и белых платочках, повязанных так, что видны были только одни глаза, ловко орудуя деревянными лопатами, быстро разгрузили машину. При этом они что-то задиристо кричали моему отцу, отчего его пасмурное настроение сразу заметно улучшилось.
— Сейчас заедем в одно местечко—позавтракаем…

И вот уже наша машина несётся по буеракам какого-то посёлка и останавливается у утопающего в зелени небольшого домика. Во дворе, приветливо помахивая хвостом, нас встречает большая серая овчарка, и мы без стука открываем дверь.
— Ну, здорово, Ваня!—громко и нарочито весело приветствует папа мальчишку лет десяти.
— Явился—не запылился…—ворчит себе под нос мальчуган. Он явно недоволен появлением незваных гостей.
— Где мать?—«не замечает» его неудовольствия отец.
— Где, где… На работе!

— Я быстренько смотаюсь к ней…— кивает мне папа и, весело насвистывая, скрывается за дверью.

Мальчишка нарочито старательно застёгивает стоптанные сандалии неопределённого цвета и, не глядя в мою сторону, бурчит:

— Мне к бабушке надо! Уходи отседова!..

Лавочки у дома нет, присесть негде. Собака, ещё несколько минут назад радовавшаяся нашему появлению, теперь грозно лает на меня из-за штакетника. Ничего не остаётся, как пересечь улицу и, зайдя за угол соседского сарая, мазанного грязно-жёлтой глиной, ждать появления отца. Передо мной небольшой пустырь, в центре его — водяная колонка, рядом с ней — огромная лужа, в которой плещется целая колония домашних уток.

К колонке подходят люди, в основном женщины; с любопытством поглядывая на меня, они наполняют вёдра водой…

За пустырём — небольшой детский садик с зелёным двориком, во дворе шумно играет нарядная детвора…

Время идёт, а отца всё нет… Вот уже воспитательница в белом халате увела ребятишек в здание. «На обед, наверное…» — сглотнув слюну, с тоской подумала я.

Августовское солнце любознательно повернуло ко мне свой жаркий лик. Шершавая стена сарая стала горячей. Я уже различаю уток, плещущихся в луже. От многочасового стояния ужасно гудят ноги. Пересохло во рту. Но я не двигаюсь с места — боюсь пропустить появление папы…

Вначале казалось, что он вот-вот появится… Потом всё острей стала нарастать тревога: может, с ним что-то случилось? Тревогу сменил леденящий страх: меня бросили… Как теперь я найду наш дом, маму, Костика и маленькую Ольку? От всевозрастающей обиды, звеневшей во мне тугой натянутой струной всё громче и громче, я потеряла счёт времени…

«Хочу домой!» — кричала каждая клеточка моего маленького тела. Во двор детского садика опять вышли играть ребятишки, потом стали появляться взрослые и уводить их домой. Домой шли коровы с пастбища. Домой вперевалочку, утопая в пыли коралловыми лапками, потопали утки. Домой несли женщины вёдра с водой…

С каким нескрываемым любопытством и сочувствием смотрели они на меня! Вот остановилась одна, другая, третья… Незаметно у сарая собралась взволнованная толпа. Люди задавали мне вопросы, но во мне всё словно оцепенело…

— Она, наверное, немая…— решили тётки.

— Я видела, она с утра тут стоит…

— Подкидыш…

— Худая какая… Может, глисты у неё?

— Ойбай… бишара бала…

— В милицию её сдать — пусть разбираются!

— Маруся Светличная хочет себе девочку из детского дома взять…

— Уний у прошлом рики дивчина утопла… Можэ, возмэ цю дытыну?

Послали кого-то за Марусей.

Смеркалось. Вот уже засветились мягким жёлтым светом окна, но в доме, где оставил меня отец, так никто и не появился…

Впереди ночь. В темноте, в незнакомом посёлке, у чужого сарая стоять страшно…

Ждать тяжело, но в ожидании есть надежда… А осознавать, что тебя бросили… Казалось, пережить это невозможно… Но я здесь, дышу, гулко стучит моё сердце…

«Раз так,— обречённо решила я,— пойду жить к Марусе…» — и почувствовала, как, больно царапнув изнутри, вдруг лопнула во мне та звенящая, напряжённо-тугая струна…

Стало тихо-тихо…

Как в странном сне, склонились надо мной сострадательные лица женщин, тихо закачалась тёмная вода в вёдрах, медленно и безучастно поплыл по широкой сельской улице белый свет фар…

— Собрала толпу! Язви тебя…— отец больно рванул меня за руку.— Расселась тут! Поднимайся! Быстро в машину! Позоришь отца… Я ж просто забыл про тебя…

Культурное мероприятие

Сегодня у Костика день рождения. Мы ещё пребываем в счастливом неведении, что рядом с нашим существует параллельный мир, в котором наличествуют целые церемонии празднования памятных дат со свечами, тортом, поздравлениями, подарками, фейерверками и прочей торжественной атрибутикой…

А в нашем мире мама зарубила петуха и приготовила Костины любимые галушки.

Мы сидим за столом, и папа делит между нами мясо, как всегда, «по алфавиту»: Ганна — имя на букву «Г», значит, мне достаётся варёная голова, с клювом, закрытыми глазами и гребешком. Голова наводит на меня уныние, но отец быстро восстанавливает порядок:

— Не нравится — марш из-за стола!

Перспектива остаться без ужина меня не привлекает, и я начинаю медленно выковыривать маленькие вкусные кусочки из куриной шейки.

Костику перепадают крылышки.

Ольке с именем повезло больше — в её тарелке красуется окорочок.

Мама мясо не любит, она ест только суп.

Остальные части петуха достаются отцу.

«Принцип алфавита» нерушим, не обсуждаем, применяется он также при дележе мяса водоплавающей птицы — гуся или утки…

«Под петуха» отец выпивает за здоровье сыночка водочки, и его душа требует праздника. Многозначительно глянув на маму, он торжественно объявляет:

— Тут некоторые гражданочки проявляют недовольство, что я мало занимаюсь воспитанием детей… Так вот, язви вас, сегодня мы будем проводить культурное мероприятие — разучим песню! Мы — люди рабочие, поэтому и песня у нас будет про детей рабочих!

Маленький отряд во главе с именинником во всё горло, с энтузиазмом, раз пятьдесят подряд прокричал:

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы—пионеры, дети рабочих!
Близится эра светлых годов!
Клич пионера: «Всегда будь готов!»

Клич у нас получался особенно жизнеутверждающе.

Папа принял ещё стаканчик «Московской», и наше культурное воспитание решено было «углубить методом украшения песни физкультурными номерами и акробатическими этюдами». В тесной комнатке с физическими упражнениями возникли сложности, поэтому наш отряд в едином порыве, не одеваясь, через заснеженный двор двинулся в сарай.

Под аккорды гармошки «Беларусь», кудахтанье кур, гогот гусей, беспокойное метание и визг ошалелого кабанчика Борьки, печатным шагом топча навоз, маршем носились мы по сараю и, не жалея связок, неистово горланили торжественный гимн. По папиной команде «Делай раз!», «Делай два!», «Делай три!» выполняли прыжки, приседания и наклоны… Но потом пришла мама и остановила наш воодушевлённый порыв:

—Нахватались тут культуры, как собаки блох… Марш в дом, а то попростываете, а мне потом возись с вами…

Ночью отец то и дело просыпался от нашего кашля:

—Прекратите бухыкать! Кому я сказал?

Костик, Олька и я, стараясь не раздражать папу, давясь кашлем, прятали лица в горячие подушки…

Утро следующего дня мы встретили высокой температурой.

«Как я провёл лето»

В начале каникул отец пообещал: если мы сделаем саманы для строительства крольчатника, он перед школой свозит нас в зоопарк.

Пришлось стараться изо всех сил. С вечера в специальной яме мы замачивали, а потом босыми ногам месили вязкую жёлтую глину с соломой. С восходом солнца начиналось наше трудовое утро: плотно, чтобы не было пустот, руками набивали тяжёлой массой саманный станок—невысокий ящик с перегородками, предварительно смоченный в воде и посыпанный песком. Потом, помогая друг другу, за верёвку тащили его от ямы на полянку, где рядочками сохли уже готовые кирпичики. Но притащить ящик—это только полдела. Главное—нужно было осторожно выбить из него три ровных мокрых прямоугольника.

Высохшие на солнце саманы мы складывали в высокие пирамидки, потом подносили строителям. Работа занимала много времени и сил, на наших руках и ногах красовались красные цыпки, носы облупились под палящим солнцем, рыжие волосы стали огненными, но мы не обращали на такие пустяки внимания, ведь впереди нас ждала удивительная награда—поездка в город! А там: газ-вода, мороженое, и главное—зоопарк!

Предстоящая поездка была основной темой всех наших разговоров. Мы так мечтали о ней, что порой уже начинало казаться, что где-то в далёком городе, в прохладных вольерах, звери уже ждут нас…

И вот наконец сарай готов, в нём установлены клетки, в которых поселились маленькие пушистые обитатели—кролики.

—Папа, до школы остаётся всего три дня, когда же мы поедем в зоопарк?—я начинаю наступление по предварительному сговору с братом и сестрёнкой.—Ты же обещал нам!

—У меня выходной! До города на автобусе трястись сто восемьдесят шесть километров! Дорога разбитая, сплошные объезды… Какой там зоопарк… Баловство это всё… Ваш зоопарк теперь в крольчатнике!

—Папа, нам было трудно, но мы выполнили своё обещание, теперь ты выполняй своё!—с энтузиазмом, но без всякой надежды, поддержал меня Костик.—Мы же ни разу в жизни не были в зоопарке!

—Так и детство пройдёт…—вздыхает Олька.

—На следующее лето поедем…—как от назойливых мух, отмахивается от нас отец.

—Каждый год в школе мы пишем сочинение на тему «Как я провёл лето». Все будут рассказывать о том, как отдыхали в пионерском лагере, гостили у бабушки или побывали где-нибудь на экскурсии…—я пускаю в ход «тяжёлую артиллерию».—Вот я возьму и напишу, что ты пообещал поездку в зоопарк, а сам обманул нас! Имей в виду, мои сочинения учительница всегда читает перед классом!

—И я тоже напишу!—у Костика от обиды звенит голос.—Пусть все знают!

—Ну, язви вас в душу… Ладно…—не устоял перед «шантажом» и неожиданно сдался отец.—Завтра подъём в пять утра! Если проспите—никуда не поедем!

—Держитесь вместе, если кто-нибудь из вас потеряется—искать не буду!—при входе в зоопарк кратенько «проинструктировал» нас папа, и мы, всё ещё не веря своему счастью, примкнули к одной из экскурсионных групп.

Люди, пришедшие в зоопарк, были нарядно одеты, ни у кого из детей не было красных цыпок на руках и ногах, а также облезших носов. Им наверняка не пришлось всё лето делать саманы, чтобы попасть сюда. Группа вначале неодобрительно оглядывалась на трёх «краснокожих индейцев», примкнувших к экскурсии без оплаты, но потом интересный рассказ пожилого экскурсовода так увлёк всех, что нас просто перестали замечать. Плечом к плечу, с горящими от любопытства глазами, мы неотступно, буквально по пятам, следовали за группой. Я старательно записывала в новую тетрадку интересную информацию, которая потом может пригодиться для сочинения.

«Организовав» таким образом для нас экскурсию, папа держался чуть в стороне и всем своим видом показывал, что к «индейцам» он никакого отношения не имеет.

Впервые в жизни не на картинке, а вживую мы видели настоящего пятнистого жирафа, австралийского кенгуру, гривастого царя зверей—льва… Белые медведи оказались совсем не белыми,

а грязно-жёлтыми, изнывающими от жары в вольере у маленького бассейна с зеленовато-мутной водой. Высунув от жары язык и растянувшись во всю длину, тяжело дыша, страдала от жары полосатая тигрица — самая крупная и сильная кошка на свете. Всех развеселила огромная мама-горилла, которая, не обращая ни на кого внимания, старательно искала блох в густой шерсти своего беспокойного детёныша.

— Гориллы — это крупные и миролюбивые обезьяны, они питаются только растительной пищей и принадлежат к семейству приматов, — рассказывал старичок-экскурсовод, который оказался учёным-зоологом, подрабатывающим в зоопарке консультациями и экскурсиями. — Приматы — самые умные среди всех животных. К ним относятся различные виды обезьян и люди…

— И… люди? — ахнул наш папа. — Язви ж тебя в душу!..

Он теперь держался поближе к экскурсоводу и время от времени о чём-то шёпотом расспрашивал старичка.

— А это молодой слон Джонни, — экскурсия остановилась у вольера с небольшим одиноким слоном. — Он — артист цирка, приехал в наш город на гастроли из Индии, а его хозяин-дрессировщик заболел и сейчас находится в больнице на излечении. Скоро он поправится, и Джонни опять вернётся в цирк…

Слон, словно понимая, что речь идёт о нём, приблизился к решётке вольера и стал кланяться нам громадной головой. Колыхались его огромные шелковистые серые уши с тёмными прожилками, длинный гофрированный хобот касался земли, а в маленьких влажных глазках светилось озорство. Все зааплодировали артисту цирка.

— В слоновьем хоботе около сорока тысяч мышц, — продолжал экскурсовод, — он им пользуется как рукой, а заодно и дышит, и пьёт, и нюхает, и трубит!

Неожиданно Джонни просунул свою руку-нос сквозь решётку и стал обнюхивать нашего отца, который стоял ближе всех к вольеру. Все замерли. Папа перестал дышать…

— Притворитесь покойником! — посоветовал ему кто-то из группы.

— Не волнуйтесь, — сказал учёный-экскурсовод. — Маленькими шагами отступайте назад…

Но растерявшийся экскурсант не мог двинуться с места. Мы не успели моргнуть глазом, как артист цирка забрался своим длинным хоботом в нашу чёрную брезентовую сумку, которая была в руках у остолбеневшего папы, пошарил в ней всеми своими сорока тысячами мышц, достал большое красное яблоко, ловким движением отправил его себе в маленький клыкастый ротик… И вновь потянулся к сумке…

Все смеялись и аплодировали, глядя, как Джонни поедает наш фруктово-овощной обед на четыре персоны. Опустошив сумку, он поднялся на задние ноги, демонстрируя нам своё слоновье величие, и громко затрубил…

Экскурсовод что-то тихо говорил нашему ошалевшему от всеобщего внимания отцу, а тот потрясённо качал головой:

— Ах, язви ж его в душу!.. Ах, язви…

Уставшие, голодные, но вполне счастливые, едва успев на последний рейс, возвращались мы домой, трясясь в стареньком пыльном и переполненном автобусе. Место нам досталось только одно — папе. Но что такое три часа стояния на ногах по сравнению с новыми ошеломляющими впечатлениями, украсившими этот незабываемо счастливый день нашего детства!

Папа подробно рассказывал сидевшему рядом мужику с осоловевшим взглядом про Джонни, сосед молча и сосредоточенно кивал.

— Вот как ты думаешь, какого размера у слона… — папа наклонился и что-то доверительно зашептал ему на ухо.

— Ну, наверняка сантиметров… пятьдесят-шестьдесят? — встряхнулся мужик.

— Эх ты, дурило! Слон же самое большое сухопутное животное на земном шаре! — блеснул эрудицией наш отец и заговорщически подмигнул нам.

— Ну ничё се! Тогда… может… метр?

— Нет! В рабочем состоянии у него… — рассказчик сделал паузу и многозначительно понизил голос, — пол-то-ра мет-ра!

— Не может быть! — ошарашенно икнул сосед.

— Может… язви его…

Тяжёлая техника

— Всё! В этом году мы не будем копать огород! — несказанно обрадовал нас отец. — На это есть тяжёлая техника! Договорюсь за бутылку, загоним трактор — он за час нам всё вспашет. А мы потом грабельками разровняем, посеем и станем ждать урожая!

Мама увещевала, уговаривала отца, что этого делать ни в коем случае нельзя, потому что на суглинке плодородный слой наращивается годами сантиметр за сантиметром, что тяжёлый трактор погубит землю, а плуг, даже если поставить его на минимальную глубину, вывернет и поднимет наверх почву, на которой даже картошка родить не будет… Упрекала в прошлогоднем агрономическом эксперименте, когда папа «угробил» наш молодой сад: надев на голову противогаз, достал из выгребной ямы туалета несколько вёдер фекалий, развёл их водой и обильно «удобрил» молодые яблоневые и вишнёвые деревья. Через неделю наш садик, набиравший первоцвет, засох…

Но переубеждать автора оригинального проекта было всё равно что чихать рядом со слоном. Папа оставался непреклонным:

— Во-во… Заодно трактор и засохшие деревья выкорчует!

Подвыпивший тракторист выкорчёвывать деревья не стал, он направил на них железную махину, тяжёлыми гусеницами подмял и впечатал в землю тонкие стволы. Мы, ещё недавно радовавшиеся тому, что этой весной не надо будет копать бесконечные огородные грядки, теперь, примолкнув, с сомнением и тревогой смотрели, как, громко тарахтя, стальное чудовище тащило по нашему огороду плуг, нарезавший вздыбленные, гладкие и блестящие глиняные волны…

Мама тихо плакала.

Отец невозмутимо приступил к следующему этапу своего проекта — попробовал разбить фрагмент одной из «волн» граблями. С возрастающей яростью и ожесточением он колотил граблями по вывернутой земле, острые зубцы впивались в почву, но дальше дело не шло. Грабли не боронили…

Потом автор проекта заставил и нас разбивать пласты. Мы выбивались из сил, на ладонях вырастали и лопались кровавые мозоли, но почва не поддавалась, ломались и тяпки, и грабли, и лопаты…

В сумерках наш огород напоминал лежбище мёртвых котиков.

Уставшие, опустошённые, понурив головы, молча шли мы домой. Отец решил подбодрить нас, поделившись своей новой «идеей»:

— Язви его в душу, этот огород… Завтра за бутылку договорюсь с трактористом, чтоб прошёлся несколько раз бороной, а мы потом удобрим всё селитрой и посеем клевер для кроликов…

Тарзан

— Иди за отцом, — сказала мама, — ушёл к своему другу Ваське и пропал… Напьётся там, а мне тащи его потом на себе… А ему утром в рейс!

Пришлось мне топать в другой конец посёлка.

Дружки сидели за столом и пили пиво. Моё появление папу не обрадовало:

— Мать за мной прислала? Язви её в душу, эту Каргу! Ладно, ступай, я тебя догоню сейчас…

С чувством исполненного долга, не торопясь, я шла домой. Путь хотя и неблизкий, но тропинка знакомая, каждый кустик приметен, папа вот-вот догонит меня…

Вдруг я услышала шорох… Откуда ни возьмись, передо мной, как из-под земли, выросла страшная псина. Гремя обрывком цепи, сверкая фосфорно-зелёными огоньками глаз и угрожающе рыча, чудовище двигалось на меня… У меня похолодело в животе, ноги стали ватными, сердце застучало, как набат…

От собаки убегать нельзя, в любом случае настигнет, и тогда пощады не жди! Не спуская глаз с клыкастой пасти, холодея от страха, я присела, шаря по земле руками и пытаясь найти хоть какой-нибудь камень или палку, но ничего не попадалось… Защищаться было нечем. Оставалась одно — продержаться до появления отца. Он наверняка уже идёт следом… Если закричать — услышит и поспешит на помощь…

— Па-а-а-а-а-апа! Па-а-а-а-а-а-апа! — заорала я не своим голосом и замахнулась на собаку рукой…

Псина, гремя цепью, отпрянула… Я успела сделать маленький шажок назад… Но клыкастая морда тут же опять возникла передо мной.

— Па-а-а-а-а-апа!

Со злобным рычанием чудище пыталось ухватить меня за ноги… Вот уже затрещал подол платья…

— Па-а-а-а, — теряя надежду, я призывала на помощь отца, уже еле сипя, замахиваясь на пса из последних сил… Он на мгновение отскакивал, но тут же бросался ко мне с ещё большим остервенением.

Казалось, это никогда не кончится…

— Тарзан!!! Тарзан!!! — вдруг послышался из темноты громкий женский голос, и псина, гремя цепью, метнулась на зов. — Эй, ты! Убегай скорей! Я держу его!

Я мчалась быстрее ветра…

— И чё ты орала там как ненормальная? Язви тебя… — встретил меня дома отец недовольным ворчанием.

В синих семейных трусах он сидел на маленьком стульчике перед тазом с водой — собирался мыть ноги…

Притча

Папа приехал домой поздно ночью, шумно раздевается, роняет стулья, громко топает, недовольно ворчит:

— Жена называется… Грязные сапоги не может снять с мужа… язви тебя… Другая бы мне ноги мыла и воду пила… Ни кожи, ни рожи… Нет от тебя никакой чести… Сто чертей тебе в печёнки… Карга старая…

Наконец он угомонился, и я тронула за руку нашу маленькую, худенькую и всегда виновато-молчаливую маму, сидевшую в темноте на краешке моей кровати и ждавшую, когда же отец уснёт покрепче, чтобы лечь с ним рядом в супружескую постель.

— Сколько можно так мучиться? Давай разойдёмся с ним! Он уже пятнадцать лет унижает тебя…

Я первый раз в жизни заговорила на эту тему, и моя всегда сосредоточенно-молчаливая мама вдруг разговорилась… Это было так странно и так удивительно…

— Тс-с-с-с! Все так живут…

— Не все, мама!

— У детей должен быть отец… Ты потом это поймёшь… В жизни всё просто — бери и неси свой крест… — в мамином голосе звучала обречённость.

— Какой крест?.. Человек должен мечтать и стремиться к своей мечте!

— Всё правильно… У вас мечты, а у меня — крест… Есть одна история, её мне ещё мама моя рассказывала…

Под громкий храп отца она стала рассказывать мне притчу о том, как два путника искали землю обетованную, и каждый из них нёс на плече крест своей судьбы…

Один — нёс тяжелую ношу и не роптал, а второй — всё время останавливался, отдыхал, ворчал на то, что ему тяжело, и в конце концов взмолился: «Господи! Разреши мне облегчить груз!» Бог внял его мольбе и разрешил отпилить кусочек от деревянного креста. И пошли путники дальше.

Шли они, шли… Солнце палит, пить хочется, а заветная цель ещё так далеко…

И опять взмолился второй путник — попросил разрешения отпилить ещё кусок. И опять внял Бог его просьбе. И путники продолжили свой путь. Острые камни резали ноги, тяжёлая ноша гнула к земле…

И в третий раз не выдержал путник — в третий раз попросил Господа помочь ему. И в третий раз тот внял его словам…

Долго ли, коротко ли шли наши странники, но наконец увидели обетованную землю. Там в реках текла хрустальная вода, над сочной и зелёной травой порхали удивительной красоты бабочки, а на деревьях пели птицы и спели большие красные яблоки…

До желанной цели рукой подать, нужно только преодолеть последнее препятствие—глубокую пропасть… Первый путник тут же перебросил через неё свой крест и по нему, как по мостику, легко перебрался к заветной цели.

Второй тоже бросил свою ношу, но его крест упал в пропасть, потому что оказался очень коротким…

— Мам, ты хочешь сказать, что всю жизнь будешь его терпеть?

— Буду… пока сил хватит… Надо поставить вас на ноги…

Почему я выбрала папу

Жизнь в столице и учёба в университете казались мне раем. Нравилось мне и общежитие, где у меня были свой уголок, кровать, тумбочка и, главное, моя соседка Аля, с которой мы подружились со дня знакомства. Я восхищалась своей новой подругой. Она, городская девочка из семьи военнослужащих, неизменно приходила ко мне на выручку во всех житейских ситуациях, случающихся с человеком, который, как говорится, слаще репки в своей жизни ничего не едал…

Для меня, с молоком матери впитавшей простую житейскую истину о том, что в этой суровой жизни нужно надеяться на себя и рассчитывать только на свои силы, самым потрясающим открытием, перевернувшим представление о целом мире, была дружба с этой хрупкой, доброй и деликатной девушкой.

Как-то незаметно я научилась смеяться, перестала вздрагивать от громкого голоса или стука, уже не боялась кашлять—никто не приказывал мне: «Прекрати бухыкать!» Я сама решала, идти мне в кино или в библиотеку. И главное—я могла, не прячась, читать! Читать всласть, запоем, ночь напролёт… Тугая пружина неуверенности и незащищённости, с детства вживлённая в мой позвоночник, стала потихоньку выпрямляться…

Как-то однажды мне в руки попал популярный женский журнал, в котором я обнаружила интересную теорию о том, что дети, вернее, души детей, ещё будучи в Космосе, сами выбирают себе родителей…

Реально понимая, что это лишь чудная фантазия экзальтированной дамы-звездочёта, я почему-то всерьёз разволновалась и не на шутку была озабочена поисками ответа на вопрос: почему же я выбрала своего папу?

Понятно, когда дети выбирают семьи, в которых их будут любить… Но ведь на свете сколько угодно людей, которым быть родителями вообще противопоказано. Почему выбирают их?

Теория не шла у меня из головы. Она, как мышка, лишь только я оставалась одна, тихонько выбиралась из какой-то своей потайной норки и начинала подтачивать мои мысли…

С мамой всё понятно… А вот отец… Может быть, это был лучший вариант среди предложенных судьбой, а моей душе очень сильно хотелось на Землю? Или я наперёд знала, что в составляемый природой экспериментальный генный коктейль самого сладкого и бесценного напитка на свете под названием «Жизнь» необходимо было добавить щепотку экзотики и эксцентричности от моего папы, язви его в душу?

Наверняка должна существовать очень веская и серьёзная причина, объясняющая мой выбор! Но какая?

Шёл день за днём, я искала, но не находила ответа…

Однажды вечером мы с Алей сидели в комнате общежития на старых скрипучих кроватях напротив друг друга, готовились к зачёту по творчеству Льва Толстого и говорили о романе «Анна Каренина», который начинался словами: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему…»

Слово за слово, и я решила показать журнал своей подружке. К моему удивлению, умница и отличница Аля отнеслась к заинтересовавшей меня теории с большим вниманием…

Это был вечер откровений. Я никогда и никого не пускавшая в свою душу, рассказывала ей о своих родителях.

Она мне—о своей семье, о папе, который два года назад трагически погиб в автомобильной катастрофе.

— Мы так дружно жили… мама, папа, мой старший брат и я,—рассказывала Аля.—Мне сейчас очень жаль, что я, когда подросла, не записала сказки, которые придумывал мне отец. Нет, в них не было ни Василис Премудрых, ни Кощеев Бессмертных, ни Иванушек-дурачков. В папиных сказках ссорились и всегда мирились правая и левая туфельки, косички и расчёска, моя новая кукла Катя, которую я постригла наголо в день покупки, разбросанные игрушки, оставшиеся мёрзнуть на полу, и даже моё небрежно брошенное платьице, которое, как и игрушки, свято верит в то, что у них хорошая и добрая хозяюшка… И как только, поцеловав меня, папа уходил из моей спальни, я пристыжённо сползала с кровати, убирала всё на место, шептала Кате, что я остригла ей волосы исключительно для того, чтоб они росли погуще, укладывала её рядом с собой, и… как облегчённо, с чувством исполненного долга, засыпала я после этого! А в первом классе моим родителям сказали: «Какая у вас удивительно развитая девочка! Она не только прекрасно читает и считает, она так интересно умеет рассказывать об обычных предметах!» А это во мне было от отца… И к нашей маме мы относились с особенной нежностью. Она теперь говорит, что это папина любовь к ней, его каждодневное «Правда же, наша мамочка самая лучшая?» заставляли и нас видеть в ней самую-самую…

Аля надолго замолчала, я боялась шевельнуться, чтобы не вспугнуть её сокровенные чувства, связанные с воспоминаниями.

Сумерки вошли в нашу комнату, но зажигать свет не хотелось.

— Знаешь, там, в Космосе, я выбрала себе самого замечательного отца на свете! — нарушила молчание моя подруга. — Теперь его нет… Но всегда в самые трудные минуты своей жизни я вспоминаю какие-то, вроде даже совсем незначительные, события детства, связанные с ним, и его любовь живёт во мне, греет душу, помогает преодолеть все преграды и беды… Я стараюсь жить так, чтобы соответствовать его любви… А ещё… Об этом никому не говорила… Если я когда-нибудь смогу вырастить сына, похожего на моего папу, — значит, я не напрасно пришла на эту Землю…

Мы сидели, взявшись за руки, и тихо плакали, не стыдясь своих слёз.

Я плакала оттого, что мне было жаль так рано ушедшего Алиного отца, подарившего ей такое удивительное, такое потрясающе счастливое детство…

Жаль мою маму, так и не изведавшую в своей жизни радости быть любимой женщиной и женой…

Жаль бабушку, одиноко умершую в далёкой сельской больнице с нашей детской фотографией в руках…

Жаль папу, который однажды всё-таки ушёл из нашей семьи, но за свою долгую жизнь так никого и не сделал счастливым…

Я плакала, потому что моё детство и детство братишки Кости и сестрёнки Ольки закончилось, и теперь перед нами открывалась новая, полная надежд жизнь…

И тут, неожиданно для себя, я поняла, чем же объясняется мой космический выбор… Всё оказалось очень даже просто…

— Придёт время, и я напишу о своём детстве… — поделилась я открытием с подругой. — Это будет рассказ или даже… маленькая повесть! Её напечатают в самом лучшем литературном журнале страны и прочтут миллионы пап. Среди них наверняка будут и те, кто ещё не успел понять, почему ребёнок, будучи ещё там, в Космосе, избрал именно его… А заканчиваться моя повесть будет такими словами: «Папы, любите своих сыновей и дочек, потому что отцовская любовь — лучшая прививка от всех жизненных бед и испытаний. И нет её надёжней на всей Земле. Ныне. И присно. И во веки веков…»

Автор со всей ответственностью заявляет, что все герои и события, имеющие место в повести, вымышлены, а возможные совпадения — случайны.

Михаил Лозинский

Скрижали огневые

Последняя вечеря

Последний помысл — об одном,
И больше ничего не надо.
Гори над роковым вином,
Последней вечери лампада!

И кто расскажет, кто поймёт,
Какую тьму оно колышет,
Какого солнца чёрный мёд
В его волне горит и дышит?

Смотри: оно впивает свет,
Как сердце жертвенная рана.
Весь мрак, всю память мёртвых лет
Я наливаю в два стакана.

Сегодня будет ночь суда,
Сегодня тьма стоит над нами.
Я к этой влаге никогда
Не приникал ещё губами.

Пора. За окнами темно.
Там — одичалый праздник снега.
Какое страшное вино!
Какая кровь, и смерть, и нега!

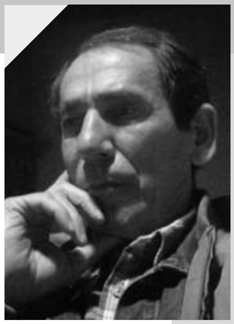
То был последний год. Как чаша в сердце храма,
Чеканный, он вместил всю мудрость и любовь, —
Как чаша в страшный миг, когда вино есть кровь,
И клир безмолвствует, и луч нисходит прямо.

Я к жертве наклонил спокойные уста,
Чтоб влить бессмертие в пречистый холод плоти,
Чтоб упокоить взор в светящейся дремоте.
И чуда не было. И встала темнота.

Но лёгким запахом той огненной волны
Больные, тихие уста напоены.
Блаженный и слепой, в обугленном молчанье,
Пока не хлынет смерть, я пью своё дыханье.

Петербург

Как в призванных сердцах — провиденье судьбы,
Есть в вечных городах просветы роковые —
Костры далёкие, скрижали огневые,
Над дымом времени нетленные гербы.
Ты в ветре рвущемся встречаешь лёт столетий,
Мой город, властелин неукротимых вод,
Фрегатом радостным отплывший на рассвете
В моря без имени, в пустынный переход.
И, мёртвый, у руля, твой кормчий неуклонный,
Пронизан счастием чудовищного сна,
Ведя свой верный путь, в дали окровавленной
Читает знаменья и видит письмена.



Шакир а-Мил

Герой аула Ак-таш

Братья

1.

Эшелон шёл уже седьмой день, практически без остановок.

Через маленькую щель в углу вагона Василь почти всё время смотрел на уходящий от эшелона мир, пытаясь запомнить приметные места.

Но на четвёртый день всё исчезло, и унылый однообразный вид снежной пустыни утомил его. Ни деревца, ни кусточка, кругом только снежная белизна, режущая глаза.

И когда эшелон в очередной раз остановился, а стук колёс сменил безудержный лай собак, стало понятно: доехали. Василь снова заглянул в щель и увидел вдоль вагонов шеренгу солдат с собаками, а за ними лежала всё та же земная пустошь.

Их высадили. Построили в ровные шеренги, пересчитали поголовно. Затем взвод автоматчиков, сопровождавших этап, вернулся в вагоны. Паровоз свистнул, тронулся и вскоре скрылся, словно его и не было.

Этапников снова перестроили, теперь уже в колонны поплотней.

— Направо! Шагом м-арш! — скомандовал старший, и колонна медленно двинулась в сторону лагеря, который находился километрах в шести от железной дороги.

Люди в колонне оживились, надышавшись свежего воздуха. По отёкшим от бездействия ногам побежала кровь, и вскоре шагать стало легче и веселей, несмотря на холод.

Солдаты, в одинаковых тулупах, лениво брели вдоль колонны, позволяя собакам тащить себя за поводки.

Наконец показались бараки, окружённые двойной стеной колючей проволоки и вышками по всему периметру.

У Василя защемило сердце, он ещё раз оглянулся назад, на смыкающуюся за колонной пустошь, и подумал: «Отсюда не уйти!»

2.

Ночью, на четвёртые сутки, кто-то тронул ногу Василя и потянул к себе.

Василь вскочил и в темноте силился разглядеть, кто его разбудил.

— Эй, хлопчик, слезай! Дело есть, — сказал шёпотом незнакомец.

Едва проникающий свет в барак осветил его лицо, и Василь признал в нём одного из воровских своего барака.

Василь спрыгнул с нар и встал напротив. Его друзья, соседи по нарам, проснулись и теперь, развернувшись, слушали их разговор.

— Чего тебе? — спросил Василь.

— Пойдёшь со мной, — сказал незнакомец. — С тобой хотят поговорить. Тут недалеко, через барак.

Василь вопросительно взглянул на своих друзей. Старший из них, по имени Андрей, спрыгнул и встал между ними.

— Никуда он не пойдёт! — заявил он. — А ну говори, кто его звал?

Незнакомец, переминаясь с ноги на ногу, — было видно, что он испугался, — жалостно ответил:

— А я почём знаю, хлопцы? Кажись, из ваших! У нас, сам знаешь, лишних вопросов не задают! Да мне уплачено уже. Нет так нет! Вот пойду и скажу.

— Ты не крути! — сказал товарищ Василя. — Наши бы сначала знать о себе дали. Тут все по своим понятиям живут. А вот от кого ты, не пойму я!

— Не знаю я, не знаю, — занервничал незнакомец. — Не сказал он! Только я с него слово взял, что хлопец живым-здоровым к вам вернётся!

— Ну, тебе слово дать — не сильно обмажешься! Ладно, стой тут, — распорядился Андрей и повернулся к Василю: — Что, Василь? Пойдёшь али как? Вообще-то тут словами не бросаются. Может, и правда кто из наших?

— Пойду я, — ответил Василь и без лишних слов ушёл с незнакомцем.

Они прошли к бараку. У самого входа, в закутке, стояли печка-буржуйка и самодельный, на козлах, стол. За столом сидел, полусогнувшись к печке, человек. Он обернулся, и Василь признал в нём своего старшего брата Степана.

3.

Степан был болен, его знобило.

Василь добавил ему в кружку кипятка, Степан обхватил кружку руками, словно пытался впитать тепло от неё в себя.

— Домашних давно видел? — спросил он.

— Давно, — ответил Василь. — Я как немцы отступать начали, старался быть подальше от наших мест. Придут ваши, загребут за пособничество братишку-то. Гришка один остался с родителями. От Ганки какая помощь? У неё своя семья.

— Наши-ваши, всё равно забрать могут. Ты — бандеровец, я — враг народа. Всё одно — передохнем мы здесь!

— Ну уж нет, браток! — возразил Василь. — Ты как хочешь, а я вот приглянусь и уйду отсюда!

— Куда уйдёшь? — усмехнулся Степан. — Здесь сотни километров полупустыни, и птицы облетают эти места. Погоди, а чего это ты, Василь, седой уж весь?

— Не поверишь, за одну ночь поседел.

— Что так?

Василь опустил голову, помолчал и заговорил:
— Да так. Помнишь дядьку Петра, с соседнего хутора? Так его твои коммуняки в председатели определили. Мы в ночь туда зашли, вроде как за харчами, да потом командиры порешили и к дядьке Петру зайти, вроде как припугнуть. Не знаю, что там у них вышло, только сожгли они там всех. Живыми в печи, всех. И тётю Оксану, и детишек. Крики их до сих пор в ушах стоят, вот.

Степан сжал кулаки и опустил голову.
— Что же ты, Василь?! А помнишь, он всё как к батьке заходил, так завсегда тебя на колени сажал и гостинцами угощал?
— Не был я там! Я в оцеплении стоял! А ты, Степан, когда сельчан наших со своими дружками пострелял как пособников, вспомнил, что среди них двоюродный дядька твой?

Степан промолчал, а позже сказал, не поднимая головы:
— Да нешто нас мать с отцом родили кровь проливать вот этими руками?
— Не знаю я, братка, да только гореть нам в пламени адском. Будь оно всё проклято!
— Да мне уж скоро,— отозвался Степан.— А ты уж побереги себя, Василь, авось свидишься с родными. Так ты передай им поклон от меня.
— Да что ты, Степан,— сказал и обнял брата Василь.— Вместе, вместе поклонимся родителям!

4.

Спустя два дня, на построении, Василь услышал за спиной знакомый голос — того самого, из воровских:
— Слышь, хлопчик! Велено передать. Знакомого твоего в лазарет отправили. Сказали, плохой он. Если хочешь увидеть живого, поспешай. После построения я буду ждать у барака. Иди за мной, я покажу, как в лазарет пробраться.

После построения у барака Василь увидел знакомца. Тот заметил его, развернулся и пошёл вдоль барака. Василь поспешил за ним.

Поплутав по снежным лабиринтам, они наконец остановились, и его попутчик сказал, указывая на небольшой барак:
— Вот он, лазарет! Ползи к нему. Двери с другой стороны. Пройди незаметно, а внутри и персонал, и врачи из зэка, там спросишь кого надо, давай!

Василь перемахнул через сугробы и где ползком, а где и пробежкой, согнувшись, подбежал к стене барака.

Почти у самого угла строения он натолкнулся на небрежно сваленные трупы и тотчас узнал среди них своего брата.

Степан лежал уже одеревенелый, с широко открытыми глазами и приоткрытым ртом.

Василь опустился на колени, положил на них голову брата и беззвучно заплакал, утирая от слёз и мелко падающего снега лицо Степана, отчего оно вскоре стало влажным и мягким.

Неожиданно из-за угла барака появился солдат. Он взглянул на Василя, отвернулся, скоро помочился на стену. Затем повернулся и, оправляясь на ходу, подошёл и спросил:
— Эй, ты чего тут?
— Это брат мой,— ответил Василь.— Можно, я побуду с ним?
— Чего-о? — потянул солдат.— А ну марш отсюда!
— Братишка! — сказал Василь, поднимаясь с колен.— Я чую, ты наш хлопец, с Украины. Позволь, а?
— Тебе, вражина, тамбовский волк — брат! — зашипел солдат.— Дуй отсюда, чтобы духу твоего здесь не было!
— Ах ты, гад! — возмутился Василь.— Попался бы ты мне на воле, посмотрел бы я на тебя, вояку!

Солдат оглянулся вокруг, чему-то вдруг улыбнулся.
— Не бойсь, не попадусь! — сказал он и, мелко перекрестившись, снял с плеча карабин. Почти не целясь, выстрелил прямо в сердце Василя.

Василь разве что лишь успел взглянуть на брата и упал рядом.

На выстрел тотчас прибежали офицер с двумя солдатами.
— Кто стрелял? Что случилось? — спросил офицер.
— Вот, товарищ лейтенант,— махнул в сторону Василя солдат.— Бросился на меня, хотел оружие забрать!

Офицер оглянулся вокруг и усомнился:
— Напал, говоришь? Что-то я следов борьбы не вижу.
— Да что же я — должен был ждать, когда он мне на шею бросится? — обиженно ответил солдат.— Да гляньте, чего он тут делал! Сидел и ждал, на кого напасть!

Офицер потоптался вокруг, махнул рукой и сказал стоявшему рядом солдату:
— Ладно! Сержант! Сейчас пройдёте с рядовым к дежурному офицеру и оформите труп.
— Есть! — ответил сержант.— А что, товарищ лейтенант, труп тоже до дежурного?
— Да на кой он ему нужен,— ругнулся офицер.— Запомни номер, и оформляйте, вот как он всё рассказал. А труп бросьте к остальным.

Лейтенант ушёл. Сержант с солдатом подняли тело Василя и после короткого взмаха бросили поверх других трупов.
— Пошли! — сказал сержант и двинулся вперёд.

Солдат быстро оглянулся, взглянул на Василя, чему-то улыбнулся и, мелко перекрестившись, поспешил за ним.

5.

У ворот лагеря, на высоком столбе, нещадно скрипел прикрытый колпаком фонарь. Раскачиваясь, он освещал будку часового и едва заметную, припорошённую снегом дорогу к лагерю.

По освещённой прожекторами дороге из-за бараков показались запряжённые лошадью сани-розвальни. Они едва приблизились, как часовой без всякой команды распахнул ворота.
— Тпр-р-р! — скомандовал солдат, управлявший санями, и едва они остановились, легко соскочил с них.
— Здорово, Ваня! — приветствовал солдата часовой.— Давно я тебя здесь не видел!
— А у нас график не совпадал,— ответил солдат.— Сейчас зима, товар не портится, вот и вывожу раз в два, а то и в три дня.

— Понятно! — сказал часовой и, приблизившись, взглянул в сани.

На санях лежали не вдоль, а поперёк аккуратно сложенные друг на друга трупы.

— А что, Вань, неплохо тебе служится, — сказал часовой. — Числишься тут труповозом, а домой придёшь, так бабам всё будешь рассказывать, что чуть ли не государственных преступников охранял!

— А чо?! — откликнулся солдат, указывая на трупы. — Чем они не государственные преступники? Какая разница, живые они или мёртвые? Вот только званиями да значками меня обделяют.

Часовой рассмеялся, но, видимо, привыкший донимать своих собеседников, спросил:

— А за что тебе значки-то? Ты вон сегодня на политзанятиях не мог вспомнить, на каком съезде Ленин меньшевиков разоблачал! Что ж ты так?

— А ну их! Разве всё упомнишь! — ответил солдат и, снова указывая на сани, прибавил: — Вон их до сих пор разоблачают! Не одному мне за службу возить хватит!

Они прошлись вдоль саней, и часовой вдруг сказал:

— Смотри! Смотри! А вот этот как похож вон на того!

Солдат взглянул и удивился.

— И впрямь похож, — сказал он. — Только вот этот вроде постарше. А которого помладше стрельнул кто-то!

— Это Сахно его стрельнул! Уже третьего стреляет, как будто при попытке к бегству. Всё отпуск хочет заработать!

— Ты подумай! Не боятся-то люди греха! — покачал головой солдат и сказал: — Ну, давай, принимай товар, а то мне ещё возвращаться.

— Это мы мигом! — согласился часовой.

Он прошёл за будку, достал из-за неё кирку, обрезанную для лёгкости с одной стороны, скоро и умело пробил ею черепа всех трупов.

— Нормально! — сказал он. — Послушай, Вань, а куда ты их возишь? Говорят, что та траншея, которую мы ещё по осени приготовили, уже полная.

— А зам. по хозчасти нашёл немного дальше одну расщелину, так я туда свожу. А по весне землёй закидают! Ну, бывай, служба!

Солдат легко запрыгнул на сани, дёрнул за вожжи и скомандовал:

— Но-о-о! Вперёд, Сивка! За Родину! За Сталина!

Герой аула Ак-таш

1.

— Салеха-апай! Салеха-апай! — услышала крик у юрты Салеха и, выглянув из неё, увидела на молодом жеребце младшего сынишку Серикбая, который, завидев её, ещё пуще закричал: — Суюнши! Салеха-апай! Суюнши! Ваш Кокен едет с войны домой! Суюнши!

Молодой жеребец то ли из норова, то ли испугавшись звонкого голоса своего юного наездника, нещадно копытил землю, подняв столб пыли, и никак не хотел останавливаться. Наконец Салеха поймала его за узду и, притянув к себе, успокоила коня.

— Что ты сказал, сынок? Откуда знаешь? — задыхаясь от волнения и борьбы с жеребцом, спросила Салеха.

— Вот, вот! Телеграмма! — закричал мальчик, и только теперь Салеха увидела в его руке клочок бумаги, которым он размахивал.

Салеха выхватила бумажку, всмотрелась и, испугавшись неровных, незнакомых и непонятных ей печатных рядов букв, поспешно сунула её обратно в руки мальчишке и взмолилась:

— Сыночек! Ты ведь знаешь, я не умею читать. Прочитай, что тут написано.

— Здесь написано, чтобы вы встречали Кокена восемнадцатого числа в одиннадцать часов с поезда, вот! С вас суюнши, Салеха-апай!

— Подожди меня, сынок! Подожди! — попросила Салеха и забежала в юрту.

Там она быстро открыла сундук, выхватила среди прочего отрез материала и, выбежав обратно, вручила его мальчишке:

— На, сынок. Пусть мама сошьёт тебе хороший костюм.

— Спасибо, тётя! — сказал мальчик и, погоняя жеребца коленками, ускакал прочь вдоль юрт, размахивая дорогим подарком и крича:

— У Салехи-апай сын едет с войны домой!!!

И, конечно, все, кто услышал эту добрую весть, поспешили поздравить Салеху и с удивлением вертели в руках телеграмму, которую многие из них увидели впервые.

В полдень в юрту Салехи заглянул председатель Ертай. Он, верно, не слышал новости о Кокене, поскольку, поздоровавшись, ни о чём не расспрашивая, охотно принял приглашение попить чаю.

Он важно дул на пиалу с горячим чаем и, отпивая очередной глоток, сказал Салехе:

— Я по делу к тебе, Салеха. Скажи своим дочкам, пусть собираются, я хочу отправить их завтра на две недели в бригаду Куаныша, там не хватает рабочих рук.

— Ты бы подождал с этим два дня, Ертай, у нас Кокен возвращается с войны. Пусть хоть девочки увидят его.

— Да ты что, сестра! Поздравляю! — оживился Ертай. — Конечно, если так. А откуда знаешь? Письмо, что ли, прислал?

— Нет, — ответила Салеха. — Талегаму вот прислал.

И, поспешно достав из-за портрета Сталина аккуратно сложенную бумагу, развернула и подала председателю.

— «Талегаму», говоришь! Ха-ха! Да никакая это не «талегама», а телеграмма! Ты смотри, действительно — телеграмма! А ведь до войны-то он и писать-то толком не умел.

Ертай мельком взглянул на бумажку, потом ещё, зачем-то прочитал её, а потом и вовсе поднялся, встав под лучи света из приоткрытого шанырака, снова прочитал телеграмму.

— А скажи-ка мне, Салеха, — спросил он вдруг. — Давно ли ты от Кокена письмо получала?

— Да вот, месяц как будто назад, — ответила удивлённая Салеха. — А что случилось, Ертай?

— Да ничего, ничего, — сказал Ертай. — А ну-ка дай мне это последнее письмо.

Он несколько раз внимательно прочитал его и, пожав плечами, вдруг промолвил:
— Ничего не понимаю!
— Да что случилось-то?! — запричитала тут Салеха. — Не молчи, Ертай! Что написано в этой талегаме?
— Успокойся, сестра, всё нормально, — ответил Ертай.

Он ещё походил по юрте, перечитывая обе бумаги, затем подошёл к Салехе и заявил:
— Вот что, Салеха. Я возьму у тебя эту телеграмму, а вечером обязательно верну, хорошо?

Тут Салехе стало совсем плохо. Ничего не понимая, она молча опустилась на сундук.

Ертай взглянул на неё, раздумывая о чём-то, но потом выбежал из юрты, вскочил на коня и умчался прочь.

2.

В кабинет первого секретаря райкома партии Ертай вошел, буквально волоча за собой секретаршу, которой было указано никого не впускать в этот час к нему.
— Да пропусти ты его! — милостиво приказал первый секретарше, устав на сегодня от цифр и графиков для своего предстоящего областного доклада. — Ну ты даёшь, Ертай Махмудович! Надеюсь, ты так рвался ко мне, чтобы доложить об очередной трудовой победе?
— Нет, товарищ первый секретарь, я принёс вам новость получше! — ответил Ертай и аккуратно положил перед ним телеграмму.

Тот прочитал её, затем взял в руки и ещё раз прочитал вслух:
— «Встречайте восемнадцатого поездом. В одиннадцать часов. Герой Советского Союза Кокен Сарсенбаев».

3.

Заседание в райкоме длилось уже второй час. Кабинет первого был задымлён донельзя. Участники заседания изрядно устали, и их фигуры стали напоминать фигуры жёстких стульев, на которых они сидели. Некоторые даже завидовали стоявшему всё заседание начальнику вокзала, которому уже раза три устроили разнос за состояние вверенного ему здания и прилегающих объектов, с вынесением выговоров в личное дело, да и не вспомнили, что он беспартийный. Ему так никто и не предложил сесть, и он с тоской поглядывал на свой стул, на котором успел посидеть лишь первые пять минут заседания.

Наконец первый указал огласить резолюцию заседания, и его секретарша, Ольга Ивановна, не вынимая папиросу изо рта, монотонным голосом оповестила:
— «В связи с прибытием с фронта Героя Советского Союза К. Сарсенбаева райкому провести следующие мероприятия:

1. Организовать торжественную встречу Героя К. Сарсенбаева.
2. Ходатайствовать перед командованием военной части 153746 о выделении на данное мероприятие до роты военнослужащих, а также военного оркестра части.
3. Всем нижеперечисленным организациям освободить от работы максимальное число людей 17 и 18 августа сего года.
4. Школе-интернату № 4 обеспечить 100% участие в мероприятии школьников и учителей.
5. 17 августа провести три генеральные репетиции встречи поезда в 11:00, 14:00 и 17:00 часов.
6. Начальнику районной милиции майору Мадетову Н. обеспечить порядок и дисциплину во время проведения встречи Героя.
7. Начальника вокзала Козлова И. предупредить о служебном несоответствии. Обязать Козлова И. выполнить все указанные мероприятия, за неисполнение немедленно уволить».

Тут все с сочувствием взглянули на начальника вокзала, который, однако, чувствуя, что заседание близится к концу, даже немного взбодрился.

Первый снова взял слово:
— Товарищи! — сказал он. — Я прошу вас как можно серьёзней отнестись к данному мероприятию, которое имеет важное политическое значение. Хочу вам напомнить, товарищи, что не во всяком районе есть Герои Советского Союза. Их по области-то по пальцам пересчитать можно.

И тут он, как будто вспомнил что, задумался. Потом взял телефонную трубку и сказал в неё:
— Соедините меня с обкомом партии.

Когда его соединили, он тихо доложил причины и итоги этого заседания райкома и, выслушав ответ, аккуратно положил трубку на место.
— Так, товарищи, — заявил он. — Восемнадцатого числа на встречу Героя прибудет сам первый секретарь обкома партии товарищ Шаханов Ильяс Есенович.

4.

Поезд прибыл вовремя. Пассажиры с удивлением разглядывали разукрашенный вокзал, новенькую трибуну, выстроившихся по всему перрону солдат, школьников в парадной форме и с цветами, толпы встречающих, находившихся почему-то за спинами солдат, и, конечно, стрелочника, одетого в одинаковую с начальником вокзала форму и с такими же знаками различия, только абсолютно новую.

Рассыпавшиеся по всему перрону милиционеры легко пропустили через свой строй сошедших с поезда пассажиров и слегка придержали человек семнадцать прибывших фронтовиков, которых они почти безуспешно уговаривали собраться вместе для проведения мероприятия по их встрече. Фронтовики уж были готовы прорваться к ожидавшим их родным, как прибежавший на место командир роты поставил всё на место.

Он живо построил их и громко огласил:
— Здравствуйте, товарищи герои-фронтовики!
— Здравия желаем, товарищ капитан! — умело ответили фронтовики.
— Поздравляю вас с возвращением на Родину! Ура!

— Ура! Ура! Ура! — воодушевились фронтовики.
— А теперь, товарищи фронтовики, прошу вас выслушать объявление товарища из райкома партии.
— Товарищи! — объявил второй секретарь райкома. — Мы убедительно просим вас, фронтовиков, поучаствовать в мероприятии по вашей встрече. Для этого вам необходимо строем пройти к трибуне, где вас будет приветствовать первый секретарь обкома партии. Понятно?
— Ну ладно, валяйте, — ответили ему с первого ряда.
— Вот и хорошо, — обрадовался второй секретарь и, подойдя ближе, спросил: — Товарищи, кто из вас Сарсенбаев Кокен?

Фронтовики переглянулись и закричали куда-то в задние ряды:
— Эй, Кокен! Выходи, тебя спрашивают.

Вскоре они выпихнули вперёд себя ничем не выделявшегося, разве что ростом поменьше, солдата.
— Так вот вы какой! — довольный, что Герой Сарсенбаев действительно прибыл этим поездом, сказал второй секретарь и, приглядевшись к его груди, добавил:
— А где звёздочка?
— Какая ещё? — буркнул в ответ Герой Сарсенбаев и почему-то попятился назад.
— Ну, эта — Героя? — не унимался второй.
— Нет у меня никакой звёздочки, — ответил солдат, пытаясь и вовсе скрыться среди фронтовиков.
— Э-э нет, стой! — схватил его за рукав майор Мадетов. — Ертай Махмудович! Где телеграмма?
— Вот она! — ответил Ертай, передавая телеграмму майору.
— Это твоя телеграмма? — ткнул майор бумажкой в лицо солдата.

Тот всё понял. Он молча кивнул.

Майор тоже понял всё.
— Взять его! — скомандовал он двум своим помощникам, и те привычно увели солдата из строя в сторону вокзала.

Пауза затягивалась. Выручил всё тот же капитан.
— Так, майор, — сказал он. — Скорее на трибуну. Скажете, что героя не будет.

Он махнул условным сигналом платком, грянул оркестр, и фронтовики браво, под его командой, пошли в последний раз в своей жизни строевым шагом.

5.

Когда всё кончилось, первый секретарь обкома вошёл в кабинет начальника вокзала, где всё это время майор вёл допрос солдата.

Кроме майора и двух его помощников, в кабинете находился и председатель Ертай, явно напуганный и ожидавший своей очереди допроса.
— Ну что тут у вас? — спросил Ильяс Есенович.
— Он во всём сознался, — отрапортовал майор. — Говорит, что пошутил.
— И что думаете делать?
— Да что тут думать! Мародёр он. Вон, посмотрите, сколько барахла вёз.

И майор ткнул на раскиданные женские вещи из рюкзака солдата.
— Ну, тебе был бы человек, а статья всегда найдётся. Кому вёз? — взглянув на вещи, спросил Шаханов солдата.
— Маме, сёстрам, — шмыгнув носом, трогая разбитую и опухшую губу, ответил Кокен.
— Видел, видел. Вон стоят за дверями. Ждут тебя, героя. — Шаханов обошёл солдата, поправил на его груди две медали — «За отвагу» и «За взятие Вены», сказал: — Такие награды зря давать не будут. Как воевал, солдат?
— Как все, — ответил тот.
— Правильно, — согласился с ним Шаханов. — Как все. И поэтому Победа наша — она общая на всех. И все — герои, все. Разве на всех наград хватит, а, майор?

Майор встал и развёл руками.

Шаханов подошёл к столу, аккуратно сложил вещи в рюкзак, завязал его, подобрал со стола ремень солдата и вместе с рюкзаком подал ему.
— Пошли, пошли, — поторопил он, похлопывая его по плечу.

Он вывел солдата из кабинета, подошёл к матери.
— Спасибо за сына, мать, — сказал Шаханов Салехе. — Ты уж прости, задержали мы его немножко. Мы тут всех героев, вроде твоего сына, персонально встречаем.

Тут он подозвал своего шофёра и приказал:
— Отвезёшь вот этого героя с семьёй прямо до дома. Я здесь тебя подожду.

И, простившись ещё раз с солдатом, вернулся в кабинет.
— Ну что, Ертай, — обратился он к председателю, — как дела? Сумеешь в этом году повторить прошлогодние показатели?

Ертай вскочил и, запинаясь, доложил:
— Обязательно, товарищ первый секретарь. Мы уже сейчас по показателям впереди всего района идём.
— Ну, молодец, Ертай Махмудович. Ты у нас всегда на хорошем счету. Ладно, коли так. Ты свободен. И пожалуйста, с этим героем поаккуратней. Давай, ждём от тебя новых трудовых успехов.

Ертай пообещал и юркнул за двери.
— Вот тоже неплохой парень, — сказал Шаханов. — Сколько у нас в районе хороших людей! А что, майор, не представить ли нам этого Ертая к званию Героя? А то мы по этому показателю отстаём от других областей.

И тут они оба рассмеялись.

Бригада

К небольшому сараю с инструментом первыми пришли Костя и Фриц. Вообще-то Фриц никаким «фрицем» не был, но обидная с детства дворовая кличка приросла к нему, и никто и не помнил, что настоящее имя его — Генрих.

На двери висел незатейливый замок, свидетельствующий, что бригадира Семёныча, который обычно на работу приходил первым, ещё не было. Ключ был только у него.

Солнце уже показало свой красный диск, и, как обычно в это время суток, стало чувствительно прохладно. Свежая роса на траве была до

удивления омерзительно холодной. Костя, обутый в видавшие виды сандалии на босу ногу, первым уселся на небольшую скамейку и старательно шевелил застывшими пальцами ног, с чёрными от грязи и давно не стрижеными ногтями.

Фриц для убедительности подёргал замок на двери и спросил:

— А чего это старого нет?

— А хрен его знает,—буркнул Костя, но вдруг вскочил, побежал к ближайшим кустам, где его стошнило.

Фриц с отвращением отвернулся, но внутренне завидовал Косте, который мог позволить себе пьянствовать больше других, поскольку единственный из бригады получал пенсию за какую-то там болезнь.

На работе они были в последний раз три дня назад, а значит, у остальной братвы деньги на выпивку вряд ли уже были.

— Бухал?—сочувственно спросил он вернувшегося Костю.

— Не-е! Похмелялся!—махнул рукой Костя.—Вчера один мужик знакомый подрядил шифер ему на даче разгружать и водкой расплатился, а водка дрянь, будь он неладен!

На тропинке показался Корнюков, бывший интеллигент, спившийся после развода с женой и несколько лет назад прибившийся к бригаде. От него было мало толку, и его недолюбливали, и Фриц уже несколько раз открыто предлагал Семёнычу сократить долю Корнюкова, но старик только отмахивался. Ему было приятно, что в его бригаде есть образованный человек. А что не любили Корнюкова, то это понятное дело, тот никогда не сбрасывался со всеми на выпивку и всегда после работы спешно уходил, зажав в руке свою долю. «Алкаш-одиночка»,—презрительно называл его Костя и всячески поддерживал Фрица, когда тот требовал урезать деньги Корнюкова. «Подумаешь, интеллигент!—говорил он Семёнычу.—Вон у нас смена ему подрастает, аж двое вместо одного!»

Это он говорил о двух приятелях-студентах. Они вот уже два года были в бригаде—Андрюха и Дима, или, как они сами себя величали, «Чип и Дейл, которые спешат на помощь». Неизвестно, как они учились, но на работу приходили исправно и без лишних уговоров скидывались на выпивку, хотя пили мало, а больше покуривали «травку», для покупки которой и подрабатывали в бригаде.

Корнюков приблизился, аккуратно положил в сторону всем уже намозоливший глаза пакет, который всегда таскал с собой, но никто не знал, что у него там.

Он молча за руку поздоровался с мужиками и, присев в сторонке, принялся заниматься любимым делом—протирать стёкла своих древних очков, перемотанных в серёдке синей изолентой.

В кустах, шагах в десяти от сарая, неожиданно показалась голова Димы-студента.

— Эй! Старче! Мы давно тут, если что, не теряйте нас!—крикнул он.

— Тьфу ты, напугал, чёрт!—ругнулся Фриц.

— А я сразу понял, что они здесь,—откликнулся Корнюков.

— Это как?—спросил Фриц.

— А по запаху,—пояснил Корнюков.—У меня сосед снизу «травкой» балуется. Как затянет, так у меня по квартире этот запах стоит.

Вскоре показался и Семёныч. Он подошёл к сараю, что-то буркнул себе под нос, типа «здравствуйте вам», и молча стал ковыряться в замке.

— Вы чего, старый, опаздывать изволите?—с ехидцей спросил Фриц.

— Да живот прихватило,—сморщился Семёныч, снимая замок.—Съел вчерась какой-то дряни!

— Не все йогурты одинаково полезны!—передразнил известную рекламу Фриц.—Теперь вас в бригаде, вместе с Костей, двое больных. Давайте на больничный, а то всё равно вполсилы работать будете, а с получкой мы уж сами разберёмся!

— А на что она тебе, получка?—буркнул Семёныч.—Всё одно детям алименты не платишь. Я бы таких, как ты, и вовсе не кормил.

Это Семёныч наступил Фрицу на любимую мозоль: тот, чтобы не платить алименты бросившей его жене, официально не работал и подрабатывал где мог.

Дима и Андрюха подошли к сараю и аккуратно, зная, что Семёныч не любит лишней суеты и шума, вынесли инструменты и загрузили, как обычно, на Корнюкова: таскать их стало с некоторых пор его обязанностью.

Семёныч, убедившись, что ничего не забыли, выдал каждому по паре новых рукавиц. Запирая дверь на замок, он сказал Косте:

— А ты чего опять нажрался? Я сколько раз говорил тебе: не пей перед работой! Вот выгоню отсюда, так будешь знать! Или, как там, стипендии лишу, вот!

Услышав про «стипендию», Дима и Андрюха весело переглянулись, а Костя хотел было что-то сказать, но ему стало снова плохо, и он, прикрыв рукой рот и смешно задирая ноги, побежал к своему кусту.

Семёныч покачал головой, махнул рукой и двинулся вперёд, и все пошли за ним. За Семёнычем шёл Корнюков с инструментами, затем Дима с Андрюхой, смеявшиеся меж собой по всякому поводу, и далее Фриц, который оглядывался назад, поджидая вроде бы оклемавшегося Костю.

Они караваном обходили оградки, стараясь пройти там, где трава, которая и без того неприятно мочила штанины, пониже.

Наконец остановились у старой могилы.

— Так! Будем знакомиться,—сказал Фриц.

Он открыл калитку, прошёл внутрь и прочитал надпись на памятнике.

— «Самохин Н. Н.» Понятно: значит, клиент женщина. На сколько же она пережила мужа? Ого! Целых семнадцать лет! Слышишь, Семёныч, однако, живучие ныне бабы пошли!

Костя обошёл вокруг могилы и заявил:

— Вот с этой стороны оградку надо снять, землю бросать некуда.

— Валяй!—согласился Семёныч и, пока мужики разбирали оградку, разметил размеры будущей ямы.

Фриц и Андрюха первыми начали копать по этой разметке, меняясь попарно с Костей и Димой, а Корнюков совковой лопатой перекидывал выброшенную ими землю.

Вскоре в яме уже копали по одному, и только Корнюков работал бессменно, а Семёныч едва помогал ему.

Когда заканчивали, пришёл заказчик, небольшой такой лысый мужичок лет сорока пяти.

— Здравствуйте,— сказал он и добавил, запинаясь:— Ну как у вас тут?

Костя, он был к нему ближе всех, ответил:

— Да вот, уж закончили. Сейчас подровняем— и готово. Хочешь, посмотри.

— Да я что, я верю,— отказался мужчина и протянул ему два пакета.— А это вам, помянете, значит.

Костя принял пакеты и вопросительно посмотрел на Семёныча. Но мужчина опередил его, быстро вынул из кармана конверт и протянул его в сторону Семёныча:

— А вот и деньги, пересчитайте, пожалуйста.

Семёныч шагнул к нему, взял конверт и сказал:

— Что уж считать, всё нормально.

— Да-да!— подтвердил мужичок и добавил:— Вы ещё на завтра инструмент обещали.

— А это будьте покойны,— ответил Семёныч.— Я сам, как сказал, завтра буду здесь с лопатами.

— Ну так я на вас надеюсь,— сказал мужичок и, попрощавшись, ушёл.

Фриц и Андрюха, закончив окантовку, последними выбрались из ямы.

Семёныч тут же деньги раздал каждому и добавил, указав на пакеты:

— Ну, так: у кого есть желание— пошли к шалашу.

Пожелали все. И снова, загрузив инструменты на Корнюкова, двинули к сараю.

Там, пока Дима и Андрюха на импровизированном столе раскладывали и резали снедь, Семёныч, после того как Корнюков сложил в сарае инструменты, вынес оттуда стакан, подошёл к Косте, разглядывавшему бутылку с водкой, и молча протянул руку со стаканом. Костя шустро открыл бутылку, плеснул сполна в стакан, и Семёныч отправился по сложившейся уже традиции к могиле бывшего до него бригадиром Касьяна.

Касьян был единственным человеком, кого бригада похоронила бесплатно и даже помянула на свои деньги. Вылив водку на ухоженный холмик могилы, Семёныч вернулся к своим, и все они начали поминать усопшую.

— Я так думаю, мужики,— сказал Костя, указывая на стол.— Покойная приходилась мужичку тёщей.

— А почему вы так решили?— хихикнул Андрюха.

— А потому, дорогой мой оболтус от науки, что такой стол мог организовать человек только на радостях, а не от горя!— философски ответил Костя.

Молодёжь дружно захихикала и принялась забивать очередной «косяк», вскоре её запах дурманил сидевших за столом.

Пока так поминали, у стола незаметно для всех появился священник местной церкви отец Серафим. Все дружно привстали, приветствуя его.

— А что, отец Серафим, прихожан своих решили навестить?— спросил его уже бойкий Фриц.

— Нет, сын мой, теперь уж они не мои прихожане, а Господа нашего,— ответил отец Серафим и перекрестился.— А что, вы уже закончили?

— Да, и перед хозяином отчитались,— пояснил Семёныч.— Вы бы, отец Серафим, откушали с нами. Это нам на поминание оставили.

— Ну, сие не грешно— помянуть,— сказал отец Серафим и без промедления уселся на место, которое уступили ему Андрюха и Дима, после чего ушли, попрощавшись.

У отца Серафима и без того был хороший аппетит, а после прогулки на свежем воздухе был вдвойне, и поэтому он очень скоро расправился с предложенным ему большим куском окорочка. Шумно отдышавшись, он хлебнул из стакана с кока-колой, поморщился и выплеснул содержимое на землю. Нагнувшись, взял со стола бутылку с водкой, налил почти полный стакан и без раздумий выпил.

Восхищённые Костя и Фриц одобрительно закивали головами, а Фриц немедленно разлил всем в стаканы, не забывая и про отца Серафима. Тот взглядом проследил за этой процедурой и первым, подняв стакан, молча принял «на грудь».

Солнце пригрело сидевших у сарая. Корнюков в ожидании, когда нальют в очередной раз, читал старый журнал «Огонёк». Фриц и Костя невпопад распевали песни своей молодости. Семёныч поменял черенок на лопате Фрица и пригрозил вычесть стоимость черенка с очередной «получки». Отец Серафим, подбрасывая кости приблудившейся собаке, принялся доедать баклажанную икру, а когда снова выпили, стряхнул крошки с густой бороды и пропел могучим и красивым голосом вместе с Фрицем и Костей:

А сни-и-ится нам трава, трава у дома,
Зелё-ё-ёная, зелё-ё-ёная трава…

Сергей Есин

Страницы дневника[1]

2009 г.

31 мая, воскресенье

Ещё ночью начал читать диплом *Оксаны Ефремовой* «Забракованный патриот». Здесь, кроме повести, давшей название всей работе, есть ещё и повесть «Люди чрезвычайных ситуаций». В своём вступлении Оксана недаром пишет, что её часто приглашают в Липки и она побывала в шорт-листе «Дебюта». Это особое свойство нашей молодёжи: писать не просто жизнь, а «штуки», «вещи». Такое же положение сейчас и с нашим романом—это не просто романтическая история, а непременно что-то скруглённое, с обязательным прицелом на премию. Вот и Ефремова написала две отличные, но головные и опять-таки «с прицелом» вещи. Уж мастерства-то у девочки не отнимешь: в одном случае—от лица некоего «мигранта», молодого татарина или узбека, который родился в «день, когда все должны были заниматься улучшением демографической составляющей»,—вернее, через девять месяцев после этого дня. Но герой родился точно в срок, но был недоношенным, а значит, зачат не в тот день. Очень смешные и интересные подробности о папе и маме и о получении гражданства. Герой стал гражданином России только через девять лет после рождения. Всё это по смыслам отчасти похоже на то, что я говорил для немецкой газеты. Второй рассказ—о «борьбе с терроризмом»: репетиции, анонимные звонки. А тем не менее, от этой борьбы все страдают. И тот, и другой рассказ хоть тут же переводи на иностранные языки—и оба завтра же устареют.

Опять мой печальный вестник Ашот: «Умер н.а. СССР В. Невинный».

1 июня 2009 года, понедельник

Вчера вечером звонила Мариэтта Омаровна; наверное, разговор пойдёт о внучке, и я сразу же решил, что лучше, хотя мне это не очень удобно, чтобы М.О. не мучилась в неизвестности, встретиться с ней завтра. Но чем я могу ей помочь? Тем не менее, договорились в час дня в институте. Придётся ехать, идут дипломные работы, надо за всем присматривать. <…>

В разговоре, среди прочего, не без гордости М.О., которую уже давно за глаза прозывают «железной леди российского литературоведения», передала мнение одного из своих зарубежных коллег: «Чудакова оппонентов в плен не берёт». Много говорили о Тыняновских чтениях, на которые М.О. находит деньги и людей, тянет уже чуть ли не тридцать лет, и о некоторых фактах биографии Булгакова. У М.О. также моё видение Елены Сергеевны Булгаковой. Но, правда, она заметила: «Он хотел, чтобы им руководили». Я в свою очередь, рассказал М.О., как мне понравилась передача о Бурлюке и Шкловском, в которой она участвовала. Тогда же, во время просмотра, я удивился, как наше телевидение достало Кому Иванова, который, по слухам, является ещё и сыном Бабеля, и ещё раз понял, что мою интуицию нельзя сбрасывать со счетов. Эту съёмку в Америке Мариэтта Омаровна и организовала. Говорили также о «незамеченном» в советское время «пролетарском писателе» А. Митрофанове; я обязательно прочту статью о нём в подаренном мне сборнике. Я ведь тоже отчасти «незамеченный».

На кафедре встретил и Андрея Василевского—он подарил мне, как всегда, «Новый мир», на этот раз девятый номер.

Вечером через Интернет получил два письма, одно от Марка, другое от Анатолия Ливри. Марк сражается со своими, вернее, моими оппонентами, Анатолий довольно спокойно пишет о моих книгах и называет Марка «филадельфийцем».

Видимо, в своё время Анатолию крепко досталось от своих отечественных американцев. Собственно, об этом, как и в прежние разы, он и пишет довольно подробно. Но, мне кажется, называя этих господ славистов филологами, и он, и «ихняя» *общественность* глубоко заблуждаются,—это лишь учителя русского языка и преподаватели школьных знаний о русской литературе. Французские коллеги, вечно не желающие вмешиваться в чужие дела, их переоценивают. Вся эта свора славистов, в своё время поменявшая не очень родное отечество на ломоть колбасы, к сожалению, правит бал и в нашей словесности. Очень *знаково* также утверждение Анатолия о сверхфеминизации «литературы». Письмо очень интересное, и его я, прежде чем напишу ответ, буду перечитывать несколько раз. А пока вписываю один абзац из письма, который, собственно, касается напрямую меня.

«Прочёл «Твербуль» с «Дневником», а также Ваши эпистолярные отношения с филадельфийцем. Вы сумели замедлить ритм слога до мемуарных длиннот, сиречь совершили—с чем Вас и поздравляю!—демарш, прямо противоположный современному «писательству»: когда «литераторы» ускоряют хромоногий, с одышкой и отхаркиванием, бег своего письма—до подёнщицкой трусцы. Поскорей бы закончить да содрать плату с хозяина! Ибо считается (и в этом основное сатанинское наваждение, преследующее ныне прозаиков и «поэтов»),

---

1. Начало публикации: «ДиН» №2, 2011.

будто всякое слово, напечатанное—даже вывешенное в Интернете!—стоит другого. А тут ещё и сверхфеминизация «литературы»! Уверен, эти не способные совладать с женскими гормонами «писатели и профессора» вели бы воистину счастливую жизнь, если бы нянчили детей, доили коз да коров и исповедовались еженедельно, не умея ни читать, ни тем паче—писать. Ответственность за данную катастрофу несут, конечно, поколения реформаторов мужского пола.

Мир, который Вы описываете, мне незнаком. Большинство персонажей, упомянутых Вами, известны мне лишь понаслышке, а их публикаций я не видел: вот уже лет двадцать (за редчайшим исключением) я читаю и перечитываю со всем благоговением, коего они заслуживают, лишь Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова, Бунина—вплоть до тотального заучивания наизусть их прозы,—и чем больше насыщаюсь ими, тем глубже суть их творчества открывается мне. Для напитывания классиками, во-первых, нужно хорошо родиться (неравенство есть неотъемлемое условие созидания); во-вторых, необходимо всегда желать учиться, никогда самому не становясь на уровень мэтров: перманентная учёба—необходимый первый этап творчества. Всё это, конечно, не продуманное решение и не «поза», но—физиологический выбор».

В своём письме Марк в том числе пишет и об отзывах на нашу с ним книгу. В том числе и о том, что книга объявлена в продаже чуть ли не в сорока книжных интернет-магазинах,—я, который выпустил не одну за последнее время книгу, никогда не отслеживал подобное. Но самое интересное, что к нему, как представителю и определённой диаспоры, поступают и письменные заявления, которые, как я понимаю, не доставляют Марку удовольствия. Он приводит письмо, которое он отослал одной своей корреспондентке. Её письмо Марк из деликатности мне не пересылает, а только свой ответ. Этот ответ я тоже цитировать не стану, но вот, пожалуй, один абзац. Без этого абзаца, да и другого, мне не обойтись.

«Однажды Вы написали провидческую фразу, я её как-то недооценивал: «Последнее касается и Вас, у Вас то же самое славянское стремление стать ради слова под пулю». Как в воду смотрели. Разумеется, драматизировать не приходится, и отлучение от общины, как Спинозе, мне не грозит. Но для ряда читателей еврейского происхождения (ох, как нелегко и неприятно отстукивать мне эти слова!) социально-культурное общение, заполненное такими личными и искренними мотивами, не *на общественном*, не *на официальном* уровне, с русским человеком и из России—явление табуированное. Привыкшим в прошлой жизни к поискам подтекстов и мыслей между строк, им всюду видится и слышится незримый смысл намерений, макиавеллиевы интриги и происки скрытых врагов. Вот получил и я одно такое письмо, заполненное беспардонным шовинистическим аятоллизмом, столь знакомым по прошлому: «не сметь, шаг влево, шаг вправо—считается побег». И всё это беспомощно, непрофессионально, с передержками, выдёргиванием слов из фраз и сочленением их в предложения, приобретающие противоположный смысл. Вам, небось, хорошо знакома такая «критика». Этого я не стал удостаивать ответом, много чести, глупо мазаться о такую грязь.

Было и ещё одно письмо от профессионального, грамотного, толкового литератора (вернее, …ши, весьма мною уважаемой). Ей я решил ответить, т. к. её твёрдо сформулированное мнение всё же построено на ложном (каковым мне представляется) фундаменте, и я посчитал необходимым высказаться. Я не буду приводить её (назовём автора Н.) письмо: во-первых, оно не моё, ну и т. д. Но свой ответ (почти весь), из которого множество положений письма Н. станут ясными, привожу ниже».

К последнему абзацу приводит свой ответ, он очень любопытен, хотя моя защита Марком иногда, когда он ссылается, что я, среди прочего, был членом редколлегии у Г. Я. Бакланова, вызывает у меня улыбку. Но какова защита!

Отвечать на эти письма я буду несколько позже, всё обдумаю, а потом продиктую, если получится, Е. Я.

Последнее. Мой вестник Ашот положил мне в почтовый ящик ещё одно сообщение, касающееся восьмидесятилетнего Хуциева. <…>

«Дайджест новостей за 29.05.2009

Никита Михалков выгоняет журнал, поддержавший Марлена Хуциева.

В редакцию журнала «Искусство кино» пришла бумага за подписью председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова с предписанием освободить до 1 июня здание на улице Усиевича, которое журнал занимает с момента основания и которое было построено специально для него, сообщил источник в редакции журнала.

По мнению источника, это результат того, что главный редактор журнала Даниил Дондурей поддержал Марлена Хуциева на декабрьском съезде Союза кинематографистов.

Отметим, что, по данным «Московского комсомольца», определённые неприятности начались и у самого Хуциева. В новом списке Учёного совета ВГИКа, предложенном ректором, нет имени знаменитого режиссёра, хотя на данный момент в институте он руководит мастерской режиссуры художественного кино. По данным источника, в новом учебном году Хуциев работать во ВГИКе уже не будет.

Накануне прошёл обыск в московском офисе общественной организации «Справедливость», также замешанной в скандале с Союзом кинематографистов, сообщает газета. Зампредседателя правления организации Сталина Гуревич представляла в суде интересы Марлена Хуциева.

В конце апреля 2009 года кинорежиссёр Никита Михалков обратился в милицию с просьбой

«оградить его от угроз со стороны заместителя руководителя фонда «Справедливость» Дмитрия Барановского». МВД тогда отказало режиссёру в предоставлении охраны.

Впрочем, редакция оставляет за собой право считать, что все эти неприятности посетили оппонентов знаменитого режиссёра одновременно по воле случая».

Разбился огромный аэробус А-330–200, который летел в Париж из Рио. Погибло 228 человек.

3 июня, среда

В двенадцать дня, когда я ел гречневую кашу с молоком и собирался в институт на сегодняшнюю первую защиту дипломов заочников, по «Эху Москвы» передали, что осенью в МГУ может появиться новая ВПШ — школа «Единой России». Я всё время думал, чем же ещё уважаемый Садовничий заплатит за возможность вопреки конституции — не отрицаю, и у меня были такие мыслишки, но министерство, ссылаясь на прокуратуру, их отсекло, — остаться ректором после семидесяти лет. Он уже сдал свою «принципиальность», допустив ЕГЭ в университет, от чего ранее, по высшим соображениям, отказывался. Теперь ещё и партшкола. Выступавшая здесь же по радио, судя по голосу, немолодая профессор сказала, что нарушен базовый принцип: наука вне партийности.<…>

Поздно вечером наконец-то открыл «Литературку», она выходит по средам. Как всегда, прочёл Л. Пирогова, о лидерах Нацбеста, а потом начал статью знаменитого пушкиниста В. Непомнящего. Целую колонку Непомнящий посвятил фильму Хандамова, который по каналу «Культура» шёл после 12 ночи. Мне стало чуть обидно: нигде не упомянули, что этому высоко оценённому знаменитым литературоведом фильму два года назад на Гатчинском фестивале присудили гран-при. Это уже замечаю не в первый раз — точность собственных оценок.

4 июня, четверг

<…> Вечером — в театр «Et Cetera», на спектакль Максима Курочкина. Вроде бы давно возникла идея написать статью о своих учениках. Пока о спектакле не говорю, спектакль небольшой, час сорок, без антракта. С двумя аплодисментами в середине и небольшой, на два вздоха, условной овацией в финале. После спектакля пошёл пешком по Мясницкой, через Лубянку, бывшую площадь Дзержинского, через Охотный Ряд до Кропоткинской. Как замечательно похорошел центр, какие новые открываются виды, и как плохо я Москву знаю. Фуршадский переулок, Кривоколенный, надстройка над старинным домом, где сейчас «Библио-Глобус», непонятное строительство напротив, почти на самой Мясницкой. Центр застраивается так, чтобы и ножа не просунуть. Над Большим театром — невероятно длинная стрела подъёмного крана. Передний фасад затянут материей с нарисованным Большим театром, но фронтон уже весь целиком сделан и открыт всем напоказ, будто и делали его скорее, скорее, в назидание: уже нет герба СССР, а орёл в окружении африканской геральдики — то ли львы, то ли тигры. А вот старый корпус МГУ реставрируют и оставляют надпись «ордена Ленина» над портиком и, кажется, сам этот орден на фронтоне. Уже почти целиком законченной, перед взгорбленной в мещанском уборе Манежной площади, стоит гостиница «Москва». В свое время, ещё до перестройки, я в очерке в журнале «Октябрь» предсказал, что уверен, ещё при жизни моего поколения будет восстановлен храм Христа Спасителя. Абсолютно уверен, что довольно скоро и этот коммерческий горб с фонтанами, куполками, скамейками снесут, и снова мы увидим самую большую и красивую площадь в Европе.

Теперь о спектакле. Пошёл в надежде, что тут у Максима окажется хорошая пьеса. Нет, обычное сочинение: для антрепризы — после «Леса» и «Без вины виноватые» Островского — достаточно вторичное. Основной тезис, два актёра: Счастливцев и Несчастливцев.

Я, пожалуй, зря не согласился написать реплику о «Мастере и Маргарите» у Дорониной. А всё потому, что не прочёл материала в «Известиях». А что они, если бы в «Известиях» посмотрели, написали бы про игру Калягина и его партнёров? Боже мой, сколько дешёвого, верхнего крика, какой низкосортный балаган. Но каков зал! — впрочем, молодёжи почти нет, пенсионеры в париках и буклях, — каковы знаменитые кресла, опускающаяся люстра, занавес, раздвигающийся в двух направлениях — и вдоль сцены, и закатывающийся вверх! Программка стоит 60 рублей, но крошечная чашечка expresso в буфете — 180.

В Санкт-Петербурге открывается экономический форум, а где-то в области жители перекрыли трассу, потому что им не выплачивают зарплату. Путин слетал, разбранил собственников за хищный эгоизм, и, кажется, туда перевели деньги. Сюжет я не видел, но что-то крупно досталось любимцу правительства Дерипаске. По слухам, основные деньги, которые правительство под видом помощи подарило предпринимателям и банкам, ушли именно к Дерипаске. Путин был грозен, бросил какой-то намёк о контрафакте и не прошедших таможню грузах стоимостью в два миллиарда рублей, которые хранятся на каком-то из московских рынков.

5 июня, пятница

Вчера на дачу, где в теплице без воды томятся и пропадают помидоры, попасть не удалось — была защита. Сегодня в институте презентация большого альманаха «Дважды два». Альманах выпустило издательство «Пик», которым руководит А. Е. Рекемчук. Подзаголовок огромной, роскошно изданной книги: «Альманах молодых писателей для молодых читателей». На презентации мне пришлось выступить, и, как всегда, я не сумел что-то утаить. Мне показалось, что слишком всё это гламурно и роскошно. Если «для молодых» — то хорошо бы иной формат, чтобы книжку можно было положить в карман. Также сказал о некоторой

репортажности отдельных прозаических произведений. Заметил также скудость поэтического портфеля — некоторые стихи я уже видел в периодике. Может быть, моя речь была не очень праздничной, но, по крайней мере, честной. Я не умалял огромного вклада А. Е. Рекемчука в это большое дело. Критиковать что-либо, конечно, легче, чем делать и создавать. Презентация прошла замечательно, в президиуме сидели Рекемчук, Тарасов, Серёжа Мнацаканян, я сел в сторонке. Кормили тоже хорошо.

За столом во время фуршета я услышал поразительную вещь от одного нашего преподавателя, по жене связанного с театром. Оказывается, уже несколько месяцев назад во МХАТе им. Чехова, т. е. у Олега Табакова, арестованы люди, занимающиеся театральными деньгами и хозяйством. Говорят о расхищении бюджетных денег. Будто бы несколько раз Табаков пытался встретиться с В. В. Путиным, но тот его не принимает. Прессе приказано об этом пока помалкивать, а Табакова, конечно, под огонь не подставят — слишком уж он знаковая для режима фигура.

Сегодня же по телевидению вспомнили о гостинице «Москва», которой я любовался только вчера. При её строительстве исчезло 87 миллионов долларов, пришлось заплатить городу, чтобы гостиница не ушла в собственность зарубежных банков, которые давали деньги на реконструкцию. Теперь начинаешь понимать, почему иногда возникает страсть к реконструкции. Но самое поразительное, что тут же стали показывать и дом Веневитинова, который во время вчерашней прогулки я довольно долго рассматривал. В нём, оказывается, бывал и Пушкин, и уже в советское время жил Галич. Дом тоже реставрируют, здесь уже нет ни одной детали пушкинской поры. Исчезли камины и лепнина, дом практически разобрали, а тем временем деньги на реставрацию закончились. Я начинаю бояться своих предвидений.

6 июня, суббота

Ещё со вчерашнего начал готовиться: завтра год, как умерла Валя, придут люди. Разобрал среднюю комнату, где я всегда работаю, разносил по двум другим комнатам книги, бумаги, перетащил компьютер, что-то убрал на кухне. Поставил размораживаться купленного ранее судака. Утром рыбу почистил, порезал, сделал фарш и пошёл на рынок — покупать недостающую морковку и другие продукты. Пока всё это стоит на плите в кастрюле на маленьком огоньке, а я дочитываю ещё одну работу из семинара А. Ю. Сегеня.

<…> Вечером по НТВ в скандальной передаче «Момент истины» вдруг показали хозяина Черкизовского рынка и довольно подробно сам рынок, похожий на рабовладельческое государство. Не дружеское ли эхо это недавнего заявления Путина о двух миллиардах нерастаможенных товаров, хранящихся на одном из московских рынков?

Этой передаче предшествовал показ открытия в Турции огромного отеля, строительство которого обошлось в полтора миллиарда долларов. Самый дорогой отель в мире, фонтаны, мрамор и розы. Хозяином этого сказочного дворца оказался этот самый директор Черкизона. Естественно, я тут вспомнил о рассказах кого-то из рабочих, побывавших в том числе и на моей даче, об угодьях этого олигарха. Вот он, комплекс бедности в молодости и недостаток общей культуры. На открытии отеля в Турции была вся купленная элита мирового шоу-бизнеса. Показали каких-то знаменитых звёзд и даже самого Ричарда Гира. Но и это не всё. Показали также и приватную плёнку с юбилея этого рыночного олигарха.

Вот он, кутёж новой знати с привкусом телевещания. Здесь, во время приветствия раввина, было сказано, что этот, казалось бы, азербайджанский господин происходит из горских евреев. Закончил господин, правда, Плехановку. Это свидетельствует о хорошем образовании. На знаменитом Черкизовском рынке в перестройку начинал с палатки. На этом юбилее была вся наша эстрадная элита, и как бы было прояснено, кто из каких горцев. Естественно, присутствовал Иосиф Кобзон, который никогда и ничего не скрывает, Максим Галкин, смешивший публику на русском языке, Филипп Киркоров, народный артист России, пел. Патриарх русской и русской советской режиссуры Марк Захаров, по словам ведущего телевизионную передачу Маркелова, так восторженно говорил о хозяине, как не говорил никогда ни об одном своём актёре.

Какую элиту мы себе выбрали, каких кумиров себе навязали, какую власть поддерживаем! Ура.

7 июня, воскресенье

Встал рано утром, плохо спал, ощущение, что чего-то не доделал, чего-то не докупил. Побежал на рынок, добавил ещё и мясной нарезки, и ещё вина, и купил свежей клубники, и прекрасный вишнёвый пай. Всё у тех же продавцов, которые меня узнают ещё с того времени, когда я появлялся у них в лучшем случае через день и покупал то сто граммов дорогой рыбы, то одну грушу. Уже в половине двенадцатого подъехал к дому С. П., и вместе с ним поехали на Донское кладбище. Москва пустая, на машине долетели минут за двадцать. Ландыши на отдельных участках кладбища, которые дней пять назад источали свежесть, уже почти отцвели. Здесь их не оборвали, потому что тут их охраняет не милиция, а мёртвые. На нашем рынке вчера снова видел на прилавке у одной азербайджанки с десяток пучков ландышей — розничная продажа. Охраняем природу!

Постояли возле плиты, я положил на землю две своих алых розы. Потом попросил С. П. уйти и как следует, всласть, отплакался, отрыдался. Я словно паровоз, на полном ходу слетевший с рельсов. Плакал сегодня ещё несколько раз, особенно когда мои дорогие гости что-то говорили о Вале. Но и моя мать, которая из-за болезни и смерти Валентины как-то отошла на второе место, вдруг стала всё чаще и чаще всплывать в моём сознании и снах. А Валя так неотъёмно и так часто стала появляться, что мне даже показалось это неестественным. Я начал думать, не убрать ли мне из комнаты её портреты. Вот и сейчас, когда я пишу, четыре её

больших фотографии прямо передо мною. Иногда ночью, когда встаю и подхожу к выключателю, мне кажется, что я иду её походкой.

На обратном пути с Донского кладбища заехали в магазин «Перекрёсток» и купили две упаковки — одну с каким-то традиционным салатом, а другую с селёдкой «под шубой». Потом до трёх часов, до первых гостей, уже вдвоём занимались столом. Витя ещё сбегал в кулинарию за холодцом. С. П. варил плов. В. С. признавала лишь тот праздничный стол, где был холодец. Витя принёс и баночку с хреном, тоже неизменный элемент стола.

Вечер прошёл замечательно, каждый что-то вспомнил о Вале, и я подумал: вот так и поддерживается память о человеке. Я обязательно теперь буду собирать людей и на день её рождения. Были: Алла и Слава Басков, Лёня Колпаков с женой, С. П., который Вале обязан частью своей карьеры журналиста, Витя, на руках которого Валя умерла, Лёва Скворцов, Людмила Михайловна, которая часто к ней приезжала, когда я бывал в отъезде. Забыл прийти Ашот, не смогли прийти Валера с Наташей, не был Толик, у которого недавно появился ещё один ребёнок. У Тани Бубновой сломана рука. Мы никогда не собирали нужных людей, а только близких, вот так было и в этот раз.

Но и здесь я не утерпел и, похоже, сговорил Лёню на этот раз на год взять семинар Юры Апенченко, если Юра всё же от семинара откажется.

Разошлись не очень поздно, я потом долго ещё убирал со стола, а Витя отправился в загул и пришёл, кажется, только под утро. Я всё ему разрешаю, одиннадцатого у него защита диплома, а ещё дней через десять, получив документы об окончании института, он уедет к себе на родину.

8 июня, понедельник

Сегодня хоронили Б. А. Покровского, но я, хотя и собирался, поехать не смог. И лёг поздно, и выпил как никогда много. <…>

Вечером позвонил Слава Ханжин из Норильска с призывом посмотреть Архангельского со товарищами на канале «Культура». Я хотя и ответил, что всё, что связано с литературой на телевидении, а паче того — с Архангельским, я уже давно не смотрю, потому что понимаю: всё это одна тусовка и единомышленники, — тем не менее, канал включил: Валентин Непомнящий, Алексей Варламов, Андрей Хржановский и ещё редактор «Ариона» Алексей Давидович Алёхин, сначала фамилии не запомнил, через несколько дней вставил из «Литгазеты» — у Алёхина юбилей, ему 60. Здесь самое время вспомнить одну выдержку из «Нового мира». Последний номер мне только что подарил Андрей Василевский. Ну да ладно, говорили о культуре и Пушкине. В. С. Непомнящий всё же отчётливо и хорошо говорил о культуре в советское время, которая, по его мнению, «продолжала» традицию. Его поддерживал «кинорежиссёр и сценарист». А вот наш профессор Варламов говорил, что, дескать, время всё равно вывернется, что ему «даже тактильно» не хочется возвращаться в прошлое время. Сюда же мне захотелось добавить, что в этом году 6 % выпускников средней школы не сдали экзамен по русскому языку. «Мы — не рабы, рабы — не мы». Ну так станем!

9 июня, вторник

Довольно рано приехал в институт, заходил в Книжную лавку, потом встретился с А. М. Камчатновым — он написал рецензию на одну нашу выпускницу, оказалось — плагиат. Девочку я помню, её мать работала у нас уборщицей, мать не была простой женщиной, а из научных работников, правдолюбец, дочку взяли скорее не за талант, а за материнскую настойчивость. Со временем я во всём разберусь, но, похоже, здесь есть ещё какая-то скрытая причина.

Защита прошла достаточно удачно. Ефремова О. И., Каковиди А. С., Никитина М. В., Перминова А. В., Иващенко Е. В. — «успешно», Ерохина А. М. и Стручкова А. Э. получили — «с отличием». В «поэтическом отсеке» — защиты проходили в двух аудиториям, одну часть, «прозу», вёл я, а другую Турков А. М. и Василевский А. В., — всё прошло без пиков, у всех «успешно». Правда, как всегда в таких случаях бывает, это «успешно» было с большим разносом: от «тройки с минусом» до «четвёрки с плюсом».

До защиты успел ещё написать письмо Марку.

«Дорогой Марк!
Мне часто бывает неловко отвечать на Ваши пространные письма короткой отпиской. Да и жанры у нас разные: для Вас ваша литературная жизнь пока в письмах; я же вынужден (да, уже говорю «вынужден») выскребать из себя всё, чтобы вести «Дневник», да ещё, хочешь не хочешь, как говорят французы — положение обязывает — что-то ещё и сочинять. Жизнь уходит, планов становится всё больше и больше, но времени на подведение итогов не остаётся.

Письмо Ваше замечательно, в первую очередь, по информации, связанной с нашей книгой. Мне очень приятно, что Вы в курсе всего того, что делаю я. Я со своей стороны, ловлю даже обмолвки о Вашем и Сони здоровье и с грустью иногда вспоминаю то, что Вы начинали писать относительно нашей книги. Не могу сказать, что рад, что Вы попали почти в моё положение, я даже не рад своему предвосхищающему определению относительно стремления «стать под пулю». Собственно говоря, в это положение попадает каждый, кто, вопреки своему клану, экономической группе, этнической общности, пытается встать над всем и начинает говорить о чувстве справедливости. Я недавно прочёл список номинантов на «Большую книгу». Правда, в этом году сам я не выставлял книгу, потому что отчётливо понимаю: что бы я ни выставил, в «короткий список» мне не пройти никогда — и не потому, что кто-то прочтёт и скажет «плохо», а потому, что скажет «дурно», ещё не прочтя.

Вы очень интересно пишете относительно этого самого *аятоллизма*, относительно выдёргивания фраз, относительно маркирования личности, относительно того, что люди, достаточно оторванные от сегодняшней литературы, начинают её

маркировать. Я обратил внимание, что Вы любите русскую литературу, но отчётливо понимаю, что Вы ушли из круга её читателей на её родине, никогда не позволяете себе резких высказываний. Я тоже не позволял себе высказываться по поводу иногда даже очень средней литературы, потому что понимаю, что автор вкладывает в неё свою душу. В этом смысле совесть моя чиста.

Что касается Вашего письма, адресованного «дорогой Н.», то Вы очень достойно ей ответили. Я не знаю, что это за женщина, откуда у неё, опытного и знающего литератора, такой ригоризм! И это смешно — искать какое-то ущемление в том, как мы друг друга называем… Так уж сложилось. Я вот в «Дневниках» свою покойную жену почти никогда не называл Валентиной, а всегда писал «В. С.». А она меня всю жизнь называла не по имени, а кричала из спальни в кухню, зовя меня: «Есин!» Иногда людям ничего не объяснишь. Да, был я у Бакланова в редколлегии, но мы расстались, да и расстались не самым лучшим образом, потому что он «переметнулся», умный, талантливый писатель. А я не сдавал своих позиций, не отступал. Кстати, Вы тоже не принадлежите к разряду буквоедов. Один из моих «долгов» перед Вами — это, в общем, ещё не до конца написанная рецензия на Вашу книгу о евреях, которую Вы написали не как «ортодоксальный» еврей, а как честный человек, «над схваткой». В общем, так надоело обо всём этом писать и говорить, надоели факты, бросающиеся в глаза. Я эти факты не очень вставляю в «Дневники», но всё-таки вставляю.

У нас на НТВ есть, как говорят, «дурная передача» — «Максимум». Она постоянно ворошит шоу-бизнес, деньги и т. д. Но недавно она показала совершенно оглушительный материал. Как я написал выше, считается смотреть эту передачу — дурной тон, но я её смотрю. Так вот, некий наш бизнесмен, владелец самого большого в Москве — Черкизовского — рынка некто Исмаилов построил в Турции за полтора миллиарда долларов самый дорогой в мире отель. Директор и владелец этот был показан на презентации отеля по телевидению, где от американского шоу-бизнеса присутствовал Ричард Гир, а от нас, говорят, мэр Лужков. Не утверждаю, но говорят. И видимо, это вызвало резкую реакцию в верхах, только так оцениваю появление расширенного сюжета в передаче «Максимум». Правда, была ещё обмолвка Путина, что на одном из рынков в Москве лежит что-то на два миллиарда. В передаче показали съёмку домашнего видения. Никогда, владельцы и бизнесмены, не снимайте себя телевизионной камерой. Так вот, показали юбилей этого 50-летнего директора. С приветствием выступали и американские звёзды, и все наши: Максим Галкин, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, господин Марк Захаров, сжёгший в своё время на глазах всего Союза свой партбилет. Захаров сказал речь, где говорилось, как одарён, «буквально Богом поцелован» этот московский бизнесмен «из азербайджанских горных евреев». Последние слова во фразе были произнесены диктором. А ещё на этом балу удачи присутствовал раввин, говоривший на идише, и его «все понимали, потому что все были свои».

Что же это за безобразие, почему принадлежность к одному племени отменяет совесть и порядочность?!

Хорошо помню, что, когда был ректором, один из флигелей Литинститута снимало «Русское золото», знаменитая в то время фирма, ворочающая огромными деньгами, но с весьма сомнительной репутацией. Я никогда не ходил на поклон к руководителю фирмы, — и даже не был с ним знаком, — сидевшему в тридцати шагах от моего кабинета, хотя мог бы, поступясь в чём-то, взять денег и на книжку, и на другие «мелкие писательские расходы». Никогда не позволяла себе такого Плисецкая, не позволял — кроме, конечно, принуждённого заискивания перед Сталиным — и Пастернак. И мы не можем представить себе, чтобы, например, Ахматова пришла на бал воров… Вот так, дорогой Марк, хотел написать про одно, а вышло про другое.

Но зря Вы объясняли кому-то что-то о моей репутации. Да, я относился лояльно к Бакланову уже после нашего разрыва. Будучи одним из заводил международной премии «Пенне», я голосовал за присвоение её Бакланову. А после того, как знаменитый режиссёр Валерий Фокин жестоко обманул меня с романом «Имитатор», который я «вынул» из МХАТа и отдал ему, я, будучи председателем жюри Гатчинского фестиваля, присудил ему премию за фильм о Кафке…

Вот такие пироги, дорогой друг. Обнимаю и люблю.

Сейчас идёт невероятное количество работ. Грузят ведь всегда на того осла, который везёт. Когда-то, потихоньку, я стал заведующим кафедрой, но стал ещё и сопредседателем Государственной комиссии, весной пришлось прочесть почти всю прозу наших заочников. А ведь каждая дипломная работа требует минимум 5 часов, и после её прочтения ничего уже читать не хочется. Впрочем, сегодня прочитал первую главу «Тараса Бульбы». С. Н.»

<…>

13 июня, суббота

Утром занимался вчерашним дневником и просто страдал. Ещё вчера с моим соседом Шемитовским поговорили о трагедии нашего возраста: жизнь уже почти закончилась, а каковы результаты? Утром высокое давление, но не из-за этого разговора. Речь об ожидаемом сегодня визите участкового, который придёт разбираться с Витиными проделками. И всё по пьянке, всё из-за его деревенской доверчивости, всё не может остановиться. Пока все работники, повеселившиеся на вчерашнем дне рождения Вити, спят, я уже помыл посуду, полил огород, к двенадцати часам прочёл ещё один диплом. Эта, в принципе, плохая литература, которую я читаю и читаю, мне давление и поднимает. <…>

После трёх часов жизнь на участке сильно интенсифицировалась. Витя с Андрюшей и Володей

принялись за облицовку дома. Я уже давно заметил, что ребята долго раскачиваются, но когда начинают, то работают тщательно и хорошо. Что касается Маши, то она ещё утром выполола грядку с кабачками и выдернула сорняки отовсюду, где только можно. Меня всегда интересует не только сама работа профессионалов, но и как они делают. В данном случае я любовался материалом и самим сайдингом и тем, как его подгоняют в разные углы. Я мог бы заниматься этим всё время, но и моя работа не ждала, тем более что меня страшили впереди ещё две пьесы, от которых у меня при предварительном просмотре сводило скулы. А прочесть их будет надо, потому что, как я уже знал, Инна Люциановна, видимо памятуя тот позор, который ей пришлось пережить на прошлой защите, собирается на этот раз не прийти. Она ссылается на какие-то неотложные дела в ГИТИСе. <…>

Вечером разразилась страшная буря — к счастью, недолгая. Такого ветра я ещё не видел, боялся, что снесёт крышу, часа на два даже пропало электричество. Пока окончательно не потемнело, читал «Тараса Бульбу» и всё время восхищался, как это сделано. Думаю, Гоголь некоторые вещи писал без черновика. Вся наша компания во главе с Машкой, которая предварительно вымыла пол в даче, укатила в Ракитки, монтировать отопление на даче у С. П.

По телевизору в «Постскрипуме» у Пушкова был сюжет, связанный с русскими публицистами, «людьми, имеющими российский паспорт», которые начали некоторую кампанию против идеи Барака Обамы о «перезагрузке». Возможно, они руководствуются и высшими соображениями, что хорошо, что США всё время пристально смотрит на Россию как на врага, и хорошо бы такое положение оставить и в дальнейшем, но Пушков как-то очень ловко намекнул, что за всем этим лежит и свой расчёт. Фонды, поездки за счёт фондов, действия подобных финансированных из-за рубежа фондов в России. Да и какой смысл нагнетать, если можно обойтись и без этого? Всех фамилий я не уловил, но вроде бы кампания началась со статьи Дмитрия Сидорова. Я помню этого молодого человека, кажется закончившего Литературный институт. Сейчас он собкор какой-то либеральной газеты в Америке. В своё время он приходил ко мне в качестве корреспондента, когда сожгли мою квартиру. Внимательно выслушал все мои соображения, но ничего так и не написал; я тогда же понял почему. Теперь у меня шкурный вопрос: не снимут ли в «Литгазете» статью приёмного отца — Дима сын Веры от её первого мужа, он, кажется, не вполне белый, — Жени Сидорова о моей с Марком книге.

14 июня, воскресенье

Хмурое и холодное утро, печаль, темнота, у меня нечитанных две работы — пьесы; вспоминая предыдущие, меня берёт оторопь. Подвигался немножко по двору, полил огурцы и что-то не желающую приниматься свёклу, которую мне подарили соседи, а я рассадил её по краям парника; попил чаю и сел на террасе читать «Тараса Бульбу». Плохо мы, оказывается, помним классику, только сюжеты, а в ней много ещё и другого. Я уже не говорю о божественном таланте Гоголя, у которого даже учиться нельзя, потому что и язык, и природное мастерство нерукотворно. Такое ощущение, что слово у него рождается вне всякого обдумывания и всякой редактуры — оно до последней степени самородно. Конечно, известную красоту придаёт некоторый сдвиг в сторону украинского диалекта, который оборачивается расширением в сторону праязыка, исторических корней, легко угадываемых. Здесь опора на природное чувство читателя, на его смётку и догадливость, что делает чтение увлекательнее, заставляя воображение и историческое чутьё всё время работать. Обладая всегда жёстким сюжетом, Гоголь не торопится его выложить читателю, а всё время, замедляя повествование, пускается в рассуждения и нанизывает подробности. Мне так хочется теперь узнать, какими материалами пользовался классик, создавая вещь, что читал, что знал, что придумал. Огромное количество самоговорящих имён — это что, придумано или отчасти взято из каких-либо хроник или исторических материалов?

Вспоминая другие сочинения, всё время думаю, как важно найти, от чьего лица ты говоришь. Доля гоголевского невероятного, с юности, успеха именно в этом, во внутренней интонации каждого рассказчика, в неторопливости, которая профанам кажется устаревшей, любого гоголевского рассказа. Какой природный язык! Невольно думаю: если бы во время войны и в эвакуации я прожил бы в своей деревне Безводные Прудища не год, а, скажем, три, что-нибудь изменилось бы у меня во владении языком?

Занятно, что в «Тарасе Бульбе», кроме казачьего сюжета, постоянно выручая автора при поворотах повествования, есть ещё и тема, так сказать, Янкеля. Я отчётливо начинаю понимать, что в любой «прямой» композиции всегда нужен ещё один постоянно действующий герой со стороны, как бы оппозиционирующий всему повествованию, но не сопротивляющийся ему.

Тема Янкеля разворачивается ещё и в некоторую философию, оказывается, ставшую сейчас не только янкелевской, но и в известной мере философией нашей бодрой интернациональной интеллигенции.

Вот Янкель пробирается в осаждённый казаками город и видит там Андрия. Вернувшись в казачий стан, он рассказывает Тарасу:

«…И как только хорунжего слуги пустили меня, я побежал на воеводин двор продавать жемчуг и расспросил всё у служанки-татарки. «Будет свадьба сейчас, как только прогонят запорожцев. Пан Андрий обещал прогнать запорожцев».
— И ты не убил тут же на месте его, чёртова сына? — вскрикнул Бульба.
— За что же убить? Он перешёл по доброй воле. Чем человек виноват? Там ему лучше, туда и перешёл».

Два эпизода особенно восхитили меня мастерством: эпизод битвы, когда всё медленно, словно под лупой времени, а не в темпе самой битвы,

разгорается и описывается. И точно такой же медленный разлив времени в разговоре Андрия с панночкой. А куда, собственно, торопимся мы в своих мелких писаниях?

К пьесам так прикоснуться и не смог. В три часа, с расчётом заезда на час в Ракитки, уехали с дачи. Ожидаемый участковый по поводу Витиных историй так и не пришёл, комендант нагнетал. В дороге, которая на редкость оказалась спокойной, слушали радио. Теперь на нашу голову возник конфликт с Белоруссией. Он, по словам «Делового радио», начался с того, что Кудрин в ответ на просьбу Лукашенко о займе сказал, что вряд ли Белоруссия этот заём вернёт, т. е. говорил о неплатёжеспособности республики. В ответ Лукашенко назвал Кудрина «вякающим отморозком», через несколько дней мы объявили белорусские молочные продукты «невъездными». Дальше, в воскресенье, Лукашенко отказался приехать на саммит, посвящённый коллективной безопасности. Всё это грозит для потребителя повышением цен на молочные продукты. Честно говоря, белорусским продуктам я всегда доверял больше всего. Но здесь, судя по каким-то сведениям, речь шла ещё и об очень дешёвом сухом молоке.

По телевизору смотрел на «Культуре» фильм об Анне Ахматовой. Главная актриса здесь Светлана Крючкова. <…>

16 июня, вторник

Рада упражнялась в разнообразных разговорах, теперь иронизируя насчёт главного санитарного врача России Онищенко: он полагает, что с моей точки зрения кажется совершенно справедливым, что любые «энергетические» напитки вредны для здоровья. Шла речь также и о том, что в кока-коле аппарат Онищенко нашёл элементы кокаина, создающего привыкание. Потом с некоторым кряхтением игривые ведущие «Эха Москвы» поведали о городской статистике. В Москве число жителей с Северного Кавказа увеличилось в десять раз, а число проживающих в Москве евреев с двух процентов всего населения уменьшилось до 0,7 процента. Приведя эту статистику в своём дневнике, я автоматически в глазах некоторых стал антисемитом. <…>

Написал письмо Анатолию Ливри.

«Дорогой Анатолий! Я сразу получил два письма, требующих некоторых раздумий и точного и обстоятельного ответа. Как говорится — ноблес оближ. Это Ваше письмо и, как Вы пишете, — от моего филадельфийца. Практически и там и там — одна тема, взятая с разных концов. Филадельфийцу я уже написал недели полторы назад и с тех пор так и не заглядывал в свою почту, и вот отвечаю на два не коротких сообщения, которые я читал не по мере поступления, а скопом, по мере расположения их в компьютере. Они меня просто огорошили. Я уже давно не встречался с таким положением, чтобы кому-то из наших бывших соотечественников, т. е. людям, рождённым в России, не давали визу с приглашением МГУ. Мне кажется, Вы никогда резко не высказывались относительно положения у нас в России и с экономикой, которая, как Вы видите, сейчас бедствует, и по поводу политических проблем, которые всегда выглядят догматически: телевизионно-виртуальная часть и суть действительности. В чём же здесь причина? Я полагаю, что это всё Ваши недруги по Сорбонне и их ретрансляторы в Москве.

Сегодня утром по радио говорили о том, что демографический состав Москвы сильно изменился. Например, кавказцев стало в 10 раз больше, а евреев — я цитирую — уже не два процента, а ноль целых семь десятых… Записав это экзотическое сообщение себе в «Дневник», услышанное мною от вполне либеральной радиостанции, я тут же сделал собственный комментарий, автокомментарий — вот теперь уже, по мнению некоторых, я могу смело называться антисемитом. Тема эта застарелая, кислая, и мне — да и Вам — здесь всё ясно. Я с удовольствием прочёл план Конференции, в которой Вы должны были участвовать, и опять удивился нашему посольству во Франции и нашей политике. Боюсь, что этот шаг сделает Вас, вполне лояльного человека, некоторым скептиком относительно наших русских порядков. Впрочем, мы все здесь скептики.

Теперь о Вашем письме. Если говорить прямо, для меня эти несколько страниц — текст, к которому я буду возвращаться не один раз. Особенно много для меня закрыто, потому что у этого старого человека всё-таки не хватает определённых знаний, и, собственно говоря, я сейчас пишу и фантазирую как бы поверх Вашего текста. Огромное спасибо за идею относительно «замедления». Теоретически я всё это очень хорошо понимаю и много раз внушал своим ученикам, что это «замедление» — вообще основа большой литературы. Только умение рассмотреть момент с точки зрения многих ракурсов есть некоторые предпосылки для успешного решения. Конечно, как Вы пишете, феминизация и сверхфеминизация литературы не способствует решению невероятных русских проблем в литературе, которая осталась без подлинного героя и которую в первую очередь этим можно охарактеризовать. У нас в Литинституте произошёл один любопытный эпизод. Шла конференция, в которой принимала участие очень известная писательница Татьяна Толстая. Я вошёл в аудиторию в тот момент, когда одна из наших девиц-писательниц (а Литинститут феминизирован как ни одно учебное заведение, потому что каждая молодая девица хочет стать или актрисой — раньше хотели стать проституткой — или писательницей, — так вот, в этот момент одно из этих высокоталантливых существ, планируя получить совершенно определённый ответ, обратилось к Толстой с вопросом: как она относится к активному появлению женщин в отечественной литературе? Ответ был очень неожиданный: в принципе совершенно не возражая тому, что дамы пишут, Толстая уклончиво сказала: «Но у мужчин это получается значительно лучше».

Я долго буду разбираться с описанным в письме миром писателя и кое-что даже перечитаю. В это

воскресенье перечитывал, кстати, «Тараса Бульбу». В принципе, мы сеем иллюзию, когда думаем, что знаем классику, в лучшем случае мы помним её по школе или университету. Перечитываем ли мы её? Из Вашего письма я понял, что подобное перечитывание должно иметь место каждый день, как утренний каждодневный душ, постоянно.

Что касается Ваших характеристик Шишкина, Чупринина и Топорова — всё это абсолютно адекватно и моему представлению. Мне кажется, что это люди чрезвычайно суетливые и в утверждении себя, и в утверждении своего главенства в литературе. Сколько раз — и, между прочим, крупные критики — писали о невероятной скукотище, которую распространяет вокруг себя Шишкин! Из всех троих Топоров, который «сын юриста», на меня производит наилучшее впечатление. В своих суждениях он не спускает никому. А что касается Ваших славистов, которые очень сильно мутят воду в нашей литературе в силу современных обстоятельств, — то о них уже столько переговорено!

Собственно, пока всё. Обязательно в ближайшее время посмотрю все интернетские сноски в Вашем письме. Мне ничего не остаётся теперь делать, кроме того чтобы как-нибудь, при оказии, навестить Вас.

И последнее, относительно всех маленьких статеек, включая статейку в «Литературной учёбе». Не думаю, что здесь есть какой-то план, просто недостаточная чуткость и тот апломб, который позволяет судить о литературе без совершенно необходимой для этого внутренней рефлексии.

Дружески Вас обнимаю, дорогой Анатолий.

Ваш С. Есин. Июнь 2009 г.»

<…>

18 июня, четверг

Утром к десяти иду к нотариусу, чтобы открыть дело о наследстве и выписать Виктору генеральную доверенность. По ней, приехав к себе в Пермь, он должен переоформить мою машину на себя. Всё прошло довольно быстро, но когда на столе у юриста, готовящего документы, я раскладываю бумаги, вдруг опять начинаю плакать. Кто бы мог предположить что-либо подобное? Не было ещё дня, чтобы что-то мне не напомнило о В. С. и чтобы глухая тоска не толкнула сердце.

В три часа у меня сегодня учёный совет, в четыре — экспертный совет по наградам, а в шесть — юбилей у Г. А. Орехановой во МХАТе.

Надо сказать, меня редко посещают собственные оригинальные мысли.

Взял машину, чтобы в конце дня, когда уже не будет сил двигаться, удобнее было бы возвращаться. В метро последнее время ездить просто боюсь, жуткая скученность, пахнет несвежим телом, боюсь, что кто-нибудь начнёт дышать в лицо. Итак, ездил на машине, поэтому — а телевизор я последнее время из-за отсутствия свободного времени смотрю мало — и услышал по радио о похищении восемнадцатилетнего сына одного из руководителей какой-то нашей нефтяной компании. Парень, естественно, учился возле меня, в «Керосинке», его усадили в автомобиль прямо возле вуза и продержали, до того как выпустили, два месяца. По словам радиодиктора, неизвестно, получили ли за него выкуп или нет. Выкуп вроде бы состоял из 5 миллионов евро. Пока арестована одна из женщин, причастная к похищению, она чеченка. В связи с этим я вспомнил эпизод, который наблюдал недавно. Я шёл к Ленинскому по переулку от Молодёжной улицы. Практически на углу возле банка «Москва» — «Керосинка» на другой стороне Ленинского — останавливается очень дорогая легковая машина. За рулём опять очень молодой парень. Он выходит из машины с лёгкой сумкой, не оборачиваясь и не перепроверяя, закрывает машину и ставит на сигнализацию. Для меня это уже образ молодости, которую моё поколение не могло и предположить. Я смотрю ему вслед. Понимаю: сын олигарха или очень богатого человека. Мальчик пересекает Ленинский не по переходу, идёт свободно и легко, с небольшой горочки мне видно, как он проходит двор, поднимается по лестнице и входит в здание. Так ни разу и не обернувшись. Хотел ли он здесь учиться? Время летней сессии. По собственному ли пошёл учиться желанию или чтобы сохранить наследственный нефтяной капитал? Я думаю о детях очень богатых людей, которым доступно всё. Что же у них на душах, какие они ведут разговоры, каковы их отношения с родителями? Тогда я не думал о риске быть сыном очень богатого человека.

По радио же: Абрамович, несмотря на кризис, строит себе какую-то очень дорогую яхту.

Собственно, на совете сегодня лишь один вопрос: выборы на должности; это значит — ректор заключает контракт на следующий срок. Институт уже давно бурлит, потому что на кафедре русского языка и стилистики тайным голосованием, чего у нас в институте сроду не было, не рекомендовали совету избирать Надежду Годенко, т. е. практически забаллотировали. К этому были свои объективные причины, о которых всем известно. Надя иногда срывается, её приходилось заменять, но институт для неё всё, и вряд ли без него она сможет жить. Вдобавок ко всему, на это место, кроме самой Годенко, были поданы документы и ещё одной преподавательницы, которая по договору работала у нас с иностранцами. Такого тоже не было, чтобы на штатное, именно штатное, а не вакантное место кто-нибудь претендовал. Как я понимаю, и новый зав. кафедрой Камчатнов, который от Надежды имел только огорчения и сложности, и начальство, которому всё время приходилось с этим разбираться, хотели бы, чтобы Надежда ушла. Потом, когда были просчитаны голоса, так и оказалось: четыре голоса были поданы против Годенко. Сделаю предположение, что это ректор, зав. кафедрой и два проректора, представляющие у нас в институте свою сплотку. Остальные, как я понимаю, отчётливо представляли себе, что начнись подобное увольнение через голосование на учёном совете, оно может оказаться роковым для каждого. В моменты самых серьёзных разногласий, когда дело касалось работы, никто из злейших врагов никогда против недруга не голосовал.

Впервые, пожалуй, совет не промолчал и пошёл против воли ректора и начальства. Начала, кажется, Л. М. Царёва, озвучив тезис о нашей, как коллектива, ответственности, потом выступил Скворцов, который сказал, что будет голосовать за Годенко, и выступила Кочеткова. Я спросил, зная ответ, были ли в течение года приняты какие-либо административные меры. Миша Стояновский, который вопрос докладывал и который прекрасно понимал, куда я гну, несколько взбеленился и сказал, что готовился какой-то приказ, но он так и не появился. Тогда я сказал фразу о том, что, не предприняв никаких мер, руководство перекладывает решение очень трудного вопроса на плечи учёного совета.

Во время совета пришла эсэмэска от Вити: «Диплом уже получил, еду домой». Когда поздно вечером пришёл домой, сразу же стал этот диплом рассматривать.

Совет по наградам на этот раз прошёл быстро и без особых споров. Очень хорошо держал планку Масленников. С ним вместе мы спросили, кто такой Болгарин и каким образом он может претендовать на орден «За заслуги перед Отечеством», будучи только средним сценаристом, и вместе мы постарались передвинуть с медали на орден Валерия Попова и Кураева—тоже, кстати, фигуры из словесности, но другого разряда. На совете из знакомых и близких мне людей были директор «Исторички» Бриль, Масленников, был также Анатолий Миронович Смелянский. Уже на улице, в присутствии Жени Кузьмина, нашего выпускника, ещё недавно командовавшего в Минкульте всеми библиотеками, разговорились. В МХТ у Табакова всё ещё идёт невероятный экономический скандал. Новая подробность: взяли какого-то главного театрального компьютерщика и в качестве предварительной меры отправили в тюрьму. Смелянский ходил к министру подписывать какое-то письмо в защиту. Поговорили с Женей о последних министрах, он жалуется, что на те книжные проекты, которые он вёл, уйдя из министерства, сейчас, несмотря на все заверения власти, денег всё же нет.

Какое счастье, что и МХАТ, где должен был состояться юбилей, и институт, и Министерство культуры—всё это территориально рядом. Как и обычно, почти все праздники во МХАТе происходят с точностью и торжественностью литургии. Сначала все собирались в литчасти у Галины Александровны Орехановой, а уже потом отправились наверх, в столовую. Но ещё до этого со мной случился небольшой казус. Я нажимая кнопки на лифте, видимо, ошибся и, выскочив из кабины, вдруг обнаружил себя в длинном коридоре с массой дверей. На первой же к лестничной площадке стояло: «Доронина Т. В.». Но ведь со мной ничего случайного не происходит. Я торкнулся в дверь, вернее, приоткрыл дверь, уверенный, что никто меня не видел. Ещё до того, как я увидел, вернее, только почувствовал Доронину, я услышал два женских голоса, о чём-то разговаривающих. Потом успел разглядеть в довольно большой комнате её саму, сидящую с книгой в руках под несколько старомодным большим, на подставке, феном, которые раньше стояли в парикмахерской. Я увидел что-то не стыдное, но почему-то для меня значительное.

Потом, через час, когда она, традиционно последней, как и полагается богине, вошла в зал, где уже прозвучали первые тосты, я просто ахнул, как она была свежа и хороша. Вот она, технология красоты божества. Как прекрасно она была одета, как роскошна была её прическа—у меня невольно вырвалось: из чего родилась эта красота.

Юбилей Г. А. был торжественно и расчётливо совмещён ещё с одним праздником—вручением Т. В. премии «Глас народа», которую ещё зимой ей присудила «Советская Россия». Был Валентин Вас. Чикин, ему пришлось говорить о двух героинях сегодняшнего вечера. Собственно, были все свои, и все люди знакомые. Володя Костров с Галей, мои знакомые артисты, кумиры.

Потом очень неплохо говорил В. Н. Ганичев, вручил с лентами два ордена. Стол был, как всегда, выше всех похвал, но с традиционным для МХАТа русским, национальным оттенком, без излишеств и непривычных для нас разностей,—вкусно и достойно. На этих вечерах во МХАТе меня всегда поражают торжественность и уровень выступлений. Никакого падения уровня, каждый раз какие-то новые и новые понимания жизни и ответственности перед ней. Приехал домой в одиннадцать. Здесь уже пьяненький Витя и Игорь, потом пришёл ещё с бутылкой и Жуган; я чего-то ко всем вязался с нравоучениями.

19 июня, пятница

В семь часов уехал на дачу. Я решился даже не идти на выпускной вечер наших студентов очного отделения. Завтра из Берлина прилетает Лена, в три часа мне её встречать—это единственное временнóе окно, чтобы полить огород и окончательно не запустить участок. Как прекрасно разрослись помидоры и чеснок!

По телевизору: разбился ещё один военный самолёт из фирмы Сухого, предыдущий разбился в среду.

Занимался дневником. Витя заканчивает обшивать дом. Мне иногда становится страшно, когда он залезает по лестнице на самый верх—это почти три этажа. Вокруг ходит Володя Шемитовский и даёт разнообразные советы. Я немножко волнуюсь, не явится ли опять Константин Иванович с вестями об участковом. В теплице у меня с помощью Маши разрастаются помидоры и возникает выставочный порядок. Если бы ещё с небольшими промежутками не лил дождь.

Фильм «Тарас Бульба» со знаменитым Ступкой в главной роли. Это из коллекции С. П., которую он постоянно возит с собою. Фильм, конечно, очень неплохой, но мне всего этого мало. Любая инсценировка крупного произведения литературы всегда оставляет горечь. Специфика кино, а может быть, представление о специфике молодого зрителя, который в основном и ходит в кино, заставили Бортко «вписать» в картину то, чего отродясь не бывало у Гоголя. Эротическую

сцену с дочерью воеводы, когда Андрий кинжалом режет на ней шнуровку корсета. Ах, эти плечи и губы! Но дальше—больше: уже под конец, после смерти Андрия, возникают и роды, и даже сын красавца-казака. Гоголь, правда, всюду в первых изданиях пишет: *козак*.

Разочарования в инсценировках большой литературы неизбежны всегда, слишком уж большой заряд смыслов врезывает она в наше сознание. Также совсем недавно, вечером, вернее ночью, в Москве во время бессонницы смотрел одну из самых удачных—«Лолиту» с……, но ведь и это не совсем набоковская Лолита. А разве инсценировка по Прусту, снятая Ларсом фон Триером!—разве это тот щемящий в собственных подтекстах Пруст, которого мы знаем? И там, и там что-то конкретное, вещественное, иногда очень плотское, как встреча с проституткой у Триера или «раскачивание» Лолиты над Гумбертом. Эти конкретности скорее добавляют и визуализируют наши смутные картины, но и упрощают, убирают тени и неразгаданные мучения. Любая большая литература в кино почти всегда полностью или частично обречена на поражение.

Так и здесь, в «Бульбе», для меня, недавно прочитавшего текст, многое не смыкается. В памяти—мои собственные неотчётливые картины. Конкретный образ всегда враг картин, вырастающих из слова.

Лёг, наверное, около двенадцати, потому что ещё в темноте ребята долго возились, но и потом, когда они закончили работу, чего-то за стенкой долго шумел телевизор и слышались голоса. Шашлык и баня субботнего дня у них завтра, уже когда я уеду, но пиво, видимо, пили.

20 июня, суббота

С утра тоскливый дождь, туман и мокрота между яблонями. Утром, не вставая с постели, поколдовал над дневником. Как сегодня ребята будут работать? Но Витя уезжает домой в Пермь, и, зная его щепетильность, полагаю, что как-то будут. Тут же утром выяснилось, что Андрей, который ещё вчера остался на даче у С. П., чтобы тянуть проводку, в машине у Вити забыл телефон. Теперь меня спрашивают: не завезу ли я этот телефон на дачу? Я злюсь, могли бы сказать чуть раньше, я бы обязательно всё сделал. Тем не менее, обещал как-нибудь уложиться. Дорога оказалась не такой свободной, к Андрею придётся заехать уже из Внукова, по дороге домой, это не очень далеко.

Тот же немецкий рейс, маленький, по словам Лены, самолёт, не кормят, но обычно прилетает на пятнадцать минут раньше и не очень дорогой. На этот раз все таможенные и пропускные процедуры прошли довольно быстро. По дороге домой всё же, как и решил раньше, пришлось заехать на дачу к С. П., чтобы отдать Андрею телефон. Для Лены это ещё и познавательная экскурсия в забытую жизнь. Едем, перебираясь с Киевского на Калужское шоссе, по задворкам строительной ярмарки. Чего здесь скажешь, но очень скоро оказываемся в Ракитках. Опытным взглядом Лена взглянула на всё хозяйство и похвалила С. П. за то, что он построил маленький домик: через двадцать лет стоить будет только земля.

В машине, по дороге из аэропорта, мы начали всякие разговоры: о политике, литературе и искусстве, о евреях—как всегда (к этому вопросу Лена относится особенно болезненно, а я сладострастно)—и о многом другом. Но гвоздём программы оказался поразительный эпизод, связанный с её недавней операцией на глазах. Делали её в Берлине. Конечно, у немцев тот уровень общественной медицины, который нам и не снился. Лена, сама доктор медицинских наук, говорит, что если бы вовремя не уехала в Германию, она бы просто пропала. Разговор не идёт даже о таких крупных операциях, как операция на почке, сразу по приезде в Германию ей пришлось такую операцию сделать. Даже такая вещь, как иногда не решаемая у нас проблема с зубами, там быстро идёт за счёт государства, больной доплачивает мелочь. Я тут же вспомнил, как полтора года тому назад С. П. делал точно такую же операцию на хрусталике глаза. Операция была платная, очень дорогая, от названной мною суммы Елена даже присвистнула. Может быть, и у нас пенсионерам её делают бесплатно, но на другом уровне. «Вам какой хрусталик, наш или американский? Американский—платный». Помню, как перед этой операцией, где замена хрусталика в каждом глазу стоила по 100 тысяч рублей (такие деньги у С. П. оказались после смерти его матери Клавдии Макаровны, когда он продал в Воронеже её квартиру),—так вот, перед этой самой операцией от моего друга потребовали кучу справок и кучу анализов: и о состоянии зубов, и анализ крови на иммунодефицит, и анализ на свёртываемость, и анализ крови на сифилис, и многое-многое другое. Как подобный же эпизод освещает Лена? Сначала она побывала у офтальмолога в знаменитой берлинской клинике «Шарите». Тот дал ей направление в какой-то центр, где её почти сразу же осмотрел врач и сказал: «У нас случайно есть место на завтра, на 9:30 утра. Если хотите, мы вас на завтра запишем». И вот на следующий день, в 9:30 утра, моя сестра Елена эту операцию сделала. Через два часа, с нашлёпкой на глазу, на метро она уже уехала домой.

Я, собственно, потому так подробно пишу обо всём и сравниваю немецкую и русскую бюрократию, что буквально на этих же днях вплотную столкнулся с нашим отечественным делопроизводством. Теперь выговариваюсь. Но всё по порядку.

Наконец-то пришло время оформить бумаги, связанные со смертью В. С. Наследство у меня небольшое. Это квартира и её сберкнижка, на которую года три поступала её пенсия, которую я, естественно, во время её долгой болезни не брал. Чтобы не ходить по многочисленным инстанциям, я решил воспользоваться услугами некоего бюро технических услуг, мне его порекомендовали в нотариальной конторе. Предоставляют там лишь «лёгкие» услуги, а за такие, как оформление в бюро технической инвентаризации, они не берутся, не оформляют, потому что такой лакомый кусок, как выдача справки из БТИ, никто отдавать в частные руки не желает. Всё это связано с предоставлением

паспорта—не копии, а именно оригинала. А кто с собой из москвичей носит паспорт? Но и это не всё. Деньги надо заплатить не непосредственно в этом бюро, а в находящемся рядом Сбербанке. Тем временем в этом самом пустом бюро, которое по идее должно экономить наше время, две женщины-сотрудницы сидят, отгадывают кроссворды. В Сбербанке же—это уже другая операция, по извлечению вклада,—недостаточно копии о смерти, ещё нужен мой паспорт и направление от нотариуса. Теперь свой паспорт я размножил уже в десятке копий. И всё, естественно, не даром, любая нотариальная копия платная: так как везде, даже при оформлении крошечных денег (в бюро, например, два раза по 600 рублей), а в Сбербанке, который уже много времени пользуется деньгами, по 50 рублей за каждый запрос. Понимаю, какая-то логика во всём этом есть: в стране сплошное воровство, подделка документов, фальшивые авизо, мошенничество, неуплата налогов богатыми и бедными, государство хочет обезопасить себя, а тем временем бюрократия множится и множится.

Пришла по почте монография от В. К. Харченко о моей дневниковой прозе. Принялся её читать.

21 июня, воскресенье

Утром поехали с Леной в Донской крематорий, к В. С. Москва пустая, мы буквально туда долетели. Всё как обычно, мой внутренний диалог с покойницей, которую я до сих пор не считаю умершей. Кстати, вечером вчера, когда приехала Лена и я полез за рюмками в горку, где хранится наш «фамильный» хрусталь,—а действительно, есть бокалы, графины и рюмки, которые ещё покупали дядя Федя и мама, и я очень хорошо это помню,—и вот, не успел я дотронуться до стеклянной дверцы, как рухнула одна из полок. Я потом собрал целое ведро осколков. Я тогда же, когда эта полка рухнула, сказал: «Это Валя бунтует». Валя действительно меня чуть ревновала к своей сестре.

Постояли возле гранитной плиты: неужели за ней, в тёмном, с запахом бетона, пространстве, итоги жизни трёх людей? Потом—пошли к машине. По дороге, благодаря какому-то наитию,—а ведь пытался сделать это уже не один раз—отыскал нишу, в которой хранится прах Валиных родителей. Это Антонины Сергеевны, её матери, Сергея Сергеевича, отца, и брата, тоже Сергея. Знакомые на плите лица, сколько за каждым связанных с ними событий. Недаром в таких мельчайших событиях держит память своих покойников. Уже на выходе с этого кладбища вдруг решили: а не сходить ли нам, благо в трёх минутах пути, в Донской монастырь? Прошлый раз я заходил в собор, на этот раз обошли спокойное и тихое кладбище. Какие знаменитые, известные по литературе всей стране имена русских писателей и аристократов! Нашли в том числе и могилу Солженицына. Цветы, венки, горят лампады. Лена вспомнила, что о Донском кладбище Солженицын заговорил, когда встречался с Путиным. Во всём этом был какой-то свой и точный расчёт бывшего математика. Но таким, наверное, и должен быть писатель, ощущающий себя классиком. Но привлёк ли это классик к себе, говоря словами Пастернака, любовь пространства? Понимание необъятности сделанного писателем в обществе есть. Но ведь недаром говорилось о чём-то весёлом в имени Пушкина. И жизнь, и смерть без расчёта.

День был так хорош, что я решил ещё повозить Елену по Москве, а потом мы съездили в храм Христа Спасителя. Может быть, нас так возбудила огромная мраморная скульптура, в своё время снятая с этого храма перед его уничтожением и теперь хранящаяся в Донском монастыре. Теперь эта скульптура несколько, по сравнению с прежними временами, приведённая в порядок, встроена в крепостную стену, над нею что-то наподобие сени. На само́м новом храме, выстроенном на месте бассейна, скульптура тех же сюжетов и тех же размеров; я, правда, не уверен, что сделана она из не менее вечных материалов,—по крайней мере, из других.

Обошли весь храм. Всё те же вопросы возникали в сознании: почему разрушили, как поднялась рука, какое это трагическое безобразие эпохи, и как в борьбе с народной душой осквернила себя именно та власть, в которую я глубоко и искренне верил в течение многих лет и продолжаю верить сейчас.

Пока человек жив и помнит ушедших, они живут в его памяти, и они продолжают быть реальнее многого другого живого и сиюминутно происходящего. И когда этот живой ставит свечи, вспоминает одного за другим умерших родственников—это очень освобождает сознание. В храме, когда я ставил на каноне свечи, я вспомнил всех: дедушку, бабушку, маму, отца, тёток, двоюродных сестёр, своего крёстного. Откуда это берётся—такое очищающее духовное парение и сопутствующее глубокое внутреннее удовлетворение?

Были ещё и другие соображения, когда прошлись по новому пешеходному мосту через реку, когда закусили в трапезной возле зала церковных соборов. Кажется, первоначально собор не имел такого мощного, с гаражами и службами, цоколя. А оказывается, мост построен потому, что под ним огромный магазин, который пока из-за кризиса не открылся. Самое незабываемое, вдруг отпустившее мою душу,—это мгновенья, когда, набрав чуть ли не двадцать свечей, я ставил их одну за другой на канон, каждый раз внимательно вспоминая дорогие мне лица близких и ушедших навсегда родных и близких. Господи, прости меня, грешного.

Весь вечер дома дочитывал монографию В. К. Харченко. Надо написать ей письмо.

22 июня, понедельник

Собственно говоря, уже несколько дней дневник почти не пишу. Голова моя постепенно распухает; не обладая такой академической бесстрастной памятью, как, скажем, наш ректор, я вынужден обрывки впечатлений силой удерживать в сознании. Я иногда долго держу их в голове, чтобы не забыть какую-нибудь находку для романа или просто какую-либо деталь; наконец, когда вписываю её в основной текст—просто счастлив: можно забыть и отделаться от наваждения.

Утром состоялись экзамены магистров. Их у нас в этом году четверо. Экзамены прошли, в отличие от прошлого года, достаточно успешно. Были составлены серьёзные билеты, на которые получены интересные и полные ответы. Одна лишь «четвёрка»—у Денисова, а Милюкова, Чередниченко и Луганская получили «пять». Для меня это важно потому, что в прошлом году я настаивал и на большей комиссии, и на расширенной программе, и вообще на повышении требований. Кстати, когда объявили результаты, то, отчётливо сознавая, что всё проговорённое немедленно разносится по институту, я предупредил ребят, что на следующий год требования к экзаменам магистров и к их работам будут ужесточены.

Перед экзаменами довольно долго разговаривал с Марией Валерьевной. Она поведала массу интересного о положении дел в МГУ. Она там сейчас работает. Всё не так безмятежно и просто, как кажется. Говорила и о своём бывшем муже, известном физике. Как он—его, кстати, зовут, как и меня, Сергей (фамилию его не пишу умышленно)—поступал в аспирантуру к знаменитому учёному Боголепову. Когда вопрос о поступлении был фактически уже решён, этот старый человек вызвал к себе своего будущего ученика, чтобы задать ему несколько вопросов: Верит ли он в Бога? Православный ли он человек, крещён ли? И—представляю, как этот парень, физик и математик, колебался: как ответить? Теперь работает где-то за границей. Физик сатаны—работает на коллайдере.

23 июня, вторник

Опять с утра ездил по разнообразным нотариальным делам. К часу дня уже был в институте. Обедал с М. Ю. Стояновским, в обед обменивались телевизионными новостями.

Вчера была попытка теракта по отношению к президенту Ингушетии. Утром, при поездке на работу, машину президента подорвали. Террорист-смертник взорвал припаркованную машину. Погиб шофёр и, кажется, охранник, самого президента уже перевезли в Москву, состояние у него тяжёлое. Судя по информации, ранение в том числе и в голову.

С одной стороны—криминальные разборки в верхах и против верхов, с другой—цивилизованное воровство крупных чиновников. За сегодняшний день нам продемонстрированы два дела: на пять лет посадили начальника владивостокской таможни и на семь с половиной лет—мэра подмосковного Красноармейска. Подробности описывать скучно, но всё это—миллионные кражи и взятки. Что же это за власть и страна, что же это за мораль у людей власти, и как эта власть отбирает людей на высокие посты?!

Вот об этом, а также о нашем любимом министерстве поговорили за обедом. В ответ на недовольство общества деятельностью Министерства образования оно отвечает требованием справок, отчётов, требует выполнения нелепых директив.

В два часа началась процедура вручения дипломов заочникам. Меня всегда заочники интересовали, а за эту весну я ещё и прочёл человек двадцать—двадцать пять прозаиков и нескольких драматургов. Опять убедился, что они крепче нашего очного молодняка и им есть что сказать. Я заочникам симпатизирую, я и сам был заочником. Решил, что надо бы подарить им по книге «Власть слова» из запаса, который мне достался от «Литературной газеты». Большинство, как и бывало, уедут к себе на родину, начнут вести какие-нибудь курсы или студии. Вот тут-то книга с массой советов и суждений об искусстве прозы им и пригодится. Что-то подобное я говорил в своей речи на вручении дипломов. После меня говорили ещё М. П. Лобанов и С. Ю. Куняев.

Наверное, больше года я не был в актовом зале. Вдоль стен повешены картины и портреты кого-то из современных, не самых плохих, но и не лучших художников-реалистов. Приглядевшись к этим произведениям искусства, я просто ахнул. Прямо передо мной, над сценой и кафедрой, висел портрет нашего ректора. Приглядевшись к другим лицам, я обнаружил здесь и его сына Федю. Какая-то фамильная галерея. Всё ничего, если бы портреты были лучше и мастеровитее написаны. Я люблю произведения искусства, а не скоропись. Надо бы разузнать, откуда появился такой шустрый реалист.

Всей церемонии мне увидеть не пришлось. Ещё раньше я договорился с Е. Я., что приду к ней ровно в три часа и кое-что подиктую. Волновали меня в первую очередь «Дневники», надо было и ответить на письмо Вере Константиновне. Монографию её прочёл, но были соображения и замечания. Как она это примет, не знаю. Также надо было ещё махнуть характеристики на свой семинар. Всё это я не спеша диктовал, а тем временем забегала лаборант, сообщая, что заочники собрались в 23-й аудитории и требуют меня. Часа через полтора я, всё закончив и накинув пиджак,—ах, какой был жаркий день!—пошёл в аудиторию.

Я ещё никогда не слышал таких аплодисментов и приветственных криков. Так кричат только Аршавину или Алле Пугачёвой. Мне даже было чуть неловко—за столами сидели многие наши преподаватели и ректор. Я даже сказал: «Ребята, не надо так громко. Не вызывайте ко мне дополнительное недоброжелательство начальства». Шутку поняли, тут же мне поднесли и рюмку с суворовской закуской—лук с салом на куске хлеба, а потом и памятный подарок—большой и тяжёлый парусный корабль из оникса с часами в виде штурвала и надписью на металлической пластинке. Слова знакомые, из Пастернака: «Привлечь к себе любовь пространства. Услышать будущего зов». Очень лестно и трогательно. Потом, особенно девчонки, всё время ко мне приставали, чтобы я с ними сфотографировался.

После всех этих треволнений еле-еле приплёлся домой. Принялся писать Вере Константиновне.

«Дорогая Вера Константиновна!
Естественно, я получил Вашу посылку и прочёл. У талантливого человека не может быть неталантливой работы; я бы даже сказал, что эта

монография — лучшее из того, что Вы написали обо мне. Но, тем не менее, у меня есть замечания.

Лучшая часть — последняя, лингвистическая, снабжённая обильным цитированием. Мне показалось менее интересным, даже несколько вялым само начало. Думаю, связано это с тем — говорю здесь уже не как автор, а как литературовед, — что Вы недостаточно высветили общественное значение «Дневников».

Не объяснили причину, почему они так читаются, почему стали некоторым событием в литературе, почему, при всей громаде изданного в этом жанре, их каким-то образом заметили. Частично эту проблему Вы намечаете в конце монографии. В начале же почти лишённый информационного повода читатель недоумевает: чего, собственно, городят сыр-бор?..

Я не буду продолжать тему дальше, но остановлюсь на главе, которую Вы назвали «О чём не будет написано». Дело здесь не в еврейском вопросе — вообще, мне кажется, этот вопрос Вы в моей интерпретации воспринимаете как-то очень робко, даже по-школьному... Я уже Вам писал, а может быть, послал книжку, сложившуюся как результат моей переписки с Марком Авербухом. В «Литературной газете» напечатано замечательное предисловие к ней известного критика Е. Ю. Сидорова. Вот там всё очень точно объяснено. Конечно, Ваша монография может обойтись и без этого, но в том же разделе Вы пишете, что не хотите рассматривать заметки, которые я написал для «Труда». С одной стороны — это справедливо. Неужели Вы думаете, что я включал бы в «Дневник» эти заметки и вообще осложнил бы «Дневник» довольно многочисленными вставками посторонних текстов, если бы не понимал, что из всего этого разнохарактерного материала создаётся социальный и культурный *фон*, без которого ни одна литература не существует? Тот мерцающий фон, из которого и возникают смыслы. Можно об этом продолжить, но думаю, что Вы — человек, быстро и чётко всё понимающий, поймёте меня. Успех книги и успех любого автора — это искренность и смелость. И то, и другое надо искать в своей душе.

Ещё раз повторяю, что книжка мне понравилась, что она интересна, и если её чуть усилить вначале, она будет с любопытством прочитана филологическим сообществом.

Ещё одно соображение: перенасыщение книги терминологией. Этой чисто филологической оснасткой Вы владеете виртуозно. Но, мне кажется, иногда это начинает раздражать читателя. Читатель может пуститься в далеко идущие рассуждения: а чего это автор так «выпендривается»? Но опять — всё это на Ваше усмотрение. О методе Горлановой, мне кажется, мы с Вами в одной из книг говорили.

Вот, собственно, и всё. Добавлю только, что восхищён той быстротой и ясностью, с которыми Вы работаете. Но по-иному писатель работать и не может.

Ваш Сергей Есин».

24 июня, среда

Вчера Витя снял мою машину с учёта, сегодня мы с ним решили ехать на дачу, чтобы закончить дом, а завтра он уезжает. Транзитные номера выдаются на пять дней, надо иметь в дороге хоть какой-то запас. Витя везёт мой огромный двухкамерный, с двумя компрессорами, холодильник. Как мы будем затаскивать эту двухметровую девяностокилограммовую громаду на крышу автомобиля, я пока не представляю. Правда, для Вити нерешённых проблем не существует. Витя — один из тех упорных и замечательных русских людей, рукастых, умных и неленивых, которые и взрастили нашу русскую цивилизацию. Я отчётливо представляю его в тайге, в бою, в казацком набеге — везде целеустремлённость, бескорыстие и жертвенность.

К счастью, с Витей прямо до его деревни едет его земляк, некий Саша, который всё время служил в Москве и только что был демобилизован по болезни.

История Саши — фамилия у него, кстати, Оборин — такова: он служил в Москве в одной из окраинных дивизий — опять «кстати», в той же, где служил и наш бывший институтский охранник и слесарь Серёжа Горюнов. Когда он стоял дневальным, то ночью пришёл совершенно — пишу по рассказам — пьяный командир его роты, капитан, и за какую-то, наверное, погрешность избил парня. Да избил так, что тот попал в санчасть с сильнейшим сотрясением мозга. Дело было так серьёзно, что санчасть решила его госпитализировать, чтобы не брать на себя ответственность. Но госпитализировать в один из московских госпиталей — это значит привлечь внимание к инциденту кого-либо из дознавателей или даже прокурора. И тогда санчасть решает отправить его в бывшую Кащенко, и, наверное, случай не первый, а накатанный. Так вот, теперь парня комиссовали и, к счастью, с родины позвонили Вите, и тот его возьмёт с собой.

До отъезда я ещё забежал в банк, где снял 50 тысяч рублей — Вите на первое время. Как он там справится и как приживётся? Я удивительно верю в его честность, порядочность, но вот найдёт ли он себя в своем тяжёлом и разрушенном деревенском мире?

На дачу с заездом в «Перекрёсток», где я купил продукты и домой, и в дорогу, мы поехали втроём. Я поливал помидоры, помогал ребятам. Они довольно быстро почти всё закончили, оставив только кое-что, что доделают Володя и Маша, когда вернутся из Крыма. Это мелочи, но Витя, понимая, как сильно будет у него нагружена машина, ещё сменил задние пружины-амортизаторы. Я опять поражался и восхищался, как ладно и быстро он всё делает, как горит у него всё в руках. А ведь это очень тяжёлая и сложная работа.

Я сам — в какой-то прострации и внутренней усталости. Может быть, это происходит потому, что я буквально физически чувствую, как меняется моя жизнь. При всех сложностях я всё-таки всегда знал, что есть кому следить за домом, кого послать заплатить за Интернет, кому ехать на станцию техобслуживания и кому варить суп. Но Витя ещё и человек, который связывал меня

с живыми и непосредственными воспоминаниями о В. С. И он её любил, и она его любила, и, наверное повторяюсь, она умерла на его руках. По крайней мере, когда мы закрыли дачу и он отдал мне свои ключи, я заплакал. Я вообще много плачу в последнее время.

На даче, в перерыве между помощью ребятам, огородом и кухней, я всё же лёг у себя в комнате и начал читать первую часть книги А. Ф. Киселёва. Это, конечно, удивительный и самородный человек со своим взглядом, и надо сказать, очень русским взглядом на нашу историю и сегодняшний день отечества. Это уже мне ясно, хотя это-то как раз я и предполагал. Развернул также и свежую «Литературную газету», где сразу бросилась в глаза большая статья Пешковой о театре Маяковского. Мне показалась, что это очень несправедливая статья и автор просто не любит театр; а тогда зачем в него ходить? Особенно, я сужу уже и по статье о «Мастере и Маргарите», этот автор не любит, а порой и ненавидит актрис. Я бы не говорил так, если бы не видел, по крайней мере, «Как поссорились…» и не видел в деле как актёра Сергея Арцыбашева. Да и «положительные» оценки у меня вызывают большое сомнение.

Когда вернулись, то Елена Семёновна уже благополучно спала. Квартира сияла чистотой, и на столе стояла тарелка сырников и миска жареных кабачков.

Вечером, уже в одиннадцать часов, принялись варить курицу ребятам в дорогу и спускать вниз холодильник. Последнее было тяжёлой задачей, но, к счастью, и с этим мы справились. Саша сказал, что он предполагал, что мне лет сорок. Но как ребята после целого дня работы ещё что-то делают, я не знаю, я сам дышу плохо, но моя привычка—всё до последнего вздоха.

В заключение выписываю из «Российской газеты» только криминал, потому что именно он, если вдуматься, определяет нашу жизнь. А что ещё? Мудрые рассуждения Путина или бодроумные рассуждения Медведева? Тем более что оба они талантливо эти рассуждения читают. А что, если когда-нибудь нам выбрать в президенты его спичрайтера?

— «В Брянске вынесен приговор помощнику губернатора, экс-заместителю председателя Совета Федерации Андрею Вихареву». Взятки!

— Две женщины организовали убийство. Интеллигентные дамы—библиотекарь и главный бухгалтер—решили убить свою начальницу, руководителя центра занятости, в знаменитом городе Байконур. Мешала въедливый директор работать.

— Двум молодым людям из Подмосковья в одном из кафе не понравился не очень молодой украинец. Вот они и принялись травить его собакой.

Сроки: собачники—9 лет, организаторы несостоявшегося убийства—4 года, высокопоставленный взяточник—4 года. Выгоднее брать взятки, нежели травить людей собаками.

25 июня, четверг

Витя, как всегда, неслышно поднялся часа в четыре и снёс оставшиеся вещи вниз, к машине; я—в половине пятого. Кроме кучи железок, в том числе и моего последнего подарка—бензиновой пилы, Витя везёт ещё клетку с попугайчиками и целую сумку игрушек, которые остались после зимнего пребывания Лены с дочкой. Где-то в шестом часу, присев от загрузки на задние колёса, с огромным холодильником на крыше, машина отвалила. Я опять не выдержал и заплакал. Витя обещал через каждые два часа присылать мне сообщения. Что, в общем-то, и делал. Сейчас, когда я пишу эти заметки, он уже проехал Владимир и Нижний Новгород. Дай Бог ему удачи и счастья.

Заснуть я, конечно, сразу не смог, а принялся и долго читал дневники Михаила Кузмина за 1934 год, его последний год. Книжка эта у меня уже давно, но как-то первоначально она мне показалась вычурной, с какими-то отдельными фрагментами ранних воспоминаний. Но прочёл предисловие неизвестного мне Глеба Морева, написанное в Иерусалиме и Петербурге,—и пошло, пошло. Сразу же надо отметить грандиозный аппарат примечаний, увлекающий меня не менее текста. Здесь же я встретился со многим для меня новым, ранее казавшимся совершенно иным. Ну, например, Вячеслав Иванов и его башня. Мне всё время казалось, что на башне встречались ровесники, молодые люди, и в не очень большом числе; фамилии все, впрочем, известные. Но, оказывается, людей бывало почти до ста, и хозяину и хозяйке было уже или под сорок, или даже за сорок. Здесь же совершенно невероятный портрет Диотимы, хозяйки: «К тому времени, как я познакомился с Зиновьевой, ей было года сорок два. Это была крупная, громоздкая женщина с широким (пятиугольным) лицом, скуластым и истасканным, с негритянским ртом, огромными порами на коже, выкрашенным, как доска, в нежно-розовую краску, с огромными водянисто-белыми глазами среди грубо наведённых свинцово-пепельных синяков. Волосы едва ли натурального льняного цвета, очень тонкие, вились кверху вокруг всей головы, делая её похожей на голову медузы или, более точно, на голову св. Георгия Пизанелло. Лицо было трагическое и волшебное, Сивиллы и… пророчицы». Но каков и портрет! Я ведь всегда стараюсь работать на несколько фронтов—обязательно зачитаю эту цитату своим студентам.

«Женат он был на Л. Д. Зиновьевой; Аннибал прибавлена для затейливости, едва ли не самозванка. Она была сестрой петербургского предводителя дворянства, и чтобы избежать семейного гнета, фиктивно обвенчалась с репетитором своих братьев Шварсалоном и уехала за границу, чтобы там учиться пению». Вот теперь мне многое стало ясно, но опять возникают подробности, которые царствуют в литературе. Ясно и материальное обеспечение башни, и цели, я пропускаю личную часть, разъезд со Шварсалоном, брак, не вполне законный, с Ивановым, жизнь в Италии, возвращение в Москву. «Как бы то ни было, они не понравились москвичам, москвичи им, и Ивановы перебрались в Петербург. Воспользовавшись отсутствием Мережковских, им удалось стать одним из главных, если не единственным литературным центром».

Но, наверное, всё же не из-за своих чисто литературных достоинств привлекла меня фигура Кузмина, писателя, в известной мере незаслуженно отодвинутого в сторону… Впрочем, я тоже отодвинут.

Мой телефон тоже уже много дней молчит.

Вечером, после внезапного звонка Лёни Колпакова, я пошёл в театр Российской армии на премьеру новой пьесы Юры Полякова. Премьера в малом зале. Название чрезвычайно удачное и кассовое: «Одноклассники». Зал был переполнен, публика встретила спектакль, поставленный Борисом Морозовым, с энтузиазмом. Овация была могучая, но непродолжительная. Содержание—встреча одноклассников через двадцать лет, в день рождения одного из ровесников, изувеченного в Афганистане. Работа очень значительная, но иногда из-за предсказуемости и просчитанности ходов становилось неловко. Я бы подобное писать не стал, но восхищаюсь, особенно на фоне сегодняшней драматургии. Пьесу наверняка превратят в сериал, и пойдёт он очень успешно. Юра большой специалист по вкусам публики. Здесь в героях учительница, почти порнозвезда, олигарх, священник, бомж-поэт, еврей-эмигрант. Полный, социально сбалансированный набор, есть даже характеры, но очень одномерные. Много разговоров о некоем в школьные годы изнасиловании или просто легкомысленном поведении героини, вокруг этого много разговоров. Самый интересный и прописанный образ—олигарх.

26 июня, пятница

Утром шла аттестация первого курса. Б. Н. Т. не было, он уехал на какую-то конференцию в Грузию. Вёл аттестацию Мих. Юр. Общее впечатление довольно грустное. Это на фоне недостатка абитуриентов. В институте все успокаивают себя «демографической ямой», но я говорю, что и ГИТИС, и ВГИК, и все театральные институты, несмотря на эту виртуальную яму, абитуриентами переполнены. Мы проигрываем в средствах массовой информации, в популярности на телевидении, об институте почти забыли.

В какое-то временнóе окно успел сбегать в «Российский колокол», отдать вычитанную вёрстку шестой главы и статью о театре Гоголя. Хорошо, что в статье есть ранее не вошедший фрагмент о «Портрете» у Бородина.

Хорошо бы завтра, коли сегодня закрыл все долги с дневником, посидеть хоть чуть-чуть над романом.

1 июля 2009 года, среда

В 16:10 Ашот—он вечно сидит в Интернете—прислал сообщение: «Ушла Зыкина. Вот это горе». Вот это действительно для меня горе, не сравнимое ни со смертью Майкла Джексона, по поводу которой три дня, не умолкая, говорит телевидение, ни даже со смертью Янковского. «Опустела без тебя земля». Много за ней было слабостей, в том числе она когда-то сняла своё имя из обращения «Слово к народу» и власть любила, но всю широту и исконность нашей земли она умела выражать и выражала. Вот это горе. А так бодра совсем недавно была на своём юбилее—казалось, жить будет ещё долго.

С раннего утра сидел над предисловием к книге А. Ф. Киселёва—кажется, вошёл в ритм, написал первую часть, теперь надо перечитать монографию о Федотове, мою старую рецензию и попробовать всё это облагородить. Для предисловия к книге материал этот очень многомерный и серьёзный—с этим не поиграешь. Всё время, пока писал, думал, что за жизнь мне удалось всё же, как и В. С., создать свой стиль—только это и позволяет в моём возрасте довольно свободно писать,—стиль, который всегда говорит ещё и о себе самом, об авторе. Может быть, такая субъективность и не так хороша, но мне подходит. Чтобы не выписывать отдельных цитат, наверное, впишу сюда начало этого предисловия. Сегодня, кстати, по телефону разговаривал с Верой Константиновной и объяснял ей, что, выписывая что-то или что-то вставляя в тексты, я в первую очередь веду какой-то свой сегодняшний бой. Но что поделать, если я веду его часто чужими руками. Письмо моё, кажется, Вера Константиновна ещё не получала.

2 июля, четверг

Три раза возвращался домой за недостающими документами, но всё же добил—сдал заявление в БТИ района на улице Кржижановского, чтобы мне оформили необходимые бумаги для введения меня в права наследства. Теперь, когда я на боевом отрезке, всё чаще раздумываю, кому оставить всё довольно большое имущество. Ясно уже одно: библиотеку, архив, дачу в Обнинске и, наверное, авторские права—С. П., а вот квартиру—это семейное достояние—младшему сыну Валеры Алексею, дачу в Сопово—племяннику Валерию, машину—Вите, и кому-нибудь из них—мой гараж на Белорусской. Но—к заявлению в БТИ. Вчера с Леной долго говорили о советской и немецкой бюрократии. Она рассказывала, как у них дело обстоит с тем, что мы называем лечащим врачом. Там пациентов быстро разбрасывают по кабинетам, и с каждым занимается сначала сестра: жалобы, анализы, история болезни, а потом на пять-десять минут заходит, переходя из одного кабинета в другой, врач и немедленно всё решает. Анализы у больных берут и уже потом пересылаются в лабораторию. В смысле медицины человек не чувствует себя оторванным от человеческого ухода и внимания. Дома престарелых и инвалидов в Германии тоже не такие страшные заведения, как у нас; по крайней мере, там не привяжут старика полотенцами к постели. Я высказал мысль, что у нас человек, ещё только готовясь соприкоснуться с какой-нибудь чиновничьей иерархией, уже поджимается и готовится быть оскорблённым и виноватым.

Я всё это написал только для того, чтобы во имя справедливости сказать, что если бы не моя растяпистость—я забывал взять то один, то другой документ, казавшийся мне совершенно ненужным,—я бы всё покончил за тридцать-сорок минут. Сначала, перед открытием БТИ, толпа перед

дверью меня просто испугала, но потом всем раздали талончики, и очередь немедленно начала рассасываться по соответствующим окнам. Я взял с собой ворох газет и том Пушкина с его статьями и обзорами и приготовился всласть почитать, но не тут-то было—через пятнадцать минут меня уже вызвали. Ай да Лужков со своим требованием «одного окна»—а ведь наладили. Всё, естественно, платно, но у каждой девушки компьютер, ксерокс, телефон, каждая знает дело. Может быть, не всё так безнадёжно…

А не устроить ли мне службу одного окна в романе?

Потом уже, когда ездил, разведывая ближайшие переулки, с улицы Кржижановского домой и обратно, слушал радио. Есть одна любопытная новость. Вроде бы Китай чуть наезжает на нас по поводу Черкизовского рынка. Его оборот сопоставим с нашей же торговлей оружием—что-то возле пяти миллиардов. Естественно, тут же вспомнил открытие в Турции отеля рыночным олигархом Исмаиловым и присутствие на том открытии всё того же быстрого и настойчивого Лужкова.

Каждый день что-то стараюсь делать для главной моей работы, хотя бы дневники, или вношу редактуру по тексту, который просмотрел Апенченко. Но я-то знаю, что подбираюсь к седьмой главе, она не даёт мне покоя.

К четырём поехал на Рылеева, в стоматологическую поликлинику. Оказалось, что уже никакого отношения эта роскошная и, как чуть позже выяснилось, очень дорогая лечебница к своей альма-матер, в подвале которой она поселилась, не имеет. Я полагаю, что взаимоотношения там союзнические и не без материальной заинтересованности. В платной поликлинике, которая в моём дворе и где я, собственно, лечу зубы всю жизнь, ушла в отпуск Элла Ивановна. Для человека в возрасте это трагедия, если он теряет связь со своим зубным врачом. Только за консультацию ортопеда, как мне сказали по телефону, в этой новой лечебнице с меня возьмут почти тысячу рублей. Но всё оказалось совсем не так, как я предполагал.

Но дорогое—это ещё и не очень плохое. Осматривал меня молодой врач, который сказал, что советует мне только подлечить зубы и тотально пока не вмешиваться, «зубки», как говорил он, могут шататься, но они пока держатся, а что будет дальше, никто не знает. Поступил в высшей степени порядочно. Я хотел было поставить здесь же пломбу, но каждая пломба в этом храме хирургических перчаток стоит 5000 с лишним рублей. Это почти моя бюджетная месячная зарплата. Буду, наверное, ждать возвращения Эллы Ивановны.

3 июля, пятница

Утром всё же выполнил свой старый, тянувший меня долг. В своё время, незадолго до смерти В. С., я очень радовался, когда ей выписали большую партию бесплатного «Рекармона», и привёз его домой. Эти пачки, каждая стоимостью чуть ли не по шесть тысяч, заняли у меня треть холодильника. Первое время после смерти В. С. я ничего не хотел касаться, но тогда же решил, что лекарства надо бы отвезти в больницу. А потом всё затянулось в трясину неотложных обязательств.

Довёз меня до больницы, как всегда, Анатолий. Он по дороге жаловался на то, как протекает его бизнес. Записываю я всё это не оттого, что плохо моему соседу, а оттого, что, видимо, это общая тенденция, и радоваться здесь нечему. Небольшой бизнес рушится, а бизнес серьёзный, чтобы спастись самому, готов согласиться с исчезновением малого. Если в тему, то в одной из последних газет я прочёл, что русский туризм, т. е. наш выезд за рубеж, уже сократился на 25 процентов, а по миру количество туристов-путешественников сократилось на 10 процентов. Но иногда, когда я слушаю истории про падение бизнеса, я думаю, что это месть за его прежнюю спесь. Ведь в основном почти любой бизнес у нас основан на неуплате налогов государству и в первую очередь рассчитывает на это. А ведь это каким-то образом касается и меня.

В больнице, пока шёл от проходной к корпусу, вдруг на мгновение почувствовал себя моложе, и даже показалось, что и Валя жива, а я просто иду к ней, как всегда, на ежедневное свидание. Оказывается, тогда, когда она была жива, а я ежедневно, теряя из жизни шесть часов, ездил к ней в больницу, вот тогда я и был счастлив.

Всё очень мало изменилось, и всё после рассказов Елены о медицине в Германии показалось мне не очень убедительным. В отделении, в нефрологии, лекарство у меня не взяли, сказав, что рекармон, с его баснословной стоимостью, в больничной аптеке пока есть, и, следовательно, даже хранить его в местных холодильниках страшно: а вдруг начнётся проверка! Но люди там бесхитростные, жизнь их приучила ко многому, поэтому с полным знанием дела мне сказали: а чего вы, дескать, принесли, надо было дать в какой-нибудь газете объявление и продать за полцены.

По коридору не пошёл, не захотел взглянуть на палату, где лежала В. С. Слишком велико было бы разочарование—она из палаты не выйдет. Обычно она ещё по походке узнавала, когда от лифта я шёл по коридору. Дверь в её палату всегда была открыта.

Наверху, на седьмом этаже, на диализе, меня, оказывается, всё ещё помнят. Дежурная девушка на рецепции безошибочно меня назвала: «муж Ивановой». Встретился с Шило, передал коробки с лекарством ему, на нескольких коробках уже был просрочен срок годности.

Вот из Пушкина, которого читаю в метро, не подряд, а выбирая, сообразуясь с моментом. Он рассуждает о Французской академии и об академиках.

«Скриб в Академии, он занял кресло Арно, умершего в прошлом году.

Арно сочинил несколько трагедий, которые в своё время имели большой успех, а ныне совсем забыты. Такова участь поэтов, которые пишут для публики, угождая её мнениям, примеряясь к её вкусу, а не для себя, не вследствие вдохновения независимого, не из бескорыстной любви к искусству!»

Наверное, здесь есть что-то и справедливое—не «примеряясь к её вкусу». Это ведь относится ко

всем видам искусства. Неужели и Дашкова рассчитывает, с её десятками и десятками книг, на долгую память, и наши эстрадные звёзды-певцы, которые рассуждают о своём «творчестве», тоже думают о чём-то подобном?

Вечером вместе с Леной пошли в театр. Андрей Порватов с необыкновенной обязательностью заказал мне билеты в театр Маяковского. Это оказался «Ревизор». Интересно, почему с такой праздничностью и желанием я хожу на знакомую-перезнакомую классику? И хотя кое-что в спектакле меня не устроило, некоторая отсебятина и лёгкие «добавки», я получил необыкновенное удовольствие, сидя на своём первом ряду. Играли опять С. Немоляева и А. Лазарев. Немоляева всё же, по своему обыкновению, чуть нажимала, но всё равно они оба мне чрезвычайно понравились — выдающаяся работа. Совершенно нов Хлестаков — Сергей Удовик, и неожиданно обаятелен Осип — Алексей Фатеев. Да и нет ни одного актёра, который играл бы плохо, — академия. Абсолютно нов, хотя и чуть выбивается по стилистике, финал: декорации падают, и на мгновенье все персонажи — в чём мать родила. Обнажается человеческая сущность.

Вечером, после театра, приехал племянник Лены Дима Хазарашвили, довольно долго разговаривали и о Грузии, и о нашей медицине. Лена, которая в Германии сделала несколько операций, прямо сказала, что не окажись она в этой стране, она бы пропала. После гипертонического криза на обследовании сразу установили рак почки и немедленно оперировали. Димин отец, брат Лены Виктор, который тоже в Германии, оперирован, чтобы сохранить ему жизнь и работоспособность, одиннадцать раз! Последний раз ему поставили металлический тазобедренный сустав. Бегает, ездит на велосипеде. Я представляю, сколько бы надо было ходить у нас, и клянчить, и давать взяток, чтобы более или менее успешно сделать подобную операцию.

4 июля, суббота

Утром, ещё до того, как повёз Лену на аэродром, дозвонился до Натальи Евгеньевны. После того как я написал первую часть вступительной статьи к книге Киселёва, я вдруг обнаружил, что совершенно запамятовал, какую из своих монографий Киселёв мне дарил: обе — и об И. Ильине, и о Федотове — Александр Федотович предполагает поставить во второй части издания. Но, к счастью, Наталья Евгеньевна только вчера вернулась из отпуска и обрадовала меня. В книге будет Федотов. Ну, слава Богу, всё тогда почти готово, в «Российском колоколе» года два назад я об этой монографии писал.

В Обнинске начал с того, что сразу же сел читать свою старую статью и тут же обнаружил, что надо менять тон, интонацию: одно дело — рецензия, а другое — предисловие к книге. Но ведь дополнительные усилия и работа всегда открывают и новые возможности. Сразу же возникла мысль, что теперь-то, после того, как после Фадеева почти написал вступительную статью и о русских философах, почти сложилась и моя книга об искусстве и литературе. Осталось только придумать заголовок. Теперь только бы войти в рабочий ритм.

К моему удивлению, огурцы, которые без поливки простояли свыше недели, хотя особенно и не выросли, но и не завяли. Устроил большой полив в обеих теплицах, немножко нехотя подвигал мебель наверху, в комнате В. С., и довольно долго тупо смотрел по телевидению «Максимум». К тому времени, когда передача началась, Лена уже долетела.

Перед сном чуть-чуть почитал Пушкина. Опять поразился, как мало мы знаем, считая себя знатоками русской литературы. Удивительная картина разворачивается, когда читаешь пушкинские статьи и заметки. Сколько всего было написано, а ведь всё гусиным пером, без пишущей машинки и компьютера. Вот уж поистине был раб письменного стола, и у этого гения, этого счастливца славы и удачливого поэта жизнь совсем не была лёгкой и безоблачной. Положим, известно, что к концу жизни начали вечно недовольные и завистливые современники пописывать, что *наше всё* «исписалось», стихи для современников стали скучноваты, появились новейшие кумиры, — но ведь, оказывается, и в более ранние времена нападали. Даже «Онегина» приходилось защищать и отбиваться от критиков. Ах, этот румяный критик мой! Но это ещё и пример, как постоянно надо держать своё имя на публике.

5 июля, воскресенье

Дневник почти не пишется, нет стимулов, а мои собственные «дневниковые» жалобы на здоровье и бытовые переживания кажутся мелкими. Мне бывает интересно, когда я окружён общественными интересами. Вспомнил один разговор, который произошёл у меня с Николаем Ивановичем Рыжковым. Я тогда дохаживал последние месяцы своего ректорского срока, и Н. И. с некоторой горечью сказал мне, как быстро я могу быть забытым, уйдя с должности. Тогда же я подумал, что Н. И. недооценивает, что я ещё и писатель. Ну и что могу сказать я сейчас? Спектр моих интересов сузился, востребованность личности тоже почти ушла.

Утро хмурится, пришло похолодание, температура не больше двенадцати-пятнадцати градусов. Дача действует на меня благотворно, единственная возможность ввести себя в рабочее состояние — это чем-нибудь заняться. С восьми утра и до двух дня, когда поехал встречать на станцию С. П., который едет с сыном, занимался уборкой. В первую очередь собрал два серванта в комнате у В. С., в которую почему-то практически не заглядывал весь последний год. Постепенно здесь появляется вся обстановка, окружавшая её в Москве. В следующий раз расставлю её книги и разложу безделушки и посуду.

Приехал чуть похудевший и загоревший С. П. Самые большие перемены я увидел в Серёже-маленьком, моём крестнике. Ещё в прошлом году это был полноватый и рыхлый паренёк, до некоторой степени даже инфантильный. Теперь он вытянулся, обхудал, в лице и повадках появилась

мужская резкость. Да и в характере Серёжи ничего уже не осталось детского. Он во многом разбирается, очень интересно рассказывает о крымских делах, о президенте Ющенко и премьер-министре Тимошенко. Серёжа очень похож на покойную мать, та же жертвенность на этом вполне юношеском лице. Дай Бог ему другую судьбу. С удовлетворением отмечаю: не терпит никакой критики отца.

Сергей Петрович очень интересно рассказывал о своём путешествии в Крым вместе с Володей и Машей. На Украине всё значительно дешевле, чем у нас. Но наши отдыхающие, которых на одну треть меньше, чем в прошлом году, ждут каких-то снижений цен на продукты, жильё и услуги. А очень бедные украинцы, по своей жадности, ничего не снижают, об этом расходятся слухи, народ в раздумье, ехать или не ехать, и от этого, как всегда, страдает больше неимущая Украина. Бензин там, в пересчёте на отечественные деньги, стоит под тридцать рублей за литр. Но самое интересное в рассказе С. П.—это и наши, и украинские таможенники и пограничники. Уже на первой, нашей же, границе, когда только ехали в Крым, выяснилось, что у Маши не сменена фотография в паспорте. Но первая же наша бодрая таможенница-пограничница, чуть для кокетства повыделывавшись, всё уладила за 2000 рублей, при этом подбодрила: «Ну, у украинцев все вопросы решаются за деньги». На обратном пути ребят всё же на нашей границе ссадили, и Маша поехала к себе куда-то в Знаменку переклеивать на паспорте фотографии, а Володя не решился её оставить одну. Но самое занятное, что украинцы Машу снова за тысячу рублей пропустили, на этот раз бдительными и неподкупными оказались русские таможенники. Откуда у них такая стойкость? Тут я вспомнил некоторые свои перипетии с украинскими молодцами, когда лет десять назад ездил в Киев, и совершенно искренне удивился, как оба государства так долго могут терпеть эти безобразия на своей границе. Кому, собственно, это выгодно?

Вечером, так как всю неделю не смотрел телевизор, вперился сначала в «Максимум», в надежде увидеть что-нибудь социально значительное, а потом в «Основные события за неделю». В «Максимуме» сегодня почти ничего занятного, кроме лихого интервью ведущего с одним из руководителей Пенсионного фонда. В результате его (пенсионщика) действий, которые вроде и не назовёшь воровством, где-то в провинциальных банках затерялся один миллиард рублей, и ничего… А вот «События» были полны самого разнообразного. Показали и Черкизовский рынок, который временно закрыли, но который наверняка откроют, посокрушались: каким образом там оказалось нерастаможенным китайского товара на два миллиарда рублей, как эти товары туда попали? С какой стороны России? Неужели через Северный полюс или через Чукотку? Вопроса, кому это выгодно, задавать смысла нет. На Северном Кавказе опять идут какие-то бои. Американский президент Обама едет в Россию. Всё это мы внимательно втроём просмотрели и прослушали. Но перед этим, перед «Событиями», случился маленький инцидент. Когда я ещё только включил телевизор в ожидании событийной передачи, то довольно быстро обнаружили, что идёт какой-то жуткий сериал, в котором сын живёт с матерью и ещё кого-то всё время колет какими-то шпильками. И я, и С. П. пришли в шок от такого, да ещё и при Серёже. Наперебой старались Серёжу отвлечь от экрана. Мне кажется, ничего подобного не должно идти по программам до двенадцати ночи, взрослым неудобно и за телевидение, и перед детьми.

6 июля, понедельник

Встал что-то в седьмом часу, дождался, когда через час встанут С. П. и Серёжа, и все мы под проливным дождём уехали в Москву. Маленький Серёжа, мой крестник, весь день сидел в бывшей Витиной комнате, спал, смотрел телевизор и читал «Преступление и наказание». К этому чтению он относится серьёзно. Я целый день до глубокого вечера сидел над предисловием к книге Киселёва. Президент Обама уже в Москве, уже передали, что возможны затруднения для автомобилистов в районе Кутузовского проспекта и Рублёвки.

Правда, в середине дня пришлось сходить в нотариальную контору: вернувшись из Турции, С. П. уже не повезёт Серёжу сам обратно в Крым, а по доверенности отправит с одной из родственниц.

7 июля, вторник

Утром всё же поехал, потому что душа болит, в институт. Как там приёмные экзамены? Оказалось, в институте идут ещё и экзамены по ЕГЭ. Как обычно в таких случаях, мы всего боимся, кафедры все запечатаны, даже машину на территорию не пропускают. Всё это вызвано предположением, что любой абитуриент может опротестовать результаты простым аргументом: мне, дескать, помешали. Тень в дверях, хлопок двери в машине за окном. Народ этот, а особенно мамаши, изобретательный.

В приёмной комиссии, кроме Л. М. и трепетной, как лань, Оксаны—её трепетность я ещё помню по выборам,—оказалась ещё «наблюдатель»—Ольга Ивановна Латышева. Несколько позднее мы с нею разговорились о самом разном: об экзаменах, об уходе с поста директора департамента образования в правительстве Москвы Кезиной. Именно Ольге Ивановне принадлежит афоризм, который я с удовольствием вставляю в свои тексты: «Хорошо умереть с чистой совестью». В два часа всё закончилось, немножко посидел на кафедре—и домой. Здесь сразу же вгрызся не в телевидение, а в книгу, в новый зарубежный роман, который мне оставил С. П. От него пришла эсэмэска: долетели благополучно, но жарко и влажно. Опять заезжал на Донское кладбище к В. С. и маме. Они обе мне постоянно снятся. И теперь любое своё нездоровье я сразу соединяю: ждут. Практически уже примирился с естественностью мысли о смерти. Наверное, Бог и даёт иногда довольно продолжительную жизнь для того, чтобы ты мог свободно примириться с её окончанием. Но слишком легко я прожил эти годы; какова будет смерть, смертный час? Вот она, расплата за жизнь без детей.

8 июля, среда

Оторваться от романа Финдлянда «А если копать поглубже» просто не могу. Во-первых, про театр, во-вторых, новая для меня, как для теоретика и практика, романная форма, а в-третьих, сама незамысловатость содержания: небольшая семья вместе с гостями и домработницей охвачена незамысловатым, но захватывающим действием. Если бы только прочесть теперь это на английском языке! Меня всегда волнует тайна перевода: что видим мы, не читатели подлинного языка, а что в романе воспринимает подлинный читатель. Слова корявые, но мысль, кажется, понятна. Но вот удивительное свойство этого увлекательного и крепкого романа: в отличие от романа русского, ничего не хочется выписывать.

Часиков в одиннадцать—всё время отсрочиваю момент, когда надо садиться за компьютер и компоновать темы этюдов к экзамену,—взялся за очередной разбор стола В. С. Не нашёл ордена Ленина, который у меня хранился. Это память от дяди Феди; возможно, он пропал после моих многочисленных за последнее время гостей или пропал вместе с ними, но странно: никогда у меня ничего не пропадало. Правда, наткнулся на рукопись книги В. С. Рукопись эта отвергнута, забракована редакцией. Прочёл рецензию, смысл которой тонет в наукообразности. На конверте, в котором рукопись пришла, стоит адрес улицы Строителей. А я об этом не знал: В. С. умела переживать внутри себя свои поражения и никого не вмешивала в свои трудности. Там же, в ящиках, нашёл кое-какие вещи, оставшиеся от мамы и даже тёти Вали. Кому это после моей смерти будет нужно? Поразил меня флакон духов «Лориган Коти», которому уже более ста лет, он, по преданию, куплен до революции: на дне несколько капель густой тёмно-коричневой жидкости. Но пахнет всё той же сладковатой дореволюционной женственностью. Это, пожалуй, единственная живая для меня память прошлого.

Семинар прозы

1. Тема одного из Всемирных русских соборов—«Бедность и богатство». Что бы Вы сказали, если бы Вам предоставили слово на Соборе?
2. Гений ли Майкл Джексон?
3. День из жизни телефонной будки.
4. Пришвин: в лесу я стараюсь ходить тихо.
5. Интернет: океан жизни, её сточная канава или Паутина?
6. Кризис. Чтобы выжить, Вы вынуждены согласиться на странную работу…
7. Пожар Москвы 1812 года в воспоминаниях очевидца.
8. В смуте честь сохранить.

Семинар публицистики

1. «Вот стихи, а всё понятно—всё на русском языке»,—так завершил свою поэму «Василий Тёркин» А. Твардовский. Зачем он подчеркнул значение русского языка во время ВОВ?
2. Свободная тема: от чего ты свободен?
3. Памятник гламуру.
4. Читаете ли Вы газеты, как внимательно смотрите телевизор? Медвежья охота.
5. Гоголь и Пушкин: пророчества о России.
6. Может ли страсть к футболу стать национальной идеей?
7. Русский язык как восьмое чудо света.

Семинар поэзии

1. В ироническом стихотворении Александра Ерёменко «Старая дева», написанном в 80 г. XX века, сказано:

   Когда одиноко и прямо
   Она на кушетке сидит
   И, словно в помойную яму,
   В цветной телевизор глядит.

   Насколько справедливо это по отношению к телевизору и телевидению сегодня?
2. Бывают ли стихи, основанные лишь на «голом чувстве»?
3. «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»
4. Компьютер подчеркнул твою строку… Он что—умнее тебя?
5. Что значит—«жизнь не по лжи»?
6. Отказ от Нобелевской премии.
7. «Тихая моя родина» (Рубцов). А моя?..

Семинар драматургии

1. «Пушкин—наш товарищ!»—написал Андрей Платонов. А для Вас сегодня он тоже товарищ? Здесь есть повод вспомнить и его драматургию.
2. Почему Гарри Поттер, а не Тимур и его команда, заинтересовал современное общество?
3. Почему все отрицательные герои русской классики стали положительными героями нашего времени? (Городничий, Чичиков, Головлёв, Остап Бендер, Воланд)
4. Почему не утихает «Гроза» Островского и канули в Лету многие советские пьесы?
5. Что бы Вы могли сказать о языке, которым написаны современные пьесы в театре и на «голубом экране»?
6. Я вышел из театра…

Семинар критики

1. Требовалось ли *продолжение* «Герою нашего времени»?
2. Сартр: конечно, надо быть святым, но тогда не напишешь роман.
3. Отрицательная рецензия на одно из произведений русской классики.
4. В чём *оригинальность* нашей «молодой прозы»? (имена на выбор)
5. Место *разума* в художественном творчестве.

Семинар детской литературы

1. Толстой упоминает, что Анна Каренина написала перед смертью роман для детей. Реконструируйте фрагмент романа.
2. Первый бабушкин урок.
3. Не рассказывай мне сказки…
4. Последняя любовь моей прабабушки.
5. «Горе от ума» как мультфильм.
6. Я родился в миллениум. Мой календарь памятных дат.

Попутно с этой работой немного рассуждал о том, кто и как из преподавателей к этой — придумать тему — обязанности отнёсся. Например, что лучше и серьёзнее всех отнеслась к этому заданию Л. Г. Баранова-Гонченко, а самыми неинтересными темами были темы по детской литературе. Очень любопытно всё придумал Саша Сегень, но это настолько в его духе, что я ни одной темы его не поставил на дневном отделении, но обязательно поставлю эти темы, когда буду формировать список к экзамену заочников. Хорошо и точно сработал Анат. Королёв.

9 июля, четверг

Сначала позвонил мой племянник Валера, а потом и двоюродный племянник Сергей, сын моего двоюродного брата по маме Анатолия. С Анатолием я знаюсь и дружу ещё с того времени, когда, только окончив 10 классов, он приехал в Москву, а потом уже вместе мы поехали с ним в Таганрог. В Таганроге тогда жила моя любимая тётка — тётя Тося. Собственно, вся жизнь Анатолия прошла на моих глазах, он хорошо знал Валю и даже когда-то за ней ухаживал. Звонки были тревожные: у Анатолия рак, и положение почти безнадёжное. Если его возьмут оперировать, то это будет операция с заменой шейного позвонка, опухоль огромная — 10 или 9 см. Теперь я знаю, что всё время буду думать о нём.

Как всегда, единственное спасение от всех дум и переживаний — это работа. Сел за компьютер и наконец-то на основании своего старого мемуара «В родном эфире», который печатал ещё покойный Шугаев, написал и скомпоновал большой материал о «Кругозоре». Опять вспомнил всех: и Визбора, и Храмова, и Игоря Саркисяна, и Велтистова, и Хессина. Эти люди совсем не мимо прошли меня, и, наверное, каждый из них много мне дал. Но завистливая натура писателя не так-то просто всех их в своё время воспринимала. Сейчас уже поздно говорить о любви и признательности. Всех их с каждым годом вспоминаю всё отчётливее и с каждым годом строже отношусь к себе.

По телевизору показали фрагменты похорон Василия Аксёнова. Как обычно, к вполне понятному горю у многих фигурантов грустного события примешивалась поза, связанная с собственной самоидентификацией в этой литературной жизни. А мы ещё живы. Я достаточно подробно помню Василия Павловича, уж одно бесспорно — человек был очень умный, преданный профессии, много о ней размышлявший. Я помню его большое эссе о романе в «Октябре», но последние его романы я уже не читал.

Сегодня же показали и старую передачу из цикла «Линия жизни». Наверное, её подготовили к его 75-летию. Здесь, как и у всех писателей его времени и среды, некоторое преувеличенное представление о своей роли в литературе, где для писателя важен каждый роман, но каждый-то роман и не прочитан. Все преувеличивают и свою роль как мишени для КГБ и советской власти, будто бы в обязательном случае подвергавшей строгому гонению. Как всегда в таких передачах, крутятся и спутники планет. Это беда подобных спутников: масса их мала, чтобы оторваться от планеты и уйти в самостоятельную жизнь, но они всё ещё крутятся, изображая из себя вполне равноценные звёздные тела. Как всегда, Витя Ерофеев рассказывал о «Метрополе». «Метрополь» — это звёздный час двух наших крупных писателей, Евгения Попова и Вити Ерофеева. Тут они оба обрели некую самостоятельность.

Поздно вечером после дня сидения всё же заставил себя пойти часик погулять. Иногда через убийственный дневной воздух вдруг дохнёт чем-то внезапно налетевшим, свежим. Это какая-то сельская воздушная струя прорывается через городской смог. Договорился, что утром, часам к десяти, приедут Володя и Маша и составят мне компанию.

10 июля, пятница

В Москве ливень; спал, как всегда, когда мне надо подниматься к определённому часу, плохо, просыпался, и во сне опять приходили разные близкие люди. К счастью, сны быстро забываются, они как неясные сигналы на видео — непрочны и размыты. Помню, однако, странный сон, когда буквально почувствовал, что Валя руками касается моей головы. Проснулся, зажёг свет — никого.

К моему удивлению, Маша и Володя приехали вовремя, и мы почти сразу поехали на дачу. С собой я взял неполную трёхлитровую банку борща. Взял и почти полную кастрюлю плова с курицей, который сварил накануне. Потом я обнаружил, что всё это взял не зря: оказывается, на даче можно не устраивать большую готовку.

Дача, как всегда, встретила нас прохладой и большим количеством неотложных дел. Я поливал помидоры, Машка, как хороший трактор, сразу пустилась всё пропалывать и рыхлить землю. Потом мы втроём очень быстро освободили грядку «дикого» чеснока, натаскали земли из «сокровищницы» — так я называю ящик с перегноем — и посадили китайскую редьку «дайкон», которую и надо сажать именно в начале июля. Видимо, для редьки очень важна продолжительность дня: я помню, что когда в прошлом году я посадил в теплицу очень рано простую редьку, то к июлю у меня выросла замечательная, густая и сочная, ботва.

К вечеру я чувствовал себя очень слабым, постоянно было плохо дышать, будто за грудиной собрался какой-то тяжёлый комок. Для меня всегда это мучительный вопрос: или очередная простуда и очередной бронхит, или то нечто, что я боюсь называть и о чём меня предупреждал доктор Чучалин. Поэтому лёг очень рано и сразу же заснул. Володя и Маша остались бодрствовать в большой комнате, я их практически и не слышал. Так всё же: простуда у меня или переутомился? За последнее время сидел за компом по девять-двенадцать часов. Ещё перед сном начал читать книгу А. Г. Купцова «Миф о гонении церкви в СССР». Сам Купцов — я пользуюсь только напечатанными в книге сведениями — «в прошлом казначей-соучредитель первой в СССР зарегистрированной независимой религиозной организации «Общество Православной

Церкви»,—уже из этой ремарочки ясно, что это какой-то не очень довольный человек, со своим мнением, со своим взыскующим умом. Такие люди не по мне, это что-то вроде наших средних писателей-демократов, строящих свою судьбу на недовольстве былым. Содержание книги—я взял её у Василия Николаевича Гыдова в Книжной лавке, заинтересовавшись названием, просто просмотреть—но оно зацепило, потому что знаменитое письмо Ленина по поводу священников стало сейчас чуть ли не основным аргументом против него,—итак, содержание книги, по крайней мере, её аннотация этот интерес подогрела. Вот эта аннотация полностью, такое в наше время не часто услышишь.

«После смерти в 1721 году последнего патриарха всея Руси Адриана Пётр I навсегда ликвидировал институт патриаршества. Этот запрет утвердили и последняя оккупационная династия Готторп (Романовы), и Временное правительство.

В 1918 году, когда Германия и Украина пошли войной на Русь, правительство Республики переехало из Петрограда в Москву, в Кремль. Владимир Ильич Ленин, в юности активный член и певчий «Православного общества в Самаре», внял нуждам русского православного народа и предоставил Кремль и московские храмы для проведения и завершения Поместного собора Русской Кафолической Церкви Православного исповедания. По благодатному завершению оного В. И. Ленин одобрил избранного новооглашенного патриарха всея Руси и благословил его Святейшество Тихона (Белявина) на духовное царствование над людом православным. Советская власть осуществила 300-летнюю мечту русского православного народа».

Приходится соглашаться, что и здесь для меня, интересующегося, масса любопытных подробностей возникла в чтении и в дальнейшем.

«В 1881 году в Петропавловскую тюрьму посадили члена одного из отделений партии «Народная воля», астронома и математика Николая Морозова. Там он начал изучать известный во всём мире историков древней (античной) астрономии трактат—«Кодекс Птолемея» (звёздный каталог). И вдруг с величайшим изумлением Морозов увидел (по тексту и координатам, описывающим «древнее небо»), что расположение звёзд якобы античного мира до мелочей соответствует *карте звёздного мира XVI века!*»

Выводы делаются позже.

«Самое немыслимое заключается в том, что не было античного периода!!!

Не было Ганнибала, Александра Македонского, античных скульпторов, драматургов, философов.

Но вот уж самое жуткое заключается в том, что не было Авраама, Моисея, Давида, Христа, Магомета».

Эту теорию мы уже слышали. Правы ли эти учёные или нет, сконструированы ли мы каким-то внеземным монстром или нет, я этого допустить не могу, как не могу допустить *несуществование* Античности и Бога. Пусть этого нет, но моя душа к этому привыкла. Пусть всё будет, пусть, если я даже воспитал Бога в себе. И даже без Магомета я теперь уже прожить не могу.

Любопытен фрагмент, связанный с национальностью нашей веры. Написано это, правда, всё в несколько свободном духе.

«Предыстория линии спасения такова: Ной и его потомки уже согрешили тем, что (в числе прочего) ввели институт рабства и пьянку в бытовой обиход—Бог дал им в обуздание и во спасение Канон Ноя и болезни за грехи. Но люди продолжали скурвляться повсеместно, и только в редких местах планеты остались праведники, и столь же редко встречались священнослужители Бога Единого.

Настал период, когда праведным перед Богом остался только один палестинский чурка. Патриарх кочевого племени. Им оказался мужик по имени Абрам. Учтите, русские, вас ещё вообще не было! И главное, какой национальности был Абрам, неизвестно, хотя бы потому, что всех определяли по месту жительства и по имени основателя рода. Ну и, естественно, по принадлежности к царям того периода».

Я позволю себе привести ещё одну большую цитату, потому что, мне кажется, это и интересно, и отчасти выстрадано мною. Значит, спасение возможно?

«Но есть один величайший и важнейший в истории человечества факт: жить и спасаться можно и нужно по фундаментальным правилам, которые были сформулированы ещё живыми Апостолами.

Так, ещё в 49 и 51 годах Апостолами Бога и Господа был созван Иерусалимский и Апостольский собор, где и был выработан Апостольский Канон (85 правил). Этот Канон практически никто и никогда не соблюдал в рамках официальных конфессий. Русско-православные скорее будут изучать «Майн кампф». А кстати, спросите о ней в ближайшей церкви.

Самое трагичное заключается в том, что нарушитель Канона внутренне теряет благодать, а внешне предаётся анафеме. Например, предаётся анафеме епископ, который участвует в делах мирского управления, то есть практически любой русско-православный епископ последних двухсот лет, и особенно в период после реставрации капитализма».

---

11 июля, суббота

Ночью спал беспокойно и проснулся усталым, с комком за грудиной и мрачными мыслями о здоровье. Погода, начавшаяся меняться ещё вчера, резко просветлела. Солнце уже запалило в восемь часов утра, но на душе была тоска, и тело было такое тяжёлое, полное такой невероятной усталости, что ни о чём думать не хотелось. Ночью много раз просыпался и по несколько минут

продолжал читать, потом снова засыпал, потом вроде бы проснулся и хотел было встать, но снова повалился в сон, похожий на какой-то морок. Так читал часа полтора и много обнаружил интересного по деталям. Начну с самого для меня важного. Оказывается, не только я заботился и недоумевал, как же Бог поступит с теми, кто жил раньше прихода его Сына и не успел креститься. И в древние времена об этом позаботились.

«Теперь очень важное: знаете ли вы, что всем «необрезанным», то есть тем, кто «не евреи», которые приняли Эммануила Йешуа как Мессию, по решению Апостолов следовало соблюдать Канон Ноя? Апостольский Канон, кстати, на Трульском соборе в 640 году был объявлен «вовек неизменным».

Собственно, здесь пока заканчивается для меня главное в этой книге; дальше занятные детали — в основном, что человек весь состоит из слабостей.

«Читатель, если ваше представление о белых сложилось под влиянием достаточно доброжелательных киношек, то вы — жертва обмана. Это были презираемые и отторгаемые во всём мире садисты и убийцы, и им под стать была их одухотворявшая Зарубежная Церковь. В числе прочего Русская Зарубежная Церковь с 1933 до 1944 года в лице своих епископов и в виде соборных посланий благословляла Адольфа Алоизовича Гитлера! После войны её хотели было объявить соучастницей преступлений нацистской Германии, но этому помешала вспыхнувшая «холодная война», и антисоветская позиция карловарской братии всех устроила».

Конечно, всё это не разрушит с таким трудом образовавшееся во мне некое религиозное чувство. В нём церковь, хотя и отдалённая от меня, всё же играет определённую, примиряющую меня с миром роль. Всё рассказанное в книге принято со вниманием, как ещё один пример моей доверчивости к печатному и публично произнесённому слову. Как пример собственного невнятного исторического знания.

День прошёл замечательно; меня радует, если идёт моя основная работа и если что-то полезное происходит на даче. Как только необыкновенно рано, часов около двенадцати, все поднялись, то начали делать что-то полезное. Нам с Володей удалось даже съездить в Обнинск. Там мы купили кое-что — детали к теплице и сайдинг. Надо доделать мелочи по внешнему виду дома. Но самое главное — я продолжал наводить порядок в верхней комнате, где многие годы жила В. С. На этот раз я распаковал коробки и расставил фигурки и гжельскую керамику, которую Валя так любила, разложил все книги почти так, как они стояли в Москве, по полкам. Уже это действие вызвало у меня массу мыслей. Так уж сложилось, что я мало умею выдумывать, а здесь, когда я решил написать чуть ли не житие, фантазия моя молчит, меня волнуют корешки книг, журналы, которые она читала, книги, которые собирала. Возможно, и вся книга будет состоять из описаний предметов.

Сейчас я сижу за её письменным столом, снова, как в молодости, после того как обрезали яблони, передо мной дальние на взгорке сосны, крыши домов и чуть розоватое небо. Володя топит баню и затарился пивом.

12 июля, воскресенье

Вчерашний вечер с воблой, пивом и долгими рассказами оборвался весьма внезапно: вырубили электричество. Я несколько минут выбирался из тёмной парной. Зловеще играли отблески из печи, всё напоминало баню в деревне во время войны. На ощупь выбрался из подвала, нашёл свечи. Володя с Машкой просто так не угомонятся. Смотрел в окно, там чернеет почти деревенский мир, как сейчас и положено современной урбанизированной деревне: без мычания коров, криков петухов, квохтанья кур и блеянья овец. Даже собаки не лают. Володю с Машей темнота не остановила — снизу продолжали раздаваться весёлые плескания. Я выпил снотворное и довольно долго сидел на террасе, в спортзале, наблюдая, как из-за деревьев, между тёмными проблесками туч, продиралась молодая луна. Потом лёг спать и утром проснулся бодрым и свежим. Солнце сверкало первозданным свечением, на небе ни облачка. Может быть, ещё удастся, дай Бог, немножко пожить. Как я люблю этот тихий, почти советский быт, с походами за молоком к машине, которая приезжает к двенадцати, со сбором ничтожного дачного урожая, с постоянными починками и приведением комнат и участка в порядок.

В коридоре, на полке у входа, лежит рыболовецкий стеклянный от сети поплавок. Я привёз его, когда ещё молодым ездил на Камчатку в командировку. В то время для сегодняшних шестидесятников Камчатка значилась таким же обязательным пунктом назначения, как сегодня Иерусалим или Ленинград. Что-то будто возникало скруглённое в судьбе от поездки в эти края. Тогда же я привёз ещё и огромный, зашитый в материю китовый ус. И тогда же, почти сразу после этой поездки — или после поездки во Вьетнам, — мы с Валей поссорились. Вот с этого поплавка — он весь в прилепившихся к нему раковинах мелких моллюсков — я и начну повесть о ней.

В смысле здоровья, кажется, немножко отлегло, сейчас я могу уже почти утверждать: не «это», а бронхит. Возможно, повлияла и возникшая жара. К середине дня уже было что-то около 32-х. С. П. пишет из Турции, что у них «похолодало» — 35, это значит, с его слов, можно дышать. Я завидую этой поездке, это всё же, как я и думал, Копадокия. С. П. и Серёжа уже ездили на римские развалины, на останки античного театра. Это притом, что А. Г. Купцов, автор книги о церкви, уверяет, что античного периода совсем не было, его некие небесные силы смоделировали и сконструировали.

Ничего ни читать, ни писать в это прекрасное утро не хотелось. Опять плодотворно провели время с очень хозяйственной Машей, которая, как только приезжаем, сразу садится на корточки

возле грядок и не сходит с места, пока они не принимают образцовый, выставочный характер. Среди прочих своих подвигов, как сбор урожая красной смородины, мы с Машей ещё и посадили дайкон, китайскую редьку. Так веселились, всё время чего-то приводили в порядок — это и называется жизнью, — пока в три часа не уехали в Москву. Как и в субботу, когда мы ездили в Обнинск за сайдингом, машину вёл Володя. Сажая его за руль, я решил: теперь вместо Вити буду приспосабливать Рыжкова к машине. И мне удобно, и Володя поменьше будет попивать.

Дома, в тишине и прохладе, под звуки Масканьи — передавали «Сельскую честь» в постановке Дзеффирелли — чистил красную смородину, освобождал её от черешков. На экране развёртывалось необыкновенное зрелище с массой этнографически точных сцен из сицилийской жизни. Пели Доминго и молодая Образцова. Удовольствие получил необыкновенное. На первом канале в это время бушевал «Золотой граммофон» с хорошо известными солистами. Потом также плавно перешёл в современную сказку на втором канале — «Самая красивая».

13 июля, понедельник

Предполагал, что день будет долгий и тяжёлый. С утра должен был встретиться с Верой Соколовской, с которой давным-давно работал на радио. Потом надо было передать ректору темы для экзамена по творческому этюду. Затем — в «Дрофу», вручить Наталье Евгеньевне предисловие к книге А. Ф. Киселёва. В институте Тарасова не оказалось — его сегодня, как мне сказали, не будет, а потом по телефону я выяснил, что и Наталья Евгеньевна догуливает последние дни своего отпуска, будет только в среду. Зато с Верой, она живёт неподалёку от меня, поговорили всласть. Я должен был принести ей воспоминания о «Кругозоре». Она из моих страниц «В родном эфире» сделала выпечатку, я лишь её дополнял. Радио — это не только наша молодость и счастливая работа, но и работа, где ты всё время чувствовал себя необходимым и востребованным страной. Перемололи кучу имён. На столе у Веры лежала книга: на обложке знакомое имя — Николай Месяцев. «Горизонты и лабиринты моей жизни». Я предполагал, что этот человек совсем канул. Оказалось, даже написал мемуары. Александра Денисовна Беда, моя старая знакомая, недавно дала их Вере. Как я обрадовался — жива, жива! Обязательно ей позвоню. Вера, добрая душа, — видимо, это не её чтение, — отдала мне книгу.

Всю ночь, как раскрыл, так и не выпустил из рук, читал мемуары Месяцева, бывшего председателя Гостелерадио. Я его смутно помню: невысокого роста и ушастенький, из комсомола. Оказалось, ещё и из СМЕРШа, из КГБ. Интересные и живые картинки, связанные с Берией и временем. Если о радио — большое количество знакомых имён. Но это пока жадный предварительный просмотр. Чуть позже буду читать и, наверное, сделаю выписки. Издали эти мемуары в «Вагриусе». Месяцев оказался крепким и совестливым человеком — без брани, не предавая своих и не очерняя чужих, написал хорошую книгу. Может быть, мне сделать обзор для «Литгазеты» книг, которые я читаю?

Во время ночного чтения у меня опять возникла мысль, которая давно уже меня не оставляет, — написать ещё и мемуары: это совершенно другой взгляд на жизнь, нежели «Дневники». Завтра я с Юрой Силиным, сыном Анатолия, еду в Красногорск, в госпиталь к больному.

14 июля, вторник

Утром по банкам разливал протёртую с сахаром смородину, потом занимался дневником. Я успел смородину намолоть вчера, а сегодня подогревал и разливал. Рецепт дала мне Людмила Михайловна: довести смесь до высокой температуры, а потом, когда банки остынут, хотя бы с неделю подержать всё в холодильнике. Посмотрим.

С Юрой я договорился: утром он занимается всеми техническими делами — оплатой за госпиталь и операцию, поиском необходимого протеза шейного позвонка, а потом заедет за мною. Врачи предполагают, что опухоль, разрушившая позвонки, — лишь метастаза. При всех прочих обстоятельствах надо вставлять танталовые протезы, без них «голова может просто отвалиться».

В Красногорске, подмосковном городе, о котором много слышал, я никогда не был. Ехали сначала по Ленинскому, потом по Окружной. Через Т. В. Доронину я знаком с начальником этого госпиталя. Комплекс огромный, с садом. Внутри всё чисто, выкрашено, в нейрохирургии ковровые дорожки в коридорах, хорошие палаты. Я принёс Анатолию, он всегда интересовался тем, что я пишу и издаю, свою последнюю книжку. Дай Бог, если он выздоровеет, чтобы он её прочёл.

15 июля, среда

Утром поехал в «Дрофу». Встретил Наталью Евгеньевну, она рассказывала, как два дня собирала землянику. В редакции всё та же диспозиция: не поднимая от рукописей голов и никак не реагируя на визитёра, три пожилые женщины читают чужие рукописи. Такой картины я уже не видел давно. А вот уйдут эти тёти — какая пустыня останется? На обратном пути ехал мимо Дома правительства. Долго стоял в пробке: правительство ездит и ездит, а милиционеры всё держат и держат. Я тоже высоко ценю своё время.

Похлебав дома щей, полетел в «Литературную газету». Там отмечалось 60-летие Неверова. Меня на этот праздник жизни позвал Лёня Колпаков — юбиляру будет приятно. Всё было мило, чужих не было, а только литгазетовцы. Но, правда, как и я, *автор*, был Лёва Аннинский. Мне показалось, что Неверов попытался объясниться, почему не он меня позвал, а Колпаков. Конечно, не совсем мы с Неверовым совпадаем по взглядам, но, в принципе, он мне близок и своей безусловной порядочностью, и образованностью. Что некоторые писатели, с другим замесом, ему милее — это простительно. Я кажется, за столом говорил о ничтожности современной литературы и о том, что Неверов часто умудряется придумывать и её, и сам литературный

процесс. Познакомился со Львом Пироговым, это один из редчайших критиков со своей позицией.

Дома был в семь часов, но есть смысл продолжить тему «Литературной газеты». Читал её, когда в метро ехал в редакцию. Два материала требуют некоторого внимания: колонка Кирилла Анкудинова и большая статья Дмитрия Калюжного. Анкудинов—о Бродском, вернее, его последователях. Мне нравится, что Анкудинов, в отличие от патриотически настроенных авторов, не уверяет в полной ничтожности Бродского, хотя и допускает, «что поэт Юрий Кузнецов гораздо выше поэта Бродского». Колонка пишется в виде неких писем тибетскому другу.

В сегодняшней колонке мне важны два момента, скорее мне неизвестных, но ранее ощущаемых. Первое.

«Замечу, пора перестать лицемерить и обманывать себя: Бродского арестовали, судили и сослали отнюдь не за то, что он не работал и считался тунеядцем. Даю тебе совет: спустишься на равнину и зайдёшь в Интернет—набери в любой поисковой системе две фамилии—«Бродский» и «Шахматов»; получишь исчерпывающую информацию о «деле Бродского» и о его *настоящих* истоках. Ведь будущий нобелевский лауреат чуть самолёт за границу не угнал…»

Теперь собственно то, что я всегда чувствовал.

«Повторение, клонирование Бродского мертвит стихи. Иное дело—когда Бродский прочитан, освоен, присутствует в тексте—но в неочевидном, неуловимом, дисперсном состоянии. Вот пример: Лев Лосев долгое время был близким другом Бродского, исследователем его творчества; он создал жизнеописание Бродского. Но ведь стихотворения Льва Лосева совсем не похожи на Бродского. Хотя Бродский в них есть: он как бы растворён там. Точно так же, как в поэзии Олеси Николаевой и Ольги Родионовой, Полины Барсковой и Алексея Пурина, Максима Амелина и Игоря Караулова, в песнях барда Михаила Щербакова и рокера Сергея Калугина или—если говорить о малоизвестных авторах—в строках майкопчанина Александра Адельфинского».

Статья Калюжного—это уже история. Здесь расследование двух нескольких эпизодов, которые всё время будоражат русскую мысль. Первый—цареубийство и призыв к всенародному по этому поводу покаянию, а второй—катынское дело и польский вопрос. Что касается Катыни, то, по мнению автора статьи, этот вопрос был расследован и закрыт на Нюрнбергском трибунале. Приведя целый ряд убедительных доказательств, в том числе и таких, что поляки были нужной на строительстве дороги рабочей силой, автор пишет: «В общем, советской власти убивать их в 1940 году было просто ни к чему. А вот расстрелявшим их гитлеровцам в 1943-м объявить, что это сделали Советы, было очень даже «к чему». После своего поражения под Сталинградом им было позарез нужно испортить отношения Сталина с союзниками, предотвратить открытие второго фронта в Европе—вот и запустили фальшивку. Когда Горбачёв возжаждал любви Запада, он вытащил фальшивку из чулана, стряхнул с неё пыль и предъявил миру. И началось. Только ленивый не пнул нашу страну за убийство невинных поляков».

Дальше в статье шёл довольно подробный экскурс, как поляки выселяли с территорий, отошедших к ним не без помощи СССР после войны, немцев, но это другая тема—недоброжелательства друг к другу славян. Но первая половина статьи посвящена, как я уже сказал, цареубийству, самому Николаю Второму и покаянию. Любопытнейший экскурс я пропускаю—это самое интересное, но вот вывод. Кстати, знакомство с этой статьёй и этой аргументацией может хорошо подойти к моему роману, лечь в последнюю главу. Для меня здесь ещё и ответ на мучающий меня вопрос: моё двойственное отношение к царю, к власти. Здесь, чтобы понять, что она такое, достаточно почитать пушкинского «Дубровского» и отношение к царю как к страдающему человеку.

«Русская православная церковь дала оценку той трагедии, канонизировав царя-мученика, и это—справедливо и правильно. Поле деятельности Церкви—вне мира сего. Деяния царя—дело светское, смерть царя—дело церковное.

Призывы к народу каяться, звучащие время от времени со стороны так называемого дома Романовых,—просто политическая игра, не имеющая отношения к реальной истории и подлинной жизни страны. Зачем каяться? Кому? По какому канону? Что от этого произойдёт?.. Ответа нет и быть не может. А кабы был, то уместно было бы самим потомкам бывшей царской династии повиниться перед народом за преступления, совершённые их предками. Коих немало».

---

16 июля, четверг

Утром пытался заехать в Дом литераторов за книжками на конкурс «Пенне», но в десять тридцать «под лампой» темно, в летнее время никто не хочет приходить пораньше на работу. Вся предыдущая порция книг—это писатели, вернее, те из них, кто традиционно охотится за премиями, и совершенно открытые графоманы, невероятно много о себе думающие. Графоманов хватит и сегодня у нас в институте.

Сегодня день «апелляций» к оценкам на присланные абитуриентами тексты. Раньше это было квалификационным отбором, теперь, при нашем умном министерстве, превратилось в экзамен. Но откуда мы знаем, что ставим оценки за работу, сделанную именно самим абитуриентом, а не его мамой, папой, нанятым литератором? Сидели в 23-й аудитории вместе с Алексеем Антоновым и Олесей Николаевой. Косяком шли графоманы от поэзии, в основном девочки, у которых главным

двигателем их молодого творчества стали железы внутренней секреции. Олеся Александровна наотмашь с ними расправилась в рукописях, поставив по 10 баллов, а проходной — 40. Теперь зализываем эту обиду, рассказываем, что такое поэзия. К сожалению, сразу не сообразили, что надо объявлять результаты в самом конце процедуры. После того, как один или два раза и в поэзии, и в прозе мы, скорее из чувства сострадания и жалости, изменили оценку, видимо, разнёсся слух о либерализме комиссии, и сразу же появилось ещё несколько человек, пожелавших воспользоваться добротой.

В два часа дня вместе с сыном Серёжей заехал в институт С. П. Они уже побывали и в Крыму, и в Турции, — неужели мне весь отпуск киснуть в Москве? Сначала мы долго решали, просто экскурсионный тур или, как и в прошлый год, экскурсии и отдых. Решили, что вместе — так дешевле, отдельный номер дорого, а жить с кем-нибудь чужим некомфортно, — поедем в Италию: Неаполь, Рим, Флоренция, Венеция. Для меня, так любящего античный и исторический мир, это очень важно. Тут же у наших знакомых туроператоров, снимающих помещение во флигеле Литинститута, нашлись и не очень дорогие путёвки — 32 тысячи. Мне только быстро придётся сбегать на Бронную сфотографироваться, а анкеты заполнять и привозить документы будет С. П.

Ещё утром, когда абитуриент ещё просыпался, немножко поболтали с Анатолием Королёвым о литературных разностях. В том числе и о похоронах Аксёнова. Для прессы, которой, как обычно, в летний период писать особенно не о чем, эта смерть — как манна небесная. Анатолий сказал, что народу было не так уж много, как представило это нам телевидение. Особенно отмечена шляпа Беллы Ахмадулиной и страсть писателей на похоронах говорить о себе в связи с покойным. Аксёнов лежал в гробу, практически умерев полтора года назад: полтора года машины работали и гнали кровь к уже умершему сознанию. Я интересовался, не был ли здесь применён какой-то медицинский приём, но, к моему облегчению, всё это оказалось естественным процессом. Умер, уже нет очень интересного писателя, но ряд его образов ещё до самой теперь уже моей смерти будет жить теперь в моём сознании. Я люблю две его вещи: «Апельсины из Марокко» и последнюю «новомирскую» — «В поисках жанра».

Говорили с Анатолием и о том, что сейчас все выступающие публично писатели обязательно говорят о своих страданиях и о борьбе с ними советской власти. А уж что говорить об Аксёнове: он властью был если не обласкан, то она относилась к нему в высшей степени терпимо, сейчас бы сказали — либерально. У меня тоже отец сидел, и если бы был чином повыше и взяли его пораньше, а не в войну, то и меня бы куда-нибудь далеко послали, и дед сидел, — недогляд властей. Чуть время изменилось, надо было воевать, некогда было сажать всех. Даже последняя «новомирская» его публикация — это литературное начальство сдалось: а то, как обещал, уедет! Так всё равно уехал, и вовремя — приехал.

Владимир Луговской

Спасибо — кто дарит

Спасибо

Спасибо — кто дарит.
        Спасибо тому,
Кто в сети большого улова
Поймает сквозь качку
        и пенную тьму
Зубчатую рыбину слова.
Спасибо — кто дарит.
        Подарок прост,
Но вдруг при глухом разговоре,
Как полночь, ударит,
        рванёт, как норд-ост,
Огромным дыханием моря.

И ты уже пьян,
        тебе невтерпёж,
Ты уже полон отравы,
И в спину ползёт,
        как матросский нож,
Суровая жажда славы.

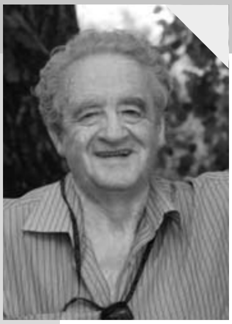
Радость

За тебя, за всё я благодарен.
По бульвару вьются морячки.
Море входит синими рядами
В неподвижные мои зрачки.

Громыхая, катятся платформы,
По-осеннему прозрачна высь.
Чайки в чистой, белоснежной форме
Лёгким строем мимо пронеслись.

Дай мне руку.
        Может быть, впервые
Я узнал такую простоту.
Пролетают блики огневые,
Превращаясь в песни на лету.

Вижу сад и тень от пешехода,
Пляску листьев, медленный баркас.
Мчится с моря шумная свобода,
Обнимает и целует нас.



Александр Лейфер

«Мы вернёмся назад!..»

К 80-летию поэта Вильяма Озолина

Приближается День города. Как всегда, одно из праздничных мероприятий пройдёт на бульваре Леонида Мартынова, где на Аллее литераторов будет установлен очередной Памятный камень.

Вначале о самой Аллее. Вот, что пишет о ней «Энциклопедия Омской области»:

«Мемориальный комплекс омским литераторам. Расположен в Омске на бульваре Леонида Мартынова. Основан по инициативе общественной организации «Общество коренных омичей» (ОКО) в 2001 установкой Памятного камня поэту Л. Н. Мартынову. В последующие годы на Аллее литераторов были установлены Памятные (закладные) камни поэтам и прозаикам, чьи биографии связаны с Омском: Г. А. Вяткину, П. Н. Васильеву, А. С. Сорокину, Т. М. Белозёрову, И. Ф. Анненскому, Р. И. Рождественскому, Б. Г. Пантелеймонову, П. Л. Драверту, поэтам-сибирякам, погибшим в Великой Отечественной войне». Добавлю, что в прошлом году к этому списку прибавился поэт А. П. Кутилов.

В этом году, в августе, исполняется 80 лет со дня рождения поэта Вильяма Яновича Озолина (1931–1997), и на Аллее литераторов будет установлен Памятный (закладной) камень, посвящённый ему.

Большинству сегодняшних молодых читателей это имя мало знакомо. Но тех, кто постарше, особенно тех, кто знал В. Озолина лично, известие о предстоящей установке Камня, уверен, взволнует.

Здесь, в Омске, он впервые напечатал свои стихи. Тогда, в начале 50-х годов, за ним ещё тянулся шлейф сына «врага народа», и первые публикации можно было осуществить только под фамилией матери — Гонт. (Его отец, тоже омский литератор — поэт и журналист Ян Михайлович Озолин (1911–1938), был расстрелян в период репрессий.)

А писать молодому поэту было о чём. Закончив школу, он ходил матросом на пароходе от Омска до Обской губы, работал на Ямале журналистом, участвовал в топографической экспедиции в Горной Шории, ловил рыбу на Тихом океане. Впечатления от увиденного буквально переполняли.

Постепенно обстановка в стране «размораживалась»: в 1953 году умер И. В. Сталин, в 1956-м прошёл XX съезд партии, разоблачивший культ личности. В 1957 Ян Озолин был реабилитирован. Вильям поступает на заочное отделение московского Литературного института имени А. М. Горького (год окончания — 1962-й). Один из его литинститутских наставников — известный поэт Илья Сельвинский — пишет предисловие к первой книге своего сибирского воспитанника. «Вильям, — утверждает в этом предисловии старый мастер, — сплошная эмоция, сплошной темперамент». Книга готовится к изданию в расположенном в Новосибирске Западно-Сибирском книжном издательстве, к которому были «пристёгнуты» омские литераторы, т. к. своего издательства в нашем городе тогда не было.

И тут в литературной биографии Вильяма происходит событие, которое, с одной стороны, принесло ему немалый успех, а с другой — породило немалое количество завистников и недоброжелателей. В 1966 году он, имея в руках гранки будущей книги «Окно на Север», броско оформленной его близким другом — авангардным омским художником Николаем Третьяковым, едет в Кемерово — на ставшее впоследствии знаменитым совещание молодых писателей.

Процитирую соответствующее место из солидного коллективного двухтомного исследования — «Очерков русской литературы Сибири» (Новосибирск, 1982):

«Совещания-семинары молодых писателей, проведённые совместно с ЦК ВЛКСМ в 1965 г. в Чите, в 1966 г. — в Кемерове, открыли для литературы немало новых имён, таких как В. Распутин, В. Шугаев, Г. Машкин, (Иркутск), Г. Емельянов (Кемерово), В. Озолин (Омск), С. Заплавный (Томск)». Вильям имел на этом совещании немалый успех и был (по гранкам первой книжки!) рекомендован к приёму в Союз писателей.

Вступай В. Озолин в Союз писателей обычным путём (а тогда членство в Союзе значило многое), ему наверняка долго и нудно в течение нескольких лет выкручивали бы по этому поводу руки. А тут небывалый для тех регламентированных времён случай: не имея за плечами положенных двух книг, человек получает заветные писательские «корочки». Получает «поверх голов» местного литературного и партийного руководства…

Затем последовал шумный успех вышедшей в 1966 году первой книги. Её пятитысячный тираж был буквально сметён с прилавков. Рецензии в местных и столичных газетах, читательские письма, передачи по телевидению и радио…

Но праздник быстро кончился, начались будни. В. Озолин пытается жить литературной работой — сотрудничает с органами печати, с омскими театрами, часто выступает перед читателями, много ездит по области и по стране, постепенно приступает к подготовке следующей книги — «Песня для матросской гитары». Но для того, чтоб сводить концы с концами, он вынужден служить… художником в Омском мединституте — рисовать наглядные пособия, изображающие поражённые всяческими

болезнями человеческие органы, и бесконечную «наглядную агитацию» для институтского парткома. Всё напряжённей становятся отношения с Омской писательской организацией. Внешних поводов для упрёков со стороны начальства хватало — богемный быт поэта, катаклизмы его личной жизни…

…В. Озолин уехал из Омска в 1972 году — как оказалось, навсегда. Уехал не по доброй воле, вынужденно. Формально никто его не выгонял, но незримая «вата» недоброжелательного, бюрократического отношения обкладывала со всех сторон, и это угнетало поэта. Перспектив тут для него не было никаких, в том числе и в решении квартирного вопроса. Но, перебравшись вначале в Читу, а затем, через восемь лет, в Барнаул, Вильям Янович никогда не порывал многочисленных связей с Омском — время от времени приезжал, переписывался и перезванивался со многими людьми, не упускал случая посотрудничать с омскими СМИ…

Он скончался в Барнауле в 1997-м, а на следующий год началось его… возвращение в родной город. В 1998-м в Красноярске вышла посмертная книга избранных стихотворений В. Озолина. Восемьдесят её экземпляров прислали в Омск. Половина этого количества была официально передана в омские библиотеки, а половина раздарена друзьям — на устроенном в честь выхода книги литературном вечере.

В 2003 году я, многие годы друживший с Вильямом Яновичем, выпустил небольшую документальную книгу «Мой Вильям (Эпизоды литературной жизни)», а ещё через три года удалось переиздать её (дополнив по просьбе читателей избранными стихами поэта).

Его стихи неоднократно включались в различные коллективные сборники и антологии, выходившие в Омске.

И вот предстоит следующий этап возвращения поэта в свой город — открытие Памятного камня на Аллее омских литераторов; торжество намечено на 5 августа.

В эти праздничные дни выйдет новый выпуск нашего альманаха «Складчина». В нём тоже будет отмечено 80-летие поэта — начнут печататься его малоизвестные дневниковые заметки, которые он вёл последние двадцать лет жизни и озаглавил «Записки потерпевшего». Думаю, читатель познакомится с ними с немалым интересом. В них, как и во всяком искреннем дневнике, находим мы черты навсегда ушедшего времени. Это первое. А второе и, может быть, главное для тех, кто знал Вильяма, а также для тех, кто захочет его узнать, — в данном человеческом документе приоткрывается сложный, незаёмный, духовно богатый внутренний мир поэта. Автор «Записок потерпевшего» предстаёт перед читателем думающим, переживающим за свою страну, неравнодушным, отзывающимся на многие события человеком. Его волнует не только литература, но и политика, экономика, в частности — сельское хозяйство, измученное бесконечным реформаторством народное образование, экология, проблемы нравственного здоровья общества…

А в будущем году, надеюсь, произойдёт и следующий шаг возвращения Вильяма Озолина на родную землю — впервые выйдет его книга, на титульном листе которой будет значиться имя нашего города (до этого книги выходили в Новосибирске, Иркутске, Барнауле и Красноярске). Дело в том, что мэрия Омска и Омское отделению Союза российских писателей приступают к осуществлению масштабного книжного проекта, посвящённого 300-летию Омска, — изданию книжной серии «Золотая аллея». В результате читатель получит целую библиотечку, состоящую из произведений писателей, увековеченных на омской Аллее литераторов. Первая книга выйдет уже в этом году — году 70-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Это будет коллективный сборник погибших на фронтах шестерых омских поэтов — Бориса Богаткова, братьев Сергея и Владимира Добронравовых, Иосифа Ливертовского, Георгия Суворова и Николая Копыльцова. А на будущий год запланировано издание ещё двух поэтических книг «Золотой аллеи». Это сборники Аркадия Кутилова и Вильяма Озолина.

Ничего!..
Мы вернёмся назад,
и последнее слово — за нами!

Вильям Озолин

Ветром и солью

Это бывает лишь в юности. Это—
Сердце разбитое, пепел и шлак.
В самом разгаре весёлого лета,
Вздорная, плечики вздёрнув, ушла…
Злиться, надеяться, мучаться, плакать!
Милая, что же наделала ты?
Так на перроне бросают собаку
Средь равнодушной людской суеты.
Что ты наделала! Спелые гроздья
Взглядов твоих позабыть не смогу.
Что ты наделала! Ржавые гвозди—
В сердце, как в лодке на берегу…
Сад городской. Опустела аллея…
Красный зрачок сигареты погас…
Ткнулся мне в локоть, любя и жалея,
Маленький, как жеребёнок, Пегас…
Маленький мой жеребёночек!
Это—
Звёздочка тихо по небу прошлась…
Юность. Любовь. Одиночество. Лето.
Вот наша дружба когда началась…

Чужое горе

Двое суток мне нет покоя.
Сорок восемь часов подряд.
Но бывает в жизни такое,
о котором не говорят.
От такого надолго шрамы,
про такое себе не лгут,
и прощальные телеграммы
за спасением не бегут.

Поезд мчит, как от злой погони,
светофоры в ночи горят.
Я молчу, обо мне в вагоне
люди разное говорят.
Головой качают, вздыхают,
предлагают стакан вина.
Что случилось со мной, не знают,
но как будто на них вина,

что сижу я как ошалелый—
даже глаз не могу поднять.
Только что мне с собою делать,
если боль ещё не унять?

Кто осудит,
а кто—поспорит,
песню тихую пропоёт.
Я молчу. И чужое горе
людям выспаться не даёт.

Обезьяна

В приморском городишке
«по запарке»,
иначе выражаясь—сгоряча,
мы очутились в местном зоопарке
и шлялись там, у клеток гогоча!

Особо нас смешила обезьяна,
что ловко обрабатывала трос:
как будто клетка—
судно в океане,
а обезьяна—
палубный матрос!
Она на шест взлетала,
как на мачту,
скользила вниз…
И, точно на заказ,
походкой шла знакомою, враскачку,
как будто нас копировала.
Нас!

И разные показывала вещи.
Мы ей рукоплескали как могли,
хотя сумели б выступить похлеще
на пятый месяц жизни без земли!

Честность

Я однажды увидел двух нищих
И хотел им пятак поднести.
Но от нищих разило винищем
Так—что просто нельзя подойти!
Был один худосочен, как прыщик,—
Видно, пил он вино натощак.
А другой был потолще, почище,
То есть грязен, но всё же не так.
Видел я, как они в лохматищах
На вино наскребли сообща.
Сбегать вызвался тот, что почище,
И вернуться назад обещал.
Щёлкал ногтем о зуб и божился
Верность дружбе до гроба сберечь—
До последней трепещущей жилки.
До последнего вздоха сиречь!..
Не моральные, значит, уроды—
Коли честность хотят соблюдать?
Ни тому, ни другому свободы,
Мол, иначе вовек не видать!
Но когда я домой возвращался,
В том же месте «прыща» увидал:
Тощий нищий, как флюгер, вращался…
Всё-то толстого нищего ждал!

Рыжий август!
Отрекаюсь.
Не останется следа.
Виноват. Прощаюсь. Каюсь…
Расстаёмся навсегда.
Не умру.
А вот с тобою
Не увижусь. И сюда
Я уж больше—
Ни волною,
Ни ветрами…
Никогда.
Рыжий август!
«До свиданья!»—
Я бы крикнул—
Не могу.
Поезд мой без опозданья
Ночь разрубит на бегу.
Задохнётся
Ветром, криком…
Рыжий август,
Не зови!
Поезд мой
Пошёл по стыкам
Отреченья и любви.
Руку белую откинешь
Ото лба—
Как ото льда…
Рыжий август!
Это—финиш.
Стометровка
В никуда.

Записка

И. Озолиной

Значит, что-то было в нём,
В этом маленьком листочке:
Где—
    два слова и три точки?..
Значит, что-то было в нём!
Разве б я тебя нашёл,
Если б ты была другою?..
Если б я хотел покоя,
Разве б я тебя нашёл?
Разве бы кричал петух,
Если б кур не воровали?..
Сладко спать на сеновале—
Если б не кричал петух!
Значит,
Что-то было в том
Листике,
В словах и точках!..
Ночь…
Ты маленьким клубочком
Рядом спишь.
И дело в том…

Звездопад

Когда уходит на закат
Круг солнца, круглый и овальный,
И августовский звездопад
Роняет с неба звон прощальный,
Я—узник памяти твоей,
Я—вечный каторжник разлуки—
Ловлю спасительные звуки
И прячу их в душе своей.
Пусть этот тихий звон кандальный
Навек останется со мной—
Звон медленный, исповедальный,
Звон тайный, явственный, больной.
В моей душе, на самом дне,
Пусть он затихнет без ответа…
Но всё ж на самой глубине
Ещё мелькнёт полоска света.
Увижу я: в твоём саду,
Пересекая свет хрустальный,
Как лист осенний, лист опальный,—
На снег разлуки упаду…

Власть слова изречённого крепка!
И всё же можно взять его обратно.
Но крепче изречённого стократно—
Однажды иссечённая строка.
Пусть даже—на поверхности песка,
Пусть даже и сотрёт её прибоем…
Но мы уже разлучены с тобою
Строкою той, как пулей у виска.
Бросок волны—
и след строки растает.
Строка—как чайка, в море улетает.
Строка—
    судьба,
        знаменье,
            кара,
                рок!..
Не вырубишь, не выжжешь, не исправишь
И ничего к ней больше не добавишь…
Не горьких дум боюсь, а горьких строк!

Ветром и солью

О море!
Ну зачем ты штормовало,
Зачем нас горькой солью умывало?
Не для того ли, чтоб мы тосковали
И вспоминали с горечью и болью:
О первом вале… о девятом вале…
О сто девятом, девятьсотом вале,
Пропахшем ветром, вольницей
И солью?!

Сергей Кузнечихин

Из рассказов Петухова Алексея Лукича

В песенном городе

Бирюсинском интересуетесь? Довелось и там побывать. Кстати, разговорчик вспомнил.

С мужиком в ресторане «Черембасс» познакомился.

«Откуда родом?» — спрашиваю.

«С Запада, — говорит. — С Тайшета».

А что, если из Черемхова смотреть, тогда и Тайшет настоящий западный город. А Бирюсинск ещё западнее, километров на десять… или на двадцать. Дикий Запад, короче.

Когда Абакан-Тайшетскую трассу тянули, стройка гремела на всю страну. В это же время и песенку сочинили: «Там где речка, речка Бирюса, ломая лёд, шумит-поёт на голоса, — там ждёт меня таёжная тревожная краса». Бодренький мужской голос чуть ли не каждый день по радио распевал: «Может, в лося выстрел метил, а ударил он в меня». Выстрел, конечно, в переносном смысле. Потом и вторую серию состряпали. Сибирская девушка романтическому пареньку отвечала: «Может, ты и пойдёшь на медведя, да боишься в тайге комара». Красивая история. А потом и город с песенным названием появился. Бирюсинск! Город, правда, и раньше существовал, но обзывался — Суетихой. Столичные музыканты старательно облегчали работу вербовщикам.

Скажите, куда проще наивного романтика заманить — в Суетиху… или в Бирюсинск?

Правильно соображаете.

Ехали молодые дурочки в Бирюсинск и попада́ли на суетихинский лесозавод. Культуры никакой, работа тяжёлая, платят гроши, и такие смешные, что на обратную дорогу копить очень долго приходится.

Если не нравится на лесопилке, можно устроиться на гидролизный завод, но оттуда выбраться ещё труднее, потому что сколько ворованный спирт ни пей, опохмеляться всё равно придётся на свои.

Меня в Бирюсинск песнями не заманивали. В командировку приехал.

В гостинице места вроде были, но только в Красном уголке, и хитроглазая дежурная посоветовала женщину из частного сектора. Пожилую, порядочную, чистоплотную и непьющую. Заверила, что у хозяйки будет намного спокойнее, чем в доме приезжих, но предупредила, чтобы я никому не рассказывал, кто меня туда направил. И насчёт квитанции успокоила, пообещала сделать всё как надо.

Устроился. Дом и впрямь добротный, мне даже отдельная каморка досталась. Да и бабка нормальная. Правда, электричество слишком экономила, чуть ли не по пятам за мной ходила и свет выключала. Но это болезнь всех стариков. У меня и мать такая. Так маманя ещё и выговор сделает, а эта стеснялась, квартирант всё-таки, понимала, что клиентов надо уважать. Если бы не терзала разговорами, было бы совсем хорошо. Однако совсем хорошо, наверное, только в раю, в который мне дорога давно заказана. Так и бабку понять можно: детишки далеко, соскучилась, и похвастаться хочется. Особенно про сына любила рассказывать, какой он умный, серьёзный и как хорошо в Ленинграде устроился. Он и диссертацию защитил, и в райком работать пригласили. О том, что сынок в последний раз навещал её шесть лет назад, она не говорила, это я сам вычислил. О дочке сначала даже не заикалась, будто и не было её. А потом как прорвало. Непутёвая дочурка, непонятно в кого уродилась. Поначалу нарадоваться не могли: отличница, активистка, в седьмом классе председателем совета дружины выбрали. Отец разбаловал. С другими строгий был, а ей слова поперёк не скажет. Гордился ей больше, чем государственными наградами. Когда умер, братья младшие приехали, глянули в её дневник и сказали, что девочке с такими способностями в городе доучиваться надо. Родной Бирюсинск, по их понятиям, до города не дотягивал. Увезли в Иркутск. Так ей и в городе равных не нашлось. После девятого класса и там похвальную грамоту выписали.

Ящик в комоде открыла. Ящики, между прочим, с врезными замками, а ключи при себе носила. Достала солидную пачку. Верхняя выцвела немного — наверное, долгое время на видном месте висела, по углам дырки от кнопок: *«За отличные успехи в учёбе и примерное поведение»*. Когда переворачивала, успел заметить на обратной стороне знакомую до боли песенку из трудного детства: «Галя — комсомолочка блатная, много хулиганов она знает, только вечер наступает, по двору она шагает и выходит прямо на бульвар…». Очень красивым почерком выведено. Мамаша отличницы заметила моё радостное удивление и насупилась.

«Вот и расти вас, — говорит, — бейся из последних сил, одевай, обувай, себе во всём отказывай. Да хоть бы дура была, тогда бы и спрос другой, и расстройства меньше. Вон их сколько, дур, в Суетихе осталось — и живут не тужат. А моя в Москву учиться поступила. А через год вернулась, как облезлая кошка. И в Иркутск легко поступила. И снова никакого проку».

Я боялся, что расплачется. Но обошлось. Крепкая бабка. Да и привыкла, наверно, смирилась.

Кстати, нижняя грамота в пачке с пятьдесят седьмого года сохранилась. Слева—Ленин, справа—Сталин, а посредине—герб. К тому времени Иосифа Виссарионовича вроде как разоблачили, но, видимо из экономии, чтобы добро не пропадало, заполнили. А может, и по старой памяти, уважением и страхом заражённые. Места-то лагерные. А родители на всякий случай сберегли. Мало ли куда жизнь повернёт.

Я потом у мужиков на работе про хозяйку свою спрашивал. Оказалось, что муж её, до того как на завод кадровиком устроиться, в зоне работал. Не самым главным начальником, но и не последним. А кончилось тем, что зарезали на улице. Поздно вечером возвращался с партсобрания и недалеко от дома кого-то встретил. Случайно или поджидали за старые заслуги, так и не выяснилось. Сложный мужик, говорят, был.

И вдова тоже себе на уме. Видит, что командировка затягивается, и потихоньку подпрягает меня к домашнему возу—дровишки поколоть, снежок расчистить. Я в общем-то, и не сопротивляюсь: почему бы не оказать тимуровскую помощь пожилому человеку? По собственному энтузиазму будильник починил, заменил искрящий выключатель. На слова благодарности хозяйка не скупится, уверяет, что всю жизнь о таком зяте мечтала. Однако яйца для вечерней глазуньи продаёт по самой базарной цене. Увидела, что я в электричестве соображаю. Спрашивает, не смогу ли киловатты со счётчика смотать. Я объясняю, что при такой экономии ей и сматывать нечего.

А она:

«Не можешь или боишься?»

Знает, на какую мозоль надавить. Профессиональную честь, можно сказать, задела. Пришлось нарушать законы. А бабка во вкус вошла. Давай, мол, квитанцию в гостинице не по семьдесят копеек выпишем, а по рублю с полтиной, как будто ты в люксе жил. При этом разницу не для меня планирует, но успокаивает, что все печати и подписи будут правильными, у неё, дескать, в гостинице надёжный человек имеется. Я ещё в первый день догадался, что дежурная не случайный адресок посоветовала. Но отказаться от предложения хозяйки было как-то неудобно, хотя мне, кроме лишних затрат, и лишняя головная боль предлагалась. Бухгалтерша в нашем тресте—баба въедливая, обязательно поинтересуется, с какой это стати я на люкс губищи раскатал и как меня в него пустили. Я озадачен, она спокойна. Пытливо заглядывает в мою физиономию. Промямлил, что в конце командировки видно будет. Она вроде как и не настаивает. Уверена, что никуда не денусь.

Живём дальше. По утрам расчищаю снег у крыльца. По вечерам ужинаю глазунью с оранжевыми желтками.

Спрашиваете, почему с оранжевыми?

Потому что жёлтые желтки—у инкубаторных яиц, а у домашних—оранжевые.

Топчемся потихоньку, и вдруг телеграмма: буду такого-то встречайте Маргарита тчк—дочка объявилась. Мамаша захлопотала. В магазине чекушку купила и у знакомых свиную голову. Праздник—значит, надо студень варить. Тесто для пирогов поставила. Назначенный день прошёл, а гостьи нет. Пирогами меня угощает, радуется, что студень не сварила.

И на другой день Маргарита не появилась. Мать в окошко поглядывает, но вижу, что без особой надежды, привыкла к лёгким обещаниям. Три дня прошло, хозяйка собралась в магазин чекушку сдавать. Жалко бабку стало.

«Зачем,—говорю,—мучиться? Давайте я возьму и деньги вам отдам».

«Нет,—говорит,—не хватало, чтобы Люська-продавщица подумала, что я пьяница какая-то».

Подсказывал, чтобы на меня сослалась: дескать, постоялец выпросил. Не послушалась. Пошла в магазин, но не сдала. То ли не приняли, то ли сама передумала. Отдал ей деньги, а чекушку в сумку бросил, думаю—пусть лежит на всякий случай, не прокиснет поди.

Не прокисла. Маргарита приехала.

Меня в доме не было, трудился, так что поцелуи, объятья, слёзы и упрёки наблюдать не пришлось. Повезло. Они даже и наговориться успели. Застал их за подготовкой к праздничному ужину. Сбережённая для дорогой гостьи свиная голова лежала на чурбаке.

Дочка кивнула на неё и не без игривости высказала:

«Ждём прихода мужчины, чтобы разделал. И пожалуйста, с языком поаккуратнее, я его отдельно приготовлю. Пальчики оближете… и не только свои»,—и засмеялась.

Смех вроде как с намёком, обещающий. А голос глубокий, с хрипотцой, таким голосом цыганские романсы петь. Да и сама на цыганку похожа. Глазищи чернущие. Красная кофта с чёрными цветами на голое тело надета. Плечом поведёт или всего лишь засмеётся, а под цветами живое волнение. Так и тянет дотронуться.

Бывают женщины, глядя на которых, видно, что жизнь изрядно успела потрепать, но потрёпанность эта не только не смазывает их красоту, а придаёт ей какую-то особую температуру.

Я принялся разделывать голову, она рядом стоит, следит, чтобы язык не повредил, и внимательно смотрит, как топориком орудую. Прямо не отрывается. Чувствую цепкий взгляд, поворачиваю голову, собираюсь спросить: может, что-то не так?

Она успокаивает:

«Люблю, когда мужчина умело обращается с инструментом».

Нас, дураков, только похвали. Язык я добыл аккуратно, а свой палец чуть ли не оттяпал.

Пока с головой возились, мамаша стол накрыла, кивает на мою каморку: тащи, мол, чекушку-то.

Когда армянское радио спросили: «Что такое ни то ни сё?»—они ответили: «Чекушка на троих». Но у нас, видимо, особый случай выдался. Выпили и захмелели. Бабка с непривычки, дочка с устатку, а я, наверное, от волнения. Постояли бы вы рядом с такой женщиной, посмотрел бы я на вашу трезвость.

Перед последним тостом Маргарита проговорилась, что вторая неделя началась, как на свободу вышла. Мать зыркнула на неё, а дочка только отмахнулась: чего, мол, парню мозги пудрить—от тюрьмы да от сумы никто не застрахован. Мамаша не согласилась и поспешила объяснить, что срок случился за растрату: кладовщица махинации проворачивала, а отдуваться за её грехи простодырой дурочке досталось. На простодырую дочка никак не походила, но обижаться на оскорбление не стала. И я сделал вид, что поверил. Чтобы замять неловкость, спешно разлили остатки водки и закусили солёными груздями.

Карты открыла, глянула весело на суровую мать и, накинув шаль, позвала меня в сенцы перекурить. Когда пропускал её в дверь, грудью задела, вроде как нечаянно. Дымим, разговариваем. Я не выспрашивал, сама начала:

«Хватило приключений в жизни. В десятом классе училась, а дядька уже по взрослым компаниям водить начал, ну и подложил под нужного человека. Глупенькая, не сразу и поняла, как всё получилось, думала, что это любовь. Как-нибудь потом расскажу. Мать уснёт, приходи на кухню, покурим, поболтаем».

В зимних сенцах сильно не разоткровенничаешься. Стояли рядом, так она ещё ближе придвинулась, заглядывает в глаза, но в губах усмешка. Дразнит и не скрывает, что дразнит. Еле сдержался, чтобы к себе не прижать. Не то чтобы постеснялся—скорее, боялся спугнуть.

Снова за стол сели. Она спросила, не играю ли я на гитаре. Какая там гитара, если медведь на ухо наступил. Батя мой по такому случаю любил уточнять: голос бурлацкий, да тон дурацкий. А если бы и умел—всё равно гитары в доме не было. Попили чаю. Поставили пластинку Пугачёвой. Мать сморило, до такого времени сидеть не приучена, голова на грудь падает. А голове для студня вариться и вариться. Маргарита и говорит:

«Шла бы ты, мама, отдыхать, а я покараулю, чтобы не выкипело, заодно и язык для заливного приготовлю».

Мать поскрипела табуреткой, повздыхала, поохала и согласилась. А кровать скрипела совсем недолго.

Маргарита открыла печку и попросила сигарету. Я протянул, а потом само собой получилось, что оказался в её объятиях. Или она в моих? Губы у неё жадные, горячие. Сердце у неё колотится. А про моё и говорить страшно. И вдруг, чувствую, отталкивает. А за спиной слышу старухин крик. Не крик—лай:

«Ах ты, кобель паршивый!»—и другие не самые тёплые выражения в мой адрес.

Дочка тоже заливается:

«Мамочка, милая, не виновата я, это он набросился…»

Ну прямо как в комедии «Бриллиантовая рука».

Только не до смеха. Нырнул в свою каморку, рухнул на кровать, голову подушкой накрыл, лежу, боюсь пошевелиться.

Маргарита, видимо, тоже голову под подушку спрятала.

А мамаша ещё долго причитала. Сначала ругала—неймётся, мол, дуре; потом жалеть начала—почему все напасти на неё, несчастную; и мне досталось—наслушался про себя такой правды, таких угроз и проклятий наслушался… Думал, что с кочергой ворвётся, но обошлось. Угомонилась. А я так и не уснул.

Утром, не умываясь, сбежал на завод. И очень не хотелось, чтобы рабочий день кончался. С какими глазами возвращаться? Что меня ждёт? Даже представить не мог.

А часам к трём заявилась на завод Маргарита. Разыскала. И через проходную без пропуска проникла. Для красоты преград не бывает.

Возникла передо мной с грустным лицом и виноватой улыбкой. Прости, мол, что так получилось, мать женщина строгих правил, ей нас не понять, а нам от этого не легче. Маргарита у меня прощения просит. Я—у неё. Но как дальше быть? Я не знаю. И она—не представляет. Повздыхала. Даже приобняла меня, как бы в поисках защитника. Прижалась осторожненько. И ретивое моё взыграло. Не так, как прошедшей ночью на кухне, но дыхание успело взять разгон. И даже какая-то надежда мелькнула. А она отстранилась и говорит:

«Может, подарить ей какую-нибудь недорогую тряпочку? Жадность у старушек любой гнев усмиряет. Увидит и поостынет. Пойдём в магазин, посмотрим»,—и снова приобняла.

Я быстренько переоделся. Идём по улице, она меня под руку держит, щебечет, как давно не была в родном городе, и с грустью замечает, что ничего в нём не меняется. В магазине без лишних блужданий провела меня к женской одежде и посоветовала купить индийскую кофточку. Я толком и подарок-то не рассмотрел, доверился её вкусу. Когда зашёл разговор, как вручать, она сказала, что у неё это мягче получится, а потом добавила, что мне вообще лучше не показываться матери на глаза и переселиться в гостиницу. И на ходу придумала, как это сделать: она уводит мать в гости к родственникам, а я в это время забираю свои вещи и переселяюсь, потом она обязательно навестит меня и заодно договорится с дежурной, чтобы мне выписали нормальные квитанции, дежурная многим обязана их семье, поэтому сложностей не возникнет.

До конца командировки оставалась ещё неделя. Не буду скрывать—ждал и верил.

Не пришла.

Подозреваю, что и кофточку брала не для мамаши. А мне пришлось занимать деньги у местных мужиков, чтобы за гостиницу расплатиться и обратный билет взять. Квитанцию выписали, как будто я в люксе жил. Были уверены, что не стану возражать.

Да, чуть не забыл: когда забегал к ним в дом забирать сумку, на подоконнике стояли две тарелки с заливным языком. Очень хотелось попробовать, но испугался.

Борман

О кошаре хочу рассказать.

В каких только общагах не довелось обитать: и в бетонных коробках, и в деревянных ульях;

одни чем-то зацепились в памяти, другие напрочь выветрились, а эта въелась, вся перед глазами, во всей своей полуподвальной красе.

Вросший в землю по самые окна длинный барак с двускатной крышей. Правда, крыша высокая, на чердаке, при желании, могли бы ещё ряд комнатушек нагородить. Над кошарой высокий чердак, а под ней глубоченный подвал, от пола до потолка метра два, если не больше. И все эти хоромы — в тридцати шагах от тюремной ограды. Анатолий Степанович уверен был, что подвал соединён с тюрьмой подземным ходом и в лихие годины там расстреливали. В своё время в этой тюрьме знаменитые люди сиживали. Сам Иосиф Виссарионович побывал в ней на пересылке, и артист Жжёнов отметился. Обитатели кошары, садясь в такси, не упускали случая ошарашить невинной просьбой: «До тюрьмы, командир, добросишь?» Таксисты народ тёртый, их трудно удивить, а пассажиры, случалось, паниковали. И знаменитая присказка: «Живу возле тюрьмы, скоро буду сидеть возле дома» — была, разумеется, в ходу. Сам, грешный, пользовался, и другие обитатели не брезговали. А народу через кошару прошло очень много — и весьма примечательного. Я спрашивал Анатолия Степановича, почему общагу кошарой обозвали, а у него на каждый случай своя теория. Он басню Крылова напомнил: «Волк ночью, думая залезть в овчарню, попал на псарню», — и у нас, мол, похожая ситуация — прикидываемся овечками, а на самом деле псы, бездомные и одичавшие. А те, кто попроще, уверены были, что наша приземистая общага напоминает скотный двор, потому и прозвали её кошарой. Обитали в ней наладчики и монтажники. Комнаты поуже занимала интеллигенция, а работягам достались два здоровенных номера с койками в три ряда. Но теснота на нервы не давила. Густо было только на Новый год, когда все из командировок слетались. А между праздниками случалось, что некоторые комнаты неделями пустовали.

Заселял меня Анатолий Степанович. Он, собственно, и в трест меня завербовал, и, как человек, привыкший доводить дело до конца, представил комендантше.

Примечательная, между прочим, бабёнка. Под настроение позволяла себе уединиться с кем-нибудь в пустующей комнате и делала это легко, без нервных последствий, душераздирающих сцен и выяснения отношений. Память после свиданий оставалась, но зыбкая, как сладкий сон. Знавал я женщин лёгкого поведения с очень тяжёлым характером, а у этой и характер был воздушный, и к делу относилась играючи, и всё ладилось. Понимала, что мужики устали после долгой командировки, и закрывала глаза на некоторые вольности. И вахтёрш набрала безобидных. Документов с гостей не требовали: кто приходит, когда уходит — вроде как и не замечали. И кстати сказать, ни воровства, ни крупных драк в кошаре не было. Милиция, может быть, и не подозревала о существовании этой общаги.

В комнате Анатолия Степановича свободных мест не было, поселили меня с монтажниками, но отметить новоселье сели у него. Я собрался бежать в лавку, но он притормозил. Выглянул в коридор и крикнул:

«Борман!»

Не успел присесть, а в комнате возник белобрысый мужичок и остановился у порога. Анатолий Степанович молча протянул деньги, а тот, ни слова не сказав, толкнул задницей дверь и растворился. Я вроде и понимаю, о чём речь, вернее, о чём молчание, но всё равно как-то непривычно, слишком отработанная процедура. Анатолий Степанович поясняет:

«Через двадцать минут будет подано. Никчёмное вроде создание, работать не умеет и не хочет, уволили за прогулы, а из кошары не гонят. Не можем без него. Особенно незаменим после семи. Социально полезным людям не продают, а ему — пожалуйста. И ночью может добыть, причём гораздо дешевле, чем у таксистов. Только ждать приходится подольше. Подозреваю, что источник в районе базара, но свою коммерческую тайну Борман не открывает. Имеет право. Ночью зовут от безвыходности, а днём из пижонства. При этом себе забирает только мелочь. Принесёт, например, бутылку за три шестьдесят две, а ты дал пятёрку, — рубль отдаст. Ну, если, конечно, гусарский жест позволишь — не настаивает. И обязательно поблагодарит. Так что можешь пользоваться услугами. Он никому не отказывает: ни прорабам, ни шеф-инженерам, ни слесарям — должность его не смущает».

Вводный инструктаж выслушал, перекурили — и гонец подоспел. Прошёл к столу, вытащил бутылку из внутреннего кармана куртки, крутанул её в воздухе, бутылка сделала сальто и улеглась в ладони так, что её донышко оказалось на уровне мизинца, и мягко водрузилась на центр стола. Борман сдёрнул пробку. Плеснул в стакан граммов пятьдесят. Выпил. Пожелал приятного аппетита. И ушёл.

Анатолий Степанович ухмыляется, доволен представлением.

Я спросил:

«Почему Борман?»

«Понятия не имею, — говорит, — может, чуточку похож на Бормана из «Семнадцати мгновений», но глаза выдают, что бабушка с хакасом согрешила. Кто-то ляпнул сдуру, вот и прилипло. Правильнее было бы назвать не Борманом, а Барменом, но логика у кличек не всегда прямолинейна. Разве что у обидных прозвищ, а его жалко обижать. Я специально умолчал о подробностях его возвращения с добычей, чтобы ты мог насладиться представлением».

«Он что, всегда так?» — спрашиваю.

«Чётко по регламенту: принёс, плеснул себе на донышко и ушёл. Никогда не лезет в чужие разговоры. Я предлагал ему выучить стихотворение, коротенькое, но в тему, есть у Василия Фёдорова подходящее, про опохмелку, выписал ему на бумажку, он выучил, но к столу не подаёт, говорит, что стесняется, а мне кажется, что из гордости, не хочет пользоваться подсказкой; может, и авторское самолюбие разыгралось, сам же

номер придумал — чувства макси, средства мини, остальное перебор».

Мне показалось, что Анатолий Степанович слишком усложняет, но насчёт перебора спросил:

«Если с утра начинать, то к вечеру и набраться можно?»

Успокоил:

«Редкая разновидность алкоголика — никогда не бывает пьяным. Ни разу не подвёл. Если девушку привожу, я иногда специально его вызываю. На некоторых производит полезное для меня впечатление».

Потом, когда уже допивали, рассказал, как проверку на выносливость устроил. Привёл интеллигентную даму, очень раскованную и рискованную. Выпивки не хватило. Позвал Бормана. Пока тот ходил, рассказал гостье о его стойкости. Дамочка засомневалась и предложила устроить экзамен. Вытащили из шкафа одежду, затолкали её под кровать. Как только Борман постучался, Анатолий Степанович залез в шкаф, дамочка прикрыла за ним дверцы и стул приставила, чтобы они нечаянно не открылись. Замаскировала и пошла впускать Бормана. Одета была в мужскую рубашку на голое тело. Ноги длинные, грудь высокая. Рубашка не застёгнута, просто запахнулась и полу рукой придерживает. Мужичонка прошёл к столу. Она объясняет, что хозяин вышел в душ, вернётся минут через двадцать. Говорит с придыханием и как бы нечаянно поднимает руку. Рубашка распахивается, и перед робким взором открывается красивая порнография с налитой грудью и курчавым треугольником. Как раз в тот момент, когда Борман принимал свои заслуженные пятьдесят граммов. Дверцы у шкафа весёлая подружка закрыла плотно, видеть эту картинку Анатолий Степанович не мог, но слышал, как бедный Борман поперхнулся водкой.

А искусительница шепчет:

«Не уходи, он ещё долго мыться будет».

Закашлялся, зажал рот ладошкой — и в бегство. Устоял или испугался потерять место? Скорее, второе. А красавица в распахнутой рубашке долго ещё стояла перед глазами, это уж наверняка.

Говорили, что и он приводил каких-то бабёнок, но очень редко. А ночевал постоянно в кошаре, свободная койка всегда находилась.

Старенькие вахтёрши его ценили и подкармливали. Мог подменить и на час, и на четыре, а потребуется — и на ночь. Да и мужики не обижали. Случалось, подвыпившая компания зазывала присоединиться к застолью — отказывался. Держал дистанцию.

Потом исчез. Зимой. Время не самое удобное для бичёвских кочевий. Правда, перед этим его обидел турбинист Гуминюк. Выпивал с какой-то тёткой. Послал Бормана за добавкой. Тот исполнил всё как по инструкции: принёс, поставил, выпил свою дозу и направился к двери. А Гуминюк вдогонку:

«А ну-ка вернись, возьми стакан и вымой после себя».

Молча взял стакан, сходил на кухню, вымыл.

Утром Гуминюку подлечиться надо. Без опохмелки он не мог. Крикнул Бормана. Дал на бутылку. А тот ушёл и не вернулся. Гуминюк бегает по общаге, заглядывает в комнаты, изуродовать грозится. Добрался до монтажников, а те всей бригадой возвращение из Якутии празднуют, второй день гуляют. Тоже Бормана откомандировали, а им на опохмелку и пяти бутылок недостаточно. Гуминюк сразу рассудил: дескать, набил, бичара, карман и в бега ударился. Мужики урезонить пытаются: рублёвками большая куча, а пересчитать — и полсотни не наберётся, на такие деньги далеко не убежишь. Гадают, что же могло случиться, уж не попал ли куда. Гуминюк сдуру рассказал, как заставил Бормана мыть стакан. Чистоплотность его монтажники поняли по-своему и чуть не вломили, еле ноги унёс. А Бормана ждали, ждали и почти собрались догонять, да не знали, в какую сторону отправиться.

А где-то через год Анатолий Степанович встретил его в Ачинске, возле гастронома. Выпивку для кого-то брал. На работе, можно сказать, застал. Окликнул. Расспросил. И всё прояснилось. Борман сбегать не хотел, просто возвращался с водкой, поскользнулся и так неудачно шмякнул сумкой об лёд, что все бутылки вдребезги. А появляться перед похмельными монтажниками с пустыми руками и без денег не отважился.

Правда или нет? Не знаю.

Есть подозрение, что встречи не было, Анатолий Степанович сам придумал её.

Инженер Клиндухов

Был анекдот про три степени деградации инженера. Первая — когда он забывает высшую математику, вторая — когда забывает, как считать на логарифмической линейке, и третья — когда начинает носить ромб. Валера Клиндухов ходил с ромбом. Не мне судить о высшей математике, но в деле своём он разбирался, ни напарники, ни заказчики не жаловались. Может, потому, что на объекте появлялся в спецовке, а ромб красовался на парадном костюме? Хотя и без него выглядел очень представительно: высокий брюнет с глубокими залысинами, в очках и при галстуке. И заикался очень интеллигентно. Не помню, говорил или нет, если повторяюсь — извините, но заметил я одну весьма неожиданную особенность: заики ухитряются уболтать женщину намного быстрее завзятых краснобаев.

Не обращали внимания?

А вы понаблюдайте при случае.

В тресте он появился задолго до меня. И прославился, пока ещё в молодых специалистах числился. Послали его с кем-то пускать шагающий экскаватор. Парни грамотные, самоуверенные. Каждый предлагает свою схему. Заспорили, к общему знаменателю прийти не могут. В разгар баталии Клиндухов возьми и заяви:

«А ч-ч-чего м-мы сп-порим? У к-кого аг-грегат б-больше, т-тот и нач-чальник».

Как словом, так и делом: приспустил брюки и продемонстрировал своё внушительное мужское достоинство. Может, и не было такого, но байка прижилась. Напарник тот давно уволился. Опровергать некому. Сам Клиндухов предпочитал

рассказывать о своих любовных подвигах, а о производственных помалкивал, считал это само собой разумеющимся.

Кстати, клиндух, если кто не знает,—это дикий голубь. При знакомстве с женщинами Валера частенько представлялся Голубевым. С одними ради конспирации, с другими—чтобы романтического тумана подпустить. Да и звучит приятнее, более располагает к сближению. Птица мира и любви.

Но голубь—приручённая птица, а клиндух—дикая.

Жить в общаге ему не нравилось. Очередь на квартиру длиннущая. Сидеть сорок лет, чтобы высидеть сорок реп, у него терпенья не хватало, поэтому Валера искал себе благоустроенную невесту. Везде искал: на улицах, в цехах, в ресторанах, даже в театр музыкальной комедии ходил. Уверял, что в драмтеатре и тюзе интересующих его женщин не бывает. Драматические театралки сами ищут мужей с квартирами, а в музкомедии дамочки намного ухоженнее и телом богаче. Искал, не покладая рук, ног и всего прочего, но выбрать не мог, всегда находился какой-нибудь изъян.

«Представ-вляешь,—говорит,—ш-шик-карная д-д-дама, д-двух-хком-мнат-тная кварт-тира в-возле в-вокзала, а с-сануз-зел сов-вмещённый».

У другой претендентки сортир с ванной раздельные, а квартира—в Черёмушках; у третьей—на первом этаже, холодная, и паркет скрипучий; у четвёртой—к площади не придерёшься, а телевизор—чёрно-белый. Весь в раздумьях, весь в терзаниях. Пока мается, дамы других кандидатов заводят. Он пятую находит, потом—десятую и так далее.

В нашем тресте одиноких женщин тоже хватало. Но они Клиндухова всерьёз не воспринимали. Слишком хорошо знали. А после истории со стенгазетой при воспоминании о нём крутили пальцем у виска.

Седьмого ноября и Первого мая нас, как и положено, выводили на демонстрацию, а праздники рангом пониже обходились стенгазетой. Но тоже в обязательном порядке. Начальство назначает ответственного, ответственный ищет исполнителей. Всю эту братию вроде как и выбирают, но из определённого контингента, из желающих быть поближе к начальству.

На меня, например, не давили: рисовать не умею, пишу с ошибками, большим уважением к начальникам не заражён. Не беспокоят—я и доволен.

Валера Клиндухов умел рисовать, стишок мог сочинить и сам напрашивался в редколлегию, но не брали, хлопотно с ним. Тогда он решил выпустить свою стенгазету и повесить её не в общаге, а в тресте на видном месте, чтобы весь коллектив порадовался. В отличие от редактора, который сооружал легальную газету наспех в предпраздничные дни, Клиндухов творил не торопясь. Два листа ватмана в командировку взял, побоялся, что на руднике может не оказаться, и коробку цветных карандашей купил.

Так получилось, что мы оказались на одном объекте. И Анатолий Степанович в той же гостинице проживал. Валера увидел его и очень обрадовался. Из меня в его художествах помощник никудышный, а с Анатолием Степановичем всегда можно посоветоваться и дельную подсказку получить.

Расписываем воскресную «пулю». Валера заглядывает.

«Рифмы придумал,—говорит,—а стихотворение к ним не складывается. Вот послушайте: снегурочка, дурочка, постель, канитель».

У нас игра хоть и полкопейки за вист, но проигрывать никому неохота. Сидим, варианты считаем, а он с ерундой пристаёт. Кто-то психанул, послал его, куда Макар телят не гонял. Валера в недоумении: преферанс для него баловство, а вдохновение—штука хрупкая. Смотрит на Анатолия Степановича, не уходит. Тому деваться некуда, советует:

«Зачем балластом отвлекать? Краткость—сестра таланта. Пусть будет как родилось. Только местами переставь. Сначала постель, канитель, а потом снегурочка, дурочка».

По лицу видно, что не понравилось, но поблагодарил, а минут через пятнадцать возвращается и читает новое:

«Прекрасная снегурка, точёная фигурка. А у снежной бабы талия как у жабы».

Мы хвалим, чтобы отстал и не мешал играть. Только ему наши похвалы—как пятые углы. Он в поиске. Его совсем другой азарт гонит.

Со снегурочкой разобрался, принялся сочинять новогодние пожелания для каждого отдела. Которое киповцам, я даже запомнил: «Надо экстренно повсюду автоматику внедрять, чтоб давление вручную женщинам не поднимать». С намёком якобы. И турбинистам—с намёком, и химикам, и своим, электрикам, что-то про возбудитель завернул. Все его намёки в одном направлении, но это уж у кого чего болит…

Деда Мороза нарисовал похожим на управляющего трестом. Не фоторобот получился, но узнать можно: очки, лысина—не перепутаешь. У снегурочки родинка на щеке, как у кассирши, и в руках пачка денег. Остальных женщин расположил пирамидой в виде ёлки. Все в купальниках. На вершине пирамиды—начальница химлаборатории. Узнать трудно, но если мензурка на голове—значит, химичка. Бухгалтерша счётами интересное место прикрывает.

Всю командировку трудился. Ни в кино, ни по бабам. Дорисовал, раскрасил. Упаковал в «Советский спорт», а чтобы не помялась,—видели, как шину на сломанную руку накладывают?—так и он: соорудил каркас из реек и обмотал изолентой.

Из командировки вернулись тридцатого, а тридцать первого Клиндухов приехал на работу раньше всех и вывесил своё творение рядом с доской объявлений. Мимо не пройдёшь. Народ толпится, гогочет, комментирует. Женщины подходить стесняются, но откуда-то знают, кто и в каком виде там нарисован. Главбухша—дама суровая, с юмором у неё тяжеловато, прибежала к Валериному начальнику и пригрозила написать заявление в профком. Тот выслушал, насупил брови и пообещал загнать негодника на самый далёкий объект, куда-нибудь в Заполярье, где нет ни женщин, ни

вина. С вином он, конечно, загнул, потому что в те годы таких объектов не существовало. А сам герой то и дело выглядывал в коридор — полюбоваться благодарными читателями. Смотрел издалека, подойти скромность не позволяла.

Газета провисела до обеда и пропала. Пошли узнать у секретарши. Та объявила, что начальник приказал снять. Против лома нет приёма.

Те, кто припоздал, довольствуются пересказом. Возмущаются: с каких, мол, пирогов запретили? О свободе слова напоминают. Доказывают, что стенная печать цензуре не подлежит.

А день-то предпраздничный. Народ солёные огурчики из сумок достаёт, сальцо режет, апельсины чистит. В отделах выпивать нельзя, застукать могут, поэтому у каждой группы свой бункер: кто в электролаборатории, кто в гараже, кто в слесарке… Я тоже собрался, но вспомнил, что фотографию на новое удостоверение забыл отдать. Захожу к секретарше, а её нет. Их компашка обычно у кладовщицы праздники отмечала. Иду на склад. Дверь не заперта. Захожу, а там весь женский цветник газету изучает, и пока меня не увидели, никто не возмущался. А потом уже, конечно, в позу встали: как ему не стыдно, безобразие, пошлость и так далее.

Я тут об очереди на квартиры заикнулся. Длинная, чего уж там говорить, однако не безнадёжная. Те, которые вместе с ним молодыми специалистами пришли, всё-таки получили свои каморки. Высидели. Это не в магазине, когда можно встать, дождаться, когда за тобой займут, и убежать по своим делам, а потом вернуться, когда перед тобой пара человек осталась. Здесь после возвращения занимаешь заново, в самом хвосте. А Клиндухов убегал каждые два-три года. Союзные республики завоёвывал. В Прибалтике поработал, в Молдавии, в Средней Азии. На Кавказ не стремился — тамошние нравы не располагали к поискам. Но родной трест не забывал. К Дню энергетика и к Восьмому марта обязательно присылал открытку. Один раз из Крыма отправил одновременно десяток телеграмм. Одну, как всегда, в бухгалтерию треста, остальные — на домашние адреса старым работникам, с кем начинал. Всем — одинаковые четыре слова: «Снялся кино скоро увидите». Думали, шутит. Оказалось — взаправду. Ребята видели. Он там командировочного сыграл. Снимали в гостиничном номере. Мужик, в семейных трусах по колено, просыпается, пошатываясь подходит к стулу, на котором висит пиджак, ищет в карманах бумажник и не находит. Возвращается к койке, загибает матрац, обрадованно хватает бумажник, заглядывает в него и болезненно кривится. Лицо крупным планом показали. Наш человек, без всякого грима, ни с кем не спутаешь. Лицо несчастное, убитое горем. Сразу видно, что содержимое бумажника сильно расстроило. Сел на кровать, переживает, что слишком много пропил. Из-под длинных трусов тонкие волосатые ноги торчат. Носки на полу валяются, и галстук рядом с ними. Помните, пластиковые галстучки были, на резинке, чтобы не завязывать, — именно такой. Посидел, помотал головой, потом достал из портфеля кипятильник, налил в кружку воды из мутного графина, а перед тем как включить кипятильник, подложил под кружку папку со схемами.

Правдоподобно получилось — может, даже и лучше, чем у настоящего актёра. А почему бы и нет? Сам себя изображал. Мужикам нашим особенно понравилось, как он бумажник из-под тюфяка доставал и папку под кружку подкладывал. Это чтобы белого круга от горячей кружки на тумбочке не осталось. Портфель, между прочим, тот же, с которым у нас ходил, здоровенный, разношенный, в него семнадцать бутылок пива умещалось. И пиджак с ромбом — тоже его. Кстати, в кино попал уже второй ромб. Первый у него украли. В поезде свинтили. Полгода парень переживал. Потом купил. Два литра водки не пожалел.

В бегах он долго не задерживался. Год, от силы полтора погастролирует и возвращается. Первый раз приняли без разговоров. Готовые специалисты на дороге не валяются. Во второй раз на его поздравление с Днём энергетика начальник отдела сам отправил телеграмму и предложил вернуться: работы навалилось много, а опытных электриков не хватало. Даже подъёмные заплатили. А на третий раз, когда возвратился после актёрского дебюта, начальник решил покуражиться и заявил, что может принять только старшим техником. Поставил на одну доску с зелёными пацанами. Обидно, конечно, получить щелчок по носу, когда тебе давно за тридцатник перевалило. С другой стороны, сам виноват. Да и деваться некуда. Согласился.

И вот едет он с этим самым начальником на ТЭЦ. На трамвае телепаются. А езды больше часа. Клиндухов смотрит в окно и не на каждый дом, конечно, но довольно-таки часто показывает пальцем и объявляет:

«В этом им-м-мел, н-на п-пятом эт-таже… в этом н-на т-т-третьем…»

Начальник посмеивается. Верить не обязательно, однако хоть какое-то развлечение. Полдороги проехали, Валера больше десятка домов пометил.

«В этом н-на ч-чет-твёрт-том».

Начальник хвать его за руку:

«А в каком подъезде?»

«В п-первом».

«А как зовут?»

«Р-рита».

«Маргарита, значит? — переспросил начальник. — Из первого подъезда?»

И тут Клиндухов понял, что сболтнул лишнего.

Случается, и по заячьему следу на медведя нарываются.

Но всё обошлось без мордобоя. После переговоров на ТЭЦ начальник пригласил его в пивную и поделился человеческой драмой. Дружок у него встретил первую любовь.

В молодости добивался, но безрезультатно. Женщина была постарше, смотрела на него свысока. Поиграла с месяц и посоветовала забыть. Деваться некуда, мальчик смирился, но не забыл. Неразделённая любовь способна гору своротить. В большие начальники выбился, на чёрной «Волге» разъезжал. Женился, двух сыновей родил.

И вдруг встретились. Матёрый мужик и стареющая красотка. Думал, что перегорело, ан—нет. Воспылали чувства. Да так безудержно, что пламя на семейный дом перекинулось. А там двое сыновей: младшему три года, старшему—восемь. И жена симпатичная, верная, умная… Но мужик без тормозов. Собрался уходить. Лучший друг пытался образумить. Упрямого учить—что по лесу с бороной ездить. И вдруг нечаянная новость.

Он прямо при Клиндухове позвонил по автомату влюблённому товарищу, позвал в пивную и пообещал сообщить кое-что интересное.

Выяснять отношения с горячечным соперником Валера не хотел. Да и не соперничал он. Не в его привычках. Стал придумывать, как слинять. Начальник его тоже не мальчик, сообразил, что очная ставка может плохо кончиться, сам посоветовал не дразнить быка.

Потом поделился подробностями, куда кривая повернула, чем сердце успокоилось.

«Я,—говорит,—так ему и сформулировал: ты собираешься детей бросить ради бабёнки, которую даже Клиндухов имел».

О Валере высказался в пренебрежительном тоне исключительно ради благородного дела, чтобы сильнее зацепить. Влюблённый прямо из пивной поехал выяснять отношения в злополучный первый подъезд. Выложил всё, что узнал. А она ему заявляет: ничего, мол, с этим инженером не было, у него, дескать, не встал. Герой звонит своему доброжелателю и радостно передаёт, что Клиндухов—обыкновенное трепло, ничего у них не было, потому что инженер оказался недееспособен. Но тут уже задели честь мундира. Валерин начальник такого стерпеть не мог. Высказал без оглядки на старую дружбу:

«Во-первых, если до этого дошло, то поздно заявлять, что ничего не было. А во-вторых, не мог инженер Клиндухов оконфузиться, его дееспособность сомнению не подлежит, если потребуется, можно полгорода свидетельниц найти».

Виноватого Бог помилует, а правого царь пожалует.

Поблагодарил он Валеру за благое дело и доблестный труд на ниве сохранения чужих семей и пошёл к управляющему трестом выбивать в штатном расписании достойную должность для ценного специалиста. И выбил. В старших техниках Клиндухов и трёх месяцев не просидел.

Правда, через год снова уехал.

Недавно встретил его. Стоит в спецовке на голое тело. Без ромба и без галстука.

«Ничего не понимаю,—говорит,—странный народ эти бабы. Давать—дают, а замуж не хотят».

Самая вкусная водка

В Новосибирске на вокзале слышал, как старичок, похожий на дедушку Калинина, объяснял интеллигентной дамочке, что в Сибири пальмы не растут. Для тех, кто плохо знает географию, добавлю, что и виноград в ней не приживается; особо хвастливые мичуринцы заверяют, что выращивают, но из трёх гроздей на вино не выкроишь. Так что, когда началась очередная попытка борьбы с пьянством на Руси, виноградники в Сибири не корчевали. Хотя дров наломали и кедрача повырубили немерено. А с виноградом было хорошо. Во всех магазинах горы ящиков. Подгнивший, но за копейки. Дружок мой Михайла приноровился гнать из него самогонку. Почти чача получается. Жизнь заставит—и ананасы в ход пойдут. Жаль, что мысля́ о пользе гнилого винограда посетила его поздновато.

Какое веселье от водки—сами знаете. Но когда её по талонам начали распределять, стало ещё веселее. Жутко вспомнить. В магазинах только плавленые сырки. Некоторые точки впору было заколачивать и писать, как на райкомах в войну: «*Закрыт, все ушли на фронт*», то бишь на борьбу с пьянством. Между прочим, Анатолий Степанович ещё в семьдесят втором году шутил: дескать, ввёл царь Николай Кровавый сухой закон и чуть погодя без должности остался.

Почему в семьдесят втором, спрашиваете?

Потому что и тогда затевали войну с пьянством—правда, не такую жестокую, как при Горбачёве. Леонид Ильич на решительные меры не отваживался.

Только политика и революции не нашего ума дело, мы в такие глубины не ныряем, нам бы на мелководье не утонуть и на мели от жажды не умереть. А что касается водки, так я и без неё могу обойтись. Не всю оставшуюся жизнь, но достаточно долгое время. Зарекаться нельзя. Всё зависит от расклада. А карты легли так, что собрались мы в Туруханск. Без водки в дальнюю дорогу отправляться несерьёзно.

Зачем в Туруханск?

И за омулем тоже, однако про омуля я вроде как достаточно рассказывал—разговор о водке.

Связчики собрались проверенные: друг мой, доктор, и Мишка Хамайкин. Добычу водки поручили мне. Доктор договорился в Енисейске, что за четыре пузыря нас подбросят до Туруханска на грузовом самолёте. Перед дальней дорогой пить необязательно, нежелательно даже, но с пустыми руками в гости не заявишься, эдак и друзей можно растерять. Одним, другим, туда, сюда… Короче, без десяти штук не вывернуться. Считать легко, отчитываться труднее. В городе полусухой закон. И не только в городе—по всей Руси великой свирепствует. Одноклассник из Ярославля письмо прислал, у них там цыганский погром на водочной почве случился. Водкой торговать—не коней воровать. Казалось бы, и выгоднее, и безопаснее. Ан нет. Захватили в свои руки торговлю огненной водичкой и довели пьющее население до нервного срыва. Ловкие руки мозолистыми не бывают, и мозолистым это не всегда нравится. Точнее, не нравится всегда, но терпение—штука опасная. Кто-то спотыкается о булыжник и вспоминает про самое надёжное орудие пролетариата. В Сибири цыган не так много, но любителей поживиться на временных трудностях тоже хватает.

Обход начал с ближайших точек. В одном гастрономе тихо, в другом—пусто. Возле третьего—толпа. Торгуют из подсобки, через окошко

в двери. Дверь железная, и к ней прилеплен нарост из человеческих тел. Тела эти пересчитать никакой возможности.

Потные. Слипшиеся. Кричащие.

Крайнего искать бесполезно. Выбрал место, где не очень густо, и попробовал внедриться. Углубился самое большее на метр — и выдавили. Просочиться вдоль стены тоже не получилось. Парень я вроде и тёртый, и битый, случается, и находчивым бываю, но проникать в тяжёлые очереди так и не научился. Для этого врождённые способности нужны, талант, можно сказать. К тому же район, в котором живу, построен на территории Николаевки. Старая бандитская слободка. В ней, как в деревне, вся шпана друг друга знает. Одиночке между ними не вклиниться. Попрыгал я возле этого осиного гнезда, подёргался, повздыхал и поехал в центр города.

Очередь вдоль магазина увидел издалека. Народу не меньше, чем там, откуда сбежал, но целенаправленное движение чувствуется. Возле дверей — мильтон. И сам не из плюгавеньких, и резиновая дубинка на запястье, демократизатором называется. В помещение впускает порциями по пять душ. Стою, жду. Не только стою, но и продвигаюсь. Если скорость измерять в сантиметрах, получается вполне приличная цифра. А в миллиметрах — так и вообще… Больше часа отмаялся. Осталось примерно столько же или даже чуть меньше.

И вдруг — ропот.

Водка кончилась.

И время к восьми приближается. У них конец торговли. А у меня — потерянный день и никакой надежды на день грядущий.

Иду к старому приятелю Юре Муравьёву. Зарекался вроде его блатом пользоваться, но обстоятельства и сроки беспощадней, чем зароки.

Спросил, не поможет ли.

И, не дожидаясь ответа, понял, что не поможет.

Он же всегда обещал, даже если сделать не мог. А тут сразу в отказ.

«Теперь это валюта, — говорит, — а валютчики народ жестокий, старой дружбы не помнят, ни посулы, ни посуду не принимают».

Юра нервничает, не привык он к таким нечеловеческим отношениям, чехвостит новые нравы в хвост и в гриву. Позвонил для приличия двум или трём своим знакомым. Никто не обнадёжил. Чтобы самому жлобом не казаться, выставил на стол початую поллитровку. Сидим, разговариваем. Мамаша его с промысла пришла. Она по вечерам дачными астрами приторговывала. Тоже в расстроенных чувствах. Единственный покупатель за вечер — и тот самый тощенький букет выбрал. А живые цветы — капризные: вянут, подлые, растуды их в навоз. Услышала, о чём горюем, полрюмочки приняла и говорит:

«Успевайте завтра к открытию в наш магазин, сама видела, как полную машину разгружали».

Будут продавать, чтобы план выполнить, или налево пустят, простым смертным знать не положено. Однако удостовериться надо. А вдруг?

Утром загодя подъехал к тому магазину. Очередёнка невеликая, не больше двадцати человек. Почти одни старушки. Не алкашихи какие-нибудь. Аккуратные тихие бабульки. Встал за божьим одуванчиком. Чихнуть рядом страшно — осыплется. Спрашиваю, за чем очередь. Молчит. Наверно, сглазить боится.

«Тебе-то она для чего?» — спрашиваю.

«Картоху копать, — отвечает, — с поля привезти, в погреб спустить. Кто же без неё, проклятой, поможет?»

И то верно — не помогут. Хотя, глядя на некоторых старух, без допроса и без гадалки ясно: приторговывают, ведьмы. Так, опять же, куда деваться, если бывший советский народ от мала до велика в бизнес ударился. У всякого Ермишки свои делишки. Тяжело в деревне без нагана. Но и без валюты нелегко.

И всё-таки выстоял. Добыл огненную воду в нужном количестве. Донёс до дома. Распределяю, что — в рюкзак, что — в сумку. Туда — за проезд, сюда — за приезд. В тряпки заворачиваю, чтобы не разбилась. И представляете, так захотелось выпить. Прямо невмоготу. Когда без приключений можно было купить, смотрел на неё не то чтобы с презрением, но довольно-таки равнодушно. А тут все мысли заслонила. Хочется. Упаковал, спрятал с глаз долой. И всё равно хочется.

По дороге в Енисейск доктор обрадовал, что к нашему приезду банька дозревает. Помыться перед дорогой — дело полезное, но я этот подарок воспринял как намёк, что с лёгким паром и принять не грех. К тому же и Суворов говорил, что после бани штаны продай, но выпей. Великого полководца ослушаться нельзя. Приказы не обсуждаются.

После бани рука сама лезет в рюкзак и, не блуждая, находит горлышко. Связчики не против. Тоже истомились. Закуски полон стол, а бутылка уже пустая. Переглянулись и закивали в знак согласия. Но только одну, и больше ни-ни. Да и хватило бы, если бы не заявился мужик, который с лётчиками договаривался. А как ему не нальёшь? Человек не только хороший, но и полезный. Без него бы не полетели. Достал третью. Потом тот, который устраивал на самолёт, позвонил лётчикам — удостовериться, что уговор остаётся в силе, и уточнить время вылета. После звонка парень из экипажа пришёл. Я в их шевронах не разбираюсь, но не первый пилот, это точно, и не второй, зато с товарищем.

Дальше рассказывать?

Правильно говорите. Нет смысла. Да и возможности — что-то с памятью моей стало, как в той песенке.

Короче, утром выяснилось, что из обещанных четырёх уцелело только две. Перед экипажем стыдно. Но дуракам и пьяницам везёт. Попались понятливые парни. Простили.

Прилетели в Туруханск. Полуживые. Опозоренные. Головы тяжелее рюкзаков. Глянул на друзей — и сразу же захотелось зажмуриться. Ну ладно доктор, он человек интеллигентный, неопытный, а Михайло с детства тренируется, но и на него смотреть жалко. Они на меня тоже избегают смотреть. Кое-как доплелись до нашего друга Серёги. И опять незадача. Улетел на задание и будет только через день. Альбина, жена его, потчует нас

малосольной таймешатиной, чаёк душистый в красивые чашки наливает. А нам не до того. Несчастные организмы и глупые головы нехорошего лекарства требуют, того, которым вчера отравились. Посидели за столом, чтобы гостеприимную хозяйку не обидеть, поклевали, насколько сил хватило, и двинулись искать Серёгиного брата Васю. Бредём, по дороге ни одного магазина не пропускаем. Сухо, как в Сахаре. Ни забегаловки, ни ресторана. И это называется северный город. Разве можно так издеваться над людьми, которым приходится работать на пятидесятиградусном морозе? Даже в самые советские времена в каком-нибудь захудалом Ленске продавали с утра до ночи. Не говоря уже про Норильск. Там в столовке «Полевой стан», перекрещённой народом в «Половой стон», спиртом на разлив торговали. На кассе специальный графин с водой стоял, чтобы желающие разбавить смогли. А тут умираешь, и деньги есть, а заботы о человеке нет.

Вася прорабом работал. В конторе не засиживался. Сказали, что где-то на объекте, вроде в Селиванихе, а когда вернётся и вернётся ли, ответить не смогли. Наверное, и впрямь не знали, но нам от этого не легче.

Бредём назад. Погода словно издевается. Солнечный и даже тёплый, совсем не северный денёк. Подошли на всякий случай к киоску. Вина нет, а виноград лежит. Не очень аппетитный и подороже, чем на материке, но, тем не менее, довезли. Вздохнули в очередной раз, а потом Мишка гордо заявляет, что придумал, как жить дальше. Мы с доктором встрепенулись, но радость оказалась преждевременной. Связчика осенило купить дешёвого винограда, забродить, а потом перегнать: повезёт — водка выйдет, не повезёт — бражку тоже можно пить. Придумал хорошо, только ждать слишком долго. У нас даже обругать его сил не хватило.

Вася объявился в четыре часа. Увидел нас и всё понял.

У него на берегу балочек стоял. Ведёт к нему, срезая углы, самым коротким курсом. Открывает замок, а там, кроме «Вихря» и прочих браконьерских надобностей, бутылка и полведра тугуна…

Тугун, он всегда вкусный, что об этом говорить. Но водка!!! Никогда такой не пробовал. Посольские и прочие хлебные в экспортном исполнении даже сравнивать с ней неприлично. Мне кажется, и в Кремле такой вкусной водки не подают.

Стоим на бережку, блаженствуем. С нами-то всё понятно, но Вася радуется больше нас. Чуть ли не с того света трёх человек вытащил, пусть и дураков, но к умникам спасатели в очередь стоят, там всё отлажено. Однако и у нас праздники случаются, потому что наши ангелы-хранители такие же несуразные, как и мы. И погодка к случаю подгадала. Ни ветра, ни гнуса. А Нижняя в устье спокойная. Волны нет, течения не видно, плоский галечный берег плавно переходит в воду. Неширокая. Без норова. Домашняя речка. И вроде как непонятно, за что её Угрюм-рекой окрестили. Перебесилась и добренькой прикинулась. Стоим, смеёмся, Васю благодарим. Он отмахивается: ладно, мол, всё нормально. Потому что не прикидывается добрым, а на самом деле такой. И снаружи, и внутри.

И кто бы мог подумать в тот вечер на берегу Нижней Тунгуски, что жить Васе Мамаеву осталось совсем немного? И смерть будет такой нелепой и неожиданной.

Ольга Гуляева

Бабья песня

Я не стану гостьей непрошеной.
Не подам непрошено голоса.
Позовите меня, я хорошая.
У меня красивые волосы.

Я не буду ходить неприкаянно,
Глядя в окна над тротуарами.
Я пойму и Иуду, и Каина
С их проблемами и кошмарами.

Я не стану просить сочувствия
Ни у чёрта и ни у Боженьки.
Дело только в личном присутствии.
Позовите меня: я хорошая!

Я не буду пенять и оценивать…
Нету будущего? Только прошлое?
В этот дом с очень толстыми стенами
Позовите меня. Я хорошая.

* * *

Великолепная белая мышь
Гуляет в углу на полу.
Не курит мышь табак и гашиш,
Зовётся Миранда-Лулу.

Великолепная жирная мышь
Орешек сгрызёт — и спит.
Во сне ей снится город Париж —
Из окна удивительный вид.

Великолепная умная мышь,
В лапках — швейцарский сыр…
От сыра останутся дырки лишь —
Философски глядит на мир.

Домашняя кошка ходит вокруг,
А может быть, это кот,
И мышь убегает в свою нору —
Не надо ей лишних забот.

Великолепная белая мышь —
В лапках швейцарский сыр.
Не курит мышь табак и гашиш,
Философски глядит на мир.

Галина Эдельман

Стёклышки

1941–1946

Давно хотела записать воспоминания о далёких годах моего детства, останавливала неохватность материала, непередаваемость: как написать о ребёнке военных лет, о городе в глубоком тылу, с чего начать? Но вот решила рискнуть, пока видят глаза и не поехала крыша.

Начать просто, с любого места, не думая о сюжете, стиле, последовательности. Пусть это будет кукла…

Кукла

Одна из последних моих работ — «Старая кукла». Картон, масло, сдержанный колорит: ультрамарин, капут-мортум, белила. Два грустных старика. Между ними поломанная куколка, голая, без глаз, без руки. Пожалуй, слишком литературно и слишком депрессивно. Вряд ли кто захочет иметь такую картину дома. Похожий сюжет возникал и до этого, тушью по мокрой бумаге, темперой. Только в тех работах куклу обнимает ребёнок, старики где-то сбоку.

Такая кукла была у меня в детстве, в конце войны. Пупсик, звали Фирочка. Ручки и ножки ненадёжно крепились на растянутых от времени резинках, проходящих внутри тельца, одна из конечностей (не помню какая) утеряна, из отверстия торчит уродливая железка. Верхушка головы плоская; наверное, прежде была какая-то деталь с волосиками. Эту куклу подарила мне мамина ученица Фира Корень-Табак (именно так), эвакуированная из Ленинграда девочка, кончавшая в тот год школу (с золотой медалью). Она привезла её с собой в Красноярск из блокадного города: пупсик — большая ценность, мечта многих девочек. Теперь, возвращаясь в Ленинград, подарила мне. Как я любила эту куклу!

Есть фото, уже послевоенное (в войну было не до фотографий): на завалинке перед окошками Афанасьевны — пятеро заморышей. Очевидно, это 45-й год, значит, мне уже семь, и осенью я пойду в школу. Деревенские сестрички Олечка и Мара (Марина), приехавшие в то лето в *большой* город из своего Почета (или Ношино?), обе в *американских* платьицах; Олечка ревёт, закрывает лицо локотком, не хочет смотреть, как вылетит птичка; Марина, набычившись, смотрит исподлобья. Лёлик (ему пять лет) — словно из Освенцима, с тёмными кругами под глазками, недавно возвращённый чуть ли не с того света усилиями замечательного (*частного*) доктора, старика Белянина. Галя и Ирочка — наголо стриженные. На мне *кашемировое* платьице, ещё довоенное, единственное, в нём я и в школу пойду. На ногах самодельные тряпочные тапочки. Нежно прижимаю к себе эту самую Фирочку.

И ещё о куклах и стариках: баба Фаня, Фаина Михайловна, четыре года её последней болезни, когда всё путалось в её бедной головушке. Укладываясь спать, она заворачивает в плед какие-то тряпочки, обнимает этот свёрток, тихонько баюкает, шепчет мне: «Тише, ребёнок спит, разбудишь».

Стёклышки

Двор на Маркса, 88. Три бревенчатых добротных дома. Брёвна почерневшие, мощные. Такие дома по всему городу. Глухой забор из толстых серых досок (поперечных), покосившиеся ворота (доски ёлочкой) давно не закрываются. У каждого дома палисадник, дома стоят просторно. То, что называется двор, точнее, *ограда* — это твёрдо утоптанная земля между палисадниками, помойкой и четырёхэтажным, красного кирпича, *домом специалистов*. В *ограде* мы обычно играем вместе с детьми этого самого *дома специалистов*.

Среди наших игр одна необычная — стёклышки. Дело в том, что твёрдая, как камень, земля нашего двора там, ближе к помойке и *дому специалистов*, — настоящая кладовая, сокровищница Аладдина. Она буквально нашпигована осколками битой неизвестно когда посуды, фарфоровой, фаянсовой, разноцветного стекла. Надо внимательно вглядываться и потом выцарапывать драгоценные осколки тонкого фарфора с фрагментами прелестных рисунков, с золотой каёмочкой, пожелтевшего фаянса, прозрачные, голубые, просто белые; особенная удача — найти сразу несколько кусочков одной чашки, блюдца, вазочки, пробовать соединить края, рисунок. Завидовали удачным кладоискателям, считали, у кого больше или более красивые. Казалось, ничего уже не оставалось в этой земле, но на другой день обнаруживались новые сокровища.

Тайна этого богатства неразгадана. Может, здесь прежде был фарфоровый заводик или посудная лавка, разгромленные, втоптанные в тогда ещё мягкую землю. Или богатый купеческий дом. Никто не знает, даже Е. К., которая помнит всё. Смысл нашей игры тоже забыт. Зачем мы с азартом грибников выискивали и выцарапывали эти стёклышки? Почему ссорились из-за них (я первая увидела, нет, я, отдай, хлюзда-музда, жадина-говядина)? Куда они, эти стёклышки, потом подевались?

Чергейки, сахар, карточки

В городе много эвакуированных. К нам тоже вселяют ленинградцев — двух сестёр Чергейки,

а имён не помню. Интеллигентные красивые дамы, с ними девочка, Наташа. Называются «квартиранты». Заколачивают дверь между комнатами так, что у них получается отдельное жильё. У этой двери в нашей комнате моя кровать, ещё с сеткой. Слышу, как капризничает Наташа: «Не буду есть эти щи, мало сахара… Нет, ещё насыпь… Всё равно мало!» Боже мой: сахар и щи! Разве так можно? У нас есть в буфете красивая сахарница, но сахара в ней не бывает. Кажется, его не было всю войну. В эту сахарницу однажды положили (кто?) хлебные карточки и забыли. Было это в начале месяца. Мама в отчаянии перерыла весь дом, а в сахарницу не заглянула. Подумала, что Ирочка потеряла. Ира, старшая дочь (в начале войны ей пять с половиной), одна ходила за хлебом с этими карточками, выстаивала в очередях. Мама редко нас наказывала, но за такую провинность посадила Ирочку в подпол. Потерять карточки! Как мы выжили в тот месяц? Карточки обнаружились много позже — быть может, через год. В каждой семье была своя история об утерянных карточках.

Чергейки вернулись в Ленинград, как только стало возможно. Мама уже собиралась раскрывать дверь между комнатами, но тут явились какие-то важные дядьки (может, милиция) и вселили в эту комнату большую семью дворника Мавры Захаровны. Квартира была нашей собственностью, построена на деньги деда (как теперь кооперативные), но мама побоялась спорить. Ведь мы были члены семьи врагов народа.

Чай с таком

Маленькая девочка сидит под письменным столом и жуёт корочку хлеба. Это я. Хлеб военных лет пекут неизвестно из чего. Если его долго-долго жевать, во рту становится сладко. Поэтому не надо спешить проглатывать.

В гостях у мамы тётя Лариса. Вообще-то она сестра нашей бабушки, но мы зовём её тётей. Она ещё молодая, всего на четыре года старше мамы. Лариса зовёт меня: «Гуленька, идём чай пить». — «А с чем?» — «С таком».

Какая радость! Почему-то «так» в тот момент представлялся мне таинственной водичкой малинового цвета с чудесным запахом (нюхали), что стоит в красивой бутылке на нижней полке буфета за редко открываемой дверцей. Но «так» так и оказался «таком».

Буфет

Старинный, двухэтажный, резной, ступенчатый, огромный, с глубокими нишами, почему то называемыми *шифлоиды* (в меньшем *шифлоиде* наши шапочки, рукавички), нижние пилястры (назову их так) добела исцарапаны — Мурка точила когти. Кроме шапок и рукавиц, в буфете хранились: та самая бутылка с малиновым *таком* — довоенная роскошь, эссенция для выпечки, пытались пробовать — обжигающая язык горечь; рядом банка светлых зёрен сырого кофе — тоже с *довойны*, тоже совершенно бесполезных, горьких, тоже пробовали. Из еды больше ничего не помню. Наверное, хлеб, возможно, гречка — потому что отчётливо вспоминаются уговоры мамы: «Ешь, это любимая каша деды Коти». Деда Котя — мой расстрелянный в 38-м дед Константин Васильевич.

Маленькая, вечно голодная девочка очень капризна и привередлива в еде, в детсаду никакие уговоры не заставят её попробовать холодец (возможно, из столярного клея), манную кашу с комками…

Но вернёмся к буфету. В нём специальное отделение для лекарств, узкая, высоко расположенная дверца. Придвинув стул, забираемся (я и Ира) и едим какие-то порошки, таблетки, пьём микстуры (*капли датского короля*, наверное), аскорбинку, глюкозу… не знаю что. Не отравились — возможно, там не было ничего серьёзного, помню только бесконечно противный вкус какого-то порошка. Может — детской присыпки, может — от клопов…

Этот буфет прожил в нашей семье, точнее, уже у Елены Константиновны до самой её смерти стал маленьким, неказистым. Потом его увезла в Томск внучка Е. К., отреставрировала, как и положено настоящему антиквариату.

Антикварная мебель
Кровать моей мамы

Именно такая, антикварная, в нашей убогой квартире. Давно не крашеные доски пола (их при мытье надо тереть *голиком*), облупленная извёстка нештукатуреных стен обнаруживает разнообразные странные сюжеты, толстые балки под потолком, круглая чёрная печь-голландка, поленья в запечье, кочерга, застиранные занавески на окнах и настоящий венский (!) гарнитур: круглый стол, изящный диван, кресло, стулья. А этот буфет! А чёрный ломберный (!) стол с зелёным сукном (в его недрах хранятся перевязанные пачки писем)! Письменный стол на фигурных тумбах, обширная столешница обтянута кожей, местами продранной — потом заменили дерматином. Книжный шкаф красного дерева, стеклянные дверцы, за ними ряды энциклопедий: зелёные, толстые, потоньше красные. Кровать с панцирной сеткой, чугунными фигурными стенками, блестящими шарами, которые можно отвинтить для игры. Когда весной приходит тётя Фрося белить наши стены, кровать развинчивают специальной тяжёлой ручкой, все вещи выносят во двор, в комнате поселяется гулкое эхо. Во дворе в бочке кипит (гасится) известь — опасная вещь. Фрося кистью на палке лихо замазывает стены, исчезают фантастические картины, выколупанные моими пальчиками и возникшие сами по себе (потом появятся снова — до следующей весны).

Фрося, деревенская, кажется, из раскулаченных, была до 38-го нянькой Ирочки. Нянька — что-то небывалое. Мы, трое детей, всегда остаёмся одни, мама в три смены в школе. Когда мы поднимаем рёв, в стенку стучит тётя Катя Лошкарёва — успокаивает (её квартира — смежная с нашей).

Ещё были настенные часы: цифры римские, цифра «четыре» изображена неправильно: «IIII»

вместо «IV»; блестящий круглый маятник, нежный бой часов каждые четверть часа. Почему хочется подробно описывать эти вещи, часто появляющиеся в моих работах: венские стулья, часы, кровать моей мамы? Как они появились в городе среди уродливых фанерных гардеробов, грубых табуретов, таких же грубых столов, крашенных тёмной охрой (такой был и у нас, уже на Маркса, 103) — краска и годы спустя оставляла следы на бумаге или клеёнке? А кровати? Не кровати — койки: погнутые железные спинки, вместо сетки сцепленные ромбами крючья, цепляющие тебя острыми концами, когда лезешь под эту койку за укатившимся мячиком. Много позже узнала, что всё это имущество дед и бабушка купили ещё в Ачинске (по семейной легенде, у растратившего казённые деньги почтмейстера). Ачинск — занюханный городишко, почти деревня: пыль, серые заборы, куры, коровы. Значит, здесь были мастера-краснодеревщики? Или какие-то люди привозили (как, на чём?) издалека? Куда исчезли эти мастера? Когда в 25-м году семья переехала в Красноярск, вещи переехали вместе с ней.

Наш бревенчатый дом вместе с двумя другими был снесён в начале 60-х, на месте прежней усадьбы (*ограды*) построена стандартная пятиэтажка. В ней получили квартиру мои родители (кровать и ломберный стол переехали к ним) и бабушка с Е. К. — у них поселились буфет, письменный стол, венский диван, кресло, стулья, этажерка. Часы ещё долго висели на стене, но перестали ходить. Теперь они в Москве, у Тани Шалаевой, отреставрированы. Другие вещи переехали в Томск, ломберный столик у Ирочки (после долгих споров Валя уступил), а на кровати с провисшей почти до полу панцирной сеткой мама спала до середины 90-х, до последней своей болезни.

Враги народа

В день, когда мама принесла меня из роддома (13 февраля 1938 г.), арестовали деда, обыск, вечером пришли за бабушкой. Дед, Константин Васильевич (деда Котя), получил 10 лет *без права переписки*. Бабушка, Варвара Петровна (баба Муся), — 10 лет лагерей в Норильске. Когда в 91-м можно стало ознакомиться в КГБ с их делом, узнали: обвинялись в заговоре против вождей (это в Красноярске-то!). Константин Васильевич работал начальником планового отдела Красноярского крайвнуторга. Варвара Петровна, педагог, была в то время методистом по дошкольному воспитанию. Заговорщики! Деду 48, бабушке 46 лет. Очевидно, деда страшно пытали — в бумагах его подпись под признательными показаниями. Его расстреляли 19 апреля того же года, Елена Константиновна подробно описала в своих воспоминаниях эти трагические события («История семьи» по этим воспоминаниям издана после смерти Е. К. в 2006-м внучкой Таней Шалаевой, тираж 30 экз.). Выпишу из этих воспоминаний два свидетельства о смерти (из-за их потрясающего цинизма).

Первое получено после реабилитации деда и бабушки в 1956 г.:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

Гр. Михайлов Константин Васильевич
умер — 7 февраля 1944 г.
(тысяча девятьсот сорок четвёртого года)
возраст — 1890 года рождения
Причина смерти — гипертония
о чём в книге записей актов гражданского состояния о смерти 1956 года августа месяца 25 числа
произведена специальная запись за № 744
Место смерти —
Место регистрации г. Красноярск
Бюро ЗАГС Сталинского р-на
Дата выдачи 10 ноября 1956 года
Подпись, печать

И вторая справка — от 1991 г.:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

Гр. Михайлов Константин Васильевич
умер — 19 апреля 1938 г.
(тысяча девятьсот тридцать восьмого года)
в возрасте 48 лет
Причина смерти — расстрел
о чём в книге регистрации о смерти 1956 года
августа месяца 25 числа
произведена специальная запись за № 744
Место смерти — Красноярск
Место регистрации г. Красноярск
Отдел ЗАГС — Центрального райисполкома
Дата выдачи 20 апреля 1991 года
Подпись, печать

Вот так — запись от одного и того же числа, под одним и тем же номером, и 1944 г. превратился в 1938-й, гипертония — в расстрел. Правда, «Сталинский» — уже «Центральный». Где его расстреляли? Скорей всего, в подвале НКВД. Где закопан? Дом НКВД (красноярской «Лубянки») — в двух кварталах от нашего, на той же улице Маркса. Я почему-то боюсь проходить мимо него, когда мама водит нас в парк. Боюсь до холода в животике. Возможно, этот страх передаётся через мамину руку, за которую держусь. А может, просто страшно, что широкие двери гаражей перед этим домом откроются, и выкатятся чёрные машины (*чёрные Маруси*), а я панически боюсь машин, в городе их совсем мало.

Когда в 1987 г. умер папа, Ирочка заказала памятники на его могилу и на бабушкину. На первую годовщину со дня смерти папы я приехала в Красноярск, и на кладбище со мной случилась дикая истерика, когда увидела на памятнике над могилой Варварой Петровны, кроме её имени, имя деда и даты: 1890–1944. Тогда ещё не знали, что 1938.

Но пока он где-то *без права переписки*, есть надежда. Его портрет на стене: белая рубашка — воротник-стойка, фуражка, аккуратная щетина, — деда Котя. А баба Муся присылает нам из Норильска письма, самодельные книжки с красивыми рисунками цветными карандашами (тираж 1 экз.), вышитые батистовые кофточки, выкроенные из носовых платков, даже чёрные сатиновые халатики, чтобы мне и Ире надевать в школу. Халатики — и многое ещё — были украдены летом 46-го, о чём

напишу позже, а одну из прелестных кофточек надевали потом и Танечка, и Ленка. Храню её и теперь.

Мы посылали бабушке свои каракули, рисунки, обрисовывали ладошки. Любили, хотя видели только на фото. Когда стали постарше, спрашивали: почему? Отвечали: Ежов, ежовщина, разберутся. Но почему так долго?

Бабушка, когда закончился срок в 48-м, ненадолго приезжала, потом вернулась в Норильск вольнонаёмной. Она ещё в лагере была переведена с общих работ (каких?) в контору при руднике (?). Приехала в начале 50-х, казалось, насовсем, но снова была арестована — *повторница*. До реабилитации в 56-м ходила еженедельно *отмечаться*, на опухших ногах, грузная из-за больного сердца, полуслепая (лагерный врач делал ей операцию: глаукома). Конечно, никакой пенсии. Готовила на всю громадную семью, учила нас шить, вышивать, штопать, мережить. Перешивала для нас одежду из довоенных пальто, костюмов, что хранились в сундуке на кухне. Шила на заказ для соседей и знакомых — при её-то слепоте. Но это было уже в 50-х. А пока ещё 43-й, папа на фронте, мама *на картошке*. В нашу *ограду* входит незнакомый человек в форме (охранник?), стучит. Открывает Ирочка, ей семь лет. Узнав, что мамы нет дома, человек просит хорошо запомнить и передать маме: на станции, на таком-то пути, состав с заключёнными, и Константин Васильевич Михайлов просит маму прийти повидаться. Вернувшись вечером, мама, похватав все продукты, что были в доме, бежит на вокзал. Там патруль — и к ней. Тут старик-будочник закричал: «Доча, доча!» И к охраннику: «Это мне доча ужин принесла». Маму пропустили в будку, не арестовали. А в 44-м в Минусинске на приём к сестре деда Ксении Васильевне (она была врачом) пришла женщина, сказала, что её муж освобождён из лагеря, где сидел с Константином Васильевичем, и тот просил передать, что жив. И чуть позже, опять же в Минусинске, к соседям Ксении зашёл охранник и передал, что К. В. очень болен, уже не встаёт. Всё это знаю из воспоминаний Е. К., а охранника в нашей *ограде* помню сама.

О, драматурги из НКВД! Какие потрясающие сценарии, как они заставили всю страну играть в своих страшных спектаклях! Мне приходилось слышать похожие истории, включая путаницу с датой смерти, от многих друзей и знакомых, но это позже. А тогда все молчали.

Небо везде

Чахлый скверик на улице Ленина, молоденькие тополя, их прозрачные кроны. Группу детсада привели сюда на прогулку. И я сквозь эту прозрачную листву вижу голубое небо — до самой земли, до самых крыш противоположных домов. Открытие: небо нельзя рисовать узкой полосой вверху листочка. Небо везде!

Это уже было

Ещё совсем маленькая. Сижу в песочнице нашего палисадника. В *ограде* играют дети; их голоса, восклицания, чей-то плач, стук мяча. Какая-то оглушённость, странное, непонятное чувство: это уже было когда-то, давным-давно. Это чувство возникало ещё несколько раз, в детстве. Потом перестало.

Читаю Набокова: Гумберт в горах над долиной, далеко внизу детские голоса. И вдруг такая же оглушённость, голова как в шаре из этих звуков. Я там стояла, это уже было…

Или у Марка Харитонова: «Он сидел в высоте… и нёсся спиной навстречу быстрым облакам, которые над его головой вздрагивали от трубных толчков… Ветви бесплодного сиротского сада с рассохшейся пустой скворечницей, теряя равновесие, неслись вслед за его вознесённым торсом сквозь пьяные ветреные небеса». Оглушена. Это уже было.

Афанасьевна. Кукла Гагочка

Старушка Афанасьевна живёт в доме напротив. Завалинка под окошками, палисадник смыкается с нашим, отгорожен невысоким штакетником, перелезть легко. Угощает голодную девочку (меня) *толокном*, прожаривает до коричневого цвета на керосинке муку (!), заливает водой.

Все соседи по *ограде* любят и балуют нас — детей из семьи добрых людей, попавших в беду. Даже Германовичи — семья энкаведешников. Их дочь Гутя, уже большая девочка, приносит нам лоскутки для кукольных нарядов. Кукла одна — Йрина, моя Фирочка появится позже. Зовут куклу Гагочка, фарфоровая, с закрывающимися глазками, красавица. Двух одинаковых кукол мне и Ире принёс Дед Мороз в новогоднюю ночь 41-го. Помню чулочек, повешенный на спинку кроватки, — для подарков. Утром, обнаружив свою красавицу, обняв её, в дикой радости бегу по комнате, налетаю на угол полки. Фарфоровая кукла разлетается вдребезги, так что остаётся одна — Гагочка. Ира её балует, бережёт, наряжает. Завидую страшно. Когда Иры нет, я издеваюсь над этой задавакой, ставлю её в угол, шлёпаю по попке, делаю уколы — самые больные. Но всегда боюсь повредить, испачкать, уронить.

Ещё немного об Афанасьевне. Она угощает меня не только толокном. Иногда это горбушка хлеба, конфетка-подушечка, ранетки. В её комнате высокая кровать с пирамидой подушек под вышитой накидкой, на стене ковёр, такой же, как у нас над маминой кроватью. Только на нашем уже почти неразличим рисунок, потому что очень интересно выщипывать из него пучки разноцветных ниточек, открывая основу, где в переплетениях этой основы угадывались какие-то мордочки, назывались обезьянками.

Муж Афанасьевны, старик с забытым именем, очень болел, лежал почему-то в чулане, а не в комнате, иногда в одном исподнем выходил в *ограду* — подышать. Потом умер. Первый покойник, которого я увидела.

Похоронные процессии часто шли по Маркса: впереди полуторка с откинутыми бортами, на ней, весь в цветах, гроб с покойником. Похоронный марш. Заслышав Шопена, все обитатели нашей *ограды*, дома специалистов спешили к воротам,

глазели на скорбную вереницу провожающих, обсуждали, кого хоронят, отчего умер (многих знали). Нельзя было смотреть вслед — к смерти. Примета, запомнившаяся с детства. Ещё из примет: нельзя спрашивать «Куда идёшь?» — к неудаче. На такой вопрос мама всегда отвечала: «На Кудыкину гору, горох воровать». Очень хотелось этого гороха.

Скарлатина

Сентябрь 41-го. Ирочка идёт за хлебом и берёт с собой меня. Очередь, извиваясь, заполняет весь двор за угловым универмагом. Ира усаживает меня на кучу досок, лежащих в углу двора. Я сразу теряю сестричку в этой толпе, смирно сижу на досках. Вдруг во двор въезжает грузовик, очередь расступается, а я страшно пугаюсь — машина! Соскакиваю с досок, пытаюсь найти Иру. Её нигде нет. С громким рёвом бегу домой. Это недалеко, всего квартал, но я впервые на улице одна. Дома начинает сильно болеть голова, горло, больно смотреть. Меня укладывают в кроватку, прикрывают ставни — полумрак, сквозь щели неплотно закрытых ставень пробиваются солнечные лучи. От них на стене солнечная дорожка, прерываемая тенями. Странное явление: по этой дорожке движутся (вверх ногами?) фигуры прохожих, машин, лошадей. Можно ли это объяснить законами физики, оптики, не знаю до сих пор, не сильна в оптике. Но я точно это видела.

Мне очень худо. Мама пробует отвлечь меня, приносит капустную кочерыжку — рубит в этот день на кухне капусту. Но я отказываюсь от кочерыжки, хотя всегда так любила. Приходит врач Вера Ивановна Алыбина: скарлатина. Меня увозят в больницу — барак на краю города (про больницы в городе так и говорят: барак). Потом говорили, что микробы скарлатины есть у всех, но не все заболевают. Развитию болезни способствует нервное потрясение. Хорошо помню это, вряд ли научное, объяснение.

Ничего не помню из больничной жизни, только лицо папы за окном — приходил попрощаться перед отправкой на фронт. Но вот уже выздоравливаю, вместе с другими детьми сижу в какой-то комнате, опустив ножки в тёплую воду. Надо, чтобы отшелушилась кожа, и болезни конец. Но тут я совершаю первое в своей жизни преступление и получаю немедленное наказание. Одной из девочек в нашей палате принесли передачу: толстые, маслянистые, аппетитные оладьи. Они стоят в тумбочке между нашими кроватками и безумно вкусно пахнут. Не могу удержаться, ворую несколько оладушек и съедаю, нарушая диету. Наутро просыпаюсь от страшной боли: распухла шея, болит спина. Осложнение. Воспаление желёз и почек. Ещё долго болею, уколы, компрессы… Воровать нельзя! Урок на всю жизнь.

Но вот я дома. Серая, унылая поздняя осень. Дождь. Окна заклеены крест-накрест бумажными полосками. Часто раздаётся сигнал воздушной тревоги — учебной, конечно. Ведь мы в глубоком тылу. Отключено электричество, на круглом столе керосиновая лампа, и это даже интересно. Прижимая носы к оконному стеклу, видим, как под дождём проходят серые колонны со скатками за спиной — на фронт.

Нефрозонефрит

Возможно, такого диагноза не существует, но мне именно так запомнилось название болезни, причина которой вновь оказалась кулинарной. Из Ачинска приехала тётя Лариса, привезла небывалое лакомство: кусок телятины и макароны. Приготовила (на керосинке?) необыкновенно вкусную похлёбку. Потом в наших играх макароны из травинок подавались как королевское блюдо. Для моего организма это пиршество оказалось слишком большой нагрузкой. Снова в больнице, теперь рядом с домом — палата в детской поликлинике. Очень тяжело болею, часто в бреду. Мама приходит после занятий в школе, усаживает на горшочек, поддерживает, чтобы не упала, плачет — в горшке опять кровь. Однажды ночью страшно пугаюсь: в большом окне зеркального стекла вижу тёмную фигуру, пытающуюся влезть в форточку. Ору на всю больницу, сбегаются врачи: Вера Ивановна Алыбина, заведующая Августа Ивановна. Значит, были на месте — ночью! (Теперь думаю: может, не ночью, ведь зимой так рано темнеет.)

Болею почти полгода. Дома оказываюсь уже в начале лета. Мне рекомендуется сахарный стол. Мама через родителей своих учеников достаёт целый стакан (!) сахара. Хорошо помню: сижу на маминой кровати с той самой панцирной сеткой, опираюсь спинкой на тот самой выщипанный ковёр, на коленках стакан сахара, серебряная ложка в руке. Первые две-три ложки съедаю с радостью — сахар! Потом всё труднее, так противно. А напротив, глотая слюнки, стоят Ирочка и Лёлик. Как им хочется съесть этот сахар вместо меня…

Давид Копперфильд

Папа после госпиталя (тяжело ранен на Курской дуге, был лейтенантом, командовал взводом артиллерии) ненадолго приезжает в отпуск. По пути заезжает в Москву, к Петровичам. Привозит от них подарок — два толстых тома: Диккенс, «Давид Копперфильд». Ира читает нам вслух. Сидим на полу перед печкой, нашей чёрной голландской круглой печкой. Дверца открыта, такой уютный свет от горящих поленьев — невозможно оторвать взгляд от огня. И фантастический текст Диккенса, фантастическая чужая жизнь: имение Грачи, бедный мальчик Дэви, его прелестная мама, жестокий отчим со своей сестрицей (кажется, Мордстоны), рыбацкий дом в перевёрнутой барже, Пиготи, горячий эль, крошка Эмми, благородный защитник малыша Стерфорд, презренный Уриа Гипп… Дочитав до смерти мамы с младенцем, не можем сдерживать слёзы.

Потом, научившись читать, я снова и снова перечитываю эти тома, никогда не могу дочитать до конца — преодолеть главы, где благородный Стерфорд становится таким негодяем.

Зачитанные до ветхости, эти два тома с дивными картинками оказались уже у моих детей. Однажды первый из них дали почитать Варьке,

дочери Давида Самойлова. Так она и «читает» его до сих пор. Второй храню. Больше ни одного романа Диккенса не читала.

Другие книги

Несколько детских книжек (случайный набор) лежат на этажерке (куплены *довойны*). Мама, потом и Ира читают вслух. Сто раз готова слушать: «Один глазок у Алёнушки спит, другой смотрит…»—это Мамин-Сибиряк, «Алёнушкины сказки». Или вот это: «Мы одной крови, ты и я», «Акела промахнулся, Акела промахнулся»—Маугли, Багира, медведь Балу… Как жалко старого волка… Последняя страница утеряна, конец неизвестен.

Много раз перечитывался «Оловянный солдатик»; у мальчика столько игрушек—целая коробка солдатиков, балерина перед замком, зеркальное озеро с лебедем… Ночью игрушки оживают, из коробки на пружине выскакивает *бука*, обижает стойкого солдатика. Рисовала этого *буку* с гримасой ненависти, зло чиркая карандашом. Мама, согнув пополам лист бумаги, вырезала непонятную фигуру; листок разворачивался, фигура оказывалась балериной, одну ногу полагалось отогнуть.

В книге, которую я читала уже своим детям, никакого *буки* не было, был тролль,—без *буки* сказка потеряла часть очарования.

Книжка Квитко (пока ещё не расстрелянного): «Кто умеет, кто умеет делать дудочки?» Здесь страница наискось оторвана—так и не узнала технологию изготовления дудочки.

Любимейшая—«Принц и нищий» (произносилось: *прынц*): странные дома Лондона—чем выше, тем шире этажи, Тауэр. «Король умер—да здравствует король!» «Сэр, что вы делали с государственной печатью?—Колол ею орехи». (Может, неточно цитирую, так запомнилось с детства.) А какие картинки в этой толстой книге—можно долго-долго рассматривать их, лёжа на полу.

Книжку «Про Белочку и Тамарочку» неизвестный автор написал, конечно же, про нас, Галю и Ирочку: меня за льняные волосики часто называли Беляночкой, это почти Белочка. Только мы не были такими глупенькими: не собирались есть поганки, не теряли на берегу речки трусики.

«Былины» подарила нам тётя Шура, одна из сестёр деды Коти. Приехала из Черногорки на совещание, на несколько дней остановилась у нас. Она учительница, как наша мама, только русского языка. Учила нас разгадывать шарады. Мама относилась к ней холодно: в семье считалось, что Шура после ареста брата написала какое-то *отречение*. Мы, дети, её обожали. «Былины» —роскошная книга: твёрдый коричневый переплёт с тиснёным орнаментом, большие красно-чёрные буквицы в начале каждой былины (птица Сирин, русалки). Но не очень интересно, не запоминается. Непонятно, например, как это соловей мог быть разбойником.

То ли дело «Русские народные сказки»! Стоит прозвучать: «жили-были» или «в некотором царстве, в некотором государстве»—и ты уже в плену. Или вот это: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Музыка!

Иногда мама приносила книжки из школьной библиотеки: «Буратино» и его продолжение, где бедные куклы убегают от Карабаса-Барабаса в счастливую страну—Советский Союз (наверно, страшная халтура, никогда больше не встречала это продолжение); «Цветик-семицветик» Катаева и его же историю про человека—песочные часы и девочку, которая любила смотреться в зеркала.

Тогда ли уже читались «Хижина дяди Тома», «Чёрная Салли»? Очень любили негров.

Кто-то дал Чарскую (не помню названия). Никому нельзя было рассказывать об этой книге: Чарская—*запрещённый* автор! На картинках—девочки в белых пелеринках, локоны на затылке перехвачены лентой; рисуем этих девочек. Я увидела их, узнала (!) на холстах Макке, немецкого экспрессиониста, убитого в Первую мировую совсем молодым,—но это, конечно, много позже, в другой жизни. Дивное имя одной из героинь: Нина-Джаваха-Алы-Джамата. Как заклинание.

Как это было чудесно: мы, трое детей и мама, устроились на кровати с панцирной сеткой, у выщипанного нашими пальчиками ковра. Потрескивают поленья в нашей голландке. Вьюшка ещё не закрыта, позже мама выгребет головешки, вынесет во двор, иначе угорим, закроет вьюшку, чтобы не уходило тепло. Мама читает. Может, это Ванда Василевская (название забыла, а имя забытой писательницы помню), о бедной немецкой девочке, которая ела хлеб с *маргарином*, у неё умерла мама—тут мы начинали реветь. Или «Чёрная курица», «Козетта»—тоже очень жалостливые.

Да мало ли книг было перечитано на этой кровати, на полу перед печкой, на лавочке под двумя тополями! Как у мамы хватало сил, желания, времени, наконец? После двух-трёх смен уроков в школе, после частных уроков (ходила к ученикам домой, платили кто чем мог: хлебом, яичками). А ещё надо топить печь, наколоть дров, приготовить хоть какую-то еду, прибраться, отвести детей в сад и забрать их оттуда, купать, стирать, штопать. А потом, когда дети уснут, готовиться к урокам, проверять гору тетрадок.

Но это было, было.

Перспектива

Зимний день. Крутой берег Енисея. Там, далеко внизу, по толстому льду проложена дорога (*зимник*). Медленно тянутся грузовики, лошади с санями, крошечные фигурки людей. Почему всё такое маленькое? «Это перспектива»,—объясняет Ирочка. Перспектива—запоминаю трудное *научное* слово.

Третьяковская галерея

В одном из ящиков письменного стола—небольшой альбом с открытками: «Третьяковская галерея». Мама собрала эти открытки в Москве, училась там в Педагогическом институте им. Бубнова (Бубнов—нарком просвещения, ещё не *враг народа*). Как часто мы рассматриваем, сидя на той же кровати, эти открытки! Стандартный набор: «Мишки в лесу», «Алёнушка», «Незнакомка»… Я люблю все эти шедевры, но больше всего мне

нравится Врубель, «Ночное». Таинственные тёмные травы, цветы, фигуры лошадей, мужиков. Как всё неправильно, нечётко! Как затягивает!

Энциклопедии

Энциклопедии занимают несколько полок книжного шкафа. Тёмно-зелёные, с золотым тиснением, толстенные, с буквами «ять» и «ер»—дореволюционные, «Брокгауз и Эфрон» (тогда этого не знала). Потоньше—чёрная обложка, красный корешок—«Большая советская» 30-х годов. Вырезаны некоторые статьи, в них затесались *враги народа*. Слово «энциклопедия» трудно выговаривается, называем просто: словари.

Достаём тяжёлый том в зелёном переплёте—зелёные любим больше, в них много картинок. Всё на той же панцирной кровати раскрываем: «Адам и Ева» с фиговыми листьями—наверное, Кранах; Венера с отбитыми руками; «Блудный сын»… Как хороша «Всадница» Брюллова: девочка в розовом, в панталончиках, протягивает руки к красавице на коне, собачка… Картинки переложены папиросной бумагой, едва видны сквозь неё. Волшебное мгновение: перелистнёшь полупрозрачный листок—и хлынет свет, цвет.

Если вырвать такой листок, приложить к расчёске и погудеть, получается интересный звук, называется *гавайская гитара*. Играем на гавайской гитаре, безбожно портим книгу.

Фотографии

В письменном столе, в его глубоких недрах, много увлекательного. Кроме «Третьяковской галереи», маминой коллекции денежных купюр, бабушкиных журналов «Дошкольное воспитание», там несколько альбомов с фотографиями и просто пачки фото. Дореволюционные, на плотном картоне, в изысканных рамочках, на обороте имя фотографа: деда Котя и Мусенька, молодые, красивые, с двумя детьми—Клашей, нашей мамой, и её братиком Валерьяном. Его случайно застрелит товарищ в военном училище, в Ачинске. Другая, где детей уже трое—в 18-м в семье появилась Леночка. Несколько больших фото, где скорбные Константин Васильевич и Варвара Петровна у гроба сына. Это 35-й, февраль; через три года, тоже в феврале, арестуют их самих. На дне ящика коллективные фото: преподаватели и студенты Красноярского пединститута. Педагогов трудно отличить от студентов, такие же юные. Институт создан недавно, почти все преподаватели только что сами со студенческой скамьи. Как интересно разыскать в этой толпе папу с его пышной тёмной шевелюрой. Альбомы можем рассматривать часами. Фото мамы: длинные косы (теперь они уложены *корзиночкой* на затылке), строгий взгляд. Улыбающаяся, в сарафане, волосы подстрижены. Рядом папа: майка в полосочку, на коленях две девочки. Я у папы, ещё не начала ходить. Эту называем «куриные ножки»—так смешно выглядят перекрещенные ножки ребёнка на фото. Несколько явно снятых в один день: смеющаяся девчушка, солнечный ореол в пышных волосиках, белое платье, вышитое Мусенькой. Говорили, что подкидывали цыплёнка, чтобы я рассмеялась. Цыплёнка не помню, но помню этот день, забор палисадника Капитолины Николаевны, у которого стою. Наверное, это лето 40-го (может, 41-го?).

Опишу ещё одно фото. На берегу неизвестной реки—обнажённый худой паренёк, картинно поднятая рука, одна нога, согнутая в колене, опирается на большой валун. Почему-то мы, дети, разрисовали этот снимок чернилами, закрасили, почти выкололи глаза. Обнаружив это, мама очень огорчилась: на снимке, оказывается, наш папа, плохая примета, а папа на фронте. Это был один из немногих его юношеских снимков, ростовских, а река—Дон.

И ещё одна карточка, паспортного размера, воткнута за раму зеркала на комоде: тётя Сима, старшая папина сестра, его воспитавшая (их мама рано умерла). Сима приезжала в Красноярск в гости. События на Халхин-Голе (или на озере Хасан?) напугали её—скоро здесь будет война, уехала обратно в Ростов, где и погибла вместе с тысячами евреев города. Из родных у папы остался только старший брат, дядя Яша. Он был, как и его жена Лена, военврачом, на фронте от звонка до звонка. А их сын Виталик погиб в последний год войны, при освобождении Братиславы.

Формы времени (из грамматики)

Две основные формы прошедшего времени: *довойны* и *дореволюции*—Past Indefinite и Past Perfect—в рассказах взрослых, в наших играх. *Довойны* всё было замечательно. Были *ириски* и *лимонад* (Ира помнила), ими угощали королей в наших играх. Было какао—это помнила я: пролила очень горячее на себя. Был даже шоколад: обёртка, в которой когда-то лежала плитка (Пушкин с Ариной Родионовной), хранится в письменном столе, считалось, что до сих пор пахнет шоколадом, нюхали. *Довойны* купили детям кроличьи шубки: Гале-беляночке—чёрную, черноволосой Ирочке—белоснежную. Она носила свою, ставшую совсем серой, очень долго, класса до четвёртого. Потом бабушка приспособила эту шубку Маре (Марине Шалаевой). Тогда же купили девочкам и шапки с длинными ушами, мех неизвестен; носили зимой всю войну. У Иры *довойны* было много игрушек, некоторые остались: два-три узких кубика (играли роль тех самых ирисок на королевских пирах), заводная птичка (ключик потерян). Куда делись другие? Может, уничтожили при дезинфекции, когда я заболела скарлатиной? Да чего только не было *довойны*! Папа купил гуся, гусь купался в бочке под водосточной трубой, я его боялась. Моя туфелька застряла в решётке над подвальным окном на Сталина, провалилась в яму. Туфелька! В *ограде* был глубокий погреб—*ледник*, там хранили *продукты* (!) все обитатели наших домов. Смутное воспоминание: держась за папину руку, спускаюсь в этот погреб—темно, страшно. *Довойны* папа был чемпионом края (или города?) по плаванию стилем брасс (это, конечно, из рассказов); мы переезжали на пароме к острову (зачем?), я испугалась машин, стоящих на этом пароме, потом началась буря, гроза, папа бежал со мной на руках домой…

Дореволюции тоже было много интересного. Жили цари и царицы, ездили в каретах, дамы носили пышные платья до полу. Однажды царь (Николай II) проездом (куда? на чём?) останавливался в нашем городе, в богатом доме. Там была красавица-горничная, потом она родила сына. (Анатолий Николаевич, друг дома, статный, высокий, и был, по легенде, этим сыном царя). *Дореволюции* мама училась в *гимназии*, была такой маленькой, что старшие ученики брали её на руки и вытирали (ею!) доску. У неё и брата Лёлика на фото красивые костюмчики. Земские учителя (и баба Муся тоже) собрали *по подписке* деньги для постройки Дома учителя, этот красивый дом—под нашими окнами. На открытии этого Дома бабушка на сцене *давала открытый урок*.

Дореволюции были красивые деньги—екатерининки (в коллекции мамы); в книгах (такие на дне книжного шкафа)—незнакомые буквы: «ять», «ер», «ижица»; время шло *по старому стилю*, так что теперь получалось два Новых года—новый и старый; в конце улицы Ленина (это место называлось Старый базар) был женский монастырь…

Между *дореволюции* и *довойны* было какое-то промежуточное время: в *гражданскую* взорвался в Ачинске эшелон снарядов. Ян Яныч присылал маме красивые деньги *Дальневосточной республики*. Мусенька спасала детей в детском доме Минусинска. В этом Минусинске росли помидоры величиной с голову ребёнка, арбузы, дыни. Мама работала на Стекольном, зимой тонула в Москвареке, пела в «Синей блузе», ходила на «Столбы»… Замечательный семейный фольклор.

А пока, в Present Continuous, продолжается война, треугольники папиных писем; продолжается *Норильск* и 10 лет *без права переписки*. На столе керосиновая лампа—электричество отключено, а для печки-голландки приготовлено каждый день ровно 12 поленьев, больше нельзя—не хватит до весны. Плита в *маленькой* комнате не топится, от мороза в ней погибли все цветы в горшках; дверь в эту комнату плотно закрыта (мы тайком заходим туда—взять очередной том *словаря*, порыться в ящиках стола). В *большой* комнате на маминой кровати трое детей *дуются* в карты—в *пьяницу*.

Пьяница

В нашей весьма пуританской семье карточные игры никогда не считались пороком. Помню (это уже в 50-х), за обеденным столом вся большая семья: баба Муся, мама, папа, Ленуша, пятеро детей. Играем в «джокера». Уже поздно, пора спать. «Ну ещё раз, последний!» Потом были «66», подкидной дурак «с отдачей», «из-под домика дурак», «кинг». Это всё сложные игры.

В *пьянице* правила самые простые, их знает даже маленький братик Лёлик. Колода затёртых, засаленных карт (неизвестно из какого времени); иногда карты теряются. Тогда рисуем сами, нарезаем листочки из обложек старых тетрадей, фиолетовыми и красными чернилами вырисовываем валетов, дам, королей. Эти, бумажные, трудно тасовать, так что чаще картами служат фотографии, которых так много в письменном столе. Тут свои сложности: конечно, фото мамы и папы—это тузы, но кто тогда деда Котя, Мусенька? Обидно быть шестёркой, хочу дамой. Правила на ходу меняются. Очень трудно установить иерархию.

Уже почти победитель, выигранные «деньги» едва помещаются в ручках. И вдруг в один миг теряется всё. Как переменчиво счастье!

Игры в ограде и дома

Летом—с утра до темноты во дворе (в *ограде*). Большая компания: нас четверо, включая Марку (маленькая Олечка не в счёт), Люська Лукина—квартирантка, одна из внучек Мавры Захаровны, две Тамары, Дмитриева и Пальмирина, из *дома специалистов*. Из этого же дома девочка с красивым именем Инесса и другая—Инка Шапер с сопливым братом Лёвкой, дурачок Гогушка…

Столько игр—трудно выбрать. Пусть прятки. Считаемся—кому водить (по-нашему—*голить*). «На месте кашу не варить, а по городу ходить». Да что я описываю? Прятки и теперь все знают (или не знают уже?).

Лучше *золотые ворота*. Двое, соединив вверху руки, образуют воротца, задумывают пароли: рыба или птица, хвост или кость, попка или жопка… Остальные цепочкой идут за *маткой*, держась друг за друга, распевая: «Золотые ворота, пропустите меня, я и сам пройду, и детей проведу». У ворот матке надо выбрать пароль, отдать кого-то из цепочки на одну из створок; потом соревнования—кто перетянет.

Или вот—*краски*. «Тук-тук!»—«Кто там?»—«Чёрт с рогами, с горячими пирогами!»—«Зачем пришёл?»—«За краской!»—«За какой?» Тут сердце замирает: вдруг меня? «За красной!» Нет, не угадал, и радостно, хором: «Скачи по красной дорожке на одной ножке!» Придумывали неугадываемые: серо-буро-малиновая, огненная…

Конечно, *классики* (давно не видела на московском асфальте). На земле палкой рисовали классы: два ряда клеток венчались полукругом—это дом, где можно отдохнуть. Стоя на одной ноге, кидаешь стёклышко на очередную клетку—класс, прыгаешь до него, поднимаешь стёклышко, прыгаешь дальше. Остальные дети вокруг на корточках, ждут, когда ты ошибёшься. После успешного прохождения классов надо всё повторить с закрытыми глазами, спрашивая на каждом шагу: «Мак?»—в ответ хор ожидающих: «Мак!» И снова: «Мак?»—«Мак!»—«Мак?»—«Дурак!»

Весело кривляясь, дразним сидящую на завалинке Бабу Ягу: «Баба Яга, костяная нога!» Внезапно Баба Яга вскакивает, сердце уходит в пятки: только бы не поймала. «Чик! Дома!!»

Вековые традиции, словечки, ритуалы, правила, дошедшие до нас, детей, через поколения, от деревенских игрищ, что ли?

Или вот ещё. Две шеренги игроков, обнявших друг друга за плечи, наступая и отступая, распевают:

А мы просо сеяли, сеяли, ай, дид-ладо, сеяли, сеяли.
А мы просо вытопчем, вытопчем,
ай, дид-ладо, вытопчем, вытопчем.

И так далее, угрожая, уступая,—не помню, чем кончалась эта оратория.

Играли в *жмурки*, не подозревая об эротичности этого развлечения. Я поняла это лет в сорок, в Качергине, когда местные дети (Юлита, Донатас, Грета, Джульетта—какие чудные имена) играли с моими.

Лунки, ножички, колдунчики, пристеночек, испорченный телефон… хватит перечислять.

Это всё летние игры.

В непогоду, в осеннее ненастье, зимой играли дома. *Короли, дочки-матери* (дочкой часто был Лёлик—Лялечка, как звала его доктор Алыбина; обижался), в больницу, в зоопарк. В зоопарке много зверей: панцирь черепахи (настоящей, давно погибшей—нянька, споткнувшись, обварила её кипятком); чугунный орёл из каслинской рамки для фото; раковина с комода (*в ней шумит море*)…

В настоящем зоопарке мы однажды были; кажется, он был эвакуирован, размещался на площади, на месте взорванного собора. Совершенно не помню зверей, только лабиринт между серыми заборами, по которому проходили к клеткам. Эти заборы украшали площадь до начала 50-х, когда на месте собора построили помпезное здание то ли крайкома, то ли крайисполкома.

Играли в школу. Ира—учительница, очень строгая: «Галя Эдельман! Объясни на примере смысл пословицы: „Не плюй в колодец—пригодится воды напиться“». Книжка с пословицами (буквы «ять», «ер») извлечена со дна книжного шкафа. Объясняю: «Бежала лисичка, плюнула в колодец…»—«Нет, неправильно!»—«Шёл медведь…»—«Нет!»—«Прискакала лягушка…»—«Садись, два!»

А *фанты*! «Вам барыня прислала голик да веник, да сто рублей денег, да коробку соплей…»—тут невозможно удержать смех.

Два тополя. Клумба

В палисаднике Капитолины Николаевны весной расцветает яблоня, к осени на ней—крупные ранетки (размером с вишню); можно сорвать, просунув ручку сквозь щель высокого забора,—это серьёзное преступление. В глубине её сада—пышные георгины. На яблоньке тёти Кати Лошкарёвой ранетки маленькие, как горох, зато нам разрешают их срывать, есть—горько-кислые. Ещё у неё настоящее чудо—цветок под названием «марьины коренья»: это дикий пион с большими алыми цветами. Мама говорит, что такие растут прямо в лесу, там же лилии, саранки, венерины башмачки. Потом убедились сами, а в то время в лесах, окружавших город, не бываем.

В нашем палисаднике яблонь нет, у нас растут два тополя—наша гордость. Таких высоких, толстых (ствол не обхватить ручками) нет ни у кого. Тополя давным-давно посадили мама с братом Валерьяном (Лёликом), тем, что был застрелен в 36-м. Мощные корни образуют пригорок (зимой скатываемся на санках). Из-за тополиных корней, из-за их густой тени яблони не могут у нас расти. На тополе Лёлика удобная развилка; правда, довольно высоко. Ира сидит в этой развилке, читает нам «Халиф-аист». Мне трудно (и страшно) туда взбираться. Вообще-то тополя—основные деревья в городе (ещё акация, с жёлтыми цветочками, стручками-пикулями). Тополя растут по обе стороны проспекта Сталина почти сплошной стеной, уходящей в *перспективу*, где синеет сопка. Но наши, конечно, особенные. Яблони у нас не растут, но растёт многое другое. Глухой забор, отделяющий палисадник от улицы (Кирова), затянут вьюнками и бобами—синие граммофончики вьюнков, красные цветы бобов; потом из них вырастают стручки, можно раскрыть и есть зёрнышки. Под окнами вдоль бревенчатой стены весной сажаем картошку (очистки с глазками), урожая, кажется, не бывало; там же морковка, капуста. Большие листья капусты (до кочанов не доходит) все в дырках, отвратительные зелёные гусеницы… не может быть, что это детки любимых белых бабочек с чёрными пятнышками на крыльях. Голодным летом 46-го из ботвы этой картошки, морковки, листьев капусты, лебеды мама варит суп. Суп получается горьким, реву, но приходится есть.

Посреди палисадника, там, где меньше тополиная тень, круглая клумба. В центре георгин, цветы не такие большие, как у Капитолины Николаевны, но всё равно очень красивые: тёмно-бордовые, с белыми острыми кончиками. Клубни георгина выкапываются осенью, хранятся всю зиму в подполе. Вокруг георгина в начале лета высаживается рассада цветов. За рассадой идём в Юдинский сад (Юдин был крупным промышленником *дореволюции*). Мама берёт с собой меня и Ирочку. Это очень далеко, надо спуститься по *Диктатуре* до самой Качи, пройти по деревянному мостику, долго подниматься в гору. Выбираем всегда душистый табак, резеду, собачки, анютины глазки, петуньи—простые, неприхотливые цветы. Священнодействие: сажаем, поливаем, пропалываем. Запах резеды, вечером—табака. Как это понять, совместить? Война, *Норильск*, голодные детишки—и эти цветы, клумба, резеда…

На Енисей

Счастливый день: мама свободна и ведёт нас на Енисей, купаться. Это совсем недалеко, два-три квартала, но одним нельзя ни в коем случае. Узкая тропка по крутому берегу, прибрежная галька осквернена битым стеклом—босиком ходить опасно (летом мы всегда босиком). На дне, под водой, тоже могут быть острые стёкла. Широченная река, самая широкая в мире, самая длинная! (Очень огорчены, когда позже узнаём, что это не так. Но уж точно—самая красивая.) Большие острова: Посадский, остров Отдыха, вдали остров Молокова—с него взлетают гидропланы, садятся на воду.

Быстрое течение моментально относит пловцов от места, где они вступили в воду. Барахтаемся у берега, хохочем, брызгаем друг в друга. Держась за руки (маленький хоровод), прыгаем и приседаем: «Баба сеяла горох, прыг-скок, прыг-скок». Мама хватает на руки, тащит *на глубину*, собирается вместе окунуться. Визг, рёв, судорожно цепляюсь за её плечи, отбиваюсь. Всё равно окунаемся; скорее к берегу от такого ужаса! Дети накупались уже до синевы, стучат зубами. С трудом удаётся

выгнать на берег. Теперь очередь мамы. «Только не заплывай далеко!» Мама плавает замечательно — «*по-бабски*»: двумя руками одновременно загребает под себя, двумя ногами вместе бьёт по воде. По быстрой воде плывут плоты, кошели — незабываемый запах мокрой древесины; шлёпают колёсами, дымят пароходы — от них на берег накатывают волны. Тянутся баржи. На такой же барже уплывала моя бабушка (под конвоем). На другом берегу синяя, заросшая лесом горная цепь (отроги Саян), Токмак, Цветущий лог, Гора-Диван. По левую от нас руку река, наверное, поворачивает, не видно продолжения нашего берега. Там кончается земля!

Музей

Музей стоит на берегу, там, где улица Сурикова спускается к понтонному мосту. Розовая стена без окон украшена поверху замечательной фреской — копией древнеегипетских. Пахарь, смуглое лицо с удлинённым глазом, в профиль (!), белая трапеция его юбки (может, фартука), странная позиция ног; волы, снопы пшеницы, колосья вверху расходятся веером; такие же веера на шлемах воинов, в руках луки со стрелами, та же позиция ног. На девушках узкие длинные платья, рельефные складки, выглядывают ступни. В архитектуре здания тоже что-то древнеегипетское. Прихоть ли заказчика-купца (музей построен *дореволюции*), фантазия ли архитектора вознесла это египетское чудо над сибирской рекой? Фрески можно хорошо рассмотреть — дорога здесь проходит выше, музей в низине, как бы под горой. На моих рисунках вместо круглых лиц с двумя глазами появляются *профили*. Ещё одно открытие: глаза надо рисовать не на верху лба, а посредине лица.

В музее стоит громадный скелет *настоящего* мамонта. На таких охотились доисторические люди в одной из любимых книжек.

Остров Отдыха

Раза два-три нас водили на остров Отдыха, громадный остров посреди Енисея, напротив города. Надо пройти по понтонному мосту целый километр — такая широкая здесь река, а ещё есть *протока* между островом и правым берегом. Мост раскачивается, скрипят, лязгают железные пластины, скрепляющие понтоны; сквозь широкие щели под ногами видно стремительно несущуюся воду. Страшновато. На острове — заросли черёмухи, весной она буйно цветёт, одуряюще пахнет. Горожане ломают, несут охапки белой кипени по мосту. К осени черёмуха усыпана кистями чёрной ягоды, сладкой, вяжущей. Её в гранёных стаканах продают *на уголке*. Высокие травы, в глубокой канаве посреди острова после половодья сохранилась вода. Квакают лягушки, летают стрекозы…

Настоящая природа!

Ледоход

В первых числах мая город просыпается от воя сирен — ледоход. Все бегут на берег — не пропустить, посмотреть. Стремительно несутся льдины, громоздятся одна на другую; грохот, скрежет. Течение выбрасывает некоторые на прибрежную гальку. Здесь они образуют высокие торосы. Белоснежные, ноздреватые глыбы долго остаются на берегу, тают.

Давно уже (с середины 60-х) нет этих ледоходов: великая река, изнасилованная плотинами гэс, зимой не замерзает, летом больше никто не купается — вода ледяная. Мёртвая река.

Бытовые удобства

Кроме голландской печки и плиты, в маленькой комнате (той, что никогда не топится) есть ещё большая русская печь на кухне. Настоящая русская печь, с глубокой духовкой, плитой на три конфорки. Духовка закрыта железной *заслонкой*, в войну духовкой никогда не пользуются. Плиту ненадолго затапливают: приготовить еду, согреть воду. Тепла от неё мало — на кухне всегда холодно. Зимой замерзает вода в кадке. Впрочем, кадка обычно стоит в сенях, в сильные морозы её перетаскивают в кухню, но и здесь приходится разбивать корочку льда, чтобы почерпнуть воды. Воду, восемь вёдер, мама (став постарше, и мы, дети) носит из колонки, что торчит из земли в конце двора. Там же дощатый сортир, страшная *помойная* яма на месте бывшего погреба, сараи (их называют *стайки*), где хранятся дрова, и всякий хлам обитаемой нашей *ограды*. Когда в колонке нет воды, а это случается часто, приходится спускаться в подвал *дома специалистов* (в *доме специалистов* редкая роскошь — водопровод и центральное отопление, котельная в этом подвале). Истопник милостиво разрешает подставить ведро под струю из высоко торчащего крана. Но злоупотреблять этой милостью не стоит. Иногда стучали к знакомым (не очень-то знакомым) жильцам этого дома; пропускали на кухню, позволяли наполнить ведро.

Старинный умывальник, под ним таз, называемый помойным. Умываться не люблю: когда нажимаешь на стержень, ледяная вода бежит по рукам до самых подмышек. Замечу, что упомянутый сортир (вонь, на полу лужи мочи… ну, как все такие заведения по всему Союзу) не для детей: у каждого из нас под кроваткой свой горшочек. Но содержимое этих горшочков, отправленных в помойное ведро, приходится выносить в ту самую помойную яму («Ира, вынеси ведро!»).

Хватит про нечистоты! Наступает суббота. В кухне на плите нагрета вода. В большой комнате натоплена голландка, на двух табуретках стоит цинковая ванночка. Дети раздеты догола, прыгают по комнате в диком восторге (теперь бы сказали — эйфории). Чудесное ощущение своего голенького тела. Первым мама купает Лёлика, потом по старшинству девочек (в той же воде? — возможно). Мыльная вода щиплет глаза; спинку мама трёт *вехоткой*. «С гуся-лебедя — вода, а с Галюши — худоба», — чистой водой из ковша. «Ещё *окати*!»

Уложив детей, мама устраивает небольшую постирушку в этой же ванночке и, перелив драгоценную воду в таз (тот, из-под умывальника), моет пол.

Большая стирка происходит на кухне. В той же ванночке поставлена стиральная доска, на ней

мама намыливает и трёт наши ветхие простыни, наволочки, полотенца; полотенца когда-то, давным-давно, промережены и вышиты бабой Мусей. На Ирином — красивая чашка, буквы: «Кушай, Ирадоча». После полоскания бельё надо обязательно *подсинить*. Тугой мешочек с синькой хранится в ящике кухонного стола. А мыло? Почти чёрный, резко пахнущий брусок; как сказали бы теперь, мыло в большом дефиците, сухие обмылки лежат в том же ящике. Помню слово *щёлок*; не знаю, что это, но что-то опасное. Иногда вместо мамы стирает Фрося, но считается (кем?), что она это плохо делает: *застирывает*.

В ограде растягивается верёвка (называется — бельевая), развешивается мокрое бельё, закрепляется прищепками. Так поступают все жители, двор порой превращается в непроходимый лабиринт. Зимой заледеневшие, негнущиеся, колом стоящие вещи вносят в дом — комната наполняется восхитительным запахом.

На круглом (венском) столе расстелено байковое одеяло. Тяжёлый утюг называется *паровым*. Когда откидывается его крышка, засыпать угли, — возникает зубастая морда (такой утюг — в одной из композиций Сидура). Мама, смочив пальцы (средний и указательный) слюной, проверяет, достаточно ли нагрелся. Ритуал, доведённый до автоматизма. Чёрный корабль быстро плывёт по белизне, разглаживает волны. Заворожённо смотрю. Глаженое бельё складывается в ящик комода.

Как ловко, быстро, красиво работает мама!

«Мама мыла раму»

В *большой* комнате — три окна, выходят во двор Дома учителя, в *маленькой* — два, смотрят на Кирова. Осенью в окна вставляют вторые рамы (они хранятся в чулане). Щели заклеиваются полосками газетной бумаги. Из муки варится клейстер — это непозволительное расточительство, но иначе *будет дуть*. Зимой всё равно *дует*, окна до самого верха покрываются ледяными узорами. Весной рамы надо *выставить*; чисто вымытые, их снова убирают в чулан. Распахиваются створки окон, можно вылезать во двор Дома учителя. Там под окнами небольшая лужайка, заросшая *гусиной* травкой, много маленьких жучков: оранжевое брюшко, ярко-синие крылышки.

На ночь окна закрываются ставнями. Непростая работа. Тяжёлая железяка прижимает деревянные створки, *болт* вставляется в отверстие стены, внутри закрепляется *чекушкой*. Это уже наше дело. Открывать и закрывать ставни ходит мама. Для этого надо много времени: выйти за ограду, обогнуть дом Афанасьевны и Капитолины Николаевны, пройти мимо палисадника по Кирова. Здесь окна расположены высоко, приходится вставать на завалинку. Можно бы сразу повернуть в ворота Дома учителя, но они почти всегда закрыты, иногда даже стоит охранник — внутри двора военные склады. Так что приходится тем же путём вернуться в нашу *ограду* и через калитку палисадника Лошкарихи добраться до окон большой комнаты. Когда же мама встаёт, чтобы открыть ставни? Ей потом бежать в школу — неблизкий путь по Маркса, мимо парка, потом по неизвестным нам улицам почти до самого вокзала. А ещё отвести детей в сад на Диктатуре…

Парк культуры

Кусок соснового бора отделён от улицы Маркса красивой решёткой. Густой подлесок — кусты волчьей ягоды; жаль, что нельзя есть. Это Парк культуры и отдыха имени Горького. На центральной аллее — фонтан (мальчик с дельфином) и гипсовые скульптуры. Кроме стоящих по всему Союзу девушки с веслом, салютующего пионера (рука отбита), другого пионера, с горном, и прочих шедевров монументального искусства — несколько грубых гипсовых копий античных скульптур. Хорошо помню дискобола. Этого дискобола изобразила потом (уже в пятом классе), удивив учительницу, в рисунке на тему «Зима». Обнажённая фигура дискобола на переднем плане, шапки снега на его плечах, голове; вдали заснеженные сосны и маленькие фигуры лыжников. Если честно, дискобола срисовала из учебника «История древнего мира».

В парке замечательный аттракцион: детская железная дорога. Машинист маленького паровоза, кондукторы, билетёры — все-все должности выполняют старшие дети. Как мы им завидуем!.. Звонит колокол, поезд отправляется. Глазеем в окно вагончика на глухой серый забор, на попутные станции — мальчик с жёлтым флажком в руке пропускает поезд дальше. Настоящие семафоры, высокие сосны пробегают мимо. Поезд огибает весь парк; жалко, что путешествие так быстро заканчивается.

В этой части парка — танцплощадка. Смотрим сквозь сетку, её огораживающую, как танцуют взрослые девочки — шерочка с машерочкой…

Художница, нет — математик

На полу кухни разложен большой лист бумаги. Откуда? — бумага такая редкость. Возможно, мама принесла какой-то старый плакат. Не знаю. Появляется длинная процессия: гости пришли к королеве, принесли подарки. Все гости — дамы, изображены *в профиль*. Они в пышных платьях, множество оборок, бантов; затейливые причёски. Это всё отрицательные персонажи, надменные богачки. Стараюсь изобразить их лица как можно более уродливыми. Среди них одна — красавица, платье в заплатках, в руках драгоценный подарок. Конечно, сюжет сама себе рассказываю. (Не эти ли дамы *в профиль* гуляют до сих пор на моих картинах?) *Квартиранты* — сёстры Чергейки (у нас общая кухня) — восхищены: Галочка будет художницей! Нет, я буду математиком, как мама и папа.

Интересно, а чем я рисую? Скорее всего, чернилами. Большая бутылка с чернилами стоит всегда на полу под письменным столом, ведь мама — учительница. Она сама делает эти чернила из чернильного порошка, заливает его водой. Вряд ли это цветные карандаши. Они редко у нас бывали. Ненадёжные грифели быстро ломались, мелкие цветные кусочки использовала Ирочка — рисовала *огненные* платья; я не умела. Был химический карандаш: если его послюнить, то на несколько

мгновений получался яркий лиловый цвет; язык и губы тоже становились лиловыми. Ещё был двусторонний красно-синий, толстый, гранёный, «Сакко-и-Ванцетти» (!). Акварель полностью исключаю. Однажды нам подарили акварельные краски: на небольшой картонной палитре приклеено несколько твёрдых кусочков неопределённого цвета. Рисовать ими было невозможно.

А математиком меня назвали мамины ученицы. Увидели, как я старательно перерисовываю из задачника тригонометрии Рыбкина многоэтажные формулы, знаки синуса, косинуса, корня из корня…

Воздушный пирог

Первая книга, которую я прочитала самостоятельно лет в пять, называлась «Поваренная книга». Она лежала на этажерке среди детских книжек; может, была оставлена *квартирантами*; маме была не нужна — для картошки в мундире, суточных щей из кислой капусты рецепты не требовались. Мы с Ирочкой изрисовали многие её страницы, буквы нам совершенно не мешали. Потом я научилась различать эти буквы, читать заголовки. Однажды на очередной странице, которую зарисовывала, прочитала слова: «воздушный пирог». Как? просто из воздуха сделать пирог? Невероятно! Почему-то решила: чтобы понять, как совершить это чудо, надо прочитать всю книгу. Читала долго, подряд, не пропуская ни строчки. Сначала было трудно, содержание не воспринималось, потом всё легче, быстрее: перловая каша со *снытью* (что это — *сныть*? Что-то сказочное: «Ах ты, волчья сныть, травяной мешок!»), суп из крапивы с лебедой (это понятно), омлет из гематогена (гематоген знаю), утка с яблоками (полная абстракция)… Вот и пирог! «Возьмите десяток яиц, отделите белки от желтков…» Дальше не читала. Пирог из воздуха оказался обманом.

Такая же книга, только «издание второе, дополненное», год издания 1948-й, до сих пор на моей кухонной полке — осталась от бабы Фани. Ободранная серая обложка (наша была светлой охры), пожелтевшие, скорее бурые, страницы. Уже называется «Книга о вкусной и здоровой пище», но ещё не та, знаменитая. В предисловии — благодарность за неустанную заботу большевистской партии, лично товарища Сталина (имя выделено жирным шрифтом), ну и так далее. Среди блюд присутствуют и перловка со *снытью*, и омлет из гематогена — детская память не подвела. Замечательный раздел «Нагревательные приборы». Этих приборов три: *примус, керогаз, керосинка*; на шести страницах — инструкции пользователям.

Меня обычно несколько коробит, когда по тв, по радио произносят слова «в прошлом веке». Открываешь такую книгу и отчётливо понимаешь: да, в прошлом. Куда там «в прошлом веке» — в прошлом тысячелетии!

На брёвнышках

Стайка девчушек расселась на брёвнах под забором Капитолины Николаевны, рассказывают друг другу *страшные случаи*. Слушаю с замиранием сердца. Некоторые из этих *случаев* гуляют по всему Союзу, общеизвестны. Про *чёрную кошку*: «Встретил её у моста (представляется наш понтонный): Видела? — Да! — Узнаешь? — Да! и чирк бритвой по глазам». Или вот эта: «Одна тётя переходила пути, вдруг перевели стрелку, нога застряла. Тут налетел поезд…» Или: «Её утопили в помойной яме…» — конечно, в нашей, и без того страшной. Произносилось (шёпотом) непонятное слово «аборт», что-то ужасное, стыдное. Или о *проказе*: достаточно посмотреть на прокажённого, безобразного, с проваленным носом, и заболеешь сам, никогда не вылечишься… Откуда у маленьких девочек такие сведения? Об аборте говорилось в семье — был запрещён. А проказа?

Читаю «Колымские рассказы» Шаламова. Да вот же она — проказа: эпидемия прокатилась по лагерям. Вот откуда дуло…

Я — первоклассница

Женская (!) школа №11. В помещении этой школы на улице Маркса госпиталь, мы учимся в другом здании — на Сталина, за улицей Сурикова. Довольно далеко. Потом в этом красивом доме (построен *дореволюции*) будет Дом пионеров. Почти ничего не помню о начале моей школьной жизни. Смутные обрывки.

Много-много незнакомых девочек, почти все наголо стрижены — вошки. У одной девочки (это знакомая девочка, Тамара Дмитриева, из *дома специалистов*) жидкие волосики заплетены в косички — мышиные хвостики, косички на макушке завязаны бантом; все завидуют.

На мне то самое кашемировое платьице с *довойны* («шили или покупали?») — вышитая кокетка, юбочка едва прикрывает попку, чулочки *в резинку* пристёгнуты к лифчику, застёжки называются *машинками*, эти машинки очень ненадёжны, часто расстёгиваются, чулки сползают — стесняюсь. Между чулками и краем платья голые ножки (а зимой? — не знаю).

Дорога в школу и обратно по Кирова и Сталина, больше четырёх кварталов; игра с собой — нельзя наступать на трещины асфальта. Хожу одна? Не помню. В чём несу тетрадки, учебники? Точно не в портфеле, да и были ли учебники? Букварь, пожалуй, был. Точно была чернильница-*непроливайка* (проливалась). Кажется, весь год мы учились только писать буквы. Сначала карандашом, потом ручкой. Перо-*уточка* (у счастливчиков — 86, ещё было *рондо* — не поощрялось) вставлено в деревянную палочку (не знаю, как назвать; собственно, эта палочка и была ручкой). Пальцы — в несмываемых чернилах. Помню, никак не давалась заглавная «Д». Страх перед *чистописанием*: нажим, волосяная линия.

Зима, тёмный вечер. На круглом *венском* столе — керосиновая лампа. Делаю уроки. На тетрадку с пера (*уточки*) падает большая клякса. Какая интересная! Развожу её по всей странице, возникает *чудовище*…

Сложная система лестниц, коридоров, классных комнат в здании, где мы учимся. Однажды

заблудилась. Послали принести в класс завтрак (была, наверное, дежурной). Возвращаясь, не могу найти свой класс. Помню: в руках поднос, кусочки чёрного хлеба посыпаны сахаром, пустой коридор—идут уроки.

В честь окончания первого класса вместо уроков нас ведут на экскурсию к часовне на Караульной горе. Вереница усталых девочек долго-долго поднимается в гору. Подходим к часовне. Она поставлена здесь казаками в незапамятные времена, ещё до строительства города. Караульный пост (?)—отсюда название горы. Розоватая глина издали кажется красной—отсюда название города: красный яр—Красноярск. На этой глине не растёт даже трава (теперь растёт); зимние ветры сдувают снег, поэтому и зимой над городом возносится красноватая стена Караульной. Рядом с часовней позорная свалка; внутри вонь, засохшие и свежие кучки—лучше не входить, зияют пустые окна, проломлен верх… Но какой вид открывается нашим глазам! Широченная река со всеми островами и протоками; слева от нас устье Качи—Стрелка; сама Кача—узенькой лентой глубоко внизу, под нами. За привычной цепью гор обнаруживаются следующие, за ними ещё и ещё, поросшие тайгой, бесконечные.

Город оказывается совсем небольшим. Очень внятная топография. Считанное число длинных улиц, параллельных реке; перпендикулярные к ним—короткие: от Енисея до Качи. Прямо под нами улица Кирова, наш дом не виден—заслонён Домом учителя. Находим, стоя наверху, школу, *дом специалистов*, старую аптеку, парк культуры…

Справа—путаница железнодорожных путей, ажурный мост через Енисей (современник Эйфелевой башни): Транссибирская магистраль. За железной дорогой домишки слободы (Николаевки? Покровки?) взбираются на косогор, за ними конус сопки…

Прекрасный, прекрасный мир!

На правом берегу, далеко-далеко, под цветущим логом, под Диван-горой—разноцветные дымы *эвакуированных* заводов.

Тайны мироздания

Совсем маленькая. Забралась на комод. Смотрю в небольшое стоячее зеркало (это единственное зеркало в доме). Кто это там повторяет мои движения, гримасы? Заглядываю за раму. Никого.

На комоде красивый кусок прозрачного стекла—сувенир со Стекольного завода, где мама учительствовала в 30-х. Солнечный день. На белёной стене от него разноцветная радуга. Откуда, почему? Кто нарисовал радугу в небе? Так красиво вырезал снежинки? А цветы?..

В утрамбованной земле двора маленькие дырки—муравейники. Сижу на корточках (босые грязные ножки), зачарованно наблюдаю за жизнью их обитателей: тащат былинки, крылышко мухи, снуют туда и обратно. О чём они говорят, трогая друг друга усиками? Они, конечно же, совсем разумные. Под землёй их дворцы, глубоко-глубоко. А может, кто-то огромный наблюдает за нами, мы для него такие же муравьи?..

Почему мальчик Гога из *дома специалистов*, переболев менингитом, стал дурачком? «Гогушка, съешь пирожок»,—улыбается, ест землю.

Соседская тётя (Потоловская) ходит с большим животом, лицо в безобразных бурых пятнах—беременная, потом родится девочка (Таточка). Значит, и мы сначала жили в животе у мамы. Но как мы там помещались? И где мы были до этого? И куда уйдём потом?

Сколько тайн в мире!

Конечно, потом всё объяснили. Угол падения равен углу отражения, спектр преломления и т. д. Отвечала на уроках, на экзаменах в школе, в институте. Сама родила троих детей, хоронила родных и друзей.

И всё-таки… Как бы это объяснить? Где-то, в глубине души, что ли, осталось ощущение тайны. «Что там, что за поворотом?»

Бэмби

Старшие девочки взяли меня с собой в кино. Иду в кино впервые в жизни. Это лето 46-го, уже перешла во второй класс. Правда, в детском саду нам однажды показывали фильм: белая простынка приколота на стену, получается небольшой экран. Фильм чёрно-белый: «Мальчик из Уржума»—про убиенного Кирова, Сергея Мироновича.

Теперь идем в *настоящий* кинотеатр—«Совкино» (есть и другой, «Рот Фронт», напротив старой аптеки). Прохлада и полутьма зала, принаряженные зрители расселись по рядам на *откидных* стульях; стыдно за свои грязные ноги—я пришла босиком: кажется, все осуждающе смотрят. Гаснет свет, и я забываю о босых ногах, вообще обо всём…

Прелестный оленёнок; как смешно разъезжаются на льду его ножки… Полыхает лесной пожар: «Беги, Бэмби, беги!» На громадном экране цветное чудо Диснея. *Трофейное* кино.

Погорелый театр. Музкомедия

Театр Пушкина сгорел *довойны*. Конечно, именно там на сцене играли *артисты погорелого театра*. Если забраться на крышу *стайки* за *домом специалистов*, можно спрыгнуть (это невысоко) в заросли лебеды, очутиться на задворках театра, в запущенном дворе, у почерневших стен. Старшие, играя в сыщиков-разбойников, так и делают. Я боюсь.

Есть ещё театр действующий—*Музкомедия*. Он далеко. Надо ехать на автобусе. Грязно-синий автобус, капот выступает вперёд, как толстый нос какого-то зверя. Смотрю в окно: мимо едут дома, на повороте наклоняется земля—я в первый раз еду в машине (и в последний за те годы). Спектакль музыкальный, детский. На сцене замечательно танцуют звери, поют: «Серебряный кролик, серебряный кролик». Что-то с этим кроликом случилось. Дома, на холодной кухне, в валенках (значит, зима) танцую перед *квартирантами*—сёстрами Чергейками, пою: «Серебряный кролик, серебряный кролик…»—«Галочка будет артисткой!»

Валенки называются *катанками*. Зимой везде—дома, на улице, в детсаду, в школе—в *катанках*.

Отруби, жмых, черемша, сера

В большой стеклянной банке — отруби: давным-давно (*довойны*) купили для гуся. Гусь не успел склевать, его съели раньше. Теперь «клюём» мы, достаём горсточку-другую, долго жуём — не очень-то вкусно. Гораздо вкуснее жмых. Жмых привозят для лошадок — конюшня за оградой детсада; на земле валяются спрессованные кусочки (чего? неизвестно, называется — жмых). Можно изловчиться, достать кусок. Жуём *серу* — это смола пихты. Смолу варят, сушат, разрезают на квадратики вроде ирисок. Берёшь в рот твёрдый, горьковатый, пахнущей хвоей квадратик, раскусываешь; сухие крошки постепенно превращаются в тягучую массу, вроде нынешней жвачки. Серу продают *на уголке*. Там же в конце весны — начале лета появляются тугие пучки черемши, не той худосочной, слегка завядшей (но тоже вкусной), что теперь продают в Москве. У сибирской черемши сочный толстый стебель, красноватый внизу, обёрнутый розовой плёнкой. Снимаешь, как чулок, эту плёнку, жуёшь стебель — обжигает язык, это ведь дикий чеснок. Ещё лучше — порезать, немного потолочь с солью. Если бы ещё добавить сметаны. Но сметаны не помню. Потом появляется жимолость — крупная, чёрно-синяя, слегка горьковатая ягода.

К осени *на уголке* чего только нет: черёмуха, черника, кедровые орешки, шишки… Все тротуары в городе усыпаны скорлупой орехов и розовато-лиловыми чешуйками варёных шишек. Да мало ли что можно принести из тайги, продавать *на уголке*…

Столбисты

Они проходят по городу каким-то особенно широким, вольным шагом, независимые, отважные. Старшие мальчики, ещё не отправленные на фронт, большие девочки. На ногах резиновые галоши, чтобы не скользить по камню при восхождении (нет, галоши они наденут уже потом, на «Столбах», иначе сотрётся подошва). На пояс намотана длинная красная тряпка — *кушак*, для страховки. Легендарный заповедник «Столбы» — километрах в семи-восьми от города, на правом берегу, среди тайги. Замечательные слова: *«Шкуродёр», карман, «Пыхтач», Каштак, карниз, «Перья»*… — знаем от мамы, в юности была столбисткой. Легенды, вроде такой: *подпольщики* (представляю наше подполье, на кухне) собрались на «Столбах», их выследили *жандармы*, стали догонять. Тогда они поднялись по самому сложному *ходу* на Второй столб, написали там (чем?) большими буквами слово *«свобода»*. Что было с ними дальше, не помню, а слово *«свобода»* действительно видела, когда уже большой девочкой ходила на «Столбы» — по *«Пыхтачу»*, по *Каштаку*. *Столбисткой* не стала: боюсь высоты.

Каждое лето кто-нибудь из *столбистов* гибнет: сорвался в пропасть с *карниза*, обломился под рукой камень *кармана*, ненадёжно закрепил *кушак*… Об этом говорят *на брёвнышках* старшие девочки.

Под звуки Шопена печальная процессия проходит по Маркса, мимо нашей ограды. Кладбище недалеко, на Караульной…

Возвращение папы

Папу демобилизовали весной 46-го. Его не было с нами пять с половиной лет (правда, один раз за это время приезжал ненадолго после госпиталя). Я его помню не очень хорошо. Утром, выбравшись из своей кроватки, подхожу к маминой и вижу рядом с ней какого-то дядю. «Узнаёшь, кто это?» — улыбается мама. Неуверенно, полувопросительно: «Дядя Ваня?» — «Нет, это наш папка, Самоня». Став взрослой, я с ужасом вспомнила этот диалог — ведь могла разрушить семейное счастье. Слава Богу, не разрушила. Папа, смеясь, вскочил, подхватил на руки…

А дядя Ваня Абонисимов — дальний родственник, огромный, костлявое носатое лицо. Приезжал, кажется, из Абакана, останавливался у нас; мама в такие дни спала на *венском* диванчике (или на полу?). Вообще у нас часто останавливались родственники из Ачинска, Минусинска, Абакана, Черногорки (всё это небольшие сибирские городки). Останавливались «норильчане» — знакомые бабы Муси, едущие в отпуск вольнонаёмные (может, и заключённые после освобождения? — вряд ли).

Папа привёз с собой огромную *плащ-палатку* (её много позже всегда брали в наши путешествия) и полный чемодан вяленых груш, чёрных, морщинистых, очень сладких. Я сразу объелась этими грушами и никогда потом не могла даже компот из сухофруктов пить, если в нём лежала такая груша. Даже очень примерного мальчика Вову по фамилии Груш не выносила из-за этой фамилии, а он так хотел со мной дружить, но это уже после пятого класса, в пионерлагере на Лалитенке.

Папа — худой, высокий, красивый. Лейтенант. Брюки-галифе заправлены в сапоги, китель, погоны, орден Красной Звезды, медаль «За отвагу». Он долго, как и все фронтовики, носил военную форму — есть фото, уже новосибирское. Дома он вряд ли надевал эту форму. Может, была полосатая пижама, как у многих мужчин того времени? — тоже не помню, тоже вряд ли. Ещё нет приказа о сдаче оружия, и свой револьвер он хранит под матрасом, на панцирной сетке. Боюсь даже смотреть. Безумно любит, балует нас, почему-то зовёт меня и Иру смешными именами: Галуханума, Ируха-нума. Рассказывает, смущая маму, смешные грубоватые анекдоты, напевает: «Зашёл я в чудный кабачок…» Когда раздевается, обнаруживается безобразный шрам на ноге — след от ранения.

Возвращаюсь печальная из школы — получила двойку, по чистописанию, наверное. Вижу у палисадника папу и, уже не сдерживая слёз, громко завывая, мчусь к нему через всю ограду. «Папочка, я получила двойку». Он подхватывает меня на руки, целует, смеётся, подбрасывает вверх. Как я его люблю!

В это лето папа недолго побыл с нами. Уехал в Новосибирск. Его пригласил туда директор пединститута Рогозин (однополчанин) на какую-то должность. Папа уехал устраиваться на новом месте, готовить приезд семьи. Об этом нам строго запрещено говорить — могут отобрать квартиру,

в которой после нашего отъезда должна жить Елена Константиновна с дочками Марой и Оленькой.

Концерт

Лето 46-го завершает грандиозное культурное событие: концерт в нашем палисаднике. Шесть артистов (*погорелого театра*): Ира, Галочка, Лёлик, Мара, Олечка и Люся Лукина. Репетируют (на кухне), рисуют билеты — цена 1 рубль, разносят соседям по *ограде* и *дому специалистов*. В углу палисадника отгорожена сцена, на верёвку повешено байковое одеяло — занавес. Для зрителей расставлены у песочника *венские* стулья, на две табуретки положена доска, есть ещё лавочка под тополями. Зрителей оказывается много, приходится просить стулья у Афанасьевны. Кто-то усаживается в развилку тополя. Здесь все герои моих воспоминаний. Рискуя безбожно затянуть этот *мемуар*, назову некоторых: Гутя Германович и Наташа Гольц, Тамары — Дмитриева и Пальмирина со своими мамами, Инесса и Изольда (ударение на последнем слоге — она из Норильска: изо льда), Инна Штаер с сопливым братом Лёвкой. Пришёл дурачок Гогушка (или его уже нет в живых к этому времени?). Пришли старухи Афанасьевна и Лошкариха, Татка Литвинова и её мама Августа Ивановна — главврач нашей детской поликлиники, Капитолина Николаевна и Тавочка Зайцева…

Открывается занавес. Небольшой хор, отчаянно фальшивя, исполняет революционную песню, а может, военную или модную в то лето «На позиции девушка…». Галя *с выражением* читает стих «Гимн Советского Союза»; его недавно сочинил Михалков, а я выучила по Ириной «Родной речи». На словах «Мы в битвах решаем судьбу поколений» наклоняюсь, провожу рукой по своим коленкам, произнося: *по колени*. Трудный стих «История Власа, лентяя и лоботряса» плохо запомнился, Ира суфлирует. Люська Лукина выступает со своим коронным номером:

Не хотится ли пройтиться
Там, где мельница вертится,
Лепестричество светится,
Лимонадою напиться…

Ей и репетировать не пришлось, сто раз смешила всех. И в этот раз смех, аплодисменты, вызывают на бис. Олечка и Мара исполняют акробатический номер: мостик, стойка, змейка… *Классическая драма*: больная барыня, врач, глухая служанка — тоже имеет успех, хотя много раз исполнялась в другом составе. Как не смеяться, если подушка превращается в лягушку, врач в грача, а порок сердца (кстати, что это за порог?) в пирог с перцем? Большая программа заканчивается *пирамидами*. Ира и Люся, перехватив ноги друг друга, соединив поднятые руки, образуют окошко, в которое в позе *ласточки* (руки-крылышки, нога поднята хвостиком) высовывается Галочка. В другой пирамиде на скрещенных руках Иры и Люси поднят Лёлик, Мара и Оля по бокам делают мостик, Галя впереди на полушпагате, ручки держит над стриженой головой.

Бурные аплодисменты, переходящие в овацию, артисты выбегают на поклон. Расходятся довольные зрители. Труппа в полном составе, возглавляемая Ирочкой, пересчитав сбор, шествует на угол *Вейнбаума* и *Сталина*. Там недавно открыт гастроном, *коммерческий*, можно всё-всё купить — были бы деньги. У нас есть. Покупаем на весь свой капитал *дутый* шоколад. Фигурки зайчиков, медведей, рыбок в глубокой тарелке на белой скатерти *венского* стола.

Какие смешные, какие трогательные дети! С умилением через толщу лет смотрю на их худенькие лица, стриженные наголо головы, коленки в ссадинах, босые грязные ножки. И теперь дети такие же, только их нарядно одели, умыли, причесали в парикмахерской…

Боюсь, что завершила слишком пафосно. А было так смешно…

Тамара П.

Была такая девочка — Тамара, Томка П. — из *дома специалистов*. В *ограде* её недолюбливали — *хлюзда-музда*. В *доме специалистов* квартиры коммунальные, на две семьи. Соседом П-х был доцент кафедры марксизма-ленинизма (может, философии?), семейный (жена, двое детей) пожилой мужчина. Я его помню: низкий, пузатый, розовое лицо в веснушках, лягушачий рот. Этот сосед насиловал девочку в течение долгого времени, когда её мать была на работе. Никто не знал. Наверное, она в пять-шесть лет не понимала. Не жаловалась. Потом его судили, дали сколько-то лет. Но это случилось позже, когда мы вернулись из Новосибирска. Взрослые обсуждали при нас, детях, предупреждали — я не очень-то понимала.

Вейнбаума, Перенсона и другие улицы

Многие улицы Красноярска до сих пор носят странные имена: Урицкого, Перенсона, Вейнбаума, Марковского, Дубровинского, Ады Лебедевой, Бограда, Маерчака. В память о чекистах и совначальниках местного разлива и всесоюзных. Перенсона пересекает нашу (Маркса) почти сразу за *домом специалистов*; на ней изысканной архитектуры Дом офицеров (и сейчас так) — бывшее Дворянское собрание.

Следующая за Перенсона — Вейнбаума. Это слово мы, дети, употребляем часто в переносном смысле, как в Москве говорят «Кащенко», — на Вейнбаума сумасшедший дом. Он стоит в глубине двора, колючка, решётки на окнах, сами окна почему-то чёрные (может, закрашены?) Очень страшно проходить мимо.

Есть и другие *революционные* названия: Парижской коммуны, Робеспьера, Декабристов. Три центральных, длинных (о длине можно судить по номеру нашего дома — 88, а это ещё только центр) носят имена главных революционеров: Маркса, Сталина, Ленина. Слова «улица», «проспект» обычно не произносят. Комично (а по тем временам скорей кощунственно) звучат фразы вроде: «На Сталина выбросили селёдку», «Иди по Ленина, поверни на Робеспьера». После 56-го

года проспект Сталина переименовали в проспект Мира. Это единственное изменение в топонимике нашего города. Кстати, и само слово «Красноярск» (от цвета горы) выглядело революционным. Не изменено даже заумное «улица Диктатуры пролетариата», хотя сама «диктатура пролетариата» отменена каким-то указом ещё при Хрущёве: в один день граждане стали жить во всенародном, что ли, государстве. В те дни, когда этот указ был напечатан в газетах, я как раз поступала в аспирантуру, сдавала экзамен по философии и билет вытянула, как-то связанный с диктатурой. Газеты не прочитала и не знала, что живу теперь без неё. Несла какую-то чушь про «призрак бродит по Европе» (это надо же было так образно выражаться: призрак!), про незыблемость и благотворность этой диктатуры. Старый профессор, экзаменовавший меня, подрёмывал (тысячу раз слышал), благосклонно поставил четвёрку. Может, тоже не читал газет.

Ныне Диктатура от здания КГБ (нет-нет, ФСБ), того самого здания НКВД, где я боялась проходить с мамой, ведёт, спускаясь под гору, к рынку. Хотите—ищите символику. В годы, о которых пишу, на Диктатуре мой детсадик…

Названия не изменились, изменился город, не просто вырос—стал другим.

Исчезнувший город

Оглянусь ещё раз на город моего детства. Булыжные мостовые главных улиц, на остальных летом босые ноги утопают в серой пыли. Кое-где на тротуарах разбитый асфальт (на Сталина), на других улицах тротуары из длинных досок, разболтавшихся—можно качаться. Почти все дома в городе—из почерневших от времени толстых брёвен; ставни, *болты*, резные крашеные наличники, красная охра покатых крыш, печные трубы. Есть очень красивые, с башенками, террасами, эркерами; некоторые стоят на возвышении, холм под ними выложен глыбами гранита. Другие до самых окон ушли в землю. Есть дощатые хибары, низенькие, покосившиеся, тоже почерневшие; бараки, наскоро построенные *довойны*. Высокие серые заборы (как наш), доски поперечные; ворота (доски ёлочкой), многие давно не открываются, заросли лебедой. (Такие на одной из моих работ 90-х годов: «Трава забвения»… да нет, на многих.) Эти деревянные дома снесены целыми кварталами, оставлено несколько—памятники истории. На Сталина (в нескольких центральных кварталах), меньше на других улицах—высокие каменные дома (про них не говорят «кирпичные»). Прекрасная архитектура (модерн? эклектика?)—наследие живших здесь *дореволюции* дворян, купцов: Смирновых, Гадаловых, Юдиных, Крутовских. Эти здания сохранились. Они в моих работах: «Сибирская готика», «Сибирский ампир»…

Воровка

Лето 46-го. Мы, шестеро детей, играем в палисаднике. Мама в школе, папа в Новосибирске (это тайна), дома одна Мавра Захаровна, дремлет на сундуке в кухне. Двери нараспашку. Незнакомая тётенька (в руке большая кошёлка) открыла калитку, кивнула нам, уверенным шагом прошла до двери, скрылась в сенях. Мы подумали—к Лукиным. Через некоторое время я захотела пить, побежала в комнату. Там эта тётя, отпрянула от комода, разулыбалась. В комнате странный беспорядок, выдвинут чемодан из-под кровати, что-то ещё не так, но я почему-то не придаю этому значения. Вежливо здороваюсь—очень воспитанная девочка.

Дальше примерно такой диалог: «А я к твоей мамочке пришла, где же она?»—«В школе номер девятнадцать».—«Умница! А знаешь, как зовут мамочку?»—«Клавдия Константиновна».—«Какая молодчина! Знаешь такое трудное имя. А папочку как зовут?»—«Самсон Львович!»—«Ну что за девочка, всё знает. А где папочка?» Тут для меня проблема: врать стыдно, нарушить семейную тайну невозможно. Побеждает второе: «На работе».—«Ах, умница! Ну, я пошла, до свидания. Передай мамочке привет». И подхватив кошёлку (свисает что-то белое), выходит.

Проснувшаяся Мавра Захаровна, раскинув руки, встаёт в дверях. «Я к Клавдии Константиновне из девятнадцатой школы приходила, жаль, что не застала». (Всё запомнила.)

Мавра опускает руки, пропускает посетительницу, та быстро уходит. Мавра заглядывает в комнату, сразу всё понимает (сама приворовывала), бежит вслед, ругаясь, но воровка уже исчезла в лабиринте развешанного в ограде белья.

В своей кошёлке она унесла и те сатиновые халатики, что прислала из Норильска для внучек баба Муся, и *американские подарки*, всё, что нашла ценного в чемоданах и в комоде. Не так уж много добра было в доме—уместилось в кошёлке.

Американские подарки—это то, что теперь называют second hand, благотворительные посылки из Америки; в тот год ими облагодетельствовали учителей.

Осколки

Болею. Доктор Алыбина назначает горчичники. Мама намазывает горчицу на тряпку (откуда и зачем в доме горчица?), заворачивает меня в эту тряпку, закутывает сверху страшно колючей драной шалью. Невыносимо жжёт. Ору. Мама носит меня на руках, успокаивает, баюкает. Мне, наверное, четыре года.

Малярийный комар влетел в комнату, громадный, длинные суставчатые ноги. Страшно: если укусит, заболеешь малярией.

Комната освещена закатным солнцем. Мама будит младенца (Лёлика), спящего в деревянной кроватке. Запоминаю: нельзя спать на закате.

Лёлик начинает ходить. Неуверенными шажками доходит до голландки, упирается двумя ладошками в раскалённый металл её чёрного бока. Мы, старшие сёстры, не сразу соображаем придти на помощь. Волдыри на крошечных ладошках.

Снова болеем. Теперь дифтерит, одновременно с Ирой. В *бараке* выздоравливающие девочки играют в больницу. В чайную ложку наплевали слюны—лекарство. Надо выпить. Пью.

Страшный сон: через всю комнату протянулся толстый (толще бельевой верёвки) мохнатый канат—паутина. С неё прямо на меня спускается *крестовик*. Может капнуть своим ядом в рот, тогда умрёшь.

Приехала на летние каникулы из Почета Ленуша с Марой и Оленькой. Оле годика два, не хочет надевать трусики; убегает во двор, снимает, прячет в зарослях лебеды под забором Лошкарёвой. (В деревне привыкла бегать голенькой.) Мы, старшие, смущены—неприлично. Пытаемся натянуть. Ревёт, не даётся. В тот год она ещё сосала грудь, увидела у моей мамы—обрадовалась: «Титя!»

Выстиранные бинты привязаны к спинке маминой кровати. Туго натягиваем их через всю комнату, скатываем в рулоны. Зачем?

Трое детишек забрались под одеяло—*под бочок* к маме. Мама поёт для нас. Какой чудесный голос у мамы: грудной, глубокий, временами с цыганским надрывом. «Две гитары за стеной…»

«За стеной»—это за нашей стеной с облезлым ковром, у Лошкарёвых.

Взяла с собой *на картошку* вместе с Ирой и меня. Долгий путь до Бугача. Часть пути идём по тракту (Владимирский тракт)—по *трактули*; это в одной из маминых песен: «По дороге неровной, по тракту ли».

В центре *венского* стола—сковорода жареной картошки. Картошка поджарена на *рыбьем жире*. Настоящий пир.

Это уже 46-й. Папа ещё не уехал в Новосибирск. Принёс из института большой рулон—списанные настенные географические карты. Карты расстелены на полу. Ира и Галя ползают по ним, смачивают водой, отскребают ноготками океаны, государства—открывается марлевая основа. Мама стирает эту марлю, делает из неё пелёнки—в подарок Ефим Михалычу, другу семьи, для его новорождённой дочери. Мы с Ирой очень гордимся.

Мою пол. Макаю тряпочку (носовой платок?) в свой *горшочек*. У печи из поддувала насыпалась зола. Развожу её по всему полу. Увлёкшись, мою кухню, сени. Почему мама так огорчилась, придя вечером?

Болею. Сижу в своей кроватке (с сеткой). На коленях подушка—это пианино. Растопырив пальчики, беру *аккорды*, распеваю: «Украина золотая, Белоруссия родная…»—отзвук большой политики, вступление Красной Армии на Западную Украину и Белоруссию. Особенно любили Украину, танцевали гопак; веночек из бумажных (похоронных) цветов на моей стриженой головке.

Ира берёт меня с собой в столовую на углу Сталина и Кирова. Там *дают* (за деньги? по талонам?) обеды на дом. Наливают в нашу кастрюльку жидкость с несколькими *звёздочками*, плавающими в ней. В зависимости от числа *звёзд* суп называют лейтенантским, генеральским. Значит, в армии уже введены погоны? Какой это год? 42-й? 43-й?

Иногда—суп из сушёных опят, очень невкусный.

Не уродилась картошка. Мама накопала меньше, чем посадила,—небольшое ведро мелкой, как редиска. Сварила *в мундирах*—невозможно есть: водянистая, клейкая масса.

Какая-то невероятно счастливая игра: у *Потоловских* меняют штакетник палисадника, от столбов остались глубокие ямки. Прыгаем в эти ямки, прячемся; выбегаем за ограду, залезаем там под доски тротуара (тротуар высоко над землей). Сюжета нет—свободная импровизация. Почему так радостно, такое возбуждение, смех, визг? Кто от кого убегает? Кто от кого прячется? Неизвестно.

Иду из школы (значит, 46-й). Страшный, грязный старик сидит на ступенях лестницы у дома Тавочки Зайцевой, раздвинув ноги в ватных штанах. Из штанов вывалилось что-то громадное, красно-лиловое, непристойно двигает своими лапами, смотрит на меня налитыми *зенками*, *лыбится*. Надо бежать—онемели ноги, пристыли к земле.

Волшебная ёлка в детском саду—танцует, кружится по-настоящему. Стриженые девочки-снежинки: «Мы белые снежинки, холодные всегда…» Костюмы снежинок мама сшила из марли.

Снова лето 46-го. С тополя свисает верёвка; кружась, обматываю её вокруг себя, оступаюсь на корнях, падаю, верёвка затягивается. Чуть не задохнулась. Болезненный коричневый шрам на шее.

Сентябрь 46-го. Поезд дальнего следования. За окном провода прыгают вверх и вниз. Уезжаем в Новосибирск. Мы вернёмся в Красноярск через три года, в сентябре 49-го. Убежим: *борьба с космополитизмом*.

Ещё немного о маме

За две недели до начала войны маме исполнилось 30 лет. Невысокая, коренастая, тёмные волосы гладко причёсаны, заплетены в косички, на затылке под круглой гребёнкой уложены корзинкой, закреплены тряпочками—*косоплётками*. Немного низкий лоб, восхитительная улыбка. Конечно, самая красивая. Не помню, чтобы плакала (нет, однажды плакала—в больнице, усаживая меня на горшок), кричала на нас, читала нудные нотации: посмотрит строго, покачает головой… У неё абсолютный слух, чудесный голос. Не берусь даже перечислять песни и арии, которые она нам поёт—это заполнило бы не одну страницу. Назову только самую любимую. Это детская опера «Грибной переполох». Мама поёт для нас всю эту оперу, все арии: за царя Гороха, за девочку Малашу, за все грибы. Некоторые из них помню до сих пор. Ноты «*Переполоха*», красиво переписанные тушью ещё *дореволюции*, хранятся дома (и до сих пор у Иры), одна страница прожжена папиросой.

Гибкая, спортивная, волейболистка. Когда затевается игра в волейбол (но это много позже, не в войну), все хотят заполучить её в свою команду—такая у неё *подача*, так она умеет *гасить* мяч у сетки, *поднять* самый трудный. Летом 46-го мы

с двоюродными сестричками увлеклись акробатикой: мостик, змейка, стойка, свечка, полушпагат, шпагат — у мамы получалось лучше всех; да она же нас и научила. А наши игры! Почти все правила узнали от мамы. Не говорю, какой она прекрасный математик, строгий и справедливый педагог. В те годы мы не думали об этом.

Мы жили…

Мы жили. Не хуже и не лучше многих, такое было время. Нет: безусловно, лучше. Не сгинули в расстрельной яме, как тётя Сима, не умерли от голода в блокадном Ленинграде, не попали под бомбёжку или в ГУЛАГ, не ютились в подвале, бараке…

С нами была мама; папа вернулся — не убит на войне, как дядя Миша, только ранен. У нас были два тополя, куклы Фира и Гагочка, Енисей, остров, сад Юдина, «Давид Копперфильд», тепло и уют голландской печки, палисадник, бревенчатый дом, целых две комнаты. Нас любили жители нашей *ограды*, воспитатели детского сада, мамины ученицы. И мы любили этих людей, бабу Мусю, деда Котю, которого мы никогда не видели, родных, приезжавших из Почета, Ачинска, Минусинска… Всюду было небо.

Можно ли назвать это счастьем? Да.

Июль 2010 г.

Сергей Шабалин

Жёлтое на чёрном

Школьное фото

Марине Бьёрнсгорд

Так мы жили: с миру по нитке,
по улыбке и по слезинке,
по простынке и по обидке,
по карьере и смерти ранней.
Жили скромно, но пили быстро.
Не трезвели и ждали лета
и небесную коммуналку —
чтоб без кухонных ссор и жэка.
Что ж… как всякий прохожий, смертный
думал: путь мой красив, курсивен…
Сорок лет пролетели мигом.
Ничего не успел сказать я.
За соседним мостом — деревня
белотелых высотных зданий.
Там просторнее тротуары,
зеленее травинки в парках.
На автобусной остановке
фотоснимок найду померкший.
Он — в младенчестве чёрно-белый —
оживёт вдруг разливом цвета.
Вот — Володя, Артём, Марина
в синих джинсах, в кроссовках красных.
Я когда-то здесь жил, конечно,
но не помню, когда уехал.
Мы могли б покорить полмира,
на Юпитер слетать могли бы,
а в итоге седеем молча
и не чуем героев детства.
В толчее выпускного класса
двести сорок четвёртой школы
я себя не найду, наверно,
и рука на плече исчезнет…

Жёлтое на чёрном

Солнце яркое, а небо чёрное.
За едва заметной чертой
тьмы и света примерно поровну
для борения с темнотой.
Солнце яркое; небо чёрное —
двух поверий опасный стык.
Тьмы и света примерно поровну
для радетеля темноты.
И она побеждает медленно —
меркнет солнца слепящий диск.
Остаётся лишь точка медная —
и ни чёрточки впереди…

Ну а если рассвета оползни
темноту расплющат в момент —
это миг из забытой оперы,
из немого фильма фрагмент.
Я за свет не несу ответственности
(хоть и темень не про меня).
Ты — сторонник противодействия
в чёрно-жёлтом режиме дня.
Мы — приверженцы мутно-серого.
Из палящих лучей — они.
Но не ведавшим снег луны
в инфракрасных играть не следует…
И когда оптимист с задатками
казначея лавки ничьей
говорит мне про солнце яркое
и всесильность его лучей,
сообщаю мальчику с гонором
про засвеченность темнотой.
Солнце яркое, но небо чёрное
за едва заметной чертой…

Александр Астраханцев

Ты, тобою, о тебе

…Ещё признак любви: человек щедро отдаёт всё, что может, из того, в чём раньше отказывал, словно это его одарили и об его счастье стараются, и всё это для того, чтобы проявить свои хорошие качества и вызвать к себе внимание. Сколько скупых от того расщедрилось, и угрюмых развеселилось, и трусов расхрабрилось, сколько равнодушных и неряшливых прибралось, и бедняков украсилось! Сколько людей в летах омолодилось, сколько безупречных опозорилось!..

Ибн Хазм. «Ожерелье голубки» (XI в.)

Любовь, любовь—гласит преданье—
Союз души с душой родной—
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И… поединок роковой.

Фёдор Тютчев

Любовь—это временное помрачение души.

Артур Шопенгауэр

Часть первая

1.

Что есть человеческая жизнь? Не есть ли она—цепочка нелепых случайностей? Бывают люди, что живут по задуманному плану; но не они, не они мои герои; мои герои—люди простые, живущие случайными поступками, иногда нелепыми,—а потом сожалеющие о них…

Жил-был на свете простой человек с простой фамилией: Иванов. И были у него жена и сын.

Иванов—это, в принципе, я сам. Или кто-то иной? Нет, всё-таки и я тоже… Впрочем, к персонажу, которого играю в жизни, т. е. к себе внутри себя, к главному в себе, отношусь вполне серьёзно. Хотя и не без юмора. Правда, не могу сказать, что люблю его безмерно.

Были у моей жены в юности фиалковые глаза и русая коса с чёрным бантом; я любил тогда носить её на руках, а друзья были, точно так же, как и я, в неё влюблены и прозвали её—за то, что она из всех выделила меня,—*Ивановочкой*. С тех пор многое на свете изменилось: и страна, и жизнь, а сама Ирина после рождения сына стала крупней статью и ростом—включился, видно, фактор позднего созревания. Сын стал студентом. Один я не менялся. И она стала часто мне выговаривать:

—Ну почему ты такой простой, Иванов? У нас маленькая квартира, у нас нет машины, у нас вечно нет денег! Можешь ты хоть заработать достаточно, чтобы я не считала эти проклятые рубли?

—Как я заработаю? Я же филолог,—отвечал я, потому что я и в самом деле филолог, а они, как известно, зарабатывать не умеют.

—Ну почему ты не начальник, не директор?—хныкала она.—Организуй что-нибудь, стань начальником—посмотри, что кругом делается: все, кто хочет заработать, теперь с деньгами!

—Я не умею,—отвечал я.

—Ну почему ты такой?—презирала она меня и отказывалась готовить ужин.—Вчерашнее доедай в холодильнике!

Сама она, боясь полноты, ужинала лишь яблоком и пустым чаем.

Лежать плашмя на грязно-сером илистом дне—скользко и противно; глаза, съехавши на одну сторону, смотрят вверх; сквозь толщу воды видно жёлтое размытое пятно солнца, через которое бежит рябь, и сверкание там, на поверхности, солнечных зайчиков. Между дном и поверхностью воды в зеленоватой толще снуют юркие тени—рыбёшки. Трудно дышать—рот перекошен, в нём полно воды; чтобы экономить силы, надо лежать неподвижно, нежась в слабых солнечных бликах… Там, наверху, вдруг надвинулась большая чёрная тень, а по бокам две тени поменьше равномерно опускаются с плеском и опять исчезают; глухо—голоса. Отсюда, из глубины, та жизнь, что наверху, кажется всего лишь рябью на поверхности глубоких вод… Но плеск, голоса и тень, что заслонила солнце, беспокоят—хочется уплыть из-под неё; приходится ворочаться неподатливым телом, грести слабыми плавниками, и усилия вознаграждаются: тело отрывается от дна, тихонько разгоняется и парит в воде; странно видеть себя со стороны: нелепым, беспомощным и одиноким в холодном мраке, над жидким, текучим илом, в котором до скончания века надо искать себе пропитание; немой рот забит водой, а взгляд снизу вверх, на солнце, на серебристые блики сквозь толщу воды, удручающ и безнадёжен…

Просыпаюсь и сквозь морок сна с усилием продираюсь в реальность. Рядом—мягкий бок, горячий под одеялом, и сонное дыхание. Кто это? Фу ты, да это же Ирина! И сразу—ужас: почему я

здесь, в этой постели, в этих стенах? кто я, зачем?.. Чтобы определиться в пространстве, судорожно хватаюсь за её плечо.

— М-м,—бормочет она сквозь сон.—Что, храплю?

— Да нет, так.

Повернулась спиной и снова сонно задышала.

Наскоро, чтоб не забыть, собрал воедино куски сна: с чего он начался? Вереница видений ускользает, не хочет вплывать в сознание; ясно—только конец... Вспомнил холодную воду и текучий ил—и зябко вздрогнул.

За окном уныло гудит в балконных решётках ветер. Снова рукой—к спасительному горячему плечу. Ладонь скользит по изгибу мягкого бока, по бедру под тонкой ночной рубашкой. Мгновенный импульс желания. В нём тонет всё, с чем я проснулся.

— Ивано-ов!—хриплым со сна голосом кричит она недовольно.—Не приставай, спать хочу!

Убрал руку, прикусил губу. Когда-то такие прикосновения вызывали у неё трепет кожи. Обида, набухнув в горле, медленно растворяется горечью в крови и растекается по телу.

Странный сон. Но почему—камбала?..

Резко—звон будильника. Ирина—ближе к нему; не глядя, протягивает в темноте руку, выключает трезвон и затихает... Я снова сжал её плечо. Недовольно стряхнула руку:

— Отстань!

Поднялся, накинул халат, прошёл на кухню, налил в электрочайник воды из-под крана, включил и встал у окна. Утром, пока в квартире тишина, а на улице темно, хорошо постоять вот так, приходя в себя и глядя на город—из кухонного окна далеко видно. Этот каждодневный утренний переход от сна к яви требует времени и усилий... В доме напротив по одному, по два вспыхивает в окнах свет, будто кто-то нажимает кнопки иллюминации, и за каждым—своя жизнь и своя маленькая драма. Сколько их!..

Но почему всё-таки—камбала?.. Где-то читал: цветные сны—сны неврастеников. Но у меня они с детства цветные!..

Однажды в детстве видел во сне летящий самолёт с сотней жужжащих пропеллеров вдоль крыльев, занявший собой всё небо, от края до края, а по серебристому фюзеляжу—окошечки с золотыми ободками, и в них—как в окнах домов—красные герани в горшках, а из-за цветов смотрят люди, как я стою внизу, на зелёном лугу, почёсываю одну босую ногу о другую и машу рукой, и они машут мне в ответ, и я ликую оттого, что хоть я и стою один—а совершенно незнакомые люди радуются тому, что я есть...

Почему всплыл в памяти самолёт?.. Ах да, камбала!.. Тоже полёт, только—в холодной зелёной воде... Такая вот петля длиной в полжизни.

Чайник тихо запел. Голова прояснилась. Вспомнилось, как в январе, в ужасном состоянии—простуда, голова трещит, в сердце боли,—поплёлся в поликлинику. Особенно эти боли напрягли: казалось, заболел чем-то неизлечимо, нервничал и грубил врачам. И участковая врачиха, не найдя ничего серьёзного, сердитая оттого, что нервничаю и грублю, произнесла мерзкую фразу: «По-моему, у вас кризис сорокалетия—вам к невропатологу надо».

Не пошёл я ни к какому невропатологу, а лишь возненавидел её... Только формула застряла в мозгу и требовала разрешения. По некотором размышлении понял: со мной и в самом деле что-то странное; впрочем, решил я, это скорее от погоды, от усталости и раздражения перед чужой непобедимой глупостью. А ещё,—мысленно добавил я теперь, глядя на город,—такое бывает ещё, когда два взрослых существа, запертые в одной квартире, съедают запасы собственных душ и принимаются друг за друга...

Осмыслив, кажется, себя на сегодня, пошёл в ванную; так уж получается, что я всегда там первый. И хорошо: тихо и пусто.

Вышел из ванной—ещё ни сына, ни жены. Пошёл будить. Постучал в комнату сына; он:

— Да-да, я уже не сплю! Пап, это ты? Зайди, а?

Просунул голову к нему в дверь:

— Ну ты и здоров спать!.. Чего тебе?

— Папа, будь другом, дай *бабок*!

— Сколько?

Он сказал.

— А зачем—столько?—спросил я.

— Да в группе день рождения; подарок там, ну и на *общак*.

— А не жирно—столько? В подарок просто купи книгу.

— Да кто, пап, нынче книги дарит?

— Нет у меня денег. Ты же знаешь, я всё матери отдаю.

— Заначки, что ли, нет?

— Не занимаюсь. И тебе не обязательно делать, как все.

— Мы нынче поздно зреем, где нам до вас!—гибкий, выше меня ростом, он, пока препирались, встал, включил свет и вяло махал теперь руками. И при этом столько в гримасе снисходительного ко мне презрения!

Я сделал усилие удержаться от отповеди: у парня сегодня зачёт.

— Дам, но только на книгу,—сказал я, прежде чем оставить его в покое.—А ты давай зрей быстрее, а то так переростком и состаришься...

У Ирины уже включён боковой свет, но она ещё в постели.

— Встаёшь?—спросил мимоходом, проходя к шкафу.

— Да,—ответила она резко, скинула с себя одеяло, сбросила ночную сорочку, обнажив сытое белое тело, и села к трельяжу с батареей флаконов на столешнице.—Господи, как всё надоело!—прохныкала она, состроив гримасу, и начала куском ваты стирать с лица ночной крем.

А я, накинув рубашку и застёгивая пуговицы, смотрю на её алебастрово-белую спину, на усталое, неподвижное, как маска, отражённое в зеркале

лицо, на её ещё густые, тяжёлые тёмно-русые волосы и—аналитически оценивая её: какая она ещё красивая!—думаю о том, что во мне совершенно не вызывает волнения её сытая цветущая плоть. Мало того: эта плоть мне неприятна! Меня объял ужас: неужели это и есть кризис? Что со мной? Болен я, что ли,—или это старость?..
—Что тебе не нравится?—меж тем спрашиваю безучастно.—Жизнь как жизнь,—а сам думаю: какую несу чушь! Неужели я настолько пуст—как сухая тыква,—что меня уже ничем не всколыхнуть?

Она взрывается в ответ:
—Как ты мне надоел со своим философствованием—ты им свою мягкотелость оправдываешь! Ты даже вытрахать меня как следует не можешь! Вот найду себе молодого!

По некоторым признакам, она опять в кого-то влюблена—я уж её знаю,—а я даже рассердиться не в состоянии.
—Не с той ноги встала, что ли?—говорю спокойно.—А я, между прочим, тебя хотел и не мог растолкать,—хотя на самом деле сейчас даже не знал точно: хотел я её или нет и гладил лишь по привычке?
—Так ты мужик—или не мужик? Какой ты, Вовка, стал вялый, расслабленный—как мерин! Из тебя песок скоро сыпаться будет!
—Что делать! Против природы не попрёшь.
—О Господи, да не занудствуй ты!.. Неужели ты не можешь заработать столько, чтоб мне хотя бы не вставать чуть свет?
—Я не виноват, что мне мало платят.
—Но ты же Вла-ди-мир!—ноюще пропела она.—Ты должен миром владеть, завоёвывать его для меня, а ты!..
—Я не завоеватель.
—Ну почему ты такой размазня? Почему я должна тащиться на работу по этому холоду, зарабатывать эти паскудные деньги, видеть эти рожи?
—Между прочим, Фауст у Гёте в конце концов пришёл к простой мысли: главное—наполнить свою жизнь работой.
—Тьфу, соцреализм какой-то!
—Да, неоригинально—но гениально просто.
—Но Фауст—немец!—опять заныла она.—А меня работа уже высосала—у меня ничего не осталось: ни души, ни сил, ни энергии—ленивая, тупая скотина! Я такой стала рядом с тобой, потому что ты—неудачник, жалкий кандидатишка! Таких, как ты, миллиарды, и от их кишения жизнь ни на йоту не меняется!..—после этого взрыва она опустила в изнеможении руки и поникла плечами.

Впрочем, бушевала и ругалась она не совсем всерьёз; у неё для этого не хватало страсти—одно раздражение, и за неимением никого под рукой оно вылилось на меня. Полагалось бы обидеться на неё—или пожалеть, но у меня для этого нет уже ни обиды, ни жалости.
—Даже если ты не будешь ходить на работу,—сказал я нудным, противным себе самому тоном,—всё равно тебе придётся вставать и что-то делать.
—Но могу я иногда позволить себе лечь и полежать?
—А ты и так, когда хочешь, ложишься и лежишь.
—У тебя на всё—одни издевки!—и, будто зарядившись злой энергией, что выплеснула на меня, она поднялась, накинула халат и ушла в ванную.

За завтраком я продолжил этот разговор с ней:
—Знаешь, что я подумал? Чтобы нам отдохнуть друг от друга, поеду-ка поживу в деревне. Люблю это время, конец зимы. *Весна света*.
—Да езжай в свою *весну света*, не заплáчу!—фыркнула она.
—И прекрасно. Днём соберусь и поеду. По-английски, не прощаясь.

Сын, войдя и усаживаясь на своё место за тарелку с омлетом, услышав обрывки диалога, не преминул откомментировать:
—Всё первенство, кто главнее, делите?
—Знаешь что? Учись не совать нос в чужие дела!—обрезала его мать.—Больше вникай в свои, а то опять сессию завалишь!
—Ни фига себе—«чужие»!—возмутился Игорь.
—Да, сын, мы всё делим свои королевства,—сказал я ему, чтобы смягчить её раздражение,—хотя короли—голые, а королевства не стоят ни гроша.

Сын глянул на меня искоса, великодушно прощая мне родительскую нотацию. Я встал, вежливо чмокнул жену в щёку, потрепал сына по лохмам и пошёл одеваться. Ирина сидела, опустив глаза, сын проводил меня тоскливым взглядом—ему хуже всех: надолго остаться с мамочкой одному—теперь она его будет клевать вместо меня…

Да, уехать—ситуация требует пусть маленького, но обновления. Хорошо, когда есть куда—хотя бы на недельку: уползти в нору, зализать раны, собрать себя в кучу. Насовсем?.. Да куда ж мне со своей картотекой, с папками, с архивом! Однако жить так—никому не нужным, каждый день слышать одно и то же… Где-то тут черта, за которой лишь быт и физиология, и одиночество вдвоём, самый тягостный вид одиночества. Не довод, что так живут миллионы… Но что делать? Что же всё-таки делать?.. Не суицид же с запиской: «Прошу никого не винить!»?.. Будем отстреливаться, как солдат в бою: до последнего патрона,—а там…

Так вот оно и бывает: всем всё понятно, а изменить нету сил… Да, решено: вернуться в обед, собрать самое нужное, оставить записку—и на вокзал!.. Что делать? Не герой.

2.

Вместо недели там—уже месяц. Мотаюсь на работу и обратно. Ужасно много времени уходит на езду, но упорствую—когда-то же это должно кончиться: или сам устану мотаться—или приедет Ирина, истерзает упрёками, попросит прощения, и с облегчением, покорившись, уже вместе—домой… Хорошо хоть теперь не донимает сексуальный голод—как он терзал меня раньше, когда делал попытки жить в одиночестве!

Это приходило во сне, когда ты беззащитней всего: то преследует уродливая тётка в короткой рубашонке, с желеобразными целлюлитными бёдрами в лиловых пятнах,—облизывается и, растопырив руки, загоняет меня в угол; мне уже некуда деться, я в ужасе—и тут замечаю: да

у неё же бельма на глазах—она меня не видит!.. То краду в магазине гвозди: тороплюсь, набиваю пакет, а они протыкают его насквозь, грозя выдать с головой; сую его в карман, а они торчат наружу, колют сквозь одежду тело… А ведь и этот сон, если подумать,—тоже эротический… После них невозможно уснуть; встаю, накидываю старый полушубок и—на улицу: справить нужду, остыть и успокоиться… Остывал, успокаивался, возвращался и засыпал снова. И снова—эти проклятые сны…

Измотанный ими, я пялился в замёрзшее окно в морозных узорах, расцвеченных синими, жёлтыми, малиновыми искрами от луны за окном, и с тоской думал о свободе; она издевательски звучала в сознании стихотворной строкой: «*Свобода приходит нагая…*» Так вот, значит, она какая, эта свобода—жестокая, жадная, уродливая соблазнительница?..

Я поражался этой природной силе в своём организме и настойчиво продолжал проверять: могу я владеть собой—или я лишь обезьяна с мозгом в кило шестьсот?.. Давно ведь известно: воздержание дарит человеку необыкновенную энергию действия, силу мышления, сверхчуткость, ощущение красоты… а у меня вся энергия уходит на сопротивление своей природе!.. И сдавался, возвращаясь под бок к жене, презирая себя… Ох, эта унизительная зависимость, в то время как от остальных зависимостей, кажется, уже освободился!.. Её не замечаешь, пока удовлетворён,—и тотчас она даёт себя знать, стоит остаться одному… Издёрганный ею, я ломал голову: как бы отправить этот заповедник природы в себе на покой?—с каким удовольствием я тогда скажу себе: *свободен! Наконец-то свободен!..* А теперь, если и просыпаюсь с неясным томлением—заглушить его проще простого: полчаса чтения—и спишь потом, как праведник.

Временами думаю об Ирине и о том, что нас связывает… Можно ли назвать то, что нас связывает, хотя бы с натяжкой, «любовью»?.. Слабеет сексуальная связь, и всё на свете вместе с ней кончается; не хватает в душе какого-то эликсира, который даёт энергию отношениям… Ну что ж, значит, не дано; теперь надо просто тянуть с достоинством до конца, и всё… Перебрать друзей—так кто из них счастлив по-настоящему-то?.. А ведь у нас было! Значит, поблагодарим судьбу хотя бы за это… А то ишь чего захотел: счастья, да ещё—вечного!

А когда приезжал из деревни в институт—она звонила мне на кафедру:
—Ты что, совсем бросил нас?
—Нет. Отдохну, наберусь сил и вернусь,—спокойно отвечал я.
—От нас отдыхаешь?.. У тебя что, появилась женщина?
—Да нет никакой женщины; просто в городе обрыдло.
—Обрыдло ему, видите ли! А о сыне ты подумал?
—Ему пора самому о себе думать.
—А обо мне? Обо мне ты подумал?
—Я долго думал о вас. Почему бы теперь не подумать о себе?
—Эгоист! Ты испортил мне жизнь—у меня были такие возможности!
—А ты уверена, что те возможности были лучше этих?.. Впрочем, можешь наверстать упущенное!
—Дурак, я всё отдала тебе!..
—Неправда, не всё,—продолжаю вяло отбиваться, слыша её голос где-то на периферии сознания, а сам думаю: потерплю ещё; переступить через скуку никогда не поздно. Странно только, что время идёт, а домой не тянет. Так что подождём ещё… Неужели я и в самом деле—настолько чёрствый эгоист?..

И весна в том марте была под стать мыслям—холодной. Правда, в городе днём уже развозило, а в деревне сугробы лишь подёрнулись белой, словно сахарной, глазурью и днём сияли на солнце до рези в глазах, а ночами глазурь превращалась в каменный наст… Но чистый, сияющий снег уже не радовал: сколько может тянуться проклятая зима?

В то утро я встал раным-рано—надо было подготовиться к внеочередной лекции; вечером вернулся поздно, устал, уснул нечаянно и не успел… Вышел в темноте на крыльцо; дул тёплый южный ветер: прорвало наконец-то—весна торопилась, летела на широких крыльях, заняв всё пространство от земли до неба в тучах. Ветер пах оттаявшим навозом, полынью, хвоей и, как мне показалось, цветочной пыльцой; я ещё удивился: неужели она может перелетать за тысячи вёрст—оттуда, где уже цветут сады? И так хорошо было стоять едва одетым, чувствовать телом ветер, нюхать его, видеть блеск наста—он светился сам, без единого огонька вокруг,—и ощущать нарастающее возбуждение от предстоящего дня.

Запах пыльцы вернул к одной старой мысли: скорей бы уж на пенсию—надоела эта тягомотина; бросить всё тогда к черту, остаться здесь навсегда: настроить оранжерей и выращивать цветы, разговаривать с ними за неимением рядом близких людей, возить их в город, продавать—и в самом деле быть свободным… Только когда ещё эта проклятая пенсия!.. Вернулся в дом, затопил печь, поставил чайник и сел за стол; писалось легко и быстро… А в восьмом часу уже мчался электричкой в город.

На полустанках в вагон входили и рассаживались попутчики, внося запахи свежего воздуха, дыма и сельского быта. Мужик внёс охапку мётел из берёзовых веток; от них пахнуло весенним лесом. А потом уже и мест не осталось—набивались в проходе. И—водовороты лиц. Только странно: почему сегодня так много красивых женщин?.. Ах да, они сбросили шубы, надели лёгкие пальто и куртки!

Сколько их было в юности! Пока не явилась Ирина… Как неожиданно она тогда явилась и как стремительно менялась: партнёрша в танце, подруга, невеста, жена!.. Мы сами дивились такой быстроте: сплошной праздник, карнавал, всё впервые… Где он, этот праздник?.. Значит, не дано; так что неси свой крест и не ной. Пусть *лукавый* чего-то там шепчет—не надуешь: нич-чего

не повторяется; да и размениваться нет охоты — жалко времени. Пусть уж остаётся всё как есть. Судьба… Или всё-таки кризис? Но не смертельно ведь — переживём…

Однако именно в то утро в электричке я, будто после летаргии, с интересом разглядывал молодых женщин, а они перехватывали мои взгляды, хватались за сумки, доставали зеркальца, тайно поглядывали в них и поправляли причёски. Смешно — эти игры уже не для меня: я просто разглядывал личики; это забавно — на них ведь всё написано! Раньше я на каждом читал обещание, а теперь мой усохший эмоциональный аппарат способен лишь на спокойное любопытство… Но в то утро к нему примешивалась усмешка над самим собой: а куда это ты так летишь спозаранку — не ты ли убеждал себя в пользе свободы и одиночества?..

А потому летелось, что всю жизнь ждёшь праздников и радуешься каждой новой встрече, и никак не привыкнуть к тому, что ожидания обманывают… Да ещё и весна на дворе, а весной, как у перелётной птицы, приходит смутное желание махать крыльями и куда-то лететь.

В то утро я торопился в Дом молодёжи.

От вокзала к нему — сначала автобусом, а от остановки — пешком; по одну сторону там жилые дома, по другую — парковый лес со старыми берёзами; туда уже тянулись люди. Я шёл бодро, помахивая сумкой и обгоняя всех, радуясь весне и ещё чёрт знает чему.

Впереди замаячила одинокая женская фигура: женщина, явно молодая, одетая ещё по-зимнему — чёрная мутоновая шуба, белый пушистый платок, сапоги на тонких высоких каблуках, сумка в руке, — идёт легко, так что невольно засмотрелся на неё, не преминув, правда, усмехнуться: что, и ты туда же? Да нет, тебе небось не туда — тебе же на какую-нибудь весеннюю распродажу! — и уже собрался обогнать её, но она, явно слыша сзади мои шаги, пошла быстрее. Я поравнялся с ней… Женщина, взмахнув рукой, вдруг поскользнулась на остатках льда на дороге; я успел поддержать её за руку; она резко обернулась. Нет, не красавица — молодое лицо блёкло и простовато: светлая чёлка, скулы, вздёрнутый носишко, бледные губы… Чахлый цветок на асфальте. И чем-то неуловимо знакома: училась у меня когда-то, что ли? Напрягся, считывая с матриц памяти бессчётные лица и фамилии; нет, не помню!.. Подмигнул ей: всё, мол, в порядке!.. — и споткнулся о сердитый напряжённый взгляд. Я даже цвета глаз её различить не успел — так мгновенно они блеснули, будто ощетинились, отвергая всякое легкомысленное общение. «Ого!» — сказал я себе, а вслух пробормотал:

— Извините, — и прошёл вперёд.

И уже выйдя из электрического поля её глаз, подумал: «Ишь какая серьёзная! Хоть бы спасибо сказала». А пройдя с сотню шагов, оглянулся: дама шла всё так же легко, с устремлённым вперёд взглядом, меня не замечая. Ну так и мне до тебя — никакого дела!..

3.

А дело в том, что в Доме молодёжи начинался обычный во время весенних каникул семинар учителей-филологов… Школьная филология нынче не в чести у чиновников, и под семинары они отдают Дом молодёжи на краю города. Хотя край и почётный: рядом — несколько вузов.

Ну да мне-то что до этого? Моё дело — лекции; я готов читать их хоть в сарае… Что же до моего участия в семинаре, да ещё в первый день, да с утра — так это не моя забота: предложили от кафедры, поскольку то утро было у меня свободно. Чьё-нибудь честолюбие, возможно, и взыграет от этакой чести, но я-то знаю, как трудно такие семинары начинать: учителя (учительницы по преимуществу), на несколько дней оказавшись опять в студентах, в первый день возбуждены, рассеянны; к тому же, как всегда, первые полчаса отнимут торжественные речи, напутствия и объявления; затем начальственные дамы, запустив семинарский конвейер, передадут мне аудиторию, и только тогда аудитория — в моих руках.

Знавал я преподавателей, которые, не умея увлечь студентов материалом, требуют, чтобы они заучивали лекции чуть ли не дословно. Меня такая пастырская участь, слава судьбе, миновала. Правда, при этом ни даром импровизации, ни гениальной памятью не обладаю. Но чтобы лекции походили на вдохновенные рассказы, насыщенные к тому же мыслями, и не только чужими, — надо основательно готовиться, и подготовка моя не умещается в одно лишь писание и книжные изыскания: приходится дополнять их уличными прогулками с записной книжкой в кармане — так процесс утряски подготовленного идёт успешней. И хорошо, если Ирина не даст поручений на дорогу: зайди-ка заодно в магазин, купи то-то и то-то! — и мне, чем препираться: я занят! — легче в самом деле зайти и купить.

Рассказывая нашим будущим педагогиням (ибо три четверти их — девочки) про свой предмет, стараюсь внушить им, что жить, ничего не зная, так же стыдно, как быть больным, если можешь быть здоровым; и стыдно быть пассивным наблюдателем, если можешь быть деятельным. Не верьте, говорю им, что культура кончилась: она не может кончиться, потому что она — выгодна (говорю я на понятном им языке)! — и чтобы облегчить себе жизнь, выгоднее для вас — внушить это своим питомцам! И если каждый из вас сумеет убедить в этом за всю свою жизнь хотя бы пятерых — есть надежда, что дети ваши станут счастливее вас!.. и если мои лекции высекают пусть даже не огонь — а хотя бы интерес в глазах, я воображаю себя тогда паладином культуры, а аудиторию — моим полем сражения с косной природой, что держит это юное воинство в плену, в то время как моё оружие — всего лишь знание…

При этом надо ещё соответствовать образу, иначе это смешливое воинство тебя просто осмеёт… Терпеть не могу вялых *преподов*, кое-как одетых, нечёсаных и небритых; даже живя в деревне, сам я

являюсь на поле битвы выглаженным и праздничным и стараюсь внести туда заряд энергии, создающей напряжение в этих юных глазах и душах.

Но в то утро передо мной сидело не юное воинство; эту аудиторию турусами не проймёшь… Я должен был повторить для этих солидных дам навязшую в зубах лекцию о школьном курсе русской литературы: о том, как наша литература сильна образами крепостников, «лишних людей» и Демонов, родных братцев Матери-революции; но я-то пришёл не для этого — я взялся рассказать им о том, что есть в русской литературе начало, которого школьные программы в упор не видят: любовь и её пробуждение. «Давайте, — предложил я моим дамам, — вместе с детьми учиться у нашей литературы не пресловутой борьбе — а любви; некому больше научить их этому…» — и ведь заинтересовывал: видел, видел в глазах смятение — даже желание думать!..

Грешен, люблю состояния, когда слова начинают истекать из тебя сами, облекая мысли в гибкие летучие фразы, и то, о чём ты говоришь, находит немедленный отклик — чувствуешь тогда свою власть над аудиторией: одни лихорадочно пишут, другие следят за каждым твоим жестом; глаза блестят… Правда, эти состояния редки — но когда они бывают!.. Много на свете сильных ощущений, но, пожалуй, ничто не сравнится с наслаждением от власти над аудиторией, когда ты, вытаскивая на свет хрупкую, сияющую истину, способен удержать ею внимание целого собрания людей, и собрание с трепетом душевным, затаив дыхание, начинает за нею следить. Тогда я понимаю удовольствие, которое испытывают вожди, президенты и генералы от власти над миллионами. Хотя, конечно же, масштабы моего удовольствия — скромней: я-то своей властью всего лишь пытаюсь внушить моим подданным их право на маленькие ежедневные подвиги, чтобы не дать угаснуть однажды разожжённому человечеством огоньку культуры…

Управляясь в то утро с аудиторией и входя в азарт, я при этом, по обычаю своему, следил за ней, начиная различать отдельные лица.

Вечно сокрушаюсь: как мало среди них мужчин! В то утро их набралось всего-то четверо… И тут — по красной физиономии и буйной шевелюре — узнаю одно мужское лицо в дальнем ряду… Оно мне явно мешает: то поглядывает на меня, то склоняется к соседке в очках, которая, в отличие от него, пишет много и торопливо, и нашёптывает ей что-то явно несерьёзное… Да это же Арнольд, мой былой сокурсник! — узнаю я его наконец. А соседка… И её теперь узнал: та самая, что я догнал давеча на дороге! А ведь, признаюсь, искал её глазами в фойе и не мог найти — теперь понятно почему: без шубы она — ещё бледнее; и эти очки… Что она там так старательно пишет?.. Ладно, пиши-пиши, напрягай извилины! — и почувствовал, как во мне включился добавочный стимул…

В перерыве ко мне подошли сразу несколько человек: кто-то благодарил за лекцию; какой-то молодой человек, заикаясь, жаждал меня оспорить; подошла, растолкав всех, журналистка из газеты, заставляя меня выдавить дежурные фразы о том, что я думаю по поводу семинара; подошёл Арнольд. Я протянул ему руку, но, отвергнув мой скромный знак приветствия, он крепко меня облапил.

— Молодец, на высоте! — начал он с неумеренной похвалы.

— Ты-то как? — перебиваю его.

— Поздравь: с Нового года я снова здесь: переезжаю в город! — с удовольствием переключается он на самого себя. — Надо бы потолковать, а?

— Я не против, — говорю ему, — только после этой лекции мне ещё в институт надо. Но последнее занятие здесь — снова моё; вот и поговорим…

И тут откуда-то сбоку шагнула и встала рядом с Арнольдом моя незнакомка — уже без очков.

— Извините, что вторгаюсь… — лепечет, явно преодолевая смущение. — Это ведь мы с вами… столкнулись на дороге?

— Да! — энергично киваю я.

— Это наша Надя! — представил мне её Арнольд. — Работаем вместе.

— Я всё записываю, но у меня — вопросы! — опять — она.

— Вопросы, — говорю, — в конце дня. Кстати, вы не учились у меня?

— Училась, — и — отчего-то слегка покраснела.

— А почему я вас плохо помню?

— Я… я всегда стеснялась…

Тут прозвенел звонок, и мы разошлись по своим местам.

А по окончании лекции я и в самом деле помчался в институт.

День был просто сумасшедшим: всё — бегом; к четырем — опять в Дом молодёжи; причём у «семинаристов» накопилось столько вопросов, что я предложил приберечь их на завтрашнее занятие — и на этом в шесть закруглились.

Я помнил про своё обещание Арнольду, но разговор с ним тоже хотелось отложить до завтра, и как только занятие кончилось, сказал ему об этом, тем более что у «семинаристов», в компенсацию за трудный первый день, намечалось развлечение — встреча с местными поэтами, и поэты уже ждали. Однако Арнольд жаждал разговора, и мы рядились, стоя в многолюдном фойе: он зазывал меня в кафе — я уклонялся… Между тем Дом молодёжи уже вступал в свой обычный вечерний режим: в фойе толклась молодёжь, бродили и приставали к женщинам какие-то полупьяные личности; и тут к нам стремительно подошла Арнольдова сослуживица Надежда — к ней пристали сразу двое молодых людей: что-то, видно, в ней их возбуждало?

— Вы почему меня бросили? — возмущённо посверкивая глазами, бросила она Арнольду.

— Я думал, ты *на поэтов* осталась! — оправдывался он. — Я вот предлагаю Владимиру Ивановичу в кафе посидеть. Может, уговоришь?

Она глянула мне в глаза тем самым — как утром на улице — обжигающим взглядом и произнесла проникновенно:

— Пойдёмте, а?

Этот взгляд не вызвал во мне ничего, кроме скромного тщеславия: в мою душу ещё пытаются заглядывать молодые женщины?—да ведь я стреляный, студентки и не то вытворяют,—но как-то сразу согласился:
—Сдаюсь!—и мы втроём отправились вниз, в кафе.

А там галдёж, все столики заняты,—настоящий шалман; я уж пожалел, что согласился, и ломал голову, как бы *слинять* под шумок.

Кое-как нашли угол стола со свободным стулом, усадили Надежду и отдали ей сумки; Арнольд направился к стойке взять чего-нибудь; я предложил вступить в долю—он запротестовал; я пошёл искать стулья, а когда вернулся с ними, Надежда уже носила на нашу часть стола бутылки, стаканы и тарелки с бутербродами (ничего другого там, кажется, уже и не было).

Наконец сели за трапезу. Надежда оказалась зажатой меж нами; я чувствовал её локтем, а когда опускал голову—взгляд натыкался на вылезающие из-под юбки овалы её колен; ёрзая под моим взглядом, она натягивала на них подол и держалась так, чтоб не мешать нам с Арнольдом. Но беседы в этом шалмане не получалось—так, пережёвывали сегодняшнее; однако я, выпив стакан сухого вина, уже чувствовал, как тепло и спокойно мне стало, а Надеждины колени напоминали, что рядом—не лишённое непонятной прелести существо.

Тут в кафе ввалилась новая орава—закончился вечер поэзии; привели сюда и поэтов. Их было двое; невзрачные, неопрятные люди неопределённых возрастов, они вели себя хозяевами положения и капризничали; один из них был с гитарой—его тотчас усадили и упросили петь. За столиками, рассчитанными на четверых, теперь умудрялись сидеть по семь-восемь человек; началось нечто свальное; слушать этот гвалт не хотелось, и я попробовал объяснить собеседникам, что мне пора на электричку.
—Старик, да зачем тебе ехать, а утром возвращаться?—стал с жаром уговаривать меня Арнольд.—Я пока один в квартире; поехали ко мне—останешься на ночь, и поговорим нормально!

Я начал категорически отказываться, однако отделаться от него было непросто: он опять прибег к помощи Надежды—теперь и она просила:
—Оставайтесь, а? Ну пожалуйста!

Меня, между прочим, занимало: в каких они отношениях?.. Хотя какое мне дело? Но тут начало действовать выпитое вино; я размякал, и я доставлял кому-то своим присутствием удовольствие… Мы поднялись. Надежда—поразив меня своей бережливостью—собрала всё, что осталось у нас на столе, и рассовала в свою и Арнольдову сумки.

4.

Поймали такси, и когда, едучи через центр, проскочили мимо поворота на вокзал—заныло ретивое: что я делаю, куда несусь?—и остановиться невозможно: позывные чужой молодости стучат в виски и зовут на приключения; меня уже несло; было страшновато и интересно: что там, дальше?

Похоже, и у Надежды то же самое, потому что когда миновали центральный проспект, затем мост через реку, потом длинную улицу и свернули куда-то—Арнольд вгляделся в окошко, попросил водителя остановиться, и когда тот притормозил—спросил у Надежды:
—Не узнаёшь перекрёсток? Тебе домой пора.

Однако она, вжав голову в плечи, не пошевелилась.
—Я с вами хочу!—наконец сказала она.
—А муж?—напомнил Арнольд.
—Это мои проблемы.
—Ну-у, мать,—покачал он головой.—Я и не знал, что тебе нельзя вина!
—Арнольд Петрович, не будьте занудой, а?—взмолилась она.—Можно, я ещё часик побуду с вами? Сегодня такой день!
—Ладно, шеф, поехали!—скомандовал он водителю и, когда тот тронулся, добавил внушительно:—Только на меня свои проблемы не вешай, ладно?

Надежда тихо хмыкнула, но от ответа уклонилась.

В единственной жилой комнате запущенной Арнольдовой квартиренки—как в дешёвом гостиничном номере: лишь диван-кровать, стол, кресло да два стула. Арнольд принялся объяснять, что привёз пока одни «дрова»—остальное перевезёт вместе с семьёй в мае.

На кухне—полно пустых банок и бутылок, меж которыми нет-нет да мелькнёт резвый таракан. Зато есть столик с пластиковым верхом и три табуретки. Здесь и решили обосноваться с ужином.

Оказалось, у Арнольда есть картошка, и Надежда взялась поджарить её. И действительно, пока он доставал из холодильника водку, колбасу, маринованные огурцы, резал хлеб и расставлял посуду,—она как-то быстро успела почистить и наскоро поджарить на электроплите сковороду картошки.

Мало того, вместе с прихваченными из буфета бутылками и мятыми бутербродами она извлекла из своей битком набитой объёмистой сумки ещё несколько мятых алых гвоздик.
—А это у тебя откуда?—удивился Арнольд.
—Да-а…—замялась она.—Ещё когда уходили из конференц-зала, я прихватила несколько: всё равно ведь завянут.
—Ну-у, Наде-ежда!—крутил головой Арнольд.—Экая ты сноровистая! Завидую твоему мужу!..

Однако хлопоты неугомонной Надежды на этом не кончились.
—А свечи у вас, Арнольд Петрович, есть?—спросила она.

Тот достал из навесного шкафа пачку свечей. Не было подсвечника; Надежда нашла среди посуды глиняную плошку, закрепила в ней и зажгла свечу и погасила верхний свет… И вот мы за столом: Арнольд—напротив, Надежда между нами. Маленький живой огонь в центре стола как-то сразу сплотил нас в тесный круг; наши лица приобрели графическую резкость, глаза потемнели и заискрились, на стенах заколебались наши тени, и простецкий ужин сразу преобразился в торжественную

трапезу… Кому-то из нас выходило произнести нечто, подобающее моменту. Взялся я.
— Мне было необыкновенно приятно встретить тебя,— кивнул я хозяину,— и познакомиться с вами,— сказал я Надежде…

Потом мы говорили с ним обо всём сразу, а из нас двоих больше говорил я — меня *подначивали* на это, и меня несло — я был в ударе, замечая боковым зрением, как Надежда таращится на меня.

В десять вечера хозяин спохватился:
— А ты что, мать, расселась? Давай-ка домой; я тебя провожу. А ты посиди,— попросил он меня,— я скоро.

Я сказал, что тоже с удовольствием пройдусь, и мы втроём прошли в прихожую, оделись и вывалили на улицу.

Ветер, дувший весь день, ослабел; зато хлопьями валил снег; его несло и кружило; под фонарями вились снежные струи; газоны, тротуары, крыши домов — всё залеплено снегом; темнели только стены и узкие полосы мостовых, где мчались машины. Вот тебе и весна!.. Снег приглушил звуки; пахло, как в свежевыбеленной комнате, и легко дышалось.

Обрадовавшись снегу, Надежда бросила нас и побежала вперёд, подняв лицо навстречу снежному вихрю и декламируя:

Падай, снег, с небесной высоты!
Поскорее всё собой укрой!
Чистоты! — молю я.— Чистоты!..

Повернулась к нам и крикнула:
— Угадайте, чьи стихи?

Естественно, угадать мы не могли.
— Я их в шестнадцать лет писала! — засмеялась она, кружась в неком подобии танца, и вокруг неё кружился снежный вихрь; из неё просто фонтанировала энергия; я вспомнил её быстрый лёгкий шаг, когда догонял утром. Всего лишь утром! Казалось, я её знаю уже давным-давно.

Она жила в двух кварталах от Арнольда.

Чем ближе к дому, тем озабоченней она становилась.
— Ох и будет мне сейчас! — не выдержала она: тяжко вздохнула.
— Тебе сегодня стоит задать взбучку,— проворчал Арнольд.— Но если будет руки распускать — возвращайся: мы тебя в обиду не дадим!

Было это сказано скорей из вежливости и никого ни к чему не обязывало; да и каким образом мы бы стали её защищать?.. У её дома мы с ней попрощались, но она всё стояла в дверях подъезда и уходить не желала.
— Давай-давай, иди! До завтра! — махал ей рукой Арнольд.

Наконец она ушла, а мы повернули обратно.

Ветер совсем стих; снегопад стал тёплым. Мы с Арнольдом шли и не спеша разговаривали, теперь — о Надежде.
— Чую, задаст он ей сегодня трёпку! — посмеивался он.— По моим наблюдениям, он ей спуску не даёт; наверняка уже звонил в Дом молодёжи,— и добавил доверительно: — Не узнаю её сегодня: то домой бегом бежит, а тут — как сорвалась. Влюбилась явно.
— В кого? — не понял я.
— В тебя — в кого же ещё!
— А я понял, что у вас роман,— ты с ней накоротке.
— Да ты что — я не могу дождаться своей жены! — возмутился он.— А что с Надеждой накоротке — так я со всеми так… Нет, не узнаю её сегодня: то сереньким воробышком прыгала, а тут…— и добавил с удивлением: — Смотри-ка, а ведь заметная женщина!
— Скорее, странная,— поправил я.— Ничего особенного — а внимание обращает…— и тут же себя одёрнул: чего это я губу раскатал — она же к мужу ушла! — и, чтобы отвлечься, стал расспрашивать Арнольда о нём самом.

А ему и в самом деле хотелось поговорить о себе, и как только я спросил — его прорвало и понесло… Он толковал мне о своих планах, и главным в этих планах, оказывается, была газета, которую он мечтал создать здесь,— газета для учителей и школьников, этакий главный советчик и главный штаб образования в городе, со всеми их проблемами: затем, мол, и вернулся, застрявши, казалось, в районе навсегда,— и именно теперь, когда открылись такие возможности. Я ещё усомнился: не слишком ли многого он хочет? — и он мне ответил, что для детей ничего не может быть слишком много… Оказывается, он уже и деньги нашёл на газету, и заручился чьей-то поддержкой, и желал непременно, чтобы и я тоже сотрудничал в ней — «ведь это же, как, старина, ни суди,— а благородная миссия!..» — а я шёл, слушал его вполуха, думал про себя: «Какой, однако, молодец — сколько в нём энергии!» — а воображение моё всё ещё занимала эта женщина в снежном вихре…

Вернувшись, мы снова сели на кухне, налили ещё, и он продолжил долбить меня своими планами, а я опять слушал кое-как, думая, скорее, о том, что вот все они: он, Надежда, да, наверное, все, кто слушал меня сегодня,— живут своей жизнью, своими заботами, и — никакого им дела до того, что говорил я… Зачем я сюда приехал?.. Было нестерпимо грустно; забытые гвоздики рдели теперь тоскливо, как на кладбище; пуста была табуретка, на которой сидела давеча Надежда, и тоскливо торчал погашенный свечной огарок…

Неожиданно в прихожей раздался звонок; мы переглянулись.
— Это пьяный сосед,— прошептал Арнольд.— С ним бывает: недоберёт и приходит добавку клянчить… Ну его!

Подождали. Звонок повторился, а затем стал звенеть непрерывно. Хозяин вздохнул, проворчал:
— Знает, гад, что я дома! — и пошёл в прихожую.

Хлопнула входная дверь, и послышался женский голос; тембр его был неуловимо знаком… Я встал и прошел вслед за Арнольдом.
— Посмотри, кто пришёл! — посторонившись, обернулся он ко мне; перед нами стояла, виновато улыбаясь, Надежда — но в каком виде! Белый пушистый платок всё так же кутал её голову, но вместо шубы на ней теперь было куцее клетчатое

пальтишко, а вместо щегольских сапог—какая-то стоптанная обувка.
—А полюбуйся, как её разделали!—рассмеялся Арнольд.
—Не надо!—запротестовала Надежда, уворачиваясь.
—Нет, покажись!—он силой повернул Надежду лицом ко мне.

Да я и так заметил, как у неё припух один глаз, хотя платок её был повязан низко, до бровей.
—Кто это вас так?—удивился я.
—Муж разделал!—ответил за неё Арнольд.—Раздевайся!—скомандовал он ей и помог снять пальто; мы прошли на кухню и сели на свои места.

И странно: гвоздики на столе снова зардели празднично.

Надеждин глаз заметно набрякал; вокруг него поползла синева; смущаясь, она прикрывала её носовым платком; Арнольд принёс чистое полотенце, намочил под краном и посоветовал ей прикладывать его как примочку.
—Не смотрите на меня,—попросила она.—Общайтесь, как будто меня нет, а я буду просто сидеть и слушать.
—А где ваша шуба?—спросил я, чтобы отвлечь её от беспокоящего глаза.
—Шубе—конец,—вздохнула она.
—Как конец?—спросили мы с Арнольдом одновременно.
—Когда он меня ударил и стал обзывать, я решила уйти,—принялась рассказывать Надежда, возмущённо фыркая,—а он выхватил у меня шубу и давай топтать; мне её жалко стало, я отбирать кинулась—так он назло мне рукава оторвал и стал меня ими хлестать; я выскочила—и к соседке; это она мне дала старьё…

Рассказав всё это, она заплакала.
—Ну вот,—мрачно вздохнул Арнольд.—А я ведь предупрежда-ал!
—Арнольд Петрович, не надо, и так тошно!—взмолилась она.
—На-ка, успокойся,—он налил ей вина.—Но знаешь что? Ты тоже виновата, так что иди и мирись! Не хватало ещё, чтоб он заявился сюда с топором.
—Он что, вас постоянно обижает?—спросил я.
—Нет; но я знала, знала, что он такой!—дрожал её голос.
—А ты его накажи,—предложил ей Альберт.—Уйди к подруге или к матери, и никуда не денется—придёт и извинится!
—Не придёт,—покачала головой Надежда.—И я не вернусь.
—Да ты что! А дочка?—напомнил Арнольд.—Не дури, Надежда!
—Ладно, что мы всё обо мне да обо мне?—кисло рассмеялась она.—Давайте о чём-нибудь поинтересней!..—от нервного шока и оттого, наверное, что она пришла с холода, щёки и уши у неё пылали; сидя вполоборота ко мне, она отворачивала от меня свой набрякавший глаз.—И давайте снова зажжём свечу—этот свет просто ужасен!

Арнольд зажёг новую свечу, и при её слабом свете она почувствовала себя увереннее.
—У меня такое настроение, будто я лечу в тартарары!—вдруг заявила она.—Была бы гитара, так я бы для вас даже спела.
—Так за чем дело? Сейчас возьму у соседа!—вскочил Арнольд.
—Подожди! Твои соседи давно спят,—запротестовал я—что-то меня всё это необъяснимо тревожило…

Но возбуждённого Арнольда уже было не отговорить—он ушёл и через пять минут в самом деле вернулся с гитарой. Сел, сам попробовал звучание струн, настроил её и передал Надежде.

Она долго примеривалась к ней, беря аккорды, вслушиваясь в них и подтягивая струны, а затем начала петь и уже не останавливалась, явно намереваясь изо всех сил очаровать нас пением… Исполняла она всё подряд: туристские, эстрадные, народные песенки, старинные романсы—тихим, едва шелестящим голоском, бережно при этом воспроизводя мелодии и тексты,—и выходило это у неё довольно мило; она умела петь.

Единственное, что меня смущало—она, сама того не замечая, развернулась лицом ко мне, при этом уносясь взглядом своих зелёных глаз кудато, куда нам с Арнольдом нет доступа: она была в озарении—она действительно летела! Но получалось, что пела она мне одному. Очень приятно, конечно, когда женщина окутывает тебя туманом своей влюблённости и ты слегка одурманен ею; только перед хозяином неловко: сидит и ёрзает, словно при чужом объяснении в любви.
—Нравится?—прерываясь, спрашивала она меня.
—Да,—сдержанно отвечал я.

Она поднимала глаза к потолку, напрягая память, и говорила:
—Ещё такая есть,—и пела дальше—будто отдавая всё-всё, что имела.

Потом отложила гитару и стала массировать пальцы.
—Ну, Надежда, ты сегодня в ударе!—с восхищением, но не без усмешки сказал Арнольд.—Я тебя такой не знал!
—О, я ещё и не такой умею быть!—простодушно рассмеялась она.

Мы помолчали.
—А давайте знаете что?—загорелась она снова, только чтобы не было молчания.—Читать стихи по кругу, и—кто выиграет!
—Чьи стихи?—спросил Арнольд.
—Какие хотите: свои, чужие!
—Нет,—сказал Арнольд,—я пас. Пойду лучше расстелю постели.

Мы с Надеждой недоумённо переглянулись: как он собирается нас укладывать?.. Но он ответил на наше недоумение:
—У меня, конечно, не люкс, но места хватит всем: Надю—на диван, тебя,—кивнул он мне,—в креслокровать, я—на полу… Только вот что,—он теперь стоял в дверях, как бы демонстративно отделяя себя от нас.—Схожу к сестре—она тут недалеко живёт—попрошу ещё одеяло…

Кажется, то была хитрость: сбежать от нас,—он, наверное, решил, что мы с Надеждой не будем возражать? Однако я возмутился:

— Извини,— сказал я, поднимаясь,— но я не затем сюда ехал, чтобы выживать тебя из квартиры! Иди к сестре, а я возьму такси и поеду к товарищу. А Надежда пусть остаётся.
— Я не хочу, я боюсь!— тотчас возразила она, глядя на нас обоих с недоумением, подозревая какой-то заговор; затем посмотрела на меня умоляюще.— У меня подруга есть; увезите меня к ней! Пожалуйста!
— Хорошо,— согласился я.— Одевайтесь, поехали.

5.

Снегопад на улице кончился, ветер совсем стих. Стояла глухая, но светлая от снега ночь: ни прохожих, ни автобусов; редкие машины проносились мимо, разбрызгивая кашу из сырого снега и не обращая внимания на наши поднятые руки. Я предложил идти вперёд и пробовать останавливать машины по пути. Мы пошли, и всё шли и шли, настолько увлёкшись разговором, что забыли и про сумки, которые оттягивали нам руки, и про машины; я рассказывал ей, как живу в деревне, какой там снег и какие звёзды.

Она спрашивала, почему я там живу,— и я, увлечённый минутным чувством душевной близости с ней, стал объяснять ей свою маленькую тайну: у таких, как я, родившихся в деревне, на всю жизнь остаётся необыкновенное чувство родного очага; дом, где мы родились, для нас— центр Вселенной; мы тоскуем по нему, нас туда тянет, будто мы потеряли там душу, и возвращаемся— а найти этого центра уже не можем, и блуждаем всю жизнь между городом и деревней вечными скитальцами, с чувством утерянного навсегда рая…
— И что, вы там один?— спрашивала как бы между прочим она.
— Да. Я люблю одиночество,— отвечал я спокойно.— Может, оно и не столь комфортно, зато продуктивно… По-моему, вся плодотворная часть человеческой истории состоит из суммы таких вот одиночеств.
— Да-а?— удивилась она и добавила убеждённо:— А я его терпеть не могу! В детстве я жила вдвоём с мамой, и когда болела— она меня запирала и уходила на работу, а я весь день сидела одна, читала книжки и смотрела в окно. Я рано научилась читать… Да, понимаю: одиночество полезно— но я его не-на-ви-жу!

Мне стало весело от её порывистого признания; хотелось расцеловать её.

Я зачем-то оглянулся вокруг, увидел сзади наши с ней следы— на девственно-белом тротуаре они тянулись за нами двумя пьяными строчками,— и рассмеялся.
— Посмотри!— сказал я, нечаянно перейдя на «ты».— Мы с тобой— как Адам и Ева, изгнанные из рая: делаем первые шаги по земле.
— Но за что же нас— на снег-то?— тотчас подхватила она игру в Адама и Еву.— Разве то, что мы делаем, большой грех?
— Грех не в том, про что ты думаешь,— хмыкнул я,— а в том, что у них открылись глаза и они увидели друг в друге мужчину и женщину…

Лишь под самый конец нашего *исхода* нас подобрал какой-то сердобольный водитель и вмиг домчал до обычной пятиэтажки в жилом микрорайоне, где жила её подруга.

Уже начиналось утро: вспыхивали в тёмных домах окна, усилился поток машин, появились прохожие…

Она стала звать меня с собой:
— Пойдёмте, вы же устали! К ним всегда можно; отдохнёте там…

Но я категорически отказался. Да, я не спал уже больше суток— но не хотелось представать перед чужими людьми усталым. Стали прощаться.

Прогулка утомила и её тоже; да ещё этот синяк, расплывшийся к утру на пол-лица; идти на семинар она не собиралась, но ей явно не хотелось расставаться, и она тянула время… Вдруг она распахнула свою сумку, вытащила оттуда тонкую папку с тесёмками и подала мне.
— Я тут захватила… чтоб вы прочли моё… сочинение.
— Какое сочинение?
— Рукопись… Я пишу… Мне нужно ваше мнение!
— Но ведь есть же какие-то журналы, редакторы?
— Пожалуйста!— взмолилась она.— Я никогда ещё… Хочу, чтобы вы…
— Почему я?
— Не знаю… Никому не давала; от мужа прятала.

Это что же— она отдаёт мне самое дорогое?
— Ладно, давай,— взял я папку и сунул в свою сумку.

Наконец простились; я высказал ей неопределённую надежду на встречу и пошёл к товарищу— до него оставалось уже недалеко: отдохнуть у него хотя бы часа два перед тем, как идти в институт. А образ Надежды в мозгу, как только мы попрощались и разошлись, стал лёгким и смутным.

В течение дня воспоминание о ней легонько щекотало самолюбие: как же, в тебя, теряя голову, *втюрилось* молодое существо; я был благодарен ей— однако чувствовал и досаду: не так это должно быть— слишком уж всё по́шло и убого: чужая замызганная квартира, чья-то жена, синяк под глазом, обдёрганное пальтишко,— сидит меж двумя мужчинами, поёт песенки под гитару и строит одному из них глазки… Да и сам хорош: будто в грязце вывалялся. Впрочем, если подумать, не во всякой ли влюблённости есть элементы и грязцы, и безвкусицы?.. А с другой-то стороны, если б человек имел безупречный вкус— влюблялся бы он когда-нибудь?.. Так пусть это маленькое приключение останется навсегда наваждением буйной весенней ночи. Пройдёт. Главное— держать интеллект на страже…

Так думал я, возвращаясь памятью к прошлой ночи, и весь день чувствовал себя усталым: после обеда навалилась сонливость, слабый буфетный кофе не помогал; мечталось об одном: скорей закруглиться с лекциями— да на электричку, и дома— на бочок… Но надо было ещё тащиться в Дом молодёжи.

И всё-таки я нашёл в себе силы приехать туда и провести занятие.

Надежда, конечно же, не пришла; на вчерашнем её месте сидел один Арнольд, посылая мне глазами отчаянные сигналы. Отсыпается моя подружка и залечивает душевные травмы, усмехался я. Да оно и к лучшему: ещё на одну такую ночь сил у меня уже не хватит, тем более что завтра с утра — опять лекции… И всё же меня не покидал некий элегический туман: так приятно, чёрт возьми, когда тобой восхищаются, любят тебя!..

Наконец, занятие — слава Богу, последнее здесь — кончилось. Наших *«семинаристов»* ждало новое развлечение — встречи в Доме актёра, — а я попрощался, вышел из аудитории и иду себе по фойе, думая об одном: скорей, скорей на электричку… И тут — *она*! Идёт прямо на меня, цокая каблуками и улыбаясь, вся новая, свежая и — в совершенно другой одежде: лёгкое светлое пальто нараспашку, белый шарф до колен, на ногах — те, прежние, щегольские сапоги на тонких каблуках; светлые волосы — в крупных локонах. И никакого синяка на лице — глаза сияют чисто и ярко; и — ни следа от вчерашней неуверенности в себе. Нарядная одежда тому причиной — или что?

— Привет! — я ей — удивлённо. — А где же твой синяк?

— Есть прекрасное средство от синяков — бодяга! — смеётся.

Да не бодяга тому, верно, причиной — а здоровье и молодость! Хотя, если всмотреться, остатки синяка тщательно припудрены и замаскированы голубыми тенями на веках, тушью на ресницах…

— Ты, я смотрю, дома была?

— Да, забрала вещи.

— С мужем помирилась?

— И не подумала!.. Вы — в Дом актёра?

— Нет, — качаю головой. — В деревню, отсыпаться.

Глаза её озорно блеснули:

— А я вот возьму и поеду с вами! Можно?

Ну, шальная!.. И по-прежнему — почтительное «вы»… Я отрицательно мотаю головой: нет, милая, мой скит не готов к таким виражам — хотелось бы оставить его оплотом отшельничества… Да и — вдруг жена с проверкой? — ещё не хватало там бабьих дрязг!

— А ты давай в Дом актёра! — говорю. — Там такое сегодня будет!

— Неужели вы не поняли? Я не хочу без вас! — она с вызовом глянула мне в глаза. — Можно, я хоть провожу вас на вокзал?

— На вокзал — можно.

До отправления электрички оставалось двадцать минут. Проездной билет у меня был, и мы пошли прогуляться.

Стояли сумерки с высоким светлым небом и лимонным закатом. На привокзальной площади зажгли фонари, было людно; после ночного снегопада в городе днём текли ручьи и чавкал мокрый снег, а теперь подмораживало — под ногами звенели льдинки.

Мы шли по обледенелому асфальту, смотрели на закат, в ту сторону, куда мне предстояло ехать, и я рассказывал ей про сегодняшнее занятие.

С краю площади, прямо на асфальте, торговали всякой мелочью: семечками, орехами, цветами. Когда мы проходили мимо, она сказала:

— Подождите немного, — и пошла вдоль ряда.

Куда она — за семечками мне в дорогу, что ли? Я смотрел, как она идёт — быстро и легко, будто танцуя, неся гибкое тело, помахивая в такт рукой на отлёте с зажатой в ней перчаткой.

Она подошла к смуглой пожилой узбечке в ярком платке, торговавшей цветами, и стала выбирать тюльпаны. Я кинулся туда — расплатиться.

— Это — вам, — подала она мне букет из пяти жалких, бледных тюльпанчиков с остроклювыми, перевязанными ниткой бутонами.

— Да ты что! — онемел я от удивления: я много дарил в жизни цветов, но самому мне вот так, от души, никто, кажется, их не дарил. — Я возьму ещё, и ты заберёшь их все! — сказал я.

— Нет-нет-нет! — категорически возразила она. — Возьмите, и пусть они вам напоминают о… нашей встрече!

В конце концов торговка предложила мне оптом, по дешёвке, весь остаток, штук тридцать; я их забрал, и мы их поделили пополам.

— Спасибо! — сказал я Надежде. — Разбитый надвое букет пусть будет символом нашего прощания. Я поставлю их, буду ждать, когда распустятся, и вспоминать тебя (хотя, честно говоря, не верил, что эти чахлые тюльпаны способны распуститься). И давай-ка вот что, — продолжил я, уже строго. — Езжай домой и мирись с мужем! А эти сутки я оставлю себе на память как путешествие в молодость. Обещай вернуться домой; подурили — и хватит!

Она промолчала.

— Ну, пока! Прочитаю рукопись — позвоню, — сказал я ей так же строго, не давая повода для пустых надежд (даже и звонить не буду, — решил про себя, — верну рукопись через Арнольда), и пошёл себе, но на высоком крыльце не выдержал — оглянулся. Она стояла всё там же и смотрела мне вслед широко открытыми глазами, полными недоумения, — будто её настигло несчастье, и она никак не может понять: за что? А я повернулся и вошёл в вокзальные двери.

6.

Вечером в деревне, сидя за рабочим столом, я поглядывал на эти недоразвитые тюльпаны в стеклянной банке и думал: жалко выбрасывать; завянут — так выброшу, и Надежда уйдёт вместе с ними; а пока пусть побудут…

А когда на следующий день вернулся из города снова — распустились! Распахнули алые лепестки, открыли золотое с бархатно-чёрным нутро; листья, напитавшись водой и светом, зазеленели. Солнце добралось до стола, и всё вместе: цветы, зелёные листья, прозрачная вода в банке, — преломивши лучи и рассыпавши по столу с бумагами радужные круги, наполнило меня ликованием, и всплыло имя: Надежда! Я сказал его вслух — оно состояло из шорохов и шелестов и обозначало надежду — на что?.. Я осаживал своё ликование: подожди, не суетись, не поддавайся…

А вечером сел наконец за её рукопись. И сразу понял: взялся за безнадёгу; это был черновик, написанный, к тому же, неряшливо: плохим почерком, с зачёркнутыми, исправленными и дописанными между строк и на полях словами, фразами, абзацами. Я возмутился: неужели она так самонадеянна, что вообразила, будто кто-то возьмётся разбирать эти каракули за красивые глаза?.. Да на кой мне это—меня никто не обязывал! Пролистаю—чтоб только понять, о чём речь,—и дам отписку!

Рукопись представляла собой автобиографическое повествование о её детстве, обидах, обманах и вражде к ребёнку нищего жестокого окружения… Точнее—об отношениях девочки-подростка, имеющей развитое воображение, способной думать и мечтать, пробующей писать стихи и дневники, и—её матери, девчонкой сбежавшей из голодного, обобранного села в город искать свою долю, ставшей крановщицей на заводе, а затем—обманутой, оказавшейся с ребёнком на руках женщиной в промёрзшей комнате барака, срывающей свои обиды на ребёнке… Одним словом, бедность на грани нищеты, безысходность и изматывающая обеих, мать и дочь, череда приступов взаимной любви, вражды, жалости…

Однако в этом сумбурном повествовании был яркий эпизод, ради которого, кажется, и затеяно всё остальное: получившая паспорт шестнадцатилетняя девчонка одержима мечтой найти родного отца. Она бродит по городу, всматривается в мужские лица и гадает: он—не он?—и когда ей кажется: он!—долго идёт за ним и наблюдает…

Подруга её, которая знакома с её проблемой и у которой есть дома телефон, находит в телефонной книге фамилию и инициалы её отца; после мучительных сомнений героиня насмеливается позвонить туда. Откликается мужской голос, но она не решается ответить. «Кто-то балуется»,—говорят на том конце провода и кладут трубку. Разумеется, за этим следует описание смятения в душе девочки-подростка только оттого, что она слышит голос отца… Она узнаёт домашний адрес владельца телефона и отправляется туда в ближайший выходной… Дальше идёт описание встречи и переживание её девочкой: как у неё стучит сердце, когда она нажимает кнопку звонка, как дверь открывает мужчина (описание его опускаем) и грубо спрашивает её: «Чего тебе надо?»—и как она отвечает: «Я ищу отца»,—и показывает свой паспорт. Мужчина заглядывает туда мельком, затем лицо его делается злым, и он кричит: «Иди отсюда, психопатка,—сейчас милицию вызову!.. И не смей больше звонить!..»—понял, значит, что звонила по телефону она…

Да, тема трудная. О подростках-мальчиках и в русской, и в мировой литературе написаны горы книг, а вот о девочках—почти ничего, а что есть—не стало фактом большой литературы, так что образца, так сказать, не существует. Хотя, впрочем: а Достоевский, а Пастернак?.. Но, во-первых, это мужчины, а во-вторых, повести их о девочках—всего лишь фрагменты большого и целого; так что тема ещё ждёт открытий…

Если б взяться да помочь ей превратить черновик в повесть… И вместо того, чтобы пролистать его, я потратил чуть не целую ночь и распутал там каждую фразу… Сложное впечатление оставил он у меня—смесь удивления и раздражения: явно талантливым человеком написано; но между этой пробой пера и окончательным воплощением—бесконечность; сколько же талантливых людей рождается, совершенно не умея ни развить себя, ни напрячься до сверхусилий, кого-то в своих неудачах потом виня и на кого-то уповая…

Но сквозь эти размышления на меня взирали Надеждины неподвижно-серьёзные глаза, и до меня дошло: это же её неразвитая душа сквозь эти глаза взывает о помощи!—так почему не помочь ей, хотя бы в благодарность за ту ночь, которой она пыталась одарить меня просто так, из доброты и щедрости?.. Выбившись из сил, я лёг спать с тяжёлой головой, но видел лёгкие сны, и все—о ней…

Снилось снежное поле и тропинка в снегу, и впереди на тропе—женщина: она стоит с открытыми светлыми волосами, подняв лицо к солнцу и жмурясь, будто ловит загар, а в ушах у неё—серёжки, сияющие под солнцем радужными лучами так, что больно глазам; я медленно приближаюсь, смотрю на неё, силюсь узнать—но слишком слепят и снег, и серёжки; вдруг она оборачивается ко мне испуганно, и я наконец догадываюсь: это же она!—хочу крикнуть: «Не бойся!»—и не хватает сил разжать рот…

Или—еду верхом по сельской улице; сумерки, лошадь бежит тряской рысью, а я—как в детстве—сижу на ней без седла и поглядываю по сторонам; по одну сторону—деревенские дома, по другую—уходит ввысь крутой склон с тропинками, и наверху—тоже дома… И вдруг один из домов там, наверху, будто охватило пламя—так отразилось в его окнах багровое закатное солнце. Знаю, сзади скачет товарищ; останавливаюсь и жду, чтобы показать ему тот дом, и когда он подъезжает—всматриваюсь: на лошади—Надежда! Но пока я её ждал, наверху всё погасло; я кричу, чтоб догоняла, стегаю лошадь, и она несёт меня вверх: там, выше, ещё дома—я застану этот свет!.. Я уже высоко; оглядываюсь, но внизу—уже мрак: ничего не видать…

Знаю, что сны—наша вторая жизнь: без них она—как цветы без запаха, как звук без эха; они придают жизни глубину, объём и чувство тоски по тому, чему нет имени… После тех снов я копался в сонном сознании: вестники чего они?—и пытался сложить из их осколков Надеждин образ. О-ох, ловушки!—подсказывал разум. А подсознание готовилось к встрече.

Через два дня утром—снова электричкой в город. Уже не глазею по сторонам, не читается: все

мысли — о ней и о ней: эта дурочка, конечно, вернулась домой — ведь так куда удобней, чем мотаться по чужим углам; а неприятности, вроде *фингала* под глазом, который муженёк засветит ей ещё раз — лишь залог прощения и будущего мира; бьёт — значит, любит…

Но хочется чуда… Желая продлить ожидание, заставил себя сначала провести две двухчасовых *ленты*, пока наконец не добрался до телефона и не набрал номер; на том конце провода пошли её звать, а сердце стучит, и стыдно за него: да что же это такое, что за слабость?.. И вот — её далёкий, как эхо, сдержанный голос в трубке:

— Алло?

— Привет! — легкомысленно кричу я и добавляю, уже весьма сухо: — Хочу поговорить о рукописи, если *вам* интересно.

— До пяти я не смогу уйти, — прошелестело в трубке.

— А потом?

— Потом я в вашем распоряжении.

— Хорошо! — голос мой взмыл; до пяти — ещё *ужас* сколько времени, но уж я не отступлюсь, подожду; поработаю пока в библиотеке: — У входа в городскую библиотеку в шесть — согласны? — кричу ей.

— Да, — опять — далёким шелестящим эхом…

Ровно в шесть я вышел из библиотеки; она уже ждала.

Странно, как она всё время меняется: то же лицо, те же волосы, то же светлое пальто с длинным белым шарфом — но тогда вся она была праздничной и светилась, а теперь — будто под налётом пепла. Зрение отмечает малейшие изъяны в её внешности, и изъяны кричат о себе… Ну да ведь работала целый день — чего же я хочу? Только одни глаза пробиваются из-под пепла, тайно радуясь встрече.

— Где будем говорить? — спрашиваю. — Может, погуляем?

— Нет, — робко просит она, — пойдёмте ужинать к моей подруге?

— А не слишком ли это — заявиться на ужин посреди недели?

— Нисколько. Нас ждут.

Ну что ж; праздник продолжается?.. Только неудобно с пустыми руками; предлагаю зайти в магазин, покупаю торт, бутылку вина.

— А к мужу, как я велел, вы вернулись? — спрашиваю дорóгой.

Она смущённо улыбается и отрицательно мотает головой.

— Где же *ты* живёшь? — мгновенно чувствую горячую волну соучастия в ней, решительно переходя на *ты*.

— Вот у подруги и живу.

В квартире нас первым делом облаивает великолепный легавый пёс коричневой масти с россыпью по шкуре мраморно-серых пятен. А уж потом, оттерев его, нас встречают хозяева, и *ты* знакомишь их со мною.

Станислава Донатовна и Борис Андреевич — некая середина меж нами и *тобой*: оба моложе меня, но старше *тебя*; оба почти одинакового роста и в то же время такие разные: она — в больших очках с золоченой оправой, с тонкими чертами лица, гладко причёсанными волосами, в строгом платье со стоячим воротником. Образ монашки? Курсистки из прошлого века? Где я её видел?.. А у него — румяное лицо, тёмная кудрявая шевелюра, лёгкая куртка нараспашку и неторопливость радушного хозяина…

— Ну наконец-то, а то Надя нам про вас уши прожужжала! — смеётся хозяйка.

Оба разглядывают меня, маскируя внимательные взгляды улыбками и возгласами приветствий.

Нас раздели в прихожей; на этот раз *ты* в чёрном платье из китайского шёлка с россыпью по чёрному полю золотых листьев и — в чёрном деловом пиджачке, — новая, улыбающаяся, уже стряхнувшая с себя пепельный налёт. Как быстро *ты* меняешься! И держишь меня за руку, боясь потерять.

Хозяйка кое-как отцепила *тебя* от меня и утащила на кухню — помочь с ужином, а Борис Андреевич повёл меня показывать гостиную со стандартными креслами, диваном, телевизором и музыкальным центром, со стандартным журнальным столиком, с обеденным столом и стайкой стульев вокруг; нестандартны здесь только стеллаж от пола до потолка вдоль одной из стен, набитый книгами, да полочки с диковинами на остальных стенах: куски минералов, раковины, засушенные рыбьи головы с огромными пастями, вырезанные из древесных корней зверушки, — а меж полочками — фотографии горных вершин, скал, водопадов и быстрых рек с плывущими по ним резиновыми лодками, плотами и байдарками.

Мы с хозяином неловко топчемся, словно обнюхивающие друг друга самцы; я рассматриваю коллекцию диковин и задаю вежливые вопросы — он сдержанно отвечает. Оказывается, собрал их он сам, поскольку любитель природы, рыбалки и путешествий, и все эти виды Кавказа, Памира, Саян и Алтая снимал тоже он; на плотах и лодках — он же; и всё это — с достоинством и самоуважением. Однако меня больше тянет к книгам; рассматривать чужие библиотеки — моя слабость: покажи мне её, и я скажу, кто ты!.. Пробежал взглядом по корешкам: разброс вкусов — обширный; большой раздел поэзии; есть редкие, только для *спецов* — но уж у спецов они вызовут трепет… Не ожидал, что меня приведут в *такой* дом.

— Хорошая библиотека, — похвалил я.

— Это — по Станиславиной части, — отозвался хозяин. — Мои тут — только приключения и география.

— Ну что ж, и они представлены достойно…

Тут хозяйка, войдя, попросила Бориса — мы с ним уже на «ты» и без отчеств — раздвинуть и поставить на середину комнаты стол; я предложил свою помощь, и мы, пыхтя, это проделываем. Затем стол тотчас оказывается застеленным белой скатертью; Станислава Донатовна расставляет посуду, а *ты* принимаешься носить блюда. Мы с Борисом, не мешая, разговариваем в сторонке, но я слышу и вижу боковым зрением только *тебя*, и *ты*, чувствуя на себе мой взгляд, носишься из кухни в гостиную, сняв свой строгий пиджак и вея

чёрным шёлковым платьем в золотых листьях, как пиратским флагом, гоняя, словно крыльями, вокруг себя волны воздуха, и уже само *твоё* хлопотливое порхание создаёт атмосферу праздника, а во мне рождается стойкое чувство тревоги перед неизбежностью…

И наконец мы все, слегка уставшие от ожидания,—за столом. Тут и наша магазинная бутылка, и самодельное розовое винцо в пузатой бутыли, и хрустальные звонкие бокалы, и сияющий белизной и сочными красками фарфор, и блистающие мельхиором ножи и вилки, и салфетки, и великолепные домашние закуски: грибочки, огурцы, помидоры, малосольная рыбка, густо посыпанный алой брусникой капустный салат, тушёный папоротник,—всё это даже по виду необыкновенно; а тут ещё—отварной, пышущий горячим паром картофель в кастрюле, потрескивающее в горячей сковороде жареное мясо… Видно, что гостей здесь любят и принимать, и потчевать… И мы начинаем наше импровизированное застолье; аппетит у всех отменный, а вино ещё подогревает его.

— Откуда столько деликатесов?—спрашиваю, хоть и догадываюсь откуда,—но как не польстить хозяевам!—и они наперебой объясняют, что всё заготовлено ими самими, что у них автомашина и отличный погреб, а сами они, большие любители собирать дары природы, приглашают желающих присоединяться к ним летом.

О, да я сам обожаю собирать грибы и ягоды! И я говорю хозяевам, глядя при этом на *тебя*, что мы обязательно поедем летом все вместе—и будем собирать, собирать, собирать!..—и чувствую, что меня несёт, словно поток—былинку, но уже ничего не могу с собой поделать…

Разговор закружился вокруг книг. Не удосужившись расспросить тебя о хозяевах заранее, полюбопытствовал: чем занимается Станислава?

Вот оно что: она филолог, редактор издательства, да ещё время от времени публикует в местных газетах рецензии на книжные новинки!.. Простите, а как ваша фамилия?.. Ах, Павловская! Конечно же, обращал внимание—но мне казалось почему-то, что это почтенная дама… Странно только, почему мы до сих пор незнакомы?—в нашем *миллионнике* едва ли наскребёшь полсотни живых душ,—мы просто обязаны знать друг друга в лицо! Выходит, все тут—свои?.. От осознания этого пространство за столом стало тесней, и я, пришелец из другого, холодного от одиночества мира, начал заметно оттаивать.

— С вами мы незнакомы только потому,—укоряет меня Станислава Донатовна,—что вы витаете в небесах и не видите вокруг себя женщин.

— Неправда!—возражаю я.—Надю же вот высмотрел!

— О, это ещё кто—кого!—смеётся Станислава.

И так получилось, что мы со Станиславой Донатовной слишком увлеклись разговором; вы с Борисом постепенно умолкли, а мы, забравшись в дебри филологии, заспорили по какому-то поводу…

— Знаете что?—заявила ты, прерывая нас.—А я хочу танцевать!

— Так это легко устроить!—поддержал тебя Борис, встал, включил музыкальный центр и ринулся было пригласить тебя на танец, но ты резво вскочила и успела протянуть руку мне. А Борис пригласил жену.

Кончился один танец, начался второй, потом третий; Станиславе с Борисом надоело, и они сели, а мы с тобой продолжали. Танцевала ты легко и неутомимо и предпочитала быстрые, энергичные ритмы: в экстазе ты закрывала глаза и мотала головой, а тело твоё—бёдра, торс, руки—будто струилось, и струилось твоё, в листьях цвета огня, чёрное платье… Я любил когда-то танцы, да обленился—но твоя податливость музыкальным ритмам и гибкие движения меня зажигали…

Но тебе не хватало этого—тебе хотелось, чтобы всё вокруг танцевало и кружилось: остановившись, ты заставила нас с Борисом сдвинуть стол, освобождая середину комнаты, а затем организовала из нас танцующий круг, сама танцуя неистовей всех и отбивая такт ладошами, и мы, стряхивая с себя скованность, взявшись за руки, по-детски прыгали вокруг тебя и выделывали ногами чёрт знает что… Набесившись, снова танцевали попарно.

— Я останусь сегодня с тобой!—шепнул я тебе; ты, глядя в глаза и прикусив губу, энергично кивнула мне.

— Где ты у них располагаешься?—спросил я.

— В этой самой комнате, на этом диване,—скосила ты глаза.

Танцуя, я продолжал нашёптывать тебе, как ты хороша, как милы хозяева и как здорово, что ты с ними дружишь. Но тут Станислава остановила музыку и объявила:

— Нет, так—нечестно! Объявляю белый танец!

Затем снова включила музыку, решительно подошла ко мне и взяла за руку, а тебе ничего не осталось, как пригласить Бориса… Вроде бы всё то же—и не то: наши со Станиславой тела не хотят двигаться в лад, музыка звучит какофонией; мы топчемся, сцепившись руками, и, чтобы что-то делать, разговариваем.

— Надя хороша, не правда ли?—говорит она.

— Да-а!—охотно соглашаюсь я.

— Чем вы её так приворожили? Она же как свеча горит и, кроме как о вас, ни о чём говорить не может.

— Что же мне делать?

— Женитесь!

— Помилуйте, но я женат! И она замужем.

— Да разве это когда-нибудь держало мужчин? Я её мужа знаю: ему нужно, чтобы для него варили, стирали и чтобы ночью что-то лежало рядом. Надежда слишком хороша для него—ей, как бриллианту, нужна оправа.

— Вы в курсе всех её дел?

— Да, она привязана ко мне.

— А чем приворожили её вы?

— Сначала она искала во мне наставницу; потом сдружились,—Станислава сделала паузу и продолжала:—Она непосредственна, как ребёнок,—мужчинам такая непосредственность нравится; мой Боря от неё без ума. Правда, такая непосредственность приедается: мужчины начинают искать

ровню себе — тех, кто бы их понял и оценил. Тем более такой мужчина, как вы, с вашими-то запросами.
— Зато она божественно танцует, — сказал я. — Вы же знаете, Станислава Донатовна: плоть обычно торжествует над разумом.
— Что в конце концов торжествует — это ещё вопрос, — парировала она. — Не боитесь, что эта плоть высосет вас? Мне кажется, вам больше подошла бы та, что вас лучше поймёт и будет вашим незримым помощником.
— Но где взять такую? — рассмеялся я.
— А вы оглянитесь вокруг.
— Не-ет, Станислава Донатовна, — убеждённо покачал я головой. — Знаете, у меня давным-давно не было праздников, и вдруг — праздник! Так уж позвольте хотя бы побыть на нём подольше.
— Тогда поздравляю — праздник плоти вам обеспечен.
— Спасибо! — улыбнулся я. — Можно, я останусь с ней сегодня у вас?
— А почему бы нет? И чувствуйте себя как дома…

Наш с тобой поцелуй длится вечность. Во мраке комнаты на широко разложенном диване белеет постель.
— Как я тебя ждала! Я схожу с ума от ожидания! — шепчешь ты.
— М-м? — тихо спрашиваю я, вжимая твоё податливое тело в себя; мы — как заговорщики: за двумя дверьми и коридорчиком между дверьми едва доносятся добродушное ворчание и возня укладывающихся хозяев.
— М-м, — отрицательно качаешь ты головой. — Там!.. — сверкают в темноте, словно две звезды, белки твоих глаз, показывающих на дверь.
— Они не слышат! — шепчу возбуждённо, делая попытку раздеть тебя.
— Я боюсь, — шепчешь ты. — Утром нам будет стыдно.
— Почему?
— Не знаю… Потому что воруем друг друга.
— Махнём на всё рукой — чего уж теперь!

Ты медлишь и колеблешься. Снова делаю попытку раздеть тебя.
— А вдруг не получится? Не это же у нас главное?
— Получится! Не бойся!

Наконец ты принимаешься раздеваться… Я, путаясь в собственной одежде, сбросил её и выпрямился; ты, как-то вдруг раздевшись, стояла передо мной в темноте белее статуи. Задохнувшись от нетерпения, я сгрёб в объятия твоё тёплое гибкое тело, и мы рухнули на жалко пискнувший диван.

Как я тебя желал! Как гнался за тобой, ловил, всю в зелёных глазах, как в листьях, запутывался в этих листьях, в белых простынях, в солнечных бликах; ты ускользала… Но причём здесь ты? Ты та — или не та, которую я догонял и которая трепещет теперь от смятения?..

Как трудно — находить друг друга: всё не так, невпопад; не зря ты боялась — где-то рядом хныкала, прощаясь с нами, наша прошлая жизнь, которую уже не вырвать из нас, как бы мы ни хотели её забыть; она мешала и тебе тоже — я чувствовал это!.. А ты старалась изо всех сил, и твоё старание мешало; я кричал: «Лежи тихо!..» Ты замирала, а потом: «Я правильно делаю? Тебе хорошо?» — «Молчи!..»

И наконец-то: моя! моя!.. О-ох, как жарок твой огонь — в нём так хорошо сгорать! Хватит ли только меня — поддержать твоё пламя? Как ты резва, как безоглядна! Как здорово, что я не успел пресытиться жизнью и снова, как в юности, иду на её зов с волнением и восторгом! Скачи, моя лошадка, неси меня сквозь время и пространство!.. Но как страшно от такой безоглядности!.. Ночь длилась; над нами открывались небеса, вспыхивали сияния, кругом горели костры, звенели гитары, цвели сады, гудели пчёлы, свистели птицы, а мы мчались мимо и мимо, без удил, без сёдел и стремян, легко перемахивая через бездны, и снова, не зная удержу, — вперёд и вперёд. Загоняя лошадей, торопясь в неизвестность…

7.

Утром нам с тобой — на работу, а после работы мне — снова в деревню… Ночью, перед тем как уснуть часа на два, ты наказала мне: если проснусь первым, разбудить тебя, чего бы это ни стоило, — так что я поднял тебя почти силком и стал одевать, а ты стояла, качаясь с закрытыми глазами, и бормотала, как ты меня любишь и не хочешь никуда идти.

Хозяева уходили позже. Станислава накормила нас завтраком, и мы вместе вышли на улицу; несколько остановок нам было по пути.

Был час пик. Мы стояли в автобусе прижатыми друг к другу; ты смотрела на меня неотрывно; с твоего лица не сходила улыбка, смешанная с досадой и мольбой. Я понимал, о чём мольба: не оставлять тебя… Мне надо было выходить, а тебе — ехать дальше. Перед тем как проститься и выйти, я сжал твою руку, бодро подмигнул и сказал, что через два дня встретимся…

Но, честно-то говоря, я не знал, что делать… Следующий день у меня был свободным, «библиотечным» — мне надо было поработать дома, в деревне. Но надо ведь, чёрт возьми, сначала решить: что делать дальше?..

Выдрать тебя из памяти я уже был не в силах. Проснулся утром, вспомнил о тебе — и уже ничего не лезло в голову: в глазах — твоё лицо, летящий шаг, движения в танце, в ушах — твой голос…

Когда в ладонях бьётся бабочка — на пальцах остаётся налёт пыльцы; я держал тебя в руках и теперь весь осыпан твоей радужной пыльцой! Выхожу на улицу, ношу воду, колю дрова — не помогает забыться. Надо остановить это — но как?.. Наверное, именно в таких вот состояниях убивают любовниц?..

Не зная, чем ещё себя занять, беру топор с пилой, иду в лес: апрель — пора заготовки дров, — и по колено в сыром снегу валю осины, пилю на чурки и складываю в поленницу. Хочу устать — и не могу: тело отказывается уставать! Я уже весь мокрый от пота, разгребаю снег, развожу костёр — обсушиться, нюхаю благовонный дым, слушаю

писк пичуг и слабое бульканье ручьёв под снегом, гляжу в небо—а думаю о тебе.

Хочу настроить себя критически… Странно как: сексуальный голод снят, а избавиться от тебя не могу! Что это? Неужели в самом деле это—та самая «любовь»?.. Но как нелепо, как сумбурно она навалилась—и как легко досталась! Неужели случайная встреча может настолько перевернуть, и ты, ты, бледная, невзрачная, выпрыгнувшая из мужниной постели,—моя избранница? Откуда эта прыть, эта жажда совокуплений? В какое болото маргинальной связи ты меня тащишь? Я дорого себя ценю! Пристало ли мне, взрослому, распускать слюни? Оставим их тем, для кого они—смысл жизни… Смотри, как впилась в душу: без конца в ушах твой смех, болтовня, шёпот… Мало ли что может нашептать влюблённая дурочка? Ты—фантазия моего сексуального голода: я тебя выдумал!.. И что, интересно, думаешь обо мне ты? И вообще, способна ты думать, или ты вся—лишь импульс взбалмошной бабёнки? Я тебя не знаю! Кроме того, что ты пела песенки и лепетала свои вирши, ты не произнесла и дюжины фраз!.. Что делать? «Крутить любовь» через два дня на третий, а надоест—*остаться при своих*?.. Миллионы пребывают в подобных адюльтерах, и хоть бы что… Но ведь тебе не нужен адюльтер, твоя заявка—серьёзней: тебе нужен я весь!.. А насколько нас хватит? Будет ли что сказать друг другу через месяц? Через год?..

Однако, вопреки всем сомнениям, моё естество изнывало от тоски по тебе и желало, жаждало тебя видеть и слышать… «Чего ты от неё хочешь?—спрашивал я себя теперь.—Она же ничего от тебя не требует—просто дарит себя и кричит безмолвно: «На, возьми мою жизнь—и что хочешь, то с ней и делай! Хочешь—растопчи…» Но чем, чем ты меня так заарканила? Что меня к тебе влечёт? Красота? Так её нет! Женственность? Да, но—угловатая, робкая… Странная внутренняя свобода твоя, несмотря на скованность?.. Откуда она в тебе?.. Не знал, не видел ничего подобного… Вот она, значит, какая, эта «любовь»? Вламывается, не спросясь, и мучает сомнениями, тревогой, беспокойством… Что же делать-то? Что же делать?.. Может, и в самом деле попробуем, пострадаем на этой ниве и мы?..»

И к концу второго дня терзаний и сомнений я сказал себе: сдаюсь; рискнём—а там будь что будет!..—и помчался в город с решимостью, пусть и не отчаянной. Так ведь мне—не двадцать… И моя решимость грела меня и радовала; я уже торопил вагонные колёса: быстрей, быстрей, скоро, скоро услышу твой голос, руки мои коснутся тебя, а потом!..—я задыхался, стоило представить себе, что—потом… А вдруг ты вернулась к мужу?.. Только бы успеть—уж я приложу силы, чтоб тебя вернуть; я обрушу на тебя все доказательства неизбежности нашего с тобой союза—у меня хватит на это и наглости, и слов! Но не хочу, не хочу больше с тобой расставаться!..

Приехал в институт, и сразу—как белка в колесе: лекции, консультации, заседание кафедры, телефонные звонки, нужные, ненужные… Но непрерывно помнил о тебе, и как только выкроил минуту остаться наедине с телефоном—позвонил.
— Здравствуй, милый!—тотчас откликнулась ты.—Я скучала по тебе!
— У тебя—без перемен?—первым делом спросил я.
— Да.
— Прекрасно! Хочу тебя видеть и кое-что сказать.
— Хорошее?
— Да.
— Может, прямо сейчас?
— Нет, не по телефону.
— Тогда у Станиславы в семь, ладно, милый?..

Ночь. Опять—комната, городской рассеянный свет сквозь окно, угомонившиеся хозяева за двумя дверьми, постель на разложенном диване…
— Милый, как мне с тобой хорошо!
— И мне тоже. Знаешь, что я хочу тебе сказать?
— Что? Скажи! Скажи!
— Не хочу больше с тобой расставаться.
— Правда? И завтра не уедешь?
— Уеду. А вечером вернусь, чтоб больше не уезжать.
— Милый, какой ты молодец! Я уже не могу, я умираю без тебя! Делай со мной что хочешь—я твоя! Я принадлежу тебе, слышишь?
— Слышу.
— Люби меня всегда, всю жизнь, ладно? Как я тебя буду любить, когда будем вместе! Я всё-всё буду делать, чтобы дать тебе как можно больше сил!
— Да, милая. Ты мне их уже даёшь!.. Только где мы будем жить?
— Не знаю. Неважно!.. Прости, милый, что обрекаю тебя на бесквартирье,—но ведь у нас есть головы, руки!
— Умница!
— Пока не устроимся—будем здесь. Я намекала Станиславе—она согласна, а Боря—как Станислава. Они добрые, я их люблю!
— Но мы не можем пользоваться их добротой!
— Вот увидишь, они обидятся, если будем искать жильё на стороне!
— А как твоя дочь? Ты же должна взять её с собой!
— Милый, я боюсь с тобой об этом говорить!
— Я буду любить её без всяких оговорок.
— Спасибо, милый!
— А отец отдаст?
— Не знаю. Там—как решит свекровь. Может сделать назло… Милый, может, я схожу с ума? Но если бы мне предложили выбор: ты—или дочь?—я бы без колебаний выбрала тебя!
— Не надо—выбирать не придётся!
— Знаешь, милый… Мне стыдно сказать…
— Говори—мы ведь теперь муж и жена! Это пока наша с тобой тайна.
— Да, милый, да! Но у меня нет никакого приданого в наш будущий дом! Так получилось, что мы… наши с мужем вещи…
— Не забивай себе этим голову! Мы заработаем, у нас будет всё!.. Ты знаешь, я тоже не хочу ничего забирать—каждая вещь будет кричать о прошлом. Не хочу сравнений с прошлым!.. Я ведь подозревал, что ты где-то есть, всматривался, гадал: она—не она?.. А увидел тебя там, на дороге,—и сразу, по первому взгляду, понял: ты!

— И я, милый, и я тоже! Я о тебе со времён института помнила, во сне видела, и вдруг — вот он! У меня ноги задрожали: помнишь, я оступилась, а ты поддержал?
— Помню, конечно!
— Я ведь видела, как ты сошёл с автобуса; я убегала от тебя. Не знаю, как дошла потом, как по фойе бродила; спряталась и следила за тобой — боялась потерять… И ещё знаешь чего боялась?
— Чего?
— Вдруг окажешься пустым, надутым вблизи?.. Решила: подойду — не укусит же, и будь что будет! А когда заговорил — так сразу стало легко!
— Ну, вот и нашлись… У меня ощущение, что я всю жизнь сражался в одиночку, и удары мне наносили именно в спину — а теперь за спиной ты. Давай держать круговую оборону, и никакие беды нам будут не страшны!
— Да, милый, да — я твой тыл, твой щит!.. Мне так легко теперь: с тобой я могу позволить себе быть самой собой; и в то же время так страшно: на какую высоту мы забрались!
— Так это прекрасно! Чего ты боишься?
— Высоко падать.
— А зачем падать? Давай держать высоту.
— Давай, милый!.. Но знаешь, чего бы я ещё хотела?
— Чего? Скажи! Сегодня — ночь нашей мечты.
— Знаешь, милый… Когда у нас будет свой угол, я бы хотела родить сына, и чтобы он был похож на тебя. Ты не сердишься?
— Конечно же, родишь, но — только когда всё устроится, ладно?
— Как скажешь, милый, так и будет…

Утром, за завтраком, моё решение остаться здесь с тобой было согласовано с хозяевами легко и быстро, и я поехал в деревню.

Надо было в тот день ещё поработать за письменным столом — но как было работать? Я перебирал и укладывал бумаги, рвал и бросал в печку ненужные. Потом вышел на улицу, в огород, где солнце стремительно оголяло от снега чёрную землю, жирно блестевшую от напитавшей её воды; спустился к вздувавшейся речке, думал о прожитой жизни и подводил кое-какие итоги — будто уезжал далеко-далеко. Меня ждала новая жизнь; я прощался с прошлым и вглядывался в смутное будущее.

А вечером, вернувшись в город, попал за пиршественный стол: ты расстаралась, блеснула кулинарными способностями — сама приготовила праздничный ужин с большим пирогом. Снова мы сидели за столом вчетвером, ужинали и пили вино. Было нечто вроде нашей странной помолвки — чужих мужа и жены. Я восхищался твоими кулинарными талантами.
— Милый, это только начало!.. — заверяла ты меня.

А через день, чтобы уж сжечь мосты — не в моих правилах ждать, когда всё само собой уладится, — позвонил Ирине и признался, что у меня, кажется, решилась судьба и я уже не вернусь.
— Она что, молодая, твоя судьба? — ехидно осведомилась Ирина.
— Да! — ответил я.
— Ну что ж, — с наигранной небрежностью заявила она, — погуляй, повлюбляйся. Подумаешь, новость!.. Я знала: рано или поздно это случится, и к этому готова. Ты даже заставил меня ждать. Кстати, я тоже постараюсь использовать свой шанс. Позволишь?
— Буду даже рад за тебя!
— Вот и прекрасно! Но мы — взрослые люди и, думаю, переживём такой пустяк, как твоё увлечение.
— Для меня это не пустяк.
— Не ты первый! Это же старо, как мир: седина в голову — бес в ребро. Только давай договоримся: всё пока — между нами. Будто бы мы поссорились и не хотим друг друга видеть. И сыну ничего не скажу. Зато кто тебе помешает, когда перебесишься, вернуться, правда?
— Дело твоё, — сказал я. — Только ты меня не поняла: я не вернусь.
— Но имей в виду, — не выдержав небрежно-снисходительного тона, раздражённо бросила она, — эти, нынешние, ненадёжны: прежде чем тебе с ней надоест, она сама тебя бросит!
— Спасибо за совет! — сказал я и положил трубку.

8.

Но уже через неделю стало ясно: жить у Павловских не получится; не только негде было вечерами уединиться — порой мы с тобой просто не знали, куда себя деть, чтоб никому не мешать. Они жили открыто, имели полгорода друзей и знакомых, и дом их походил, скорей, на туристский лагерь, отчего сами они нисколько не страдали — наоборот, только такую жизнь и считали настоящей: в дом приносили, а затем уносили тюки с палатками, складные лодки и прочее походное снаряжение, отчего по коридору чем ближе к лету, тем трудней было пройти; заезжал иногородний гость — ему ставили раскладушку на кухне или в коридоре; к Станиславе приходили авторы монографий и рефератов и вели переговоры об их издании; вечерами заявлялись Борисовы друзья и обсуждали манифесты своих туристских товариществ, планы летних путешествий и рукописи с описаниями путешествий уже свершённых. Рукописи эти они сочиняли сообща и с помощью Станиславы умудрялись издавать; да просто забегали «на огонёк» друзья и подружки… Эти бдения происходили в гостиной, где обитали мы с тобой, сопровождались чае- и винопитием, и нам приходилось в них участвовать.

Кто сказал, что весна — самое прекрасное время года? Не знаю, как для кого, а для меня — самое мерзкое, и самый нелюбимый мой месяц — апрель: именно в апреле в наших местах завершается схватка зимы с летом, а находиться посреди любой схватки не дай Бог — не знаешь, откуда прилетит: утро начинается солнцем, а через час небо — в облаках; откуда ни возьмись, врывается ветер и ну швырять в глаза песком и пылью, а вслед за облаками уже ползут тучи; одна охлестнёт дождём, другая — снежной крупой, а там, глядишь, и завьюжило; и так — по три раза на дню… Именно такой она и была в том году, будто дав слово изо

всех сил мешать нашим встречам, потому что мы стали встречаться после работы в городе. И если погода не загоняла нас на выставку или в книжный магазин, то шатались по улицам, глазели на церкви, на старинные здания с вычурными деталями, на дряхлые особнячки, чудом оставшиеся на задворках или зажатые унылой кубической застройкой, и отыскивали уголки, где можно, не спеша никуда, посидеть и поболтать.

Той весной мы поняли, как мало знаем город. Мы открывали его заново и фантазировали: хорошо бы сделать и издать фотоальбом, где бы одну главу мы посвятили флюгерам, вторую—башенкам, третью—старым козырькам и наличникам, четвёртую—узорчатым решёткам,—и сочиняли вместе воображаемые тексты к главам, и каждая глава в том альбоме была поэмой!.. А когда попадался на глаза особенно красивый особнячок, мы представляли себе, как там поют двери, скрипят половицы и вздыхают стены, а ночами в окна скребутся ветки старых яблонь, и я не выдерживал:
— Как бы хорошо пожить с тобой в таком!..

А ты насмешничала:
— Хорошо бы, душенька, ещё каменный мост через пруд построить…

И любой сказанный тобой пустячок меня восхищал; мне хотелось тебя целовать, но люди кругом мешали излить нежность открыто; я брал и целовал твою руку, а ты откликалась особенным блеском глаз. И когда я говорил тебе «ты», это звучало так, будто это «ты»—с большой-пребольшой буквы. И если кто-то бросит мне: «Не кощунствуй—с большой буквы знаешь к кому обращаются?»—я отвечу: знаю! Потому-то, когда говорю ей «Ты»—то имею в виду моё божество.

Обычно мы встречались с *Тобой* во дворе детсада, где днём обитала Твоя Алёна,—у Тебя осталась договорённость с мужем: он отводил её туда по утрам, а Ты забирала её после работы. Так я познакомился с Алёной.

Мы с Тобой не договаривались, как мне себя с ней вести при знакомстве; конечно же, я был ужасно виноват перед ребёнком, но не хотелось ни заискивать, ни подкупать её шоколадками или чем-то ещё: дети это прекрасно *секут*, воспринимают только как слабость взрослых и лишь презирают за них; всё должно быть просто и естественно, решил я, и когда Ты представила меня ей впервые—сказал спокойно и доброжелательно:
— Здравствуй, Алёна.

Передо мной стояла обыкновенная шестилетняя девочка с русыми волосами, с чёлкой на лбу, с серьёзными—как у Тебя!—глазами, и меня хлестнуло горячей волной нежности к этому ребёнку, я уже любил его—хотелось взять его на руки, прижать к груди и вымаливать прощение: что я делаю—ведь я отнимаю у неё маму!.. Но надо было как-то выходить из положения. Когда она робко, но внимательно глянула на меня исподлобья, проверяя мою искренность, и важно произнесла: «Здравствуйте»,—я продолжал:
— Мы с твоей мамой большие друзья. Я хотел бы, чтобы и мы с тобой стали друзьями. Согласна?
— Да,—тихо, но отчётливо ответила она.
— Тогда пойдёмте гулять!—сказал я и решительно протянул ей руку.

Она доверчиво вложила свою руку в мою; Ты взяла её за вторую, и мы пошли. Она, чувствуя, что её крепко держат, быстро освоилась: подпрыгивая и зависая на руках, явно проверяя надёжность наших рук, принялась взахлёб выкладывать детсадовские новости. Моё поведение было Тобой одобрено—улучив минуту, когда Алёна вырвалась и побежала вперёд, Ты, сжав мою ладонь, шепнула:
— Как я боялась, что у вас не получится контакта!..

Так, втроём, держась за руки, мы с тех пор и гуляли после Алёниной «рабочей смены»; она, захлёбываясь, рассказывала свои новости; заодно вы с ней договаривались, что надо сделать или принести к следующей встрече (в детсаду постоянно требовали от родителей что-то принести или сделать),—или о встрече в выходной; Ты забирала её на воскресенье, и вы или мы втроём ходили в цирк, в кукольный театр, в кафе-мороженое, или вы сидели и шили карнавальные костюмы, клеили маски, игрушки… Меня трогало, как просто и задушевно вы с ней общались, понимая друг друга без слов: «М-м?»—«Мгм»,—и я восхищался Алёниным терпением по отношению к судьбе; она не хныкала, когда приходило время расстаться,—только смотрела на Тебя глазами, полными укора, и с простодушной назойливостью напоминала:
— Мама, а вы потом заберёте меня к себе?
— Да, конечно, доченька!—отвечала Ты.—Как только у нас будет возможность, мы тебя обязательно заберём…

Да и в самом деле пора было думать о более надёжном жилье.

Но чтобы снять квартиру—нужны деньги: плату везде требуют за год вперёд,—где их взять?.. Ответ простой—заработать: бери дополнительную нагрузку, ищи приработок в школах, техникумах, на разных курсах… Но это—с начала учебного года, а сейчас, весной?..

Ты, видя, как меня гнетёт эта забота, успокаивала меня:
— Ты ничего не должен—не хочу, чтобы из-за меня рушились твои планы. Давай оставим всё течь своим чередом—работай как работал, а там увидим.
— И сколько мы так сможем?
— Сколько сможем. Не теряй терпения…

Но обстоятельства вносили свои коррективы. Одним из них, как ни странно, стала Пасха, выпавшая в том году на середину апреля.

У Павловских любой праздник отмечался застольем; да и как не отметишь—всё равно явятся гости, нанесут вина, тортов, фруктов!

Понятно, что больше всего хлопот падало на хозяйку; да она и не отказывалась от хлопот. Вот и тут Станислава начала готовиться накануне вечером и вовлекла в приготовления Тебя; их кухня превратилась в преисподнюю: что-то варилось, жарилось, пеклось, исходя чадом, и на плите, и в духовке; работала мясорубка, выла кофемолка… И Бориса, и меня снарядили с длинными списками по магазинам.

Это вечером. А с утра мы с Тобой договорились навестить каждый свою родню: ты—маму с отчимом, я—сестрину семью и свою матушку; матушку мы с сестрой после Пасхи обычно перевозили в деревню—пора было заодно договориться и об этом тоже.

А погода—не пасхальная: мелкий холодный дождь, промозгло, туманно… Татьяна, в затрапезном халате, непричёсанная, встречает меня в прихожей; глаза её едва улыбаются—не поймёшь: рада или нет?
— Привет!—говорю, целуя её в щёку.—Почему—не праздничная?
— Прости, не успела…

Ах ты, милая моя Танька… Как я благодарен матушке за то, что у меня есть ты,—насколько мир вокруг был бы одномерен, холоден, сух, не будь у меня сестры!.. Хотя сказать, что мы с ней духовно близки, было бы натяжкой; для меня отношения с ней—лишь шаткий мосток в детство с заросшей тропинкой к нему, и когда встречаюсь с ней—то снова иду по той тропе и тому мостку… Где-то за пределами своей квартиры она инженер-конструктор в какой-то конторе, но не могу представить её там: для меня она—задрюканная бытом, рано поблёкшая сестрёнка. Больно видеть её такой—душа не хочет мириться: гляжу на неё и вижу обратный ряд превращений: светлокосая девушка с румянцем на щеках, смешливая девчонка-подросток и, наконец, младенец, ковыляющий от стула к стулу; по воле случая я—первый свидетель её первых шагов по земле; от этого, наверное, она мне и дороже всех на свете… Скидываю, отдаю ей куртку и спрашиваю:
— Ну, как вы?
— Да всё так же: ни в гору, ни под гору.
— Мама как?
— Топчется на кухне.
— Дети?
— Старший сидит, занимается; младший—на улице.
— Благоверный в гараже?
— Где же ещё? С машиной в обнимку Пасху отметит и пьяный явится.
— У мужчины должны быть свои забавы.
— Вместо забавы позанимался бы лучше с детьми: младший выпрягся совсем, а ему хоть бы хны.

Знаю, зря задел эту её боль—мужа; и главное, ничем не помочь.
— Ну, что мы тут? Проходи, чай пить будем.

И пока она уходит переодеться, а потом готовит стол в гостиной, я прямиком—на кухню: там мамуля в халате с передником; с каждым разом она всё меньше ростом и всё суше; всё белее её голова, слабее голос.
— Совсем ты у меня маленькая стала,—целую её в дряблую щёку.

Затем устраиваемся в гостиной. На столе—вездесущие крашеные яйца в расписной миске, румяный кулич, блюдо с горой свежих пирожков; остывает на разделочной доске большой пирог с запечёнными резаными яблоками поверху. От печёного теста—запах детства. Таня тоже садится. Мама топчется, разливает чай… Что это она у них—за прислугу, что ли?
— Мама, ты тоже садись!—говорю строго, больше—для Татьяны.

Мама в сомнении.
— Митю бы позвать,—говорит она, отвлекая меня.

Татьяна поднимается, идёт к двери и кричит в глубину квартиры:
— Митя, а ну-ка иди сюда!
— Чего?—недовольно слышится оттуда.
— Поди с дядей поздоровайся!

В двери появляется племянник, тонкий, нескладный юнец с детским ещё личиком и кислым выражением на нём.
— Здрасьте,—говорит он мне без всякого выражения.
— Привет, Митяй,—приветствую его.—С праздником! Грызёшь науки?
— Не грызу, а только облизываю,—снисходительно отвечает он.
— Вмажем по чаю в честь Христовой Пасхи?
— Садись с нами,—поддерживает меня Татьяна.

Митя оглядывает нас оценивающе, и на лице—лёгкая досада: явно мы все для него—безнадёжное старичьё.
— Не хочу,—капризно заявляет он, шагает к столу, бесцеремонно выбирает в горке пирогов самый румяный и удаляется.

Пьём чай. Мама расспрашивает меня про Игоря и Ирину: как они, почему не пришли? Я передаю несуществующие приветы от них, рассказываю о них сведения двухмесячной давности и думаю о том, что Ирина молодец, держит слово, и мне не надо сейчас объясняться откровенно. Только замечаю: Таня кривит губы, опускает глаза. Значит, знает… Хотя никогда они с Ириной не дружили—были отношения двух суверенных держав на уровне дипломатических посланий: несовпадение характеров, гордыня и амбиции…

Обсудили с Таней, когда и как отвезти матушку в деревню.

В общем, навестил; на душе отлегло. И пирогов заодно наелся… Таня вышла со мной на улицу—проводить до остановки, но пробродили больше часа, не замечая погоды. Впрочем, я сразу понял, отчего она увязалась: выведать о моих проблемах. И точно, только вышли—накинулась:
— Ну, чего ты там натворил?
— Уже доложено?—спросил я.
— Не доложено, а сама догадалась, когда по телефону с ней говорила. Что, седина—в бороду?..
— Да не то, Таня. Что-то же должно у человека меняться? Это вот и есть ощущение жизни, а иначе—болото; начинаешь или звереть, или болеть.
— Извини, Вовка, но эта болезнь называется «кобелизм», а красиво объяснять её вы умеете!
— Не сердись, но не знаю, как объяснить иначе… Накапливается что-то такое, что требует развязки. Не убивать же друг друга—вот и приходится тихо исчезать, на время или навсегда. Понимаю, что банально, но жизнь, Таня, такая короткая!
— Ну хорошо,—сказала она раздражённо,—вам нужны изменения, вы звереете, а нам-то куда деться? Какой шанс при этом ты оставляешь, скажем,

женщине с детьми, с матерью на руках? Тебя это не колышет?
— Не знаю, Тань. Просто отвечаю на твой вопрос про седину в бороду.
— И что, разводиться намерен?
— Ничего пока не знаю.
— Кто ж твоя избранница?
— Просто женщина. Молодая.
— Да уж понятно, что не старая!
— Замужняя, с шестилетней дочкой… Скажи, ты ведь знаешь меня лучше всех: я что — чёрствый, злобный?.. Всё у нас с Ириной много лет было нормально, но я устал от нормальности!.. Всё ведь в сравнении познаётся; теперь, когда я с Надеждой, — впервые понял, что значит быть добрым, нежным, искренним. Я и не подозревал, что это такое, а теперь ношу это в себе как праздник и с ужасом думаю, что прожил бы жизнь и не узнал!
— И кто виноват, что не знал?
— Я сам, хочешь сказать? Но, Таня, значит, это во мне было, только не разбуженное, — я ж не мог преобразиться мгновенно? Да если даже у нас с Надей ничего не получится — я буду до конца жизни благодарен ей уже за это. Теперь смотрю на людей и жалею их: девяносто девять из ста знать не знают про этот секрет! Боюсь, Таня, что и у вас с мужем то же самое; поэтому он и прячется в гараже, и у детей наших будет то же самое, и мама наша прожила жизнь, не подозревая об этом. Какие мы все заскорузлые!
— И где же вы встречаетесь?
— Да мы уже не встречаемся — живём.
— Ой, дура-ак!
— Возможно… Может, и не выдержим, но пока что нам хорошо.
— Берегись, — сказала она. — Ирина может вам какую-нибудь гадость сделать: по-моему, наводит справки о ней.
— Да пусть наводит — мы ж не можем в лесу прятаться…

Вернулся к Павловским, а у них полным ходом — застолье. Народу! Кажется, уже выпили по второй; шум-гам, говорят все сразу. И Ты здесь: сидишь в самой серёдке, зажатая между мужчин. Увидела меня — машешь рукой: «Давай сюда!» Однако стульев свободных нет; Борис побежал, принёс, и я кое-как втиснулся рядом с Тобой.

Люблю окунуться в такое вот чисто русское застолье: многолюдное, шумно-пьяное, — за то, наверное, что оно своим жаром компенсирует холод погоды — или некую бесформенность характера и неотчётливость темперамента?.. И я, с удовольствием вливаясь в застолье, наваливаю себе в тарелку — после вкуснющих-то пирогов! — непритязательный винегрет, варёную картошку, котлету, солёный огурец и наполняю рюмку водкой.
— Как съездил, милый? — спрашиваешь Ты, склоняясь ко мне.
— Нормально. А Ты?
— Мои в своём репертуаре — пьют, — скорбно качаешь Ты головой. — Заставляли с ними выпить — еле отвязалась. Приезжаю — тут дым коромыслом, а тебя нет… Я своим сказала про тебя.
— Как восприняли?
— А-а, — махнула рукой. — Им — до лампочки!

В конце стола кто-то встаёт и провозглашает:
— Третий тост — за любовь!

И все энергично поддерживают его и дружно чокаются; мы с Тобой перемигиваемся и под сурдинку чокаемся вдвоём: мы-то знаем, что этот тост — наш с Тобой.

Странно: пьянею от одной рюмки — оттого, видно, что кругом пьяно-расслабленно галдят, хохочут: у меня тоже уже заплетается язык, мне беспричинно-весело. Оглядываю сотрапезников: о, да здесь полно знакомых!

Но вот наметился перерыв в застолье; кое-кто ушёл курить, стало просторнее; остальные начали пересаживаться, и порядок за столом сломался.

Начались танцы. Тебя тотчас пригласили, а я разговорился со знакомым. Потом снова все сидели за столом, ели и пили, и снова танцевали, и снова сидели, и все, в том числе и я, пьянели и теряли счёт времени, и всё окончательно перепуталось: то я сидел с Тобой, то с кем-то разговаривал и видел Тебя танцующей, и замечал, как сатанеют глаза мужчин, глядящих на Тебя, танцующую; то сам танцевал со Станиславой, уже немного пьяненькой, и отпускал ей невинные комплименты, восхищаясь её умением собрать эту разношёрстную компанию.

И вот, когда все до одного танцевали, Станислава взяла меня за руку, шепнула: «Пойдём, что-то скажу!» — увлекла за собой в ванную и закрыла дверь на защёлку, а я улыбался и ждал: когда она, наконец, скажет? Она приложила палец к губам, чтоб я вёл себя тихо, и я кивнул, всё же подозревая какой-то подвох. Она деловито сняла и положила на полку свои очки, закинула руки мне за шею, привлекла к себе и впилась в мои губы. Я стоял, растерянный, стараясь прийти в себя, не зная, что делать, — мне всё казалось, что это шутка, розыгрыш, что сейчас начнётся главное. Однако она, стеснённо дыша в поцелуе и не прерывая его, видя мою растерянность, взяла мою висящую руку и положила себе на бедро; тут только до меня дошло, что это уже всерьёз, и я отдёрнул руку.

Теперь она ничего не поняла: прервав поцелуй и не выпуская меня из объятий, зашептала, дыша на меня вином и запахом сигарет:
— Чего ты боишься? Не бойся!

«Да вы что? — хотелось мне выпалить, оттолкнув её. — Вы ошиблись — я не удовлетворяю капризов пьяных дам!» — но это было бы, наверное, всётаки ударом ниже пояса; вместо этого я, стоя с повисшими руками, пробормотал:
— Знаете, я как-то не готов.

Она наконец разомкнула свои объятия и, близоруко глядя на меня вблизи, весьма ядовито усмехнулась. Затем взяла снова свои очки и, протирая их висящим тут полотенцем, сказала:
— Я ведь пошутила, а вы приняли всерьёз? Проверила на стойкость: так ли уж вы её любите?.. Знаете что? Вы с ней заражаете нас своими флюидами эроса: это такая зараза! — посмотрите, как у всех глаза горят, как все хотят целоваться и делать глупости… Вокруг вас с ней какие-то огненные

ореолы. Хочется, знаете, погреться возле этого огня,—она надела очки и продолжила, уже жестковато:—Вы сейчас выйдете, а я—попозже, чтоб никто не заметил…

Я вышел и побрёл искать Тебя.

Танцы кончились; везде толклись люди: в спальне кто-то кого-то жадно целовал, в кухне пели под гитару, на лестнице курили, ссорились и выясняли отношения. Я нашёл Тебя в гостиной в окружении нескольких мужчин и кинулся к Тебе, как тонущий—к спасательному кругу.

— Милый, а я тебя совсем потеряла!—сказала Ты, увидев меня.

— Я в ванной был—смочил лицо водой, а то опьянел,—соврал я.

— Представляешь…—хотела Ты что-то сказать, взволнованная, взяв меня за руку и уводя из этой толкучки.

Наконец мы забрались в спальню, спугнув целующихся, и, оставшись одни, встали у окна.

— Представляешь, какой Борис нахал?—наконец сказала Ты шёпотом.—Пристаёт и предлагает нам с тобой поменяться партнёрами!

— Как поменяться?—не понял я.

— Милый, ты что, совсем?—покрутила Ты пальцем у виска.—Чтобы я с ним спала, а ты со Станиславой! Представляешь? Кстати,—сказала Ты, притронувшись пальцем к моей нижней губе,—у тебя тут кровь, что ли?

— Да? Это я за столом нечаянно прикусил,—соврал я, зализывая губу.

Про Станиславин поцелуй, который горел на губах, как змеиный укус, говорить не хотелось. Однако Ты не заметила моего вранья—Ты не желала ничего замечать, трогательно и свято веря каждому моему слову.

— Да-а, мы тут—как в мышеловке,—сказал я, обняв Тебя и наконец успокаиваясь.—Просто нам надо держаться вместе, и никто нам будет не страшен. И надо искать жильё—теперь Ты поняла?

— Да, милый, ты, как всегда, прав!—ответила Ты.

И мы, напуганные хрупкостью нашего единства, весь вечер, до самого конца, уже держались вместе.

А застолье длилось и длилось… Кто-то спился с круга и лежал в лёжку на диване; какая-то женщина начала визжать и бить по лицу мужчину, а её держали и уговаривали…

Знатным удалось той весной у Павловских пасхальное пиршество!..

А вопрос о том, куда от них уходить, вскоре решился сам собой—нам с Тобой тогда на удивление часто везло.

9.

Несколько дней спустя я забрёл в мастерскую к Артёму… Люблю его за бесконечное трудолюбие, из которого его ничто не может выбить; даже после редких похмелий, чертыхаясь и глотая таблетки цитрамона, он возится до ночи—правда, лишь натягивая и грунтуя холсты или затевая уборку.

Я злоупотребляю дружбой с ним: на меня хорошо действует сама атмосфера его мастерской, когда нет настроения или что-то не клеится. Он встречает меня ворохами новых работ, а я вглядываюсь в него, невысокого, сутулого, стриженого, и гадаю: где, в какой части его тела таится та сила, что подвигает его на такую неистовую работу?.. Вот и сейчас: едва открыл мне—и:

— Извини,—кричит,—я кладу последние мазки!—и опять бегом к мольберту, и уже оттуда командует мне раздеться, включить электросамовар, подсказывает, какие манипуляции проделать с чайником, а пока чай настаивается—ещё заставляет просмотреть его новые работы.

Надо сказать, он тоже извлекает пользу из отношений: позволяет, даже поощряет его критиковать, что большая редкость среди художников; правда, я не замечал, чтобы он хоть раз исправил что-то после моей критики, однако слушает внимательно—моя критика, кажется, просто позволяет ему посмотреть на свои работы чуть-чуть со стороны…

В детстве и юности я сам рисовал и мазал красками, так что чутьё, которое придаёт мне наглости критиковать его работы, у меня, видимо, всё же есть, и я стараюсь быть честным. И знаю, что я у него гость не из последних: когда сижу с ним, а кто-то в это время набивается по телефону в гости,—он неизменно отвечает: «Извини, но я сейчас занят!..»

Он оставляет наконец мольберт, подсаживается, и мы пьём густой терпкий чай с мёдом и брусникой. Он, уже зная о моих сердечных проблемах, спрашивает, что у меня нового, и я отвечаю, без всякого, впрочем, нытья, что живу пока с дамой сердца у знакомых и ищу жильё.

— Слушай!—приходит ему в голову.—А ты бы мог пожить в такой же вот мастерской, вроде моей? Там и электроплита, и ванная есть!

— Спрашиваешь!—усмехаюсь я.—Без колебаний…—я уж не объясняю, что для меня нет ничего благовонней запаха хорошей олифы и сосновых реек.—Только—в чьей мастерской?

— Художника Коляду знаешь?

Я расхохотался—кто ж в городе не знает Коляду! У него и имя есть, но зовут его только по фамилии, весьма, видно, точно данной его предкам и означающей озорное святочно-полуязыческое действо. Кто ж не знает Коляду, это дикое лохматое вместилище если не всех, то доброй дюжины пороков: пьянства, сквернословия, склонности к скандалам и проч.! И каков он в жизни—таков и в своём художестве: противник всяких правил, скандалист и насмешник. Но насколько мне известно, Коляда своим хамством и насмешками нажил в городе столько врагов, что сбежал от них в другой город, а там, не убоявшись его нрава, его прибрала к рукам какая-то особа женского пола, и он будто бы этой особой был отмыт, подстрижен, остепенился и, что совсем уж невероятно, пустил там корни в виде родного дитяти.

— Да как же мне не знать Коляду, если ты же меня с ним и знакомил когда-то?—отвечаю я Артёму.—А причём здесь он?

— А притом,—ответил мне Артём,—что он оставил здесь мастерскую и не хочет её терять. И по своей наглости, пользуясь тем, что мы вместе учились, оставил мне ключи и навязал роль смотрителя при ней. А так как я всё привык делать

как следует, то мне приходится каждую неделю ездить туда и проверять, не залезли ли воры и не текут ли краны. Вот я и подумал…

— А если я буду жить там не один?

— Места хватит. Мы ему позвоним, и ты дашь ему слово, что ничего не пропадёт. Он будет брыкаться, но я его уломаю.

— А чего брыкаться? Украду его работы?— рассмеялся я, припоминая его холсты на выставках, такие же непричёсанные, как он сам.

— Э-э, не скажи!— покачал головой Артём.— Там есть за что бояться. Он только с виду шут гороховый, а на самом-то деле у него там такая коллекция икон, которой позавидует любой музей. Когда народ в своём озверении пропивал Христа, наш музей всё ждал: авось и им принесут,— а он ходил по деревням с мешком и собирал. Причём, заметь, ни одной не пропил, хотя моментов имел достаточно… Я это к тому, чтоб ты знал, с чем будешь иметь дело…

Деваться некуда — я согласился, и Артём тотчас принялся звонить.

Мы нашли Коляду по телефону лишь часа через три, и за десять минут всё было утрясено; мне он только дал подробные инструкции, как устроиться, чтоб не тревожить его картин и сундуков, и Артём тут же повёз меня показать мастерскую.

Она была далеко, на окраине, и представляла собой просторное полуподвальное помещение в пятиэтажном доме.

Она состояла из двух больших помещений; одно служило прихожей, кухней и складом одновременно; один угол его занимали поставленные один на другой старинные сундуки с навесными замками; в другом углу стоймя стояли доски, рейки, металлические уголки, в третьем — электроплита, стол, кухонный шкаф и полки с кое-какой посудой, а вдоль одной из стен громоздился стеллаж, забитый картинами, рамами, подрамниками, коробками, кипами картона и свёртками холста… Второе, более просторное помещение и было собственно мастерской; все стены в ней занимали прислонённые лицом к стенам картины разных размеров, посреди комнаты стоял пустой мольберт, а в углу — низкая, покрытая цветной узорчатой кошмой продавленная лежанка.

Действительно, были в мастерской и ванная, и уборная, и горячая с холодной вода: заходи и живи,— если б только… Дело в том, что весь свободный от картин и стеллажей пол был почти сплошь загромождён ящиками, набитыми чем-то мешками и корзинами, а меж ними какой только хлам не валялся: битые цветные стёкла, сорванные с изб старые резные наличники; в одном углу лежала груда бараньих, козлиных и оленьих рогов с черепами, в собрании которых угадывалась неряшливая, но — коллекция; окна задрапированы рваной кисеёй, больше похожей на обрывки паутины, с пыльными портьерами по бокам; и везде — пустые банки из-под красок и консервов, пивные и винные бутылки, а свободные от всего этого участки пола покрыты таким слоем пыли, что на ней отчётливо виднелись тропинки, протоптанные к наиболее посещаемым здесь местам: мольберту, лежанке, электроплите и в уборную. Берендеево царство пауков и тараканов…

Артём поглядывал на меня с сомнением: соглашусь ли я жить в этаком бедламе? Сам он относился к Колядиному разгильдяйству спокойно, но сейчас смотрел на мастерскую моими глазами — ему хотелось и помочь мне, и сбыть наконец навязанную ему обязанность смотрителя. А мне выбирать было не из чего, и грязь меня не пугала. Главное, здесь просторно, и сквозь вонь затхлости пробиваются стойкие запахи олифы и сосновых реек. А Тебя я надеялся уговорить. Мы с Артёмом посовещались, что и как подвинуть и рассовать, чтоб не наносить ущерба Колядиным богатствам, ударили по рукам, и он отдал мне ключи.

А на следующий день я привёз туда Тебя.

Честно говоря, я вёз Тебя с тайным страхом и не стал заранее ни в чём убеждать — сказал только, что там грязно и придётся поработать.

Ты осторожно, чтоб не запачкаться, молча бродила по мастерской, всё внимательно рассматривала, а я рассказывал, что и как тут можно убрать и подвинуть, и всё поглядывал на Тебя, не в силах ничего угадать по Твоему лицу: оно было непроницаемо. А у меня сердце падало от Твоего молчания.

Когда же закончили осмотр, включая и безбожно залитые красками и грязью ванну, раковину и унитаз, и кухонный угол с грязными до черноты электроплитой и мойкой,— Ты наконец остановилась перевести дух.

— И что?— нарушила Ты наконец молчание.— Когда мы всё это уберём, мы можем здесь жить?

— Д-да-а, разум-меется,— неуверенно ответил я.

— Прекрасно!— вдруг воскликнула Ты и неожиданно улыбнулась.— Конечно, мы будем здесь жить!

Я облегчённо вздохнул и, не удержавшись, обнял Тебя и расцеловал, и мы, держась за руки, пустились в пляс, крича наперебой:

— Ура-а! Мы будем здесь жить! У нас будет своё жильё-ё!

— Я сейчас же хочу начать хозяйничать. Можно?— заявила Ты.

— Отныне всё здесь к Твоим услугам!— простёр я руки.

Ты прошла в кухонный угол, осмотрела шкафчик и полки, нашла, наполнила водой и поставила на электроплиту закопчённый, не раз, видно, бывавший в таёжных походах чайник, отмыла две щербатых фарфоровых чашки и даже нашла в жестяной банке чайную заварку. Мы заварили чай, сели за шаткий столик, налили по чашке и, чокнувшись ими, провозгласили тост:

— За наш новый приют!

Мы пили чай, советовались и спорили, как организовать уборку; то я, то Ты вскакивали, бегали по комнатам и, размахивая руками, показывали, куда что подвинуть, поставить и как разместить…

Следующий день была суббота. Все наши вещи уместились в Твоём чемодане и взятой в магазине большой картонной коробке — у меня даже своего чемодана не было. Мы погрузились

в Борисов «жигуль» и вчетвером отправились в мастерскую — Боря со Станиславой взялись нам помочь устроиться.

Два дня с утра до вечера мы в восемь рук приводили в порядок помещение, и наконец к вечеру в воскресенье оно приобрело достойный вид: штабели ящиков, узлов и мешков компактно сложены и задрапированы холстом; стены, оттёртые от пыли, приобрели близкий к белому цвет; окна, в которые теперь щедро било вечернее солнце, сияли чистыми стёклами; выстиранные и выглаженные шторы имели вид вполне пристойный, а пол, как выяснилось после тщательного мытья, оказался выкрашенным светло-серой краской, что делало помещение ещё светлей и просторней.

Перебирая картины, мы все их, разумеется, рассмотрели; писал Коляда грубо и размашисто; были там и портреты, и городские пейзажи, и букеты, и женская *обнажёнка*, но более всего он тяготел к таёжной тематике: к лесным и горным пейзажам, обильным натюрмортам с битой дичью, ягодами и грибами, к портретам охотников и рыбаков в окружении снастей и трофеев. Несколько работ, одобренных нами, мы развернули лицом к себе; получилась яркая экспозиция, и мастерская стала выглядеть празднично.

Ты решила забрать Алёну сюда; договорились, что обитать она будет в мастерской — там светлее, а сами разместились в проходной комнате.

Один угол «нашей» комнаты мы оборудовали под «альков»; среди Колядиных холстов я нашёл крепкий фанерный планшет с плакатом, на котором намалёван дюжий молотобоец с молотом на плече, протянувший руку в светлое будущее; я отпилил четыре бруса для ножек и укрепил на них планшет — получилась метровой высоты лежанка, под которую мы затолкали всё, чему уже не могли найти места, в том числе и большую корзину с рогами и черепами, а чтобы залезать на лежанку, вместо ступенек поставили ящики; в результате всё разместилось как нельзя лучше; стало просторно.

Затем мы с Борисом проехали на «жигулёнке» по магазинам, и я купил самое необходимое для начала: матрац, подушки, одеяло и постельное бельё. Сам Борис подарил нам на новоселье большую керамическую вазу вместе с букетом свежих гвоздик. И наконец, воскресным вечером, закончив труды, накрыв посреди мастерской шаткий столик и сев вокруг него кто на чём, уставшие, мы устроили маленькое пиршество — *обмывку* вселения. Всё было просто: вино, миски с нарезанными колбасой и хлебом, пучки петрушки и зелёного лука, две фарфоровых чашки, гранёный стакан и эмалированная кружка — всё, что смогли найти здесь из посуды.

Мастерская сияла чистотой; в центре её, рядом с нашим импровизированным застольем, стояла ваза с алыми гвоздиками, а вдоль стен играли красками одобренные нами картины. Весенний солнечный день за окнами гас, но зажигать свет и пугать ауру, которую мы сюда внесли, не хотелось.

Правда, мы не успели отчистить ванну, раковину, кухонную мойку и унитаз (потом, уже вдвоём, мы отчищали их около месяца, пока и они не засияли у нас первозданной белизной). А в тот вечер мы с Тобой радовались своему новому жилищу и благодарили Станиславу с Борисом за *помочь*; Станислава, держа в руках фарфоровую чашку с вином, держала тост:

— Если есть на свете настоящее счастье, то для меня его живое воплощение — это вы! Желаю вам сберечь его навсегда… — в её речи сквозь доброжелательность сочилась лёгкая зависть.

Было так хорошо сидеть тесным кругом после трудов праведных в этой, уже тёмной, тишине, где вокруг поблёскивают молчаливые картины, чувствовать усталость и размякать от вина. Но мне, честно-то говоря, хотелось поскорее остаться с Тобой наедине, завалиться на нашу новую, широкую и просторную, лежанку и — ни от кого уже не таиться; мы с Тобой незаметно переглядывались и обменивались улыбками, понятными только нам. И как только остались вдвоём — обнялись и кинулись к нашей лежанке. Посрывав с себя одежды и вдоволь затем накувыркавшись в амурных играх, мы наконец угомонились и выключили свет…

Но когда я, вконец усталый, задремал, Ты толкнула меня в плечо и шепнула: «Послушай!» Мы замерли: в углах что-то скреблось, шуршало, пищало и тихонько топало… Крысы! Сколько же их тут? Выключатель был недалеко; я нащупал его и включил свет; по полу метнулось сразу несколько серых тварей, исчезая под стеллажом и за ящиками, а в дальнем углу, прямо на кухонном столике, замерев, сидела преогромная крыса и сердито на нас пялилась, будто не они, а мы здесь, в их владении, — незваные гости.

Я тихо сполз, взял с пола туфлю, запустил в наглую тварь и, конечно же, не попал; крыса, недовольно фыркнув, мягко шлёпнулась на пол и юркнула в дыру за электроплитой. Стало тихо. Но стоило потушить свет, писк и возня возобновились. Тебя уже трясло от страха. Мы решили не выключать света, но крысы окончательно обнаглели: как только мы затихали, они начинали носиться при свете, не обращая на нас внимания.

Утром, проводив Тебя на работу, я тотчас отправился в магазин, купил несколько мышеловок и перед тем, как лечь спать, все их насторожил; в предвкушении мести мы даже пораньше улеглись и потушили свет… Первая крыса попалась через минуту, вторая — через пять, третья — через пятнадцать, а потом — через каждые полчаса. Это была ночь кровавого избиения крыс: за ночь я выловил их больше десятка. На следующую ночь — ещё три; на третью попалась всего одна и, кажется, последняя: они были до того непугаными, что шли на любую приманку.

Наконец настала благоговейная тишина; мы с Тобой были одни, и больше нам ничто уже не мешало — ни шорохи, ни шумы, ни посторонние глаза и уши; исчезло прошлое и будущее — с нами было только настоящее; мы купались в нём и пили его, как бьющее в нос шампанское. И с таким азартом предались радостям любви, что однажды планшет с молотобойцем не выдержал: проломился под

нами, и мы рухнули прямо в корзину с рогами и черепами, а когда выбрались—хохоту нашему не было удержу; мы бегали нагишом по комнатам, потом вместе шли в ванную—отмываться, потом ужинали—и всё не могли унять хохота.

Ужин наш был беден—лишь хлеб, варёная колбаса и чай, но мы не замечали бедности: мы наслаждались едой, взапой пили радость общения и не могли наговориться—будто намолчались и теперь навёрстывали упущенное. Какую только ахинею мы не несли! Мы размахивали руками и кричали, в нетерпении перебивая друг друга:
—Подожди, подожди, сначала я!
—Нет, нет, я, я, я сначала!..

Мне казалось, что до сих пор я был в плену у взрослых людей, причём так долго, что сам стал слишком взрослым и серьёзным, а теперь с облегчением стряхивал с себя эту ужасную привычку; я вдруг понял: ни ребёнок, ни подросток, ни юноша не умерли во мне—лишь уснули, а Ты пришла и разбудила, и я снова могу быть пылким, открытым, искренним, ничего не тая,—могу говорить всё, что хочу, нести любую чушь, зная, что меня выслушают и поймут... Боже мой, какую скучную, тусклую, уродливую жизнь прожил бы я без Тебя!..

10.

В следующий выходной Ты поехала утрясать с мужем вопрос, как быть с Алёной,—и уже часа через три привезла её: отец, видно, устал возиться с ней и за одно лишь Твоё обещание не брать с него алиментов отдал её Тебе вместе с Алёниными вещами; приехали вы на такси и привезли тюк с постелью и одеждой и два чемодана—с бельём и игрушками.

Алёна шаг за шагом обследовала наше необыкновенное жильё, устроив тщательный опрос: «А это что? А это зачем?..» Потом, чтобы сдобрить ей впечатления, Ты затеяла маленькое пиршество, а перед этим, достав заветную папку с записями, выудила оттуда какой-то особенный рецепт и взялась стряпать торт, вовлёкши в стряпню Алёну...

И наше новорождённое маленькое семейство, пока никем ещё, кроме нас самих, не признанное, пустилось в плавание по зыбям житейского моря в столь необычайном ковчеге—в Колядиной мастерской... Уже знакомый с законами этого моря, я знал, как оно коварно и как в нём тонут и лодчонки, и дредноуты: разбиваются о подводные камни эгоизма, их засасывают песчаные мели попрёков, шквалы ссор рвут в клочья паруса, волны захлёстывают двигатели мечтаний, за годы плаванья гниют и расшатываются крепи отношений, и однажды команда вместе с накопленным добром ухается в ледяную воду...

Ещё когда мы делали уборку, на одной из полок стеллажа я нашёл заваленное хламом собрание альбомов по искусству—так Коляда, видно, замаскировал его от грабителей. Альбомов было не меньше сотни, толстых, тяжёлых, и охватывало это собрание всю историю искусств, начиная с древних Египта, Средиземноморья, Востока и Руси и кончая современными мастерами. Кое-какие альбомы были мне хорошо знакомы—сам собирал их когда-то и прекрасно знал, сколько времени, сил и денег это увлечение отнимает. Коляда начинал восхищать меня всё больше...

Я решил не торопясь просмотреть все эти альбомы, и когда начал—ко мне присоединилась Ты, а за Тобой и Алёна; мы с Тобой листали их вместе и комментировали каждый на свой лад. А Алёна рассматривала их сама, задерживая взгляд на иллюстрациях с обнажёнными телами мужчин и женщин. Тебе, я видел, очень хотелось тогда вырвать у дочери книгу, а я незаметно Тебя удерживал.

Алёна отрывала взгляд от книги и с серьёзнейшим выражением лица задавала мне каверзный вопрос—к примеру: «А почему у голого дяденьки вот тут—листик?» Вопрос явно задавался с намерением меня испытать—или смутить?—и я спокойно объяснял ей, что там, где листик, у всех мужчин всё одинаково, так что художнику это неинтересно; затем мы с ней отыскивали обнажённую мужскую фигуру, у которой не было пресловутого листика, и её тоже рассматривали, и я объяснял, что всё, оказывается, просто, и стыдиться обнажённого тела незачем... Точно так же мы разбирались с вопросом: «Почему эти голые тётеньки и дяденьки—вместе?» Алёна кивала, удовлетворённая моим объяснением, а Ты между тем незаметно, но крепко пожимала мне руку—я выдерживал и Твой экзамен тоже...

Как-то вечером Алёне не хотелось идти спать; Ты настаивала; назревала ссора. Я вмешался: пообещал Алёне, если она ляжет, рассказать сказку; она тотчас же легла, и сказка была мною рассказана... С тех пор, ложась спать, она непременно просила меня рассказать сказку. Однако запас их я быстро исчерпал; пришлось пересказывать когда-то читанного Жюля Верна и Александра Беляева, а когда и этот запас исчерпался—стал придумывать сказки на ходу и тут наткнулся на сюжет, которого мне хватило надолго: о приключениях трёх дружных приятелей—Медведя, Лисы и Зайца, причём в прототипах их угадывались мы сами. И где только не побывала и что только не вытворяла эта троица: ездила в машинах и поездах, летала в самолёте и прыгала с парашютом, плавала на корабле и попадала в кораблекрушения, забиралась в сибирскую тайгу и в амазонские джунгли, поднималась в Гималаи и спускалась в жерла вулканов, а в Африке встречалась со львами, слонами и крокодилами. Причём сам я только намечал сюжетную линию, а уж детали придумывали вместе; а когда и наша, общая с Алёной, фантазия истощалась, Ты, занятая своими делами,—оказывается, Ты слушала нас вполуха!—подсказывала нам новый поворот...

Матушку наконец мы с Таней перевезли в деревню, и я стал мотаться туда в свободное время. Целые дни матушка теперь проводила на воздухе и заметно после зимы крепла. Пора было начинать копать гряды—работы с землёй там всегда непочатый край, и как-то так у нас с Татьяной распределилось, что зимует матушка у неё, а уж в деревне летом

помогать ей должен, главным образом, я: у меня лето свободное.

Я всегда был лёгок на подъём — хоть в деревню, хоть в лес — и любил ездить в одиночку: считалось, что у нас с Ириной разные интересы. Однако теперь без Тебя ездить мне не хотелось, но с матушкой заговорить об этом не решался: она у нас — суровых патриархальных взглядов; тем более что там — её вотчина, и без её ведома ничего делать было нельзя, поэтому вся женская половина нашего клана ездила туда без охоты; даже Таня не могла там справляться с матушкиным упрямством. Это — во-первых. А во-вторых, матушка была строптива в отношении морали — в ней слишком крепко сидел ген её предков-староверов.

И вот в один из приездов я решился наконец заговорить с ней о том, что давно живу не с Ириной, а с женщиной по имени Надежда. И что же? Оказывается, она об этом знает: ждала, наверное, когда доложусь сам?.. Я рассказал ей, кто Ты, почему мы вместе да как устроились, — пусть уж узнает подробности от меня, а не из вторых и третьих рук… Но как я ни старался объяснить ей серьёзность наших с Тобой отношений — поколебать её убеждения в том, что я — человек легкомысленный, не смог: она тут же принялась меня развенчивать.

— Да что же это за жизнь, сынок? Скольких человек ты сразу сделал несчастными: жену, сына, свою новую пассию, её мужа, её дочь! Двух детей оставить сиротами!.. — и по её щеке поползла слёзка; то была явная слеза обиды: не смогла воспитать меня серьёзным человеком.

— Мама, да какой же сын сирота — он взрослый человек! — возражал я.

— Значит, взрослый сирота.

— Но не хочу я над ним всю жизнь квохтать!.. И не собираюсь я Надиного ребёнка отнимать у отца! Да сам буду ей неплохим отцом!..

— И что это за женщина: разрушить две семьи!..

— Не она — так другая появилась бы; у нас с Ириной давно шло к этому!

— Вот и осчастливил бы другую: вон их сколько, одиноких-то!

— Сердцу, мама, не прикажешь.

— Бросьте вы со своим сердцем! Над сердцем, между прочим, голова есть! Столько лет, а ума не нажил! И эта дрянь тоже…

— Мама, нельзя так — она моя жена!

— Да какая она жена!

— Но мы бы с Ириной только отравляли жизнь друг другу! Ты этого хочешь?

— Терпеть надо — это вот и есть жизнь, сынок! Тебе и новая жена надоест — или ты ей надоешь… Какой ты пример сыну подаёшь! И зачем только я дожила до этого?.. — хныкала и причитала она, разрывая мне сердце.

В этой нашей с ней дискуссии я вспомнил, как она, исправная книгочейка, была когда-то неравнодушна к роману «Анна Каренина». Не знаю, сколько раз она его прочла, но я кольнул её этим:

— А помнишь, как ты «Анну Каренину» читала? Аристократке ты, значит, позволяешь уйти к любимому человеку, а мы манерами не вышли?

— А ты помнишь, чем там кончилось? — ни на сантиметр не уступала мне она. — Всех ведь её любовь погубила! А эпиграф помнишь? «Мне отмщение, и аз воздам»! Потому что с этим не шутят; Толстой это понимал!

Приговор её был неумолим.

— Придёт лето, Игорёшка приедет… — вздыхала она. — Да и Ирине захочется. Что мне их теперь, выгонять?

— Ирина не приедет. А сын пускай привыкает к моему новому положению. Я не собираюсь от него прятаться…

В конце концов ей надоело со мной спорить, и она заявила мне:

— Не вози ты её сюда, не хочу её видеть…

А я думал с горечью: «Ладно, мамочка, пусть пока будет твоя воля. Но я буду, буду с ней, и никуда ты не денешься — я приучу тебя уважать её и постараюсь, чего бы это ни стоило, вас помирить!..»

А помнишь тот субботний майский день? Теплынь была; уже цвели, белой буйной пеной исходили в скверах черёмуха и яблони. На улицах стало полно гуляющих. Ты отвезла Алёну в гости к свекрови; мы встретились с Тобой после этого в центре города и куда-то шли, оживлённо болтая, и вдруг я почувствовал на себе чей-то взгляд. Поднимаю глаза: Ирина навстречу! — и вид у неё отнюдь не удручённый; одевалась она всегда хорошо, а тут и вовсе нарядной идёт: яркое платье, туфли на высоченных каблуках, щегольская сумочка… Я споткнувшись о её взгляд, осёкся и, поравнявшись, церемонно с ней раскланялся. Ты, заметив мой кивок, бегло глянула на неё и, когда мы разминулись, спросила:

— Кто это?

— Моя бывшая жена, — коротко бросил я.

Ты сдержала своё любопытство — даже не оглянулась, и ни одна чёрточка на Твоём лице не дрогнула. Мы шли дальше, продолжая разговаривать, когда дорогу нам загородила запыхавшаяся Ирина.

— Что, у вас хорошее настроение? Сейчас я вам его испорчу! — выпалила она, размахнулась и влепила Тебе пощёчину.

Ты машинально закрыла лицо руками, а я шагнул вперёд, загородив Тебя, и схватил Ирину за руки.

— Пусти меня, пусти! — нарочито истерически, чтоб привлечь внимание прохожих, закричала она, вырывая свои руки из моих, в то же время яростно выкрикивая в Твою сторону: — Ах ты, сучка! Вцепилась в чужого мужа и радуешься?.. А ты, — это она уже мне, — ещё не нагулялся? Может, хватит — вернёшься домой? Пора и честь знать!

Вокруг тотчас собралась, пялясь на нас, толпа, а Ты, опустив голову и закрыв лицо ладонями, выбралась из толпы и побрела прочь.

— Чего орёшь? — гневно сказал я Ирине, по-прежнему крепко её держа. — Думаешь, вернусь, если будешь истерики закатывать? В профком ещё пойди, жалобу напиши!

— И пойду, и напишу! Ты — гад, мерзавец и негодяй! — выпалила она.

— Ох и злая же ты! Желаю, чтоб ты тоже поскорей нашла свою любовь.
— Дурак! До седых волос дожил, а не знаешь, что не бывает много *любовей*! Постелей — да, бывает, а любовь бывает только одна!
— Как же, одна! — усмехнулся я. — Скажешь, с Гариным не изменяла?

Я сказал это наугад — когда-то подозревал её, да и не был я уверен, изменяла она мне или нет, — а она взяла и выпалила:
— Да, изменила разочек! Получи!
— Вот-вот! — восторжествовал я. — Так что грош цена твоей любви!
— Да я тебя ещё больше после этого любить стала! — она смотрела на меня с такой яростной энергией, что могла сейчас вытворить все что угодно: ударить тоже — или упасть на асфальт, вцепиться мне в колени и взвыть истерически: «Пусть, пусть мне будет хуже, но я тебя люблю и никуда не пущу!» — с неё станет!.. Но взгляд её, вспыхнув, сразу же погас.
— Ладно, отпусти, — уже спокойно сказала она. — Веди свою кралю дальше. Я рада, что испортила вам вечер!

Я отпустил её руки. Она произнесла насмешливо:
— Прощай, дружок! Но нагуляешься — возвращайся: нам есть что вспомнить!

Она помахала мне рукой, повернулась и пошла себе дальше сквозь почтительно расступившуюся толпу, и вид у неё был торжествующий.

Я проводил её долгим взглядом, никакого раздражения к ней уже не испытывая… Она, конечно, поняла, что я не вернусь. И я понял, что она поняла. Да и как нам было не понять друг друга, когда залогом этого было столько наших с ней лет! Просто увидела своими глазами сияние на наших с Тобой лицах, убедилась, что возвращать меня бесполезно, покуражилась вволю и отпустила: «Катись!» И всё-таки она уносила с собой, пряча за торжеством и гордыней, скрытую досаду: обманул, бросил!.. Мне стало вдруг так стыдно, что я предательски счастлив за её счёт! Я глядел ей вслед, а душа моя ныла от нестерпимой жалости к ней… Окликни я её сейчас, думал я, — обернётся, бросится тотчас навстречу и всё простит, и снова будем вместе… И может, даже крепче, чем прежде, будем любить друг друга… И быстрее, чем прежде, всё повторится: скука, раздражение… Лгать, обманывать, как другие?.. Не смогу!

Долго я стоял, провожая глазами Ирину, которая уходила с высоко поднятой головой. А потом бегом бросился за Тобой…

Ты стояла, пройдя метров сто, прислонившись спиной к толстому стволу тополя и зажав платком нос. Одна щека у Тебя побагровела, в глазах стояли слёзы, а сама Ты — так раздосадована, что не желала со мной говорить.
— Извини, но я же не виноват! — оправдывался я.

Ты отняла платок от носа; и платок, и нос, и губы Твои — всё было в крови: тяжёлая у Ирины рука… Я взял Тебя под руку, отвёл в сквер, усадил на скамью и кинулся найти где-то воды — смочить свой платок… Вода нашлась только в кафе за углом; я вернулся и стал оттирать Твоё лицо, уговаривая при этом:
— Если Ты решила на меня сердиться, так Ирина своей цели достигла: она так и думает, что мы теперь ссоримся. Но зачем нам плясать под её дудку?.. — и невольно рассмеялся: — Первая кровавая жертва на алтарь нашей любви!
— Неправда, не первая! — с досадой возразила Ты. — Помнишь мой синяк в первый же наш вечер? Только жертвы почему-то приношу одна я!
— Жалко, у меня нет с собой ножа, — сказал я.
— Зачем? — вздрогнула Ты.
— Пустить себе слегка кровь, чтоб Тебе не было так обидно.
— Не надо! — глянула Ты на меня сквозь слёзы, как взглядывает после грозы солнце в просвете меж туч…

Ещё некоторое время Ты сидела, приложив мокрый платок к носу, и вдруг сама нервно расхохоталась:
— Ну, Иванов, и сюрпризы у меня с тобой!
— Знаешь что? — сказал я тогда, бережно взяв Твою руку в свои. — Давай-ка начнём бракоразводные процессы да распишемся, а? Чтобы уж никто не смог упрекнуть Тебя чужим мужем, а меня — чужой женой.
— Наконец-то! — с явным облегчением вздохнула Ты. — Как медленно, Иванов, до тебя всё доходит! — и с такой благодарностью глянула на меня, что я лишь укрепился в желании поскорее сделать этот последний шаг навстречу; у Тебя даже настроение поднялось — Ты готова была простить мне за это Иринину оплеуху.

11.

Настало наше с Тобой первое лето.

Жаркое, душное, грозовое выдалось оно в том году.

В начале июля я ушёл в отпуск, а чуть позже — и Ты. Но из-за безденежья нам некуда было деться из города. И в деревню вместе ездить не могли. Я обиженный на матушку, теперь мотался туда без прилежания, оставляя Тебя в городе одну, и предупредил сестру, чтобы на меня там слишком не рассчитывали да чтоб влияла потихоньку на матушку — авось снимет запрет на Тебя?..

А Ты в этой ситуации оказалась молодцом: не только не обижалась на неё — а ещё и винилась передо мной:
— Прости, что я всему причиной. Я её понимаю — я выгляжу в её глазах злодейкой, но не взваливай на меня ещё большей вины — езди, как ездил!..

А помнишь, как мы составили список первостепенных покупок в сотню пунктов? — и позволили себе из отпускных лишь несколько покупок: стулья вместо чурбаков и шатких табуреток, диван-кровать вместо рухнувшей лежанки, кое-что из посуды, белья, одежды; но главной покупкой стал большой раздвижной стол, за которым можно было теперь и обедать, и принимать гостей, а главное — работать, а то мне приходилось заниматься на прибитой к подоконнику створке старого шкафа.

И мои отпускные быстро испарились… А Ты из своих отпускных сделала мне роскошный подарок: толстый, коричневого цвета и рельефной вязки, пуловер. Никогда ещё у меня не было такой прекрасной вещи; я одел его не без удовольствия и всё допытывался: где Ты его взяла и сколько он стоит?..

Ты долго уклонялась от ответов—и всё же призналась: вяжет их женщина с вашей работы, а отдала Ты за него едва ли не треть своих отпускных.

— Знаешь что?—рассердился я тогда.—Когда нет денег, незачем брать такую вещь! Унеси обратно!

— Ты не представляешь, как он тебе идёт!—взмолилась ты.—Ну пожалуйста, позволь оставить! Ни одной вещи больше не куплю без твоего разрешения, клянусь тебе—я научусь вязать сама! А деньги заработаю…

Я уступил Тебе и не придал значения последней фразе, а через день смотрю—Ты ломаешь голову над какой-то книжонкой на английском, полной таблиц и формул.

— Чем это Ты занята?—заинтересовался я.

А оказывается, это Станислава дала Тебе сделать платный перевод монографии.

— Ещё чего!—возмутился я.—Лето и так короткое—лучше отдыхай и радуйся жизни, а в отпуске и без денег проживём!

— Не ругайся, милый, я только и делаю, что радуюсь!—обезоруживала Ты меня.—А английским—поверь!—я сама давно мечтала заняться!..—и всё продолжала копаться над этим чёртовым переводом…

А помнишь походы за грибами?

Чтобы нам достались хоть какие-то грибы, приходилось вставать в шесть утра, причём Алёну это не пугало—так ей хотелось с нами. Одевались по-походному, брали корзину и завтрак и выходили на автобусную остановку. Ехать было недалеко, всего три остановки…

Скромная пригородная природа встречала нас сначала вытоптанной коровами луговиной, несмелым стрёкотом обсыхающих от росы кузнечиков, затем—берёзами с никлыми ветвями, полянами, сплошь синими от цветущего мышиного горошка, зарослями папоротника, таволги и крушины, беспокойной трескотнёй дроздов. А дальше—редкие сосны на увалах, треск сухих шишек под ногами, сизая даль в просветах меж стволов, чистое небо между зелёными шапками сосновых крон, и—тишина.

Лес был изрядно вытоптан, но припасал и для нас десятка три липких молодых маслят, тёмных подберёзовиков и рыжих подосиновиков.

Под самой большой сосной садились завтракать; Ты доставала термос, пироги и бутерброды. Уминала их, главным образом, Алёна, а я ложился на мягкую сухую хвою, смотрел сквозь крону в синюю стынь неба с медленно плывущим там белым облаком и слушал, как Ты деловито кормишь дочь и как при этом вы успеваете спокойно и немногословно любоваться трофеями; ничего больше мне не хотелось—лишь слушать ваши голоса, смотреть в небо и как можно дольше не нарушать этой простоты счастья…

Когда часов в одиннадцать возвращались, день уже успевал накалиться, и мы делали крюк к пруду, который нашли за дачным посёлком. Пруд был большой и круглый, с обсаженной тополями дамбой, на которой томился одинокий рыболов. Один берег пруда круто обрывался в воду, по верху обрыва росли огромные берёзы, а по другому, пологому, берегу сбегала к самой воде зелёная мурава.

Мы поторапливались туда: к середине дня там собиралась ребятня со всей округи и взбивала воду у берега до молочно-белёсого цвета; но если успевали раньше их—пруд с отражением в воде обрыва и зелёных берёз наверху был абсолютно зеркальным; на дамбе шумела вода, а над водой кружились синие стрекозы и, попискивая, летал куличок…

Накупавшись до звона в ушах, мы возвращались домой—жарить картошку с грибами и затем обедать. Во всём этом было ощущение усталости от непомерной полноты дня. А вечером ездили в центр—в кино или в парк, или на гастрольный спектакль, или просто гуляли по району.

Гуляя, мы однажды обнаружили недалеко от дома пригородный вокзал, а рядом с ним—длинный пешеходный мост через железнодорожные пути, а на той стороне дороги—пригородный посёлок с чисто деревенским укладом: деревянные избы, палисадники с пышными цветами, запах мяты и укропа из огородов…

Больше всего нам нравился сам пешеходный мост: с его высоты были видны уходящие вдаль блестящие рельсы, паутина проводов над ними, жёлтые, зелёные, красные огни светофоров, старинные, красного кирпича, станционные постройки, и всё это—в обрамлении монолитной зелени вековых тополей и светлого в сумерках неба; от неброской красоты всего этого было так хорошо, что захватывало дух… В конце концов, все эти берёзы, сосны, тополя, небо, цветочные поляны, городские перекрёстки с уходящей вдаль перспективой улиц, ритм движения поездов на железной дороге,—всё в то лето было продолжением нас самих. Переполненный чувством этой будничной красоты, я молча сжимал Твою ладонь, и Ты отвечала мне пожатием; мы постепенно учились понимать друг друга без слов.

Павловские с их машиной лето проводили активно и вовлекли в свой отдых нас: почти каждый выходной мы мотались за грибами, ягодами, травами, на охоту, на рыбалку. Цель поездки обозначалась загодя, и в течение недели мы к ней готовились: закупали, готовили и упаковывали провизию, составлялся список необходимых вещей, и в самой подготовке были свои предвкушения и переживания.

Изюминкой всякой тематической поездки был ужин у костра и ночь под звёздами… Павловские любили жить вкусно и добротно и радоваться жизни вместе с друзьями, причём в самые близкие друзья в то лето они выбрали нас с Тобой. Походное снаряжение у них имелось для любых нужд, а поскольку у нас с Тобой ничего не было—они оделяли им и нас.

Если собирались на один-два дня, то брали и Алёну, так что в Борисову машину садились (как мы шутили) семьёй из шести человек, включая мраморного курцхаара Топа… Станиславу с Борисом страшно возмущал англичанин Д.К. Джером, который не считал собаку человеком,— Топ Павловский (так мы его величали) был настолько членом семьи, что за ужином Борис иногда сажал его на стул за обеденным столом, ставил перед ним тарелку, и они клали Топу то же, что ели сами. Топ ел аккуратно, не роняя ни крошки, а дожидаясь следующего блюда, с достоинством смотрел только перед собой, не заглядывая в чужие тарелки…

Возвращались в город усталыми, с красными от июльского жара лицами и с охапками сомлевших от жары полевых цветов; Ты тотчас ставила их в воду, и они оживали… Букеты эти потом всё равно быстро увядали, но даже увядшие — сладчайше пахли сухим луговым сеном…

Но что так спаяло нас тогда с Павловскими в одно дружное семейство? Эрос ли — или иной какой античный бог, витавший над нами незримо и опутавший нас тончайшей серебряной канителью, нисколько нас не тяготившей? Или, быть может, мы, не отдавая себе в том отчёта, сообщали какую-то энергию их отношениям между собой? — но больше поползновений у Павловских соблазнить ни меня, ни Тебя не было; их место заняла дружеская привязанность к нам, всем троим, включая Алёну,— они уже, кажется, не могли себя без нас помыслить.

Однажды в воскресенье, когда мы, утомлённые такой поездкой, вернулись вечером домой, вымылись и сели ужинать, идиллия нашего отпускного бытия была нарушена: явился Коляда. Причём заявился он не один, а в сопровождении двух приятелей, все — в подпитии, принеся с собой ещё несколько *долгоиграющих* бутылей портвейна. Как быть? Ехать к Павловским? — но они и так два дня были с нами… Надо было уходить, а мы, с нашей щепетильностью: это невежливо перед хозяином! — медлили и не знали, что делать.

После краткой церемонии знакомства (я представил Тебя Коляде, а Коляда нам — своих приятелей) он, пройдясь по мастерской, иронично поглядывая на диван-кровать, стол, чистые постели, стал куражиться:
— О, да вы превратили мою мастерскую в будуар!
— Нет, просто вымыли и привели в порядок,— оправдывался я.
— Но это не моя мастерская! — продолжал он куражиться.— Здесь не осталось моего духа!
— Да ты, Коляда, должен им спасибо сказать — сколько они у тебя тут грязи выволокли! — взялся нас защищать один из его приятелей.
— Какая грязь? Это моя атмосфера! — ворчал Коляда…

Затем он сел за стол и бесцеремонно обратился к Тебе:
— Хозяйка, корми нас — мы голодны!
— Сейчас приготовлю,— спокойно отозвалась Ты и, держа слегка испуганную Алёну возле себя, принялась на скорую руку готовить ужин: салат из свежей зелени, жареную картошку.

Я, открывая и ставя на стол остававшиеся у нас в запасе консервы и нарезая хлеб, сказал Коляде:
— Мы не будем вам мешать — сейчас уйдём.
— Обижаешь! — заявил Коляда.— Куда ж вы пойдёте на ночь глядя? Вы нам не мешаете. Садись — поговорим. А дама украсит наше застолье…

И я дал тут слабину — сел с ними, чувствуя при этом нелепость ситуации: общего языка мы, конечно же, не найдём; да просто сидеть с ними в душный июльский вечер, пить дешёвый портвейн и слушать их пьяную болтовню не было никакого желания… А когда Ты приготовила и подала ужин, прилипчивый, желавший быть галантным Коляда и Тебя тоже затащил за стол, и мы с Тобой чувствовали себя за столом препакостно: говорить было не о чем; Коляда с приятелями пили портвейн полными стаканами и ещё больше дурели; крича и перебивая друг друга, они завели спор о том, кто из них троих лучший художник; но так как Коляда орал громче всех — приятели были вынуждены признать его лучшим художником всех времён и народов, а сам он великодушно распределил второе и третье места между ними.

Я начал о чём-то говорить, но он перебил меня:
— Скажи мне, профессор, такую вещь…
— Я не профессор,— возразил я.
— Но ты же читаешь лекции?
— Да, но…
— Значит, профессор! Слушай сюда…

И он стал рассказывать о своём знакомстве с каким-то почтенным питерским профессором, дядей своей нынешней супруги, которая возила Коляду в Питер — знакомить с родственниками, уговаривая дорогой, чтобы он там не пил и не матерился…
— И вот приходим мы, значит, с моей Веркой к профессору,— куражливо продолжал Коляда,— и начал он мне рака за камень запускать: такую, знаешь, умную беседу про искусство навяливает, что я только потею и крякаю. Потом обедать повели. Сидим в столовой; всё путём — хрусталь, фарфор, серебро,— а профессор всё говорит и говорит, а я смотрю, у него там бар встроенный, а в баре — бутылок!.. Он достаёт по одной и угощает глоточками: это вот французский коньяк, это английский джин, это виски,— и всё рассказывает, какие это знаменитые марки да как там умеют пить. А рюмочки — с напёрсток, и такие всё напитки вкусные! Я киваю, а сам на бар пялюсь, как приклеенный. И так мне этот бар в мозгу засел… Я тогда начинаю старика вопросами изводить и чокаюсь с ним почаще. Смотрю, набрался мой свояк!.. А дело — к вечеру. Сам тоже притворился, будто бы не могу идти, падаю, и только! Супруга профессорская оставляет нас с Веркой ночевать; в гостиной диван разложили, легли мы, а я лежу и слушаю… Наконец утихло всё, Верка заснула. Встаю я тогда и босиком, крадучись — в столовую, открываю бар, сажусь перед ним и начинаю пить эти напитки по порядку — как профессор учил. Прикончу бутылку — другую начинаю: они же — чего там — початые!.. В общем, утром нашли меня на полу; штуки три не успел допить; зато, мужики, это — зашибись как обалденно! — закатывал Коляда

глаза.—Верка моя обругала меня по-страшному: «Вася, как тебе не стыдно!»—и в тот же день мы из Питера свалили… А чего тут стыдного? Каждый по-своему с ума сходит, верно?..

Коляда начал вторую историю… И тут закончился портвейн.

—Завари нам, пожалуйста, чаю,—сказал я Тебе.

—Нет, чаем мы не обойдёмся—я не чай сюда пить приехал!—объявил Коляда.—Кто пойдёт за *пойлом*?

Наступила пауза. Я понял: идти—мне.

—Сколько вам нужно?—встаю из-за стола.

—Да, считай, сколько мужиков—столько и надо, чтоб потом не бегать,—отвечает Коляда.—Деньги есть или добавить?—глянул он на меня испытующе, и я поразился, насколько его взгляд поверх очков, приспущенных на нос, трезв как стёклышко. Но ведь я своими ушами слышал, как его язык заплетался! Что за дьявольский театр? Я перевёл глаза на его товарищей: сидят с осоловелыми лицами, бормочут что-то невнятное.

—У меня хватит,—ответил я и посмотрел ему в глаза, проверяя устойчивость его взгляда.

Он ясно понял то, что понял я, и усмехнулся. «Да, я не пьян!—ответил его взгляд.—Я всего лишь развлекаюсь как могу…»

Ты встала следом за мной. Мы прошли в собственно мастерскую: там, не раздеваясь, уснула на лежанке утомлённая донельзя Алёна; там же, в ящике письменного стола, лежали наши деньги… Если бы здесь не было Алёны, я бы, конечно, взял Тебя с собой, но я лишь спокойно сказал Тебе:

—Ничего не бойся—я скоро…

Было около полуночи. Тогда можно было достать водку в полночь только в ресторане или у таксистов, и—вдвое дороже, чем днём в магазине. Но какой, к чёрту, здесь, на окраине, ресторан? Я пошёл на ближайший перекрёсток и уже через десять минут торговался с таксистом. Помявшись из осторожности, он вылез из машины, достал из багажника надорванную автокамеру и, глубоко запуская туда руку, извлёк из неё одну за другой три бутылки водки, тускло мерцающих при слабом свете уличных фонарей. Я взял одну, сорвал пробку и попробовал на вкус: слава Богу, настоящая. Расплатился, забрал товар и пошёл обратно.

За полчаса, что я отсутствовал, обстановка в мастерской изменилась—в ней было теперь полно молодых людей экзотической внешности, будто на карнавале: парни—со всклокоченными длинными волосами и юными бородками, в джинсовой рвани с заплатами, в вытянутых до колен свитерах, в сандалиях на босых нечистых ногах, девушки—в самодельных, грубой вязки или сшитых из цветных лоскутов, платьях и сарафанах, с крупными керамическими бусами и колокольцами на шеях. Однако все они вели себя сдержанно; лишь одна, некрасивая, но с яркими чёрными глазами, что сидела за столом рядом с Колядой, была развязна.

Я осмотрелся, ища Тебя; Ты, стоя над кухонной раковиной, чистила новую порцию картошки. На столе стояло несколько бутылок дешёвенького плодово-ягодного вина. Один из Колядиных приятелей, уронив голову на руки, спал за столом, другой лежал навзничь поперёк нашей кровати.

—О, сколько гостей!—воскликнул я, выставляя на стол водку.

—Браво!—потёр руки Коляда, оставив свою черноглазую соседку.—Это мои гости, студенты-художники. Видишь, как они меня любят?

На правах хозяина, велев остальным девицам искать на полках и тащить на стол всю имеющуюся посуду, он взялся откупоривать одну из бутылок водки, а я, ретировавшись, подошёл к Тебе и шепнул:

—Давай тихонько убираться отсюда.

—А Алёну?

—Унесу. Брось картошку, иди и собирай вещи.

Через три минуты мы были готовы: Ты с большой сумкой, я со спящей Алёной на руках—мы позорно бежали, бросив всё… Хотели выскользнуть незаметно, но зоркий Коляда зацепил нас взглядом:

—Куда ж на ночь-то?.. Ну да ладно. Извините, если что не так.

—Да нет, всё—так,—ответил я примирительно…

Павловские спали, когда мы к ним заявились. Безропотно, даже сердечно, насколько можно быть сердечными со сна после утомительного дня, встретили они нас, выслушали наш сбивчивый рассказ. Станислава, видя, как мы возбуждены, заварила успокаивающий травяной чай и, пока мы с Тобой и Борисом сидели на кухне, постелила нам постели.

Утром я поехал в мастерскую—разведать, что там делается и на сколько дней приехал Коляда, да прихватить кое-что из забытых вчера вещей.

Дверь с лестничной площадки в мастерскую была не только не закрыта—а распахнута настежь. В мастерской стоял кавардак не хуже того, какой мы с Тобой нашли вначале; но было тихо. Компания молодых людей исчезла, Колядины приятели, храпя, спали одетыми, в самых причудливых позах: один—на Алёниной кровати, другой—на нашей. Сам Коляда, лохматый и—с почерневшим лицом, сидел за столом и что-то писал в тетради.

—Доброе утро,—полушёпотом, чтоб не будить спящих, сказал я.

—Привет!—ответил Коляда, захлопывая тетрадь.—Проверить пришёл?

—Да нет, чего ж проверять? Ты приехал к себе домой.

Похоже, он не ложился—во всяком случае, места, где бы он мог прикорнуть, я не обнаружил. При этом голос его был совершенно трезв, будто он и не куролесил ночь напролёт. Передо мной сидел, сбивая меня с толку, совершенно иной человек: собранный и жёсткий. Я глядел ему в глаза, пытаясь угадать, где он настоящий: вчера или сегодня?—и ничего там не видел, они были непроницаемы.

—Я только пришёл узнать, сколько ты пробудешь,—ответил я.—Нам надо устроиться на это время.

—У меня много дел, но, думаю, в три дня закруглюсь. Не ругайте с Надеждой меня—уж такой я есть: трудный,—сказал он не без кокетства.—

Потом ещё через полгода появлюсь. Сейчас растолкаю их,—кивнул он на спящего,—да надо идти… Эй! Опохмелку принесли!—крикнул он и заговорщически мне подмигнул.

Приятель не шевельнулся, но храп прекратил.
—*Не спи, не спи, художник, не предавайся сну!*—презрительно хмыкнул он.—Ну, да угомонились только под утро. Сейчас разбужу, и пойдём дальше.
—Чай там, кофе есть. Картошку берите,—показал я в кухонный угол.

Коляда отмахнулся:
—Мы или едим, или пьём—всё вместе как-то не получается…

Я извинился и ушёл, оставляя его с приятелями и проблемами. Потом пришёл через три дня—он ещё был здесь, но не один, а с какой-то невзрачной бледной женщиной; они сидели возле одного из распахнутых сундуков, наполненного грудой тряпья, и вежливо спорили. Кругом на полу стояли ещё сундуки, а возле сундуков—штабеля икон.
—А, это ты?—без энтузиазма сказал Коляда, увидев меня.
—Не заперто, я и вошёл,—сказал я.
—А я ещё не уехал—дела. Посиди, я скоро. Ты мне поможешь.

Я прошёл в мастерскую. На полу намусорено, на подоконниках—окурки, пустые бутылки, чашки с недопитым чаем… На мольберте—наполовину записанный холст; вокруг на полу—пустые тюбики из-под краски; некоторые раздавлены ногами, и краски растеклись по полу. Чтобы не видеть этого свинства, я прошёл к окну и стал смотреть на улицу. Слышалось, как Коляда о чём-то упорно спорит с женщиной… Потом женщина ушла; Коляда позвал меня и стал объясняться:
—Это искусствоведша, Аннушка,—учились вместе. Хочу что поценнее сдать в музей. Поможешь увезти? Она меня ждать там будет.
—Да, конечно,—согласился я.

Он уже приготовил чемодан, большую картонную коробку и две хозяйственных сумки и стал наполнять их иконами и тряпьём, которое оказалось не чем иным, как старинной вышитой одеждой и полотенцами. Я помогал ему укладывать их в сумки.
—Ты хочешь сдать всё это в музей?—спросил я его.
—Ещё чего!—раздражённо ответил он, показывая кукиш в пространство.—Не сдать—а отдать на хранение. Грабить стали мастерские: иконы тащат и всякую старину. Боюсь,—посмотрел он на меня строго.
—А почему—не сдать, если всему этому место в музее?
—Чего их баловать, если они не хотят задницами шевелить? А я исходил всю область пешком, принёс всё это на своём горбу и знаю историю каждого полотенца, каждой иконы!
—Но разве плохо, если всё это увидят люди?
—Х-хэ, «л-лю-юди»!—презрительно фыркнул он.—Да пусть смотрят, если им интересно… Но меня, знаешь, греет, когда я знаю, что в музее—куча сотрудников с дипломами, сторожа, хранилища,—но вот этого у них нет, а у меня—есть!.. Потому что я слишком уважаю свой труд собирателя! И я, которого они считают придурком, буду им, этим курицам, вечным укором: чтоб знали, что не они владеют этим, а я, грешный!..

И уже когда с набитыми сумками, коробкой и чемоданом ехали с ним на такси в музей, добавил:
—В общем, завтра можете возвращаться—утром уеду. Возьму лишь несколько картин—выставка у меня там скоро…

Мы с Тобой вернулись не следующим вечером, а—чтобы уж наверняка—ещё через день. Ох и разгром же мы там застали—будто через мастерскую прошла армия Чингисхана! Зато на мольберте стояла свежая картина, а на столе—записка: «Холст на мольберте с неделю не трогайте—пусть высохнет»… Но разгром нас уже не пугал; засучили рукава и в течение суток опять привели мастерскую в жилой вид.

12.

До сих пор наши с Тобой отношения были спонтанными и свободными, и эта свобода мне нравилась. Почему мы не можем быть свободными всегда—ведь мы хотели ими быть?.. Но теперь мне нужно было оправдание брака, я его искал—и нашёл: да, я Тебя настолько люблю, что жертвую собственной свободой ради Твоего чувства защищённости; наша женитьба нужна окружающим, а раз так—получите её, только не троньте мою милую!..

И всё же от нашего решения до его исполнения прошло ещё много времени. Во всяком случае, сам я потратил на развод целое лето.

Сначала Ирина заявила, что не может найти брачного свидетельства.
—Хорошо,—сказал я,—приду и найду сам.
—Приходи, поищем вместе!—рассмеялась она; её смех обещал какой-то подвох.

Нет, я её не боялся: приходил иногда, забирал кое-какие вещи, книги, приносил деньги для сына,—но после того, как она оскорбила Тебя, приходить перестал. И сейчас понял: свидетельства она не отдаст,—а потому отправился в бюро загс, в котором когда-то *регистрировались*, взял копию и позвонил Ирине:
—Копия у меня уже есть; пойдём подавать заявления на развод.
—Подай один,—был ответ.
—У одного не принимают.
—У меня нет времени.
—Тогда подаю в суд.
—Хорошо, приду,—согласилась она.

И ещё дважды обещала и не приходила… Но наконец пришла, и мы подали заявления. Теперь надо было ждать решения.

У Тебя, знаю, были те же проблемы. А тут сентябрь начался, мы с Тобой вышли на работу, а Алёна пошла в школу, и Ты со всей серьёзностью стала вживаться в её школьную жизнь. А когда наконец Алёна благополучно вписалась в школьные будни, а сама Ты получила развод—ещё какое-то время мы с Тобой не решались на загс… Чего, казалось бы, колебаться—не впервой ведь?.. А потому и не решались, что не впервой,—вдруг появилось сомнение: а не нужно ли ещё какое-нибудь

испытание нашим отношениям?.. Впрочем, колебался, кажется, теперь лишь я — Ты всё решила окончательно и только посматривала на меня и ждала: когда же я наконец решусь?..

Но однажды не выдержала — спросила будто невзначай:

— Так мы идём или не идём?

И я понял: пора, — и мы пошли. Робко, как новички (в первый раз, помнится, я шёл куда бесшабашней), вступили мы в бюро ЗАГС. В просторном вестибюле прочли развешанные по стенам правила и выписки из законов. Потом сели, написали заявления, и нам назначили срок регистрации.

Ты так радовалась, когда мы отнесли заявления, что не просто ходила — а летала, взмахивая руками, как крыльями, или ни с того ни с сего начинала петь, или порывисто меня обнимала.

— Чем заслужил? — спрашивал я.

— Просто так — за то, что ты есть! — смеясь, отвечала Ты, и фраза звучала музыкально — будто строка из песни.

А помнишь, как Ты готовилась к замужеству?

Объявила, что уже купила ткань на платье, а показать отказалась: «Хочу, чтоб был сюрприз для тебя», — и ездила вечерами к Станиславе: у той была швейная машина, а сама Станислава имела склонность конструировать на досуге наряды, и вы что-то там фантазировали.

А однажды, проснувшись среди ночи, гляжу: Ты лежишь с открытыми глазами, и глаза Твои в темноте странно мерцают.

— Что с Тобой? — тревожно спросил я: показалось, Ты плачешь.

— Знаешь что? — отозвалась Ты, очнувшись от своих мыслей. — Купишь на регистрацию большой букет роз? Мне никто никогда не дарил много роз.

— Да, конечно, — ответил я, переворачиваясь на другой бок.

— А каких ты купишь? — не унималась Ты.

— Алых, — сказал я не задумываясь.

— Нет, — возразила Ты, — купи разных: алых, белых, розовых!

— Хорошо, куплю разных.

И уже сквозь сон слышу:

— А на свадьбу мы знаешь кого пригласим?

От слова «свадьба» я очнулся — всколыхнуло само слово: пахнуло из детства запахом мороза, заржали кони, взвизгнул под полозьями снег, зазвенели под дугами колокольцы, запестрели в глазах бумажные цветы, заструились на сбруях яркие ленты, расплылись в улыбках красные от мороза лица; ранние сумерки, на светлом небе — месяц, такой острый и золотой, каким был только там; с разных краёв села доносятся хрустальные россыпи гармошек вперемешку с собачьим лаем, а в ушах звенит от далёкого мальчишечьего крика: «Пацаны-ы-ы! У Петровых на свадьбе драка — айда смотре-еть!» — и мы не успевали, переведя дух от бега, наглазеться, как пьяно машутся мужики, разбивая друг другу в кровь лица, как звенел новый вопль: «Пацаны-ы-ы! У Киреевых дра-ака-а!»... Спать я уже не мог — а надо было выспаться: с утра лекции; тогда я навалился на Тебя и впился в губы, чтобы преградить поток Твоих мечтаний; мы боролись и всхохатывали, но Твоих губ я не выпускал; наконец Ты высвободила их и крикнула:

— Мы пригласим всех-всех, кто принял участие в нашей судьбе!

— Мгм! — согласился я. — Кстати, где мы её проведём?

— Как где? Здесь, конечно! — без тени сомнения ответила Ты.

— Может, лучше в кафе? — усомнился я. — Хлопот меньше.

— Хлопоты меня не пугают! — категорически ответила Ты. — Зато — представляешь? — это будет незабываемо! Я уже всё продумала: картины, свечи, — продолжала Ты мечтательно, с горящими глазами. — Не хочу делать из свадьбы гулянку — хочу, чтобы минимум гостей и чтобы всё — стильно! Я договорилась со Станиславой: они дадут посуду...

— А негра прислуживать не дадут?

— Смеёшься? — собралась обидеться Ты.

— Нет-нет, всё правильно, умница Ты моя! — тотчас загладил я усмешку, снова Тебя целуя. — Только можно, я приглашу ещё двоих?

— Кого?

— У меня старый товарищ есть, Илья, и жена его, Эля.

— Почему же я их не знаю?

— Когда мне хорошо, я о них забываю.

— Ты считаешь, тебе сейчас плохо? — тотчас сработала Твоя логика.

— Ну что Ты, милая! — кинулся я снова закрыть Твой рот поцелуем. — Слишком хорошо!.. И Ты пригласи ближайших подруг.

— У меня — только одна, и та очень-очень далеко...

Я тогда не стал рассказывать Тебе об Илье — пусть, думал, останется сюрпризом. Тем более не стал объяснять, что он не только не любит шумных компаний, а просто не умеет быть весёлым, пребывая в одном из двух состояний: задумчивости — или иронии над собою, мной и надо всем на свете; но теперь-то я могу рассказать о нём подробнее?

В студенчестве он искал ответы на свои вопросы на истфаке, и судьба свела нас на два года в одной *камере* общежития. Дружбы мы не водили — напротив, мы вечно вели словесные поединки, друг друга *подкалывая* (в этом был свой смысл: в поисках адекватных ответов на колючие шутки мы учились держать словесные удары). Однако — странное дело! — уйдя во взрослую жизнь, мы продолжали чувствовать потребность друг в друге и время от времени общались — правда, уже не так интенсивно: нас разводили работа, жёны с малышами, теснота семейного жилья... Не пойму: что нас связывало? И Илья то был — или всего лишь моё *альтер эго*, не только от меня отличное, но даже, наверное, мне противоположное, загнанное в личину этого смуглого, толстого, флегматичного, страшно рассудительного обитателя библиотек и читальных залов, «булки» и «человека в тапочках», как зло подтрунивали над ним сокурсники, кабинетной мыши, питающейся старыми книгами, потомственного горожанина,

мало знакомого с земными радостями, в отличие от меня, явившегося из деревни в город этаким Лихачом Кудрявичем с культом физической силы и внешней привлекательности, совершенно не подозревавшим, что ничего из этого для успешной городской жизни не нужно?.. Правда, со временем общение наше стало фрагментарным—на каких-нибудь семинарах или конференциях—и больше походило на продолжение одного и того же диалога. Будучи чуть старше и развитее, он мне немного покровительствовал, а теперь ещё и зудел: ленюсь, мол, не работаю над докторской… Я оправдывался ситуацией на кафедре, чем-то ещё…

—Какие вы всё-таки ленивые, ребята!—выговаривал он мне.—Вечно ищете себе оправданий…

В контексте наших пикировок упрёк в мою сторону был собирательным и слегка уязвлял.

—Но что-то же делаем и мы, судя по тому, как наша культура ещё скрипит,—отвечал я в пику ему.—Даже вам, ребята, хватает кормиться ею.

—Извини,—отвечал он на это,—но это культура дворянская; вы-то умудряетесь её только профукивать.

—Ну, за это ты не с меня, а со своего Маркса спрашивай,—отвечал я.

—А чего с него спрашивать? Он не Бог. Нет, ребята, не будете работать, как негры на плантациях,—заглотит вас, к чёрту, Азия: будете лишь оплодотворять собой чужие народы.

—Так может, в этом и есть наша кондовая идея?

—А ты думаешь, они вам за это спасибо скажут? Мы это уже делаем две тысячи лет, и что?..

Но отчего-то мне хотелось в этот раз потревожить тень нашего старого приятельства и вытащить их с Элей на свадьбу—позвонил ему и сказал, что приглашаю их на маленькое торжество по поводу регистрации брака, которое «имеет быть»… Он посопел в трубку и произнёс ленивым басом:

—Слушай, старик, я не понял. А Ирина?.. Может, посетишь нас да посвятишь в свои перемены?

—Раз зовёшь, приду,—ответил я.—Только предупреди Элю: никаких торжественных ужинов.

—Да уж как получится…

И вот я в их прихожей; они стоят напротив меня тесной парочкой. Пожимаю мягкую ладонь Ильи, тёплую, по контрасту с моей, ледяной с мороза, и целую Элю в щёку.

—Володя, мы не ужинали, ждём тебя,—предупреждает она.

—Зря—я же предупреждал,—говорю, раздеваясь.

—Я тебя сто лет не видала: нет-нет, сразу—за стол!..

И наконец, раздевшись, предстаю перед ними… Илья—всё тот же: тюленевидный, в очочках с тончайшей оправой на одутловатом, без морщин, лице; однако в смоляной его шевелюре прибавилось седины. И как всегда, светел от добродушия: ему так уютно в его громоздком теле—как в подушках… Но Эля! Давненько я её не видел и удивился: жилистая, резкая Эля, жгучие глаза и пламенные остроты которой и мне когда-то кружили голову,—тоже, под стать супругу, начала полнеть? Это что же, терпеливый Илья подмял порывистую Элю, и они теперь—как брат и сестра?—так что я умилился, увидев их в обнимку, таких дружных и домашних.

—Нет, от ужина не отвертишься,—смеётся Илья и тут же нас с Элей мирно разводит:—Давайте так: сначала мы с Володей уединяемся и беседуем, а потом… Часа нам хватит?

—Думаю, да,—соглашаюсь я.

—А потом мы в твоём, Эличка, распоряжении, и делай с нами что хочешь. Согласны?.. Тогда не будем терять время,—и он, взяв меня под руку, ведёт в свой кабинет, успев обернуться к Эле:—Только, Эличка, принеси нам по чашке чая и по рюмочке коньяка—Володе согреться…

И вот мы в его тесном от громоздких вещей кабинете: обширный письменный стол, туго набитые книгами и папками шкафы вдоль стен; на полу—кипы не поместившихся там папок; потёртый диванчик с *думкой;* рядом—торшер с тумбочкой; всё старенькое, однако ко всему этому хозяин так привык и так врос в это, что его отсюда не вырвать никакой силой… Мы садимся на диванчик; вместо столика Илья придвинул тумбочку.

Вошла Эля с подносом, привычно, без лишних слов поставила на тумбочку початую бутылку коньяка, две рюмки, две чашки, полные свежего чая, сахарницу и тихо удалилась, прикрыв за собой дверь.

Конечно же, я отдал должное этой отточенной годами Элиной вышколенности, которую Илья принимал как должное, благодушно кивнув ей:

—Спасибо, Эличка.

А я посмотрел ей вслед и чуть-чуть позавидовал Илье, тут же отметив для себя, что уют и благоденствие, в конечном счёте, создаются не вещами—отношениями…

А он плеснул в рюмки коньяку, поднял свою, коснулся моей, решительно предложил:

—Давай—за встречу!—пригубил, поставил, глотнул чаю, чашку тоже поставил и сказал:—Ну, рассказывай, что ты там натворил, сексуальный гигант.

—Да банальная история,—начал я.—С Ириной разладилось совсем. Пару месяцев жил в деревне, мотался на работу. Встретил женщину…

—Молодую, естественно?—подсказал не без ехидства Илья.

—Не в этом дело.

—Почему ж не в этом? В этом.

—Во всяком случае, не девочка: была замужем, с ребёнком. Началось шутя, переросло в такое, что… Решили, в общем…

Илья опять взялся за рюмку. Отхлебнул ещё, поставил и изрёк:

—Ох и дурак же ты, Вовка.

—Ну, вот и удостоился,—вздохнул я; со студенчества наши обращения друг к другу: «дурак», «балбес» и почище этих—норма; но сейчас я

обиделся:—Как ты можешь говорить, ничего не зная, не видя?
—Почему ж не видя-то? Это ты ничего не видишь, таскаясь по городу с подругой, а я на вас уже насмотрелся.
—Извини, зрение ослабело, тоже пора очки выписывать… Ну и как?
—Можно не отвечать? Ты такой обидчивый стал.
—Да говори, чего уж там.
—По-моему, вы очень разные.
—Так ведь все разные. Какие разные были вы с Элей!
—Но, наверное, всё-таки было больше общего. Зачем Ирину-то бросать?
—Устал.
—Поэтому надо скорей сменить партнёршу? Ты что, на танцах? Или на рынке: мне вон то, посвежее и подешевле?..
—Но ведь жизнь, Илья, такая уникальная вещь…
—Да кой чёрт уникальная!—скривился он.—Уникальной её ещё сделать надо. Вот придёт пора предстать перед Богом—или перед кем там ещё? да хотя бы и перед собой—и отчитаться; что ты предъявишь? Со сколькими бабами переспал? Представляешь бессмысленность ситуации?
—Но самореализоваться-то я имею право?
—Самореализацию ты понимаешь как самореализацию *пениса*?
—Ну что ты всё упрощаешь? Разумеется, под ней я понимаю не девиц, не вагон водки, не километры разговоров, а то, что предстоит сделать и пережить мне и только мне,—но не могу я больше с Ириной: всё кончилось!
—Что «всё»? Постель, что ли? «Всё» не может кончиться никогда. А если кончилось—поблагодари судьбу, садись и работай.
—Нет, ты меня не понимаешь…
—Да чего тут не понять? Это так же просто, как два пальца *обоссать*, как говорят мужики… Смотрел я на твою подругу и, может, даже завидовал. Но… это, Вовка, не твоя половина. Она тебя топить станет, а потом бросит. Ты извини, но её же удовлетворять надо!
—Я её удовлетворяю. У нас полная гармония.
—А когда не сможешь?
—Хотя бы останусь благодарным за то, что было.
—Как вы хоть общаетесь-то? По-моему, она не очень образована.
—Да разве в таких вещах вербальный язык существен?
—Но ты же знаешь закон выравнивания интеллектов! Не боишься, что твой индекс вниз пойдёт?
—Не боюсь. Я чувствую себя Пигмалионом. Пусть это будет мой главный экзамен на профпригодность—но это такая подзарядка!
—Х-ха, Пигмалион!.. Ну смотри, я сказал. Да ведь тебе кабинет нужен, библиотека, стол, стул. В вечной интеллигентской дилемме: свобода—или комфорт?—увы, интеллигент вынужден выбирать второе.
—Но не могу я больше с Ириной!
—Ты думаешь, у нас с Элькой всё было гладко? Это теперь мы сладкая парочка. Семья, брат, это труд и терпение.
—Да на кой чёрт мне это терпение, когда—без радости!..
—Тебе нужна радость, а терпение и труд ты оставляешь женщине?.. Извини, но семейные драмы—это драмы пустых людей: живёшь с одной, а хочешь другую; всё кажется, что с другой—упущенные возможности, счастье, рай. Чушь это! Ты думаешь, если я толстый, ко мне не липнут? По мне вздыхают студентки, лезут с объяснениями. Конечно, это—как кислородный коктейль, и я благодарен им за их очаровательную глупость, но сам-то я не настолько туп, чтоб принимать это всерьёз… Что у тебя с докторской?
—Делаю.
—А идеи?
—Есть.
—И то хорошо. А то у иных задора через край, а идей—пустой нуль.
—Кстати, а у тебя как?
—Ты же знаешь: мне с моей пятой графой покрутиться пришлось; сделал господам начальникам парочку кандидатских, но карт-бланш заработал. А тебе-то что мешает? Я бы вообще запретил любящим людям жениться: всё в секс уйдёт—как в прорву.
—Ну ты и Савонарола!
—Так на то нам и разум; тело способно лишь слизь выделять: слёзы, слюни, сперму… Выдави ты из себя эту влюблённость, как классик предлагал выдавливать раба,—это же, Володя, унижает.
—Меня—нисколько.
—Ну, невтерпёж—так возьми проститутку на час, дешевле станет.
—Мне—легче уйти, чем обманывать.
—В этих делах, Вовик, мужик имеет право на обман. Помнится, кто-то даже сказал, что на войне и в любви все средства хороши.
—Это, Илюха, циник сказал. Даже на войне есть правила, а в любви и подавно. Я тебе не говорил… Ирина мне изменяла.
—А думаешь, Эльвира мне не изменяла?
—Эля?—удивился я.
—Да. Как видишь, пережил. По-моему, женщина изменяет мужу—любимому, хочу заметить, мужу—чтобы проверить: выдержит или нет? Выдержит—значит, стоит быть с ним, а нет—так бежать, пока годы в запасе, да приискать мужичка понадёжнее.
—И что, у тебя—ни ревности, ни обиды?
—Обиды? А что тут обидного, если мою жену обслужили, пока я занят? Пусть ей будет в нашей бесцветной жизни хоть какое-то разнообразие. Положим, я бы даже поблагодарил человека за услугу, если б только он был достоин благодарности, а то ведь у этих недоумков соблазнить женщину—цель жизни, иначе у него жизнь, видите ли, не удалась… Конечно, секс—*милое скотство*, но мы-то с тобой знаем, что удовольствие от работы нейронов—посильнее будет. Слава Богу, недоумкам это незнакомо… Надо быть аристократичнее, Володя,—прощать женщинам их слабости.
—Да какие мы, к чёрту, аристократы!
—А почему такая самооценка? Это ведь как себя поставить: и богач может себя *сявкой* чувствовать,

и босяк—аристократом. Счёт обидам—это, брат, черта плебейская.
— Да просто у нас с тобой темпераменты разные.
— А суть? Кто ж в наше время да в нашем возрасте живёт по любви?
— Стало быть, я—последний влюблённый.
— Извини, но ты не последний—ты просто глупый влюблённый. А глупцам, как и влюблённым, никогда не было переводу. Но в двадцать лет это простительно, а в сорок, извини, уже смешно.
— Как ты всё умеешь разъять на части!—ядовито заметил я.—Но кое-что, Илья, раскладке не поддаётся. Может быть, тебе этого не понять?
— Не обижайся. Может, я тебя всего лишь на стойкость проверяю? Не чужие ведь—столько водки вместе выпито!
— Да нет, Илья,—какие обиды!.. Так что, не придёте?
— Ну почему же? Я приду, а за Элю не отвечаю: может, у неё чувство солидарности с Ириной? Приглашай сам,—Илья встал, распахнул дверь и громко крикнул:—Эля, мы тут кончили разборки! Ужин готов?.. Ну, идём, бедный влюблённый, ужинать…

13.

Перед регистрацией чуть не сорвалось с букетом…

Вот чему я никогда не мог научиться—так это предусмотрительности; да ведь розы—не сено, загодя не заготовишь. Я занялся ими в четверг, за сутки до заветной пятницы (учитывая усугубляющее обстоятельство: декабрьские морозы), причём—только к вечеру: отправился сначала на рынок, потом обошёл несколько цветочных магазинчиков—нигде! Не обещали и на утро. Я помнил, насколько они для Тебя важны—ведь ничего больше Ты не просила: ни драгоценностей, ни особенных нарядов—только их…

Но где их взять? Не может быть, чтобы во всём городе не было роз для моей невесты! Но как до них добраться?.. И я помчался не куда-нибудь, а к нашим вечным спасителям, Павловским, хотя бы за советом—у них полгорода знакомых: может, что-то придумают?

Я заявился к ним в семь вечера; они уже были дома; Борис только что выгулял Топа, Станислава готовила ужин и собиралась к нам—помочь Тебе с завтрашним свадебным обедом. Я выложил перед ними свою проблему и был, видно, настолько расстроен, что они тут же включились—стали напрягаться: как помочь?
— Станя,—сказал наконец Борис,—а вот та женщина, которой ты помогала какой-то научный труд издать?
— Какая?—спросила Станислава.—Я знаешь скольким помогала!
— Из сельхозинститута. Она ещё шикарный букет тебе потом привезла, а ты сказала: «Зачем такой дорогой?»—а она сказала…
— Стоп, вспомнила!—воскликнула Станислава.—Анна Ивановна. Ой, как давно это было!.. Точно: она сказала, что он ей ничего не стоил—они выращивают их у себя в хозяйстве. Может, ничего этого давно уже и нет?..

Между тем она вытащила из тумбы стола груду старых записных книжек и стала в них рыться. Нашла нужную запись и тут же принялась названивать. Дозвонилась. Причём врала по телефону напропалую: будто бы ей самой сию минуту понадобился букет роз. Потом положила трубку на аппарат и полушёпотом, боясь спугнуть удачу, заговорщически объяснила:
— Минут через двадцать просила перезвонить.

Подождали, поглядывая на часы. И когда Станислава перезвонила, то уже почти ничего сама не говорила, а только слушала и что-то записывала. А когда положила трубку—сказала:
— Это надо прямо сейчас. Боря, как у тебя с машиной?
— А утром нельзя?—спросил он на всякий случай.
— Нельзя: кто-то утром должен приехать и всё забрать. Сейчас поедете к Анне Ивановне домой—вот её адрес,—Станислава подала листок.—Потом с ней—в оранжерею. Это за городом, в подсобном хозяйстве. Она сама должна посмотреть и отобрать. Потом привезёте её домой.
— А ты как?—спросил Борис.—Ты же к Надежде собиралась?
— На такси уеду. Не теряйте время…

Удивительно, но этот хитроумный план удался: нашли мы и Анну Ивановну, грузную, предпенсионного возраста, добрейшую женщину, умеющую войти в чужое положение и выручить совершенно незнакомых людей, и возили её в так называемое подсобное хозяйство на окраине.

Когда мы туда приехали, никакой оранжереи я, сколько ни вглядывался в темноту вокруг, не видел; был большой двор, засыпанный снегом и заставленный сельхозмашинами и кирпичными не то сараями, не то гаражами; а за двором—лишь едва видные в темноте заснеженные сады и поля.

В сопровождении сторожа мы открыли тяжёлую дверь большого кирпичного сарая, прошли через тёмный тамбур, попали в какое-то хорошо освещённое помещение, расступились и замерли.

Да, зрелище стоило того, чтоб остановиться и замереть: в призрачно-белом после морозной темноты ярчайшем свете под мощными лампами с рефлекторами, нежась под этим светом, цвели розы. Они росли в ящиках, стоявших рядами на бетонном полу; кусты не были пышными, но цвели обильно: на каждом—по два-три цветка да по несколько остроклювых тугих бутонов. При искусственном свете зелень была пронзительной, а сами цветы, алые, белые, розовые, кремовые, сияли чистотой и яркостью расцветок. В неподвижном воздухе стоял сильный цветочный аромат. Наверное, там росли и другие растения, но, кроме роз, я уже ничего не видел.
— Вот наша оранжерея,—буднично произнесла Анна Ивановна.
— Какое чудо!—сказал я.
— Да,—кивнула она.—Как побываю здесь, так молодею.
— Чьё же это богатство?
— Наше, институтское,—ответила она, сняв при этом висевшие на стене ножницы, и пошла

к кустам.—И сами производим опыты,—продолжала она, проходя меж кустов и выбирая цветы,—и студентов учим. Они охотнее занимаются, когда под руками цветы, а не морковка с капустой… Станислава Донатовна просила штук пятнадцать—так?
—Да, да!—с радостью согласился я.
—Больше не смогу. Просили оставить на завтра.
—Только можно—разного цвета?
—Да, конечно,—ответила она, выбирая цветы.
Она сама завернула букет в газеты, кипа которых лежала в углу.
—Сколько это стоит?—осведомился я у неё.
—Нисколько. Это же для Станиславы Донатовны!..
Когда отвозили Анну Ивановну домой, я сидел на заднем сиденье, держа в руках драгоценный сверток, дышал на него—в машине, несмотря на печку, было прохладно—и чувствовал их аромат даже сквозь газеты; при этом мы наперебой с Борисом не уставали от имени Станиславы благодарить Анну Ивановну за роскошную услугу… А отвёзши её, помчались в мастерскую. Вечер был морозный, город опустел, словно ночью, так что ничто не мешало Борису гнать машину.
Когда мы появились на пороге, вы со Станиславой хлопотали у плиты; в комнате витали густые запахи жареного и печёного. Алёна спала. Я развернул газеты и придирчиво осмотрел букет: не прихватило ли морозом? Ты подошла, и я протянул его Тебе, добавив, что хотел бы вручить его не сегодня, в этих будничных хлопотах,—а только завтра. Ты взяла его, понюхала, шумно вдохнув носом, и подняла глаза; они сияли.
—Ах, какое спасибо вам!—сказала Ты нам, всем троим, но взглядом—я видел—Ты благодарила меня. И поставила затем букет в напольную вазу.
—Может, лучше подержать в холодильнике?—спросил я, боясь, что завтра букет будет несвежим,—но Ты запротестовала:
—Нет-нет, пусть стоят—завтра, милый, наступит уже через час!

Итак, с розами определились. Что дальше?
Станислава, человек твёрдый в своей последовательности, вся в пылу кухонной готовки, напомнила Тебе, что у вас по плану кое-что ещё не сделано. Я стал возражать:
—Сам помогу Наде. Вам надо ехать домой, отдыхать.
Я видел, что Борис утомлён. И Ты, поняв меня, энергично меня поддержала. Попили вместе чаю, я помог Станиславе одеться, Ты насовала им целый пакет чего-то съестного. Борис спросил, надо ли везти нас завтра в загс? Я решительно ответил, что закажу такси: завтра они со Станиславой для нас—лишь свидетели и дорогие гости. Горячо поблагодарили их за всё и проводили. А только дверь захлопнулась—Ты кинулась мне на шею:
—Милый, как я тебе благодарна за розы! Пусть они завтра вянут—ты же достал их не для всех, а для меня, правда? Ведь завтра уже наступило?.. Давай устроим праздник прямо сейчас!
И, восхищённый Твоим неутомимым желанием делать праздники из всего, я, конечно же, согласился.
Ты тотчас всё убрала со стола, принесла и постелила скатерть и поставила рядом со столом напольную вазу с розами.
—Я сейчас переоденусь,—сказала Ты.—И ты тоже… А впрочем, не надо, сиди, ты устал, а я переоденусь—для тебя! Только открой вино.
—Может, шампанское?
—Нет,—благоразумно ответила Ты,—шампанское будем пить со всеми—самое простое открой, какое есть. По бокалу, чуть-чуть!
Ты метнулась в соседнюю комнату, успела, пока я возился с бутылкой и доставал бокалы, переодеться и вышла ко мне уже причёсанной, с тронутыми помадой губами, в туфлях на высоких каблуках и—в новом платье.
Платье было светло-жёлтое, приталенное, без единой складочки облегавшее Тебя. А из украшений—только нитка медового цвета янтарных бус, подаренных мной Тебе в день рождения.
—Вот!—развела Ты руками, смущённо отдавая себя на мой суд.
Очень простой наряд. Это его Ты с такой секретностью готовила к свадьбе? Я ожидал вычурности, экстравагантности… Но почему—жёлтое?—с секунду думал я, и вдруг дошло: да, конечно же, это и есть Твой истинный образ—образ тепла и света, исходящих от Тебя! Умница моя!
Я протянул руки, взял Твои руки в свои и сказал:
—Здравствуй, моя невеста!
И последнее, что Ты сделала, прежде чем сесть,—коротко срезала две алых, наиболее распустившихся розы.
—Милый, эти всё равно завтра отцветут. Ты позволишь?
И одну прикрепила себе на грудь, а вторую воткнула в волосы. И Твой наряд сразу преобразился в истинно праздничный: как удивительно вспыхнула на жёлтом и засветилась фонариком алая роза и какой яркой зеленью заблистал рядом с цветком лист на коротком стебельке!.. Мы сидели друг против друга, чокались, пили вино и несли вздор.
—Представляешь?—лепетала Ты.—Уже сегодня я буду твоей женой!
—Милая, за что Ты меня так любишь?—спрашивал я.
—Потому что ты умный и добрый,—вполне серьёзно отвечала Ты.
—Таких, как я, знаешь сколько?
—Нет!—качала Ты головой.—Таких больше нет!
—А помнишь наш уговор?
—Какой?
—О том, что мы свободны друг перед другом.
—Конечно, свободны!—Ты взяла мою руку и крепко сжала: свободны-то, дескать, свободны, но я тебя теперь никуда не отпущу!..
—Если любовь кончится и Ты захочешь уйти—знай: Ты свободна,—продолжал между тем я.—Есть плохой афоризм: супружество—смерть любви. Но не хочу смерти; пусть бумажка, которую нам завтра дадут, ничего для нас не изменит…
Однако Ты, кажется, уже ничего не слышала; главным была не эта болтовня—а наши устремлённые друг на друга глаза и наши руки; я уже

нетерпеливо тянулся к Тебе, а Ты меня успокаивала:

— Не торопись, милый,—мне так уютно под твоим взглядом! Посидим ещё—у нас много лет впереди; мы всё успеем…

А потом—ночь бдения с Тобой и Твоя нежность во всём: в касаниях, в голосе, в желании всю себя распахнуть и впустить меня внутрь. Одно было мне грустно: почему я не знал такого раньше? Столько лет прошло пустоцветом!.. А затем—сон и Твой—наяву или во сне?—шёпот:

— Милый, я и не знала, как это здорово—ты сделал меня женщиной!

— После семи-то лет замужества?—смеялся я, уже полусонный.

— Это было, как… как обязательная работа.

— А зачем выходила?—бормотал я.

— Надо было за кого-то—я ж не знала! Прости, милый!

— Я боюсь, что немолодой уже…

— Милый, ты сильный, ты могучий—как дуб!

— Хочешь сказать, отдаю чем-то дубовым?

— Да, мой дубово-ясеневый, мой сосново-солнечный… Милый, люби меня! Когда ты меня любишь, я изнемогаю от счастья!

— Я люблю Тебя, милая, но я же не могу показывать это ежечасно!

— А ты показывай! Тогда я кажусь себе красивой, сильной, достойной любви! Когда ты не показываешь, я перестаю в себя верить, я кажусь себе несчастной уродиной—как в детстве!..

14.

Однако ж после «предновобрачной» бурной ночи (всё у нас получалось по весьма прихотливой экспоненте) встали мы на удивление бодрыми. Пока Ты готовила завтрак, я оделся и пошёл к таксофону на углу—заказать такси, совсем забыв в этой кутерьме, что заказы на такси из автомата не принимают, и вернулся расстроенный, жалуясь Тебе на наудачу.

— Не хотят принимать заказ?—успокоила Ты меня.—Так пусть им будет хуже—сядем в первую попавшуюся и поедем!

— Но из таксопарка посылают для свадеб новые!

— Милый, неужели мы с тобой не выше этого? Пусть новые останутся тем, для кого счастье—в этом! Не забивай себе голову—давай завтракать!..

А после завтрака уже надо было поторапливаться: мы ещё обещали заехать за Павловскими. Ты начала собираться, а я оделся и пошёл искать машину. И тут же нашёл. То были демократичные «жигули»—и почти новые. Водитель, приветливый человек моего возраста, готов был за умеренную плату ехать хоть на край света. Ты уже ждала; укутали с Тобой наши терпеливые розы в бумагу, вышли и помчались к Павловским.

А там застали одну Станиславу: Бориса срочно вызвали на работу; однако к шести, на свадебный обед, он обещал быть. Ну да ладно; решили, что с таким делом, как регистрация, управимся и втроём.

А про сам обряд что рассказывать? Тем более что наш с Тобой случай ничем не выбивался из стандарта—всё прошло своим чередом: распахнулись двери; марш Мендельсона, ковровая дорожка, напутственные фразы… И надо ли рассказывать, как сияли Твои глаза и как Ты нетерпеливо сжимала мой локоть, пока мы стояли перед серьёзной дамой, служительницей ритуала, так что мне пришлось крепче прижать Твою руку: казалось, Ты не выдержишь серьёзности момента и примешься прямо тут, на ковровой дорожке, так прыгать, что взовьёшься в воздух, и нам придётся Тебя ловить… Но всё окончилось благополучно; нас поздравила Станислава, и мы поехали обратно, уже дорогой решив ещё покататься по городу.

Водитель болтал со Станиславой, сидевшей на переднем сиденье. От нечего делать и, наверное, чтоб подбодрить его и не мешать нам, она вовсю кокетничала с ним, и он, человек простой, принимавший всё буквально, тут же начал наглеть, делать ей сальные намёки и набиваться на наш обед,—так что ей пришлось выбираться из положения самой, тактично ставя его на место, потому что мы с Тобой, сидя сзади, совершенно не вмешивались в то, что делалось впереди,—мы слишком были заняты друг другом: я держал Твою свободную руку в своих, мы безотчётно улыбались, и я явственно чувствовал, что мы теперь не только единая плоть, но и единая душа… Неужели, чтобы почувствовать это, нужна чуточка официоза?

Ровно в шесть всё было готово к приёму гостей: посреди мастерской, в окружении лучших Колядиных картин, стоял широко раздвинутый стол, накрытый белоснежной скатертью и сияющий хрусталём и фарфором; среди роз и не зажжённых пока свечей стояли бутылки с шампанским, винами и водкой, водой и напитками и громоздились блюда с закусками; жаркое и ещё что-то там дозревало на плите и в духовке.

Мы с Тобой сами разрисовали и разослали затейливые приглашения, причём наметили пригласить всего четыре пары: Павловских, Артёма, Арнольда и Илью—всех с жёнами. Не то что мы зажиливали масштабное застолье—просто я полностью с Тобой согласился отступить от традиционного свадебного многолюдья; хотелось, в самом деле, чего-то торжественного, с достоинством и без галдежа: ужин должен стать прообразом нашего с Тобой будущего, организованного и спокойного. И потом, с нами ведь была Алёна: не потому, что её некуда было сбагрить,—просто мы не собирались таить от неё нашу жизнь, и не хотелось, чтоб нам было перед ней стыдно; да и пора, в самом деле, давать ей уроки приёма гостей.

Но всё пошло своим чередом, выбиваясь из нашего плана. Ровно в шесть—ни единого гостя, не считая Станиславы. Ты даже начала паниковать: а вдруг никто не придёт?—так что я стал Тебя успокаивать: мы своё дело сделали; подождём немного, сядем втроём и начнём—счастье ведь не с гостями приходит!.. Ты кивала и улыбалась, но я-то видел, что внутренне Ты не соглашалась—Тебе не терпелось разделить его с остальными.

В начале седьмого заявился Борис: в одной руке—бумажный свёрток, в другой—большая тяжёлая коробка.

— Всем привет и поздравления! — бодро сказал он.
— Наконец-то, а то я уже волноваться начала! — кинулась к нему Станислава. — Всё купил?
— Обижаешь, мать! — ответил он ей, раздеваясь. — А где гости?
— Вы — наши первые гости, — ответил я, пожимая ему руку.

Ты расцеловала его; он развернул свёрток — то был тщательно завёрнутый букет алых гвоздик; он протянул его Тебе с краткой речью:
— Свершилось? Тогда совет вам да любовь — и вперёд! Главное — больше любви, чтоб грела вас, как атомный реактор, и чтобы всем вокруг от неё было жарко! А это, — он поднял коробку, — чтоб аккомпанементом вашему счастью была музыка.

Мы с ним отнесли коробку в зал и распаковали; то был музыкальный центр с колонками. Поставили его прямо на полу, а колонки разнесли по углам, тут же включили его, и мастерская наполнилась музыкой.

Следующим явился Артём, причём — один; жена его сказалась нездоровой. В подарок он принёс свой старый натюрморт «Вино и фрукты». Когда-то я выпрашивал его у него — мне он нравился, — так не отдал: «Слишком, — сказал тогда, — мне дорог…» А теперь я оценил его жертву по достоинству.
— Где же ваши гости? — тоже удивился он.
— Гостей будет немного. Ждём ещё две пары, — ответил я, а Станислава добавила с лёгким раздражением:
— Типично русское разгильдяйство. Будь я большим начальником, я бы велела раз в неделю сечь наших мужчин, чтобы выполняли хотя бы три вещи: держали слово, не ныли и не опаздывали!
— Больше всех досталось бы мне, — улыбнулся Артём. — Вечно ною и опаздываю… Вы знаете, я захватил с собой альбом: можно, я где-нибудь пока посижу и порисую? И не обращайте на меня внимания.
— Конечно! — согласились мы; он ушёл в зал, обнаружил там Алёну, познакомился с ней и тут же принялся её рисовать, а чтобы удержать возле себя — стал развлекать беседой, и Алёна, чуя в нём доброго, общительного человека, тотчас с ним подружилась.

Следующим явился Илья — и тоже без своей драгоценной Эли: недомогает, не может прийти, однако шлёт нам с Тобой самые наилучшие пожелания. Последовала сцена Твоего с ним знакомства.

У Тебя, склонной видеть дурную примету в том, что уже двое мужчин пришли на свадебный обед без жён, начало портиться настроение. Однако Илья держался молодцом: одетый в безупречную чёрную пару с белоснежной сорочкой и ярким галстуком, безупречно выбритый, причёсанный и благоухающий одеколоном, улыбающийся и галантный, вручивший Тебе роскошный букет снежно-белых хризантем, а нам обоим — оказавшийся весьма кстати набор хрустальных рюмок, бокалов и фужеров, — он-таки сумел Тебя очаровать, так что Ты — бедное женское тщеславие! — уже не представляла себе нашего обеда без его рокочущего баса и солидной комплекции, а главное — без его остроумных реплик. Молодец Илья — он был в ударе в тот вечер. Или уж так тщательно подготовился к нему?

А вскоре явился и Арнольд со своим семейством: женой и десятилетним сыном; помнишь, как мы обрадовались ему? — для нас он был живым напоминанием о первой встрече; я тряс ему руку, Ты расцеловала его в обе щеки. Он был всё тот же: сутуло-широкоплеч, добродушен, мешковат, с чёрной густой шевелюрой.

Жена его оказалась крепенькой невысокой блондинкой с копной светлых волос, с родинками на щеках, с тёмными живыми глазами, острым подбородком и остренькими скулами, придававшими её личику выражение сказочной лукавой лисички. Помня его рассказы о жене, я ожидал увидеть робкую провинциалку; да он и сам принялся демонстрировать нам, как он покровительствует ей, любит её и бережёт: говорил ей «Светик мой» и просил не обижать её. Однако робкой она отнюдь не выглядела: каждого откровенно рассмотрела, а нас с Тобой поздравила, произнеся ловко составленный спич.

Арнольд тоже вручил Тебе гвоздики, и ещё — с напутствием — гитару.
— Это — чтобы в трудную минуту Ты брала её в руки и веселила мужа. Ибо, — изрёк он, многозначительно подняв палец, — женщина создана на радость человеку!

На что Станислава не преминула едко заметить, что мужчина, кстати, тоже создан на радость человеку…

Мимоходом я ещё успел спросить: как у него дела с газетой? — и он ответил, удовлетворённо потирая руки:
— Раскручиваю — готовься: работы будет невпроворот!.. — но договорить не успел — помешали в этой кутерьме, и я подумал: расспрошу потом поподробней.

А сын их, Алёша, оказался очень похож на папу. Ты его приветила, повела знакомить с Алёной и велела ей его развлекать.

За неделю до свадьбы Ты рассказала мне, как к Тебе на работу заявилась некая «Томка», школьная подруга, с которой Ты давно не виделась; причём «Томка» эта явилась совсем не потому, что соскучилась, — а пришла обсудить ваши *бабские дела*: верные ли до неё дошли слухи, будто Ты развелась с мужем и снова выходишь замуж, а если это так — то как Ты посмотришь на то, что она, женщина одинокая, займётся Твоим прежним мужем на предмет *прибрать его к рукам, потому как мужик остался бесхозным*?
— И что же Ты ответила? — спросил я тогда.
— Милый, я ей сказала: «Делай что хочешь — меня это уже не касается…» Но — представляешь? — я проболталась, что в пятницу у нас с тобой регистрация!.. И где мы с тобой живём, она у меня тоже выпытала!
— А что в этом страшного?
— Она сказала, что придёт поздравить.
— Вот и прекрасно!
— А я не хочу её видеть, не хочу ничего брать из прошлой жизни! Она ждала, что я её приглашу,

а я соврала — сказала, у нас никого не будет. Но ведь притащится — из любопытства!
— Ну и пусть! — пожал я плечами. — Вина хватит на всех.
— Ах, милый, ты не знаешь!.. Она, как бы это сказать… не обременена правилами: возьмёт и сделает что-нибудь нехорошее!
— Ты у меня суеверная?
— Да, милый, я всего боюсь! Там, где я росла, так много злых и так мало добрых! Тебе это трудно понять…
— Не бойся, Ты же — со мной! — привёл я последний довод.

Во всяком случае, возможный визит «Томки» меня нисколько не обескуражил — меня больше беспокоило, как бы не нагрянул Коляда: вот бедствие-то будет! — а ведь он обещал в конце года нагрянуть снова.

Но после прихода Арнольдовой семьи никто пока не появлялся.

В семь в конце концов уселись за стол. Хлопнули пробки; наполнили бокалы шампанским, Станислава на правах *дружки* провозгласила в честь нашей свадьбы тост, в котором были и «идеальная пара», и «чистая, большая любовь, на какую способны только взрослые, серьёзные люди», и «ваш союз, этот роскошный цветок, который вырос на наших глазах»; тост поддержали возгласами «ура» и «горько»; мы с Тобой расцеловались, и все выпили и принялись закусывать, потому что все уже проголодались. И снова выпили, и заговорили разом…

Слегка захмелевший Арнольд подошёл к нам с Тобой со своим бокалом — чокнуться «персонально» на правах «зачинщика» нашего с Тобой союза, наговорил много любезностей и сочно чмокнул Тебя в щёку, а меня приятельски обнял и, дыша в ухо, горячечно зашептал:
— Слушай, Владимир, я не узнаю нашей Надежды: смотри, как расцвела! В хорошие руки попала — поздравляю…

Между тем ужин тёк своим чередом, когда раздался громкий стук в дверь; явно барабанили ногой.

«Коляда!» — ёкнуло моё сердце. Но во мне уже шумел лёгкий беспечный хмель — никакие гости были не страшны. Я дав Тебе знак остаться с гостями, пошёл открыть; однако Ты не удержалась — ринулась следом.

Я отворил дверь; вошли две женщины. В одной из них я почему-то сразу узнал «Томку» — то была рослая дама, громоздкая из-за тёплой шубы и пышной шапки из чернобурки; в руках она держала большую коробку.
— Вы — Тамара? — спросил я, улыбаясь.
— Я самая, — небрежно бросила она низким грудным контральто.

Вторую гостью, стоявшую позади, я рассмотреть пока не мог, но Ты, обменявшись с Тамарой коротким: «Привет!» — кинулась к той, второй, порывисто обняла её и стала тискать:
— Зойка! Откуда, каким ветром? Как я рада! — затем обернулась ко мне: — Это же Зоя, подруга детства, сто лет не виделись! — и снова — к ней: — Молодчина, что пришла! Раздевайтесь!
— Это вам от нас! — протянула Тамара Тебе коробку. — Осторожней — там чайный сервиз. Ну, Надька, ёксель-моксель, искать вас, да ещё в темноте — чистое наказание: весь квартал обшарили, чуть не в каждую квартиру ломились — не знает никто ни фига вашего художника!
— Прекрасно, что нашли! Спасибо, девочки! Самые лучшие подарки мне — вы сами!

Ты взялась помочь раздеться Зое, я — Тамаре; при этом, когда я приблизился к ней вплотную, то учуял крепкий винный запах, исходящий от неё: дамы явно успели *поддать*.

Между тем возбуждённая встречей Зоя непрерывно тараторила, торопясь «доложиться» Тебе:
— Я ж, когда юрфак закончила, — ни приличного, с красной *коркой*, диплома, ни блата, чтоб в городе зацепиться. Куда? В район! И поехала, как дура последняя. Приезжаю: глухомань, ни одного приличного мужика на предмет замужества. Пришлось брать судьбу в свои руки. Один там милицейский чин, смотрю, вроде ничего: деловой и из себя подходящий — но женатый! Жена — мокрая курица, дом, ребёнок, хозяйство, и сам от такой жизни попивает. Пришлось разводить да женить на себе. Скандал, конечно: у них у обоих родственников там — как грибов в грибной год; начали под меня копать. Пришлось перебраться в другой район — нам это быстро устроили. Начали всё сначала. Родила двух пацанов, уже три и четыре года, сидела дома, теперь работаю; поздравь: я — старший следователь, муж — зам. начальника милиции. Милиция в районе — царь и Бог, жить можно: свой дом, машина. В командировках бываю: надо же встряхнуться, пока молодая, верно? Приезжала в апреле, тебя не нашла. Дам телефон, адрес: может, в гости нагрянете? Места прекрасные, рыбалка и все прочие удовольствия!..

Теперь, когда женщины сняли шубы и шапки, можно было рассмотреть их внимательней; обе одинаково рослые и такие в то же время разные: Тамара — вальяжная, грудастая, яркая, тёмные пышные волосы, тёмные брови на широком лице, губы в тёмно-красной помаде и глаза в густых чёрных ресницах, которые как-то странно жмурились — как у сытой кошки; Зоя же, наоборот, тонка и жилиста, на длинном лице, обрамлённом рыжими кудряшками, — бледный лоб, тонкие, в ниточку, брови, зелёные холодные глаза, рот с тонкими губами, в котором — крупные белые зубы, и — впалые щёки, придающие ей вид голодной хищницы.

И одеты по-разному: Тамара — в отливающем, как фольга, платье из зелёной тафты, нисколько не скрадывающем полноты её тела, а Зоя — в вязаном сером платье, подчёркивающем её змеиную гибкость…

Ты повела подруг в ванную — привести себя в порядок, а я пошёл собирать гостей — никем не руководимые, они успели разбрестись по мастерской.

Наконец все снова за столом, теперь уже вместе с новыми гостьями, и наше скромное пиршество

пошло своим чередом; «старые» гости успели заморить червячка, и новые тосты только горячили и развязывали языки.

Арнольд, важно поднявшись, восхищался тем, какие мы с Тобой молодцы и как здорово, что живём нестандартно — в мастерской; Станислава, подхвативши, принялась рассказывать, какой мы эту мастерскую нашли и какую сделали уборку; когда ей не хватало живописных деталей в рассказе — Борис подсказывал…

Ты с юмором рассказала о первой нашей ночи здесь: о битве с крысами; потом взялась было продолжить о Колядином визите, но, взглянув на меня, осеклась, сообразив, что это будет неблагодарно по отношению к хозяину мастерской… А Илья умно затем говорил о любви созидательной, двигающей горы, и остерегал от любви разрушающей.

Артём, сидевший на дальнем краю стола, почти не пил и внимания к себе старался не привлекать, лишь изредка бросая шутливые реплики, и всё рисовал и рисовал в своём альбоме; сначала гостей смущало, когда он пристально вглядывался в того или иного, но к нему быстро привыкли; только когда разговор зашёл о Коляде, он встрепенулся и рассказал один из ходячих анекдотов о нём, чем весьма всех насмешил. Я предложил тост за Коляду, которому бы тоже полагалось тут быть, и тост мой поддержали.

Тамара с Зоей были явно смущены непривычной для них обстановкой: оживление, с которым они явились, пропало; сидя рядышком, они озирались то на гостей, то на картины вдоль стен, перешёптывались и не забывали прикладываться к винцу, которое им кто-то щедро подливал.

Тем временем Арнольд — от выпивки у него уже прилила к лицу кровь — стал рассказывать о нашем с Тобой знакомстве, которое произошло у него на глазах, и попросил Тебя спеть. Его поддержали; он взял подаренную им гитару: «С умыслом подарил — послушать тебя, Надежда, ещё!» — сам настроил её и подал Тебе. Ты не стала ломаться — взяла её и спела романс; потом — на бис. Затем снова был тост — теперь за Тебя. Тост поддержали и Твои осмелевшие подружки; выпитое наконец подействовало на них: высоко подняв бокалы, они закричали наперебой:

— За твоё, Надька, счастье! Мы тебя любим по-прежнему! — и осушили по бокалу, а я начал беспокоиться: слишком громко они кричали и слишком лихо пили…

К тому же Тамара добавила с визгливым надрывом:

— Давай, Надька, споём вместе, как когда-то! Иди сюда!

Ты пошла вместе с гитарой и села рядом с ними; вы о чём-то пошептались; Ты взяла несколько аккордов, и под Твой аккомпанемент вы взялись петь какую-то старинную протяжную песню:

> Ой, покатилася да ясна зоренька
> И упала до долу…

Начали в унисон, но подруги Твои решили перейти на два голоса и сбились на разнобой. Ты, не выказывая досады, перестала играть и взмахами руки попыталась сдержать ритм, так что следующий куплет — как «запечалилась девчоночка» — пропели слаженно, а на третьем, там, где «казаченька девчоночку провожал до дома», Твои подруги запели с дурашливыми ужимками, а потом и вовсе захохотали: песня напомнила им о чём-то; Ты же недовольно пробормотала: «А ну вас!» — вернулась на место и шепнула мне:

— Они пьяные — совсем распряглись.

Между тем Тамара заявила:

— А чего это мы всё сидим да разговариваем? Мы хотим танцевать!

В распорядке нашего ужина танцы не значились, но уже всё катилось само собой, помимо планов, — свадебный ужин плавно переходил в заурядную пирушку с танцульками. Мы с Тобой переглянулись; Ты пожала плечами; я предложил Борису с Арнольдом сдвинуть с середины зала стол, а сам пошёл и включил танцевальную музыку.

На первый танец я, естественно, пригласил Тебя; Борис с Арнольдом — из принципа, что ли, игнорируя наших весёлых гостий? — пригласили своих жён. Илья разговорился с Артёмом, продолжавшим рисовать. А обе Твои подружки продолжали сидеть на месте. Вот-те раз! — звали всех танцевать и остались на бобах!.. И когда танец кончился, Ты шепнула мне:

— Давай приглашай гостий, а мы со Станиславой пока приберём стол и сменим блюда.

На следующий танец я пригласил Тамару, Арнольд — Зою, Борис — Арнольдову жену Светлану. Илья продолжал болтать с уткнувшимся в свой альбом Артёмом, и оба уже ни на кого не обращали внимания.

Честно говоря, мне пришлось попотеть с Тамарой: тяжёлая и неподатливая, она никак не поспевала за ритмом танца; я замедлил темп, и мы просто топтались, еле двигая ногами; Тамару это устраивало; по-кошачьи щурясь, она жарко мне шептала:

— Вы, смотрю, хват: взяли и умыкнули нашу Надежду!

— Я тут ни при чём: так нами распорядилась судьба, — отшутился я.

— Да уж, ни при чём! — хмыкнула она. — Но имейте в виду: наша Надежда тоже не лыком шита — в классе она выделялась.

— Чем?

— Непонятно чем: ничего нет — а выделялась.

— Тех, кто выделяется, обычно не любят. Вы — тоже?

— Нет, мы её любили. Хотя она и отбила когда-то у меня жениха. Но я ей простила, — сыто щурясь, мурлыкала Тамара мне в ухо. — Наверное, и вас у вашей жены отбила? Она такая!

— Не угадали, — холодно ответил я ей. — Может, и у вас не так было?

— Может, может, — насмешливо мурлыкала Тамара…

Танец кончился, и я отделался от своей тяжеловесной партнёрши.

— Белый танец! — громко объявила Зоя, когда музыка заиграла снова, и продолжила танцевать с Арнольдом.

Меня же, шустро подбежав, пригласила Арнольдова жена Светлана. Она, по контрасту с Тамарой, была вёрткой и неутомимой, и танцевать с ней было бы удовольствием, если б только она молчала,—но она тотчас завела разговор, а поскольку говорила скороговоркой, на меня обрушился ливень слов. Сначала она рассказала, в каком её муж восторге от нас с Тобой и как много он ей про нас рассказывал. Я пытался умерить её похвалы—но она не слушала… Её внимание было занято ещё тем, что она зорко поглядывала на мужа, танцующего второй танец подряд с Зоей. При этом она продолжала без умолку тараторить, а поскольку была мала ростом—наклоняла мою голову к себе рукой; в этой нарочитости было желание обратить на себя внимание Арнольда, но тот, увлёкшись партнёршей и о чём-то без конца с ней болтая, ничего вокруг уже не видел.

А между тем Ты, сновавшая вместе со Станиславой между столом и кухней, чувствуя, что танец кончается, и не желая, чтобы гости вам мешали, объявила:

— Ещё потанцуйте, а потом—за стол!—подошла к музыкальному центру и вернула музыку танца на начало, так что танцоры продолжили его, не сбиваясь.

Светлана, поглядывая на танцующих мужа с Зоей всё беспокойнее, ядовито зашептала мне в ухо:

— Ох и стервозная баба—всё прижимается к нему! А этот дурачок и поплыл! Почему, интересно, у мужчин такой плохой вкус: чем женщина страшней—тем лучше?..

Честно говоря, я уже устал её слушать и, чтобы отвлечь, начал о чём-то говорить сам, да, видно, настолько преуспел, что на некоторое время она забыла о муже, а потом спохватилась, встала посреди танца и начала озираться. Я тоже оглянулся: Арнольда с Зоей среди танцующих не было.

— Ну, уж это слишком!—зло фыркнула Светлана и бросилась искать мужа. Я на всякий случай пошёл следом за ней.

Светлана прошла в переднюю комнату, заглянула в ванную, в уборную и вышла на лестницу. И тут, почти сразу, раздался душераздирающий вопль. Я метнулся туда; следом выскочила Ты вместе со Станиславой, а уж потом все остальные.

А увидели мы там вот что: Светлана держала Зою за волосы, наклонив её в три погибели, и изрыгала ругань:

— Ах ты, паскуда, я тебе покажу вешаться на чужого мужа—все твои волосёнки выдеру! А ты, потаскун,—обратилась она к мужу,—и рад, что эта дешёвка на тебе повисла?

Зоя в ужасно неловкой позе—с низко опущенной головой—стонала и беспорядочно махала вслепую руками, тоже стараясь достать до Светланиных волос. Арнольд, чтобы высвободить Зою, пытался разжать Светланины пальцы, уговаривая её:

— Светик, ну перестань, тебе померещилось—мы просто вышли вместе покурить. Подумаешь, чмокнула в щёку!

— Рассказывай! Будто у меня глаз нету, как вы тут!..—рычала Светлана, не разжимая пальцев, так что от их с Арнольдом борьбы за Зоины волосы Зоя взвизгивала.

Ты подошла и гневно обратилась к Светлане:

— Как вам не стыдно! Взрослые люди…

— А что вы мне-то—пусть ей будет стыдно!—огрызнулась Светлана, но Зоины волосы отпустила.

Та распрямилась, вся в слезах от боли и обиды, и тут же попыталась хлестнуть Светлану по лицу, но та ловко увернулась. Я кинулся к Зое и поймал её за руки, а Арнольд быстренько увёл жену в помещение. Тогда я отпустил Зоины руки, а Ты с гневом обратилась к ней:

— Знаешь что, Зойка? Мне такие гостьи не нужны! Уходи, и чтоб я тебя больше не видела!

Та презрительно фыркнула и повернулась к Тамаре:

— Ну их, Томка, в задницу, интеллигентов вшивых,—пошли, в самом деле, отсюда! Поедем к Николаю—у него там попроще!

— Прости, Наденька, что всё так получилось,—по-кошачьи щурясь, развела Тамара руками, но Зоя перебила её:

— Не унижайся, дура!

Они вошли в мастерскую, оделись, но прежде чем уйти, развязно взревели на пороге дуэтом: «Парней так много холостых, а я люблю женатого…»

Следом ушли и Арнольд со Светланой и сыном, причём, пока Арнольд, прощаясь с нами, расшаркивался и заверял, как нас любит, жена его стояла у двери букой, не проронив ни слова.

Потом засобирался Артём:

— Поеду, пока автобусы ходят.

Тихо улыбающийся, подарив «на добрую память» всем, в том числе и Арнольду со Светланой, по рисунку, изображавшему наше застолье, он был, несмотря на наши уговоры побыть ещё, мягко настойчив, попросил на него не сердиться, распрощался и ушёл. Следом откланялся и Илья, всё такой же галантный и рассыпающий феерию невинных острот. Было впечатление, что все спешно нас покидают.

Не бросили нас только Станислава с Борисом.

Алёна, оставшись без Алёши, с которым провела весь вечер, явно уставшая, раскапризничалась; на неё подействовала наша нервозность после сцены на лестнице. Ты увела её и уложила спать на нашей диван-кровати, немного побыла с ней, пока она не уснула, и вернулась к нам.

— А не хлопнуть ли нам ещё по рюмашке, чтоб всем чертям тошно стало?—предложил Борис, преувеличенно бодро потирая руки.—А то, я смотрю, мы протрезвели от такого виража!

И мы действительно снова сели за стол, уже вчетвером, и выпили, а потом повторили, стараясь быть весёлыми и не поминая об инциденте. Но веселье было надтреснутым—чувствовалась фальшь… Чтобы как-то перебить настроение, Павловские попросили Тебя спеть что-нибудь ещё.

Не то чтобы они никогда не слышали Твоего пения: летом, когда ездили на пикники и была большая компания, кто-нибудь обязательно брал гитару, и пели у костра и хором, и соло, и Ты иногда пела; но там, под открытым небом, среди

летней ночи, полной звуков, после пьяного ора туристских песен Твоё задушевное пение заметного успеха не имело.

Ты, с большим желанием самой забыть неприятную заминку, взяла гитару и стала петь. Но я чувствовал, как Ты стараешься — и не можешь поймать свою, тонкую, как паутинка, интонацию. А Ты продолжала: спела один романс, начала второй — и неожиданно, прямо посреди романса, рванув струны, уронила голову и заплакала навзрыд; на гитару ручьём хлынули слёзы. Я забрал у Тебя гитару, сел рядом, обнял и подал Тебе носовой платок; Ты, сморкаясь и всхлипывая, запричитала сквозь рыдания:

— Ну почему я такая невезучая? Это же мой, мой праздник — чего они припёрлись? Это моё прошлое тянется за мной, не отпускает меня!..

Я гладил Тебя по волосам, успокаивая; Борис вздыхал; Станислава выговаривала Тебе:

— Да мы все обвешаны прошлым, как новогодние ёлки — игрушками! Просто надо уметь носить его в себе с достоинством!..

Ты немного успокоилась, но общего минорного настроения преодолеть мы уже не могли. Пили чай, чтоб взбодриться, но не помогал и чай. Павловские засобирались домой… Мы пошли их проводить.

На улице стояла глухая ночь: ни души, ни машины кругом. Реденько в окнах домов мерцали огни… Еле-еле минут через двадцать поймали машину и усадили их, и когда они умчались — остались вдвоём, оглушённые тишиной. Обратно возвращаться не торопились — пошли прогуляться по ночной улице…

— Как обидно, — опять вспомнила Ты про подруг. — Взяли и испортили нам вечер! Милый, не сердись на меня! Я же ничего плохого не делала?

— Что Ты, милая, — как я могу на Тебя сердиться? За что?

— Знаешь, мне даже представить сейчас трудно: как я могла с ними дружить? Или сама была как они?.. Ведь они назло мне сегодня… Ещё когда заявились, чувствовала. Просто не хотела говорить — думала, обойдётся.

— Почему — назло? — не понял я.

— Потому что увидели меня счастливой и позавидовали. Как это грустно: прятать от других своё счастье!

— Давай-ка забудем о них! — предложил я и, чтобы прекратить этот разговор, обнял Тебя и расцеловал.

Как хорошо было на морозе чувствовать губами Твои ледяные щёки и горячие губы и вдыхать Твоё чуть пахнущее вином дыхание!

— Может, пойдём домой — да в постельку? — предложил я.

— Нет! — покачала Ты головой и, оглядевшись, вдруг озорно показала на детскую ледяную горку внутри двора: — Пойдём прокатимся, а? Сто лет не каталась, и как иду мимо — так хочется!

Мы побежали, взобрались на неё, встали на ледяной, отполированный детскими попками склон и покатились на ногах, но устоять не могли — повалились, съехали уже на спинах, и как только остановились — я навалился на Тебя и вновь впился в Твои губы. А Ты в это время глянула в небо, вскрикнула:

— Звезда! — и показала рукой вверх.

Я повернулся и тоже увидел среди звёзд в чёрном небе тонкий, тотчас потухший огненный росчерк.

— Давай смотреть, и как увидим падающую — загадывать желания, а? — предложила Ты. — И — кто первый увидит!

— Давай! — согласился я и тоже перевернулся на спину, держа Твою руку в своей.

Глянуть со стороны — так было, наверное, ещё то зрелище: двое взрослых людей лежат посреди города в морозную ночь на спинах и пялятся в небо. Но как я любил Тебя в такие мгновения — Твою непосредственность, Твои стремительные и непредсказуемые милые прихоти, Твоё умение забыть всё на свете за миг радости и счастья, умение превратиться в ребёнка и заразить этим превращением меня!.. Падающей звезды долго не было, и вдруг — будто кто невидимый провёл светящимся карандашом в чёрном небе тонкую, тотчас гаснущую черту, — и мы заорали, вскочивши на ноги и принявшись плясать и прыгать:

— Звезда! Я первый!

— Я первая, я успела загадать!

— И я успел!..

Нет, стоило жить и переносить бытовые невзгоды — хотя бы ради этих кратких, как блеск падающей звезды, мгновений счастья и необыкновенной радости от жизни…

Окончание следует

Анатолий Третьяков

Ночные страхи

История

Свеча горящая похожа на копьё:
Пронзая тьму, пылает наконечник!
И на бумаге чётко строчки вьёт
Гусиное перо — уж точно — вечные…
«Учись, мой сын…» Прекрасно назиданье!
И снова вьётся по листу строка:
«Ещё одно, последнее сказанье…»
У Пимена слегка дрожит рука.
И я опять испытываю трепет —
Хоть скоро два столетья позади.
Казалось бы, что Гришка мне Отрепьев?
А вот поди ж ты! Горячо в груди…
Пусть Пушкин был поэт, а не историк, —
Историю я по нему учу!
Вновь свет погас! Никто ни с кем не спорит,
Молчит экран!
И я зажёг свечу.

Дороги России

Мы в грязи застряли непролазной.
Дождь идёт, беспутицу создав.
Запасное колесо КАМАЗа
Дремлет, как свернувшийся удав.
Что КАМАЗ? Хоть столько в нём железа —
И немало лошадиных сил! —
Чуть не целый час он бесполезно
Эту грязь колёсами месил!
Да, в России жуткие дороги —
Воровством сей факт не объясним.
Но ведь всё же, так сказать, в итоге —
Ездили и ездим мы по ним!

Вечерние огороды

Мошкой закаты запорошены.
Дымком костров от речки тянет.
В зелёных капсулах горошины —
Как будто инопланетяне.
Вокруг — глаза цветов, прикрытые
Расцветок разных лепестками.
Картофелины зарытые
Растут, толкаются боками.
Подсолнух спит, склонивши голову.
Ни пчёл и ни шмелей не слышно.
Ночными ласточками голыми
Летучие мелькают мыши.
Луна плывёт по небу лилией.
В ногах щенок весёлый вертится.
Такая редкая идиллия,
Что даже мне в неё не верится.

Читая Пушкина

Что нас тревожит, что волнует?
Стремимся ли мы в жизнь иную?
Где идеалы? Где мечты?
Где «гений чистой красоты»?
Не посещает, к сожаленью,
Нас «дум высокое стремленье».
И уж давно не «рады мы
Проказам матушки зимы»…
И не сумеем, может быть,
Себя «в коня преобразить».
Все наши демоны ничтожны,
Все думы низки, чувства ложны!
Но что поделать? Жить хотим,
Как говорится, днём одним…
Нет «упоения в бою
И мрачной бездны на краю».
Для нас безмолвны «лес и дол»…
И вряд ли кто из нас дождётся,
«Когда божественный глагол
До слуха чуткого коснётся»…

Деревенский вечер

Снова улица темна…
Голос женщины уставшей:
«Где тя черти носят, Пашка?» —
Раздаётся из окна.

Вот на стуле кот сидит —
Очень пёстрый и пушистый.
Пью неспешно чай остывший.
Взглядом кот за мной следит.

Наплывает тихо грусть —
Ничего-то здесь не ново:
Во дворе вздохнёт корова,
Гоготнёт спросонья гусь.

Я гашу ненужный свет.
На крыльце курю в потёмках.
Тут же кот лежит в сторонке —
От него спасенья нет!

В будке дремлет пёс Трезор.
Кот мурлычет еле слышно.
Вон луна встаёт над крышей,
Заливая светом двор.

На крыльце сижу, как царь!
Жаль, что рядом нет царицы…
Мать опять на Пашку злится:
«Где ты блудишь? Весь в отца!»

Святки

Под снегом дремлют тополя.
Снежинка на ладонь садится.
И кажется, что и Земля
В Луну, как в зеркало, глядится.

Гадают вновь под Новый год
(по стилю старому—всё реже).
Знать, интерес уже не тот…
Но мысли тайные всё те же.

Коварны нынче женихи—
Ты на него гадай хоть сутки!
Он выйдет из воды сухим,
Ему гаданья—предрассудки.

Моя волнуется душа,
Хоть годы быстро пролетели.
А ночь на диво хороша.
Кому б явиться, в самом деле?

Гроссмейстер

Старик одинокий
Над шахматной дремлет доской.
В закрытые окна
Не вторгнется шум городской.
Совсем не напрасно
Закрыты все щели в окне.
Как прежде, прекрасно
Гроссмейстер играет во сне…
Но маты и шахи
Не радуют больше его!
Он век, кроме шахмат,
Не знал никогда ничего.
С лавровых венков
Осыпается звёздная пыль…
Но так бестолков
Он, забытый усталый бобыль.
А был знаменитость!
И слава была—как сестра.
Гроссмейстер, проснитесь!
Окончена ваша игра…

Ночные страхи

В заливчике застыла тишина.
И время никуда здесь не торопится.
И, отражаясь, светится луна—
Так схожая с лицом утопленницы…
И мёртвым светом даль озарена.
Ель молодая, как монашка, в чёрном.
Не филин ухает—сам Сатана!
И в омуте—топляк с рогами чёрта.
Зайду в чащобу—и начнут хватать
Не ветви, а как будто руки чьи-то…
Листком осины—сердце трепетать
Начнёт!
Как будто страх давно просчитан!
Как бы дожить до третьих петухов?
Но их в тайге, как всем известно, нету.
И не отпустят здесь моих грехов—
Дожить бы, дотянуть бы до рассвета!
А солнца луч—он будет как сигнал:
Исчезла нечисть,
Ухнув напоследок…
Ночные страхи на меня нагнал
Проснувшийся во мне
Косматый предок!

Свет мелькает:
То там, то здесь он.
До утра ещё далеко.
И как пёрышко—полумесяц
Над перинами облаков.
Появляется снова облик твой,
Он меняется, как в кино.
Хорошо бы уснуть на облаке—
Только этого не дано.
Никакого покоя и отдыха.
О былом вздыхаю, скорбя.
Словно мне не хватает воздуха,
А вернее всего—тебя!

Александр Цыганков

Лирический фантом

Крепче меди

Новый бронзовый век. Время — как поле боя.
Тени краснеют. Люди — вылитые скульптуры!
В маске, о двух крылах, смотрит в судьбу героя
Фурия со страниц новой литературы.
Сколько ещё огня в сплаве свинца и меди
Выставит ночь на стол для красоты и вида?
Радуют сытый глаз цезари и медведи
Тем, что уже вросли в зеркало Парменида.

Где-то, в одной стране: море — примета пляжа.
Словом, всё ясно, всё — как в заказной картине.
Ну, а в другом краю — берег без антуража,
Только сирены вой — в сотовой паутине.
Вот отгремит война… Прокляты, но не убиты,
Все мы сольёмся в эхо выстрела вхолостую!
И, убивая время, станут кричать пииты —
Что-нибудь из Гудзенко, чаще — про кровь чужую.

Слушай, читай, строчи — вирши сплошной строкою!
В тысяче и одном зеркальце — чья-то слава! —
Словно свинцовый град над золотой рекою:
Cuprum плюс девять грамм — бронзовая оправа.
А за окном зима! Солнцем из белой ночи
Пушкинская метель — утром, в начале века! —
Правит крутую речь, если вернее — прочерк
Ставит в большой роман маленького человека.

Лирический фантом

И речь напоена сакральным звукорядом —
Как песней хоровой протяжность ветерка.
Всё прочее — как миф — с классическим раскладом,
С разладом вековым и славой на века.

В какой-нибудь рассказ для улицы и сцены
Кочующий мотив не вставить как пример
Потворницы-судьбы под маской Мельпомены,
Что правит всякий раз расстроенный размер.

Лирический фантом преследует поэта!
Луна — как лестница в лакуне временно́й.
Всё это, может быть, простое свойство света —
Движение души сомнамбулы ночной.

В суровых сумерках случайная строка
Вернее, может быть, чем всё пережитое,
Рассыпанное в прах — в страницах дневника —
Как первые стихи — про самое простое —
О том, что мир вокруг — есть мир внутри меня,
И в небе Млечный Путь — как линия разрыва
Судьбы и пустоты. И снег окрест огня
Сгорает за одно мгновение до взрыва.

Вещий ветер

Белые девы с глазами испуганных сов.
Чёрный офеня с коробом на ремне.
Старый стукач, запирающий на засов
Детские грёзы о преданной им стране.
Так и хочется крикнуть: *А судьи кто?!*
Распахните створки кривых зеркал!
Отраженья — в сущности — есть ничто.
Грибоедов? Здравствуйте! Не узнал.

Тени прошлого? Вещи сами в себе.
Сплетни, наветы, грязная клевета.
И покатились горем в чужой арбе —
Горы, снега и прочая красота.
Ветер такой, что рвётся размер строки!
Эхо доносит крики и скрип колёс,
Воспроизводит пение той реки,
Чей поворот, как время, тебя унёс.

Всё уравняет ночь вороватой тьмой.
Звёзды горят, а деньги шуршат в чулках!
И на рассвете в чепчике с бахромой
Выйдет на берег солнышко в облаках!
Вещи продолжат свой беспредметный век
И разорвут на крики — слова, слова…
В каждом окне, как в зеркале, человек —
Словно в тисках державы твоя Москва.

Дословный мир

Как много в нас невидимых примет,
Прочитанных, как принято, до срока,
Как странный сплав гордыни и порока
В пророчестве: «Таков и ты, поэт!»
Весь мир таков. Всё длится, как река.
Всему свои дороги и просторы.
Одни ведут ко дну, другие — в горы,
Чтоб тайнопись постичь наверняка.
Но мир, как лес, не стоил бы листа,
Когда бы не тропинка звукоряда —
Туда, где загораются от взгляда
Глухие заповедные места!

Картинки детства! Бабушкин цветок.
В окошке вид речушки Безымянной.
Дословный мир — державы деревянной!
И времени — попутный ветерок.
Впервые всё! Не вычеркнуть слова,
Как не прервать молчания, в котором
Ты — весь простор и небо над простором.
И так светло! Кружится голова!
Ты сам среди немыслимых примет
У тишины — как слово — на примете.
Ты — облако, которому на свете
Чужбины нет! Прочти его, поэт.

Девкалион и Пирра

Карты стареют раньше календарей.
Время течёт и выносит на берег века
Странную песнь обкуренных дикарей—
О корабле последнего человека.
Словно уже завершён внеземной полёт
Там, где Земля не светится в небосклоне!
Время—то остановится, то течёт,
То преломляется в новом Девкалионе.

Время творит себя. И плывёт вдали
С детства знакомый вид с корабельным бором,
Где оснащались первые корабли
Белыми облаками! Вот мир, в котором
Время росло, как первый нежданный снег.
Но поглотило море печали мира…
Девкалион без карты ведёт ковчег.
Сколько теперь ей лет, не считала Пирра.

Гений места

Когда я жил в деревне и следил
При свете звёзд, как время прибывало
Во мне самом, я набирался сил,
И каждый стих, как жизнь, хотел сначала
Переписать, и в линиях судьбы
Разгадывал сюжет кедровой пади.
Срывал цветы и собирал грибы,
Вынашивал слова «Лесной тетради».
Как ветерок, стремился на простор.
Встречал друзей и провожал далече.
Подслушивал рыбацкий разговор
И плеск волны вживлял в структуру речи.
Смотрел на вещи просто, говоря
На языке забытого рассказа,
И всё-таки собрал для словаря
Цветной букет родного новояза.

Когда я жил в деревне, за чертой
Той бедности, чем славилась округа,
Нетрезвый гений места предо мной
Возник и закружил меня, как вьюга,
И вычерпал из проруби ведром
Рождественские звёзды! На дороге
Я говорил с полуночным вором
И спорил с ним о дьяволе и Боге.
Из темноты переходил в тепло,
Читал стихи Бориса Пастернака.
И бабочкой слетала на стекло
Одна звезда из круга Зодиака…

Одиссей и Навзикая

О каком-то мире фантастичном,
Там, где катит волны Енисей,
В самопальном рубище античном
Бредит современный Одиссей.

За камнями плачет Навзикая,
Зашивая рваную суму.
Что она—такая молодая,
Не понять, блаженному, ему…

Февраль

Ты—камень у города в горле. Пророк, нелюдим.
Прочувствуй волнение века и сделай своим.
Здесь, как ни крути, но останутся только слова
И солнце, что носит, как небо, твоя голова.
Живи, как и все, разбери по слогам времена,
Из коих ты вырос и вынес других имена—
Великих и прочих, прочитанных в каждой строке.
Все правила речи—как реки судьбы на руке.

Простой алфавит! Февральский снежок у ворот.
Ты из лесу вышел. Ты в город вернулся. И вот,
В сердцах повторяя, что надо стоять на своём,
Выходишь к народу, рифмуя «своё» с февралём,
Среди снегопада—печёной картошкой в золе…
Ты ж—камень в полёте! ты—птица о медном крыле!
А где-то за городом лес-до-небес у реки,
И так хорошо—оттого, что снега глубоки.

Зеркало

Блик падает—и зеркало темнеет.
Эй, кто там?! Говори, что там белеет?
Как будто крыльев трепет, птичьи крики…
Картина в раме. На картине—блики.
Видения! Из вод выходят люди.
За ними, словно голова на блюде
Ночных небес, распластана Селена,
И клавиши на волнах. Дальше—пена.

В мажоре эта музыка, в миноре—
Всё лучше, чем сопение в просторе,
Чем кормятся прожорливые бризы.
Видения—что девичьи капризы.
Они полны… Но не прибавить слова.
Сей замысел—как море без покрова,
Как бёдра той, что вышла к нам из пены,
Отражены в картинах. Дальше—стены.

Ночь на Родине

Говори! Всё равно отзовётся
В этом диком просторе земном
Тишина—как рожок из колодца,
Словно речь, затаённая в нём.
Распадается сфера ночная.
Ну и темень! Эй, кто там? Огня!
То ли слышится песня такая?
То ли это кричали меня?

Верно, в сердце о чём-то поётся,
И ни слова, ни звука вдали.
Ничего! Говори! Отзовётся!
На мгновенье прислушайся. И—
Как в насмешку, гружённый железом,
Товарняк прогремит вдалеке,
Да в полнеба звезда—стеклорезом—
Полоснёт и погаснет в реке.

Неутолимое

Пройти бы вновь по облаку небритым
И снова всех красивыми считать…

Феликс Чечик

На осеннем ветру

Ну а если всерьёз, не валяя
дурака, не ломая комедь,
как на князя смотрела Аглая,
честно в прошлое посмотреть,—
что увидишь?—*любовь и разлуку,*
два-три слова на идише—и
пожелание бабушки внуку
перед самой разлукой—любви,—
что услышишь?—фальшивую ноту,
дар божественный, втоптанный в грязь.
Жизнь, дарованная идиоту,—
пусть не князь—всё равно удалась.

Выводи—на гитаре, на флейте,
на расчёске—не всё ли равно?—
как из мрака—мелодии эти,
без которых на сердце темно.

Выводи—я совсем растерялся,
кто поможет мне, если не ты?—
в ритме полузабытого вальса,
взявши за руку, из темноты.

Выводи—я послушней дитяти,
против воли моей выводи.
Что с того—если смерть впереди?
Не поставить ли «Реквием», кстати?

Пятаки на глаза—
как ладонь на уста,
за любовь наказа-
ние—немота
глаз. Мы умерли и
расстаёмся навек.
На глазах пятаки.
Тихий свет из-под век.

и стоя на кону
и ожидая нервно
когда наступит мой
черёд и время óно
единственно кому
завидую безмерно
израильской зимой
полёту махаона

Вероятность того, что умру,
вызывает усмешку.
Я стою на осеннем ветру
и любуюсь на чешку.

И она улыбается мне:
и светло, и беспечно.
Вероятность бессмертья вполне
очевидна, конечно.

И на Вацлавской площади вдруг
посреди листопада
в сотый раз попаду в третий круг
вожделенного ада.

Бесконечная вечная жизнь.
Пролетело две трети.
И стоит, *на копьё опершись,*
грустный ангел бессмертья.

Осенней музыки небес
не слышно из-за туч—
и только ветра до-диез,
и только ливня туш.

Она, как свет, не знает дна,
она на всех одна—
но голубая тишина
лишь ангелам слышна.

Лишь изредка, лишь иногда
и лишь насмешки для
сверкнёт холодная звезда
на небе нотой «ля».

И мы с неё не сводим глаз,
глядим во все глаза.
И оглоушивает нас
осенняя гроза.

Всё—поэзия, даже
и отсутствие как
таковой в пейзаже,
погружённом во мрак.

Всё—поэзия, если
посреди темноты
мы с тобою воскресли,
превратившись в цветы.

Что запомнил: снежинок круженье,
яркий свет фонаря
и прощанье, где рифму «прощенье»
не заслуживал я.

Заслужил: безутешность, проклятье
и стихи через век,
где лежит подвенечного платья
не растаявший снег.

То «в Чапаева», то в подкидного
дурака вечерами играть,
засыпать, просыпаться — и снова,
усыпляя небесную рать.
Самому уже тошно от «чиза»,
строить глазки и вешать лапшу,
чтобы только гармонией числа —
не поверишь! — поверить. Польщу
чёрту, ангелу; только бы слово
то, единственное, подобрал,
я готов в дурака подкидного
и «в Чапаева» вечно… Урал
разъярился, и северный ветер
гонит волны, как будто пургу.
И дурак не смеётся над этим,
а рыдает *на том* берегу.

Пустота и горечь позади,
впереди — распахнутая дверца;
сложносочинённое в груди
предложение руки и сердца.

Предложение распалось вдруг
на слова, предлоги и частицы.
И клюют из посторонних рук
нами не прирученные птицы.

Лёд хрупок и тонок —
и чист на просвет,
почти как потомок,
которого нет.

Которому муки
и беды мои
до фени, как мухи
и как муравьи.

Которого — круто! —
я вёл и веду
по жизни, как будто
бы в марте по льду.

Болезненно точный,
измученный правдой,
картограф полночный
склонился над картой.

Свои аппетиты умерь,
потребности сократи —
и слушай капели свирель
и сердце своё взаперти.

Они не соврут — не резон
им врать у любви на краю,
пока не открылся сезон
охоты на память твою.

Пятерню
кленового листа
сохраню —
и вспомню через восемь
лет, когда наступит
немота
и меня возьмёт
за горло осень.

Пролежал
все восемь в словаре
на странице
триста двадцать пятой,
заново родившись
в октябре,
несмотря, что мёртвый
и помятый.

В спешке
восемь лет тому назад
положил
и позабыл об этом.
За окном:
октябрь, листопад
и мой голос,
унесённый ветром.

И мой дар —
беднее не найти, —
жар и холод,
пропасть и опора.
И прикосновенье
пятерни —
тяжелей пожатья
командора.

Даю тебе слово,
любимая, что
мы встретимся снова,
но лет через сто.

Узнаю? Едва ли.
Узнаешь? Навряд.
Знакомым — вначале
покажется взгляд.

Вначале… А после
уже навсегда
расстанемся вовсе,
любимая. Да?

Николай Ерёмин

Живая мишень

Стихи женатого мужчины

Жена моя! Ты помнишь, между нами
Летал Амур?.. И не во вред здоровью
Коньяк тогда ещё не пах клопами,
А море пахло йодом и любовью…
И мы с тобой, не ведая вины,
Помимо воли были влюблены.
Прикинь, с тобой мы вместе сколько лет?
Нет моря рядом, и здоровья нет…
А про коньяк вчера, над рюмкой хмур:
— Клопами пахнет!—мне сказал Амур…

— В двадцатом веке мода на чертей
Закончилась…
А нынче, в двадцать первом,
На ангелов, представьте, началась!
То тут, то там слышнее шелест крыльев,
Виднее тени их,—сказал поэт,—
И ангелам альтернативы нет!

Верлибр

Вновь безграмотные поэтессы
Демонстрируют: кто безграмотней,
У кого больше ошибок?

Всё—как слышится,
Так и пишется.
Мысль и чувство необязательны…

Покурив,
Помолчав с умным видом,
Пьют вино, начинают читать нараспев…

Я окунаюсь в море Чёрное—
И белые стихи пишу.

Я окунаюсь в море Белое—
И радуюсь карандашу,
Который, страсть и ум ценя,
Рассказы пишет за меня…

Возле речки с утра,
Ошалев от жары,
Отлетев от костра,
Нас едят комары…

Чтоб убить комара—
Нужно бить по себе…

Что ж, вперёд и ура!—
До победы в борьбе!

Стихи про Зелёного змея

1.

И глянул на меня Зелёный змей,
И попросил—нет, приказал:
— Налей!
Сегодня мы должны с тобой напиться…—

И спиртом осветило наши лица,
И солнце
До конца ночей и дней
Погасло вдруг
Над родиной моей…

2.

Я вчера напился допьяна—
И стакан передо мною встал
Как большой магический кристалл—
Так, что стала жизни суть видна…

Встрепенулся я в избытке сил,
Взял стакан—и вдребезги разбил…

3.

У поэта болит
Сердце
В поисках ритма.
За него говорит
Диссонансная рифма…

Сбой за сбоем—опять,
Слог то краток, то долог…
И не может понять
Ничего кардиолог…

4.

Дни художника—нехитры:
Холст закончен—песни пой!
От палитры до поллитры
Шаг—и радостный запой…

5.

Похмельные лица.
Как сердце стучится!
Стекает вино по усам…

Россия—больница,
Где каждому снится:
«Больной, излечи себя сам!»

Эпитафия

Как будто не было поэта!
Увы, на подвиги готов,
Он не дожил до Интернета
И не оставил в нём следов…

Считая подвигом скандал,
Он даже книжки не издал!

О, кладбище поэтов — Интернет,
Люблю твой предвечерний вечный свет!

И продвигаясь, вижу как в тумане:
Здесь Бродский спит, там спит Авалиани…

Ахматовой, Цветаевой цветы
Среди крестов — и память, и мечты…

Прости меня, Боже полночных светил,
За то, что я силу свою раздарил
И в полдень
Ни другу уже, ни врагу
Светить так, как раньше светил, не могу…

Бреду, спотыкаясь на каждом шагу,
За теми, кто песни поёт на бегу…

Отпусти! Сам себя отпусти!
Всё, что рядом, — пойми и прости.
А что в сердце — с собою возьми,
Чтоб сгодилось потом меж людьми…
Пропадёшь ни за грош, ложь любя,
Если сам не отпустишь себя!

Пускай душа витает в облаках,
А тело воскресает в киноленте,
И вновь поёт поэзия в стихах,
Как муза — в музыкальном инструменте…

Он желает быть живой мишенью,
Примеряет лавровый венец…

Он стремится к саморазрушенью
И его достигнет наконец.
Где, увы, друзья среди подруг
Тем же самым заняты вокруг…

Душа

Дряхлеет немощное тело,
Душа не спит над дневниками,
А в них кладбищенская тема,
Увы, всё чаще возникает…
И всё, что хочет стать стихами,
Ты рвёшь дрожащими руками…
И жжёшь… Глаза в слезах уже…
Всплакнул — и легче на душе.

— Позади — покоренье Парижа…
Позади — покоренье Москвы…
Горизонт всё острее, всё ближе,
Даль за далью привычней, увы…
К сожаленью, — вздыхает поэт, —
Ничего невозможного нет!

Мне сегодня
Всё на удивленье:
Муравьи летают и жуки…
Бабочки кружатся в отдаленье…
Пчёл гуденье около реки…
Трепетанье радужных стрекоз…
Облаков скольженье меж берёз…

Жизнь превращается в театр,
Где нет игры, а всё взаправду…

И всё ж, печален или рад,
Всё меньше верю я театру,
Куда, увы, на склоне дня
Нет контрамарки для меня…

В провинции

1.

А в провинции — как прежде:
Всюду горе — от ума.
Здесь — убогие коттеджи,
Там — убогие дома.
И до Бога от порога
Та ж безбожная дорога…

2.

Все вокруг
Недовольны собой,
И тобой, и страной, и судьбой…

Ты пытаешься им возразить —
Недовольство притормозить,
Но в застолье
От смеха до слёз
Нет вокруг недовольных всерьёз…

3.

Все, кто может,
Боже мой,
Пусть живут и пусть плодятся!

Я ж,
Пока ещё живой
И способен удивляться,
Изумляюсь:
Для чего
Это — «всё из ничего»?

Из телевизора — глаза.
Из телефона — голоса…
Из чайника — горячий чай…
А из души моей — печаль.

Пиит! Толпе зимой и летом
Стихи читая там и тут,
Не называй себя поэтом!
Пускай другие назовут.

Ян Бруштейн

Там, где душа…

Коктебель

Заколдованный город — не город почти,
Через бывшую Родину взгляд сквозь очки,
Эту боль, эту цель объяснять мне тебе ль:
Коктебель, говорю, посмотри, Коктебель…
Помолчи, прислонившись к его парусам,
Я бы сам, но прикован я к серым лесам,
Ты вдохни этот сон ковыля, чабреца
И солёной водой смой тревогу с лица.
Непомерная ноша — пожизненный срок:
Возвращаться, прощаться, не видеть дорог.
Заколдованный город заснул и затих.
Всё прими — за себя, за меня, за двоих.

Венец

Кто окликнул меня на дороге пустой?
Кто взметнул этот птичий содом?
Как узнаю, что пустит меня на постой
Тихим садом окутанный дом?

Там глухие заборы давно снесены,
Там искал я когда-то себя,
Там ломают комедию вместо стены
Стройотряды крылатых ребят.

А над крышей — берёзы зелёный венец…
Где тот век, что давно разменял?
И не будут уже восхищённо звенеть
Голоса позабывших меня.

Как всегда, он смеётся сейчас надо мной —
Тот, который себе на уме.
Но несу я по этой дороге домой
Только радость в последней суме.

…и если горечью случайной
скупая память обдерёт,
глотни вина в забытой «Чайной»
под заскорузлый бутерброд.
О, как мы пили, как мы пели
под «33» и «Солнцедар»,
тогда б мы выдержать сумели,
наверно, даже скипидар!
И наши дамы в лёгких «мини»
(чувихи, кадры и герлы́)
так были строги и милы
и так в любви неутомимы…
Пока мы бредили бедово
по нашим кухням и дворам,
один генсек сменял другого,
нисколько не мешая нам…

Стихи сыну

Мальчишка с пристани ныряет.
Он нас с тобой не повторяет,
Хотя знакомые черты
В нём проступают ежечасно.
Ах, прыгать в море так опасно
С бетонной этой высоты!

Он неуклюжий, долговязый,
Грубит — и с нежностью ни разу
На нас с тобой не поглядел.
Из всех рубашек вырастает,
Вокруг него — иная стая,
И мы как будто не у дел.

…Из моря выйдет посиневший,
Так быстро вырасти посмевший
(Попробуй-ка останови!),
Шагнёт на край, взмахнёт руками —
И скроется за облаками
От нашей суетной любви.

Он приспособлен для полёта,
И радости тугая нота
В солёном воздухе дрожит.
Мальчишка с пристани ныряет,
Он нас с тобой не повторяет
И нам он не принадлежит.

Откликнется на имя сына,
Потом — сажёнками косыми
Навстречу ветру и волнам,
От нас, от нас — по белу свету.
Но отчего в минуту эту
Так горестно и сладко нам?

камни

ты не за каменной стеной,
моя родная.
тяну я этот серый зной,
зачем — не знаю.
ну, разве ради пары строк,
не нужных веку…
так пепел, серый порошок,
сдувает ветер.
скупа защита для своих,
и вымок порох.
мне крепко выдали под дых,
и осень впору.
я камни собираю впрок,
и не по силам
мой переполненный мешок —
всё то, что было.

Дворовый романс

Ветер северный, жестокий: головная боль с утра.
Он приносит злые строки — память нашего двора.
Там живут башибузуки, отвратительно крича.
Эти сладостные звуки маму будят по ночам.
Мне туда бы, в эти лужи, я тогда бы дал огня…
Но я толстый, неуклюжий, маме страшно за меня.
Пусть росли они бурьяном, с жёлтой пылью в волосах,
Им не надо фортепьяно колотить по два часа.
Им не надо быть примером, им привычно бить под дых…
Исключат из пионеров их, чудесных, золотых.

Где вы? кто вы? Память стёрта, во дворе другой разлив,
И разорвана аорта, землю кровью раскалив.
Где вы, пьяницы и воры?.. В сладком дыме анаши
Как же ваши разговоры будут злы и хороши!
Вы остались в том пространстве, в очистительном огне.
Но с завидным постоянством вы приходите ко мне.
Костя, Юрка, Валя, Света — из того смешного дня…
Без возврата, без ответа, без меня вы. Без меня.

Саше

В Кривоколенный переулок
Войду, стезя моя легка,
И там куплю я пару булок,
Вино, бутылку молока
И папиросы.
С другом Сашей
Мы всё съедим и разопьём.
Нам по семнадцать. Я дурашлив.
А он силён. И мы вдвоём.
На той скамейке развалившись,
Совсем легонько подшофе,
Мы с ним — на улице столичной,
Я в бобочке, а он в шарфе…
Сидим — форсим, но эта накипь
Нам не мешает по весне
Поговорить о Пастернаке,
О Сталине и о войне.
Бравируя стихом точёным,
Дразню его, пуская дым.
И разве что из-за девчонок
Порой ругаемся мы с ним.

Мы врозь в безвременье шагнули,
Лишь помнили издалека.
И настигали нас не пули —
Потеря смысла и тоска.
Я не был рядом в то мгновенье,
Когда он срезал эту нить.
Не смог ни словом я, ни тенью
Тогда его остановить.

Вину мою избыть мне надо,
И знаю я в конце пути:
Когда-нибудь мы будем рядом —
Там, где душа его летит.

Лазарю

Я — прочерк между прошлым и былым,
И проступают лица через дым,
Которые и вспомнить-то непросто —
Оплывшие, как свечи на ветру…
Я к ним приду, я ради них умру,
И в этот ряд я встану не по росту.
Но как же коротка моя черта,
И не успел я, в общем, ни черта,
Немного же пайка нам дали в руки!
Хотя пока не оборвался звук
И нас ещё не взяли на испуг
Смешные погребальные старухи.
И сладок воздух, и вода вкусна,
И я ещё так много не узнал,
И столько не расслышал между строчек.
Простите, что не рвётся эта нить,
Но буду я судьбу благодарить
За долгое пространство многоточий…

читатель слов

когда-то я читатель слов
бродил туда-сюда
туман обрушился с холмов
съедая города
я в этот серый и густой
зарылся с головой
в мой первый том горящий дом
недужный нужный свой
а там кружился тарарам
не видно ни хрена
пластинка ныла по дворам
и к завтрему война
и батя мой спешил домой
еврейской мамы сын
а летний зной звенел струной
и тикали часы
потом потом вернулся он
один зачем-то жив
в тумане задыхался звон
и плыли этажи
осенний дождь клевал с руки
когда криклив и смел
всему на свете вопреки
родиться я сумел
я в это верить не готов
в мою игру ума
строитель снов читатель слов
вдыхающий туман

Юрий Беликов, Леонид Бородин

Если не придёт дерзкий…

Он даже комнату свою в собственной квартире по привычке именует камерой. Посему вид самих камер, когда почти что через четверть века он вновь узрел барак особого режима «Перми-36», ощутимого впечатления на него не произвёл. В 60-х годах Бородин был приговорён к шестилетнему сроку, который тянул в мордовских лагерях. До «Перми-36» во Владимирской крытке провёл почти три года. А это тюрьма пострашней. Поэтому, по его признанию, снова въехав на машине времени в гудящие ворота зоны, никаких негативных, а тем более страдальческих эмоций не испытал. И это — несмотря на ту «перспективу», что здесь, в селе Кучино под Чусовым, могла завершиться его судьба. Второй срок исчислялся десятью годами лагеря и пятью — поселения. Прикиньте, когда он должен был завершиться, если нынешний главный редактор журнала «Москва» и лауреат премии Александра Солженицына оказался на нарах «Перми-36» в 1982 году. Показательно, что тогдашний шеф КГБ Юрий Андропов более всего опасался не националистов из республик и не диссидентов-западников, а тех, кто проповедовал «русский взгляд». Итог всем известен: развал империи под названием СССР. Леонид Бородин, будущий автор многих романов и повестей — таких, как «Царица Смуты», «Божеполье», «Третья правда», «Ловушка для Адама», «Год чуда и печали», — был одним из немногих, кто этому противостоял. Освободился досрочно — в 1987-м. И вот теперь он вновь стоял перед цепочкой знакомых бараков, только ставших музейными объектами. О чём он думал, о чём вспоминал?

— Леонид Иванович, не ощутили ли вы, что музей политических репрессий «Пермь-36» превращается в некоего кентавра наших дней? Став ежегодным гражданским форумом и фестивалем «Пилорама», вчерашняя политзона, с одной стороны, представляет из себя тусовку либералов из бывших республик СССР и либералов нынешнего российского розлива, которые, сойдясь, учиняют токовища, больше обращённые к прошлому, нежели к настоящему: дескать, какой был Советский Союз тюрьмой народов. А с другой стороны, «Пермь-36» превратилась в пляжно-курортные угодья, куда, ничуть не интересуясь сходкой правозащитников, на берега Чусовой устремляется с надувными матрасами и спиртным местный народец. В общем, многотысячный отдых в местах не столь отдалённых…

— По-видимому, это действительно так. Судя по рассказам тех, кому довелось там побывать. Но сегодня мне не хотелось об этом думать. Я как бы заново перебирал в памяти своих сокамерников, хотя они и не были моими единомышленниками. Я их всех по-своему, по-тюремному любил. С кем-то больше общался, с кем-то меньше. В бараке особого режима нас было тридцать. Стал считать. Досчитал до двадцати. Потом потихонечку начал припоминать остальных. Но всё равно два-три человека из памяти выпали. Наверное, это были полицаи. Но вспоминал не только о политзэках. Допустим, хорошо помню начальника нашего отряда Кондратьева. Единственный человек на зоне, которого мы почти уважали. Уважать надзирателя — это, в общем-то, нетипично. Другие надзиратели делали всё, что можно делать по закону. А Кондратьев не делал того, что не требовалось. Вот не требуется лишний шмон — он этого и не делает. И вообще, человеком был очень спокойным, никогда не хамил. Никаких издёвок в голосе. Простой русский мужик. Я двух таких знал. В мордовском лагере был ещё Ваня Хлебодаров, тоже офицер лагерной службы. При нём надзиратели не матерились. И когда Ваня дежурит в зоне — спокойствие полное. И — абсолютное уважение к Хлебодарову.

— Представлялось ли вам, тогдашним политзэкам, что в бывшей зоне будут выступать рокеры, поэты-балагуры типа Игоря Иртеньева и сатирики образца Виктора Шендеровича?

— Даже в кошмарном сне не представлял. Как я погляжу, они тут себе турбазу устроили?!

— И то, что сегодня, остановившись у стенда в Чусовском этнографическом парке, на котором руками его основателя, заслуженного работника культуры России Леонарда Постникова, рядом с фотографиями ваших товарищей — Василя Стуса, Балиса Гаяускаса и других — помещён портрет Шендеровича, вы выразили недоумение, я вас прекрасно понимаю. Но Постников совместил эти снимки неслучайно. Потому что, увы, шендеровичи — сиречь нынешние надзиратели «Перми-36». Ни один серьёзный русский, национально мыслящий поэт здесь не выступал. Это о чём-то говорит?

— Грустно слышать о том, что наша зона превращается в рок-концерты и смехопредставления на костях.

— И чем дальше, тем ощутимее качественное изменение по отношению к «Перми-36» как к музею политических репрессий. По крайней мере, в его сегодняшнем воплощении в качестве фестиваля «Пилорама». На памяти такие стихотворные строки, принадлежащие пермскому автору Александру Зубкову:

Ночь. Пилорамы вздыбленные звенья,
Крест-накрест расчертившие луну.
Здесь закалялась воля поколенья,
Готового распиливать страну.

Строки жёсткие — по отношению к вам. Не думали ли вы, что придётся столкнуться и с таким взглядом на то, к чему были причастны? И нет ли в нём, в этом взгляде, теперешней правоты?

— Если уж на то пошло, я был и остался всхсоновцем. Мои взгляды сформировались в шестидесятые годы. В том числе — в мордовских лагерях. С тех пор ничего во мне не изменилось. По своей психологии я никогда не был разрушителем. Более того, готов был пожертвовать чем угодно, чтобы только не допустить никаких разрушений в стране. Так уж я воспитан был с детства. Например, бабушку свою спрашивал: «Бабуля, когда Сталин умрёт — его сын будет править?» Это что такое? Это монархический взгляд. И Сталина я любил патологически. Помню, в детском хоре пел: «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полёт!» Никто не мог взять эту верхнюю ноту. Только — я.

— То бишь Леонид Бородин брал верхнюю — сталинскую — ноту?

— *(Смеётся.)* В экзистенциализме есть такое понятие — интенция. Это — направленность. Так вот, если этот факт моей любви к Сталину отрубить от Сталина и от меня — сам по себе он положителен.

— Моя мама о своих детских впечатлениях говорит так: «Я представляла, что Сталин — как Бог. И спрашивала себя: „А как же он какает? Наверное, у него — белые какашки?“».

— *(Смеётся.)* А я и в мыслях себе такого не позволял!.. Когда поступил в школу милиции, у меня напротив тумбочки висела фотокарточка девочки, в которую я был влюблён, и фотопортрет Сталина.

— Но всё-таки, если вернуться к вопросу о «воле поколенья, готового распиливать страну», не вы ли в журнале «Москва» писали о том, что «националисты, в основном украинцы и прибалты, „русофобились“ на глазах, формируя в своих рядах будущих лидеров „самостийности“»?

— В какой связи я это говорил? В связи с работой кгб. В отличие от московского комитета, пермские гэбисты — типа полковника Афанасова и прочих — настолько были неумными людьми, что своим поведением и поступками муссировали националистические чувства. Допустим, офицер кгб Василенко начал критиковать Армению, и сидевшие в лагере армяне стали после этого ярыми противниками России. Но… Шендерович — гораздо больший русофоб, чем, положим, Аршакян или Горынь. Это просто лютый русофоб, у которого буквально голова трясётся, когда он говорит о России. Или там — какие-нибудь Ганапольский с Венедиктовым. Между национализмом сидевших в политзоне и русофобией этих юрких и ловких ребят — никакого сравнения!

— Жупелом «националист», особенно в сочетании с прилагательным «русский», у нас принято пугать обывателя.

— После того как я уволил из редакции журнала «Москва» одного человека, про меня начали говорить: «Бородин, наверное, никогда не был русским националистом!» Правда, я никогда им не был. Потому что, как русский человек, считаю для себя это несколько унизительным. Национализм может быть у малых народов.

— Но согласитесь: о русском национализме сейчас твердят в открытую.

— Не только в открытую. Они и есть, русские националисты разных крыльев: атеистические, православные — всякие. Но само понятие «националист» меня не пугает, потому что это, во-первых, не перерастает в нацизм, во-вторых, если речь о наших доморощенных националистах, они между собой практически не могут ни о чём договориться. Причём — не по принципиальным вопросам. И в-третьих, пока всё это находится на маргинальной стадии. Хотя они сейчас издают журнал «Вопросы национализма». Я уважаю их любовь к русскому народу и желание улучшить его положение, но не согласен с методами, которые они предлагают.

— Тогда поговорим о методах, но — самого Бородина. Для этого — углубимся в ваше прошлое, когда вы входили во Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа (всхсон), которым руководил Игорь Огурцов. Иногда Бородина сравнивают с Достоевским. Например, повесть «Ловушка для Адама» написана, как считают некоторые критики, не без влияния «Братьев Карамазовых» и легенды о Великом инквизиторе. Но есть и перекличка судеб. Вы с Фёдором Михайловичем оба — бывшие «террористы». Я намеренно закавычиваю это слово. Ходит даже слух, что вы, будучи всхсоновцем, замышляли убить секретаря обкома кпсс…

— Чушь собачья! Никого в жизни никогда не хотел убивать.

— Тогда поставлю вопрос иначе. Известно, что Достоевский серьёзно пересмотрел свои взгляды петрашевца, трансформировавшиеся затем в написание романа «Бесы». А что сказал бы нынешний Леонид Бородин Бородину времён его членства во всхсоне?

— Я не был террористом. Во всхсоне об этом даже не могло быть и речи. Нам запрещалось применять

оружие. Правда, я купил пистолет. Но школа, в которой я тогда работал, сгорела, и он вместе с ней — в тайнике. Когда у кого-то из членов нашей организации мы обнаружили пистолет, он сдал его нашему архивариусу. Там его и взяли, этот маузер тысяча девятьсот восьмого года. У всхсоновцев было правило: мы только вербуем людей и только создаём подпольную организацию. Придёт время, когда займёмся вооружением…

— Вы делали ставку на участие армии?

— Нет, мы делали ставку на дворцовый переворот. В наших разговорах это выглядело так: советская власть представляет пирамиду, и право самостоятельного решения имеет минимальное количество людей. Это минимальное количество можно взять на квартирах. Вот и весь переворот. Если взбрыкнёт — подставим пистолет к виску министра обороны. И он по телевидению сообщит: «В стране всё спокойно. Никому не шевелиться и не оттопыриваться».

— Но всё-таки — с потенциальным применением оружия?

— Безусловно. Мы допускали, что где-то будут промахи, и КГБ окажет нам сопротивление. Конечно, программа Игоря Огурцова была фантастичной. Во-первых, народ совершенно был к этому не готов. Огурцов писал: «Народ готов — мы не готовы». А я к тому времени уже прошёл через строительство Братской ГЭС, житьё в Норильске. Как говорится, поболтался в народе достаточно и видел совершенно другое: он не был готов ни к чему антикоммунистическому, сколько бы в том самом народе ни ворчали…

— Но в программе ВСХСОН было записано: «Социализм не может улучшаться, не подрывая своих основ». Вы этой формулы придерживаетесь по-прежнему?

— Да. А так и произошло. Как только социализм начал либерализироваться, он начал разлагаться. Вот как пуля: ей нужен винт в стволе. Так и социализм может существовать только в тоталитарном варианте. Тоталитаризм спадает — и налицо признаки разложения социализма. Но дело в том, что социализм, в отличие от стран народной демократии, в СССР существовал уже много лет. И он органически слился с народной психологией. Поэтому крах коммунистической системы непременно привёл к краху империи, хотя тогда мы это слово не употребляли. То есть мы были уверены, что коммунисты не просто уйдут с исторической арены — они развалят страну.

— И, собственно, были против коммунистов потому, что они неизбежно разрушат империю?

— Мы были против всего, что они делали. Но этот тезис — о неизбежном развале империи — был основополагающим.

— Буквально вчера встретил одного своего старого друга. И мы оба пришли к некой печальной сентенции, что выключены из этого времени, где серые побеждают и выигрывают. И уже вряд ли с ним совпадём. Мой друг сказал: «Тогда, во времена СССР, условно говоря, десяти процентам, включая диссидентов, было душно, а девяносто процентов населения жизнь вполне устраивала. Сейчас девяноста процентам невмоготу, а десять процентов довольны». Такие вот песочные часы. Только вместо песка — человеческие судьбы…

— Но из этого ничего не получится. Никакого социального взрыва, гражданской войны или общего народного выступления.

— Однако ещё один узник «Перми-36», живущий в Благовещенске прозаик Борис Черных, в письме к другому бывшему сидельцу политзоны, известному московскому экономисту и публицисту Льву Тимофееву, написал примерно следующее: «Сидели бы мы в лагерях и сидели. Чего бы не сидеть? Но такого раздрая, который произошёл в стране, и унижения наших стариков не допустили бы».

— Старики были и при советской власти унижены. В своё время я наблюдал, что творится в деревнях, видел этих нищих старух с двенадцатирублёвой пенсией…

— Не сравнивайте это с происходящим в наших деревнях сегодня. А если в целом — с тотальным положением бедствующего народа. Вы же с этим-то не можете не согласиться?

— Конечно. Несравнимо. Но при этом я опять-таки говорю: недовольство, которое существует в народе, оно ни во что не материализуется. Знаете, вот есть мнение. А есть убеждение. Что такое убеждение? Это сигнал к действию, обязанность к поступку. Если у тебя есть убеждения, ты должен действовать вопреки своей безопасности или чему-то другому. В этом отличие от мнения. Мнение ни к чему не обязывает. Поэтому существующее народное недовольство — оно бесподследственно. Сегодня народ ни на что не способен.

— Вы — об угасающей пассионарности?

— Это — само собой. Россия вырублена хорошо. По-моему, мне рассказывал Игорь Шафаревич: его потряс тот факт, что крестьяне, сжигая помещичьи усадьбы в тысяча девятьсот пятом году, отрезали коровам вымя. Крестьяне!.. Представляете?! Для них ведь это священно. Как надо было совершенно сдвинуться по фазе, чтобы дойти до такого? Можно убивать помещиков, но резать вымя у коров?! Что теперь? Во-первых, народ разделён. На коммунистов и некоммунистов. На верующих и неверующих. И эти ямы не затягиваются, как следовало бы ожидать, а всё углубляются и углубляются. Уже выросло целое поколение, которое воюет с православной церковью. Исходя из принципа этой разделённости, уже невозможна гражданская война или что-то в этом роде. Мы на дне. Сейчас осталось только зарасти ракушками. Если к власти не придёт дерзкий. В начале девяностых я написал такую статью: «Когда придёт дерзкий». И заканчивалась она: «Пусть придёт дерзкий и возьмёт за шиворот…»

— Программа ВСХСОН держалась на трёх китах: христианизация политики, христианизация экономики и христианизация культуры. Однажды вы заметили, что до этого не доросла ни одна из существующих в России партий. Объясните, как вы себе представляете христианизацию?

— Не как — я, а как её представлял Огурцов. Скажу так: были моменты, которые в программе Огурцова я не понимал. Но главное, на чём она основывалась, для меня была тревога за Россию. Что такое, к примеру, христианизация политики? В Верховном совете, или как он там будет называться, — одна треть священнослужителей. И они имеют право вето на любое решение правительства. Причём это вето — не обязательно запрет. Нет, идите и подумайте. С точки зрения христианства и пользы для народа. То есть мы считали: если выстроить сто человек неверующих и сто человек верующих, среди верующих будет больше хороших людей, чем среди неверующих. Это — условно говоря. Что касается христианизации экономики, здесь гораздо сложнее. Историк Соловьёв, считающийся позитивистом, пишет, что православная церковь внесла в формирующуюся нацию понятие сострадания и благотворительности, чего никогда до этого не было. Наших калик — несчастных и отверженных — христианская церковь включала в человечество и брала на себя известные обязанности по отношению к ним, в то время как языческая вера их исключала. Поэтому, в нашем представлении, экономика должна была строиться по принципу наибольшего благоприятствования для нуждающихся. Потому что в России большинство народа живёт в недостатке. Как вышел в своё время из создавшейся в США ситуации Рузвельт? Строительство дорог спасло Америку от основательного краха. Людей заняли работой. То есть экономика должна работать, всё время оглядываясь на ту часть населения, которая находится на нижнем уровне состоятельности. Иными словами, всякая экономика ради экономики и получения прибыли аморальна. Безусловно, прибыль неизбежна и обязательна — иначе зачем экономика? Но прибыль должна быть обращена в сторону бедных. Это не благотворительность. Это то, что я называю дать удочку, а не рыбу. Что касается христианизации культуры, то журнал «Москва» полностью выдерживает эту концепцию.

— Когда-то вы написали исторический роман о Марине Мнишек «Царица Смуты». И произошло это на той самой политзоне «Пермь-36». А потом началась смута новейшего времени — перестройка и последовавшая за ней болтанка страны. Получилось, предвосхитили?

— Действительно, я начал писать этот роман, когда ещё в обществе не было никаких социальных предчувствий. Но, очевидно, сработало подсознание: вдруг я заинтересовался этой темой. Сразу заказал в Москву — жене и моим друзьям — чтоб они немедленно слали мне материалы по Смутному времени. Я получал документы — толстенные письма, которые иногда шли по пять штук в неделю. С первоисточниками — письмами Марины Мнишек, текстом её дневника, письмами Заруцкого. Здесь, в зоне, я написал первую главу. Она полностью вошла в будущую книгу в том виде, в каком я её переправил домой. А принцип сегодняшней смуты прост: коммунисты практически уничтожили православие. Но и коммунизм оказался фикцией. Мы живём в состоянии отсутствия веры. А без веры народ жить не может. Хоть какой-то, но — веры. Вот американцы верят в свою избранность. У нас — особенная ситуация, которой не было ни в одной стране. Дело в том, что коммунистическая идея по объёму своему равна христианству. Она также химически вошла во все споры народного бытия. И рухнула. Но ни один завод не пошёл на защиту своих парткомов. Русь даже не шелохнулась.

— Смотрите, какая штука: существовала идеология, которая нас всех якобы угнетала. Каждый, в разной степени, ощущал это на себе. Хотя, допускаю, наберётся заметный процент людей, у которых эти ощущения отсутствовали. Но вот идеология схлынула. И человек предстал незащищённым перед собственной природой. И такое в человеческой природе обнаружилось, что люди в растерянности развели руками. Сейчас многие смотрят ток-шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. Возможно, сей человечек с истошным голосом для кого-то свет в окошке. Но именно в его передаче люди перестают стесняться быть гадкими. И это следствие того, что в сегодняшнем обществе нет некой сдерживающей узды. Как бы ни были нам ненавистны парткомы и профкомы, но если человек сдвигался — запивал и начинал ходить налево от законной жены…

— …это было невыгодно коммунистам.

— За человеком — на уровне морального кодекса строителя коммунизма — следили, его направляли в нужное русло. Сейчас человек целиком и полностью отдан самому себе. И он не знает, что с рухнувшим на него «наследством» делать? Ему требуется помощник. А помощник — идеология, которой нет.

— Не буду утверждать категорически, но я считаю, что сначала необходимо чёткое установление государственности. Может быть, авторитарной. Солженицын ведь из Америки писал, что после падения коммунизма, возможно, России надо побыть в авторитарном режиме. Это вариант Китая. И я тогда полностью был с ним согласен. Вот я, например, курю три пачки сигарет в день. Мне врачи говорят: нельзя резко бросать. Просто нужно время. Хотя, если наше время оценивать по глубине, то я, конечно, пессимист.

— Тогда не кажется ли вам, что в сегодняшней России писатель, если он честен перед самим собой и людьми, обречён на отсутствие отзвука, на пустоту и бессмысленность собственной жизни, и усилия его прокручиваются вхолостую, если учесть, кто сейчас на плаву, кем якобы зачитываются и с кем устраивают встречи на телеканалах (я помню только одну встречу с вами — на канале «Культура»)?..

— …и то она была юбилейной. Во-первых, мы знаем, в чьих руках телевидение. Во-вторых, основные рейтинговые каналы не рискуют связываться с такими, как я. Они предпочитают иметь дело с людьми предсказуемыми. А Бородин… Неизвестно, что я скажу. Что касается писателей, возьмём Пелевина. Он везде. Между прочим, писатель-то он хороший. Но дело не в этом. А в том, что он умеет себя подавать. Он сам себе менеджер. Кто-то этого не умеет, а кто-то не хочет, как, например, я. Мне уже наплевать. Я стар. Потом, прекрасно понимаю, что из моих изданных книг ни одна не разошлась полностью. Сейчас у меня в компьютере — две небольшие повести, но, по-видимому, я их уже не закончу. Неохота писать. Более того — противно. В двенадцатомм номере журнала «Москва» за две тысячи десятый год вышла моя последняя повесть «Хорошие люди», которая висела у меня в компьютере лет пять. В шестом номере этого года — коротенький рассказ «Поединок» на четыре странички. Это про моего отца. У меня такое ощущение: всё, что я хотел сказать, я сказал.

— Но ведь и суммарные усилия всех гениев русской литературы на наших с вами глазах сходят на нет, потому что в России сегодня правит бал иная ценностная шкала! Достоевский, Толстой, Лесков, Чехов, Бунин, Солженицын, Астафьев, Распутин… Как потрудились эти люди на пашне преображения человечества! Казалось, вот-вот — и красота спасёт мир. Но не спасает.

— Когда Дима Васильев, который создал потом общество «Память», а в мои времена был при Илье Глазунове помощником, снял о нём фильм, то известный в ту пору всемогущий председатель Гостелерадио СССР Лапин разнёс его фильм по-страшному. Потому что Васильев впервые показал взрыв храма Христа Спасителя — нашёл хронику. И Лапин тогда кричал: «Что это такое — красота спасёт мир?! Танки Устинова спасут красоту и мир!» Поэтому вы правы: сейчас уже о красоте говорить не приходится. Но пессимист я знаете почему? Сейчас уже меньше, но в начале девяностых мы в журнале «Москва» постоянно получали проекты спасения России. Причём это звучало так: «Если вы меня не напечатаете, я подам на вас в суд! Потому что, если что-то случится с Россией, виноваты будете вы!» Даже Ельцину писали, что Бородин отказывает в публикации. Чаще всего все эти прожекты были абсолютным бредом. Но каждый из их авторов старался предложить некий вариант. В отличие от этих многочисленных «спасителей», у меня нет варианта. Варианта, который я мог бы хотя бы вообразить, и чтобы он с обратной отдачей меня стимулировал. Вот — в чём мой пессимизм. Но это не значит, что я не верю в Россию. Я всё-таки полагаю, что мы выкарабкаемся. Не может быть, чтобы этот народ исчез. Хотя и такой вариант вполне реален. В этом случае я всегда обращаюсь к опыту смуты семнадцатого века. Если бы спросили человека того времени о том, что вокруг творится, он бы однозначно ответил: «Конец Руси!» Казаки грабят, поляки грабят. Бояре скурвились. Четыре или пять самозванцев. Это же обалдеть можно! Если про первого самозванца — Отрепьева — ещё ходили сомнения: а ну как он действительно — чудесным образом спасшийся царевич Дмитрий? — то по поводу второго уже никто не сомневался: авантюрист и проходимец. И тем не менее, шли к нему на поклон — все бояре, вся Москва. И вот в ту смуту фактически произошло чудо. Когда бояре вдруг позабыли все распри и съехались выбирать царя. И по сути, выбрали царя-изменника. Потому что Романовы были союзниками поляков. Они выходили вместе с поляками из Кремля, когда побеждало ополчение Минина и Пожарского. Но приехал из Польши освобождённый Филарет и, в общем, осуровил ситуацию — не дал разгуляться боярам. Хотя свой митрополитский чин он получил из рук тушинского вора, прекрасно зная, кто он такой. И сегодня у меня есть надежда на нечто подобное.

Наталия Слюсарева

На открытом сердце

Я познакомилась с М. М. Рощиным, когда в силу его возраста, званий, регалий — известный писатель, именитый драматург — я не могла называть его уже Михаилом, Мишкой, Михой. Мы познакомились — и, что важно, сразу подружились, он допустил. На только что вышедшей в серии жзл своей книге «Иван Бунин» он и написал это главное: «Будем дружить! Ладно?» И как-то всё само вышло ладно. Ещё не так давно, в прошлом веке, его громкие пьесы «Валентин и Валентина», «Эшелон», «Спешите делать добро», «Старый Новый год» были более известны, чем его замечательная проза. Он был иконой мхата и «Современника». Его имя — повторяющееся в отчестве — было не самым удобным в произношении, во всё убыстряющихся ритмах будней, упрощая, я звала его про себя МихМихом.

— Где ты была вчера весь день? Не могли тебя разыскать.

— С самого утра — у МихМиха.

И всем ясно, что вчера я ездила в Переделкино в гости к Михаилу Михайловичу Рощину, откуда раньше позднего вечера никогда не возвращалась. Всегда только в гости — дружить, что вмещало в это понятие: выпить бокал вина, закусить, поговорить за жизнь. Чаще всего — на кухне, по особо торжественным поводам и при большом стечении людей (дни рождений, Новый год) — на терраске, на диванах. В последнее время он быстро уставал и после основной еды, отказавшись от чая, опираясь на тонкую неудобную трость, уходил поспать в свою комнату на кровать или прилечь на диванчике перед телевизором. Ночью не спал, плохо спал. В полнолуние — в продолжение нескольких дней вообще не смыкал глаз. Спал днём. В промежутках между сном и бодрствованием курил. И вёл совершенно неправильный образ жизни, даже, кажется, намеренно неправильный. Но жизнь его по качеству была лучшая.

Его никогда не отравляли собственные мысли по поводу происходящего вокруг. Он ни о ком не отзывался с осуждением, ни к кому не вязался. А плохое — то есть плаксивая унылая мысль — вообще не могло свить себе гнезда в его творческой голове. Это совсем не означает, что он был идеален. Он был эгоистом. Скорее всего, никудышным отцом, умел не замечать ближних чаще, нежели дальних, и умудрялся обидеть более всего тех, кого сильнее всего любил и кем мучился. И всё же его бриг попутным ветром под парусами шёл лёгким ходом.

Корпус его корабля, оставлявший белые кипящие буруны в людском океане, никогда не обрастал коростой зависти или озлобленности. Он был щедрым, открытым. Открытым даже слишком. Нараспашку — всем розам и всем ветрам. В нём действительно было нечто от капитана разбойничьей каравеллы. Отстучав на механическом ундервуде очередной акт пьесы, постукивая деревяшкой, он торопился выбраться на палубу к людям. Порадоваться. Веселье — что бочка с ромом. Что — швартоваться. Что — в порт, что — в море. Быть главарём пиратов ему шло, не случайно именно он инсценировал «Остров сокровищ» Стивенсона, где совсем не второстепенный персонаж, попугай Капитан Флинт судьбоносно скрипел с плеча Сильвера: «Пиастрры! Пиастрры!!!» Как капитан, он видел дальше всех, зорче всех и то, как под Сириусом с правого борта он пройдёт Сциллу и Харибду. Он видел цель. Его пиастрами, его цепями, его тяжёлым сундуком с кладом было писательство.

Внутренне, часто озаряясь этим во внешнем, он думал о работе. Он думал о правде, о том, как сделать вещь лучше. Он был уже не усреднённой моделью задумчивого «sapiens» — бери реей повыше: осознающего, отправляющего ежесекундно внешние впечатления на внутренние фактории, на переработку. К сожалению, он не имел угодий графа Льва Николаевича Толстого, по которым было бы так полезно пройтись после лёгкого завтрака косой, дабы уравновесить психическую энергию физической нагрузкой. Его психический баркас зачерпывал уже глубоко. Он потерял сознание прямо в салоне самолёта по пути в Штаты в 1978 году на премьеру своей пьесы «Эшелон», и знаменитый американский хирург Майкл Дебейки сделал ему операцию на открытом сердце — протез митрального клапана. К тому времени, как мы познакомились в Доме писателей в Переделкине (где у него был свой постоянный номер, смахивающий больше на лифт, в котором он жил с последней женой Татьяной), он уже перенёс инсульт. В столовую за порционным обедом он шёл ветвистым затемнённым коридором, очевидно прихрамывая, опираясь всей силой правой руки на палку. Искусственный клапан и регулярные, два-три раза в год, капельницы в институте хирургии им. А. В. Вишневского.

Стоял в очереди на писательскую дачу, никого не торопя, не понукая. Наконец, спустя десять лет, отмучив честно очередь в Союзе «за шапкой», перебрался в писательский коттедж на ул.Чаплыгина, бывшую дачу Андрея Вознесенского — дачу, знаменитую тем, что на её территорию как-то ступил ногой Марк Шагал со словами: «Вот самое прекрасное место на земле!» Прекрасного, прямо скажем,

мало. Участок никак не прибран, в прошлогодних листьях: трава, пни, остро торчащий кустарник. Земля не обработана, «нон колтивата» — обычное изумление европейцев. «Как у вас много земли „нон колтивата“!» Окидываю глазами участок с самыми обычными соснами. Так чем это место могло так поразить старика Марка? Верно, одним только деревянным штакетником, напомнившим художнику родной Витебск.

На кухне коттеджа, за квадратным столом, накрытым обычной клеёнкой, мы и встречались. Я также не спрашивала себе чая, не понимая, зачем он нужен после распитой качественной бутылки красного сухого французского вина (можно и чилийского), с сыром на лаваш, и закусок. Собравшись небольшим коллективом (жена Татьяна, мама жены, я, добравшаяся сюда пешком с электрички), усадив каждого на своё место, меня к стеночке (позвав МихМиха из кухни голосом жены: «Миша, мы уже за столом»), пойдя отважно бокалами на таран, прочувствовав хрустальный удар, дождавшись, когда тёплая волна дойдёт до сердца, мы размыкали внутренние сундуки и начинали одаривать друг друга впечатлениями. Мы говорили… о здоровье — оно обязано было прирастать, об искусстве — его задача была оставаться на отведённой ему высоте, о том, что сопровождало искусство, — о спектаклях, чаще в телевизоре, о старых верных книгах, испытывая при этом самое доступное, но от этого не менее замечательное удовольствие — от общения.

МихМих всегда готов был рассмеяться. Смеялся глазами, лицом, всем собою. Подгребая ладонью под себя, немного по-крабьи, зажигалку и сигарету, улыбался; вот сейчас засмеётся тому, что нам расскажет, может, театральную байку. Быстро зажигался и сам умел замечательно слушать. Когда рассказывал, никогда безучастно, то будто боролся со штилем: двигал ребром правой руки, как бы считая маленькие волны. Если бывал в силе, на подъёме то есть выспавшись накануне, то сидел с нами подольше и тогда вспоминал о ранних, интересных вдвойне, когда ещё никто, кроме балета Большого и цирка, не ездил за границу, поездках, о людях, о качествах любимых им людей. Про главного друга Ефремова.

— Встретил его, насупленного, мрачного. «Ты чего такой хмурый, ты же в театр?» И Олег, уходя поглубже в плащ, мордуленцию такую скрючил: «Ах, если б вы только знали, как я не люблю этот *театр…*» (Понятно — то, что в нём — оборотное).

Он с особой любовью говорил о Ефремове, восхищаясь его естественной свободой, мерой этой свободы — подумать только — в кастрюле под крышкой.

— «Ты чего это?..— А я ему навстречу по площади Маяковского мимо старого здания «Современника» с сеткой, в которой бутылки.— Ты чего гуляешь? Ты давай иди домой, пьесу пиши».

Он рассказывал о некой американке, страстно влюблённой в русский театр, в русскую культуру, помогавшей бескорыстно «Современнику» с гастролями в Америке. И как после её смерти ему передали коробку или что-то вроде урны с пеплом и завещанием развеять её прах в Москве над театром «Современник». И как они с Галиной Волчек ночью на Чистых Прудах, с бутылкой крепкого, опершись на бульварную ограду перед театром, куря как сумасшедшие, помянули её и развеяли американский седой пепел с его русской бессмертной составляющей над серебряным прудом, на котором весной всегда плавала пара лебедей.

Он вспоминал о том, каким прекрасным актёром был Олег Даль. И моё сердце замирало, потому что я была влюблена в Олега Даля и остаюсь верной этой любви до сих пор. Влюблена в его исключительный актёрский талант, светлую недосказанность, подробную нежность, в его привязанность к Лермонтову — в судьбу, нацеленную на пропасть, сгинуть — если не на Кавказе, так на Мойке или уже в заснеженной Москве… «карету мне, карету»…

Все шестидесятые, семидесятые годы театральная каста проводила за кулисами, по кухням у друзей или в ресторанах. Они были молоды, они не хотели расставаться. У Рощина в ресторане «Пекин» был, кстати, собственный столик, за которым в течение дня обычно перебывала вся труппа. Счёт отправляли драматургу. Он бы удивился, если бы было иначе.

Однажды в ресторане вто (в старом, до пожара, с огромными окнами в пол, выходящими на Тверскую и Страстной) в окне появился Олег Даль. МихМих сидел вместе с другими актёрами за столом как раз под этим огромным окном. Олег Даль своими журавлиными ногами легко преодолел не самый высокий бортик с улицы и шагнул прямо на белую скатерть, не залитую ещё коньяками и колами. Это было так неожиданно, так — «по-сирано», так по-актёрски. «Олежек! Олежек!» — раздалось восхищённое отовсюду. Лица сидящих за столиками озарились счастьем.

— Михал Михалыч, так за это же надо… — вставляю я свою реплику.

Реплика признаётся большинством сидящих на кухне истинно шекспировской, и под бдительно-неусыпным взором Тани, жены, бдящей меру, нам добавляют в гусь-хрустальные бокалы красного вина, и мы отщипываем ещё по куску лаваша с нежнейшим французским камамбером.

Его земная оболочка, которую он амортизировал на скоростных и сверх того оборотах, достойно служила ему достаточно долгое время и была само притяжение. В его лице, открытом и светлом, казалось, паренька с окраины, где собраны самые могучие, пышущие трубами заводы, на одном из которых он начинал учеником фрезеровщика, было нечто элитное. За такое лицо стоило заплатить, чтобы отрекламировать им зимние и летние модели швейцарских часов семейства лонжонов, снаряжение для игр всего «белого» по зелёному — гольф и поло, а также всего кожаного и серебряного, созданного дизайнерами по поводу «un vrai homme». Такому притяжению не противятся, за ним, сорвав пальтишко с вешалок, — на трамвае через весь город от мужниного стола, семьи, а то и пешком. За ним и уходили, взрывая за собой разводные мосты. А потом уходил он…

«E in Spagna. E in Spagna, e in Spagna—mille e tre» («А в Испании—три тысячи»,—предупреждает Лепорелло… «mille e tre»).

В середине шестидесятых блондинистые барышни простодушно мечтали столкнуться невзначай на Арбате с Василием Аксёновым, гипнотизирующим женское гипюровое облачко дымком табачной трубки, укрученным на кадыке шёлковым шейным платком. Аксёнов считался первым playboy-ем. И, как все бо́и, был, разумеется, паймальчиком, в чём честно и признавался: «У нас тогда секса не было. У нас разговор между парнями по подъездам был один: „Ну, ты её обжал? Ну, я сегодня свою пообжал“».

Но Дон-Жуан был один. И Москва знала его. Кому надо было, знали, чуяли, чувствовали, втягивали с полночным ветром. Маргаритами, разбивая стёкла, вылетали на Арбат и, кося зрачком на зеркальце-звезду,—над фонарями и высотками. Его быстрое, жадное внимание на новую радость, как он сам признавался, во многом передалось от матери. «Ну не виновата я, девчонки. Ну влюбчивая я!»

В Севастополе подружки выходили на балкон встречать и провожать на закате знакомого лётчика, но махал крыльями своего биплана он только Клаве. Лётчик был не простой, знаменитый, с почтовой марки,—исследователь, испытатель. Ещё бы: лётчики—они такие. Мой отец, тоже лётчик, шёл на посадку на У-2 на аэродром под Севастополем в те же предвоенные. В летнем городском парке под «Рио-Риту» кружил будущую жену. Приморские бульвары. Цветущие каштаны. С МихМихом мы могли бы сыграть ноктюрн в четыре руки про Графскую пристань, небо и море, корабли и самолёты. Мы понимали военное, любили лётчиков. «А что, Михал Михалыч, Олег Ефремов—он тоже наш гвардейский значок».

Со старой чёрно-белой карточки—Мика, крепкий бутуз в матроске и бескозырке, с Примбуля—Приморского бульвара. Любимое занятие—катить перед собою на проволоке колесо… Грохот. Мать выскочила на балкон. В клубах дыма оседал напротив дом. «Что это, что это, что?!» Отец, взяв за плечи, крепко встряхнул и сказал отчётливо и громко: «Клава, это война!»

Дворовая малышня с криками «Война! Война!»—ведь это так здорово!—высыпала во двор. Они вырывали траву с комьями земли и кидались друг в друга этой ещё не обугленной травой… «Война! Война!» Война подала с запасного пути эшелон. Эвакуация. Эшелон, в котором вперемежку—женщины, дети, станки,—заскрежетал колёсами на восток. О тех перегонах, о том, как матери сохранили детей, станки, себя, как выбрали «жизнь», он напишет пьесу «Эшелон». Эпиграфом к ней поставит парадоксально-пронзительное: «Будь проклята война—наш звёздный час!»

Мика, в пьесе Ника—мальчик серьёзный и печальный: «Во всё супится, как старый дед!.. Отец-то у тебя знаешь какой весёлый! Его по заводу-то каждый знает! А ты что?»—а он уже видел много такого, чего и не каждый взрослый потянет. Война сползла с верхней полки непосильным грузом прямо на детское сердце. И сердце ещё не раз об этом вспомнит.

Эпиграф-камертон ляжет погоном на плечо его поколения. Этот паровозный гудок всё ещё стоит над Россией, жаля сердца. Микина память с тех рваных перестуков колёс—оставшуюся жизнь, этот непомерный дар, просто живи, переливай в праздник.

На вечере в Доме актёра в один из последних его юбилеев заслуженная актриса кланяется ему в пол: «Спасибо тебе, Миша. Ты—один из немногих драматургов, кто писал для нас, женщин, полновесные тексты, не отписывался писульками. Ты давал нам роли, и за это тоже мы любим тебя!»

Однажды (он пригласил) мы поехали прямо из Переделкина в театр им. Моссовета на премьеру его пьесы «Серебряный век». В театре его узнали. Ему аплодировали. Было так необычно, так чудесно отмечать в буфете премьеру вместе с актёрами, которые только что—с поклонов, с подмостков. Вспомнился герой Булгакова и его почти физическое наслаждение от вида театральных декораций. Особый мир.

В начале лета я—на даче, на улице Чаплыгина. Привычно открываю калитку и вхожу на участок. Увёртываюсь от большой, громкой, глупой соседской овчарки Рады. «Рада, Рада, где твоя палочка?» На дорожке ближе к крыльцу сидит Рощин. Я обнимаю его и чуть целую в щёку. МихМих мне рад. Он тянется за новой сигаретой.

— Бери стул и садись рядом. Рассказывай, как дела.

Дела, скажем, не очень. Я заигралась с «ничегонеделанием», долги. В семье нужны деньги на учёбу. Я подумываю о том, чтобы сдавать квартиру.

— Сними с себя эту плиту. Отдай квартиру первому, кто будет согласен, и иди дальше.

Я соглашаюсь, я знаю—он прав. И хочу сделать, как он говорит. Я смотрю на него. Я восхищаюсь им. Он правдив, естественен, мужественен. Он великолепен, как «Севастопольские рассказы» Л. Толстого, как «Тамань» М. Лермонтова.

— Михал Михалыч,—объявляю я храбро, я не могу противиться такому обаянию,—давайте, когда мы уже перейдём в другие миры, давайте там договоримся, что встретимся в следующей жизни здесь, на земле, и у нас будет роман.

Он весело смеётся, кивает головой и надписывает мне свою книгу:

«С любовью, ещё на этой земле. М. Рощин».

Вечером я топаю на обратную электричку, оглушённая счастьем.

Осенью (в Москве—сплошные дожди и уже выпавший первый снежок), выгрузившись на Курском вокзале с феодосийского поезда, на следующий день первым делом звоню в Переделкино.

— А я—из Коктебеля.

— Так приезжай…

В сумке—букетики лаванды, камушки, неизменная фляжка из страны коньяков и прочий коктебельский сор. Прокаченная ветром и морем (в глазах ещё непомерная синева), возбуждённо рассказываю про путешествия, прогулки: пешеходные—по полынным холмам, морские—вдоль вулкана Кара-Даг.

— В «Золотые ворота» (скалы в море, продукт выветривания) целиком проходит катер. Все бросают монетки, стараются, чтобы монетка стукнулась о базальтовые своды. На закате и на рассвете ворота — точно золотые.

…Про веранды, про двор бабы Кати. В Коктебеле почти в каждом дворе есть своя баба Катя или баба Шура, у которой коза и которая отменно поёт украинские песни. Про смешную украинскую речь.

— А знаете, — а сама смотрю с хитринкой на МихМиха, — как по-ихнему будет «мишка косолапый»? — «ведмедик клешеногий». А «Кащей Бессмертный»? — «дохлик невмирущий». В Бахчисарае разочарованная Оксана пытает своего Вакулу: «Это що ж такий фонтан? Вон то що ж — фон-тан?»

Михаил Михайлович слушает замечательно, глазами своими парижскими сияет, поднимается в нём самом морская зыбь.

— В энном году снимали мы с Катей где-то в Коктебеле на окраине сарайчик, тоже вроде у бабы Кати. Я пристроил свою машинку на качающемся табурете у неё в огороде и там писал пьесу.

— А трудно пьесы писать?

— Да это самое весёлое занятие — пьесу писать.

— А плавали в море?

— Ещё как, часами.

Как-то сидели уютно компанией, по-летнему, у них на старой терраске, крашеной синей краской с мелкими стёклами. С чего-то вдруг с земного перешли к неведомому, к пространствам Вселенной: прилетали к нам, не прилетали и из каких дыр.

— А вот вы бы согласились пойти с инопланетянином на его корабль, ежели бы таковой пригласил?

Обращаются, кажется, ко мне.

— Я? — Я даже испугалась, что такое может произойти. — Да ни за что, да ни за что я не пойду и не полечу. Если бы они ещё были красивыми. Если бы прилетел какой-нибудь: справа — Ален Делон, слева — Лоуренс Оливье. Ну, я с ними ещё бы прогулялась до околицы. Но в таком виде — зелёные, без ресниц… Да вот из телевизора, в передаче о незнаемом, якобы к одной американке подкатила парочка таких слизких, с ушами, с приглашением на их бесступенчатый корабль. Она как затараторит: «Да отчего вы, мальчики, раньше не пришли, до завтрака, я бы с удовольствием, а сейчас у меня дети не кормлены, мужу жилетку довязать». Зелёные не стали настаивать.

— А вы, Михаил Михайлович, — спрашиваю, — пошли бы вы туда, на их корабль, в этот чёрный космос?

— Я?.. — И улыбается своим чудесным лицом. — Да я вот за этим маленьким мышонком (а у него с утра на тумбочке между шоколадок мышонок бегал) куда угодно пойду…

Его последней большой радостью был выход его полного собрания сочинений в издательстве «Жизнь» в 2007 году, им одним, без жены, вряд ли бы осиленный. Пять томов — в которых пьесы, повести, статьи, очерки, рассказы, названная весомо книгой замечательная вещь «Князь» — об Иване Бунине. Один том называется «На открытом сердце».

Он не хотел прихода этой зимы, боялся, не хотел холодов. Мы уже прикидывали (подсознательно, больше на уровне мечты) с его старшей дочерью Танечкой, как снимем на зиму что-то в Италии или в Хорватии и вот так, коммуной, проведём чудесную тёплую зиму на фоне виноградников, оливковых рощ и прочих средиземноморских чудес, моря в первую очередь. Я начала выискивать в Интернете варианты, распечатывала снимки частных пансионов и возила в Переделкино на общий просмотр и обсуждение. Помнится, более других нам приглянулся живописный домик под рыжей черепичной крышей в Сицилии, с необозримым количеством гектаров сада, спускающегося террасами, судя по объявлению, в полном нашем распоряжении.

Мы сочинили на эту тему почти что пьесу. Мы смеялись, представляя, что как только вступим ногой в этот сицилийский «вишнёвый сад», то тут же разобьём его на участки и станем сдавать их в аренду всем желающим русским — пусть ставят под кронами брезентовые палатки, стирают бельё, сушат его на корявых оливковых ветвях, гонят чачу, варят варенье. Деньги за аренду, разумеется, мы будем пропивать внизу, в портовом городке, в приморских кабачках. МихМих — в коляске с ярким шарфиком, «фамозо драмматурго руссо» — известный драматург, русский Пиранделло. Итальянцы — впечатлительны, будут отпускать нам миндальный ликёр «Амаретто» в долг.

Ещё совсем молодым, когда, ликуя и работая, не спал ночами, «срывал зубами шкурку с колбасы» (его выражение), ещё тогда с особым интересом он вглядывался в тех, кому скоро — за кулисы, в тень: в дряхлеющего мхатовского актёра, в разбитого параличом приятеля-драматурга, как бы уже тогда примеряя на себя тоску недуга. И тогда же записал одно из самых важных наблюдений и для себя тоже: «…Я осмелился написать об ощущении жажды жизни, любви, страсти жить, всё отдать за день жизни, за умение жить, не проклиная жизнь на каждом шагу своим вечным вонючим недовольством то одним, то другим, а за осознанную и сознательную человеческую волю и способность сказать «слава Богу!» каждому новому утру и уходящему вечеру» (М. Рощин. «До последнего мига»).

В последние годы пространство вокруг него всё сужалось. Из-за непроходимости сосудов в институте Вишневского хирурги забрали ногу до колена. На последнем жизненном перегоне его как будто снова определили в теплушку. Сидя на своём диванчике, что интересно, он именно ехал. Он путешествовал мыслью и был постоянно в дороге. Пейзажики так и мелькали за окном. Ему, так любящему движение, простор, были важны впечатления, было важно присутствие людей, друзей, которые в выходные дни наезжали к нему на машинах, добирались на электричках, с соседних дач — пешком. В прошлом году завернул к нему с Кубани писатель Виктор Лихоносов. Благодарно вспоминал, как МихМих первый напечатал его в «Новом мире», в котором он редакторствовал в середине шестидесятых в отделе прозы под началом Твардовского. Начинающий провинциальный писатель навсегда запомнил текст телеграммы, полученной поздно вечером за подписью Рощин: «Не

прыгайте до потолка. Ваш рассказ будет напечатан в таком-то номере журнала «Новый мир». Громовые слова. Более всего удивило и растрогало «начинающего» отношение редактора: надо было не полениться сходить на почту, послать телеграмму, всё же в эпоху до всяческих мобильных телефонов.

МихМих охотно звонил сам и отвечал на звонки, в разговоре всегда напутствовал: «Так, приезжай поскорее, давно же не виделись». Ему самому не терпелось выбраться куда-нибудь. Иногда выезжал в Москву на чей-то юбилей, если накануне не было приступа и бессонницы, появлялся в доме-музее Окуджавы на посиделках.

К слову, он совсем не занимался своим физическим телом. Конечно, он глотал нужные лекарства—упредить приступ, чтобы только поскорее отделаться. Но диеты, зарядки—боже упаси. В этом он был схож со своим дружком Ефремовым. Как же можно репетировать без дымовой завесы, затяжек—при том, что категорически нельзя? Обойдётся. А если не обойдётся—значит, хана. Жизнь, её не переломишь. Ранний болевой опыт военного детства. Страх, страдание существуют рядом, рукой подать. Боль в любую минуту может вцепиться в тебя стальной хваткой—значит, пока её нет, надо работать, писать, колготиться ночью, обдумывать, днём можно прикорнуть, главное—курево под рукой. «Опять спрятали пачку сигарет». Его держала Таня, жена и верная подруга, ей удалось выстроить вокруг него зону, не без ущемления свободы, но для его же блага. В последние полгода, оставшись без жены (в марте она вдруг упала замертво на кухне—всё то же сердце), он остался на ветру обнажённым. И первым сильным порывом он был сметён.

Сосед и старый друган Женя Евтушенко откликнулся из Оклахомы:

На кладбище тебе пишу я, Миша,
когда тебя хоронят без меня,
как некогда писал тебе в Камышин,
надеждам юных лет не изменя.
. . . .
Какие зимы мягкие пошли,
а все друг к другу так похолодели.
Все заняты.
Все, кажется, при деле…
. . . .
Да что с людьми случилась за беда?
В свои тусовки сбившись, будто сельди,
они забыли, что ли, навсегда
святую старомодность милосердья?

И это разве ли не Родина,
от равнодушия храня,
глазами Михаила Рощина
сегодня смотрит на меня?

Евг. Евтушенко. 3 октября 2010 г.

В день, когда не стало МихМиха,—первого октября (узнала практически сразу, по радио)—над Коктебелем было столько неба. Облака разных форм и разных движений. Одно облачко, розовое по краям, медленно поднималось в воздушном океане. Море было спокойно, а накануне гулял яростный шторм и с верхушек волн назад срывались седые гривы. На одной его карточке, где он ещё не Рощин, ещё Мишка с проходной,—так же ветром вихры назад.

День начался с утра обычным порядком: проснувшись, вылезла на терраску, прошла по двору к умывальнику между двух инжиров, зацепила пару виноградин с солнечной стороны лозы. Посмотрела на лозу. В Коктебеле меня осенило про лозу—кто она и откуда, почти открытие. В апреле как-то на экскурсии в Новом Свете, где, одновременно дегустируя, слушаешь про виноградники, узнала я, а я всегда люблю узнавать что-то новое, что корни лозы в поисках воды уходят в глубину на шесть метров и более. И буквально на следующий день в кафешке, куда бросились от настоящей громокипящей грозы, знакомая продавщица, отмеряя мне, промокшей, с подругой в бокал «Меганома», обронила на молнию: «Отлично, что молния. В старину старики говорили, что если весной много гроз, много разрядов в землю, то осенью жди хороший урожай винограда». И как только я это услышала, сразу будто увидела, как, чиркая спичкой, молния уходит под землю и чертит. А потом будущая лоза по этому белому электрическому чертежу поднимается к свету. Небо делится силой с землёй, и энергия молнии переходит в бокал с вином. И представила я, что непременно расскажу об этом замысле о лозе МихМиху. Он это оценит, непременно разовьёт, и нам что-то откроется, и станет тепло. Но не случилось мне ему об этом рассказать. А потом забылось про виноградную лозу с глубокими корнями. А виноградники—все прекрасные. Как они держатся, закинув на плечи ветви-руки, ходят в сиртаки день и ночь.

Греция—красивая страна. В Греции первой театр родился. Рощин и Ефремов бывали в Греции у друзей, и не один раз. Как-то повезли их смотреть руины античного театра. А Олег походил по амфитеатру, посмотрел и говорит: «Нет, это не театр». И действительно, сопровождающие ошиблись, не туда привезли. А Ефремов—он просто чуял этот театр.

Первая пьеса Рощина, которую не давали ставить на подмостках особенно долго и упорно, четверть века, была о греческом герое Геракле: «Седьмой подвиг Геракла». Подвиг—вычистить конюшни; город погряз во лжи, невежестве, продажности. Пьеса—гражданская, но нашим гражданам не нужная—лишний раз смущать, потому не разрешённая. Есть пьесы, которые так и не ставили. А как он писал о чувствах, о любви: «…и на речном, и на морском песке, коньками по льду, и кольцом на стёклах». Валентин и Валентина зарифмованы, как Кай и Герда, Ромео и Джульетта. Его проза, которая пока под спудом, ждёт ещё своего открытия

Он умел концентрироваться, как люди, которые занимаются творческой работой. Большие музыканты, большие поэты. Служил ремеслом людям.

Однажды на фестивале современной музыки, отвечая на вопросы слушателей, Альфред Шнитке сказал: «Было время, когда вера уводила меня от музыки. Но я вернулся к этой более греховной

и менее священной сущности, потому что я не мог не быть музыкантом». «А из тебя, Мишка, ничего, кроме писателя, не вышло»,—заметила ему как-то мать, наблюдавшая по телевизору соревнования гимнастов, мечтавшая для него о карьере более мужественной—моряка, лётчика, на худой конец—инженера. А ведь действительно—ничего, кроме писателя.

Он чертил белые электрические слова прямо из своего сердца, истощая его, и хочется верить, что, испив из его светоносного кубка, выправляя жизнь по его чертежам, люди будут меняться и становиться (не сейчас, так когда-нибудь) более искренними, более милосердными, мужественными и радостными. А если обратиться к Богу, то—спасибо Тебе, Господи, замысел твой пригодился.

Владимир Данилкин

Калужская электричка

Осенние цветы в последнюю дорогу
на ломаный асфальт кидали те, кто смог
прийти и проводить покойника до Бога,
а после сесть за стол—как подвести итог

О том, что жизнь прожить достойно и без боли
никто из них не смог. И только тот, кто мёртв,
разбил окно—и просто вышел в поле,
и, кажется, вот-вот обратно к ним придёт.

Калужская электричка

В полночь прибывают по привычке
те, кто слишком стар и очень молод.
В полночь прибывает электричка
в мой родной, но обречённый город.

Я—Адам, воссозданный из глины
(только без классических преамбул),
и земную жизнь до половины
прохожу сквозь опустевший тамбур.

Души покупают не однажды,
как их Мефистофель покупал,
а дают им умереть от жажды,
дьявол—всем известный либерал.

Их не жарят здесь на сковородке,
им дают работу и уют,
а потом, как за бутылку водки,
ночью самых близких предают.

Царство Небесное силой берётся—
можно узнать из глубин
и тишины под водой колодца,
где ты остался один.

И, по отвесной цепляясь бездне,
Туда, где полуденный зной,
Ты выползаешь к кромке небесной—
Мокрый, но всё же живой.

Найти неповторимые слова
и тихо прикоснуться к ним губами,
и к небу прикоснуться языком
так, чтобы закружилась голова
и чтобы мотыльком лететь на пламя,
но опоздать
и прилететь потом.

Тепловые радары
на словацкой границе
реагируют на тепло человеческого тела
нам не пройти
мы теплее камня

Не дождётесь! Ни слова,
Ни звука.
Жизнь такая абсурдная штука.
Сложная и подчинённая.
Набело не сочинённая.

Я волочу полозья дней
по снегу и по льду.
Я иду к любви моей.
Иду.
Иду.
Иду.

За каждой ёлочкой рассвет.
Светлеют небеса.
Надежды нет.
Надежды нет!—
кричат мои глаза.

И если суждено упасть
в оттаявшую грязь—
твои глаза докажут мне,
что смерть не началась.

Елена Крюкова

Меч Гэсэра

Картины немыслимой жизни женщины:
в стихах, прозе и песнях

Посвящается медно-зелёному
Будде Иволгинского дацана

—Да истинно говорю тебе, дочка: они очень, очень дружили—Исса и Будда; Исса как пришёл в Тибет, так у него и учился, а было Гаутаме лет тогда… ох, и не упомню сколько!.. да хоть бы и пятьсот, раньше люди помногу жили, да. Исса очень любил Будду, да… Ходил и проповедовал по Тибету, по Северной Индии… да и в Китае бывал… только Он учил, что Веды—неправильные. Неправильные, и всё тут! А сам лечил, лечил их всех, людей-то азийских… на ихних карбасах по Ганге плавал… и светился весь. Дай закурю, дочка!.. Такая Его жизнь была сильная, что весь дрожу, когда о Нём говорю…

Раскосое лицо седого рыбака наклоняется к трубке. Вот затлел оранжевый, карий огонь. Выхватил из густого осеннего мрака бровь, щеку, морщины лба, серьгу в ухе. Озеро накатывало на каменистый колючий берег ледяные волны с кудрявыми закрутами.

—А серьга-то… зачем?..

—А, баловство. Это я на флоте проколол—пиратом стать хотел, а тут нас взаправду торпедировали… Лежи, лежи, рыбочка!.. Не прыгай… Серебряная, краля…

Ногой потрогал шевелящуюся рыбью кипень на дне старой плоскодонки. Остро, дымя из трубки, глянул на женщину.

—У нас с тобой сегодня чудесный лов рыбы! Так Исса бы сказал.

И женщина вперила в замолчавшего рыбака горящие тьмой глаза свои. Запахнулась, защищаясь от резкого култука, в прожжённый на локтях ватник. Рядом с лодкой, прямо на галечнике, горел, дико мотаясь на ветру, костёр, сложенный из сухих кедровых веток и стланика. Выловленная рыба подпрыгивала на дне лодки—она хотела жить. Огонь пытался лизнуть устало брошенные на колени руки женщины—тяжёлые, набухшие переплетеньями вен, в шрамах, в пятнах смолы и царапинах. Над головой женщины, высоко над озером и тайгою, всходила круглая широкоскулая Луна, молитвенно светясь медовым, топлёным нежным светом. Луна стояла над затылком сидящей у костра—наподобье нимба. Старик оторвал трубку ото рта, сурово наклонился и обжёг жёстким поцелуем бессильную женскую руку.

—Да благословит тебя Исса, Марина.

Рука отдёрнулась. Огонь, мимо лодки с омулем и озёрного холода, вскинулся ввысь.

—За что, дедуня?..—в притворно-спокойном низком голосе закипели слёзы.—Ничем не вышла, ни кожей ни рожей, ничего не умею, кроме как робить до полусмерти… вот ещё лунные ночи люблю, с детства это…

Рыбак тихо положил прокуренную ладонь на её рот.

—Замолчи. За работу твою каторжную, ежечасную, благословит. За то, что ты на грешной Земле, здесь—Лунная дочка. Серьга моя мне всё сказала. Нашептала про тебя. А ещё нашептала, что я должен бы тебя сберечь от тьмы, да не сберегу. Время нас развело. А молодым уж не стану.

—Подумаешь, молодость! Велика отрава, валит с ног…

—Когда туда будем уходить,—старик слепо и медленно указал в зенит, где плыли навстречу друг другу ласковые омули звёзд и планет,—к твоей матушке Луне, только её одну, молодость, и вспомним.

Сидящая у костра раздобыла за пазухой мокрую мятую пачку папирос, наклонясь, прикурила от рыбацкой трубки, и в тёмной ночи распатланных волос омулёво сверкнула седая прядь. Луна разгоралась всё мощнее—ночь набирала силу. Кедрач гудел густым гулом. И затягиваясь глубоко и опьяняюще, будто глотая водку на морозе, до слёз, чтобы дымом—те слёзы скрыть, женщина в ватнике шептала, бормотала сбивчиво, так, чтобы рыбак не слышал из-за гуденья култука, из-за треска сучьев в костре: «Да как же узнал ты, милый ты человек, что не земная я баба, что я инопланетянка, что со звёзд я, со звёзд, с Луны я родимой, а тут, на Земле, поработаю—денег дадут, есть-пить можно…»

И, помня о благословенье Иссы, низко и благодарно наклонила она голову над костром.

Обратная сторона Луны

…В грязном ватнике, в тех рукавицах холщовых,
Что истёрты на сгибах до дыр,—
Я собой заплатила за мир мой грошовый,
Пьяный, яркий, пылающий мир.

Я работой молилась. Работой сражалась.
Пот рабочий ложбину проел
Меж лопаток. А что там усталость?..—
что жалость?..—
Это—слабым, кто жить не сумел.

Кто не сдюжил гужи, хоть за них зацепился!
Кто любить меня взялся—без сил!
В грязном ватнике—вот я. В меня ты влюбился?!
Не таковский пощады просил!

Солнце бьёт меж ресниц. Солнце пальцы ломает.
На морозе—сугробами грудь
Воздымается. Солнце меня обнимает.
А покинет—одна как-нибудь.

Доползу. Докричусь. Доцарапаюсь когтем.
Доишачу я смену—назло
Бригадиру. И выплачусь в рваную кофту,
Коли грянет совсем тяжело.

А лимоном вся выжата, глухонемая,
Дотащусь до каптёрки родной—
Да и лягу, мазутных сапог не снимая,
Пред окном, позлащённым Луной,—

Побегут по спине золотые мурашки,
И уставлюсь в лик круглый ея:
О Луна золотая, ты тоже—бродяжка,
Ты—сезонница, шельма, как я!

Так и смотрим друг дружке в раскосые лица.
Так и плачем, две бабы, навзрыд.
О Луна, длиннокоска, ты тоже—блудница,
Прачка дышащих смрадом корыт!..

Дорогая!.. Отмоем, отбелим, отдраим
Этот мир, эту копоть и грязь…
А потом, перед смертью, помстится мне Раем
Тот подвал, где на свет родилась…

И Луна, усмехнувшись, вонзит в меня стрелы
Мора, глада, чумы и войны,
Чтоб Юродивой Неба я песню хрипела—
Да с обратной её стороны,

Чтоб жила я Пришелицей в грозном прибое,
В нищем, яростном море людском,
И за звёздную мощь заплатила собою—
Обагрённым любовью виском.

…—Купите бублики! За десять рубликов!.. Купите щипцы для волос, хорошие, подержанные, слегка сгоревшие, окалина вот, но это ничего, завьётесь как маркиза, серебряный крест моей прабабушки купите, она была родом из дома Романовых, да её не расстреляли, она в Аргентину убежала. Купите чайник с горячим чаем, купите ежа живого, он в доме жить не может, купите и выпустите в лес, Бог вам это зачтёт, век богаты будете!.. Купите вьетнамскую корзинку, в ней удобно носить котят. Купите бананы сушёные, всего двадцать центов—можно и за рубли!..
—Облепиха, облепиха, ух, стакашек!.. оранжевая кровь… купи—солдатик!.. все девки тебя сразу полюбят…
—Кедровый орех, орех, мешки не дырявые!.. а, я чай, крепкие, как я!.. Не гляди, мил друг, что у меня трёх пальцев нет—ещё колот я держу, слава тебе Господи!.. Это мне в крушенье пальцы-то оторвало, давно… Эх и вино было раньше—«Солнцедар» прозывалося!.. я его всегда принимал, если ранение болеть начинало. А что нынешние винате?..—каво там!..—говно, и больше ничего!..
—Банку сельдей иваси продаю. Даром возьми! На что мне она, руки тянет.
—Молоко, молоко замороженное, сливки, а вот круги молочка, а вот сливочки жёлтенькие, дамочка, бери кружок!.. домой придёшь, в плиту сунешь—растопишь, пальчики оближешь, наши коровушки рыжия, сибирския, всё сладкое от них, аж прямо сахар!.. возьми скорей, мне на автобус надоть поспеть, до Култука…
—Гаспажа, вот эта гранаты! Вот эта груша—зимник, нэт красивэй! Купи, гаспажа!..—цвэт лица ярче, чем от любовника, будэт…
—Рыбка, рыбочка чебак!.. Рыбка, рыбочка чебак!.. Сушёный чебак, последний зуб сломаешь, дядя!..
—Деточка, меха, меха, меха!.. Мездра выделанная… ещё сырые… жалко зверьков, да?!.. а колотун ударит, звёзды с неба посыплются—каво носить будешь: будку собачью, да?!..
—Мёд!.. Мёд как масло—на хлеб мажь!.. Клюква, клюква, от всех скорбей!.. Калина!.. А вот лимончики, на вес золота, и сами золотые… а вот, наклонись поближе, под ларь, сюда, погляди—омуль тут у меня в ведре, богатство серебряное, пусть рыбнадзор к лешему шурует!.. а вот я пули на цепочках продаю, амулет на грудь, кто на груди пулю носит—от пули не погибнет, точно вам говорю, сам в них дырочки сверлил, сам цепочки вставлял… а это что у тебя за шрам на шее?!.. а это меня там пуля-то и зацепила, на Гиндукуше… санки, санки!.. валенки… ай, доченька, каво капустки не спробуешь из бочечки?.. справа ай слева, хошь с сахаром, хошь с уксусом—всему свой вкус!.. юные—они сильнее уксус любят… а картошечка с черемшой!.. картошечка!.. над ней аж пар стоит—только из дому приволокла, едва из печи… посыпала черемшой, перцем, луком жареным…

Марина шла по зимнему рынку.

Девка Маринка шла по зимнему рынку, и ноздри её раздувались, и глаза её смеялись. И дивно ей было всё это, и родно и близко, и не купить было всего, даже если из Лены, Ангары и Витима всё утопленное белогвардейское золото выловить и на рубли разменять. Снег морковкой хрустел под ногами, повизгивал, и вилась вокруг неё рыночная собака, пытаясь куснуть руку дающую, женскую. В надвинутом на брови платке, в ватнике, который, Господи, грел хорошо,—а из-под ватника—тёплая грубая юбка, а из-под неё—обрезанные размахрённые джинсы, заткнутые в траченные молью валенки,—она шла по рынку богиней и повелительницей его, и над её головой, закутанной в платок, вставало лёгкое сияние. День гремел солнечный, ослепительный. По мохнатому ярко-синему ковру неба плыли лубочные лебеди грудастых облаков. И далеко, далеко в сияющий Космос разносились быками мычащие басовые колокола Крестовоздвиженской церкви, а машины фыркали дорогим бензином, и на морозе дым свивался в клубки.

Сезонница Маринка шла по рынку и вспоминала своё детство. Как в детстве, ей хотелось поесть горячей картошки с черемшой прямо с лотка. Урвать из ведра у обветренного дядьки солёного омуля. Погадать у низкорослой беззубой цыганки, с коричневыми щеками, с тяжёлыми, огромными, как золотые шины, серьгами: «Каво будет мне, бабушка?..»—«Путь, красавица».

Она вспоминала, где и как она рождалась, а поскольку она была инопланетянкой, она была

обязана вспомнить всё — и до своего земного рождения. Но неподатливая память, напрягаясь, туманилась и пела иное. Да уж, время и место выбрала она без промаха, чтоб родиться здесь, затеплиться свечой.

— Девчонка, купи ягодок!..

Седая прядь вдоль щеки. Морщины у рта.

— Ой, не девчонка... ой-ёй... тёта, ну облепихи, чо ль, возьмитя...

Она расплатилась, подставила руки. Пацан сыпанул облепиху из стакана ей в пригоршню. Она ела жёлтую ягоду на морозе, под ярким Солнцем, и плакала от радости и горя — родиться здесь, жить и умереть здесь.

— Ты на сына моего похож, паря!..

— Так возьмитя меня в сыновья...

Слёзы застывали на щеках иглами куржака. Она ела ягоду и вспоминала город — далеко отсюда, — исторгнувший её на Божий свет.

Град Армагеддон

...Всей тяжестью. Всем молотом. Всем дном
Дворов и свалок. Станций. Площадей.
Всем небоскрёбом рухнувшим. Всем Днём —
О, если б Судным! — меж чужих людей.

Всем сленгом проклятущим. Языком,
Где запросто двунадесять сплелись.
Всем групповым насильем. И замком
Амбарным — на двери, где шавка — ввысь

Скулит так тонко!.. безнадёжно так... —
Всем каменным, огнистым животом —
Обвалом, селем навалился мрак,
Сколькиконечным?.. — не сочтёшь! — крестом.

Мне душно, лютый град Армагеддон.
Из твоего подвала — вон, на свет
Рождаясь, испускаем рыбий стон
В январский пляс над головой — планет.

Да, в метрике царапали: «Армагеддонский исполком и райсовет...»
Тех слов не знают. Им — сводить с ума
Грядущих, тех, кого в помине нет.

А я пацанка. Флажное шитьё
Да галстучная кройка впопыхах.
С вокзальных башен брызнет вороньё,
Когда иду со знаменем в руках.

Так сквозь асфальт — слеза зелёных трав.
Так из абортниц — мать: «Я сохраню!»
Средь серп-и-молот-краснозвёздных слав —
Оставьте место Божьему огню...

Но давит Тьма. Сменили ярлыки,
А глыба катит, прижимает плоть.
Ни напряженьем молодой тоски,
Ни яростью её не побороть.

Ни яростью, ни старостью — а жить
Нам здесь! Да здесь и умирать!
На площади блаженный шепчет: «Пить».
И фарисей — неслышно: «...твою мать».

Нет жалости. В помине нет любви.
Нет умиранья. Воскрешенья — нет.
Ну что же, град Армагеддон, — живи!
В пустыне неба твой горящий след.

И я, в твоём роддоме крещена
Злом, пылью, паутиной, сквозняком, —
Твоим мужам бессильным я — жена,
Да выбью стёкла сорванным замком.

Из гневных флагов котому́ сошью!
Скитальный плащ — из транспарантного холста!
Армагеддон, прости судьбу мою.
Мне здесь не жить. Нет над тобой креста.

Я ухожу, смеясь, в широкий мир.
Кайлом и стиркой руки облуплю.
Продута ветром грудь моя до дыр!
Да ветер больше жизни я люблю.

Родилась она в славном городе, затерянном в песках и снегах Сибири, а названья его не упомнила, запало в сердце лишь одно: «град Армагеддон» называл его дед, посасывая трубку свою, — а когда ей сравнялось пять лет, и дед, и мамка просто и тихо умерли, она и не поняла как. Соседи держали её за руки и давали ей конфетки, когда грузовики с кумачовыми гробами поплыли, ковыляя по колдобинам и ухабам, на старое кладбище. Её на кладбище не взяли, поминок не было, вместо поминок соседи надрались самолично купленной водки и стали бить друг друга, а потом пели и плакали. И кричали:

— Маринка!.. А Маринка-сардинка!.. Сирота ты, чо ль?!.. Сирота!..

А что было потом, в побежавшие побитыми собаками годы, она и вспоминать не хотела.

Не хотела, а в голову лезло. Вспоминалось. Вспоминалось, как однажды она пела в колодце каменного двора, среди бельм замороженных окон и скелетов балконов, и ждала, что ей с балкона бросят денежку, а в неё бросили пустую бутылку, бутылка мазнула её по лбу и разбилась об асфальт, а она упала лицом прямо в чёрную жижу лужи и нос расшибла, а с балкона кто-то чёрный, жёсткий хохотал и матерился. Вспоминалось, как в детдоме утыкалась исплаканным лицом в плоский, пахучий, обсиканный матрац, в подушку с казённой наволочкой и выла тихонько, как волчонок, оттого что Ираида опять велела ей завязать сначала Ираидины ботиночки, потом почистить их своим носовым платочком, а когда Маринка, глотая слёзы, чистила (а уж как платочек-то жалко было!), Ираида заверещала: «Дура!.. Опять грязь всю мне оставила!.. Получай!..» — и ткнула её ботинком в лицо. Вспоминалось, как жирная воспитательша, когда Маринку в детдом соседи сдавали, раздевая её, обнаружила на шее у Маринки бирюзовый крестик, тот, что мамка надела на неё ещё во младенчестве, вцепилась в крестик: «А вот это у нас нельзя носить, наши дети поганый опиум для народа не носят!» — и дёрнула бечёвку, та порвалась, больно врезавшись, до багрового вздутия, в Маринкину шейку; Маринка протягивала руки, плача, к жирному кулаку, сжимающему крест, но всё было бесполезно, мир катился в черноту. Вспоминалось, как она курила первую сигарету за гаражами, и когда её стошнило, детдомовские мальчишки, Лёха

и Сытый, дали ей подножку, и она растянулась на дурном месиве, крепко, подобно мальчишкам, ругаясь. Вспоминалось… да мало ли что! Голова пухнет от тяжести этой. Довспоминаться можно до чёртиков, до синих кругов перед глазами. До того времени, когда она сбежала из детдома, уцепилась за медленно бредущий вдоль станции товарняк и так, на буфере коровьего вагона, доехала до посёлка Балезино, не евши, не пивши,—а когда свалилась, вконец обессилев, с товарняка на пути и прибрела в станционный буфет, то буфетчица, охнув, так и осела наземь от её худобы и заморённости: «Ох ты, матушки, святая пустынница Мария Египетская!..»—и накормила её бесплатно всякой всячиной, какая только в буфете нашлась,—и бутербродами с засохшей сёмгой, и мёрзлой железнодорожной курицей, и вусмерть разбавленным мандариновым соком, и даже просто куски сахара Маринке подсовывала, пока она ела, всхлипывая, утираясь ладонью,—и вот там-то, в Балезино, началась её первая сезонная работа, так и осталась она на станции работать, в депо, девчонка, салага. Сначала она вагоны мыла, убирала. Хорошо она это делала, старательно. Потом ей старикан один, обходчик, доверил колёса проверять—стучать по ним, с фонариком ходить ночами, поломки-неиправности высвечивать. А ещё таинственное место было в Балезино. «Кладбище паровозов» называлось. Просто на путях стояли старые дореволюционные паровозы, с огромными краснобелыми колёсами. Они стояли и ждали; никто их не трогал, в переплавку не направлял. Они стояли и ждали войны. Так объяснили Маринке. «Если будет война,—сказали,—и электропровода сорвут, и разбомбят электростанции, вот тут паровозы наши и поскачут по рельсам и всех спасут. Как во время войны перемещаться-то будем?.. А вот они, паровозы, вот, родимые».

Какие-то из мёртвых паровозов подтапливали углём, оживляли—неизвестно для каких целей; они важно и неторопливо скользили по блестящим селёдкам рельс, пыхали угольным дымом.

Этот человек возник внезапно. Маринка ходила в оранжевой куртке, ёжилась, стучала молотком по колёсам скорого поезда «Москва—Лена», поднимала повыше фонарик. Снег сумасшедше дул и фыркал в лицо. Вывернулась из мрака фигура: машинистская роба, на правой руке нет мизинца, улыбка вспарывает, как финский нож.

—Чо делаем, девка, робим?..

—Отвали,—мрачно уронила Маринка,—будто не видишь.

И продолжала стучать железом по железу.

Беспалый машинист не отлипал. Он плоско и обрадованно шутил, вываливал на Маринку всякие неприличности и базарные анекдоты, толкал её в бок, сморкался в снег, закурил, бросил «бычок» под колёса, прыгал на одной ноге, дрожал. Он был весь несусветный и странный, как красная звезда Марс над полуночным Балезином. От него исходил бешеный ток—Маринка это чуяла, но она была пацанка, и где ей было понять, что это за ток такой.

—Пойдём со мной?—внезапно кинул он грубо и страшно, перестав шутить и колобродить.

Маринка вскинулась:

—А поезд досмотреть?!..

Но он, непонятный и безымянный, впервые увиденный ею человек, вдруг схватил её поперёк живота, как зверюшку какую-то, как кота нашкодившего, и поволок под секущим снегом в тень, прямо в распахнутый зев деревянного товарного вагона.

—Кричи не кричи, тебя здесь всё равно никто не услышит,—процедил он, зажимая ей рот рукой.—Подумают, что это телёнок в товарняке кричит.

И недобро усмехнулся, и ветер разрезал его усмешку.

Чёрное кольцо

На кладбище паровозов.
Близ станции Балезино.
Ты пил мои злые слёзы,
ты пил их, как пьют вино.
Ты угольщик древней топки.
И мёртвый твой паровоз.
Литья твоего и ковки
не помнят пульсы колёс.
Ты взял текучие ноги.
Ты грудью на грудь налёг.
Раздвинул ветром дороги.
Вонзился жалом в комок
Белья, безумья, мороза,
где—уголь, ночь, полыньи…
Ты пил мои злые слёзы.
А я испила твои.
Беспалый, углём пропахший,
калечный мой машинист!
Ножом в меня с неба упавший.
Разрезавший тишь, как свист.
Вспоровший нежное девство
рубилом—сколом—углём.
Срубивший под корень детство
серпом: «Да мы все умрём».
Снасильничал. Мял, как тесто.
Вжимался лицом в лицо.
А после дикой невесте
напялил на палец кольцо.
Кольцо из чёрного камня:
по-угольному блестит.
Увечными обнял руками:
«А кровь из тебя… летит».
А я лицом вниз лежала
на ящиках и мешках.
А я воробьём дрожала
на угольных сквозняках.
Железная ты дорога.
Проклятая ты моя.
Любовник первый—от Бога.
Вагон—навсегда семья.
Дрезины и вагонетки.
Коровьи товарняки.
И хлещут мёрзлые ветки
над рельсами—две руки.
И пьёт жадным ртом мои слёзы
мой грязный минутный муж
На кладбище паровозов.
В гудках их мазутных душ.

Она любила жечь костры. Она всегда любила жечь костры — и в детдоме, за гаражами, за туберкулёзным диспансером, там собирались они, сироты, холоднющими ноябрьскими вечерами, натаскивали туда, в укромные места, палки-скалки, хворост, разломанные скамейки, доски со строек, щепки и уголь, и ещё ящики и тару из хлебного магазина, старые журналы, бумагу бросовую, — всё это сваливали в кучу, поджигали — и, как первобытные люди, плясали и бесились перед костром, вытягивая над ним руки, плюя в огонь, приближая к ярости длинных оранжевых языков румяные голодные лица. И она научилась костры быстро разводить — знала, как сучья уложить шалашиком, как горящую бумагу подсунуть, чтобы ветер не отдул, а наоборот, раздул новорождённый костеришко. А когда огонь рождался и плакал на ветру — она молилась на него. После той свадебной чёрной ночи в товарняке она забеременела.

— Маринка, чо делашь?..

— Жгу костёр.

— А начальник станции увидит?..

— Хрен с ним, пусть видит. Как увидит, так и зажмурится.

Товарки — кто с молчаливым смехом, кто с громкими сожалениями — наблюдали рост её живота, но едва кто-нибудь начинал с Маринкой речь вести про её тайну, она окатывала болтунью ледяным взглядом — ноги пристывали к платформе.

И ночь за ночью, в самые удмуртские холода, она жгла и жгла за станцией, близ путей, свои костры, жадно и долго глядя в любимый огонь, пытаясь увидеть в нём себя — старую, ребёнка — взрослого, Суженого — где-то спящего в пустыне снега.

Но красные жестокие струи захлёстывали настоящее и будущее. А прошлое тлело лиловыми угольями: разворошишь — обожжёшься.

Ожидальная песня

Огонь рвёт Ночь. Огонь целует Тьму.
Пылает сын или дочь — Господи, не пойму.

Я жду. О Господи, жду. Всхожу на Твоих дрожжах.
Рожать я во Тьму уйду — со Светом я на ножах.

Сезонница. Голытьба. Сибирская дурота.
Бичовская худоба. Усмешливый омуль рта.

Уборщицы так нужны: вокзальная грязь кругом.
И дворничихи: весны разливы — под сапогом!

За злато гнётся холуй. За медь — лопату держу.
Костёр, мой живот целуй! И я — от огня рожу.

Я выгнусь в ночи дугой, младенец вспыхнет огнём!
В ночи от меня, нагой, светло, будто белым днём!

Взовьётся к зениту крик! Молочная брызнет грудь!
…Ты станешь — во Тьме — старик.
А нынче — родись: сверкнуть.

В кромешной Тьме — просиять. К Венере взвиться — костром.
В тайге — пожаром стоять. И плачу, бродяга-мать,
Холмясь буранным бугром.

Ребёнок, топчи пятой нутра кровавый прибой!
По смерти станешь — святой.
А нынче — родись: на бой.

И началось хождение по…

…по водам, по мукам, по исходам метелей, по кругам серпо-молоткового Гарлема, по трущобам, по работам-однодневкам и безумьям в вокзальных ночах на лавках — ибо начальник её рассчитал, как только увидел въявь, что девчонка беременная и работница уже никуда. А так как она детдомовская была, без роду-племени, уволить её труда большого не составило — бумажка подписью подмахнута, и весь сказ.

А сколь лет ей стукнуло, беременной собачонке, Бог и не пометил в церковно-приходской Своей книге.Потому что паспорта у неё ещё не было, а без паспорта — кто года сочтёт?

Она даже к женскому врачу не могла попасть; а кормилась Бог знает как — только что милостыньку не просила. Посуду мыла в кафе. Истопницу знакомую подменяла в котельной, пока та любовникам хвосты крутила. Хлеба немножко покупала, ржаного, капусту «провансаль» в овощной лавке брала — сильно ей квашеной капусты хотелось. Мыло тоже покупала самое дешёвое, чёрное, стиральное, им и мылась в бане. Банщицы знали её, перемигивались. Шутили беззлобно:

— Опять наша брюхатая школьница мыться прискакала. Ну, чистенький робятёнок-то выродится на свет Божий.

Жить ведь тоже надо где-то было! Пришла она в казармы, к солдатикам. Говорит тихо, сияя, животом круглым идя на них:

— Ребята, у вас тут грязно бывает, дайте я вам тут буду мыть, убираться.

А у самой по щекам крупные слёзы текут, нежные такие, частые жемчужинки.

Солдаты как грохнули:

— Тю, девчонка!.. Тебе с таким пузом… надо в креслице сидеть дома, распашоночки вышивать!..

И захохотали, обступили её, куревом дышали в неё и всякими ругательными словами — о, сколько ещё за всю жизнь она этих солёных, и ядрёных, и гадких слов наслушается!.. — а старшина подошёл, всех растолкал, на неё воззрился:

— Это ещё что такое!

— Возьмите уборщицей, — жалобно попросилась Маринка.

— Отставить плакать!.. И просьбы юродивые тоже отставить. Уборщиц не берём, есть дневальные. Разве только офицерам… Да, дружочек, брюхо у тебя нешуточное. Как же ты залетела, а?..

Она повернулась и пошла, уткой переваливаясь, глотая солёную, мертвящую воду слепо закрытых глаз.

Когда у неё начались схватки, она побрела в поселковый роддом сама, пешком, спотыкаясь от боли, садясь на снег на обочинах дороги, отдыхая. В роддоме её придирчиво осмотрели, посокрушались, что без паспорта, что девчонка, поцокали языком, градусник под мышку засунули:

— Ого, температура субфебрильная!..

Ещё по её телу пошарили, покопались и нашли в ложбине спины, под лопаткой, прыщ — от недоедания на коже выступали фурункулы, и вся она горела, как головня.

— В сомнительное отделение! — крикнул врач приёмного покоя.

Так и отправилась она рожать вместе с бродяжками, с бомжихами, с цыганками, с шантрапой, с уличными девками, которые тут же, в родильной палате, отказывались от своих кровных выношенных детей, с пьяными парикмахершами, с проститутками, — в Сомнительное Отделение Роддома Всея Руси, и глаза её горели под домиком сведёнными бровями в предчувствии неведомой, неслыханной боли, и, как будто кто толкнул её под локоть, она перекрестилась, вступая в неизбежное. Когда воды отошли и ребёнок пошёл вон из неё, ломая её, и она закричала, хотя дала себе яростное слово, что вот не пикнет совсем, — её взяли, положили на металлический стол, на белые простыни, заорали:

— Тужься, дура!

И младенец выскользнул, словно рыбка, и она прохрипела в кровавый воздух золотое имя своего ребёнка, которое навсегда осталось тайной у Господа.

Рождение Маринкиного сына

В горьких трущобах со сводами тюрем,
В норах казарменной кладки,
В острых дымах наркотических курев —
Живо наружу, ребятки!

Сладкие роды. Сопливые бабы.
Молот и серп — над локтями.
Сдёрните эти нашивки хотя бы —
Рвите зубами, когтями!

Очередь улиц на детоубийство,
Бабы, занять опоздали.
Чёрной подёнкой вы плод погубили,
Праздником — вновь нагуляли.

Праздник—душа: демонстрация, флаги,
Радио, зельц да вишнёвка,
Да из бумаги навертим, бедняги,
Красных гвоздик под «Каховку»!

С этих дождей-кумачей забрюхатев,
Выносив чёткие сроки,
В горьких трущобах рожаю дитятю,
Жилисто вытянув ноги:

Ну же, беги, несмышлёный бубенчик,
В Гарлем лабазов и складов,
В ночи разъездов, где винный путейщик
Перебирает наряды

Белых метелей, в дымы новостроек —
Брызнули ржавые крепи!
Режь головёнкой солдатскою, стоек,
Сцепки, и спайки, и цепи!

Мать — обрекаю тебя я на голод,
На изучение грамот,
Где иероглифы — *молот и холод* —
Спят в заколоченных рамах.

Мать — я толкаю тебя из утробы:
В нежном вине ты там плавал!.. —
В гарь полустанков, в тугие сугробы,
В ветра белёсую лаву.

Я изработалась?.. — Факел подхватишь.
Быстро обучишься делу.
…Картой Луны — потолок над кроватью.
Мучась, ломается тело.

Всё я запомню. Сырую извёстку.
Содранную штукатурку.
И акушерку, что матерно-хлёстко
Боль отдирала, как шкурку.

Вышит на шапочке — крест ли багряный?..
Серп-ли-наш-молот?.. — не вижу.
Выскользнул сын из меня, окаянной.
Ветер нутро моё лижет.

Ветер, ломяся до сердца упрямо,
Злые пустоты остудит.
Здравствуй, лисёнок мой. Я твоя мама.
Пусть будет с нами что будет.

Молока у неё, пацанки, было много. Хоть залейся.

Она прижимала сына к груди, пелёнок было мало, снова зима на земле стояла: какие тут стирки, где?.. — она в строительное общежитие приткнулась было, да её турнули с дитём, заверещали: ой, мы не уснём от крика, он у тебя так орёт!.. — она пошла с сыном в церковь, его покрестили бесплатно, священник зажал ему нос двумя пальцами и окунул в купель целиком, с макушкой, Маринка сразу полотенце протянула и закутала его, причитая. А священник гундосил басом: «Крещается раб Божий…» — и влил в его ротик насильно чайную ложку кагора, и от вина мальчик уснул крепко и проспал двое суток. И так, прижимая его к себе, Маринка ходила с ним по дворам и подворотням, ища, где тепло, где хлебом пахнет и жалостью людской. Но везде была только злоба, злоба одна, круто посоленная насмешкой, одобренная равнодушьем.

Наскребла она денег на невесть какой билет, подалась с мальчиком в неведомо какой город. Всё гудело в её ушах, плыло перед её глазами. Сошла в незнакомом месте. Город, счастливый под стрелами зимнего Солнца, выпалил в неё и сына салютами всех вспыхнувших сугробов и белых до боли крыш. Дымы из труб поднимались в зенит мохнатыми хвостами, зимними розами. Младенец весь горел. Она заворачивала его плотнее, неистовей в дырявое, найденное на свалке одеяло. Может, вода в купели была ледяная, и он простудился. Может, кагор был холодный. А верней всего, это в поезде дуло изо всех щелей. Милый! Бедный! Она жаркими напуганными губами щупала ему лоб, щёчки, плача, целовала его.

Вокзальные лавки были их ночлегом. За рубль её пустили в комнату матери и ребёнка. Постелили чистые простыни. Она с наслаждением вытянулась на хрустящих простынках, под боком у неё сопел сын. Посреди ночи Маринка проснулась как от удара копьём. Мальчик задыхался и хрипел. Он уже не просто горел — его пылающее тельце превратилось в сгусток огня. Вот когда сбылось пророчество балезинского костра. И Маринка закричала, закричала от горя и ужаса.

Прибежали вокзальные служители, заохали, судорожно вызвали скорую. Но никакие «скоро»,

«рано», «поздно» — не властны над медным звоном Сужденных Часов.

Смерть ребёнка Маринки

Ни кружки, что — к зубам стучащим. Ни примочек.
Во мраке — золотым крестом: не будет ни сынов, ни дочек.
Вокзал горит. Снега дымятся прахом. Светлая солярка
Зимы — горит. Ни шишки золотой еловой. Ни подарка.
Ни соски за пятак. Ни первых поцелуев.
Горит. Всё — ноги, грудь, живот — горит напропалую.
Сколь поезд здесь стоит?..
…Локомотив меняют?!
Горит вокзал. Луна над ним горит. В одно соединяют
Пожарища. Куда?! Куда я с ним подамся — с комом жара:
Вертеп, лечебница, ночлежка, ресторан?! — я им не пара.
Сбивает ветер с ног. Култук? сарма? шелонник?.. или…
Горит сынок мой весь. Крест на его могиле
Сама вкопаю — я! То город… или бездна поля?..
Горит зенит. Горят кресты снегов. И Божья воля
На всё. Заплатят за уборку зала ожиданья — хватит
На домовинку: пятьдесят на тридцать. Пусть лежит:
на марлях и на вате,
На иглах кедров, на колоколах-снегах заимок енисейских
и распадков
Тарбагатайских… да на шкурах тех волков,
что так любились сладко
На злой реке Иркут… а твой отец беспалый,
Суглобый машинист, в ночи считает шпалы,
Девятую сочтёт — на день девятый вздрогнет кожей,
До сорока дойдёт — в ладони зарыдает: Боже…
Горит!
Уже остыл. Пелёнки как грязны. Я отстираю.
Я отслужу. Я отплачу. Я вниду в двери Рая.
И там, где Пётр, святой, смеясь, звенит тяжёлыми ключами,
Я припаду к тебе, сынок весёлый и живой,
и мелко затрясусь плечами,
А ты на облаке стоишь. Беззубый. Топчешь Солнце голой пяткой.

…Ты просто убежал домой. Туда. На небо. Без оглядки.

Её не утешали. Её невозможно было утешать.

Она превратилась в маленькую девочку, в иссохшую старушку. Малюткой, умалишённой сидела она на больничном полу, в углу коридора, перебирала спички в руках, ломала их. Ей приносили из столовой бутерброды. Она откусывала от них равнодушно, кидала, надкусанные, на пол. Кричала:
— Птицам, птицам отдайте!

Ей пытались сделать успокаивающий укол — она отбивалась и царапалась, посылала медсестричек матом. Её хотели отправить в психушку. Главный врач детской больницы сморщился, завязал на затылке маску, чтоб не видели его дёргающихся губ:
— Оставьте её, дайте ей жить как живётся, она отойдёт, это пройдёт. Только кормите её, сделайте так, чтоб она ела хоть чуток…

И отошёл, и махнул рукой. И медперсонал, послушный и напуганный, делал всё так, как шеф велел.

А тут в эту детскую больницу явилась молодая пара. У них ребёночка прооперировали, благополучно — мальчонка оклемался, выжил, теперь сидел на руках у разряженной в голубые норки, красиво накрашенной итальянскою косметикой мамы, как чудесный котёнок с бантом на шее. Молодой муж нарядной жены, отец ребёнка, являл разительный контраст с нею. Высокий, с лицом землистого цвета, заросший бородою, лохмотья и заплатки не по-придуманному, для кокетства, а взаправду бедных, нечищеных и истрёпанных одежд; левая рука сломанная, на перевязи; ногу тянет — хромой. Под мышкой — картина: холст, масло. Он поклонился врачу земным поклоном и содрал с картины прикрывающую её газету. И обнажилась грязная, расплывшаяся сладкой глиной под заунывным дождём осенняя, тоскливая, протяжная дорога, длинная и печальная, как жизнь сама. Резкий холодный ветер там трепал жёлтые и красные кроны зябких нищих деревьев, а вдалеке шёл-брёл один-единственный Путник. На плече у Путника висела котомá, а под мышкой сидел, верно, зверёк какой — сурок, кролик или ещё кто-нибудь, тарбаган, может. Путник пел песню, дождь сёк ему лицо. Если долго смотреть на картину, можно услышать, разобрать слова этой песни. И стереть с лица своего капли холодного дождя.
— Дарим вам, доктор, — хрипло и горячо проговорил бородатый хромец, — сына вы спасли. Спасибо. Я вам свою картину дарю. Простите за мазню. Не Леонардо я. Как умею.

Маринка поднялась из своего угла, бросила коробок спичек на пол и пошла, пошла прямо к картине. Она вся дрожала. *Она узнала себя.*
— Это я, — тыкала она пальцем в фигуру одинокого путника, — я это, я, я! — кричала.

Врачи, сестрички, нянечки столпились. Молчали. А Маринка зарыдала в голос. Упала на колени перед картиной.
— Это я, я иду! Ухожу от вас… вот завтра уйду…

Растянулась на полу плашмя, распласталась лягушкой, забилась, стучала головой в половицы, надраенные санитарочками, рвала на себе волосы и рыдала, рыдала тяжело, страшно. Главврач всех отодвинул рукой, кто ринулся поднять её с полу:
— Не трогайте её. Ожила. Слава Богу.

Хромой художник, угрюмец, сел перед ней, бьющейся на полу, на корточки. Зашептал:
— Девочка, не плачь. Я бы написал тебе такую же картину. И подарил. Но не могу. Тебе её напишет твой художник.
— Кто?..

Она села, подняв зарёванное лицо к хромому дядьке. Его красавица-жена, расфуфыренная краля, осуждающе глядела на них, подбрасывая и тетешкая румяного ребёнка, и голубые норки на ней переливались серебристо, хоть сейчас пиши портрет. Но хромец смотрел на неё, только на неё. И резко, по всей больнице, пахло спиртом, хлоркой и кипячёными инструментами.

— Твой художник, — твёрдо, сильно повторил бородатый человек в залатанном пиджаке. И его жена дёрнулась лицом, но промолчала. — Ты встретишь его. И он напишет однажды на холсте всю твою жизнь и твой смертный час. Я знаю, что говорю. Моя бабка была знатная саянская колдунья. Она меня научила кое-чему. Я вижу будущее. Не всегда! Но вот теперь — вижу.

И он положил железную руку на плечо Маринки и больно, до кости, сжал его, клеймя, прощая, посвящая, заклиная.

А санитарочка Рая крикнула, плача:

— Сумасшедший дом!.. Ведь ужин скоро!..

Маринка поужинала вместе со всеми. А наутро встала, умылась в холодном туалете — из разбитой форточки дул беспощадный русский ветер, — сложила в сумку ребёнкино одеяльце — на память, расчесалась лошадиной гребёнкой, поцеловала нянечку Раю на прощанье и ушла — в смоль, в белизну, в пустоту сияющего перед нею безбрежья.

Дорога. Песня

К соли разымчивых рельсов язык примерзает —
Кровь опятнает неснятую шкуру зимы.
Узел платка. Старый ватник. Прольёмся слезами
Вдоль да по лику земли жесткокрылые *мы*.

Крепко работала — вдоль поездов проходила,
Звон проверяла колёсный — стучала киркой...
Всё. Рассчиталась. Тяни меня, слёзная сила.
Рядом со станцией — сын мой в земле под доской.

Перекрестилась на два семафора я — красный и синий.
Вот разрешающий, белый, диспетчер даёт.
Свечи столбов вдоль дороги зажгла мне Россия.
В храме вагона душа литургию поёт.

Лейся, зелёный! Качайте кадилами, кедры!
Колотом бейся, сиротское сердце моё!
Я — небожитель... дыханием Лунного ветра,
Млечно, с исподу, продуто страсти́ое бельё.

А небожителю дом — заревая дорога.
А небожителю счастье — с едой котома́.
Так и влачимся по снегу подолами Бога,
Пылью миров пропитавшись дотла, задарма!

Так вот и я, покидав на ладони монеты,
Чай закуплю, затолкаю в мешок сухари —
И — под звезда́ми Медведиц — по грязному свету:
Ночью — костры. Утром — белые слёзы зари.

Мне подмигнёт на разъезде попутчик корявый,
Ведать не ведая то, что я родом с Луны...
И одеялом укроет мне тело со славой;
Шепчет: «Снегами валите, весёлые сны!..»

Сжавшись в комок, я под тем одеялом заплачу,
Утлым подранком, последом-щенком заскулю...
Эх, астронавтка. Свалилась с Луны наудачу...
Звёздным морозом-венцом лоб охватит горячий...
Всё полюблю! Всё прославлю! И всё претерплю.

И на слепом полустанке я спрыгну, босая,
И упаду на колени обочь котомы́:
К соли серебряных рельсов мой рот примерзает —
Кровь широко окрестит плащаницу Зимы.

...А потом с ней много чего странного приключалось. Была ржавая, рыжая осенняя тайга, уже по утрам резкой голубизной оковывали стволы, корни и сохлую траву звенящие заморозки. И Маринка сидела на поляне, поджав под себя ноги, и пела, а на её песню из таёжных игл, хвощей, папоротников и мерзлот выходили разные звери — лисы и лисенята, медведи, волки. Чёрные спины медведей блестели. Красные волчьи глаза жгли Маринкины щёки, шею. Она боялась, что пойдёт снег. Её рот стыл на ветру, волосы раздувались и летели в широкое небо, молчащее над вершинами лиственниц. Лисятки катались по иглам, повизгивали. Матери ударяли их лапами. А она продолжала петь, и холодный пот тёк у неё по спине, меж лопаток. «Ты сумасшедшая! — говорила она себе. — Они загрызут тебя! Но молчать нельзя. Не молчи. Пой. Такое бывает раз в жизни!»

Когда она закончила петь, уже вконец охрипнув, и осторожно встала, и медленно пошла по таёжной тропе к станции, звери, понюхав воздух, вздрогнули, поднялись, вытянув хвосты и напружинив лапы, и пошли вслед за ней, сопровождая её. И один маленький волчонок заскулил, горюя, что певица умолкла.

А Маринка, чувствуя за спиной холод тяжёлой своей котомы́ и жгучие зверьи глаза, усердно молилась Богу.

Были и цыгане дикие, в монистах, с американскими дорогими сигаретами в зубах, напавшие на неё на тюменском вокзале и укравшие — для чего, Господи? — её немудрящие пожитки, пока она спала на лавке рядом с густо храпящим торговцем-грузином. Когда она поняла, что из-под головы её вытащили тючок с одеяльцем сына, с её Памятью, — вскочила, разъярённая, и с кулаками пошла на старую цыганку, предводительницу рода, увешанную монистами, как ёлка в Новый год на снежной площади! Цыгане навалились на неё всем скопом, вытянули её на солнечный, режущий глаза снег — и били, так страшно били, что даже милиция побоялась подойти. «Только бы у них не было ножей... и только бы не каблуками, не ногами», — думала Маринка, катаясь по снегу, закрывая глаза локтями, съёживаясь в нищий пуленепробиваемый комочек. Её не убили, конечно. Но кровь на снегу — она видела свою кровь на снегу, и она улыбалась и выплёвывала выбитый зуб на снег, и выплёвывала на снег всю горечь и ненависть, оставляя в себе, внутри, только свет и любовь.

Был отсыревший, пахнущий грибами дом лесника, которому она готовила еду, поила и кормила его, пожила у него немного, а потом опять вдаль пошла; а он-то думал, что она к нему навек приблудилась, и не пережил ухода странной девушки с выбитым верхним глазным зубом — сварил ядовитые, ему одному известные грибы и залпом выпил отвар. Маринка ничего не знала о его любви, она была уже в дороге, она шла по берегу реки Иркут и свистела, а заночевала на заброшенной заимке, и ей приснился мёртвый лесник, он вставал перед нею на колени и целовал её живот, прикрытый засаленным кухонным фартуком.

Во вновь отстроенных домах она нанималась белить печи и красить полы, и хозяева не могли нахвалиться ею: малярша—чудо!

А она знала, кровью и рабочим потом своим знала доподлинно, что за горе будет ей награда, что увидит она за мазутными шпалами, за копьевидными рельсами, за лабазами и складами, за проржавелыми сажевыми трубами смертоносных заводов, за колючими проволоками зон, за дымящими избами и хлевами, где мычат рыжие сибирские коровушки, свою детскую, детдомовскую мечту, свою сказку—Град-Пряник,—а что-то там будет за ним, далеко, ещё!..

И, получая замусоленные сальные деньги за свою великую, Всенощную работу, она мечтала о счастливой земле, она предчувствовала встречу, она мужала, грубела, застывала, матерела, старилась, идя навстречу мечте. Но, памятуя о том, как звери слушали её в тайге, она улыбалась, и разноцветный радужный снег смеялся вместе с ней.

Град-Пряник

Ох, Град-Пряник, я дошла к тебе, дошла.
Перед телом белым расступилась мгла:
Паровозы загудели славу мне,
Даль еловая раскинулась в огне!
И сквозь лузганья вокзальных всех семян,
Через визги, через песню под баян,
Через все скрещенья православных рельс,
Через месяц мусульманский, через крест
То ли римский, то ль мальтийский, Боже, то ль—
Через всю тебя, слезы байкальской боль!..—
Через гулы самолётов над башкой,
Чрез объятия, черненые тоской,—
Через пепел Родин, выжженных дотла,—
Ох, Град-Пряник, золотые купола,
Стены-радуги искристые твои!
Деревянные сараи—на любви,
Будто храмы на Крови! и пристаней
Вдоль по Ангаре—не сосчитать огней!
А зелёная ангарская вода
Глазом ведьминым сверкает изо льда.
А в Казармах Красных не сочту солдат.
Окна льдистые очьми в ночи горят.
И на пряничных наличниках резных—
Куржака узоры в иглах золотых,
А на проводах сидящий воробей—
Лишь мороз взорвётся!..—канет меж ветвей...
Ох, Град-Пряник,—а далече, между скал,
Меж мехов тайги—лежит Бурхан-Байкал,
Сабля синяя, монгольский белый нож:
Косу зимнюю отрежет—не уйдёшь...
Синий глаз глядит в отверженный зенит:
Марсом рыбка-голомянка в нём летит,
Омуль—Месяцем плывёт или звездой—
В нежной радужке, под индиго-водой!..
Да нерпёнок—круглоглазый, ввысь усы—
Брюхо греет среди ледяной красы,
Ибо Солнце так торосы дико жжёт,
Что до дна Байкала льётся жёлтый мёд!..

Ох, Град-Пряник!.. Я дошла: тебе мой стон.
С Крестовоздвиженской церкви—зимний звон.
Лязг трамваев. Голубиный громкий грай.
Может, Град мой, ты и есть—Господень Рай?!
Я работницей в любой горячий цех
Твой—пойду!—лишь из груди сорвётся смех,
Поварихою—под сводами казарм,
Повитухою—тут волю дам слезам...
А на пряничных, резных твоих стенах
Нарисую краской масляной в сердцах
Горемычную, простую жизнь свою:
Всех зверей в лесах, кого кормлю-пою,
Всех детей, которых я не родила,
Все дома мои, сожжённые дотла,
Все созвездья—коромыслом на плечах—
Как объятия в несбывшихся ночах,
Как мужских—на миг блеснувших—тяжких рук
За спиной во тьме всходящий Лунный круг,
То зерцало Оборотной Стороны,
Где смолою—до рожденья—стыли сны...

«...а Граду-Прянику имя Иркутск, и герб его—зверь бабр, и стоит град тот близ струй ледяной зелёной Ангары, вытекающей из Байкала; а у истоков Ангары, там, где Шаман-Камень, есть банька из чёрных брёвен, срубовая; там живёт—испокон веку—один старик. Никто не знает, кто он—пророк, лама, шаман, колдун. Когда в тайге идут по весне лесные пожары, он заговаривает огонь; когда к баньке прибредает медведь-шатун, старик выходит ему навстречу и поёт ему прямо в морду—песню. Глаза у старика раскосые, как у китайского ребёнка; из-под островерхой меховой шапки—косичка: луковым хвостиком. В хитрых его зрачках горят две Канченджанги. Изредка он приезжает верхом на старой белохвостой тибетской лошадёнке в Град-Пряник и так учит мёрзнущих на синем ветру иркутян: не бойтесь Востока, скоро сюда придёт Будда-Майтрейя с бирюзовым Третьим Глазом во лбу. Если вы воспротивитесь ему—он погрузит вас в чёрное озеро горя. Если вы полюбите его—вечно будут жить ваши дрожащие на ветру смертные души и маленькие мгновенные тела. Любите, тогда вы не умрёте. Вставши, оденьтесь, поешьте, любите людей рядом с вами и любите Майтрейю. Всё просто, и так спасайтесь!—учит старик, хранитель Шаман-Камня.

И в это время вдоль по Граду-Прянику, опушённые куржаком, бьют, как струны, друг об дружку провода.

И внутри них летят искры, долетая до сердца лениво поворачивающейся в зените с боку на бок Большой Сибирской Медведицы».

Маринка оторвалась от манускрипта и глянула поверх воздуха и мира незрячими глазами.

Град-Пряник многое ей открыл в жизни.

В Граде-Прянике она наклонилась над зелёной обжигающе-морозной Ангарой, глянула на своё

отражение в воде и с изумлением увидала, что молодость её прошла. Вдоль по лицу текли и исчезали резкие морщины, как слёзы. Сколько раз обошла она уже вокруг ближайшей, сверкающей Зимней Звезды?!

В Граде-Прянике она отламывала сладкие куски от резных наличников, от цветных печных изразцов, от ставней, похожих на золочёные складни, и грызла, вкушала, запоминая вкус, цвет и запах на долгую, дымную, чёрно-серую, смоговую жизнь.

В Граде-Прянике она в мороз познакомилась на улице с буддийскими монахами, одетыми в нарядные красные плащи и оранжевые куртки, похожие на дворницкие.

— О, и у меня была такая же куртка!—сказала Маринка, развеселившись, и потрогала пальцами монашью апельсинную ткань, сотканную, верно, далеко в горах—в Ладаке или в Лхасе.

Снежинки слетали и весело садились на бритые голые головы лам. Они обступили Маринку, как те дикие звери в тайге. Сказали шёпотом:

— Твоя судьба на рынке. Иди на рынок. Купи себе там стакан кедровых орехов. Увидишь, что будет. А потом соверши паломничество в Град Бирюзового Будды. Это будет деяние твоей жизни. Ступай!

И она послушно пошла на рынок—за пазухой у неё оставалось ещё немного заработанных намедни деньжат; хватило бы не только на орехи, но и на кусок вяленой медвежатины, и на горсть варёной картошки с солёной черемшой.

Рынок плыл среди Града, как не затонувший корабль-призрак, и роскошная снедь вповалку спала на его жёстких, усыпанных снежной серебряной крупкой плацкартных ларях и прилавках. Маринка металась голомянкой вдоль рядов—орехи искала. Огромный заросший мужик запустил в рогожу мешка руку, из кулака с шорохом посыпались в мешок крупные кедровые орешки:

— Гля, девка!.. Одно веселье!..

И внезапно из-за мужика с ореховым мешком, из-за бабы, улыбающейся распаренным краснощёким лицом над кастрюлей с дымящейся мохнатой картошкой, из-за коричневокожей старой бурятки, бойко торгующей чёрным и жёлтым мёдом, медленно капающим с деревянной ложки-лопаточки, вывернулся…

— Картины, картины! Лебеди, попугаи, слоники!.. Вот чаепитие в Мытищах. Прошу, пожалста. Недорого. А вот русалка на камне. Она плачет по своему возлюбленному. А вот два лебедя: один умер, другой на него шею положил. И всего-то за… Господа! Это уникальные картины. Не пожалеете! Вот старый китаец чинит рыболовные сети. Отдам за… не толкайте, холст проткнёте!.. А вот розовая пантера. Она готовится к прыжку на берегу китайской реки. Авторское исполнение! Неповторимое! Всего за… Господи, сейчас и цено таких нет уже!

Губы Маринки пересохли. Забавный парень. Весело торгует. И картины—его. Малюет он их, конечно, левой пяткой. Двумя красками. Розовые лебеди на синем. Розовая кошка на берегу синей реки. И так далее. Коврики какие-то. Она не могла оторвать глаз.

Он увидел, как она смотрит, засверкал узкими чалдонскими глазами навстречу ей, шагнул ближе. Обвёл рукой свою рыночную галерею, горделиво выгнул грудь:

— Что, недурно?

— Да уж,—выронила Маринка, как медную монету,—ничего.

Парень свистнул.

— Фью-у-у-у! Ничего! Да это же и сравнить нельзя ни с чем!

— Да, да,—поспешно согласилась Маринка,—ни с чем.

И они посмотрели друг на друга.

Всё поплыло меж ними, снялось с места. Сместились снега, грады, страны, народы. Неистовые слёзы заволокли ясновидящий хрусталик. Они потянулись друг к другу, возжелали друг друга до боли, до смерти. А что смерть людям, у которых вся вечность впереди?

И здесь, на рынке, на снегу в шкурках семечек!..—невероятно. Чем заплатить судьбе?—золотом, платиной, драгоценной рухлядью, облепиховым маслом?..—никто не знает.

Парень крепко взял её за руку. Ослепительная лунная улыбка быстро взбежала на его широкоскулое лицо.

— Красавица моя,—только и сказал он, а больше ничего.

И они ушли с рынка вместе, смеясь, закупив с собою целую огромную сумку всякой всячины, лучезарной, сладкой, солёной, сочной, лакомой снеди: и помидоров, и хурмы, и копчёных кур, и вяленых ельцов, и банку липового мёда, и её любимой картошки с черемшой, и орешков, и облепихи—ведь у него продались сегодня на рынке сразу две больших работы, они были теперь богатые, и пока они шли к нему домой, в нищую захламлённую мастерскую, Маринка украдкой трогала пальцами, сняв варежку, морду розовой пантеры на берегу китайской реки, её уши и усы. А в мастерскую пришли—холод! Печку растопили. Чаю заварили с травой «верблюжий хвост». Парень воззрился на Маринку, как баран на новые ворота. Так никто никогда не смотрел на неё. Она бессознательно поправила волосы—ранняя седина, чёрт!—улыбнулась, чтобы скрыть лапки морщинок, а они ещё ярче, злее проявились.

— Всё равно ты Венера перед зеркалом,—упрямо и хрипло сказал парень,—всё равно я буду тебя голую писать.

Шаг. Ещё шаг. Ещё шаг к ней. Он снял с неё платье в заплатах. Она сняла с него рубаху. Они стояли друг перед другом нагие, золотые, положив пальцы на худые рёбра друг друга, горели сухим и яростным жаром.

Он встал на колени и стал целовать чечевицы её родинок на нежном куполе живота, на выгнутых дрожащих бёдрах. И всё расходилось, разъединялось под его поцелуями: и сведённые колонны ног, и марево и темь живота, и лунные лики грудей, брызгающих из сосцов звёздами в разные стороны чёрного морозного Космоса, и все ущелья, и заливы, и протоки, и каньоны, и затоны, и лощины, и…

…и когда она уже лежала навзничь, а он летел навылет через неё, и пел, и кричал бессловесную песню, стремясь выкричать в неё счастье и взять в себя её молчаливую боль, она простонала:
— Ты моя судьба, чо ль, паря?..

А он, летя и улыбаясь, положил мокрую, жаркую руку ей на губы, приказывая молчать — навек, до разлуки, до встречи.

Ламы, ламы в апельсинно-оранжевых святых куртках! Они пришли, когда любовники заснули, и повелели, и напомнили. Обещание было дано Маринкой, и, коль ты живёшь в Азии, клятва паломничества — незыблема и соблюдается тщательно. Утром, когда уличный художник ещё спал, она, как всегда и везде, выскользнула из дома незаметной, тихой мышкой, с узлом на спине.

Шла и плакала, а утренний мороз был силён, редкие автобусы гудели ей вослед, а слёзы застывали на щеках и падали, осыпаясь, с тихим шуршащим звоном, улетали, подхваченные ветром, в зенит.

Она спрашивала дорогу, ей показывали. Ехала в узкоколейных старых поездах, тряслась в крестьянских телегах, шла пешком через дабаны. Синяя гладь громадного Озера покачивала на ладони перед ней одинокий ледяной торос. Монастырь стоял на грустном берегу, у крыши были загнуты к небесам углы. «Дацан…» — прошептал далеко в ней птичий голос. Перед Дацаном ветер вращал цилиндры с нарисованными на них тушью иероглифами. Тайные письмена вертелись перед глазами Маринки, таяли, восставали из тьмы снова. Снег летел на них сверху, жёстко крестил их, целовал. Лёгкий звон невидимых колокольцев наполнял воздух над Озером и зубцами иссиня-стальных гор.

Старик в островерхой меховой шапке, с китайской косичкой, возник перед ней как из-под земли.
— Что, Марина, — прохрипел, — хочешь в зеркало Озера поглядеть? Хочешь *всё* там увидать?..

Она поёжилась. Прижала натруженные, мозолистые руки к груди.
— Нет, всё, пожалуй, боязно…

Усмехнулся печально старик. Захромал к цилиндру, повернул барабан рукой. Пляшущие письмена поплыли, замелькали, сливаясь в сплошные чёрные рыдания.
— Вот твоё будущее, — жёстко, жестоко сказал старик, следя глазами бег цилиндра. — Суждено тебе меч Гэсэра найти. Суждено им сражаться. Излечишь много людей в людском море от страданий, но суждено тебе от людской руки умереть. А человек, которого ты любишь, всё увидит острым глазом, всё запомнит, всё запишет, оставив тем, кто придёт после нас, в назиданье и в урок — вот как ты, Марина, любила и жила, какие совершала деяния на этой Земле в этом воплощении своём.
— А какие… — голос Маринки пресёкся… — какие у меня ещё были… будут воплощенья, старик в лисьей шапке?.. Ответь…

Хитро прищурился монгол. Запрещающе сверкнул перед её лицом лезвиями глаз.
— Об этом нельзя говорить, женщина, — молвил сурово. — Довольно и того, что ты знаешь про меч. Гэсэр-хан его надёжно спрятал. Лишь тебе одной из всех смертных суждено его в руки взять, поднять, прижаться губами к нему. Но смерть твоя рядом с ним зарыта, терпеливо ждёт тебя, Марина, Морин-Хур.

И звенели, звенели льдинами в сведённом судорогой мороза немом воздухе незримые колокольчики: «Цзанг, цзанг, цзанг… Цзанг-донн… Цзанг-донн…»

Град бирюзового Будды

Цзанг-донн… Цзанг-донн…
Из морозных похорон —
Хвост павлина. Ночь сапфира.
Видящее Око Мира —
До ядра Земли дыра,
Во льду нерпичья нора…

Упаду на колени… Милый, бедный мой Будда.
В Иволгинском дацане, дура, вымолю чуда —
Поседелая баба!.. успокоиться где бы!.. —
Снег по-старомонгольски вниз посыплется с неба…
Ах, мой гладенький Будда, из нефрита сработан, —
Ты сними дождевик мой, оботри мои боты
От грязюки, налипшей на солярковых трактах,
Излечи от осенней — дождевой — катаракты!..

Ты любовник был чей-то, царский сын Гаутама…
Я погибла, мальчишка, я скажу тебе прямо.
Я в болоте судьбинном знала кочки и броды,
Да мужик придорожный глянул в душу с испода.
А мужик-то — эх, Будда!.. — жердь, юродивый олух,
Площадной он художник — не учился он в школах:
Расписует он ложки, шьёт для лам гладко-бритых
Ярко-алые куртки! мастерит из нефрита
Толстобрюхие нэцкэ, чечевичные чётки —
Да на рынке в морозы с ними пляшет чечётку:
Раскупайте, сибирцы, Гоби высохший пряник,
Продаю за снежинку… за табак да за стланик…
За ледовую пулю колчаковских винтовок…
За бруснику-кислушку автобазных столовок…
За зеркальный осколок декабристских трельяжей,
За шматок облепихи!.. За верблюжию пряжу
Забайкальских метелей, — ах, мой Будда, а я-то —
С ним — навытяжку — рядом, наподобье солдата!
Он базарный художник!.. торговал он и мною,
Моей шкурой лошажьей, омулёвой спиною;
Мне пощёчину утром как влепил — я запела,
Нож надел мне на шею — я и снять не успела…

Будда!.. Ты, Шакьямуни!.. Помоги!.. Распласталась
Лягушонком в Дацане, видишь, бью я на жалость:
Вся любовь человечья — это створки перловиц,
Больно рвём их, осклабясь, ловим жемчуг былого,
А о будущем — жмурясь!.. позаткнув крепко уши!.. —
Не видать и не чуять, не вдыхать и не слушать,
Только знать, что Любовник был с Любовницей вместе
Ночь одну, две ли ночи, — дольше — много ли чести!..
Будда!.. гладкий пупок твой, пятки — ртом я горячим
Простегаю!.. над нежной маской смерти — заплачу:
Зри своим Третьим Глазом — я не Белая Тара!
Колдуну-малеванцу я, мой Боже, не пара…
Я сезонка, подёнка. Бельевая корзина.
Я железнодорожка. Моё имя Марина.
Я с путейцами — водку. Я с обходчиком — чаю.
Твоё, Будда, рожденье в феврале отмечаю!..

Будь здоров!..

…умоляю… пособи мне, щербатый…
Ты же можешь, Майтрейя… мы—твои все козлята…
сделай так… чтобы я с ним на постели сплеталась…
чтоб без запаха красок во припадке металась…
чтоб он в кружке монгольской мне заваривал мяту…
чтобы жил без меня он—как на камне распятый,
а Звезда ледяная ему печень клевала…
чтоб ему было мало…—всё меня!..—было мало…
всю-то жизньку-жизнёшку, всю судьбу-то судьбишку—
до того, как гвоздями заколотят мне крышку,—
слышишь, ты, доходяга, медный, прозеленелый?!..—

Я люблю его душу.
Я люблю его тело.
Ты прости, Гаутама,
мальчик, если позволишь—
Я тебя поцелую!..

…Я целую—его лишь.
Цзанг-и-донг—на морозе.
Чётки-слёзы струятся.
Куржаком не обвиться.
Никогда не родиться.
Никогда не расстаться.

Теперь весь её Путь согревался им. Им одним.

Где бы она ни жила, как бы каторжно ни работала, по каким бы дорогам ни шлялась, как бы ни курила сухие травы и дешёвые табаки, пытаясь отвлечься, забыться, забыть,—она неизменно, как пьяница к бутылке, возвращалась к нему. От соды, от горячей воды, от выжимаемых тряпок, от грязных вёдер трескались и опухали руки. Легкие прочернели, устали вдыхать заводскую пыль, терпкие испарения автоклавов, сажевые хлопья, древесные опилки. Человечество постоянно что-то производило, люди копошились по лику Земли, как букашки-трудяги, и кто-то должен был делать чёрную работу—драить, скоблить, вылизывать, подчищать. Маринка попала в чернорабочую часть человечества—она это давно поняла. И не роптала. Она отроду смирилась с данной Богом участью. Засучи рукава до носа. Клади шпалы. Таскай тяжести. Наклоняйся низко над чужой обувкой в уличной будке, подбирая шнурки и стельки. Вынимай рыбу из лодок, в мешки и ящики ссыпая. Мало ли дел на этой планете! И за каждое дело деньги жалуют, а ведь она женщина ещё. И тоже хочет красоты какой-никакой.

Правда, особо не до ухорашиванья ей было: подъём в рабочих общежитиях ранний, шесть утра, постылое радио гремит дивный гимн; залихватски, чтоб проснуться и подбодрить себя, ругаются соседки, ноги спуская с постели. Холодные вытертые одеяла в трубочку закатать, сбегать наспех умыться, в отхожее место, пахнущее клопомором, расчесаться железной расчёской—вот и весь марафет сезонки, лучше не придумаешь. Широко раскрывала Маринка глаза на тех баб, что прыскались под мышками всякими зельями, и даже заморскими. А пахли они завлекательно! Однако не в театр же стопы направляем, а на завод! Она ненавидела горячие цеха—пришлось там поработать немного. На одном из её пальцев, на удивленье товаркам, горело железное, стальное кольцо, происхождение его многих девок и баб занимало, они подкалывались к ней:

— Маринк! А Маринк!.. поделись, а, кто тебе фартовое такое кольцо залимонил?.. чай, ручищи-то у тебя вон какие грубые!.. оно тебе как зайцу мандолина… и жа-лез-ное!.. небось, это примета какая…

Она молчала, недобро глядела. Стал её одолевать нудный, надсадный кашель—то ли курево давало о себе знать, то ли смог, коим пропитались её альвеолы и бронхи, прогрыз внутри неё мышиные ходы и дыры. Она заходилась в кашле, падала плашмя на панцирную сетку казённой койки, сотрясаясь до слёз. Сожалеючи смотрели на неё случайные спутницы по жизни. Кто-то однажды, во время такого приступа, заварил ей чай с липовым цветом—она прослезилась от благодарности: ещё никто, никогда, так нежно!.. Болеть некогда было. Сухой маятник земного времени стучал неумолимо, и время было отмерено жадной, придирчивой рукой и расписано по секундам. Рабочему человеку нельзя болеть. Она теперь слишком хорошо знала, что такое рабочей лошадке быть беременной и больной. Значило это только одно слово—«прощай». Но и рассчитываться, и прощаться она уже научилась без дрожи.

И чем дальше шла-бежала жизнь, тем больше, тем бесповоротнее понимала Маринка, что занесла её нелёгкая сюда лишь погостить, что наработается она—и уйдёт, Луна ждёт её, молча, серебрясь, терпеливо.

Ей ничего не было жаль—беспросветная работа так измотала её, что она с радостью ушла бы отсюда к Луне *сама*, но её художник! Её художник! Как же он без неё!..

Она-то без него—могла.

Мужиков ей на дух не надо было, хоть ночами и отжимали её, как тряпку, судороги любовного ужаса, смертно льющейся стоном истомы. К ней клеились, приставали, нагло или робко ухаживали за нею—мрачные рабочие, пьяные бомжи, разбитные сутенёры, хромые старики—сторожа складов; было дело, что её даже насиловали, брали за здорово живёшь её никому не нужное тело, но всё это была сущая чепуха; тело—кому оно было нужно, худое, резкое, в изломах костей и изработанных мышц, обездоленное, пустоцветное?!—это тело вроде бы принадлежало ей, но оно ей было ни к чему, берите на здоровье, ешьте, пейте, кусайте, глумитесь, хоть разрежьте на куски, он всё равно *не мой*, этот грязный кусок говорящей плоти. А *моё*—это моя душа. Да и та—не моя. Моя душа мне не принадлежит. А принадлежит она—сами знаете кому.

И те люди, вонючие, жестокие, мускулистые мужики, что мяли и щупали её в тёмных, сокрытых от всякого глаза местах, смеялись ей в лицо, блестя вставными серебряными зубами и белками вожделеющих глаз, были ей совсем не страшны, совсем не нужны—ни ей, ни её телу, ни её душе.

Душа её стояла на солнечном рынке в Граде-Прянике и обнимала и целовала бородёнку, рот, усы, и волосы, и лоб, и щёки, и глаза, и душу своего художника-колдуна.

Так сбылось пророчество хромца в детской больнице.

Так, возвращаясь снова и снова, опять и опять к нему, как забулдыга — к ртутно поблёскивающей тяжёлой гранате, всклень налитой веселящей, обжигающей нутро отравой, она в этих еженощных возвращениях набрела однажды на него — спящего; он спал на продранном диване мастерской, разметавшись, как умерший сын её младенец во сне, вскидываясь, стеная, бормоча бред; вокруг него, на полу и на табуретах, были разбросаны кисти, полувыдавленные тюбики, засохшие палитры, порезанные ножом — в припадке ненависти, минутного безумия, — холсты и эскизы. Она душой наклонилась над ним, отвела неслышно прядь с мокрого лба: там, за думными лобными костями, за биеньем резвой сердечной мышцы, жила его душа, волчья, собачья, бродячая, рыночная, скитальная, родная. И села она невидимо рядом с ним, у его изголовья, на холодный пол, и решила спеть ему *колыбельную жизни всей*, пока он спит, её ребёнок, её щенок. А ещё поискала она взглядом среди холстов — нет, её он не нарисовал голую, как обещал, а здорово было бы!.. да он забыл небось, какая она, голая-то, небось на ощупь родинки на её белом животе, на крестце, под левою лопаткой уже не найдёт, ушёл поезд…

Так, плача, творила она новую песню.

Колыбельная для художника

Спящий волк или собака — ты, слепой…
Дом наш — костью в горле мрака: снег да вой.
Мертвенный рентген оконный зрак пронзит.
Дом наш — поезд забубённый, пыль, транзит.
Исхудалой проводницей сплю я в нём.
Спи, мой Волк! Тебя Столица жжёт огнём…
Там картины бы тебе повыставлять…
В ресторанах бы «мартини» попивать…
Раздевать натурщиц… в «Мерседесах» спать…
Да в метро старух рюкзачных целовать…
Спи, художник, спи, бродяга! Хрипота
Колыбельной — да сожжёт мои уста:
Вот работала я, милый, на путях —
Плащ мазутом да соляркою пропах;
По колёсам — чисто дятел клювом: стук! —
Напиши портрет моих беззубых рук…
А ещё в подсумке лет — горячий цех:
Синь халата да работниц тяжкий смех,
Визги огненных машин, металл да грязь,
Да глухой от шума мастер — цап! — смеясь…
Он меня и подстерёг среди машин,
Средь хребтов стальных, железных лап и спин.
Повалил, подножку дал — лишь помню, как
Лампа красная на пульте била мрак…
Тряпку, всю в машинном масле, сунул в рот.
Думал, верещаньем подниму народ.
Я ж — молчала рыбой. Дура дурой. Тьма
Винно-медная сгущалась. Я с ума
Там сошла. Горячий цех весь хохотал.
Я очнулась — палец мой сдавил металл.
Так ношу с тех пор подарок заводской,
То кольцо стальное, нищею тоской
Гравировано… а я верна огням!
Подалась в село — чесать хвосты коням!
Ты не смейся!.. Гребнем грызла конский хвост —
Всё, клубясь, летело: от репьёв до звёзд!
Я конюшни чищу — музыкою ржут…
Что платили — пастухам раздам: пропьют…
Осень грянула дождями обземь — прыг
На красавца вороного! Только крик
Потянулся паутиною за мной,
За наездницей, за ведьмою ночной…
Так скакала я на вороном коне
По суглинку тракта, по седой стерне,
А короткая рубашка до пупа —
Ночью сбечь, покуда колхозня слепа!..
Холод пятки жёг мне! Дождь кислотный ел
Мне глаза! Рубаха белая, как мел,
На хрусталик ночи — драное бельмо!
Озерко в тайге — разбитое трюмо…
Задыхаясь, доскакала: химзавод!
Порошков стиральных погребальный взвод…
Что ж, любимый, хлеб-то надо мне кусать —
Подрядилась в чаны мыльный яд ссыпать!
Я ссыпала яд, ссыпала… и в ночи
В чан свалилась — хохочи не хохочи…
Крик: авария!.. Палата. Свет и резь.
Промывают мне глаза — а я не здесь.
Я, ослепнув от стиральной дуроты,
Вижу мир — до дна, до смертной наготы.
Вижу, как младенцы чресла бабам рвут.
Как старухи над покойником поют.
Как снопами искры бьют из животов
Пылко любящих. Как лёд ножа суров,
Под которым — горло хрипа и тоски.
От иконной и до гробовой доски —
Вижу всё. Ладони как я воздыму!
Врач вопит: «Из-за тебя греметь в тюрьму,
Оборвашка ты, химичка!..» Из моих
Кверху вскинутых ладоней золотых
Как ударит в небо пламени весло!.. —
Так лицо врачице той и обожгло…
Вру, считаешь?.. Спи, Волчонок… Побожусь:
Это жизнь моя, и в ней я не собьюсь,
Не сопьюсь и уж не спячу я с ума:
Всех Юродивых Царица — я сама!..
Не жалей меня. Не суй в кулак мне грош.
Я люблю тебя. Вот всё, что мне даёшь.
Заработаю я денег. И на снег
Сяду песню петь. Польётся из-под век
Соль лучей. Над сердцем — крест. В ладонь не суй
Медный мир. Вставай с мольбертом. Нарисуй
Ты меня — как я тебе была жена.
После — полночь. Звёзды. Холод. Путь. Луна.
Человек навстречу. Алый плащ. И взгляд
Бирюзово-кроткий. Нет пути назад.
Я тулупчик сброшу под ноги ему.
Сухощавые колени обниму.
А лицо воздёрну — Боже, дай нам днесь
Корку чёрствую: да это Ты и есть.

И вихрем закрутило её Время.

Стояла она на вокзале долго у касс, размышляла: купить — не купить билет на пассажирский поезд до Столицы?!.. — дорого стоит, число-то с нулём, тут призадумаешься. Наморщила она лоб, отошла от хрустальных клеток касс с мертвящим светом ртутных ламп, закопошилась в штопаном

кошельке. Уж так хотелось ей в Столицу! Ей представлялось: вот приедет она туда, сибирячка, бродяжка, лимита, будет работать дворником, ломом лёд рубить, в медовых кружевных окошках будут сладкий чай с крендельками попивать, а она, дворничиха, станет чёрно-блестящий лёд раскалывать на тысячи острых кусков, глядеть в постылый, ненавистный тротуар, как в калейдоскоп,—грязь и снег меняются всё время, переливаются—то сапфиром, то агатом, то ещё Бог знает чем. Будет она поздним вечером на столичной улице Большой Никитской грязную ледяную кашу лопатой, жестью обитой, счищать, слышать, как бьют куранты со Спасской башни,—а тут они и подойдут, четверо молодчиков, дыхнут водочно, ликёрно, страшно, издевательски. Она и забоится. Но виду не подаст. Засверкает на них весёлыми глазами, наледь усердно скобля, стуча и шваркая лопатой. А они, четверо, обступят её. Молча. Жутко. Она не остановится. Локти её будут ходить ходуном, пот—стекать по розовым, из-под драной шапки, щекам. «Каво смотрите, ребята?—скажет она по-сибирски.—Ну да, лимита я, за прописочку гнусь. Тяжело женщине, скажете?.. Эх, меня не знаете! Я—все работы целовала взасос, как своих разлюбезных. И работы меня любили. Меня никто не истопчет и не обессилит и ничто! Разве что—гранату кто под ноги кинет...» А страх, колкий и жгучий, будет перцем продирать ей холку, спину, сердчишко. И что ж они сделают, эти четверо охламонов? Да ничего—просто один из них вынет из-за пазухи плоскую бутылку дагестанского коньяка, фляжку такую, другой—из кармана—краденую из кафе рюмочку, а ещё двое будут сосредоточенно глядеть, как друганы наливают осторожно коньяк в рюмочку, подносят к самому носу Маринки и просят: «Выпей, согрейся, красавица. За всех замёрзших дворников мира выпей!..»

И она выпьет за всех замёрзших в сырости и безвестии, сгорбившихся над грязными тротуарами дворников мира, поняв только одно: никогда не надо ничего бояться, думать о людях плохо не надо, вот она подумала о людях плохо, а они взяли и ей устроили праздник. И слежалый, мрачно-истоптанный снег радостно вдруг запахнет новогодним коньяком, рождественским шампанским, чищеными, брызнувшими под ногтем мандаринами.

А потом она придёт к себе в дворницкую плохонькую каморку в клопиной московской коммуналке, с ходами-переходами, с катакомбными норами, уткнётся лицом незрячим в выцветшую перестираную наволочку—и затрясётся вся, снова, опять, в одиноких яростных рыданиях: утварь милая, жалкая, из рук в руки у дворничих, как факел, переходящая,—китайский фонарь настольной лампы, бедняцкое обтёрханное блюдо с карамельками к чаю—вместо дорогого сахара, колченогий стол, диван, найденный на задворках, зеркало с отбитым углом и с амальгамой такой чистой и бездонной, что голова закружится, ежели заглянешь,—вот она, столичная жизнь, а она, Маринка, так хочет быть в Столице знаменитой! Так хочет просиять! Засверкать! Чтоб все шли по Никитской, по Гранатному, по Столешникову переулку, где после ярмарки-торжища столько грязных рваных коробок, изломанных ящиков и мусорных пакетов надо убрать—полночи ей еле хватает, чтоб всё привести по-хозяйски в Божеский вид!..—чтоб народ весь шёл мимо неё, шёл—да спотыкался об неё, о её сияющий взгляд, о её неповторимое лицо... ну-ка, каково оно, лицо-то, в лимитном зеркале?.. уродка, уставшая баба, синяки под глазами, но если выспится и поест, то ещё терпимо,—спотыкался и, восхитившись, кричал: «Да это же Маринка!.. Знаменитая Маринка-сардинка!.. Знаменитая Царица Юродивых!.. Она—звонче всех песни поёт!—так, что звери её слушают... она—у Третьякова в фильмах снималась, у Малиновского... шаманку сибирскую играла, им была нужна только такая—с чуть раскосыми глазами, терпкая такая девочка, да и простая, чтоб и ругнуться сумела, и свистнуть, и отпор дать где надо... Её приглашают к себе на чай с яблочным пирогом и вареньем из инжира—м-м-м, как превкусно!..—Алла Пугачёва и старая Татьяна Самойлова, плачут, дуя в блюдца, и шепчут: ты, Маринка, одна наша надежда!.. Вон, вон она, глядите!—колет лёд...»

Так и будет, всё так и будет.

Она приблизилась к буфетной стойке, взяла себе стакан пойла, именуемого кофе. Рядом с ней за столиком стоял, глодал свой мёртвый пирожок одноглазый старичок, вида бродяжьего, хоть локоть оттягивала ему сетка отборных золотых лимонов.

— Куда собралась, горемычная?—прошамкал старик и шумно хлебнул горячей бурды.

Маринка тоже отпила, не сморщилась.

— В Столицу, вот куда.

Старичок с лимонами невесело посмотрел на оборванные плечи и локти её пальтеца, усмехнулся коряво:

— Так-таки она тебя и ждёт, Столица. Заждалась.

— Это я её заждалась,—сердито обронила Маринка и с жадностью поглядела на пожухлый пирожок в трясущихся руках бродяги, потом—внимательно—на табло: до отправления пассажирского, транзитного, оставалось...

— ...заждалась я её. Настал черёд нам встретиться,—бросила она в лицо жующему свой хлеб старику и быстро пошла, побежала к кассам, еле успела взять билет, а когда подбегала к вагонам, то проводницы уже подняли лесенки-подножки и выпрямились, скорбно глядя в лазурную даль, с жёлтыми флажками в руках, и Маринка запрыгнула в вагон как циркачка, резво закинув угластое тело в ржавую сутемь и клёпаную пустоту тамбура под хриплые грузчицкие виражи проводниц.

И всю дорогу до Столицы она постилась—не ела, не пила, чтоб деньги, привязанные к лифчику, целы остались; постель не брала, дремала на голом матраце, укрывшись пальтецом. Попутчики, переглядываясь, спрашивали глухо, тихо:

— Беднячка такая?

— Издалека едет.

— А что спит всё время, лежит бревном на верхней полке?..

— Может, у неё кто-то умер.

— Ей чаю заказать?..
— Бесполезно — откажется всё равно, она как под снотворным...
— Что же в жизни случилось у ней?..
— У нас у всех в жизни случается *жизнь*, дорогой мой, — каждый день...
— Эй, попутчица!.. Чайку?!.. У нас и рулетик есть, домашний...

Молчание. Тьма. Дует в окно пронизывающе. Фонари за окном. Станции. Полустанки. Россия. Страна. Синяя кровь железнодорожных стрелок. Светлые ножи рельс. Молитва под звёздами, скачущими в окне, под тянущимися проводами: только всех плавающих и путешествующих сохрани, не дай им разбиться, потонуть, сгореть. Спаси их всех.

А когда за окном поезда заклубился Ярославский вокзал, Маринка скатилась с полки, напрягла своё тело, вскинула душу до звёзд: ночью поезд в Москву пришёл, ночью. Вывалились они все на перрон, на снег, под хлёсткие струи сырой метели, а тут им сразу и открыли глаза, куда они прибыли на пассажирском, в какую Столицу:
— В военную, граждане!.. Военное положенье у нас, понятно?.. Война у нас, ясно?! — необъявленная, без видимых причин, оружие носить запрещено, комендантский час уже три месяца; особо смелые, можете вступить в отряды дежурантов или в добровольные колонны слежения за порядком!.. Все вещи — с перрона на досмотр, первый зал направо!.. Проверка на оружие, холодное и огнестрельное!.. Люди иногородние, без московской прописки, досматриваются особо!..

Маринка всё сразу поняла. Попала, как кур в ощип. И кровь её взвеселилась, заозорничала. Жизнь-то продолжается. И дворники нужны военной Столице, и прачки. Работёнка найдётся. А выстрелы над ухом, в подворотнях да в проходных дворах — что выстрелы?.. эка невидаль — стреляли и будут стрелять, то пожиже, то погуще, а столько выстрелов раздастся, сколь отпущено Господом, и столько сердец от них умрёт, сколько задумано свыше, чтоб они биться перестали. Но не её! Нет! Она так хочет жить!

Она и в начинённой танками и пулемётами, тупорылой этой военной Москве хочет в полную силу, громко и отчаянно жить, жить, жить — пока часы не звенят, пока снег нещадно бьёт в грудь.

И, выйдя с котомкой своей за плечами на Комсомольскую площадь и увидев танки, что застыли — кругами, спиралями, зловещими узорами — во всех заводях городской текучей реки, она весело улыбнулась им, танкам, и подумала озорно: «Будете огнём плеваться?..»

Град Краснозвёздный

Пятиконечная, прорезанная
В снегу — кровавыми ступнями,
Пятисердечная, истерзанная
Когтисто-острыми огнями,

Остекленело вязь считающая
Венца кровей — под микроскопом! —
И чистокровной — стопку ставящая,
А инородцев — в топку, скопом, —

Остервенелою духовностию
Хлестающая скотьи спины,
Над башней танка — златокованною
Главой — глядящая чужбины,

Ну что, Столица, ночь сжирающая
Горящей смертью небоскрёба, —
Война! Молися, умирающая,
У красномраморного гроба.

...Я пришла к тебе, я пришла к тебе,
Скарб крылатый приволокла на горбе.
Щенком доползла: зубами — за кумач.
А старухи в церкви мне бормочут: не плачь.
То ли ещё грянет. Земля загудит.
Саранча из расщелины земной полетит.
Металлические стрекозы. Стальные пауки.
Ржавые гусеницы — толще руки.
Накипь белых глаз хлынет через край.
На снегу пластаясь, крикну: не стреляй!
Ведь она живая, нечисть-война.
Она в красный Мир, как сука, влюблена.
А, да ты Москва! — на исходе дня —
Куском снега в горло — спаси меня;
А, да Краснокаменная — на исходе зла —
Прими работяжку без рода, без угла:
А и всё богатство — мёртвый сын в земле,
Примета особая — шрамы на челе,
Ладони — в мозолях; сожму — что деньга,
Твёрдые!.. ...Война.
Брусничные снега.

...Да мы революцьями сыты — вот так.
Заелись. Отрыжка — дымами
Вонючих атак. Красный выкинут флаг.
И белый — сквозит между нами

Рыдающим Ангелом. Прёт броневик
В морозную тьму — кашалотом.
Живая, Война!.. Зверий сдавленный крик.
И люди слепого полёта.

Сгущёнки, тушёнки, — забиты склады!
Кто оптом купил — содрогнётся.
Ах, пороты у Революций зады,
И розга солёная гнётся...

Что, пули, что, дуры?! —
Над ухом свистит.
Дверь выбита молотом тела.
Я прячусь в подъезде. Я вижу: горит
Всё то, что плясало и пело.

Кому, Революцья, ты нынче жена?!
Под куполом, в мыке коровьем,
На палец тебе нацепил Сатана
Кольцо — ещё тёплое, с кровью.

...Господь, а я-то тут причём?!.. Я сибирячка.
Я здесь укладчица, раздатчица, кухарка и прачка.
Могу твои рельсы мыть, Град Краснозвёздный.
Могу в собачьей электричке жить ночью морозной.
Могу скопить двадцать рублей — и помолиться на мясо в столовой
Консерватории: а наверху — орган гудит, серебряно-дубовый!..
Я б пошла, в ноги поклонилась тому органу:
Пусти меня в себя жить!.. — да ведь мне не по карману...
А на улице — шапки мёрзнут. Звёзды с Кремля навеки сняли.
Коли меня убьют — кто вам споёт о любви и печали?!..

…Это всё перевернулось,
В Красный Узел затянулось:
Танки и броневики,
Мёртвое кольцо руки.

Флаги голые струятся.
Люди в ватниках садятся
У кострища песни петь,
В сажу Космоса глядеть.

В чёрном мире, под Луною,
Под Звездою Ледяною
Кто-то хочет Первым быть,
Кто-то — с губ улыбку пить.

У костра стою. Старею.
Водку пью и руки грею.
Революция. Война.
В небе — мать моя Луна.

Лик тяжёлый поднимаю.
На работу опоздаю.
Видишь, мать моя, — живу.
Видишь, — нить зубами рву

На тулупе, что залатан
Той заплатою крылатой,
Где перо к перу — года:
Здесь. Сейчас. И никогда.

Вот идёт она по улицам Столицы, плотнее, суровей запахиваясь в платок.

Идёт, жадно озирая московскую ночь вокруг, биенье снега — белым языком в чёрном колоколе, — буйство фонарей, карминную неоновую кровь, витрины, глядящие в весёлое сумасшествие крутой военной поры алыми срезами заморских ветчин, россыпью богатых стекляшек на бархатах, бронзовыми слитками померанцев, широкоплечей модной одеждою, в которой человек тонет, теряется, как в лунном скафандре; идёт по холодной Волхонке, по гудящей пустынно Моховой, где белокаменный Ломоносов улыбается толстым счастливым лицом навстречу диким временам, где не поют песни; идёт по выгнутой хлебным подгорелым горбом Тверской, утоптанной солдатскими сапогами, проутюженной звероподобными танками, — а в воздухе ещё висит, стоит, как масло в бутыли, глухой гул и запах смертной гари; идёт по улице Неждановой, где малая сирая церковка дрожит, и плачет, и молится всеми подслеповато мигающими свечками за всех невинно убиенных, всех лежащих в земле сырой; идёт по огненнокрылой, перепаханной и перекопанной Никитской, по лежащему навзничь кресту Никитских ворот с разбомблённым кафе, с расстрелянной из танковой пушки милицейской будкой; идёт по угрюмому Гранатному переулку с жёлтыми глазницами окон в тёмных черепах затихших домов — это её дворницкая вотчина, этот участок она обжила, общупала матерински своими горячими руками в замызганных перчатках, вываливая из переполненных урн в контейнеры мусорную бижутерию одиноко погибающей земли; и наконец выходит на площадь Восстания — прямо под чудовищную пирамиду утыканной огнями высотки, властелинши и царицы Красной Пресни, где за каждым окном — любовь, за каждой дверью — ненависть. А на башне её — золотая звезда, и за неё цепляются самолёты брюхом.

Ход по ночной Москве — служба и молитва Маринки, её ектенья и литургия, её Всенощная. Ей некогда ходить в церковь, ибо на ней, кроме огромного участка, ещё висят шесть подъездов, что чисто вымыть надо, два двора, а тут ещё предложила одна девка знакомая, крашеная-ряженая, место уборщицы на Савёловском вокзале — ну, она и покивала головой, согласилась, ведь война не война, а люди туда-сюда всё равно ездят, а вокзал — дом родной: как его не обиходить? Только сына в доме родном она к груди не прижмёт, а лишь цыганёнку печенья купит да всю дворницкую зарплату в кепку безногого инвалида с гармошкой, что сидит у стеклянных дверей и горланит давние песни, вывалит.

Так стоит она напротив высотки, прищуром обнимая её несчётные многоглазые огни, а к ней вдруг машина, «мерседес» заграничный, по ободу зальделого шоссе — чирк! Визгнула, остановилась. Лязг распахнутой двери — и прямо к ногам Маринки выбрасывают тело человека. Ругательство, дверца захлопывается, два красных огня исчезают в метели, а у ног Маринки остаётся лежать человек — недвижный, но стонущий: живой.

Маринка быстро садится на корточки перед ним. Берёт его тяжёлую голову руками, хлопает по щекам.

Он открывает глаза. Всё лицо в синяках. Его долго и беспощадно били. Он не может говорить. Но всё-таки говорит, выталкивая из себя слова:
— Помогите… мне. Я… умираю.

На уличных часах — полночь. На сгибе руки умирающего — тоже часы: красивые, с чёрным, светящимся разноцветными огнями циферблатом, они показывают неземное время… Маринка расширяет глаза, ближе наклоняет закоченевшее лицо! — они показывают *тринадцатый час.*

Да, воистину на циферблате тринадцать отметин. Маринка содрогается. Храбро взваливает себе на плечи мужика — спасибо, что он лёгкий, как пёрышко, худой, даже под курткой ощутимо, как рёбра торчат.

Тащит Маринка его на Гранатный, в свою дворницкую каморку. С трудом, запыхавшись, воздымает по лестнице. Бросает бесчувственным мешком на драный диван. Заваривает чай. Сурово, строго смотрит на него, лежащего. И он опять разлепляет спёкшиеся губы и спешит сказать, быть может, последнее, сужденное:
— Баба… ты не сердись. Они меня… за дело били. Их… двенадцать, понимаешь?.. — двенадцать, а я… тринадцатый. И они мне… не… поверили. А я знал правду. Только я один. Понимаешь?..

Маринка напоила его чаем с ложечки. Под голову жёсткую подушку подсунула.

А ночью он умер, выгнулся коромыслом в судороге и затих, льдом и Севером повеяло от него, и в эту минуту часы за стеной, у соседки, пробили тринадцать раз. А на кухонном ноже, смирно лежащем на колченогом столе, выступила кровь, и капнула на клеёнку, и потекла и пролилась на пол.

Маринка не слышала, как отошёл Тринадцатый Апостол. Она не слышала выстрелов за окном, сирены, чьего-то истошного крика: «Пожар!» Она спала и видела сон — картину своего любимого, ту, самую большую и красивую, с розовой пантерой. И она кричала от счастья и пела во сне, хватая руками просолённый слезами, проколотый звёздами и штыками фонарей воздух.

Песня, пронзающая мрак

Как живёшь, моё Солнце?.. Не мёрзни на рынке,
Грея руки вулканами рта,
Продавая свои заревые картинки,
На которых — Краса без Креста.

Иглы снега сшивают тебя с небесами.
Облепиху старуха суёт.
Высыпаешь ты в рот себе жёлтое пламя —
В жадный, мною целованный рот.

Покупают твоих лебедей, и купчишек,
И грудастых нагих кобылиц
Вековухи с мордашками пляшущих мышек,
Старики с позолотою лиц.

Отдаёшь за бесценок?.. — слюнявя, торгуя
Хрустко-злую, с мороза, деньгу —
Не продай только эту, пантеру нагую,
Что на снежном лежит берегу!

Колкий заберег. Снегом укрытая вишня.
Ярко-розовой шерсти пожар.
Над китайской зальделой рекой — еле слышно —
Катит лунный оранжевый Шар.

Небо в звёздах горит. Негодяи-китайцы.
Ты скопировал их, помолясь
Меднотелому Будде. Метельные зайцы
Близ тебя с неба прыгают в грязь.

Этот розовый зверь! Поднялись над усами
Две нефритины чистой любви —
И глядела пантера людскими глазами,
И зрачки расширяла — мои!

На хребтине моей, розовея, вставала
Шерсть подлеска в закатных лучах.
Я испить леопарду язык свой давала —
Злой Юпитер — в морозных ночах.

Я, на кедре гнездясь, выжидала добычу.
Шёл охотник. Я сверху — бросок
На загривок. Кусала. Кричала по-птичьи.
Кровь текла меж зубов на песок.

Порох тратили лучшие люди Китая,
Целясь в крест на рассветной груди.
Летописцы корпели: «Пантера — святая!
Смерть-Заря. Помолись. Подойди».

Подходили. Юнцы. Старики. Лиходеи.
И на снег опускались, дрожа,
Пред нефритами гибельных глаз цепенея,
Как пред нежной сорожкой ножа.

И тогда перед страшной твоею картиной
Разом обняли пламя и хлад:
Если женщину мог так почуять мужчина —
Нет обоим дороги назад!

Всё продай в нищете... Прокути всё без меры!..
Сладким хересом девок залей!
Не продай только розовой зимней пантеры,
Только эту, её, пожалей!

Я в Столице кручусь, простогривая кляча.
Руки в содовой тьме кракелюр.
Просьба: съезди в Дацан, помолись за удачу
Своей дурочки, дуры из дур.

Надрываюсь я здесь... А в ночи — шибко плохо...
Кости шепчут... И тело кричит...
А душа... что душа?.. — до последнего вздоха
Под ребром твоим, слева, стучит.

Кинься в ножки ему, круглоскулому Будде.
Божьих сил для меня попроси.
Может, будет стрельба. Может, сгинут все люди
На железной и снежной Руси.

Но Китай остаётся! Амур и дацаны!
Вся Сибирь — заржавелая шаль!
Завернись в неё, плачь, от любви моей пьяный,
Выплачь Будде всю кровь и печаль!

И на рынке не стой, будто гвоздь, вечерами,
Дуя, плюя в ладони мерзлот,
Поджидая, пока лебединое пламя
Пришлый ухарь купюрой сметёт!

Понимаю: не жить троеперстьем да верой...
Хлеб да рыбу вкушал и Христос...
Не продай только цвета рассвета пантеру,
Что одна тебя любит до слёз,

Не продай гор мерцанье, пыланье заката,
Медь рябины, метель во хмелю,
Звёзд дитячьи глаза!.. —
                    ...а коль буду богата,
Я сама... тебе хлеба куплю...

На улице, метя тротуар, она познакомилась со странными ребятами.

Они кучкой, робко, обступили её, молодые ещё совсем, салаги. Длинные немытые патлы свешивались из-под вязанных мамочками шапок. У одного парня на ремне, поверх куртки, висел в кобуре револьвер. Несмело потоптались они вокруг Маринки, молча орудующей метлой. Тот, что с револьвером, выдохнул:

— Дворничиха. Слышь. Тут у тебя каптёрка, где, ну, это, мётлы твои и лопаты, тёплая. Пусти погреться.

У спутников его блуждали по сторонам беглокаторжные глаза, нехорошая бледность вползала на впалые щёки. Маринка ещё никогда не видела таких странных людей, дёргающихся, словно ватные куколки на нитках, и жалко ей их стало. Она вынула из кармана ключи.

— Вон подвальчик. Откроете? Идите грейтесь. Но чтобы без дураков. Ага?

А когда она пришла с метлой наперевес в подвал, она увидела, что сидят они все по кругу и шприц с белёсой жидкостью друг другу передают. Про наркоманов она слыхала. Но на её родном Востоке, по обеим сторонам железной Транссибирки, где фонарные столбы, как свечи, стоят, теплясь за все скитальные души, отмаливая их, люди лучше стопарь опрокинут в холода, брусникой заедят,

чем иглу себе под кожу всаживать! Она глядела на лица с разлезающимися, расплывчатыми глазами, на водяные текучие руки в веснушках старых подсохших уколов. Что делать ей?! Закричала недуром:

— Горим! Дом горит! Красные машины прибыли, тушить! Выметайтесь немедленно! Вас же заловят!

Платок сполз ей на плечи, она обводила горящими умалишёнными глазами толпичку окостенело сидящих на заплёванном полу мальчиков. А ведь всё это её сынки. И её сын — среди них. И его душа — реет над ним.

Главарь, что с револьвером, не успевший всадить в сгиб руки покривившуюся иглу, медленно встал с полу и вразвалку подошел к ней.

— Свяжите её. Живо, — бросил парням, ещё не охмурённым. — Сейчас ты у нас за истошный крик дозу получишь. Никакого пожара нет и не было. И ты тоже станешь наша, чем орать-то тут. Сева… вяжи! Игоряшка, шприц, быстро! Раззявы!

Дёргалась она, да всё бесполезно. Распяли её на каменном каптёрском полу. Рот зажали. Она кусала влепившуюся в рот руку, как розовая пантера.

— Тише, тише, девочка, — сладострастно шептал главарь, — сейчас кайф получишь, сейчас улетишь.

Боль насупротив локтя пронзила её, горячее, масляное разлилось внутри, по сердцу и по рёбрам, и разум помрачился. Ей казалось, что она летит в самолёте без верха, в половинке бесхвостого, разбитого самолёта, и не за что ей уцепиться, сейчас она свалится за борт, в смоляной Космос. А самолёт всё стремительнее, всё неумолимей набирал скорость, и она закричала: «Помогите!» А самолёт уже падал в пустоту, уже переворачивался брюхом кверху, измеряя чудовищным лотом — самим собою и ею, Маринкой, — Бездну, и в этой Бездне была она одна, никого больше, ни людей, ни Бога, и немыслимый холод объял её, она содрогалась крупной дрожью, до рвоты, от холода. Оранжевые гигантские колёса и круги катились перед её глазами, превращаясь в круглые, зубастые, светящиеся пасти глубоководных рыб. Тело её разрезали, крошили и кромсали эти зубы-пилы, зубы-копья, и не было спасенья от них. Она кричала, кричала, извивалась. Она извивалась под чужими руками и губами, падая в Бездну в разбитом самолёте, и её разрывала надвое сила, родившая её на свет и теперь её у света отнимающая. Как страшно кричала она!

А когда очнулась — молчала, еле шевелила искусанными губами. Пустая каптёрка. Мётлы распушили ночные шевелюры. Лопаты, кайло, лом приткнуты в углу. Звон в ушах. Тошнота. Растерзанная одежда, раскиданная обувка. На полу — осколки ампул и записка: «Мы ещё придём».

И она бесстрашно стала ждать их. А пока суд да дело, на почту надо пойти, ибо у неё нет ни чернил, ни клочка бумаги, ни конверта с дорогою маркой, чтоб в великую даль письмо послать.

Маринка на почте
Торопливое письмо в Сибирь

Мило́й ты мой художничек. Да, тут идёт Война.
Снега гудят. Костры метут. И я совсем одна.
Уборщицей вокзальною работаю теперь.
Дежурю сутки, сутки сплю. Зарплата без потерь.
Ох, люда нагляделась я в чаду вокзальных ламп!
Узнала я, как Бог силён, как человечек слаб…
Медвежья морда старика, жующего тарань.
Худышка — хризопразы глаз, бровь — вышитая скань.
Сидит старуха на узлах. Она века назад
Мужей отправила туда, куда глаза глядят,
Глядят слепые — в пол-лица — старухины глаза,
Глядят до смертного венца, куда глядеть нельзя.
А поезд бешеный её загнал кнутом Господь.
И маслом вымазан — ко рту — её ржаной ломоть.
И все бегут, когда табло в них плюнет час, и век,
И день, и поезд, и число, и остроклювый снег!
Я ненавижу снег… Его — лопатою скрести…
Его — кусать… над ним — рыдать, сжимаючи в горсти…
Поскольку — дворником ещё горбачусь: за жильё…
Ночами ломом лёд колю — вонзаю в ночь копьё…
Работа эта, милый, — тьфу! — песок, лопата, лом,
Да закурю из рукава, присевши за углом
На корточки. Горит Звезда — табачной точки медь.
Кусаю губы и реву: устала. Легше смерть.
Да, всё здесь дорого, милок: жратва, питьё, вино,
Повозки!.. Стоимость кольца — дерьмовое кино!..
Да я по кинам не хожу, а коль глотну вина —
Так это чтоб мне без тебя жизнь не была черна…
Вот так и прыгаю: вокзал Савёловский, потом —
Восстанья: урны вытряхать, крестить метлы крестом
Весь поседелый зимний путь, тугую грудь земли,
Где выживем мы как-нибудь, коль мы сюда дошли…
Не бойся, парень! Я держусь. Совсем с ума сойду —
Устроюсь в рыбный магазин я в будущем году.
Туда я в ватнике явлюсь: русалка вам нужна?
Разденусь. Пусть увидят грусть. И тело цвета льна.
Сама я подпишу контракт на тысячу рублей.
Сама в аквариум нырну. Бывало тяжелей.
Я буду плавать и играть. Холодная вода.
Прижмёт пацанка нос к стеклу: «А тётя — изо льда?..»
Скорее воздуха глотнуть!.. Наверх!.. Один глоток!..

…Я выдюжу. Я как-нибудь. Мир, милый, — ох, жесток.
Одна работы. Швабра, лом. Бураны по плечам.
А на Савёловский — пешком. Стреляют по ночам.
Да, милый, здесь идёт Война. Здесь Зимняя Война.
Да хоть бы подстрелили!.. — и — лежала бы одна
В ночи на снежной мостовой, в тени броневика —
На Малой Бронной, Моховой, с брусничиной виска.
Тогда-то Будда прилетит поплакать надо мной,
Безвестной дворничихой, над железною женой!
Тогда-то на похоронах напишешь мой портрет…
Прощай —
    на множество —
        целу́ю —
            здравствуй —
                долгих лет…

Она ходила по грани, по лезвию. Лезвие было невыносимо острое, ноги её, изрезанные в кровь, больше терпеть не могли. За её спиной выросли чёрные крылья, в ночи отсвечивающие рдяными листьями и ржавью. В ужасе она бежала в церковь, крестилась. Танки стыли на улицах, около глухих подъездов, наставляли гусиные горла пушек в подворотни, в резко блестящие на закате окна. Она ходила по осыпающемуся краю пропасти, на дне которой лежали человечьи кости, а о стены её, о камни её бился голос, любимый ею, узнаваемый

безошибочно: «Но имею… имею против тебя то, что оставила ты первую любовь твою». Она, стареющая длинноволосая сибирская баба, умеющая и приласкать человека, и побороться за кусок хлеба, и выругаться крепко и солёно, поняла, что она покатилась кубарем, покатилась широко, колюче и безысходно, перекати-полем по снежной наледи, по бастылам декабрьской стерни: Град Краснозвёздный накинул на её жилистую шею петлю и туго затягивал её, туже, ещё туже.

Ей давали задания. Она выходила из подъездов, полуслепая от горя. Подстерегала того, кто должен был скользнуть мимо неё, кто напарывался на неё, как на копьё. Вваливалась в дымные подвалы, где пели дикие песни, целуясь, изгибаясь, исходя стонами. Малевала белую маску смерти, ежели приказывали: «Подправь». Перевязывала раны, если начиналась оголтелая перестрелка. Прижимала к себе и целовала расшибленные, рассечённые головы, лбы, виски—упавших с балконов, выбросившихся с последних этажей. Невероятно много людей убили себя на её глазах. Она ходила меж их тенями, она давала теням пить из обгрызенной эмалированной кружки, рассказывала теням сказки, гладила у теней там, где была грудь, билось сердце. Её знакомый народ, похожий на скопище чёрных Ангелов или белых мышей, звал её: «Сердце». Её вознаграждали. Покупали ей иностранные шарфы, дорогие духи. Однажды она выпила пузырёк духов, положила в рот кусок салями, криво и терпко усмехнулась и пошла прочь. Думала, ей выстрелят в спину. Она забывала время, час, год, век, себя. Часто она думала, что уже умерла. По-прежнему поднимаясь в пять утра—где бы пробужденье ни настигало: в устланных леопардовыми шкурами анфиладных апартаментах, где холодильники «Сэлдом» стоят, набитые крабами и карбонатом, или в родной каморе с ободранными обоями в беспечный цветочек,—она шла на Восстания, на Гранатный, и вытащенные на снег из каптёрки её возлюбленные мётлы и лопаты жгли ей руки.

Вкус сулемы и пороха оседал на её губах—вкус преступления, и она билась, чтоб разорвать ржавые путы, закидывала локти, чтобы отодрать от шеи липкие лапы. Она знала теперь преступление на вид, на цвет, ощупывала пальцами шейные жилы, подмышечные впадины, аппендицитные швы преступления—а когда оно, преступление, рвало на себе волосы, умоляя простить и помиловать, она прощала и миловала его. И целовала. И приговаривала: «Не судите, да не судимы будете».

А на улицах лязгали затворы, рвались гранаты, погибали люди. И Маринка шла ночью на площадь, чтоб погреться у больших костров, которые жгли солдаты до утра, и протягивала мозолистые руки над огнём.

Костёр на Площади

Манежная!..—Железный гусь родного танка
Так горло вытянул над астрою костра…
С лица—старуха, со спины—пацанка,
Я есмь—сегодня, в гроб легла—вчера.

Костёр на Площади?..—подбрасывайте ветки,
Земельные комки, снежки да кирпичи:
В проржавленной чугунной стыли клетке,
Теперь—в золоченной огнём горим печи.

А потому—без страха!..—жгите смело
На Красной, Комсомольской—всё добро,
Всю утварь нажитую, и живое тело,
И кумачи, и ржавь, и серебро!

В Конце Времён Бог отнимает разум
У всех, кто мысли слал острее стрел…
Так жги, Огонь, оранжевым совиным глазом
Ларь, полный рухляди, чтоб яростно горел!

Ага, столпились, сбились в кучу, небоскрёбы?!—
А жалко вас, домишки-дурачки…
Так плачь же, Ночь, у снегового гроба,
Пусть багрянеют белые виски!

Я тут малявка. Я лимитчица по найму.
Сподобилась, таща тяжёлый куль,
Увидеть Господа, что плакал между нами
В газоне зимнем, в ожерелье пуль.

Он был босой и бритый, просто—лысый,
Он чётки на груди перебирал,
Он всех крестил. И к небу лик воздев по-лисьи,
Давидов он псалом перевирал.

Да, «Живый в помощи» гудел он, осеняя
Рычащую, горящую толпу!
Кричал: «Там, за Войною, я в воротах Рая,—
Кто косами мне высушит стопу?!..»

И руки я Орантой распахнула,
К босому на снегу—я подошла,
И танковым, и самолётным гулом,
И телом я живое тело обожгла:

Обнимемся, юродивый!.. Засвищут
Куски свинца, как и века назад,
И кровь моя—на кацавейке нищей,
И кровь твоя—на галифе солдат!

Молись!.. Хрипи дотла псалом Давида!..
И чётки сыпь, и крест в запале рви!..
Война в России—древняя обида,
Что в мире мало Божеской любви.

А под снегами—огненные звери.
Медведи, волки—полымем: пожарища зубов.
Благословляю смерти и потери
Лишь от тебя, Огонь.
И от тебя, Любовь.

И я на Площади близ ярого кострища
В обугленной тени броневика
Молюсь: живой, богатой, мёртвой, нищей—
Тебе, Огонь, и сердце, и рука.

А искры в небо сыплют алою половой…
А пули сеют красное зерно…
Хоть Иоанн и рёк: «В начале было Слово»,—
Да я-то знаю: Пламя.
Лишь оно.

Однажды её пригласили на чай.

Она приоделась, если возможно было так назвать её неуклюжие танцы перед облупленным

зеркалом; она купила немудрящий подарок хозяевам — маленький пузатый аляповатый расписной чайник для заварки, самый дешёвый, — она вышла в чёрную морось и захлюпала сапогами по воде: оттепель грянула, и всё раскисло, как весною, в распутицу.

Перед самым подъездом, будто на неё косой поглядел, она поскользнулась, пошатнулась и упала. Шлёпнулась здорово, ударилась лбом; на миг потеряла сознанье. Фаянсовый чайник разбился. Она вытряхнула осколки из сумки на снег. Усмехнулась.

Горячие слёзы потекли по её забывшему слёзы лицу.

— Чайник!.. Чайничек!.. — плакала Маринка, шмыгая носом и утираясь ладонью. — Какой хороший!.. Ох, славный был какой!.. Был — загляденье...

Разбился кусок живой красоты. А друзья её — семейная пара, дворники из Столешникова переулка, — ничего об том горе никогда не узнают.

Нет, нет. Всё не так. Не так всё просто. В этом разбитии чайника что-то для неё самой заключалось. Словно осколки фаянса изрезали её посечённое ветрами всей страны лицо. Словно бы разбилась, случайно, сама по себе, вся предыдущая великая жизнь, а новая не народилась, как ни хитри, ни призывай её. Жизнь — не долыса бритый призывник. Жизнь — судия.

— Что лежишь-то на снегу, бабуська?.. — закричал парень в лыжной куртке, с жердями лыж на квадратных плечищах. — С сердцем плохо?.. Щас я врача...

Она обернула лицо, села на снегу. Взяла в руку горстку осколков. Протянула парню. Засмеялась:

— Разбилась!.. Видишь, разбилась!..

Парень поставил лыжи на снег. Пожал плечами.

— Эка невидаль. Сервиз, что ль, кокнулся?.. Посуда-то, сама знаешь, к счастью бьётся!.. бабуська... э, да ты и не бабуська вовсе...

В фонарном золотом свете лицо Маринки стало удивительно красивым — в тот миг она подумала о своём художнике.

— Знаешь, парень, — сказала она, поднимаясь из снега и отряхиваясь, — у меня жених есть. В Сибири. Очень красивый мужик. Умный, добрый такой. Высокий, борода, усы, руки как у Царя — загляденье! Бабник, правда. И выпить любит. А уж курит — как паровоз. Он у меня на кухне посидел однажды, так я не могла шторы отстирать, все от табака пожелтели. Эх, и любит он меня! Как душу свою. Вот он на ноги встанет, много картин напишет, разбогатеет и меня к себе возьмёт. А чайник разбился? Это тьфу. Я всё равно богаче всех.

Она говорила всё это весело и яростно, прямо в лицо парню! Он попятился.

— Да я что тебе разве сказал?.. Да ты что... Да всё у тебя хорошо... брось ты...

Маринка повернулась к нему спиной и пошла прочь от гостевального дома, ясно чуя, что чай остыл, и гости разошлись, и Ангел вострубил.

Неистовая тревога колотила её.

Она твёрдо знала, что её жизнь преломится — сухой веткой в руках мальчишки-хулигана.

Фототелеграмма в Сибирь

Я здесь живу как
Будто — сорванный флаг
Сколько кровавых собак
Сколько хрустальных драк
Я здесь живу вся
Огнями обнажена
Лошажьим глазом кося
Дыша вулканом вина

Я здесь живу зри
Пред танком стою как петух
И если крикнут «умри»
Умру я сразу за двух
Люблю этот дикий снег
Люблю этот наглый век
Я здесь живу как
Слеза из-под тяжких век

Картошка и медяки
В подземье — воски лепнин
Браслет на сгибе руки —
Берилл в мерзлоте равнин
Сибири тяжёлый зрак
Шкурёнку Москвы прожжёт
Я здесь живу так
Как омуль вмерзает в лёд

Тоскую: Байкала синь
Амура литая гладь
Господи не покинь
Неужто здесь помирать
Неужто мне никогда
Не зреть заревых зубцов
Торосов ольхонского льда
Тункинских ножей-гольцов

В Столице изведав яд
Боль пьянь фарцу да иглу
Перекрестясь назад
Пойду в родимую мглу
И вмиг расступится мрак
И звёзд потекут стада

Я здесь живу так
Как ты не жил никогда

И настал день.

Белёсое Солнце, зимнее Солнце лимоном выкатилось на дымное небо Града Краснозвёздного, и день настал, как все дни на Земле.

В тот день сменилась власть и закончилась междуусобная война. И наступил праздник — наступил просто и буднично, как все праздники. Как будто все к праздникам так привыкли, прямо даже устали от них!

В этот день Маринка выбросила в снег, сдёрнув с рук, два своих памятных кольца — то, что надел ей её первый молчаливый любовник, беспалый машинист, отец её ребёнка, и то, железное, жестокое воспоминанье о грубияне-мастере в горячем цеху. Она хотела расстаться со своим прошлым. Прошлого у неё больше не было. На картине, которую малевал далеко в Сибири её любимый — она видела её часто внутренним взором, — стояла лишь она одна одесную Отца, а по левую руку — он, раскосый

чалдон, указывая пальцем вниз, на вихревые сплетенья несущихся в пространстве нагих тел. Одною рукою её любимый указывал, а другой — держал меч ослепительно-голубого цвета. Внутренним глазам Маринки было больно, и она всегда, споткнувшись зрачками о меч, распахивала ресницы.

Голубой меч был — будущее.

В этот день в её дворницкой каморке завыл домовой. Она ознобно съёжилась, взяла себя за плечи, чтобы не трястись, и спросила тихо:

— К добру или к худу?..

«Уедешь далеко, далеко», — тоненький голос провыл и заплакал.

В этот день давно, много лет назад, умер её сын. И колокола звонили по всей Москве по нему одному.

И Маринка плакала и молилась.

В этот чудесный день она пошла на Красную площадь — праздновать праздник наступившего кратковременного мира вместе со всеми, уставшими от Войны; а так как её праздник, самолучший, всегда был — работа, то она взяла с собою тряпки, ведро, древки для новых флагов, молоток — всё, что могло на празднике сгодиться, — и весела она была.

И пели колокола, и бренчали на треснувших гитарах рокеры, и обгорелая Свобода казала народу свои подпалённые волосы, обугленные локти, истлевший подол. А около Музея Революции девочки в искусственных шубках водили хороводы.

В этот звенящий железом и льдом день, на Красной прекрасной площади, Маринка встретила человека, который с ходу сделал ей, ещё молодой, не знающей себе цену бабе, предложенье, женился на ней, нищей московской дворничихе, и увёз её в дальнюю страну за Океан.

Письмо любимому трагическое, перед отъездом

«…не рыдай Мене…»
Евангелие от Матфея

…Уж и не знаю, как это случилось.
О, не рыдай ты по мне, не рыдай.
Чей это промысел, Божья ли милость…
Все мы *там* будем, гадай не гадай.
Все мы поляжем. Всем руки нам сложат —
Так — на груди. Вложат в них образок…
Только, покуда мой путь не итожат, —
Благословляю щеку и висок!
Бражника губ. Узкопалые руки.
В ягодах красок — палитру твою.
Как на холстину — разрезал ты брюки,
Загрунтовал… — я тебя узнаю…
Ну же, не плачь!.. тут стрелять перестали —
Хлынул народ, золочёный горох,
В ночь перекрестий, в площадные шали,
В уличной мглы индевеющий мох!..
Я побежала: я вместе со всеми.
Красная площадь — во флагах, в поту:
Соль да селитра — еда твоя, племя,
Порох-солярка-да-ложка-ко-рту!..
Праздник — тугими хвостами павлинов
Хлещут салюты в живот черноты…
Господи, горблю лужёную спину —
Доски тащу, транспаранты, листы,
Чищу заклёпки суставов железных,
Сцены-помосты в ночи возвожу:
Я воевала над пьяною Бездной —
Мир — по трезвянке — дыханьем стужу…
Армагеддонка я!.. праздников наших
Помню сатин, и железо, и сталь,
Шкалик, да студень, да рыжую кашу,
Марша святого слепую печаль!
Я — как учили мя. Я — по старинке
Праздную день окончанья Войны:
Мальчиков сколь перебили… поминки…
Вот, чтоб не снились орущие сны,
Мыла на площади эти помосты,
Вешала флаги… и он подвалил,
Этот мужик каланчового роста…
И по-английски меня умолил:
«О экскьюз ми!.. Ай вуд…» — Господи Боже,
Я понимала — до слова, дотла,
Что на жену его так я похожа,
Только жена его та умерла…
Я понимала — так чётко, так странно,
Страшно до боли под сердцем (там нож!..) —
Что он художник из-за Океана,
И — я гляжу — на тебя так похож…
Он мне шептал: «Ты загадка… космитка…
Инопланетная Божия тварь…
Свет вкруг твоей головы — и под пыткой…
Я помолюсь тебе присно и встарь».
Я — ему: «Брось ты!.. Я — Лунная дочка?!
В матушку я — круглотою щеки?!..
Ну, сумасшедшая выдалась ночка…
Парень!.. Оставь мне мои рюкзаки,
Тряпки и щётки, машинное масло,
Вёдра, халаты, метлы черенок!..
Флагов пустынных песок жёлто-красный,
Флагов полярных метельный песок!..»
А он к ногам моим, милый, валится
И всё кричит: «Ты из Космоса, так!
Я увезу тебя, Русскую Птицу!..»
Юбку сгребает в железный кулак…
Бьюсь я: «Оставь мне грязь звонких вокзалов,
Соль площадей… церкви, полные свеч,
Как огурцы — семян!.. в стужу — причалы
По Ангаре, где во землю мне лечь…»
Бьюсь, вырываюсь — да держит он люто.
«Нет, ты узнаешь мир», — густо хрипит…

Небо над нами взорвалось салютом.
И я узнала, как сердце кипит.
Ближе клонюсь. По-английски ни слова.
Да и по-русски — немая, как мышь,
Мокрая вся. Я целую чужого.
И наступает Великая Тишь.
Да, я целую его в знак согласья —
Да не губами, а медным крестом:
Зреть Океаны, красу, безобразье,
Видеть, как в линзу, что грянет потом,
Знать, как ругаются грузчики Фриско,
Стыть на аляскинских лисьих ветрах,
Гладить японскую девочку-киску
С красною лентой в седых волосах!..
Только не плакай!.. к тебе я прибуду —
Круглы планеты!.. — с другой стороны,

С той, оборотной… я верую в чудо,
В Господа нашего, в вещие сны…
О, не рыдай мене! Я ведь Маринка.
Я ведь и так от тебя—ни на шаг.
Я ведь твоя—с омулями—корзинка,
Твой забайкальский табачный пятак…
Видишь, художник заморский вцепился.
Он там напишет… во славу твою!—
Всех, кто в меня по дорогам влюбился,
Всех, в ком тебя я опять узнаю!
«You are my wife»,—он подземно рокочет.
«Ты мне жена»,—как по-русски горчит…
Горечью ярые свадьбы хохочут.
Горечью пламя поминок стучит.
Горечью—жирною масляной краской—
Твой поцелуй в мерзлоте мастерской…
. . . .
…Господи, жизнь-то—подраненной лаской.
Господи, век-то короткий какой.
Господи, Ты же прости,—уезжаю.
Я же скиталица. Сердце, вперёд.
Крылья зенит разрезают ножами.
Реет, где хочет, мой дух. Не умрёт.
Я дочь Луны. Про планеты—всё знаю.
Тайну великих орбит берегу.
Вижу: в конце всех дорог—двери Рая,
И в них стоишь ты, босой, на снегу.

Чемоданы собирать ей было—один момент: ведь никаких чемоданов-то и не было. Так, сумчонка, ещё узел, баул, ещё старая сумка, две сетки: что в них? Пожитки? Вся любовь? Вся её страна?

—Из ит олл?—спросил её суженый: «Это всё?..»

Она никогда не видела самолётных билетов и веселилась, как дитя, рассматривая их.

Он с удовольствием швырнул к ногам Маринки, сидящей в каморке меж баулов, дорогие блестящие платья, из парчи, из тончайшего шёлка, с люрексом, с бисером, нашитым на складки и кокетки:

—Ит из дрессис фо ю… олл фо ю!

Маринка накидывала на себя роскошные ткани, смеялась.

Вот уж праздник так праздник оказался! И думать она не могла!

А голос пел внутри неё: «От страданий не уедешь никуда, ни за Океан, ни за Полюс…»

Изменившись лицом, она встала на колени. В открытую форточку в каморку повалил снег. Маринка протянула руки к родному снегу. И её внезапный наречённый, раскрыв глаза, смотрел и слушал, как она поёт Пьету свою:

—Прощай, погибающая, погибшая страна. Неотмытая, неотстиранная, в заляпанном фартуке! Прощай, девочка, ласточка, и не сердись шибко на меня, я ведь тебе была хорошей дочерью. Я ведь всё про тебя знала, милая страна: и что ешь на обед, и что робишь, и с кем спишь, и на каких простынях—в цветочек заволжских полей, с белизною архангельских снегов… Ты умираешь, ты стонешь и зовёшь на помощь, ты не видела в мире любви, всегда били тебя, к стенке ставили тебя, бедную! И в ночлежках, и в бараках ночевала, и ноздри раздувались при запахе баланды… Плачу, плачу над тобой! Потому что знаю, что тебя—не спасти! Потому что гибель—близко, и смертная твоя постель, и сиделки идут с пузырьками и склянками, а что толку! Выгибаешься к небу дугой! Люблю твои холодные реки, широкие объятья ледяных рук их, затянутые ряской ветра озёра и озерца, бессонные запавшие глаза северных морей, вязаные оренбургские платы январской тайги—от Ачинска до Хабаровска!..—костистые монгольские надменные лица твоих голых и гордых хребтов… Вижу тебя всю! Лечу над тобой! В чёрном, синем небе летя, вижу тебя внизу, слёзный земляной шар, сгусток кровавой глины, чистого снега, угольной пыли, острой душистой хвои! Прощай! Я люблю тебя. Я лечу над тобой. Я обнимаю тебя. Не умирай! Господь милостив. Дождись меня! Дождись меня всегда, даже если я не вернусь! Держу нежное лицо твоё, моя земля, в руках, целую его, плачу, плачу над тобой всеми реками, всеми морями и ручейками твоими, всеми осыпающимися в сугробы звёздами Якутии, всем самоцветным изарбатом полярного Сиянья, всей серебряной бурей громокипящего Енисея, всеми малахитами каменнолицего Урала! Я уже мать твоя, а ты—дочь моя, и, распятую, с обвисшими членами, со вспухшим старческим животом, с беззубым, скорбно улыбающимся ртом, безмерно люблю тебя, дочь моя Россия, только живи! Только живи! Не умирай…

Изумлённо глядел человек из-за Океана, как дрожащие руки Маринки гладят пустоту, как прикасаются её залитые слезами губы к незримой любимой плоти, и думал, что вот лучше пускай они опоздают на рейс в Шереметьево, но пусть сейчас она, прощаясь, целует прогорклый коммунальный воздух, согнувшись, касается потным лбом холодного настила родных половиц.

Чужбина

Мне холодно. Свернусь червём в бочонке—ледяные доски.
В слепящей мгле—ползу кротом. Ношу чужой тоски обноски.
Сабвей да маркет—вот мой дом. Чужой язык—на сленге крою.
Плыву в неонах—кораблём. В ночи Манхэттена—Луною.
Я, грязная!..—сезонь и шваль, я, лупоглазая совица,
Измерившая близь и даль тесово-голым телом нищим,
Глодавшая кусок в дыму на станции, в мазутной фреске,—
Я—здесь?!..
Уж лучше бы в тюрьму. В ту камеру, где пуля—резко—
Из круглой чёрной дырки—в грудь.

Ору я песню! «Крэйзи»,—цедят.
Я выживу. Я как-нибудь. А мне во шрамы—роскошь целят.
Я русская!—кричу, воплю, в поту, во краске, вздувши жилы,—
Я русская!—смерть проколю крестом-копьём в груди могилы,—
Я русская!..—нам воевать—что хлебы печь!.. а печь нам хлебы—
Что плоть нагую целовать в сухом снегу, под дёгтем-небом!
А целовать—стрелять нам в рот. Из автомата и навскидку.
А смерть—то океанский Плот. Переплывём судьбу и пытку.
Я русская!..—а вы мне—сок на мельхиорах с вензелями,
Машинный видеоброском, постелей золотое пламя?!—
Да я на шпалах проспала! Рубахи из крапивы шила…
Да я из кружек дым пила, крошёным углем хлеб солила…
А вы с ухмылочкой-змеёй—корсаж мне кружевной, чулочки
Лучистые?!..

…Подвал. Зимой
Не топят. Лопаются почки
Промёрзших окон. Свечи. Гарь. Обмажусь здесь родною сажей.
Перекрещусь на киноварь горящей хвощевидной пряжи
Кос Магдалины—на ночной иконе Брайтона-Распятья.
Я русская. Отдайте мой заплечь-мешок, рванину-платье.
Здесь льют за шиворот коньяк. Здесь в баб втирают сливки, мяту.
Хриплю кондовый свой кондак: не быть Спасителю распяту
В застольях—устрицами, ни—на принтерах—гвоздями клавиш
Компьютерных!..
Горят огни.
Огнями Новый Свет восславишь.
Уйду отсель я. Улечу. Сорвусь. Путь выгрызу зубами.
Но прежде мир я излечу. Юродивая, меж гробами
Пойду—и выну из земли, из тьмы врождённого безболья
Людей: о, снова—для петли! Для ветра в грудь—во звёздном поле!
О Поле Белое моё. Хлад. Полночь. Рыбы ножевые.
Кривые рельсы. Звёзд бельё. Люблю вас. Мёртвые. Живые.
Люблю. Не надобно даров, шелков, и золота, и смирны,
И ладана. В ночи миров—мой Лунный Лик, сосуд кумирный.
Прости мозоли на ступнях. Прости сермяжную гордыню.
Я русская. В ста языках означен взор морозный, синий.
Оборван срок вкушать, жиреть. Ножом техасским вскрою жилы:
О, ешьте, пейте. Завтра—смерть. Но не в чужбинную могилу
Ложусь—а в дивный краснозём, под пух снегов, под лапок грачьих
Кресты!
Чужой роскошный дом,
Прощай. Прости мой лай собачий.

1. И загорелся в Граде Большое Яблоко самый высокий дом в пятьдесят этажей. Пожар полыхал, как сто чудовищных елей в Рождество. Кричали люди, задыхаясь в дыму. Копоть залила чёрным брачным вином полнеба. И рассказывали потом люди, как по лестницам горящего зданья носилась, как сумасшедшая, с висящими вдоль лица седыми волосами, высокая женщина и выносила из дыма и огня женщин, мужчин, стариков, детей, собак и кошек. Огонь не мог ожогами коснуться её, и так много людей она спасла в тот день;
2. и ещё рассказывали про ту женщину, что, когда буря в Океане застигла маленький корабль, то она, будучи среди плывущих,—на том корабле она в сезон служила поварихой и готовила вкусные русские блюда: пельмени, расстегаи, кулебяки,— встала на носу судёнышка, раскинув руки, и приказала буре утихнуть; все рассмеялись, несмотря на панику и слёзы, и многие подумали, что вот с ума повариха сошла; а буря и вправду начала утихать; а за теми, кого смыла волна и кто бессильно, разевая в крике рот, барахтался в Океанской пучине, она сходила по висячему трапу с палубы корабля и шла по водам, легко ступая, и волны мягко качали её, и протягивала она тонущим сильную руку свою; и спасаемые слышали, как по-русски ласково с ними говорила она;
3. и летел однажды большой самолёт из Града Большое Яблоко в Град Золотого Океана, и вышло так, что подломилось у самолёта крыло, и стал он падать; и много людей тогда завизжало от немыслимого страха в брюхе самолёта, а иные от страха помрачились рассудком; и тогда вместо стюардессы вышла к обезумевшим людям рослая женщина с поседелыми волосами и тёмными, полыхающими огнём глазами, и стала она говорить с людьми на чужом языке, и многие узнали, что это русский язык; и так она ласково и властно утешала народ, что многие поверили ей, что спасутся и самолёт сядет на землю, а не разобьётся; и так оно и случилось, самолёт благополучно сел на брюхо на холодное снежное плато в далёких горах;
4. и везде по земле, где только заболевали тяжело или умирали люди, появлялась та же высокая женщина с морщинами в углах ярких глаз, со свободно летящими волосами, тронутыми проседью; она была широка в плечах, с костистыми руками, и большая сила тепла и любви исходила от неё; и тяжко больные или умирающие, завидев её близ своего ложа, открывали глаза, освещали улыбкой уста, уже тронутые тлением, и восставали, возвращаясь к жизни; и было доподлинно известно, что она воскресила из мёртвых слепого негритянского мальчика, старуху из Балтимора, продававшую за бесценок вязаные кофты, великого бегуна из Атланты, что упал на финише с разорвавшимся сердцем, и ещё много всякого народу; и никто не понимал, что она говорит и делает, а только мёртвые вставали с одра и, плача, благодарили её, а она целовала их, крестила по-православному и плакала тоже, не стыдясь обильных слёз своих.

Маленькая девочка, закутанная в простыню, стоящая перед зеркалом в огромной холодной пустой комнате, оторвала своё лицо от книги. Страницы книги ещё пахли типографской краской, но восковое горячее, от свечи, пятно уже расплылось там, где девочка читала. В зеркале отражались: белеющее снеговое нагроможденье простынки, обнимающей малышку, корзина с клубками шерсти, чисто вымытые доски пола, кованый сундук, мотороллер у стены, ковбойское лассо, мёртвой змеёй висящее на гвозде, картина—плохая, ободранная копия Констебля. Жёсткая, широкая, как угрюмое плато зимой, кровать не попадала в поле зренья зеркала. Маринка в длинной, до пят, кружевной ночной рубахе подошла к застывшей солдатиком перед зеркалом

девочке, закрыла книгу, обняла девочку за шею и поцеловала.
— Всё. А теперь спать. Всё, что здесь написано,— это правда. Только я не считаю себя лучше всех. Или сильнее всех. Есть Бог, и это Он создал меня такой, а тебя — вот такой. Иди спать. Господь с тобой.

Она лёгким шлепком отправила девочку в постель. Весь дом, как и комната, был огромен и пуст, и только ледяной океанский прибой нежно шуршал за кирпичной кладкой стены, тёрся губами и животом о каменные локти берега. Маринке не надо было смотреть в окно. Она и так видела всё. Заиндевелые кочки и редкие пучки высохшей травы вдоль по худым телесам распластавшися близ Океана равнин. Играющие, надменные звёзды над заливом. Гранит могильных плит за валунами. Вышку метеостанции и кошачий глаз маяка — там, на тонком мысу. И их одинокий дом видела она как бы с небес — громадную, нетопленую, заброшенную усадьбу, где наверху, под самой крышей, в мастерской мужа, она оставила всё, как было. Ничего не тронула.

Сонный голосок донёсся с кровати, обложенной грелками и горячими утюгами:
— Тётя Мэрилин… а папа скоро приедет?..

Маринка неотрывно глядела в высокое окно на ледяное безмолвие приокеанской равнины, на лениво шевелящиеся стальные воды залива, на сруб колодца; вкусная была подземная влага из ведра, она ею обпивалась, упивалась — и думала сумасшедше: вот эта водица тайными ходами в коре земли из Байкала сюда перетекла и выбухнула артезианской кровью, серебряной магмой — прямо под чужие искристые улыбки созвездий Нового Света…
— Спи, дружочек,— она закрыла невидящие, наполнившиеся кипящей лавой глаза.— Он не скоро приедет.

Помолчала. Добавила:
— Но он вернётся сюда… я тебе обещаю.

Три, четыре секунды, пять… Девочка засопела, канула камушком в сон. Маринка, метя холодный пол длинным подолом рубахи, подошла к окну. Океан, звёзды, ночь. Да, конечно, её муж вернётся в этот мир. Но в другом обличье. Может, он станет кедром, одним из могучих кедров Хамар-Дабана, и вьюги запоют вокруг него тонкую волчиную песнь? В чужой стране, не зная и двух слов на чужом языке, она стала для людей наподобье монгольского обо-бурхана: небеса налили каждую её жилку новой силой, люди тянули к ней руки, и она излечивала их от всех скорбей, Лунная Дочь. Но даже всё её искусство, собранное и зажатое в крепкий кулак, в единый обжигающий ком её сердца, не помогло бы воскресить одного человека, вернуть его в одночасье. Что взято, то взято. Чему суждено вернуться, то возвращается.

Её лоб обжёг плещущий холод мысли о «никогда». Девочка, дочка её ушедшего навсегда мужа, тихонько спала. Завтра она отвезёт её к тёте Мэрфи. Завтра… Тяжело ступая, она пошла по пустому дому, стала обходить дом весь, до последней капельки, до крошки, до пыльного угла, до закута. Проходила мимо кладовок, где мирно поблёскивали банки варенья, ею наваренного, кланялась сундукам, креслам. Касалась пальцами подоконников, холщовых штор. Добрела до тёмной комнатёнки, увидела икону, висящую напротив окна,— она же сама её и повесила, когда они стали жить здесь, в этом пустом доме на берегу ледяного залива.

Маринка упала перед иконой на колени. Всё закружилось перед её глазами. Из чёрной обшарпанной доски выпирало ребрастое, золотое тело распятого Христа, и рыжекосая Мария Магдалина обнимала и целовала Его кровоточащие ноги, рыжие хвощи её волос струились по продырявленным ступням. Маринка снизу вверх, подняв залитое слезами лицо, глядела на Марию Магдалину. У неё не было сил молиться. Она прошептала: «Вернусь»,— и упала на пол. Кружева рубахи разбросались по крашеным доскам снегами. Лоб её стукнулся о половицу. Звёзды Нового Света глядели в окно чисто и строго на тело вдовы, распростёртое на полу в лунном мерцании.

Возврат в Армагеддон

Я вернулась. Гляди меня в блеске моём.
Я стою в чёрном рубище. Площадь безмолвна.
Полон птиц и лучей золотой окоём.
Брызжут вьялицей неба солёные волны.
Эти синие волны. И голь-нищета.
И лабазы-склады. И железные крючья
Диких рынков. И суп из тебя, лебеда.
И — нарвать на корзины кровавые сучья.
Из бетонных скворешен — рояль-воробей
Прочирикал: «На помощь!..» Стальные аркады.
По горжетке проспекта ползёт скарабей
Ледяного автобуса в радуге смрада.
Ах ты, Господи. Град ты мой Армагеддон.
Возношусь я над площадью,— глыба. Царь-баба.
Жрица Ветра, которым хребет опалён
У рычащих и сильных. У жалких и слабых.

Я спала под забором. Я зрела миры.
Суп хлебала паршивый с обходчиком в Канске.
Я задворки видала, дворцы и дворы.
Ухо грела я псу подзаборною сказкой.
Так работала истово, что из горба —
Что ни ночь, надувались бугры кровяные —
Стали крылья расти. Задрожала судьба.
Засияла слеза. И зрачки ледяные
Расширялись, вмещая весь мир — до конца.
Запах крови и пороха. Мёда. Мазута.
Я бродяжкой плыла. Я Луною лица
Освещала сраженья. Стояла разутой
Над тибетским ручьём. Воскрешала солдат,
Что лежали на копьях костей Гиндукуша.
На кладбищах пылала. И сыпала яд
Ярой жизни — в застылые мёртвые души.
Облетела я всё, что могла облетать.
И, дрожа, поднималась я выше и выше
В дикий холод чернёный, в морозную гать,
В ночь, где Лунная Мать мне в затылок задышит.
Град мой Армагеддон. Зри простую меня.
Мне довольно на жизнь платья грубого, корки,
Кружки чистой воды. Да лисёнка огня.
Да зимой — босиком, коль стончатся опорки.

Роскошь выпила всю—и утёрла я рот.
От снегов—как от спирта—пунцовеют щёки.
А ладони горят: я лечила народ
От смертей, от скорбей, от судеб одиноких.
А сама—одинока и нища, как встарь.
Что молчишь, блюдо Площади?!..
…Ветер катает
Пса—по наледи—яблоком. Ярость и гарь.
За еду по руке людям горе гадает.

Град ты Армагеддон. Слушай. Множество бед
Ещё будет. Обрушится. Из-под развалин
Крики выхлестнут плетями. Но—смерти нет.
Погляди мне в глаза. Они жарче проталин.
Свет исходит из них, затопляя простор.
Разливается ширью, полями и льдами,
И секирами рек, топорами озёр
Рубит смерть, рассыпая двуострое пламя.
Смерти нет. Говорю тебе. Не проверяй.
Пальцем мне не кажи на багряные доски
В дырьях слёз—или пуль?!—на кладбищенский Рай,
Панихидных свечей заплетённые коски.
Хороните и чтите вы мёртвых своих,
А они все—над вами. Летают над вами!
Страшный Суд наступил. Это—прямо под дых
Вам удар. Это—огнь меж нагими руками.
Жизнь восстанет из гроба. Возьмёт вас в полёт.
Вы узрите стальные и нежные лица.
Страшный Суд наступил. Зри, град Армагеддон.
Мне осталось в пурге за тебя помолиться.
За железные стены и лавки, за смоль
Грязноплётных вокзалов, за бани, где мылом
Чёрным мылась я присно!..—за снежную моль,
За сверкание пуль, настигающих с тыла,
За скелетные рёбра ухватистых рельс,
За вонючий сандал подземельной резины…
За людей твоих: жизни осталось в обрез,
Пусть толкают, сопя, в сундуки и корзины!
И ещё помолюсь—за тебя, Человек,
Что, во недрах Сибири хрипя табачищем,
Всё рисует—ах, копотью на ясный снег
Дорогого холста,—да всё ярче, всё чище,
Всё жесточе!..—рисует… а что?..
Синий меч.
Синий меч Гэсэр-хана, хозяина степи,
И снегов, и песков. В них и нам скоро лечь.
И покинет душа опостылые цепи.

И горит синий меч на широком холсте.
И смеётся художник, вдыхая пожары
И дымы, зря меня на последнем Кресте
Белой Площади.
В зеркале Лунного Шара.

И с обратной, с потёмной Луны стороны,
В чёрном зеркале мира—любимого зрю я
И шепчу, вся в слезах: «Дорисуй. Мы должны
Разрубить мир на падаль и душу живую».

И молчит, весь чугунный, град Армагеддон.
Целованья не даст грозной дочери блудной.
Да сезонка Маринка не шла на поклон
Никогда под Звездой, коей лоб опалён,
Никогда под Луной, медноликой и чудной.

Как жить ей, девчонке, было?
Как жить надлежало?

Умирая, идти, или живя, помирать? Куда простирать руки? Тянуть дрожащие пальцы? Её страна, целованная ею, лежала перед ней, обнажённая. Сколько лет прошло с тех пор, как Маринка пела ей Пьету? Много? О да, очень много. Путешествуя с мужем по широкому Новому Свету, леча и спасая людей, она многое увидала, многих благословила. Одна её мечта не сбылась: не смогла она японской девочке-гейше вплести в косу красную ленту. Не смогла.

Отзвонили торжеством часы свидального аэропорта. Уплакалась Маринка всласть на стоянке такси. Стояла и ревела Маринка белугою перед пресветлыми ликами весёлых таксистов, перед диким любимым народом с баулами, кошёлками, саквояжами. После тягот перелёта, шатаясь, стояла она посреди родного града Армагеддона, и, как много лет назад, она была сирота, без кола без двора, и не знала она снова, где переночевать, к чему сильные руки приложить. Жизнь—это беда, да! Большая беда! Как из неё выпутаться?!

Она стояла—высокая, как каланча, ещё и на десятисантиметровых каблуках ярко-розовых, складчатой нежной кожи, сапожек; поседелые волосы убраны под песцовую индейскую шапку Аляски; длинное манто из голубых серебрящихся норок распахнуто—пусть метель бьёт в грудь, целует голые, в вырезе люрексового платья, ключицы!—ослепляя народ, ослепительная, стояла и плакала она, размазывая ладонью слёзы по щекам, и народ, обтекая её, таращился на неё, дивясь, недоумевая, а кое-кто и застывал восхищённо.

— Ну что,—сказала она себе громко, слизывая соль слёз с губы,—пешком в Сибирь-то пойду. Только бы он был жив ещё, далёкий лубочник мой. И ты, старик в лисьей шапке из родного Дацана.

Снег валил густо и сразу таял под ногами. Грязь расплывалась потоками, хлюпала под шелестящими шинами. На западе сгущались комки и клубки туч, и фонари били в серую сутемь молниями и стрелами. А самолёты гудели, гудели мощно и беспощадно.

Маринка наклонилась и резко стащила с ног розовокрылые гармошки сапог. Бросила их в грязь. Автобус взвыл сиреной. Мужик с двумя чемоданами наперевес шарахнулся. Голубое манто полетело вслед за сапогами, упало на капот драненького «москвича», прощально обхватило машину голубыми рукавами. Шарф Маринки взвил ветер, прямо к дымам серых туч поднял. Изумлённый народ зароптал, засвистели пронзительно мальчишки. А Маринка пошла босиком через площадь, пошла, повернувшись спиной к мёртвому свету заката, лицом—к грядущему восходу: пошла на Восток, пошла тем же путём, каким прошла в давние поседелые годы, чьи виски замел ветер-сарма, зацеловал волчий сиверко.

И в долгом пути она зрела весь свой Потерянный Мир—все деревянные и стальные шпалы меж селёдочно-солёных рельс, все мерзлоты, не пробитые горячим кайлом, все станции, где в буфетах вокруг кругов колбас мухи реяли, как флаги, всех баб с черемшою на оснеженных бетонных платформах, с горячею картошкой, что

держали они в робких горстях, продавая, на жалких жестяных тарелочках; все дымы на заимках, все срубовые чернобрёвенные избы, все отлоги и перелески, все серебряные кольца озёр и витые браслеты рек, все водонапорные башни и грязные, в потёках, стены школ и больниц; все поющие на ветру кедры, и пихты, и терпкий можжевельник,—а сколько ночей в чужих сердобольных домах и на утлых холодных вокзалах переплыла она—несчислимо!

Счёт дням, ночам, зимам, снегам потеряла она. И когда в распадке, вдали, мигнуло ей густо-синее и распахнулось слёзно-широкое, она сперва и глазам не поверила: так долго и мучительно, так радостно, босиком, болея, хрипя и кашляя на беспредельном ходу, шла она, что ей часто казалось—не дойти, не доползти. Но Сибирюшка сжалилась над ней, над сезонкой своею, и выплюнула её шкуркой от железного кедрового орешка прямо под ноги Великому Озеру.

Костёр на берегу Байкала

…Целую очами юдоль мерзлоты, мой хвойный Потерянный Рай.
Полей да увалов стальные листы, сугробной печи каравай.
На станциях утлых—всех баб с черемшой, с картошкой, спечённой в золе,
И синий небесный Дацан пребольшой, каких уже нет на земле.
Сибирская пагода! Пряник-медок! Гарь карточных злых поездов!
Морозным жарком ты свернулась у ног, петроглифом диких котов…
Зверьё в тебе всякое… Тянет леса в медалях сребра—омулей…
И розовой кошки меж кедров—глаза, и серпики лунных когтей!..

Летела, летела и я над Землёй, обхватывал взор горький Шар,—
А ты всё такая ж: рыдаешь смолой в платок свой—таёжный пожар!
Всё то же, Сибирюшка, радость моя: заимок органный кедрач,
Стихиры мерзлот, куржака ектенья, гольцы под Луною—хоть плачь!..
Всё те же столовки—брусника, блины, и водки гранёный стакан—
Рыбак—прямо в глотку… всё той же страны морозом да горечью пьян!
Грязь тех поездов. Чистота тех церквей—дощаты; полы как яйцо,
Все жёлто-медовы. И то—средь ветвей—горит ледяное лицо.
Щека—на полнеба. В полнеба—скула. Воздёрнутой брови торос…
И синь мощных глаз, что меня обожгла до сока пожизненных слёз.

Снег плечи целует. Снег валится в грудь. А я—ему в ноги валюсь,
Байкалу: зри, Отче, окончен мой путь. И я за тебя помолюсь.
Култук патлы сивые в косу плетёт. Лечила людей по земле…
Работала яро!..—пришёл мой черёд пропасть в лазуритовой мгле.
И то: лазуритовы серьги в ушах—весь Ад проносила я их;
Испод мой Сибирской Лазурью пропах на всех сквозняках мировых!
Пургой перевита, костёр разожгу. Дрожа, сухостой соберу
На хамар-дабанском святом берегу, на резком бурятском ветру.
И вспомню, руками водя над костром и слёзы ловя языком,
И красные роды, и дворницкий лом, и холм под бумажным венком,
И то, как легла уже под товарняк, а ушлый пацан меня—дёрг!—
С креста сизых рельс… медный Солнца пятак, зарплаты горячий восторг,
Больничье похлёбок, ночлежье камор, на рынках—круги молока
Январские… и беспощадный простор, дырой—от виска до виска!

Сибирь, моя Матерь! Байкал, мой Отец! Бродяжка вам ирмос поёт,
И плачет, и верит: ещё не конец, ещё погляжусь в синий лёд!
Поправлю в ушах дорогой лазурит, тулуп распахну на ветру—
Байкал!.. не костёр в снегу—сердце горит, а как догорит—я умру.
Как Анну свою Тимирёву Колчак взял, плача, под лёд Ангары—
Возьми ты в торосы, Байкал, меня—так!..—в ход Звёздной ельцовой икры,
И в омуля Ночь, в галактический ход пылающе-фосфорных Рыб,
В лимон Рождества, в Ориона полёт, в Дацан флюоритовых глыб!
Я счастье моё заслужила сполна. Я горем крестилась навек.
Ложусь я лицом—я, Простора жена,—на стылый опаловый снег.
И белый огонь опаляет мне лик. И тенью—над ухом—стрела.
И вмиг из-за кедра выходит старик:
Шьёт ночь бородёнка-игла.

—Кто ты?..
—Я Гэсэр-хан.
—Чего хочешь ты?
—Дай водки мне.
…где там бутыль…

— За пазухой, на… — звёзды сыплют кресты
На чёрную епитрахиль…

И он, запрокинув кадык, жадно пьёт, а после — глядит на меня,
И глаз его стрелы, и рук его лёд нефритовый — жарче огня.
И вижу: висит на бедре его меч, слепящий металл голубой.
О снег его вытри.
Мне в лёд этот лечь.
Но водки я выпью с тобой —

С тобой, Гэсэр-хан, напоследок, за мир кедровый, серебряный, за
Халат твой монгольский в созвездиях дыр, два омуля — твои глаза,
За тот погребальный багряный огонь, что я разожгла здесь одна…
За меч, что ребёнком ложится в ладонь, вонзаясь во Время без дна.

Слегка подмораживало. Но зима была тёплая, слишком тёплая для этих краёв.

Чтобы лучше, горячее и больнее чувствовать снег и землю, Маринка сбросила чулки, чудесные чулки из розовых нитей, и так шла, обжигая пятки снегом, по хорошо утоптанной тропинке вперёд, чуть щурясь, на чёрную, букашкой-таракашкой, точку, чётко сидящую на тонко вытянутой проволоке горизонта — зданье с трёхъярусной крышей: будто на него надели сначала одну шляпу, большую, потом ещё одну, поменьше, потом ещё одну… и поля тех шляп заворачиваются вверх, задорные такие, как углы губ в улыбке. Улыбался дом ей. Звал к себе. И шла она к нему, к улыбчивому спокойному дому, и если бы кто издалека на неё посмотрел, то увидел бы, как от её затылка, из того места, где у человека находится Третий Глаз, прямо в небо, выгибаясь гигантской параболой, уходила, тянулась тончайшая серебряная нить. Так шла она, привязанная к небу драгоценной нитью, и нить не давала ей упасть, умереть, извериться, ожесточиться, уснуть, свалиться в снег, затихнуть. Нить держала её, вела, страховала Божьей лонжей. Распадки с торчащими кустами промёрзшего багульника шкурами горностаев-подранков стелились перед нею. Сопки поднимались в медленном хриплом дыхании, круглились печальными огрузлыми грудями старых, сильно поживших, много рожавших женщин, белозубая метель покусывала соски-всхолмия. Тропа вилась, раскручивалась застиранным длинным полотенцем. Маринка шла, окуная в ветер голые руки. Чья-то сердобольно — на бродяжку — наброшенная драная шубейка из сумасшедшего сибирского зверя — как бежал он, бедолага, по тайге, как блестели слёзные бусины его глаз, когда его убивали! — моталась на ней маятником, распахивалась. И серебряная небесная нить моталась на ветру, но не рвалась, натягивалась только. И Солнце брызгало из-за веселящихся туч жёлтыми боевыми клинками.

Совсем близко уже возвышался Дацан. Маринка различала слезящимися на ветру глазами — всё двоилось, троилось, радужной радостью переливалось, счастьем! — закинутые к небу лица весёлых окон, резьбу на колоннах и эти хитрые, ласковые ребячьи улыбки изогнутых крыш, — как вдруг на скале, обломке леворучь от неё воздымающейся заснеженной мохнатой горы, на гладкозеркальной, непроглядно-чёрной, словно острым тесаком яростного времени срубленной каменной громаде она увидела рисунок, первобытный петроглиф, птичьей лапой процарапанный — остриём в небо, в широкое небо направленный голубой меч. Сердце её зашлось, и она встала как вкопанная.

Меч глядел в небо, он хотел разрубить серебряную нить, уходящую в зенит от Маринкиного затылка. Невдалеке, в лощине меж гор, прогрохотал поезд — он тихим ходом шёл вдоль сурово замершей зеленоглазой реки. Должно быть, это был товарняк в сто вагонов — долго, тягуче разносился булыжниковый перестук колёс. Маринка постояла ещё, пялясь на скалу. Солнце ударило в петроглиф, и он пронзительнее, ярче вспыхнул голубым, густо-синим.

Сырой ветер хлестал. Снег кистями небесного платка бил по щекам. Скалолазкой Маринка не была отродясь, хотя бы здесь наверстает упущенное. Она сбросила дохлую шубейку, перекрестилась. Скала нависала отвесно, в её рытвинах, трещинах и морщинах слежавшейся ватой залёг больной твёрдый снег. Цепляясь руками и ногами за колючие выступы, она полезла, и ладони ветра неотвязно, наказуя и умоляя: «Остановись! дура! сорвёшься-разобьёшься!..» — били, били в её лицо, как в барабан. А она всё лезла, вот чуть не сорвалась вправду! — нет, ухватилась, успела, — и дикое счастливое хрипенье, и смешки — это она себя подбадривала — вырывались из её груди, в которой воздух всей её жизни клокотал.

Вершина, площадка, маленькое, продутое всеми ветрами плато… где камень? — вот, чёрный, антрацитовый, — откуда она знает, что его надо отвалить? — а ветер поёт, а снег хлещет и плещет!.. — и вот он, под камнем, сверкающий, голубым омулем спящий на дне неизбывных времён.

Она взяла его в захолодавшие на ветру красные морщинистые руки, и он засверкал в её руках, и она поцеловала его, и седые её волосы подстреленною птицей упали вдоль лезвия.

Песня Маринки — мечу

Синий меч, целую твой клинок.
Слёзы стынут — изморозью — вдоль…
В дольнем мире каждый — одинок,
Обоюдоострая — юдоль.
Синий меч, купался ты в крови.
Вытер тебя Гэсэр о траву.
Звёзды мне сложились в крик: живи.
Я бураном выхрипну: живу.
Я детей вагонных окрещу
Железнодорожною водой.
Я свечой вокзальной освещу
Лик в хвощах мороза, молодой —
Свой… да полно, я ли это?!.. — я —
Яркоглаза, брови мои — смоль,
Свет зубов?!.. — изодрана скуфья,
И по горностаю — дыры, моль…
Короток сибирский век цариц —
Всех путейщиц, всех обходчиц, всех
Крепкоскулых, да в мазуте, лиц,
Из которых брызжет лавой — смех!

И заокеанский не длинней—
Знахарш, ясновидиц, медсестёр:
Из ладоней бьют пучки огней—
Ненароком подожгут костёр
Эшафотный: свой…
Глядися в меч!
В синее зерцало боли, мглы…
Бездна там венчальных тонких свеч,
Радужно накрытые столы.
За лимонным срезом, за вином,
Кровью пахнущим, за снедью той—
В кресле колчаковском, ледяном—
Мы с тобой: смеющейся четой…
Держишь на коленях ты меня,
Малеванец, мой колдун-чалдон.
Саскией сижу—снопом огня,
Слышу под ребром я сердца звон,
Сердца звон… твоё или моё?..—
Меч Гэсэра, разруби!—невмочь?!
На верёвке Снежное Бельё
Всё мотает Свадебная Ночь…
Свадьба!.. Это Свадьба!..

…это бред.
Волосы седые ветер рвёт.
Меч, гляжусь в тебя. Мне триста лет.
Кости мои—горы. Очи—лёд.
Время просвистело—знамо как,
Гэсэр-хан: как Тень Стрелы Отца.
Сгрёб косичку в смуглый ты кулак
Под планетой жёлтого лица.
Вон и Будда в темноте стоит.
Плачет. Припаду к Его стопам.
Он Христа учил. Он лазурит
Одиноких глаз—швырнул степям.
Ох, спасибо, меч-мороз,—в тебе
Увидала я, кого люблю…
В ножнах ты—как я в своей судьбе.
Прежде Бога горе не срублю.
Выпрямлюсь. Целую окоём.
Сын в земле. Созвездья над землёй.
Синий меч, да мы с тобой вдвоём—
Режущий мне горло ветер мой.
Обоюдоострый мой култук,
Замахнись. Мгновенной будет боль.

…Не разнять мертво сцеплённых рук,
Обоюдоострая юдоль.

Она напялила шубейку. Она засунула его под мех. Она, утираясь ладонями, пальцами, мехом, плакала от радости, ощущая живой мороз древнего лезвия у своего ребра, под своим трепещущим ребром, под сердцем, внутри себя. Как ребёнка. Как сына своего. Он, сын, ведь тоже её разрезал больно, и сладко, и счастливо, когда шёл сквозь неё, головёнкой вперёд, вперёд и вверх, в небо жизни и смерти.

Со ступней её, с ладоней, из порезов, заработанных честно при спуске со скалы, на снег капала ржавая сукровица. Она шла, пятная снег, как подраненный зверь, и дико, беззвучно и великолепно смеялась, прижимая локтем священный меч к груди и животу.

Родные рельсы там, за поворотом, легли перед ней тёмно-лиловыми охотничьими копьями. Мир был древен и жесток, как смола и звезда. И прямо над Маринкиной головой висела, тяжело и пронзительно переливаясь, огромная, как серебристый ёж, разноцветная звезда, печальная. Имя ей было… Маринка закинула голову… да разве так важно это—имя? И станция светилась меж лиственниц, и крыша станционного домика улыбалась так же, как изогнутая крыша Дацана.

Она подошла к станции, и поезд нагнал её. Минуту стоял поезд, может, меньше. Когда она залезала, придерживая под шубейкой запястьем—меч, в плацкартный вагон, её босые ступни ожгло железо вагонной лесенки, и Маринка охнула, взбираясь в тепло и картофельно-яичный дух, в свалку пальто, шуб и матрацев, к едокам, картёжникам и молчаливым скитальцам, в песни, жалобы и ночные сплетни-шушуканья. Народ, любимый народ. Смерть не жалко принять от руки твоей.

Она вошла, огляделась, оттаяла, пробралась к свободному месту. На неё, босую, простоволосую, вытаращились. Но смолчали, ничего не сказали—немногословен народ, справедлив.

Она сидела молча, качалась из стороны в сторону. Вагон качал её—её люлька, её колыбель. Путь и поезд убаюкивали её, пели ей дымную песню воли и неизбежности. Вечерело, мгла густела в восточной стороне широкого неба, и прямо за торчащими лопатками сухощавого дабана—ничком, уткнувшись в снег лицом, лежал каменистый хребет, как старый раненый солдат,—размахивал закат режущим глаз оранжевым флагом. Сосед, белобородый раскосый старик, предложил ей холодную картошку, завёрнутую в газету—свинцовые строчки на картошке отпечатались,—и хвост жирного омуля с душком. Она поела, поблагодарила, утёрла рот. Вагонное стекло искрило морозной вышивкой, крестами и стрелами. Ночь спускалась стремительно—так убитая птица падает с неба в сугроб, в кровеносное сплетенье крон.

Маринка сидела, качалась, полузакрыв глаза. Вокруг укладывались спать—утомились, угомонились люди, приустали жить на земле. На Маринку накатила непонятная волна, заныло и засосало под ложечкой: захотелось ей покурить, как в беспризорных девчонках, бывало, присаживалась она на корточки курнуть близ гаражей, около отсыревших досок депо, у синего семафора поломанной стрелки. Вот, вот она, тоска. Втянуть глубоко в себя сизый дым, задохнуться. Заплакать. Подумать: как хорошо. Как смертно всё, как чисто. Бесповоротно как.

Она встала, пошатнулась, сунулась лицом к белобородому старику—он дремал на верхней полке. Попросила тихонько:

—Дедунь, я видала, ты курить выходил, дай чинарик, однако?..

Сонный дед пошарил под подушкой. Маринка вытащила папиросу из мятой пачки, зажала коробок спичек в кулаке.

Стылый тамбур обхватил её руками железного стука и пустоты. Огонь спички взвился и умер. Маринка затянулась глубоко, и разноцветье жизни всей затанцевало перед глазами. Леса, отлоги, льдяные реки, дабаны в соболях вечных снегов

летели за окном. И небо вызвездило так, что человечьим глазам больно было.

И дверь распахнулась, и круглые дымы мороза резко ворвались, опалили коричневые крашеные убогие стены трясущегося тамбура, и трое ввалились — откуда, из соседнего вагона? — не понять было ничего. Они вошли, и у Маринки потемнело сердце, быстро забилось, потом остановилось вовсе. Она не помнила, не знала, не разобрала, в чём, как они были одеты: то ли тельняшки из-под расстёгнутых грязных курток, то ли штопаные на локтях дошки, то ли…

— Куришь, баба, значит, да?

— А нам дашь прикурить?

Жёсткий смех, будто ножом по сковородке.

Обступили. Она всё время ощущала синий холод прекрасного меча под левой подмышкой, под сердцем.

Правый ударил её в скулу. Под дых. Левый бил наотмашь, не разбирая куда. Тот, что сзади мотался, ругнулся глухо. Перед глазами Маринки метнулся обнажённый нож. Вот ещё одна финка. Ну, Меч, иди сюда. Время настало.

Она выхватила Меч. Неловко, неумело сражалась она, баба. Мужское это было, хитрое дело, неведомое ей. Но делать было нечего. Синие молнии сверкали в табачных тучах. Вагон рвался из стороны в сторону, колёса отдирались от рельсов, отлипали, вцеплялись снова. Трое били пьяно, озверело, точно. Маринка ранила Мечом — кого? — лезвие резануло живое тело, кровь брызнула ей на замёрзшие, в цыпках, щиколотки. Трое одичало плевались сквозь зубы ругательствами. Она побеждала. Меч, родной, помоги. Гэсэр-хан, молюсь тебе. Она должна живой остаться. Добраться к малеванцу милому. Увидеть глаза-его-рыбы, стреловидные, стремительные под водою быстротекущего Времени.

И тут чёрная тень человека ли, медведя ли… с жёлтыми горящими глазами, с серпами когтей на чёрной колышущейся лапе… из иного пространства, из страшного, дегтярного, медленного бытия, где царствует липкая чёрная боль… высунулась из-за тамбурной двери, потянулась к стоп-крану, дотянулась, зацепилась, дёрнула… Поезд завизжал, застыл в вечной мерзлоте. Маринка упала лицом вниз, на холодное мёрзлое железо. Меч вылетел, пробив окно, на снег, на обочину.

Её больно обожгло под ребром… под сердцем… в животе. Там, где скрылась, спряталась её жизнь, обожгло её. Пламя стеной встало вокруг неё. И только одно поняла она: помолиться она уже не успеет за то, чтоб живущие — жили.

Её, Маринку-сезонку, убитую тремя ножами, трое, открыв в летящий посвист ледяного воздуха тамбурную дверь и раскачав за ноги и за руки, выбросили из вагона. Тайга молчала. Звёзды горели дико. Она — то, что секунду назад было ею, её обхваченное ветром тело, — упала на звенящий наст, раскинув руки, как бы летя, и Меч рядом с ней блестел в свете звёзд выловленной из омута Времени рыбой.

А неподалёку от места её смерти горел, треща, костерок, ёжились на ветру вагоны-теплушки, сидели на заснеженных брёвнах и мазутных обрубках шпал железнодорожные рабочие, варили на костерке, в проржавелом котле, сибирский чай с травою «верблюжий хвост», переругивались беззлобно, курили, молчали. И среди них сидела милая, нежная девчонка в ватнике, с веснушками под глазами, с родинкой на верхней губе. Руки грела дыханьем то и дело: на эдаком холоду долгонько разве гитару продержишь-то? Струны перебирала. Голос хрипел на морозе. Голос. Голос. Слышишь, Маринка?! Твой… разрубили серебряную нить, и пошла жизнь, лишённая навек смерти, гулять по свету, смеясь, и плача, и страдая, веснушчатой девкой во льдах, голытьбой, руки голые, на морозе, подняв в благословенье надо всем, что мило было.

Так пела девчонка в ватнике. И рабочие железной дороги вроде бы и не слушали её, говорили меж собою, пили крепкий чай, хлеб кусали. Но стоило замолкнуть ей — в бок локтем пихали, приказывали:

— Пой! Чо останавливаешься!..

Последняя песня

Исходила младёшенька
Золотые дороги,
Заревые дороги,
Где великие боги…

Засыпала младёшенька
Во скитах и оврагах,
Подстилала отвагу,
Укрывалася флагом…

Спину гнула младёшенька
Над морозною бочкой,
Над дегтярною ночкой,
Над терновым веночком…

Над колючим вагоном
В темноте примерзала…
Губы слиплись со сталью —
Но и кровью-печалью —
Всё равно целовала…

А любила младёшенька
Мужиков несчислимо —
То разбойника-вора,
То из глада и мора,
Из церковного хора —
Каждый мимо и мимо,
Каждому: мой любимый…

Как рожала младёшенька —
Коромыслом погнулась,
Коромыслом погнулась
Да назад не вернулась…

Да в сугробах младёшенька
Хоронила сыночка —
Омулёвая бочка,
Многозвёздная ночка…

Слёзы, слёзы младёшеньки —
Ангары вы истоки,
Светлой Лены истоки,
Ледяны и жестоки…

Улетала младёшенька
За моря-океаны,
За моря-океаны,
За снега и бураны…

Там поела младёшенька
С золочёных подносов—
Снова кровушку-слёзы,
Ой ли, кровушку-слёзы…

Излечила младёшенька
От хворобы да горя,
От великого горя—
Непомерное море…

Хлеб да рыбу—голодным,
Мех да пламя—холодным,—
Всё давала младёшенька,
Отдарила свободным…

Так ходила младёшенька
Босиком—да по снегу,
Босиком—да по снегу,
Да с огнём—человеку,
Босиком—да по насту,
Помогая несчастным,
Босиком—да по тверди,
Босиком—да по Смерти!
Крест висел деревянный
На груди окаянной
Да нефритовый Будда—
Охранял от простуды…

Только вся заливалась
Золотыми слезами,
Только в небо вонзалась
Золотыми глазами:

Ох, Луна моя, Луненька,
Сто дорог исходилось,
Сто сапог износилось—
А к тебе не прибилось…

Воском щёки закапаны…
Мама, Лунная Матерь!
Ты поставь мне, заплаканной,
Вина в рюмке на скатерть.

Упаду я, младёшенька,
На столешницу—ликом,
Да исплаканным ликом,
Да сиротским ли криком:

Ох, Луна моя, матушка!
На сторонушке тёмной—
Дом родной: там и счастье,
Там и горе—бездомно…

…и тянула младёшенька
Ко Луне сивой руки,
Ко Луне седой—руки
В человеческой муке.

Исходила младёшенька
Все луга и покосы,
А Луна всё светила
На следы-её-слёзы,

А Луна всё младёшеньку
Целовала, сияя,
Обнимала, сияя,
И шептала: «Родная…»

Но не видно младёшеньке
Яркой Лунной дороги:
Обессилели ноги,
Подкосилися ноги—

И легла-то младёшенька
В снег, Луной осиянный,
Зимней ночью росстанной,
Светлой ночью росстанной…

Рельсы сверкали под Луной резким светом, остро и отрешённо. Их, рельсы светлые, вброд, чуть пошатываясь и раскинув руки, чтобы не поскользнуться и не упасть на изломах каменной мерзлоты, перешёл раскосый маленький мальчик. Смуглое лицо его было круглое, лунное. Улыбка изгибала маленьким весёлым луком его рот. Чёрные жёсткие волосы выбивались из-под островерхой монгольской лисьей шапки. Мальчик присел на корточки перед лежащей. Шея Маринки неловко, мучительно изогнулась, вывернулось встречь звёздному небу лицо, лунный свет лёг серебряным горчичником на изселена-бледную щёку. Мальчик погладил женщину по мёртвой щеке.

— Мама,—прошептал он.—Здравствуй на веки веков.

Он достал из-за пазухи круглую железную походную флягу, отвинтил крышку, капнул водки на палец, побрызгал через плечо—на снег—бурятским и монгольским богам. Пошарил ещё в кармане. Вынул золотое венчальное колечко. Отёр его о полу дублёнки. Надел на неподвижный палец. Опять разлепил губы, сказал:

— Это от него, мама. Он просил, чтоб я сам тебе надел. Он тебя всю жизнь ждал, мама. Он здесь, за скалой. Близко. Я люблю тебя, мама. Никто не уходит отсюда. Все превращаются. Но я ещё пока не знаю, в кого ты переселилась.

Он наклонился, бережно взял меч Гэсэр-хана, обжёгши ладони замёрзшим до звона лезвием, поднял—и тихо, осторожно пошёл с мечом на вытянутых руках, медленно и нежно пошёл прочь от лежащей на синем снегу, унося меч далеко в горы, для будущей Скиталицы—для новой Маринки… Людмилки?.. Ксеньки?.. Еленки?.. имя её Луна одна лишь знает… награду.

А за увалом дабана, за грозной скалой, сидел раскосый длинноглазый человек, на волка похожий, перед ним на тверди наста стоял мольберт, деревянными лапами в снег вгрызаясь, и человек-волк то и дело снимал огромные рукавицы, дуя горячим дыханьем на замерзающие руки, вцепляясь крючьями пальцев в звенящие сосульки кистей, рьяно выдавливая цветные айсберги красок на стиральную доску палитры. На морозе, на диком волчином морозе всё это, кусая губы до крови и слизывая тёплую красную соль с заиндевелых усов, писал он, всё это он, с колотящимся сердцем, жёсткой рукою писал: и лежащую на синем снегу, вывернув шею, Маринку, и тихо идущего в горы мальчика со сверкающим мечом на вытянутых руках, и колючую радугу звёзд над дабаном,

и любовный сухой багульник по склонам, и ярко, смертно блистающие ножевые рельсы Транссибирской железной дороги, и застывшую кольцами ледяную змею на высокой гористой шее молчаливой суровой земли — Селенгу под зелёным льдом, — и всё грел, грел бешено-неуёмным дыханьем руки и краски, чтоб никогда, никогда, во веки веков, не застыли, не умерли.

И по щекам художника текли звёзды и падали в снег у ног его. И он видел, как блестит золотое венчальное колечко на безымянном пальце Маринки, и писал его, вёл колонковой кистью по задубелой шкуре холста. А над головой вставало колдовское, морозное Сияние. И в том Сиянии блазнилась ему за смолистым стволом усатая зверья морда, крупные нефритины мудрых лесных глаз. И розовую кошку, китайскую пантеру, сидящую на снегу просто и строго, пристально глядящую из-под размётанного на полнеба ветрами кедра на спокойное, недвижное тело Маринки, нежно, плача на холоду стынущими звёздами, рисовал он.

И последнее, что лепила любящая кисть, — там, где грубая ножевая рана зияла и сочилась подземной силой под сердцем Маринки, — пустой, чёрный до головокруженья прогал с летящей там, в черноте, скуластой и яркой Луною бессмертной.

Нет, ещё нет. Не последнее. Краски мёрзли неотвратимо. Немного времени оставалось. Он грел дыханьем руки, ругался сквозь зубы, цеплял густеющую, словно кровь, краску черенком кисти, пальцем размазывал по холсту, жестокой, великой ладонью. Вот! Сюда мазок. И сюда. Удар. Лессировка. Скорее. Вот она — счастливая улыбка рта Маринки, любимого, нежного женского рта, век назад целованного им, а она голову больно повернула, мёртвым глазом на небо глядя, и из угла рта медленно, по капле, целые долгие века, зимние тысячелетья ползёт на снег, прожигая дымящуюся дырку в вечной родной мерзлоте, струйка синей в лунном свете крови, жизни, молитвы: за други своя, за сгибших, за страдающих, за всех сужденных и любимых.

ДиН антология

145 лет
со дня рождения

Дмитрий Мережковский

О вечной Розе…

Кассандра

Испепелил, Святая Дева,
Тебя напрасный Фебов жар;
Был даром божеского гнева
Тебе признанья грозный дар.

Ты видела в нетщетном страхе,
Как вьётся роковая нить.
Ты знала всё, но пальцев пряхи
Ты не смогла остановить.

Провыла псица Аполлона:
«Огонь и меч» — народ не внял,
И хладный пепел Илиона
Кассандру поздно оправдал.

Ты знала путь к заветным срокам,
И в блеске дня ты зрела ночь.
Но мщение судеб пророкам:
Всё знать — и ничего не мочь.

Я всех любил, и всех забыли
Мои неверные мечты.
Всегда я спрашивал: не ты ли?
И отвечал всегда: не ты.

Так дольних роз благоуханье,
Увядших в краткий миг земной,
Не есть ли мне напоминанье
О вечной Розе, об Одной?

Бог

О Боже мой, благодарю
За то, что дал моим очам
Ты видеть мир, Твой вечный храм,
И ночь, и волны, и зарю…
Пускай мученья мне грозят, —
Благодарю за этот миг,
За всё, что сердцем я постиг,
О чём мне звёзды говорят…
Везде я чувствую, везде
Тебя, Господь, — в ночной тиши,
И в отдалённейшей звезде,
И в глубине моей души.
Я Бога жаждал — и не знал;
Ещё не верил, но, любя,
Пока рассудком отрицал, —
Я сердцем чувствовал Тебя.
И Ты открылся мне: Ты — мир.
Ты — всё. Ты — небо и вода,
Ты — голос бури, Ты — эфир,
Ты — мысль поэта, Ты — звезда…
Пока живу — Тебе молюсь,
Тебя люблю, дышу Тобой,
Когда умру — с Тобой сольюсь,
Как звёзды с утренней зарёй.
Хочу, чтоб жизнь моя была
Тебе немолчная хвала.
Тебя за полночь и зарю,
За жизнь и смерть — благодарю!..

Андрей Коровин

Мой ледосплав

Бетти

благодарные читатели
подарили ей щенка породы миттельшнауцер
он деловито расселся на столе
и первым делом
спихнул телефонную трубку
щенка назвали Беатрис де Лени
он оказался девочкой
для своих просто Бетти

Бетти была начитанной собакой
в детстве она съела несколько книг
пять собраний сочинений
лишились по тому

я помню два её помёта
один от правильного кобеля
с медальками
другой от случайной связи
с овчаром
и множество ложных беременностей

когда в старости она заболела
у неё вырезали матку
она лежала у батареи
закутанная в пуховый платок
и тряслась от холода и пустоты
шедших изнутри
когда она пыталась ползти
то оставляла кровавый след на полу
из свежей раны
ей хотелось чтобы с ней разговаривали
и я гладил её по голове как ребёнка
и уговаривал что всё будет хорошо

Бетти прожила долгую жизнь
к старости она была глуховата
и почти ослепла
она погибла упав в коллектор с водой
не понимаю как её туда занесло
она знала сад наизусть

она пережила женщину
которой её подарили
её любили больше
чем эту женщину
конечно она не знала
Цветаеву и Ахматову
но для собаки
она была очень начитанна
она съела Золя и Мопассана

бремя белых

Несите бремя белых…
Редьярд Киплинг

последнее неизвестное миру племя
было открыто в 60-х годах прошлого века
в лесах Амазонки

они были молоды красивы
и не носили одежды
высокие плечистые мужчины
и невысокие дородные женщины

после знакомства с исследователями
многие индейцы умерли от болезней
в том числе от банальной простуды

молодёжь
выросшая после этого
уехала работать в город
а вождь племени
рослый красавец с голым торсом
на кинохронике 60-х
теперь сгорбился
одет почти как бомж
и болеет туберкулёзом

раньше его племя воевало
с другими племенами
защищало свою территорию
и своих женщин
мир казался простым и понятным

единственное интересное
что он может припомнить
за прошедшие годы
после прихода белых
это как они с братом
однажды переспали
с белыми женщинами

они были солёными на вкус
говорит вождь
неприлично хихикая
и харкая кровью

вот и всё
что дала им
наша цивилизация

мой ледосплав

а весной мы пошли с отцом к бабушке
мимо пруда и берёзовой рощи
пруд был не очень большим
но глубоким
в нём водилось много рыбы
и на пруду был ледоход

давай покатаемся на льдине
предложил отец
и мы забрались на льдину

отец взял длинную палку
которую бросили на берегу
такие же любители ледосплава
и оттолкнулся от берега

нас отнесло дальше
чем он рассчитывал
и наша палка не достигала дна
отец пытался отталкиваться
от соседних льдин
но нас всё дальше и дальше
уносило от берега

вдруг льдина дала трещину
она была не очень сильная
эта льдина
от неожиданности я поскользнулся
и ноги сами поехали к краю
льдина накренилась
и я по колено оказался в воде

отец дал мне руку
и втянул на середину льдины

вокруг не было ни души
оставалось надеяться на чудо

может мы просто доплывём
нерешительно предложил я

вода очень холодная
серьёзно ответил отец
можем не доплыть

и тогда я по-настоящему испугался

утонуть в этом небольшом
знакомом с детства пруду
где я ловил пескарей
было немыслимо

я страстно просил кого-то
не помню кого
чтобы он спас нас
чтобы не оставлял на смерть
на этом пруду
в двух шагах от дома и мамы

к счастью вскоре
к нам подплыла большущая льдина
от которой мы смогли
как следует оттолкнуться
потом ещё от одной
и ещё

так мы подплыли к берегу

мы не дошли в этот день
до бабушки

и мы никогда не рассказывали
об этом
маме

Сергей Главацкий

Белый шумер

Лунное затменье

Возненавидел я затменья
За то, что я, пока кровав
Зловещий диск, теряю разум
И, в исступленье, все каменья,
Что собирал, облюбовав,—
Раскидываю, как заразу.

Как утро вещее уныло!
Как зыбок вечера камин!
Тебя мир тоже утомил?..
Сначала красота убила
Меня, теперь—убьёт весь мир.

Уже крадут русалки вёсла.
А равнодушие—поверь!—
Оно: религия для взрослых,
Для стариков и тех, кто после…
Мы стали взрослыми теперь.

Всё ближе мы к оцепененью
И к равнодушью мертвецов.
Смотри—ведь это—налицо:
Из нас бы вышли привиденья,
Но люди—нет. Не тот фасон.

Ещё кладбищенские плиты
Так молоды, и облака
В них отражаются пока!..
Мне всё равно, и всё забыто,
И даже ненависть—легка.

Могила пахнет воскрешеньем.
Ей снишься ты, моя весна!
Щекочет колокол Иуда,
И нагота—броня для нас.
Молитвы, жертвоприношенья
И небеса???… Уйди отсюда.

Живая вода

Мы гости на грешной Земле.
Не вспомнить, откуда пришли мы.
Мы видим лишь то, что во мгле,
И счёт ведём ядерным зимам.

Мы к мёртвой привыкли воде,
Живая—вредна и опасна…
А мы ведь—потомки людей,
Людей, без сомненья, несчастных…

Нам лучше ледник, чем река,
В пещере удобней, чем в поле…
Мы всё еще живы… пока
Мы служим прислужницам боли…

Но ветер нас сдует с земли
И станет нам мысли коверкать,
И вспыхнем мы где-то вдали,
Как будто огни фейерверков…

Цех

Это цех. В нём создáли меня. И умру
Я—в мерцанье светил, среди звёзд без имён,
И тогда—неизвестный мне друг, из амёб,
Мой единственный друг, мне признается вдруг:

«Ты давно уже дух, мой единственный друг,
Вечный поиск её—твой загробный кошмар,
Твоё царствие карцера—карма-тюрьма,
Твой извечный маршрут, твой священный недуг,

А её дух уже растворился в ночи,
Её кожа уже, точно Время, стара,
Её пепел уже разогнали ветра,
И её красота догорела в печи…»

Упокой меня, Господи, в эту же ночь,
В ночь, когда континенты сорвутся с цепи,
Чтобы *ту* не искал, что давно крепко спит,
Что, наверное, и не могла мне помочь,—

Чтобы я не искал ту, что в сердце моём,—
На земле и на небе, во снах и в бреду—
Ту, которой давно упокоился дух,
Той, что стал заповедником мой окоём,

И пускай нас потопит в легендах Харон,
Пусть погонит меня в это стойло Пастух,
Упокой мой кошмар, я не больше чем—дух,
Упокой и меня, и над духом—ворон,

Как безмолвны самумы в молитвенной мгле,
Как вороны мою изничтожили плоть…
Но ответил Господь, мне—ответил—Господь:
«Слишком долго искал ты её на Земле,

Слишком долго молился увидеть во сне…
Ты не сможешь иначе, не сможешь—не быть,
Не искать и не звать, не тревожить гробы,
Не молиться её красоте и весне…

Ваше время прошло, убивай и кради…»
В эту ночь замыкаются цисты судеб,
Добела накаляются души людей,
И—наверное—всё. Упокой, отпусти…

Вознесутся Земля, человечество, мир,
Но в аду я—прописан, в девятом, точь-в-точь,
И опять, в сотый раз пережив эту ночь,
Время в точку сожмётся, и плоскости—в миг…

Духу—духово, разве не так, разве нет?
Я ищу её след, во все окна—смотрю,
В каждый грот, в каждый лаз и подопытный трюм,
И себя—каждый день нахожу я на дне,

Сотни раз—без успенья—сошедший с ума,
И, мне кажется, вижу—Её—вдалеке,
И кошмар мироточит—аортой в руке,
И мой дух возвращается в этот кошмар.

Феномен Раудива

Достучаться в утопию. В явь, во—Пространство
Из—загробного мира, из—навьих отрогов…
Это странное, вечное, злое сектантство
Среди призраков—не соглашаться с итогом.

Это дикая призрачья коллегиальность—
Сквозь воронки ночей возвращаться с приветом,
Сквозь звонки телефонные рваться в реальность,
Сквозь экраны в помехах смотреть с того света

На любимых своих, отчего-то—живущих,
Неизвестно куда—запровадивших—бывших,
Неизвестно кого в свои крепости—ждущих,
Неизвестно зачем—о погибших—забывших,

Пригвоздить себя к городу, к дому, к экрану,
Пристегнуть себя к прошлым родным и любимым
И являться воочию к ним—постоянно,
То смятеньем, то дымкою, то—херувимом…

И я буду звонить тебе вечером, в восемь,
Молчать в трубку, по радио петь одалиской,
И одёргивать страх твой, шатать твои оси,
И—стоять над кроватью твоей—обелиском.

И я буду в помехах экранов—угрюмым,
Столь знакомым лицом, без души и без тела,
И—окутаю спальню твою белым шумом,
Белым сумраком, коконом ноющим белым…

Эта странная каста среди привидений,
Возвращающихся, беспокойных, влюблённых,—
Оставаться в себе, удлиняться, как тени,
И не знать, что *они* бьют таможням поклоны…

Это странное действо среди расщеплённых—
Оставаться на связи с порталом могилы,
Приходить к своим суженым—не опылённым!—
То помехой, то ужасом, то—Михаилом…

Белый шумер

Радость моя, наш сентябрь—ушёл.
Он не дождался нас и—обезумел.
Весь его свет и одежд белый шёлк,
Белый шумер—растворён в белом шуме.

Солнце моё, нами он—дорожил,
Знал, что не будет другого расклада,
Груз его—нашу счастливую жизнь—
Вместе с собою унёс в листопады.

Радость моя, наш сентябрь сожжён
Рыжей листвой инфернального сада.
Выбежав в осень, скрываясь от жён,
Он поражён был такою засадой.

Солнце моё, он—отжил и остыл,
И—обратился в космический холод.
Мы—его бренный, единственный тыл—
Только лишь айсберги, не—ледоколы.

Радость моя, наш сентябрь погиб
Через три месяца после разлуки.
Я не подам ему больше руки,
Ибо бесплотны у призраков руки.

Полутени

Я хочу возвратиться туда, где погиб,
В городок, что нам мал, где петляют ветра,
На ту площадь его, где бессмысленен Ра,
По которой расходится, словно круги

По воде, нашей встречи сигнал—до сих пор,
И срывает знамёна с флагштоков судьбы…
Я хочу возвратиться туда, где я был,
Но, увы, между жизнью и смертью—забор.

Я хочу возвратиться туда, где убит,
На тот пляж, где священна—любая волна,
На тот берег, который при мысли о нас,
Как серийного киллера, мелко знобит,

В самый радостный угол моей конуры,
Конуры привиденья—холмов и лугов…
Я хочу возвратиться туда, где легко,
Но, увы, между жизнью и смертью—нарыв.

Где был взгляд мимолётен, но путь предрешён,
Где за миг всех богов изменятся суть,
И моря не приемлют ночную росу,
И от атомных взглядов возможен ожог…

Я над *городом этим* летаю, и—в ад,
И висеть над погостом своим—ни к чему.
Ежедневно и круглогодично—в Крыму,
Но, увы, между смертью и жизнью—провал.

Может, встретимся снова на площади?.. Но—
Стой вдали, не давай мне надежду, строга.
И—ни шагу—вперёд. Попрощайся со мной
С *твоего* расстояния, издалека…

Ты—живая, тебе не пристало—робеть
Ближе, чем за сто метров ко мне—мертвецу:
Мертвецы—губы суженых—тянут к лицу,
Жизнь возлюбленных—жадно—лелеют в себе.

Это—будто раскопана в мире вся твердь,
Это—будто грязна во всём мире—вода…
Я хочу возвратиться в тот день—навсегда,
Но, увы, между смертью и жизнью—лишь смерть.

Эти альты кощунственно громко скрипят.
В этом теле немыслимо много души.
Этот день слишком свят для тебя.
Ты не сможешь его пережить.

И жемчужные пухлые плавни веков
Омывают твои и мои корабли.
Это—нимб над неспешной тоской.
Это—гул электрички вдали.

Изнурительных сумерек рыхлая ложь
Вызывает приливы в седых облаках.
Только в Небе—упругая дрожь.
Только призрак тебя—на руках.

И в рубашках смирительных мечется жуть.
Даже нимб растворился над дымом ночным.
Никогда я тебе не скажу,
Что над нами когда-то был нимб.

Александр Пылькин

Промеры человеческого

Из цикла «Песни о святых и юродивых»

Читатель Библии

В деревяшку двери не стучите
Башмака начищенным носком.
Не ответит здесь никто на стук вам.
Пухлый перст с усохшим ноготком
Ползает по чёрным жирным буквам,
И спадают старые очки.
И плевать, что в пище позабытой
Завелись тугие червячки,
И который день в гробу корыта
Спит белья воняющий покойник,
И в воде, налитой в рукомойник,
Зацвела болотная кувшинка.

В деревьях чёрных человек
Без пальцев на одной руке
Окурок белый в мундштуке
Зажечь пытался. Падал снег.
Пришёл старик, худой, в заплатах,
Рукой усохшей указал
На стадо голубей крылатых,
Ходящих мирно, и сказал:
«Гляди, гуляют пальцы новые.
Мне стоит только подмигнуть—
Ногтями станут клювы эти…»
«Пускай живут, мелкоголовые,—
С улыбкой человек ответил,—
А я без пальцев как-нибудь».
Ушёл, потупившись, старик.
Унёс росинку на реснице.
И подбежали в тот же миг
На алых своих лапах птицы,
Пять алолапых голубей.
Пять синегрудых голубей
Достали спичку из коробки
И, слабы с непривычки, робки,
Потерли о коробку ей.
. . . .
Когда туман с рассветом тает
Над полем, засеянным минами,
Сапёров сонных охраняет
Святой Степан с перстами голубиными.

Памятник Неизвестному солдату

Бетонный, большой, неизвестный,
Пронзив поднебесье штыком,
Стоял он, взирая на местность,
И птицы сидели на нём.

Угрюм, продолжал он стоять,
Отчизны безмолвный кумир.
Ему было, в общем, плевать
На гадящих птиц и на мир.

Пуговица

Летит домой письмо в конверте,
А на земле солдат лежит.
К земле незримой нитью смерти
Он навсегда теперь пришит,
Как будто пуговица какая…
И вот лежит он, точно ждёт,
Что кто-то выйдет из-за края
И землю к небу пристегнёт.

Жук изъел мне всю древесину—
У меня ходы его в сердце.
То ли дети, то ли какие-то крупные птицы
Свили в кроне гнездо.
При корнях завелись кроты,
И они подгрызают…
А в дупле ше́ршней роется рой:
Полон мёдом я их ядовитым.
Я—четырежды дом, человек.
Ты ли ропщешь на то что устал,
Став случайным ночлегом?

Уже достаточно глубок
Старик, сидящий у реки,
Чтобы исчез на теле крест нательный,
И чтоб святого духа сизый голубок
Клевал метафорически
С руки его предельной,
А мысли скорбная трава
Сквозь мифов сор нетленный проросла,
Что отдавать пора корыто вещества,
Которое ты занял у Вселенной.

Игорь Герман

Пограничное состояние

— Нам нужно поговорить,— осторожно сказала она, когда поздно вечером, покончив с дневными заботами, они удобно устроились на диване.

В подчёркнуто спокойной интонации её голоса он почувствовал искорку серьёзности предстоящего разговора. Это было некстати. Серьёзные разговоры вообще некстати, потому что они приносят проблемы, которые заставляют думать, давать обещания и принимать решения. После душного летнего дня хотелось просто расслабиться у экрана телевизора. Он умоляюще посмотрел на неё. Она поняла его немую просьбу, но намерения своего не изменила.

— Нам нужно поговорить. Удели мне немного времени.

— Сейчас будет фильм…

— Фильмы ты смотришь каждый день.

Он взял пульт и нажал кнопку. Телевизор ожил, и на стенах комнаты, утопающей в мягких сумерках, замелькали разноцветные тени пляшущей рекламы.

— Выключи его, пожалуйста,— попросила она.

— Я хочу фильм посмотреть.

— Выключи.

— Что, настолько серьёзно?

— Да. По крайней мере, для меня. Но я надеюсь, что и для тебя тоже.

Он недовольно погасил экран телевизора. Отброшенный пульт упруго подпрыгнул на диване. Они помолчали.

— Если что-то надо купить, то я заранее согласен.

— Нет, покупать ничего не нужно.

— Тогда я тебя слушаю.

— Не догадываешься, о чём пойдёт речь?

— Я же не следователь.

— Давай поговорим о нас с тобой.

Он нетерпеливо заёрзал на месте.

— Ты против такого разговора?

— Нет, конечно, но… не хотелось бы сейчас. Да и к чему вообще эти разговоры, если у нас всё хорошо?

— Да, хорошо. Слава Богу.

— Ну вот.

— Тогда тем более нам нужно поговорить.

— Почему тем более?

— Потому что.

Он внимательно посмотрел на неё.

— Не понял.

— Мы с тобой живём уже полгода,— сказала она.— Как ты думаешь, это много или мало?

— Это нормально.

— Нормально для чего?

— В смысле… вообще.

— Я тебе за эти полгода ещё не надоела?

— Нет, конечно.— Он искренне удивился прямой постановке вопроса.— С чего ты взяла?

— Тебе хорошо со мной?

— Ну… в принципе, да.

— А без принципа?

— Тоже… Что за допрос такой, я не понимаю?

— Это не допрос… Можно, я ещё спрошу?

Он сделал неопределённое движение плечами:

— Спрашивай.

— Скажи, пожалуйста, я тебя устраиваю… как человек?

— Боже мой. Конечно, устраиваешь.

— Давай я спрошу ещё более конкретно: я тебе нужна?

Он взглянул в её карие, необыкновенно серьёзные глаза.

— Да что с тобой сегодня?

— Ответь, пожалуйста, если можешь,— настойчиво попросила она.

— Конечно, ты нужна мне.— Его ответ прозвучал, быть может, чуть более убеждённо и твёрдо, чем этого требовало деликатное чувство правды.

— Тогда скажи мне…

Она замолчала. Волнение мешало ей подобрать нужные слова.

— Что же с тобой всё-таки?

— Ничего.

— Ты какая-то… необычная.

— Не волнуйся. Всё хорошо. Всё замечательно.

— Я и не сомневался.

Они помолчали ещё.

— Тогда… если я нужна тебе, если мы устраиваем друг друга, если нам хорошо рядом… тогда, может быть, имеет смысл принять решение?

Он глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, но не найдя ответа, развёл руками.

— Давай уже будем жить семьёй.— Она трогательно, по-детски, улыбнулась.

— Ведь мы и так вместе живём.

— Я бы хотела по-настоящему.

— Для тебя это так важно?

— Конечно. Очень важно.

— Обычная формальность. Зачем она тебе?

— Мужчине трудно понять.

— Живут же люди и без этого.

— Люди живут по-разному.

— Ну… если ты считаешь, что это необходимо…

— А ты так не считаешь?

— Не знаю. Я не задумывался.

— Когда-то нужно задуматься.

— Что-то случилось?

— Случилось.

Он беспокойно взглянул на неё.

— Ты меня не пугай.
— Просто теперь нам нужно думать не только о себе.

Он нервно почесал голову:
— Давай уже прямо. Жара, вечер — я плохо соображаю.

Он ожидал ответа, не сводя с неё глаз, и что-то подсказало ему правильное направление мысли.
— У нас будет ребёнок…

Он растерялся, несмотря на то что интуитивно угадал её ответ.
— А это точно?..
— Я была у врача.
— И что он сказал?
— Это же самое.
— Понятно…

В последовавшем молчании она застыла немым вопросом. Он задумчиво покусывал нижнюю губу.
— Что ты скажешь на это? — наконец спросила она чуть дрогнувшим голосом.

Едва уловимый излом её интонации подсказал ему, какого именно ответа она ждёт и насколько ей важен такой ответ. Вопрос поставил его перед выбором: солгать или обидеть. Он не хотел делать ни того, ни другого.
— Это хорошо.
— Правда? — с надеждой спросила она.
— Конечно… Хорошо, что ты сказала мне об этом… Сколько уже?
— Больше четырёх недель.
— Ты не знала?
— Последние дни предполагала, но выяснилось только сегодня… Ты хочешь ребёнка?

Так как откровенный разговор не оставлял никаких лазеек для дипломатических полутонов, он нашёл в себе мужество ответить прямо и честно:
— Не знаю.
— Не знаешь… — повторила она и, помолчав, добавила: — Тебе ведь уже за тридцать.
— Ну и что? Стать отцом никогда не поздно.
— Зато можно опоздать стать матерью.
— Тебе рано беспокоиться по этому поводу.
— Я так хочу малютку. Ты не представляешь, какое это сильное чувство. Его не преодолеть. Это инстинкт, с которым невозможно спорить. Он всё равно окажется сильнее. И будет тысячу раз прав. У мужчин, наверное, это как-то иначе. Вы по-другому относитесь к этому… Почему мы не понимаем друг друга?

Как всякий человек, которого обстоятельства ставят перед необходимостью оправдываться, он чувствовал себя неловко. Его слова, мысли, желания носили отпечаток растерянности и были не по-мужски мелкими. В наступившей паузе неудобного диалога он пытался найти причину, которая делала его беспомощным и уязвимым в этом принципиальном разговоре мужчины и женщины.
— Ты не хочешь от меня ребёнка? — спросила она.
— Не в том дело… Причём здесь от тебя или не от тебя? Просто я считаю, что ещё сам не готов к этому.
— Неправда. — Она улыбнулась одними губами. — Ты меня не любишь.

Он возмущённо вздохнул и… промолчал. А действительно, что чувствует он к женщине, сидящей рядом с ним и пытающей его взглядом своих глубоких, понимающих глаз?.. любит ли её? Задавшись этим вопросом, он понял, что в ответе на него и таится разгадка мучительных проблем половинчатости и неопределённости.

Честно сознался себе, что искренней любви к ней, в романтичном её понимании, не испытывает. Хотя было бы неправдой и то, что он её не любит. Нелюбовь — это равнодушие. Но здесь легко ошибиться и принять за равнодушие безмятежное спокойствие, внушаемое тебе уверенностью в этом человеке. А он был уверен в ней. Быть может, больше, чем в себе. Уверен… И только?.. Ни ярких, сильных чувств, ни раздражающей неприязни эта женщина в нём не вызывала. С ней было просто тепло, без каких-либо эмоциональных колебаний. Хорошо это или плохо — сказать бы сейчас он не смог. Может, потому что за полгода уже прозаически привык к ней? О ребёнке не думал в принципе: ни от этой женщины, ни от какой бы то ни было вообще. Поэтому решение такого вопроса в одну минуту было для него делом как нереальным, так и неразумным.

Он ничего не ответил ей.
— Не любишь, — уверенно повторила она, приняв его молчание как согласие.
— Мне нужно разобраться в себе, — сказал он.
— У тебя на это было полгода.
— Значит, мне недостаточно.
— Сколько тебе ещё нужно времени?
— Не знаю… Немного… Потерпи. Потом примем окончательное решение.
— Я уже готова его принять.
— А я — нет. Пойми меня. И не обижайся. Хорошо?
— Хорошо, — грустно согласилась она. — А как с ребёнком?
— Ну, это ведь ещё не ребёнок. И вообще пока не человек.
— Не человек…
— Даже если мы поженимся, я не думаю, что сразу же следует обзаводиться детьми. Пока поживём для себя.
— Я уже слишком долго живу для себя. В этом нет никакого смысла.

Он философски вздохнул и бросил быстрый взгляд на её расстроенное и как-то странно изменившееся лицо. Бывают моменты, когда под неожиданным углом зрения мы видим в чертах знакомого человека ясно проступающие знаки будущей старости и понимаем, во что превратит его когда-то безжалостное течение времени. Ему стало жаль её. Он подсел ближе и обнял мягкие ссутулившиеся плечи.
— Давай подождём немного. Определимся, потом уже будем планировать детей.
— Я понимаю, — сказала она. — А с ним что делать?
— Ну… — Он договорил жестом руки.

Она отвернулась от него:
— Господи… Я боюсь.
— Чего?
— Не знаю.
— Все это делают.

— Я понимаю... Всё равно. Ты не представляешь, как это страшно.
— Бедные женщины,—искренне посочувствовал он.—Сколько же боли вам приходится вытерпеть за жизнь!..
— Я говорю не о боли.
— А о чём?
Она не ответила.
— Он ещё не человек.
— Ты уже говорил это.
— Я повторяю, чтобы это не мучило тебя.
— Я боюсь... Я не могу даже объяснить... Совсем не в физической боли дело.—Она мелко дрожала от нервного возбуждения.—Я никогда не делала этого. И не хочу. Понимаешь—не хочу... Что-то внутри меня протестует, я не знаю, чей это голос. Но я слышу его и... боюсь.
— Ты слишком впечатлительная.
— Наверное... Ведь действительно, что здесь особенного? Если это делают все. И ничего... Ничего... Правда?
Некоторое время тёмную комнату давила глухая, тягостная тишина.
— Как же мы не убереглись?—сокрушённо выдохнул он, когда эта тишина стала уже невыносимой.
— Я виновата. Но не пойму в чём. Ты не подумай только, что это я с умыслом. Нет, клянусь тебе—нет! Просто нелепая случайность.
Она хотела ещё что-то добавить к своему оправданию, но передумала и в отчаянии закрыла лицо руками.
— Я поняла,—сказала она едва слышно.—Я всё поняла. И сделаю так, как надо.
— Прости меня.—Он коснулся её щеки, потянулся к губам, но она отстранилась.—Прости.
— Пойду спать. Я вся какая-то разбитая.
Она поднялась с дивана.
— Хорошо,—согласился он.—А я посмотрю фильм. Это мистика. Я обожаю мистику.
— Пожалуйста, смотри... Спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
Она ушла в другую комнату. Ушла плакать. Он понимал это и по-хорошему не должен был оставлять её сейчас одну. Но менять своего решения не хотел и, значит, помочь ей ничем не мог. Сентиментальные разговоры ни к чему хорошему не приводят. Можно сломаться, наделать глупостей, а потом пожалеть об этом.

Уже стемнело окончательно. Он встал, прикрыл створки комнатной двери, взял пульт с дивана и включил телевизор. Убавив звук до приемлемого уровня, с удовольствием погрузился в вымышленный кинематографический мир душегубства и чертовщины.

Вскоре захватывающее действо прервала вездесущая реклама. Он снова взял пульт и начал последовательно нажимать кнопки. На одном из каналов шёл вечерний выпуск новостей. В какой-то точке земного шара произошло сильное землетрясение. Во весь экран телевизора демонстрировались руины рухнувших зданий, изуродованные улицы и смятённые кварталы. Комментатор взахлёб рассказывал о трагических судьбах людей, застигнутых этим несчастьем. Показали какого-то мальчика, извлечённого спасателями из-под обломков, чудом оставшегося в живых. Он был в состоянии шока, поэтому даже не плакал. Крупным планом взяли его глаза: страдальческие и не по-детски серьёзные.

Следующим фрагментом новостей стал сюжет о взрыве газа в чьей-то квартире жилого дома. Пострадал только нетрезвый хозяин квартиры, находящийся теперь в реанимации. Балансирование его духа между жизнью и смертью комментатор определил словами—«пограничное состояние».

Он поднял пульт и вернулся на нужный канал. Там уже шёл фильм. Он задумался. Пограничное состояние... Интересная фраза. Возникает образная ассоциация. Возможность бытия и небытия. Пограничное состояние... Хм... Потом его опять захватило действие фильма, и он позабыл про новости, катастрофы и чьи-то несчастья.

Далеко за полночь мистический триллер, всласть напугав своих зрителей и наполнив их души суеверным ужасом, подошёл к концу.

Выключив телевизор, он вышел на балкон—подышать свежим воздухом. Немного постояв и рассеяв остатки гнетущих впечатлений, направился в спальню. Сбросил с себя одежду, присел на краешек кровати.

Укрывшись одеялом и свернувшись калачиком, она уже спала. Её ровное дыхание окончательно успокоило его. Он осторожно прилёг рядом и натянул на себя одеяло. Едва прикрыв глаза, сразу же почувствовал, что засыпает.

Провалившись в темноту бессознательного и некоторое время просуществовав там, он оказался вдруг в какой-то невероятной местности. Нервный импульс отдыхающего мозга сигнализировал ему о том, что он видит сон.

Спящий чувствовал своё бесплотное тело и в то же время видел себя как бы со стороны. Кругом было странное освещение, которое нельзя было отнести ни к свету, ни к тьме. Это напоминало серый рассвет ещё не победившего дня. Нигде не было источника этого освещения. Проходило какое-то время, но кругом не становилось ни светлее, ни темнее. Тогда он понял, что здесь нет никакого светила, что это изначально серый мир. Спящий осмотрелся по сторонам. Сквозь плотную пелену окутавшего тумана он не видел ничего вокруг. Под ногами была странная каменистая почва. Он попытался представить себе, где бы на Земле могла существовать такая местность...

Вдруг туман стал рассеиваться. Рядом начали вырисовываться неясные контуры какого-то вытянутого строения. Он рассмотрел его. Это был старый глухой деревянный барак, похожий на коровник или курятник, такой же серый, как и всё окружающее пространство. Абсолютную тишину не нарушал ни единый звук. Спящего что-то подтолкнуло обойти этот барак. Он бесшумно двинулся по каменистой почве, удивляясь, что острые камни совершенно не причиняют боли его босым ногам. Спящий отметил для себя, что призрачный барак был очень реален. Он отчётливо видел на его стенах ржавые шляпки вколоченных в доски гвоздей. Удивительно, насколько правдоподобным иногда может быть сновидение.

По мере того как он обходил угол строения, его взору открывалась другая картина. С этой стороны барак имел множество окон и дверей. Окна были маленькими, двери — покосившимися. Внутри помещения царил такой же сумрак, как и снаружи, но спящий был уверен, что здесь кто-то живёт. И как бы в подтверждение его догадки блёклый туман, покрывавший весь двор, начал вдруг испаряться в никуда.

Во дворе оказалось множество детей. Все они сидели прямо на земле, в одинаковых позах, опустив головы. Они ничего не делали, просто сидели и, казалось, ждали чего-то. Спящий начал подходить к каждому ребёнку и заглядывать ему в лицо. Он не понимал, зачем это делает, но ему непременно нужно было найти кого-то. Его поразило выражение лиц этих детей. У всех оно было безучастным и каким-то недетским. Они совершенно равнодушно смотрели на него и потом печально опускали головы.

Он уже обошёл многих деток и думал, что эта его обязанность подходит к концу, но когда поднял глаза, увидел, что сидящих детей стало ещё больше. В этом сером пространстве спящий внезапно почувствовал себя ничтожным, жалким и пустым. Это ощущение было очень пронзительным, и даже во сне он осознавал, что чувств подобной глубины ему никогда не приходилось испытывать в реальной жизни.

Вдруг как будто сзади к нему кто-то подошёл. Он не услышал ничего, но оглянулся, точно зная, что кто-то находится позади. Рядом стоял мальчик и смотрел на него. «Папа, ты меня ищешь?» — спросил мальчик.

Спящий знал, что у него нет детей, и хотел сказать об этом ребёнку, но передумал, решив по умолчанию подчиниться воле этого странного сновидения. Он присел возле мальчика и заглянул в его грустные глаза. Он уже видел такие глаза раньше, но во сне никак не мог вспомнить, где и когда.

«Что вы все делаете здесь?» — спросил он у мальчика. «Ждём», — ответил тот. «Чего вы ждёте?» — «За нами приходят и ищут нас, но не могут найти. У нас нет имён, нас никто никогда не видел. И ты бы тоже искал бесконечно».

Спящий хотел спросить у ребёнка, как он оказался в таком месте, но понял, что в самой сути своего сознания знает ответ на этот вопрос.

«Нам здесь хорошо, — сказал мальчик. — За нами присматривает эта женщина». Он указал рукой в сторону. Там, между обречённо сидящими детьми, безмолвно стояла высокая женская фигура в тёмных длинных одеждах. «Она очень добрая, — добавил мальчик. — Она заботится о нас».

Какая-то необыкновенная жалость к этому ребёнку наполнила всё существо спящего, и во сне ему показалось, что он плачет настоящими горькими слезами.

«Папа… — окликнул мальчик. — Папа, будь осторожен. Ты можешь не пройти земного экзамена».

Спящий задумался над тем, что означают такие слова, а мальчик вдруг повернулся и пошёл в барак. Следом за ним потянулись и остальные дети. Вскоре все они исчезли в этом шатком строении, которое, поглотив их, оставалось всё таким же серым и безжизненным. Двор опустел, и только высокая женщина в тёмных длинных одеждах неподвижно стояла на своём прежнем месте.

Спящий решил подойти к ней и поблагодарить за доброе отношение к обездоленным детям. Вот он оказался рядом. Она стояла спиной и была очень высокой — на целую голову выше его. Он хотел позвать её, но внезапно ему показалось, что эта женщина всё знает о нём: о его мыслях и поступках — прошлых, настоящих, будущих. Ему стало стыдно, как человеку, вдруг оказавшемуся среди большой толпы совершенно голым. Спящий сделал попытку отойти, но ноги отказались повиноваться. Женщина стала медленно поворачиваться к нему. Не в силах оторвать взгляда от её движения, он замер, осознавая, что сейчас должно что-то произойти. И когда она остановилась перед ним и заглянула ему в лицо, он увидел мертвенно-бледные кости её черепа с чёрными провалами пустых глазниц.

В то же мгновение какое-то живое существо внутри спящего испуганно затрепетало, сжалось и побудило исторгнуть из себя ужасный, нечеловеческий крик…

Пробежавшая по телу судорога заставила его проснуться!.. Он понял, что кричал во сне. На тонкой грани сознания сумел уловить остатки ускользающего ощущения холодного потустороннего страха, затихающего совсем не в сердце, а где-то глубоко-глубоко в груди. Сердце бешено колотилось, выполняя лишь свою физиологическую работу.

Тяжело дыша, он откинул одеяло и сел на кровати. Привычные реалии материального мира постепенно размывали жуткое впечатление ночного кошмара. Он тревожно осмотрел тёмную комнату, словно фантомы сновидений могли за ним последовать и сюда. Устыдившись своих детских, нелепых страхов, унял взволнованное, шумное дыхание. Электронные часы показывали половину третьего. Значит, он спал не более часа.

Рядом с ним, отвернувшись лицом к стене, тихо и размеренно дышала она. Её крепкий сон свидетельствовал о том, что в этом мире ничего не произошло.

Было очевидно, что теперь, находясь в возбуждённом состоянии, он какое-то время не сможет уснуть. Оставаться в плену бессонницы и ворочаться с боку на бок не хотелось. Разбуженный организм требовал действия, и, встав с постели, он направился на кухню. Щёлкнул выключателем настенного светильника. Сел на стул и при электрическом освещении начал внимательно рассматривать хорошо знакомые предметы, будто впервые видел их. Ночное путешествие в нереальный мир никак не отпускало его: он каждую секунду думал об этом.

Конечно, ему и прежде в своих снах приходилось сталкиваться с нагромождением жутких фантасмагорий, но никогда ещё эти встречи не носили такого подробного и правдоподобного характера. Он задумался. Почему всё это приснилось ему? Какие именно эпизоды прошедшего дня могли вызвать

в его отдыхающем мозгу череду таких причудливых видений? Он попытался логически разобрать свои ощущения. Рука потянулась к выключателю и нажала кнопку. Свет погас. Он решил, что так будет легче сосредоточиться. И действительно, окружившая темнота сразу же настроила ещё не остывший от впечатлений мозг на нужную волну.

Без сомнения, главной причиной беспокойных сновидений явилось вечернее выяснение отношений. Её незапланированная беременность застала его врасплох. Появление ребёнка в семье — это решительный шаг, и, совершая его, нужно принимать в расчёт не только собственные желания и эмоции. Здесь необходимо согласие обоих.

Неудивительно, что разговор, потребовавший больших психических затрат, сохранился в каких-то тайниках памяти сложнейшего живого компьютера, называемого человеческим мозгом. Отрицательная эмоциональная нагрузка снова и снова возвращала подсознание к проблеме этого разговора, прокручивая варианты её возможного решения.

Второй составляющей ночного кошмара стал фильм, этот мерзкий, отвратительный триллер, населённый демоническими сущностями. Зачем он смотрит такие вещи? Зачем травмирует впечатлительную психику? Разумно ли это делать вообще, а тем более на ночь?

Конечно, эти киноужасы — всего лишь глупая выдумка, играющая на низменных человеческих инстинктах. Он не раз смотрел подобную чепуху, и никогда прежде она не преследовала его дольше положенного экранного времени. Вероятно, сегодня где-то глубоко в сознании произошло сложение полученных информаций, и их сумма предстала во сне таким необычным сюжетным построением.

Да, это было логично, объяснимо и, значит, понятно.

Непонятно было другое: этот мальчик, лица которого он никак не мог забыть. Его лицо, без сомнения, кого-то напоминало. Где же он мог видеть такие глаза?.. Знакомы были не столько черты, сколько болезненный взгляд.

Он напряжённо перебирал в памяти лица людей, когда-либо встречавшихся ему прежде, но никак не мог отыскать нужного. Эти размышления незаметно вернули атмосферу таинственности и опять опутали сетями безотчётного ночного страха. Ему стало неуютно в окружающей темноте, и он включил свет. Вспыхнувшая лампочка непроизвольно вызвала в памяти образ светящегося экрана телевизора. Мгновенно оттолкнувшись от этой ассоциации, он вдруг вспомнил, где видел лицо явившегося ему во сне мальчика… Вечерние новости. Это тот спасённый из руин ребёнок, которого землетрясение едва не погребло заживо в развалинах дома. Вероятно, его страдальческое лицо и послужило ярким оригиналом для маленького гостя из странного сновидения. Тяжёлое зрелище человеческих несчастий оставило в эмоциональной памяти след, который вполне мог отпечататься и проявиться во сне.

Вот теперь, когда всё логически оказалось на своих местах, он почувствовал себя спокойнее. Голова освободилась от ненужных мыслей, а сердце от нелепых страхов. И только в этот момент душевного равновесия стало понятно, насколько глубоко заставил его задуматься ночной кошмар.

Ему захотелось глотнуть свежего воздуха. Он погасил светильник и настежь открыл окно. Прохладный влажный воздух в одно мгновение наполнил его лёгкие. В лицо дохнула свежесть летней ночи.

«Какая же всё это чепуха», — подумал он и поднял глаза на чистое чёрное небо.

Звёзды были очень яркими, крупными и далёкими. Даже в фантазии невозможно представить расстояние до них. Бессилие человеческого разума в вопросах тайны бытия и попытках объяснить необъяснимое вызвало в его душе странное чувство. Оно отдалённо напоминало уже испытанное им сегодня в сером, печальном мире сна, где он ощутил себя бесконечно малой и беспомощной частицей неведомого целого. Его встревожил возврат этого ощущения, он закрыл окно, включил свет и опять сел на стул.

Вдруг внутреннее пульсирующее беспокойство ударило в нужную дверцу памяти. Он отчётливо вспомнил, что точно такие же глаза, как у привидевшегося во сне мальчика, однажды встречал ещё. Воспоминание выплыло и захватило его.

Это было несколько лет назад. Они только начинали совместную жизнь с той женщиной, когда она поставила его перед фактом своей беременности. Это вообще выходило за рамки здравого смысла. Они ещё очень мало знали друг друга. Родившийся ребёнок связал бы на всю жизнь, быть может, совершенно чужих, не подходящих друг другу людей. Поэтому единственно верным в тех обстоятельствах стало решение о том, что нежеланный ребёнок появиться не должен. Это было его решением.

Он вспомнил, как она, вернувшись из больницы, сидела на кровати с поникшей головой. Вспомнил её тусклые глаза и опущенные уголки рта. Да, это именно её глаза он увидел сегодня во сне. Она тогда показалась ему постаревшей и некрасивой. Через какое-то время их отношения разладились, и они вынуждены были расстаться.

Ну и что?.. Как всё это связано с сегодняшней ночью? Почему он вспомнил о той, другой женщине, и память так настойчиво возвращает его к мысли о ней? Неужели из-за её ребёнка, которому рациональной человеческой волей так и не суждено было появиться на свет? Но каким образом та далёкая жизнь могла проникнуть в его сегодняшний сон? Он уже давно не думает о той женщине. Он забыл о ней. Зачем её мимолётное выражение лица, сохранившееся в памяти, так беспокойно напомнило о себе именно теперь?.. Он не хочет ничего вспоминать. Он имеет право жить будущим. Тем более что за все незапланированные случаи вина лежит исключительно на женщине. Она сама обязана думать и беречься. В конечном итоге ей нести ответственность перед собственным здоровьем, своей жизнью и жизнью чужой. Да, мужчина в такой ситуации тоже выглядит некрасиво. Но его вина совершенно другого

уровня. Степень ответственности несопоставима. Кому дано, с того и спросится. Женщина не может этого не понимать. Поэтому совесть мужчины в таких щепетильных случаях чиста. Почти чиста. Людей с абсолютно чистой совестью на Земле не существует. И этот мальчик-фантом ошибся адресом!..

Он перевёл дух. Опять поймал себя на мысли, что пытается найти систему в хаосе необъяснимых и неизученных явлений сна.

Сон—вообще понятие относительное. Многие мыслители склоняются к тому, что сама жизнь и есть сон. А пробуждение наступает только тогда, когда эта жизнь подходит к завершению. В таком случае, не являются ли наши ночные сны робким путешествием сознания в плоскость этого будущего пробуждения? Не потому ли нас порою до холодных иголочек пугает необъяснимая реальность некоторых сновидений? А иной раз при свете солнечного дня, отдавая себе отчёт в каждой мысли и каждом действии, мы поражаемся внезапному ощущению нереальности окружающей действительности, словно всё вокруг существует в каком-то сне и происходит не с нами. Может быть, это и есть чувство пограничного состояния? Размытой границы между сном и явью, светом и тенью…

Он задумался над тем, как правильно соотнести между собой понятия сна и яви с понятиями света и тьмы. Будет ли верным соединение света с осознанной действительностью, а сна—с темнотою? И является ли светом наш мир, в котором под ярким, блистающим солнцем все мы блуждаем во мраке собственных ошибок и преступлений?..

За окном начинался рассвет. Голубовато-оранжевая полоска зари на северо-востоке несмелой улыбкой провожала уходящую ночь. Сконцентрированный до черноты воздух стал редеть и терять свои мрачные краски. И уже скоро критическая масса света, согласно незыблемому закону мироздания, возьмёт свои права, сделает далёкими всякие воспоминания о ночных страхах и успокоит встревоженную человеческую душу. Он погасил свет и пошёл в комнату.

Она по-прежнему сладко спала. Некоторое время он внимательно смотрел на неё, любуясь длинными прядями тёмных волос. Чутко прислушался к самому себе. Почувствовал тёплый прилив жалости и нежности, которых прежде к ней никогда не испытывал. Впервые подумал о том, что ему, наверное, было бы плохо без неё.

Он коснулся губами её тёплого плеча, устроился поудобнее на кровати, закрыл глаза и попытался уснуть…

ДиН цитата

Искусство быть искусственным?

…У каждого народа свой характер. У каждого общества свой диагноз. Общество потребления сходит с ума в гонке за новыми благами, погружаясь в глубокий невроз. Как смирительной рубашкой, Homo Consumens скручен кредитами, бонусами, банковскими вкладами и голливудскими грёзами, сулящими рай на земле. Но дарующими ад в душе.

Революции не бывают без жертв. И современная антикультурная ежедневно устраивает публичные казни, четвертуя вкус, мораль и фантазию. На них приглашаются все, ведь жертвой должен стать каждый. В обществе потребления торжествует культура бескультурья, а «элитарное искусство», как мыльный пузырь, надутое грантами, напоминает творчество сумасшедших. А разве не оскорбляет само название «мэйн стрим»? Не унижает? Оно предполагает, что есть недоступное среднему классу искусство. Это в СССР для всех передавали по радио Баха и Чайковского, теперь для всех—попса. Или мюзиклы, которые выдаются за высокую музыку. Живопись вытеснена инсталляциями, перфомансами и боди-артом. На родине Левитана и Саврасова славят тех, кто рисует на асфальте и слышит во фразе «золотое сечение» звон монет.

…Голливудизация—это эстетический фашизм, ведь сегодня о вкусах не спорят—их навязывают. Телевизору верят больше, чем глазам, и молятся на тех, кто попал на экран. Раньше в поездах рассказывали свою жизнь, сегодня пересказывают чужую. Герои нашего безвременья: артисты и манекенщицы, а культ личности сменился культом сомнительных личностей, так что вместо «десталинизации» нам нужна «дегламуризация» и «дедебилизация». <…>

…При развитом социализме царил культ личности, при развитой демократии—культ тела. Одни спасаются от депрессии шоппингом, другие—меняя сексуальных партнёров, третьи истязают себя в спортзале или сходят с ума в борьбе с морщинами. «Красота—это искусство!»—зазывают под нож пластические хирурги, которые штопают человеческие лица, как носки. Искусство быть искусственным? Кажется, что сбываются антиутопии, и в недалёком будущем врачи смогут оперировать мозг, исправляя дефекты инакомыслия.

Елизавета Александрова-Зорина
«Общество на грани нервного срыва»

«Ликбез» № 79, 2011
http://www.promegalit.ru/publics.php?id=3068

Тамара Гончарова

Везучая Марьяна

Ондатра

Шла последняя Женькина школьная весна. Ледоход на реке прошёл в самом конце апреля, а в первые майские выходные на берег высыпал поселковый народ: и ребятня, и взрослые. Особенно много появилось рыбаков с большими сачками на длинных шестах—саками. Сейчас настало самое время половить рыбку в не очень прозрачной вешней воде, когда рыба ничего не видит вокруг себя и легко попадает в сачок. Младшие братья Женьки—заядлые рыболовы—тоже сняли с чердака сак и с утра отправились на реку, прихватив ведёрко. Навязалась в рыбаки с ними и старшая сестра. Они решили пойти выше по течению, за посёлок, где можно было, никому не мешая, вволю порыбачить. По сырой дорожке добрались до кустарника, нижнюю часть которого скрыла река. Рыбаков не было видно, кроме двух орудовавших сеткой подвыпивших в честь Первомая местных мужичков. В ведре у них трепыхались серебристые сорожки и краснопёрые окуни, ерши, даже одна щука выгибала упругое тело, разевая зубастую пасть. «Будет что и вечером поджарить, и на завтра засолить»,—с лёгкой завистью подумалось Женьке. Старший из братьев тоже поспешил зачерпнуть сачком речной воды. Вытянув сетку с двумя рыбёшками, он вдруг вскрикнул: «Ой, смотрите—крыса!» А это, потревоженная сачками и напуганная, выскочила на берег ондатра, заметалась по земле между двумя группами людей—ребятами и взрослыми рыбаками. И в воду вернуться боялась—оттуда её только что спугнули. Тогда она, помогая себе длинным уплощённым хвостом, побежала в единственную свободную сторону—к кустам. Переливался на солнце красивый мех шкурки, блестели чёрные глаза. И в мужиках вдруг взыграл охотничий азарт, бросились они в погоню за ондатрой, топая по грязи здоровущими кирзовыми сапогами. Эх, зря выбрался зверёк на берег, передвигался-то он по земле совсем неуклюже! Это в воде ондатра плавала как торпеда, а здесь догнали её, уставшую и неповоротливую, быстро. Догнали и, за неимением под рукой других орудий охоты, начали сапогами сорок третьего размера пинать—то один, то другой, то с правой ноги, то с левой, то в бок, то в голову! Много ли зверьку размером тельца с кошку надо… Всю зиму спасала она вместе с семейством—для тех же рыбаков!—рыбу от замора, проделывая отдушины во льду. И вот, подхваченная и унесённая полой водой, не вернётся больше в родную хатку. Лежит на тропинке, возле ещё не отцветшего куста вербы, затоптанная сапожищами, грязным обмякшим комочком. И не отражается в потухших глазах уже ничего: ни майского солнца, ни голубого неба. А вспотевшие, с красными лицами, отдувающиеся, как после тяжёлой работы, то ли рыбаки, то ли охотники вернулись к сачку. Испуганные ребята, волоча за собою сак, поспешили уйти с места гибели ондатры. Возвращались молча, перед глазами у них стояла только что пережитая сцена.

Женька уехала из дома сразу после окончания школы и больше в посёлке не бывала, так как родные оттуда переехали тоже. А не так давно встретила теперь уже Евгения Ивановна бывшую одноклассницу. Еле узнав друг друга, зашли в кафе, разговорились, вспомнили школу, знакомые места. Рассказала Евгения Ивановна о цветном сне, который ей настойчиво снился уже несколько раз. Будто вышла она на высокий берег реки своего детства, а её-то и нет! Те же крутые берега с сотами стрижиных гнёзд, а вот вместо глубокого, бегучего потока воды—дно. И по всему бывшему руслу—кустарник и густая, высотой в рост человека, трава. А через неё к другому берегу ведёт плотно утоптанная тропинка. Идут по ней люди—там, где плавали лодки и катера. «Помнишь, даже и теплоход «Михаил Лермонтов» ходил когда-то?» А землячка в ответ: «Так ты прямо экстрасенс настоящий! Ведь реки-то в том месте, у посёлка, давно нет! Ушла—туда, где протока раньше была, а в старом русле даже и ручейка не осталось. Как будто обиделась река за что-то на нас».

Встреча

Иногда по понедельникам вечером я смотрю по телевизору передачу о розыске родных и друзей. Куда только не забрасывали русских людей все войны, все перевороты, перестройки и передряги, случившиеся в ушедшем двадцатом веке в России! И какие судьбы их ожидали, что только не пришлось им пережить, что перенести! Кто-то смог выдержать, выстоять, кому-то не было суждено дожить до наших дней. А кто дожил, те тоже получили полной мерой…

Вот и недавно в очередной передаче ведущий рассказывал о судьбе молоденькой девчонки Клавы, угнанной во время войны на работы в Германию. Попала она на ферму какой-то немецкой баронессы, где кормили остарбайтеров жиденькой похлёбкой из брюквы, а работать заставляли по шестнадцать часов. Встретила там Клава пленного француза, которого звали Поль. Он был чуть постарше и так полюбил её, что не смог забыть и за шестьдесят пять прошедших с того времени лет. После Победы, по возвращении домой, она

попала в наш концлагерь, который был ничем не лучше фашистского. Но девушка выжила и там. Освободившись после смерти Сталина, работала на стройке, вышла замуж. Но муж пил и пьяный бил её, из-за этого у неё случился выкидыш, а больше уже детей не было. А она всё терпела, она всю жизнь терпела, как её прабабушки, бабушки и мать: «Жена да убоится мужа своего!» Но наконец однажды муж, как всегда пьяный, умудрился утонуть в соседней речушке, которая и глубиной-то была воробью по колено. Недаром в народе говорят: «Пьяному море по колени, а лужа по уши!» Освободившись от семейного «счастья», она осталась одна, вся насквозь больная, с грошовой пенсией. И родни у неё никого уже не осталось. А восьмидесятипятилетний француз Поль, прослышав у себя там, во Франции, от кого-то о передаче «Жди меня», с её помощью нашёл-таки свою давнюю любовь—Клаву—и приехал в Россию. Передача устроила им встречу в телестудии. Клавдия, когда ей сообщили, что ищет её тот самый Поль из её юности, обрадовавшись, согласилась приехать. И вот камера показывает их встречу. Хорошо одетый, высокий, правда сутулый, седой господин ждёт, когда к нему подведут возлюбленную его молодости—шестнадцатилетнюю голубоглазую, улыбчивую, несмотря ни на что, дивчину. Он с видимым нетерпением всматривается в сторону входа в зал. Смотрит и не замечает, что она-то уже рядом, что его взгляд уже скользнул по ней. Но снова и снова глядит он в сторону входа. А Клавдия, теперь уже добавившая к своим шестнадцати годам ещё шестьдесят пять таких тяжких, голодных и холодных лагерных и похожих на них послелагерных лет старуха, протягивает к нему руки, чтобы обнять. Худые руки со старческими пятнами, с искривлёнными ревматизмом пальцами. Смотрит на него теперь уже выгоревшими, пепельными, а не голубыми глазами, улыбается почти беззубым ртом с морщинистыми губами. И всё лицо её—тоже сплошная сетка морщин, каждая из которых вобрала в себя годы и годы её восьмидесятилетней жизни. Но до господина доходит наконец, что вот эта древняя, в не новом, но выглаженном платье, старушка перед ним—с трясущейся головой—и есть та его пухлогубая Клава! Чтó здесь причиной—те же самые шестьдесят пять лет, хотя и вполне благополучной, послевоенной жизни в его Франции или всё же старческие болезни, не избежал которых и он? Но господин отшатнулся, отпрянул, обеими ладонями отталкивая от себя эту старуху. У меня—не знаю, как у других телезрителей,—при виде этой сцены защемило сердце… А она тоже никогда не забывала свою юность, своего Поля, его нежные слова и ласковые руки! Клавдия, уже наивно надеявшаяся, что хоть в оставшееся время судьба подарит ей немножечко, хотя бы чуть-чуть, спокойных, неголодных, безбедных дней рядом с ним,—она ещё не поняла. Не поняла, что ничего этого не будет. Ничего. Совсем. Никогда. Как никогда не вернуть свою юность.

И я нажала на кнопку пульта и выключила телевизор. Ну не могла я, не хотела смотреть, как рушатся все надежды этой одетой в поношенное платье, ничего, кроме бед и тяжёлой работы с самой юности, не видевшей, доброго слова не слышавшей старой русской женщины. И мне вспомнился рассказ моей знакомой, одинокой сорокалетней соседки, о том, как она пыталась найти себе мужа с помощью службы знакомств. Списавшись с мужчиной и договорившись о месте встречи—кафе в центре города,—она приехала туда. Приехала вовремя, но полчаса ожидала, когда появится её кавалер. К ней так никто и не подошёл. Уже уходя, она вдруг заметила, что кто-то выглядывает из-за угла здания. Заглянув из любопытства за этот угол, увидела убегающего со всех ног мужчину. Наверное, он тоже ожидал увидеть не сорокалетнюю даму, а девочку лет шестнадцати. Но этот хотя и схитрил, хотя и спрятался за углом, а потом сбежал, всё же не расписывал, как Поль, в письме и не рассказывал на всю Россию в телестудии, как он до сих пор безумно любит Клавдию. Ведь это Поль, когда увидел её,—вдруг оттолкнул, лишая последней, искоркой блеснувшей в её жизни надежды… Я думаю, что он просто продолжал помнить и любить и её, и свою молодость! А молодость, как известно, не вечна.

Но ведь я же выключила телевизор и не досмотрела передачу до конца! Может быть, встреча Клавдии и Поля закончилась всё-таки совсем иначе? Так же, как у нас в Красноярске, куда бывший советский солдат привёз в 2006 году из Германии возлюбленную, встреченную им в мае 1945-го. Может, всё-таки встреча Клавдии и Поля закончилась по-другому? А?

Везучая Марьяна

«Кому нужны венички, хорошие венички? Покупайте венички!»—слышался детский голосок на улице. Редкие в это время—полдень жаркого августовского дня—прохожие с улыбкой оглядывались на русоволосую девочку лет девяти. Она сидела у палисадника дома, стоявшего на главной улице посёлка, а перед ней на картонке ровным рядком разложены были маленькие, аккуратно связанные берёзовые венички. Девочка жила здесь же, в этом доме, и те из прохожих, кто знал её, спрашивали: «Яна, а ты сама вяжешь веники-то?» «Продавщица» утвердительно кивала головой и снова предлагала: «Возьмите венички, хорошие венички!» Прохожие в ответ улыбались и шли дальше, принимая слова девочки за детскую игру. Яна сидела здесь уже давно, целых полдня, но никто так и не купил ни единого веника. А она очень старательно вязала их вчера—весь вечер—из берёзовых веток, оставшихся от больших веников, которые заготавливали её мать и старшая сестра. Их, как всегда, в самом начале августа привезли вместе с сеном из леса. Девочка устала, ей хотелось пить, да она ещё и не обедала. Расстроенная, со слезами на глазах, собрав в охапку свой «товар», она отправилась домой. Её встретила старшая сестра: «Ты что, и вправду хотела их продать?»—«Я в кино хочу, а мама мне денег не даёт, говорит, что нет».—«Так ведь сейчас уже все навязали своих веников, больших. А твои кому нужны, игрушечные?

Ни подмести, ни в бане попариться»,—убеждала рассудительная старшая сестра. Янка обедала, а в голове прочно укладывался первый, пусть и неудачный, пусть ещё и по-детски сформулированный, опыт «предпринимательства». Запоминался, как она потом, много позже, рассказывала, урок: «Продавать нужно то, что требуется покупателям, а не то, что ты можешь предложить».

Марьяна выросла, получила профессию, правда, не связанную с торговлей, вышла замуж и растила дочку. Получила она от своего предприятия квартиру, хотя и малогабаритную; частью подкопила, частью заняла денег на «Жигули», выхлопотала участок под дачу. А время шло такое, что буквально всё надо было не просто покупать, а доставать: и что повкуснее из продуктов, и что покрасивее из одежды и обуви—и для себя, и для ребёнка. Всё было дефицитом. А как достанешь, если ты сама ничего не можешь предложить взамен, так сказать, «дашь на дашь»—работала-то Марьяна мастером в доке. А тут ещё постоянно перед глазами стоял пример свекрови, трудившейся всю жизнь продавцом—то в продуктовом магазине, то в овощном ларьке. Там на законных основаниях существовали и усушка, и утруска, и вообще масса способов получить хорошую добавку к небольшой зарплате продавца.

И вот ведь как бывает иногда: казалось, жизнь Марьяны движется по проторённой, хорошо накатанной колее—дом, работа, семья,—и никаких перемен уже не предвидится. Но нет, оказывается, всё ещё было впереди. Решилась Марьяна, проработав больше десяти лет на должности мастера, уйти из дока и стать ученицей продавца. Натерпелась, конечно, и подстроенных недостач, и других неприятностей, но осталась работать в торговле. Добывала для семьи все блага практически она одна—муж спокойно прятался от жизни за спиной жены, как раньше за родительскими спинами. А когда всё у них стало «как у людей»—в смысле машины, дачи, гаража,—Марьяна вдруг обнаружила, что мужа, с которым прожила уже довольно много лет, она совсем не любит и не любила никогда. Проявилось то, в чём не хотела признаться даже себе и что долго держала где-то в глубине души: она к нему абсолютно равнодушна. Да что говорить, она уже и в постель-то ложилась с ним, чуть не скрипя зубами. Красавицей Марьяну не назовёшь, хотя обладала она стройной, с тонкой талией, фигурой, правильными чертами лица. И вниманием мужчин обижена не была, что-то в ней их привлекало—может быть, уверенность в себе. Муж сначала думал, что у неё кто-то появился на стороне, ревновал, устраивал скандалы, даже пытался выслеживать. Закончилось тем, что Марьяна ушла от него в никуда—просто перебралась с дочкой в соседний городок, где их пустила на квартиру родственница, уехавшая на три года на Север. Дела с разводом муж всячески затягивал, приезжал к ним с дочкой с огромными букетами цветов, уговаривал. А однажды предложил: «Ну раз уж ты не хочешь, чтобы я был тебе мужем, давай я буду любовником!» Марьяна выставила его вместе с букетом за дверь. Уходя, он пригрозил: «Ну, ты ещё пожалеешь!» И угрозу свою выполнил, даже и перевыполнил. Оказалось, что ни к даче, ни к машине, ни к гаражу Марьяна отношения не имеет, ведь они были куплены на имя свёкра, как ветерана войны. И неважно, что она до сих пор всё ещё выплачивала долг за машину. Единственное, что досталось ей с дочерью, это половина квартиры. Разменяв её и получив комнату в квартире с подселением, Марьяна начала жизнь заново, чуть не с чистого листа. Через какое-то время вышла замуж за сослуживца, родила ему сына, но что-то снова пошли нелады в их молодой семье. Видно, опять поторопилась она с замужеством, как и в прошлый раз, когда выскочила замуж в восемнадцать лет, не разобравшись в своих чувствах. И теперь уже с двумя детьми, осталась Марьяна без мужа. Шло уже перестроечное время, и коллектив огромного гастронома, где она работала, приватизировал его. Потом разделились, на базе гастронома, как грибы, выросли кооперативы, из них—фирмы. Хозяевами одной из таких фирм стали Марьяна с одним из коллег—Вадимом. Ему тоже было под сорок, как и ей, но до сих пор ещё ходил он в холостяках. Какое-то время они были просто коллегами, а потом… Как говорится, «ты вдова, и я вдовец»… И поняла, поверила Марьяна, что нашла наконец свою любовь, своё счастье, хоть и к сорока годам, что больше ей ничего и никого в жизни не надо. Они были неразлучны и дома, и на работе, и на отдыхе, и в гостях, на зависть всем окружающим. Переехали в купленный Марьяной трёхэтажный коттедж, выкупили вторую комнату в двухкомнатной квартире с подселением, где стала жить вышедшая замуж дочь Марьяны—голубоглазая, светловолосая Саша. Целых десять счастливых лет отпустила судьба Марьяне.

Она и не заметила, как они пролетели, эти десять незабываемых лет… У дочери родилась своя дочка, подрос и сын Марьяны. Вадим во всём помогал ей с детьми, заботился о них, но всё чаще и чаще стал говорить ей, что ему очень хочется своих: «Хочу своим ребятишкам сопли вытирать». Однажды даже и расплакался. А ей подходило уже под пятьдесят, уже и внучка училась в третьем классе…

И вот как-то Марьяна ушла с работы рано, сославшись на какую-то причину. А когда Вадим приехал домой, увидел празднично накрытый стол, на нём хрустальные рюмки, дорогой коньяк, всякие вкусности в тарелках красивого сервиза, а за столом свою жену и гостью—женщину лет под тридцать, Елену. Вадим её хорошо знал—это была симпатичная подчинённая Марьяны. Недавно разведясь с мужем, она жила одна, детей у неё не было. «По какой причине гуляем? Новый год только через полмесяца»,—удивился хозяин. «Сейчас узнаешь!»—как-то невесело улыбнулась Марьяна. И когда он присел к ним, она подняла рюмку и объявила: «Давайте выпьем за тебя и твою будущую жену! Вот она!» Над столом повисла странная тишина—такого не ожидал никто. Вадим растерянно опустил на стол рюмку, а у внезапно покрасневшей гостьи заблестели глаза. Марьяна, как будто ничего не замечая, спокойно объяснила, почему она так решила. И хотя смущённый

Вадим пытался спорить, что-то доказывать, на следующий день Марьяна собрала его вещи и отвезла к Елене. Вроде бы в шутку, но с серьёзным выражением лица она произнесла: «Вот тебе от меня подарок к наступающему Новому году!—и добавила:—А после праздника ищи себе новую работу!» Она, конечно, давно уже заметила, что разведённая женщина никогда не упускала случая обратить на себя внимание Вадима: то хохотала громче всех над его шуткой, то старалась пройти мимо него чуть ли не в притирку, если рядом не было Марьяны. И какой же мужчина не обратит внимания на подобные ухищрения молодой бойкой женщины? Марьяна не стала ждать развития событий, а наоборот, ускорила их сама. Скандалов на этот раз никаких не было, бывшие супруги продолжали работать вместе, Вадим заходил иногда в гости. В положенное время у них с Еленой родилась дочь, а потом и сын. Ну а что творилось в душе Марьяны, она не открывала никому, только быстро похудела и стала молчаливой.

А вскоре, как всегда нежданно, к ней в дом заявилась беда. Дочь Саша работала, как и мать, в торговле и заканчивала торговый же институт. Однажды после очередного экзамена, когда она возвращалась домой, налетела на неё на бешеной скорости иномарка. Саша выжила, но врачи собирали её буквально по косточкам. Целый год пробыла дочь Марьяны в коме, потом пришла всё же в себя. И когда поняла, что с ней произошло, с ней случился инфаркт, её парализовало. Марьяна забрала из больницы дочь к себе домой, возила её то в Новосибирск на очень дорогостоящую операцию, то к бабкам, то в санаторий, наняла ей сиделку, влезла в долги. И так целых шесть тяжёлых лет. Беспомощная, неподвижная—даже пальцами пошевелить не могла, только веками!—оказалась дочь Марьяны нужна лишь ей одной. За всё это время зять навестил свою жену считанные разы, зато успел четырежды жениться. Дочь его и Саши, начиная с третьего класса, не успевала привыкать к новым «мамам», запоминать их имена. Когда она уже училась в девятом классе, её настоящей, родной, когда-то улыбчивой и ласковой мамы не стало.

На похороны собрались родные, все подруги, все бывшие одноклассницы дочери, сослуживцы Марьяны. Конечно, пришёл и помогал Вадим. Женщины на поминках шептались о том, что был он один, без жены, которая все годы почему-то люто ревновала мужа к Марьяне. И Марьяна, услышав всё же шепотки, ответила: «Так, наверное, на роду мне было написано—расстаться с Вадимом. Видно, там, наверху, кто-то знал, что я буду нужна доченьке. И я сделала для неё всё, что могла, что было в моих силах, а может быть, и больше». И как-то не приходила в голову безумно уставшей от несчастий и забот Марьяне простая мысль: «Если Он такой Всезнающий и Всемогущий, почему не остановил на дороге ни её дочь, ни водителя этого «Ниссана», не уберёг от страшной беды? Почему?» Много сказано было добрых слов о покойной Саше и о её матери. Бывшая свекровь, мать Вадима, тоже приехавшая на похороны, негромко поделилась с соседками по столу на поминках: «А ведь Марьяна до сих пор любит моего сына, я точно знаю». Одна из женщин, знавшая историю Марьяны и Вадима, убеждённо призналась: «Я бы ни за что на свете не отдала своего мужа вот так просто какой-то другой женщине!» Другая поддержала: «А я бы никогда не поверила этой истории, если бы она не происходила на моих глазах!» Кто-то из соседок поддержал её, кто-то, задумавшись, промолчал.

Подруги Марьяны считали её везучей и завидовали ей. Ну конечно, хозяйке торговой фирмы и трёхэтажного коттеджа в элитном посёлке на окраине сибирского города да двух иномарок можно было завидовать. Но ведь смысл-то жизни состоит всё же не только в коттеджах и иномарках, наверное? Я знаю уже много лет и её, и семью—мужей, детей, внучку, и мне подумалось: «Господи, и где же она, эта женщина, в каком источнике черпает столько сил—и физических, а главное, душевных, чтобы всё выдержать и вынести? Где, в каком заповедном лесу, под каким волшебным дубом находится он, этот чистый родник? И дай же Бог, чтобы он никогда не иссякал на нашей земле, ведь нам так нужна его живая вода!»

В паспортном столе

Ася Лосева, молоденькая симпатичная женщина, приехала утром из своего посёлка в районный паспортный стол получать новый паспорт. Правда, теперь она была уже не Лосева, а Зайцева, потому что недавно вышла замуж и фамилию поменяла. Сначала ей не очень-то хотелось это делать—менять «солидную» родную фамилию на «всего лишь» Зайцеву. Но своего статного, доброго и весёлого мужа, на которого заглядывались все поселковые девчонки, она очень любила и потому быстро привыкла к новой фамилии. А вот её подруга Лена, до замужества бывшая Егоровой, долго не могла смириться с тем, что она теперь Колпакова. Ну прямо какая-то чуть ли не шутовская, как она думала, фамилия долго ещё смущала её. Вообще-то Лена была девушкой с юмором, и однажды ей в голову пришла интересная мысль: «А собственно, какая разница—что объегорить, что околпачить?! Так что это я сама себе голову морочу?» Посмеялась вместе с мужем и подругой и на этом успокоилась.

А Ася, сдав накануне в паспортный стол все нужные справки, фотографии и старый паспорт, сегодня должна была получить новый. Очередь была пока небольшая, люди продолжали подходить. А паспортистка в милицейских погонах начала вызывать граждан и вручать им молоткастые, серпастые книжицы. Все, кто ожидал своей очереди, стояли в узком коридоре с выкрашенными синей, почти чёрной, краской стенами. Так уж повелось у нас почти во всех казённых заведениях: и где только завхозы находили краску именно такого могильного цвета? От скуки люди беззлобно подшучивали над обладателями услышанных интересных фамилий. Может быть, никогда ранее не обращавшие особого внимания на происхождение своих имён и фамилий, они вдруг заинтересовались! Пошли за паспортом Безотечество, Безруких. Вот вызвали Брагина: «Видно, кто-то из ваших предков уважал этот

напиток!» Пригласили Брежневу: «Ого! А вы не родня, случайно? Да вряд ли, если бы родня, она бы в Москве паспорт получала!» Кто-то отзывался, кто-то ещё не подошёл, их приглашали повторно. Паспортистка назвала очередного: «Гвоздь!» Никто не ответил, потому что сначала не поняли. Но когда она вызвала второй раз, и снова никто не отозвался, какой-то плечистый мужик весёлым баском ответил: «Забили!» Рассмеялись все, стоявшие вокруг. Пригласили Ларькина, и следом прозвучало: «Лермонтов!» Все сразу заоглядывались, желая увидеть человека, носящего такую знаменитую фамилию, но никто пока не прошёл за паспортом. И, после паузы, на повторное приглашение паспортистки всё тот же басок, но теперь уже без всякого веселья, произнёс: «Убили!» Как видно, хозяин этого голоса был начитанным человеком. И в коридоре, до этого шумном, так что паспортистка даже сделала замечание, вдруг стало совсем тихо. Но неожиданно открылась дверь соседнего кабинета, и оттуда выглянул милицейский капитан: «Кого убили?»—«Так Лермонтова убили, давно уже, следом за Пушкиным!»—как-то нерешительно произнёс мужчина. Капитан подумал, покачал головой: «Ну и шуточки у вас, как я погляжу!»—и захлопнул дверь. «Так это правда, а не шуточки!»—ответил в уже закрытую дверь обладатель баса. Вручение документов продолжалось, но шутить уже что-то никому не хотелось. А получать новый паспорт отправилась Ася Зайцева, бывшая Лосева, которую вызвали, хоть и с опозданием, следующей.

Сказка

Простыла, болит горло, температура за тридцать восемь, и я сижу в очереди к участковому врачу, а она опаздывает. Рядом женщина лет тридцати, ей надо подписать свидетельство о смерти матери.

Разговариваем, пока нет врача,—надо же както провести время до приёма. Женщина рассказывает, какая у неё хорошая мать была, как их с братом одна, без мужа, вырастила. «Вечно по две-три работы хватала, пока мы не подросли да не стали помогать. Вот и результат—совсем мало на пенсии пробыла. И болела недолго—сердце. Пока лежала больная, чтобы отвлечься, смотрела телевизионные сериалы. А тогда уже шла «Санта-Барбара». Бедная мама, видно, чувствовала, что ей недолго жить остаётся. Недавно она мне с грустью сказала: «Вот умру и не узнаю, с кем Сиси останется, с кем его дочь и сын, и вообще чем всё закончится». Наверное, по наивности она принимала все эти сериалы за чистую монету. Както, видно, не приходило ей в голову, что ведь это выдуманные истории. И вот вчера её не стало, а сейчас какая идёт—семидесятая серия?»—«Вроде бы». (Мне вспомнилось, что всего их 139!) «А мы ведь раньше-то совсем бедно жили,—продолжала женщина.—Перебивались, как говорится, с хлеба на квас, пока с братом профессии не получили. Так, может, потому маме и нравился этот американский «мыльный» сериал: и огромные коттеджи с богатой обстановкой, и наряды у героинь шикарные—меняли их по пять раз на день. И времени у них свободного уйма—на вторую и третью работу бежать не надо было. Настоящая, волшебная сказка для мамы, а сказки не только ведь детям нравятся. Раз уж не довелось пожить такой жизнью, так хоть кино о ней посмотреть!» Женщина замолчала, вытерла набежавшие слёзы, о чём-то задумалась. Потом вдруг неожиданно спросила: «А вы смотрите сериал? Мне-то в последнее время не до кино, конечно, было, не до телевизора. Правда, а с кем сейчас Сиси остался?»

«Армянское радио спросили…»

Сегодня праздник—9 Мая. И заранее договорившись, две молодые семейные пары—Белоноговы и Кузнецовы—отправились отмечать его на берег местной речки, впадавшей неподалёку в Ангару. Они взяли с собой сумки с продуктами и своих детей—мальчиков трёх и пяти лет: пусть подышат свежим весенним воздухом! Светило солнышко, и майский денёк выдался ну просто как по заказу—тёплый и погожий. За посёлком спустились по крутому берегу на галечниковую речную отмель. На другом берегу неширокой речки карабкались по обрывистому склону к макушке горы сосны и кедрушки. Свежий ветерок из тайги, где долго ещё, до июня, лежать пластам не растаявшего рыхлого снега, покачивал кедровые ветки, перебирая их длинные иглы. Трава под деревьями была прошлогодняя, сухая, а молодая, зелёная, пробьётся в этих местах ещё не скоро. Но то тут, то там выглядывали из старой травы синие пушистые головки подснежников и цветки медуниц—таёжных первоцветов. Ребятишки тут же начали клянчить: «Пойдём за цветами! Ну пойдём!» Но дорогу преграждала река, а в ней, поверх льда, с шумом стремительно неслась вешняя вода, мутная и пенистая. В водоворотах она крутила сухие ветки, принесённые ручьями из тайги. Зимой, в сильные морозы, речушка промёрзла до самого дна, и лёд ещё и не собирался таять. Просто речка нашла себе русло между двух довольно высоких горушек, вёснами вбирая в себя все ручьи, бегущие с них, и несла их в Ангару. А вот мостика через неё не имелось, и за подснежниками на другой берег было не перебраться. Но зато на гальке, подальше от воды, мужчины разожгли костёр и усадили к нему на принесённые коряги ребятишек. Пацаны заворожённо смотрели на огонь, на постреливающие горящие ветки, на летящие в разные стороны искры. Видно, у современного человека, даже и в трёхлетнем возрасте, неосознанно проявляется древняя тяга к открытому огню—гены дают себя знать. Ане тоже хотелось вместе с сыном просто посидеть на этом берегу, послушать, как она всегда любила, бесконечный говор бегучей воды, потрескивание костра, весёлое цвиньканье синичек, обрадованных майским теплом. Но, поручив сыновей мужьям, всё же то и дело, на всякий случай, поглядывая на детей, их мамы приготавливали праздничный «стол». Накрыв куском клеёнки большой трухлявый пень, поставили по бутылке водки и вина, стопки, разложили закуску, какую смогли приготовить из того, что вырастили летом у себя в огороде да купили в орсовском магазине.

Накормив сначала ребятишек и сунув им в руки конфет, позвали к импровизированному столу мужей. Те не заставили себя долго упрашивать, особенно Анин муж — Сергей Кузнецов. Отмечать День Победы он начал ещё накануне, у себя на работе в гараже, и сегодня ему было невтерпёж продолжить: «Ну наконец-то, что вы так долго копались?» Он быстро открыл бутылки, плеснул вина Кате и Ане, водки Алексею и себе: «Ну, за Победу!» — выпил свою стопку и тут же налил ещё. «Да куда ты торопишься? Закуси хоть, зачем спешить — ещё полдня впереди!» — попыталась остановить, придержать его жена. Её поддержала и Катя: «В кои-то веки выбрались на природу — ползимы в морозы дома просидели, — так побудем подольше, пусть дети кислородом подышат! Да и нам в нашей бухгалтерии в пыли бумажной надоело!» Но Сергея уже понесло. Бутылка с водкой как-то быстро опустела, за ней и бутылка с вином. Захмелевший Сергей останавливаться на достигнутом не желал, собрался идти за добавкой в магазин и потребовал у жены денег. Аня стала возражать, разговор пошёл на повышенных тонах. Вылазка на природу грозила превратиться в банальную пьянку со всеми её «прелестями» — ссорами и так далее. Настроение было испорчено. Погода тоже что-то начала меняться, потянуло холодным ветерком, солнце скрылось за наплывшими тучами, полетел вдруг мокрый снег, и все засобирались домой. Сергей уже не очень твёрдо стоял на ногах, но пытался всё-таки изображать из себя джентльмена Он взял сумку с посудой из рук, да только почему-то не у своей жены, а у Кати. Алексей же одной рукой подхватил сына, другой забрал у Сергея свой пакет, да ещё подставил согнутый локоть жене, чтобы ей удобнее было идти. Взбираться по скользкой, снова намокшей тропинке на крутой берег было так же трудно, как и спускаться. Аня поднималась за Катей и Алексеем следом, несла сынишку и сумку, смаргивая блестевшие на глазах у неё слёзы и еле сдерживаясь, чтобы не заплакать от обиды. А Сергей и сам-то, без всякой ноши, еле поднимался в гору, один раз даже и упал, поскользнувшись и грубо выругавшись. Но потом всё же обогнал всех — торопился в магазин, пока не закрыли. Значит, и вечер наверняка тоже будет испорчен, и половина ночи, пока муж не угомонится. Да ведь не только один этот — сегодняшний — вечер! Сколько их уже было — таких вот вечеров — за их пока ещё короткую семейную жизнь… И не хотелось думать, что же ожидает её с сыном дальше, хотя задуматься всё же надо было бы. Аня шла, и вспомнился ей кем-то когда-то рассказанный анекдот с уже длинной бородой из серии «Армянское радио спросили»… Так вот, армянскому радио задали вопрос: «Почему француженки носят туфли на шпильках, а русские женщины — на платформах?» (Тогда у нас носили обувь на платформах, а на шпильках ходили пока только московские модницы, до Сибири эта мода ещё не дошла.) Армянское радио объяснило: «Потому что француженку с одной стороны поддерживает законный муж, а с другой — любовник. Русская же баба на одной руке несёт грудного ребёнка, другой — тащит за шиворот пьяного мужа, а за её подол цепляются ещё двое детей. Вот ей и нужна обувь на платформе — для большей устойчивости». Пусть Катя и обувь на шпильках не носит, и не француженка вовсе, а самая что ни на есть обычная сибирячка, но её всё же можно смело назвать по-французски — Катрин. У неё (Аня это точно, как подруга, знала) даже и воздыхатель (мягко говоря) имеется — леспромхозовский шофёр Саша. А самой Ане вдруг показалось, что обута она в сапожки не на обычных каблучках, на которых большими комьями налипла весенняя грязь, а на толстых-претолстых платформах. И что называть её теперь все будут не Анной и не Аней, как обычно, а просто Нюрой. А это деревенское имя она почему-то с детства терпеть не могла.

Андрей Белозёров

Уроки гадания

У меня договорённость с одной чудачкой: она даёт мне девять уроков гадания — я плачу ей натурой. Конечно, это шуточная сделка, но-о… не настолько шуточная, чтобы не иметь места вовсе… И теперь — я делаю свой, самостоятельный расклад. Зачем? Хочу нагадать себе, нагадать что-нибудь эдакое… Но…

По поздней дорожке на червонное свидание — бубновая дама с бубновой девяткой. Я зна-аю, это моя горемычная гадалка со своим бубново-похотливым интересом, она как бубон — не выцарапаешь: девять ночей превращаются в восемнадцать… потом, возможно, в двадцать семь…

Она говорит… говорит… говорит… Говорит, что я её половинка, облекая тем самым случайное стечение атомов в идеалистическую глазурь. Она считает своей половинкой меня, я считаю своей половинкой другую, та, другая, — строчит стихи какой-то собственной половинке; и-и — идеальное превращается в сценарий для мыльной оперы…

Половинка? — смотрю на неё. Мелированные жидкие волосы. Светящийся карандаш по контуру глаз. Плечи костлявы, но из-под сиреневой блузы вытек животик: жизнь на плечи надавила, вытопила всё мягкое — а вниз перелилось…

Половинка? Густая оболочка из сладкого парфюма. Сейчас придвинется чуть ближе, и сладость нас склеит! А что? Пора платить за очередной урок. Под стон кровати и скрип довольной гадалки склеились мы так, потом эдак, потом с разворотом на 180 градусов — словно заботливые добрые ручищи пытались приладить нас друг к дружке — тем, другим боком: а вдруг и правда половинки?

Половинка?! В магазине завтра ревизия. Дома слабый, болезненный ребёнок. Алиментщика и след простыл. Мать лепит отвалившийся кафель в туалете.

Отодвинулся…

Не-ет. Не половинка. Цельная, вполне завершённая.

— Так хорошо… — Она поводит костлявым плечом. — Знаешь… Ты веришь в прошлую жизнь? Мне кажется, что вот так вот в прошлой жизни я тебя и знала. Вот так мы и лежали с тобой. А… у тебя нет такого чувства?

И назойливо скребёт накладными ногтями по моей груди: «Э-эй».

Я вскипаю усмешкой. Связь через инкарнации — хо-хо. Браки заключаются на небесах — хо-хо-хо. О Боже! Мы будем вместе навсегда, и даже смерть не разлучит нас?!

— Ну да, конечно. Что было ещё ожидать? Ты отрицатель. Вы, отрицатели, упрётесь лбом в стену, и всё. И говорите, что это мир, что теперь в курсе всего, и ничего для вас, кроме этой стены, нет, — обижается моя романтическая гадалка, постукивая ладошкой по стене, возле которой лежит. — А что там, за стеной?.. об этом вы не думаете, вы отрицаете!

О?! Мадам… вы перешли с любовных романов на «Откровения ангелов-хранителей»? Откуда этот эзотерический душок?

— Провокация, мадам! Ин-си-ну-ация! Я не отрицатель! Да-да. Я положитель! Так и запишите. Мне по-ло-жить! И на ваше родство душ, и на ваши половинки! И вообще, что это за слово такое дурацкое — отрицатель? Я отрицаю это слово! Вернее, ложу на него…

— Кладу, — поправляет гадалка.

— Точно.

И сам вполне лежу, пялясь в потолок: раз, два, три — три прихлопнутых комара присохли к потолку. Ы-ы — я зеваю.

У меня… по крайней мере, у меня — не будет никаких половинок… ы-ы… Я проклят.

Проклят… проклят… Я нашёл своё проклятие под дверью на лестничной клетке, пару дней назад… Собрал его из ме-елких-мелких кусочков. Оно было написано с обратной стороны моей фотографии. Кровью одной пэтэушницы… Да-а, так и написано: «Будь проклит ты за измену и сколько ни ищи сёравно ни найти тибе своей половинки».

Ага. Всё просто. Это был третий или четвёртый урок гадания… Просто пришла чуть позже и опоздала на урок… нерадивая пэтэушница: пришла бы раньше — и не было бы того урока, и склеивали бы добрые ручищи меня с ней, а так…

Я продолжал лежать, смотря на сушёных комаров. Рядом гадалка, затаив дыхание. Звонки в дверь. Конечно, я дома: отчаянный свет лампочек во всех комнатах, громкая музыка. Звонки прекратились. За ними — всхлип. За ним — хлопок подъездной двери… Стук каблуков куда-то в ночь… Пэтэушница, вот так убегающая в ночь… куда она бежит? Лучше об этом не думать…

И моё проклятие. Я склеил его скотчем, вставил в рамочку. Теперь это моя реликвия… Только зачем оно мне… неужели в качестве последнего оправдания несостоявшейся Сказки, которую я лепил из жизненного материала?

Ах да… жи-ызнь… Она — как центр раздачи гуманитарной помощи. Перед нами прилавок с разными удовольствиями. Удовольствия поближе — для короткоруких — преимущественно мелкие, порченые, с гнильцой уже. Дальше, конечно, удовольствия покрупнее да посочнее, и выбор,

значит, пошире, но—не всякий дотянется. И один такой, похожий на меня—не особо выдающейся длины рук,—в гнилье копается, взять брезгует. А до крупного, сочного—не дорос. Обиделся, вынул руку, показательно отряхнул.

И говорит: люди, будьте достойны. Беда наша в потере чувства брезгливости. Жизнь приручила вас своей милостыней, сделала жалкими гедонистами, пожирающими гниль и плесень. И вы послушно кормитесь этой плесенью, отодвигая рецидив всеразъедающего сифилиса пустоты. Но даже если вы назовёте скоропортящийся продукт древа жизни сбором опыта—в конце у вас будет только диарея: вы продрищетесь, и оставшийся внутри вакуум будет выворачивать вас наизнанку. Брезгуйте! Брезгуйте!

…Милый человек… Он завидует, презирает, считает себя честным. Этот человек, конечно, я… Но сколько же ещё такого меня?! Вот—ещё я. И здесь—я. И там… Вот я откровенничаю с вами. А вот шучу с коллегами по работе, ага-ага: а аванс на карту ещё не положили? А вот бодро пожимаю руку начальнику. Ага, предварительно обтёр ладонь о штанину, чтоб рука не влажная: добрый день, Евгений Владимирович. А вот я несу мистическую чушь по телефону какой-то дуре, э… кому, кстати? А теперь с трагической дрожью в голосе и с сигаретой—рядом со своей пэтэушницей. Да-да, а вот я усмехаюсь в лицо гадалке… Эти мелкие бесы берут меня силой, воруют меня и раздают, пускают по миру. Я ушёл с аукциона коллегам, спущен в телефонную трубку, стал взяткой для жаждущих рукопожатий. Я! Я! Я!—по клочочку, по лоскутику… по разветвляющимся ручейкам, по чужим рукам… по лужёным глоткам, криминальным сводкам… по покоям да приютам, по троллейбусным маршрутам… по канавке, по ложбинке, по выбоинке—в бойню, бойлерную… бакалейную… трапезную…

Но вот уже и гадалка ушла—урок окончен, а с нею—последний хохокающий бес… Отпустил последнюю ниточку, и тело завалилось набок. Что осталось от меня? Пора отключиться от розетки до нового дня?

Я просто лежу на боку и ощущаю, как выделяется слюна. Отказываюсь её глотать. Мой мозг—ленивый боров в луже, и всякая искра, попадая в него, вязнет и гаснет, словно в сгустке клейстера… Выделяется слюна, выделяется… а такое не может долго продолжаться, поэтому когда она находит уголок рта—рождается ещё один. Я!

Он пишет артериально-алым, обогащённым кислородом—с размахом, плакатными буквами: «Настоящая Любовь существует! Я свидетельствую! Персональное чудо существует—я очевидец! Сказка возможна! Принцы и Принцессы—среди нас! Имей волю быть достойным этой роли—Сказку нужно заслужить. Не можешь стать рыцарем, стань драконом—осуществляй противостояние! Страдания—просто этап развития! Имей терпение и наблюдательность—и чудо придёт!»

И вроде ожил—с помощью того, над чем усмехался час назад. Принял вертикальное положение, чтобы…

Чтобы сделать свой самостоятельный расклад и нагадать эдакое…

Но-о-о… на червонную жизнь опять выпали пустые хлопоты… обманы… напрасные надежды… И вот очередной я—тасую колоду, обманываюсь, обманываюсь… разбрасываю карты… расклады не складываются, всё плохо, всё вкривь и вкось, осколками да половинами… опять тасую… тридцать шесть картей, четверо мастей… Что будет… что случится… Судьба моя, где ты? Отведи от меня пикового валета! кому я пишу сонеты? кто мне сготовит котлеты?.. Чёт или нечет? Семь или девять? Орёл?! или—прорешку на клюшку… розы—мимозы—микоплазмозы, грёзы—грации—инкарнации, фатумы—факи—знаки—знамения… видения—провидения—брачные объявления… детство—юность—отрочество—устала от одиночества, аденомы и мамы, Лада-Леда, Андрей-Андромеда, половины, пуповины… неповинны вены, плети—нити—дети… Изольда—Эвридика—Маргарита… Ты опять небритый?.. Мур-мяу… чао… скучаю… Кофе? Чаю?.. Ч-чудо—яда! Сказка—выделяется смазка—конечно, in Moscow! Шерше ля фак. Финита ля бля. Де-жа-вю. Ай си ю. Вау-у, оу-у, йоу! Бэмс, упс-с, ёпс—addios!

…Вчера мне приснился сон. Бесконечный подземный барак, там тускло и сыро. Из него нетрудно выйти на поверхность, но никто этого не делает—фиолетовый свет оставляет язвы на телах подземных жителей. У меня были опухшие оранжевые дёсны, почти скрывавшие зубы, и особенность—я впитывал влагу. Я бродил по серым лабиринтам, и где бы я ни остановился, мокрые пятна на стенах начинали высыхать, а я разжимал ладони, и они оказывались покрытыми капельками влаги. И я бродил, желая чего-то… А все сидели по комнатам в этой грандиозной жизнеквартире, и если я приоткрывал дверь—слышались возмущённые голоса: никто не хотел посягательств на их личную территорию. Кто-то спаривался. Один лежал на раскладушке и делал это сам с собой. Кто-то стирал, готовил обед, вешал простыни, накладывал макияж перед облезлым трюмо; кто-то просто слонялся из угла в угол с умным видом, и ему было не до меня. И я бродил и впитывал испарения и мокрые пятна… Была там, в отдельной, заваленной хламом комнатёнке, и моя разнесчастная гадалка, кормила меня пельменями: тебе с бульоном или… Я люблю с бульоном… И я пытался их есть, но они холодные, белые, бульон мутный, с кольцами прозрачного скользкого лука. И вот я подцепил вилкой два склеившихся пельменя. Гадалка романтично улыбнулась, и я в ужасе проснулся.

Проснулся и подумал, что вот моё будущее место, куда я попаду после смерти. Серая подземная общага… где все вместе и всё-таки по отдельности, как клетки разлагающегося трупа. Всё будет ещё хуже, чем здесь. Я буду слоняться по коридорам, дрочить, подглядывать в двери таких же уродов. Будет запах хозяйственного мыла, мочи, сырого белья; кипящие бульоны в алюминиевых баках, скрежет множеств стиральных досок, чьё-то кряхтение на раскладушке; будет эта кожа и эти дёсны,—мой ад для никчёмных людей.

Страшно тебе? Страшно? Стра-ашно… Потому что тебя всё устраивает? Или это чёрное стекло напротив… вата из рам… а шторы ещё не глажены… там—непредсказуемость движения, случайность… там… без Бога…

Спасибо стене. Она поддерживает меня от свободного падения. В ногах рассыпаны карты рубашками вверх. Они как двери: какую открыть? Что будет сейчас? Что через час?.. какую открыть?

Никакую… Я в ступоре—это моя медитация. Моё тело расслабилось, раскисло, отвисла моя челюсть. Оттуда звук, но не *ом-м*, а—*ххыыэээыыыы.*

Чем дело закончится… чем сердце успокоится… чем всё прикроется… Известно чем… известно…

Александр Корамыслов

Мои гулливеры

Трезвый, но не беспощадный
взгляд на то, что происходит.
Как в глубины преисподней—
с верхней лестничной площадки.

Было время—мысль парила,
но пришлось присесть, очнуться.
Стоит только покачнуться—
и не выдержат перила.

Изучай чужие танцы,
раз борьбе не научился—
как мудехар, получивший
разрешение остаться.

У кого своя тоска есть—
тот не просит: «Осчастливьте».
…На вонючем, грязном лифте
я на землю опускаюсь…

Кто собрались вокруг Петра—те
спросили в третий раз меня:
на что ты молодость потратил?
на что ты юность разменял?

Что я отвечу? Что рубил сам
тех сук, на ком сидел и жил?
Что жить—не слишком торопился,
но слишком чувствовать спешил?

Бывалоча… Бывало часто—
светил, как сорок тысяч бра
светить не могут. Было счастье:
свет отдавая, тьму вбирать.

Бывалоча… Бывало редко—
я отключался, свет гася.
Тускнела люстра. Меркла Светка.
Коптил фитиль. И песня вся…

Но я сказал, что жизнь потратил,
на благодарность разменяв…

…Кто собрались вокруг Петра—те
простили в первый раз меня…

Мои гулливеры, я ваш лилипут.
Мы сами больны—и стихи больны…
И жалок наш гибельный чувственный путь
Идущему интеллигибельным.

Живя в бесконечности, верить в капут—
Самим себе только враги вольны…
И страшен наш гибельный чувственный путь—
Живущему интеллигибельным.

Забудь обольщенья, обиды забудь—
Они безутешной тоски полны…
Закрой себе гибельный чувственный путь,
Открой себе интеллигибельный.

Отбрось покрывала. Избавься от пут.
От нежной сансары сбеги, вильни…
Не бойся покинуть свой гибельный путь—
И двинуться в интеллигибельный!

Но соли с товарищем съеденный пуд
От мутной воды береги вельми!
Облегчит он гибельный чувственный путь—
И выведет в интеллигибельный…

…Но этот стишок—видно, слишком я туп—
Мне вывернул сердце, виски беля,
Опять направляя на гибельный путь
Бредущего интеллигибельным…

Если вдруг на морковной грядке
закурчавился базилик—
значит, в мире не всё в порядке—
и является Божий лик.

Раз Небесного Богдыхана
заменяет нам падишах—
то лишает нас Бог дыханья
и возможности подышать

ароматом полей небесных,
грешным духом лугов земных…
Лейся, песня! Замёрзни, песня!
Гладкий этот стишок замни…

Наталия Черных

О поэзии

Поэзия как существо

Что есть поэзия — слух, видение, стихия или существо, — ответить почти невозможно. Однако надо иметь в виду, что ответы есть, и много — самых разных. Но все они значения не имеют. Вопрос: что есть? — кажется неловким. Скорее уж: как она есть? Или: что не есть поэзия? Поэзия — вся в прошлом, вся в предсуществовании, вся в небытии. И тем не менее — осязаема и внятна, как божество.

Какая рифма лучше к «божеству», чем «существо»? И однако, это неверная рифма: в ней слышен обратный скрежет. Скорее уж: существо-божество. В этой области она (прошлая, умершая, возлюбленная, отвергнутая) и обитает.

Поэзия чувствует себя самоё как существо-божество. Она во всём, что её вмещает (пейзаж, погода, лицо, тело, картина), видит только себя и любуется только собой. Она принимает поклонение только того, в чём видит себя. И не может представить, что есть нечто кроме неё. Внешние явления пугают и настораживают поэзию: она исчезает, возвращается в своё блаженное, окроплённое мысленной кровью многих поэтов небытие. Поэзию ничто не интересует, кроме неё самой.

Есть такое слово: аутоэротизм. Оно было бы применимо к поэзии, если бы поэзия так хорошо не усваивала бы драгоценные подарки, которые подносят ей избранные поэты. Но избранный поэт (здесь будем говорить о допоэтическом), повинуясь жестокому долженствованию жреца и влюблённого, сначала сам готовит дар: новые слова, приходящие из области, поэзии будто бы неведомой, линии строк, структуры речи. И поэзия любит такого поэта. Её аутизм исчезает, но исчезает и она сама.

Поэт безответно влюблён в поэзию: она настолько хороша, что будь каждый поэт прекрасен, как лицо Китса или шея Байрона, всё равно ощутил бы своё уродство рядом с нею. Поэзия так же безответно влюблена в поэта (но не в каждого), как дочь царя змей любит человеческого сына. Союзом поэзии и поэта возникающее чувство назвать нельзя — слишком много несогласий, но драма величественна. Гибнут оба.

Сравнений и воспоминаний, если порассуждать на тему любви поэзии и поэта, можно найти множество. И все они будут опрокинуты. Ромео и Джульетта — а старый Верлен?

Как существо, чувствующее себя божеством, поэзия не любит Бога. Существо Бога — Христос. Поэзия не любит Христа. Если древний Пан, родитель поэзии, смог принять новый и смертельный для него мир (почти как Симеон Богоприимец), то его вечно юная подопечная и дочь не сделает этого никогда. Поэзия спорит со Христом, как спорит человек. Она вся в обаянии счастья и гнева. Счастья: надо же показать Христу, что она была счастлива без Него и будет так же счастлива впредь. И гнева: Христос слишком хорошо знает её недостатки. Ни перед кем поэзия не бывает так отвратительна, ни перед кем её вздорный характер более не проявляется. Она жестока и недостижимо прекрасна, как у Бодлера и Малларме. Она причудлива и таинственна, как фея Эзры Паунда. Но христианство снимает с поэзии маску. Зря снимает? Мне ведомы эти беспомощные мысли. Ведь поэзия не вымысел — божество. Христианство подносит к губам поэзии зеркало. Мгновение — и оно покроется туманом.

Поэзия подслеповата на оба глаза и глуховата на правое ухо. Она, как настоящее божество, прихрамывает; иногда на обе ноги. Видение обостряется, если внешнее зрение нарушено. Кассандра, Гомер и далее. Отсутствие внешнего слуха восполняется слухом внутренним, а в словах остаётся биение древних нефтяных ритмов. Лёгкая красивая походка сама по себе божество. Но если её нет, появляются крылья.

Образ поэзии как неземного существа, погибающего от неустройства земного мира, но воскресающего и уходящего в своё блаженное небытие, был создан романтиками и развит модернистами. Модерн создал почву для анализа и комбинаций, чем воспользовался постмодерн. Область поэтического текста стала настолько разрежённой, что сквозь неё будто проступило искомое бытие поэзии — её ничто. То, что Малларме далось путём аскетики (в слове) и онтологических поисков, у Геннадия Айги было в самом начале пути. О постмодернизме лучше молчать — это развитая и хорошо известная всем пишущим тема. Меня интересует только характер поэзии, и далее — характер современной поэзии. Его можно изучать часами.

В «Структуре современной лирики» Гуго Фридриха (в переводе Евгения Головина) есть два термина, непривычных, но весьма ёмких. И сейчас очень бы хотелось подобного терминологического жеста. «Фасцинирование» и «тёмный дикт». Как их перевести? Навязывание и невнятное говорение? Эти полупричастия, которым не суждено дорасти до искомых существительных, возможно, выражают оттенки, но в разговоре о поэзии кажутся немного смешными. Термины «фасцинирование» и «дикт», как автор и переводчик показали читателю, прекрасно подходят к поэзии до середины двадцатого столетия. Малларме — как предок, Тракль и Лорка — как потомки. Исключительный случай —

Рембо. В их поэзии действительно было нечто хлещущее, резкое, вызывающее.

Но в современном корпусе русскоязычной поэзии (или, если следовать немцу, дикте) фасцинирования нет. Чем провокативнее, чем забористее описанные вещи и слова, тем меньше в них вызова. И потому с точки зрения исследователя будущего темперамент и стиль одного мало отличается от темперамента и стиля другого, третьего и четвёртого, хотя это очень разные авторы. Их поэзия ничего не совершает. Она есть то самое «недеяние воздуха», о котором мне однажды довелось услышать.

Но это «недеяние» далеко от вскормленного романтиками и развитого в модерне «ничто», «недостижимого», идеала. Это статика медленно идущей по разграбленной стране колонны военных.

Малларме отказывался от поисков смысла в поэзии. Рембо презирал их. Они отучили свою поэзию от заученных внешних жестов, как можно отучить воспитанницу гимназии от глупого книксена. Но это вовсе не значит, что масса стихотворцев всех последующих времён и народов перестала совершать эти внешние жесты: рифма, ритм, нарративность, поучительность—да это срез поэтического отдела любого современного литературного журнала! Уникальное открытие—дрожащий, ломаный язык—оказался очень скоро никому не нужным, хотя тут же явилась масса подражателей. Затем это открытие, уже забывшее о себе, было извлечено как мощи. И прославлено—более всего в современной русской поэзии.

Место динамики заняла подчёркнутая статика. Восхищение мастерской линией (подчас, как у Рембо, крутой, а подчас, как у Малларме,—тающей на глазах) уступило место снисходительности. Ясность ушла, но её место занял гротеск, мало что общего имеющий с гротеском Бодлера и Элиота. Лишь иногда, в основном у авторов сороковых годов рождения, возникают (скорее, возникали) плотные и полные образы, соответствующие онтологическим критериям отцов современного дикта.

Зато появилось новое зрение. Новое мироощущение. Глубокое и яркое одиночество последних титанов уступило место отчаянному празднику непослушания, которому придаётся значение вселенской катастрофы. Уже ничего не надо ниспровергать. Ни от чего не надо отказываться. Маяковский, Кавафис, Элитис, Сильвия Плат ушли в прошлое. Примета современной поэзии—почти весёлое, почти праздничное мародёрство. Солдаты современной словесности забирают всё и пользуются всем, смешивая стили и эпохи, пренебрегая канонами стиля—просто так. А не ради чего-то. Поэзия заняла место маркитантки и боевой подруги. Её никто не свергал с престола и пьедестала. Никто из современных поэтов уже не помнит, как именно поэзия там была. Но если помнят, что была,—хорошо.

Если рисовать картину современной поэзии, выйдет брехтовский эпизод (отчасти напоминающий эпизоды «Мамаши Кураж и её детей»). Разруха, голод, бомбёжка. Му́ка кругом такая, что уже и мародёрство не кажется преступлением. À la guerre comme à la guerre. Как подтверждение—навязчиво (фасцинируя) возникающая в произведениях молодых и сравнительно молодых авторов тема войны, о которой они и понятия не имели. Благородная умершая возлюбленная воскресла—как почти незаметное, но необходимое (и это надо ценить) существо. Но как вынести циничные насмешки ленивых и жадных до наживы детей, уходящих от пуль и любящих грабить?

И тогда поэзия кричит Богу, что Он неправ. Она снова говорит о своей ненависти ко Христу. Однако в этих пронзительных и часто глуповатых воплях есть странная нежная тяга. Поэзия ведь не человек. Она (как и—простите—человеческая душа) родом из рая. И обязательно туда вернётся. Сейчас нет человека, на которого эта крылатая гостья могла бы опереться в тяготах своих земных скитаний. Но есть полк, за которым можно следовать долго-долго, пока не перестреляют всех.

«Меня расстреляют солдаты Господа Бога»,—сказал Жану Кокто умирающий Раймон Радиге, написавший за всю свою недолгую жизнь только один роман. Эта фраза предельно точно выражает чувства поэзии к Богу.

Поэзия боится религии и не может без неё. А современная поэзия—без христианства (ведь для того, чтобы поиздеваться над ним, нужно сначала взять христианские символы). А современные поэты-новобранцы боятся поэзии, как возлюбленной, к которой охладели. И тем сильнее их страх, чем более поэзия являет в больших поэтах свою божественную сущность.

Психея поэта

(что вне дома и что внутри него)

Поэт есть дом; нельзя сравнить вид снаружи и вид изнутри. Снаружи он одновременно ухожен и потёрт: свой, милый, талантливый. Часто устанавливает стеклянные двери при входе: я доверчив, прозрачен, открыт! Можете видеть, что внутри: творческий беспорядок. Но поверьте, перед вами—чудовище. Можно лишь относительно спокойно (чтобы на вас не обрушился гнев поэта) говорить о соответствии между его жизнью и самоощущением. Трудно найти общий для фасада и интерьера признак.

Но всё в прошлом; сейчас таких поэтов нет.

Тем интереснее наблюдения за собственными переживаниями, напоминающими подчас дневник исследователя, сделавшего себе рискованную прививку. А я чем занимаюсь? Итак, считаю себя поэтом и рассказываю о том, что со мною происходит. Вещаю изнутри своего дома. Относительно внешнего—могу только предполагать, как он выглядит и как на него реагируют окружающие (и тоже поэты).

В электричке произвожу впечатление домашней мечтательницы, рискнувшей отправиться в плавание. Отчасти так, но от какой части—не знаю.

Итак, интерьер и фасад. Поэт—как Амур и Психея: мужское и женское, видимое и невидимое. Психея слышит Амура и чувствует его; она влюблена. Влюблена в себя—или в того, о ком слышала, что бог?

Самовлюблённость поэта не есть самовлюблённость не-поэта; только надо вернуть утраченное в близлежащих столетиях понятие о субстанции поэта. Поэт всегда любит другого. Для него он (поэт) — не он сам. Поэт для себя как камень, влюбившийся в девушку, коснувшуюся его. Поэту всегда кажется, что его считают вещью. Хорошо. Психея была младшей в семье. И поэт тоже — младший.

Блудный сын? Слишком прямо. Но пусть так — мне нравится. Но не один же блудный сын в нём? Поэт — сложное явление. Он пишет — но он и оценивает.

Поэт — как автор и как любитель поэзии одновременно. Вот тут-то всё и начинается. Психея хочет увидеть Амура, но как? В коварных подсказках недостатка нет. Любителю поэзии недоступно (и никогда не будет доступно) истинное значение поэта и его стихов. О стихах он может говорить с той или иной долей вероятности. Из мглы догадок выступают лишь черты древней корявой статуи Времени. Но Время слишком высокого о себе мнения.

Фасад не видит интерьера — интерьеру нет дела до фасада.

И тогда возникает особенный, тонкий и очень устойчивый, невроз поэта. Ему всё кажется, что от него ждут: гениальных стихов, громкой славы, великого имени. А к нему просто привыкли и от него ничего не ждут. Просто немного раздражает его присутствие: ну не Пушкин же и не Рембо. Это глубокое и тяжёлое чувство — ожидания — сжигает почти весь фасад. Поэт оцепеневает. И либо сходит с ума, либо застывает соляным столбом. Кому-то боги поэзии посылают заботливых поклонников.

Это воздушное сиротство побуждает обращаться к одежде — чтобы не похож на других; к иному множеству иных мелочей (еда, чувственность), чтобы только утвердить своё немудрящее присутствие. Тяжелее всего бесталанным, слабоватым на тексты (но такие своей слабины будто не ощущают: у них всё хорошо).

От этого невроза излечиться практически невозможно. И потому приходится быть снисходительными при общении с поэтом. Если он вообще соизволит говорить о том, что вас интересует. И хорошо, если у вас обоих есть одна любимая рок-группа.

Современный поэт (всё же решусь употребить это слово) одновременно ярок и незаметен. Не потому, что среди гипертрофированной, катастрофической яркости его не видно. А потому, что боится. Множество фобий: не поймут, не примут, не уважают — неотъемлемые части невроза поэтов. Чем милее и открытее ваш знакомый, пишущий стихи, тем меньше поэзии у него за душой. Но с другой стороны: у поэта за душой нет — и никогда не было — поэзии. Поэт — действительно сирота и бессребреник.

Но поэзия требует силы. Решительности особого рода. Требует туповатого упрямства и неотёсанности, несветскости. Поэт должен быть сосудом с очень толстыми выносливыми стенками: не ощущать ударов и падений. Если не разобьётся, ещё нальют (в него поэзии).

И вот это существо (чудовище) ужасается каждой волне, вырастающей в его воображении и угрожающей его миру. Ужасается до болезни. Потому что в его собственном мире поэт хоть что-то значит. Потому что знает: в мире вовне его он (поэт) не значит ничего!

Достоинство современного поэта в том, что он более устойчив. И в том, что его бытовые условия сравнительно мягкие. Но если он говорит о тех, кто не любит стихи: я просто посылаю их подальше, — не верьте. Он чувствует, что послали его.

Поэт никуда не зовёт, никуда не ведёт и ничего на-гора не выдаёт. Все эти действия — плод воображения любителя поэзии. И потому сравнение «ты — и он (тоже поэт)» смысла не имеет. Это выбор вкуса, которой можно использовать как месть.

Каковы моменты признания поэта — хотя бы в кругу его знакомых? Во-первых, это, конечно, вкус. Во-вторых, известность. Но как существуют в современном московском литсообществе оба эти явления? Каков вкус и какова известность? Вкусов, как и известностей, несколько. Приятный в одной страте — неприятен в другой.

Современный вкус предлагает три блюда: стих почти без ритма и совсем без рифмы, стих резаный (или пёстрый) и дистиллированную силлабо-тонику. Все три явления порой очень любопытны. Современная известность более скупа. Либо тебя печатают, либо о тебе знают (но и печатают тоже). Так или иначе — выступлениями или публикациями — есть обязанность заявлять о себе.

И вот тут начинаются губительные компромиссы, осложняющие течение невроза поэта. Тот момент, когда Психея со светильником увидела спящего Амура, и он разгневался на неё, и она погибла. Фасад и интерьер ощутили общую вибрацию. Я нужен! Меня похвалили! Мне удалось! И потом — тяжелейший спад.

Психея должна умереть. Для меня это жертвоприношение выглядит так: никаких самоопределений и определений. Никакой литературы, никаких текстов, никакой деятельности, с ними связанной. И далее — никакого затвора, никакого одинокого гения. Никакого «на каждое „да“ я скажу „нет“», никакого «я всегда буду против». Только ощущение потока, только отзывчивость на то, чего не ожидаешь.

Это-то самое трудное. Видеть, слышать, вбирать, принимать. Быть другим. И тем более — если не любишь другого. Жить всеми. Развоплощённость как обретение плоти.

Однако уклонилась — ничто человеческое.

Нельзя поэту любить, что его не любят как поэта. Но нельзя и замыкаться в изгнанности, в чужеродности для других. И прежде всего — нельзя махать без драки кулаками. Это может критик или эссеист. Но не поэт.

Евгений Минин

От жажды умирая…

О книге Игоря Панина «Мёртвая вода»[1]

Заканчивая предисловие к этой книге стихов, Дмитрий Быков пишет: «Панин—настоящий поэт, мне кажется». Единственное место, где могу поспорить с Быковым: что там, где ему кажется, я—уверен. Поэт своими стихотворными рассуждениями может ввести в заблуждение несведущего читателя, но в данном случае я слишком хорошо знаю, где лирический герой и автор—разные люди, а где полностью совпадают. Игорь пишет от первого лица, пишет честно и искренне, не оглядываясь и не тормозя, не думая о последствиях произнесённого слова, как оно отзовётся-аукнется. И если, прикрываясь лирическим героем, Панин может написать:

…и чувствую, как скребутся в душе
сотни раз не написанные строки,—

то сам автор, зная реалии жизни, в которой надо выживать, порою прикусить губу и промолчать, иногда—просто отвернуться, потому что за спиной, возможно, нет никакой опоры, говорит честно и горько:

Заплутав в трёх бараках, загибаясь от ханки,
на безлюдье и раком станешь за две буханки.

Книга стихов Игоря мне кажется подобием некоего дневника, тетрадки с записью неожиданно пришедших мыслей, куда он в конце дня, будто этот день—последний, выплёскивает из себя всё, что клокотало в нём. Обратите внимание: идиллических стихов в книге нет—всё на грани срыва голоса, всё на грани разрыва сердца. Быть Вильгельмом Теллем в современной поэзии—задача непростая, поэтическая среда кишит пираньями—порой и скелета может не остаться. Но Панин видит цели и бьёт без промаха:

Я—не вокруг да около—
в самое яблочко.

Я ещё помню статью Игоря по поводу творчества пресловутой «Верочки»—какой поднялся крик и ажиотаж в защиту обиженной, которую уже, верно, многие подзабыли. А Игорь прошёл спокойно, словно слон мимо мосек, причём никого не давя, не огрызаясь, молчанием доказывая вескость своего мнения. Так он и пишет о слиянии реального мира с виртуальным:

Метким оком промчать по разрухе—
всюду предков ненужные духи;
и не чаю за грани прорваться я…
Шум, возня. Интернет-резервация.

К сожалению, в нынешней системе координат жизни точки существования для поэта нет—он зависим от обстоятельств, он должен зарабатывать на хлеб: величиной гонораров никого смешить не буду, а во многих случаях их вообще нет. Также—растить детей, нравиться жене и другим женщинам,—а процесс сочинительства у поэта непрерывен, и когда одно накладывается на другое, то стихи становятся похожими на боль. Добиваться признания—сложный процесс, у каждого толстого журнала—свой контингент печатаемых, государственный институт вообще не имеет статьи для поддержки литераторов (о, где эти творческие отпуска—бывшие в советское время?), у каждого жюри—свои кандидатуры. И один выход:

чтобы стать хорошим поэтом—
нужно умереть,—

да и классик актуально поддержал, что «в этой жизни умереть не сложно…». Но не фокус—умереть и стать знаменитым. И Панин не был бы Паниным, если б не верил в себя, в свою звезду; всё на свете непостоянно, всё со временем меняется, у каждого есть миг удачи, который надо просто суметь поймать:

Победит когда-то «Спартак»,
но пока—«Зенит» чемпион.

Ещё одно ценное качества Панина-поэта—ирония. Практически присутствуя во всех стихах, она создаёт атмосферу реальной жизни реального человека с его реальными проблемами.

Нет пафоса в стихах Панина—всё всерьёз, и каждый пусть понимает его в силу своей воспитанности и начитанности.

Пора б закончить все эти игры,
и я кончаю…

Завершает книгу признанная «неполиткорректной» поэма «Австралия», доставляющая автору немало неприятных минут. И могу добавить—будет доставлять. Так вот—эта поэма адресуется апологетам широко разрекламированной в Европе и позорно провалившейся идеи мультикультурности. Хватит, подобно страусам, прятать голову в песок, не замечая того, что финал может оказаться трагическим. И очень страшно за наше будущее, если пророчество автора этой поэмы станет явью.

1. Игорь Панин. Мёртвая вода.— Москва. Вест-Консалтинг, 2011.

Борис Кутенков

Как сварено стекло и другие вопросы

Обзор литературных журналов: весна 2011

«Литературная учёба»: *на западном фронте с переменами*

В конце 2010 года исполнилось 80 лет журналу «Литературная учёба», основанному А. М. Горьким. Год назад журнал претерпел серьёзные изменения, окончательно перестав публиковать поэзию и прозу на своих страницах и полностью перейдя в заявленный несколько ранее формат литературно-критического издания, каким он и был при своём основании. Текущие преобразования связаны прежде всего с деятельностью нового главного редактора — Максима Лаврентьева. Изменения же, связанные с первым номером, касаются ещё и дизайна: «Литературная учёба», много лет не менявшая формат, на этот раз, как дама-модница, предстаёт перед нами в новом оформлении. Яркая обложка, привлекающая внимание, иллюстрации, кричащий заголовок «Литературный процесс есть?!» и имена великих крупными буквами на задней стороне обложки вместо традиционной аннотации. К сожалению, бумажный тираж издания низок, поэтому все попытки поднять популярность журнала с помощью внешних средств выглядят грустно. Свидетельствуют они отнюдь не о недостатках «лу», а о трагедии нынешней издательской ситуации: мало востребованным оказывается издание, выполняющее достойную просветительскую функцию, но рассчитанное на сугубо литературоведческую аудиторию.

Некоторые перемены — и в рубрикации: так, на этот раз в журнале отсутствует традиционная рубрика «Главная тема» с опросом литераторов, вместо неё — стенограмма конференции «Ямал литературный», прошедшей 26 ноября 2010 года в честь 80-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа. К ней я вернусь позже, а открывается номер обзорной статьёй доктора филологических наук, литературоведа Алексея Татаринова о современном литпроцессе. Статья отличается объективными и здравыми наблюдениями: автор начинает «за упокой», говоря об *«общем недовольстве литературой как видом деятельности»* и рассматривая связанные с этим претензии. Татаринов даёт точные характеристики прозаикам нашего времени, в нескольких предложениях ёмко характеризуя творчество как российских авторов — Маканина, Сорокина, Прилепина и др., — так и зарубежных — в контексте существующей литературной ситуации. Расстраивает лишь то, что мало сказано о поэзии (за исключением нескольких слов о Юрии Кузнецове и рок-текстах); собственно, обходить её вниманием в статьях, посвящённых литпроцессу — печальная традиция. *«Как ответить современному миру, пытающемуся вымести литературу из образовательного процесса, сделать её смешной на фоне разных позитивных дел, представить бесперспективным арьергардом гуманитарной армии?»* — задаётся автор вопросом и отвечает: — *Читать, думать, говорить, писать. Мыслить без страха показаться смешным и неактуальным. Действовать, быть активным — в согласии с динамикой художественного чувства, знающего и свои этические законы. Быть счастливым в сопричастности словесному искусству…»* Финал статьи — с установкой на надежду: *«Когда Пелевин превращает общение с гламуром в буддийский коан, а Уэльбек создаёт романы-апокалипсисы, когда Прилепин ищет активного героя ради любви к жизни, а Кундера охлаждает читателя мыслями о преодолении ненужных скоростей, когда Проханов воскрешает героический эпос в условиях информационной цивилизации, а Коэльо готовит новый текст для быстрого просветления, когда только что ушли Кузнецов и Солженицын, Павич и Сэлинджер, а Маркес ещё жив, — литературный процесс есть. Точнее, он ждёт своего воссоздания — в сознаниях тех, кому не скучно, от самих себя прежде всего»*. В рубрике «Литература и современность» интересен также капитальный труд Геннадия Мурикова «Параллельные миры» о постмодернизме и новом реализме.

Стенограмма круглого стола «Региональная литература и современность. Ямал» любопытна для осмысления провинциального контекста. Дискуссия, несмотря на слова отдельных апологетов о том, что *«Москва не нужна Ямалу»* и что там *«бурлит творческая жизнь: появляются новые поэты, прозаики и профессиональные литературные критики»* (Валентина Владиславлева), что *«не нужно подходить к нашей литературе с европейскими мерками»* (Наталья Цымбалистенко, автор книги, как раз и ставшей поводом для дискуссии), показывает обречённость, но и самобытность периферийного бытования литературы. Наиболее взвешенной представляется точка зрения именитого критика и литературоведа Аллы Большаковой, отметившей и плюсы, и минусы: *«Да, всякая региональная литература не лишена своих издержек, над ней витает опасность самозамкнутости, ухода в свои локальные проблемы, ограниченное узким жизненным кругом мироощущение. С другой стороны, в ней, с её неповторимым опытом жизнетворчества, таится неизменный источник свежих впечатлений. Ей доступно освоение такой специфики*

мироустройства, какой не встретишь в привычном русском пространстве».

Продолжает тему провинциальной литературы статья Натальи Вишняковой о Севере в русской поэзии. На этот раз автор берёт в качестве территорий для исследования Карелию и Вологодский край. При несомненных достоинствах—тонкость восприятия, литературная интуиция,—вызывает сомнение статистическая направленность, свойственная статьям Вишняковой. Объективированно-доброжелательный тон порой играет с автором шутку: задача разрушить стереотипы, связанные с провинциальной поэзией, выглядит неубедительно. «*Лицо поэзии определяют не столичные толстые журналы*»,—безапелляционно заявляет автор в начале статьи. Что же тогда, хочется спросить? Провинциальные альманахи? Автор несколько запутывается, противопоставляя «поэзию столиц» литературе, провинциальной по географическим признакам (в конце концов, в московских литжурналах—далеко не только московские поэты, а негеографическую сущность провинциализма Вишнякова и сама отмечает). Спорное высказывание могло бы иметь под собой базу, если бы не приводимый далее перечень совершенно неверифицируемых и малоизвестных имён карельских поэтов с блёклыми, стёртыми цитатами из стихов, лишённых индивидуальной интонации. Оценка их Вишняковой полностью игнорирует существующий литературный контекст: автор, конечно, может мне возразить, что здесь стояла иная задача—выявить общие тенденции, однако с помощью подобных объективированных поисков типического можно «упаковать» любой продукт, представив его как образец поэзии. А главное—легко избежать разговора о недостатках, выдавая их за органичные особенности, ничего не критикуя, но всё объясняя. Статья начинает радовать, когда заходит речь о поэтах Вологодчины, действительно богатой поэтическими именами, что отмечает и сама Вишнякова, говоря о «наиболее громком звучании» отдельных авторов—Наты Сучковой, Леты Югай, Антона Чёрного, Марии Марковой…

Интересна статья профессора Литературного института, доктора филологических наук Льва Скворцова «По страницам массовой печати»: на этот раз предметом полемики стала известная некрасовская цитата про «Гоголя и милорда глупого». Оказывается, речь в ней идёт о портретах, а вовсе не о книгах, что явствует из самого текста поэмы: «*Вот вам бы их портретики / Повесить в ваших горенках, / Их книги прочитать*». Скворцов подробно исследует историю хождения и искажения цитаты, а также строки Пушкина про «гений чистой красоты», привлекая для этого примеры из периодических изданий.

Заслуживает внимания и статья Екатерины Ратниковой «Стихотворение с большой буквы», ставшая шагом вперёд в творчестве юной критикессы. Ратникова заметно выросла со времён предыдущих публикаций, однако главный недостаток остался: дубовая максималистическая безапелляционность и поверхностность суждений, несмотря на старательность и попытку скрупулёзного анализа. Фразы, вбитые намертво, как гвозди, в советско-дидактический стиль, мешают восприятию текста. «*…Исследователи неизбежно делятся на два «лагеря»: предметом рассмотрения одних становятся уже созданные стихи, которые можно скрупулёзно разложить на рифмы, ритм, размер, количество строк и т. д.; другие же интересуются психологическими и сверхъестественными причинами вдохновения, доказывая свою точку зрения на разных примерах и с разной степенью убедительности…*» Хочется спросить: как же быть с теми, кого в равной степени интересуют и проблемы версификации, и метафизика поэзии? Ведь они связаны неразрывным единством—сама стихотворная организация речи предназначена для обращения к Провиденциальному собеседнику. И не смешивает ли автор здесь психологию, философию и эзотерику?.. «*Внешние (но только внешние) обстоятельства жизни в период создания именно таких стихов могут быть самыми разными—они на результат творчества не влияют*», «*И любовь взаимная никогда не мешала им творить…*», «*Важнейший критерий, по которому можно судить, состоялось данное стихотворение или нет,—читательская реакция…*». Опять же возражу, что многие талантливые стихи выпадают из структур читательского восприятия, и жест искусства остаётся жестом искусства, будучи самоценен вне читательской реакции—хотя бы и никем не прочитанный. Улыбку вызывают и высказывания вроде: «*В итоге в большинстве случаев поэт, постоянно шлифующий свои тексты, достигает гораздо больших высот, чем тот, который этого не делает*». Попытки сравнить стихотворение с обтёсываемым изделием и выработать рецепты для его изготовления отдают схематизацией: кажется, что автор и сам понимает это, спохватываясь («*У всех по-разному*», «*Всё очень индивидуально*»)—и затем опять скатываясь в русло сомнительных схем.

В номере также интересны статьи Александра Хрулёва о Басё, Натальи Ковтун—о героях рассказов Шукшина, Владимира Козаровецкого и Евгения Никольского—о Шекспире, Александры Спаль—о Льве Толстом, Александра Дегтярёва—о Твардовском, Владимира Козаровецкого—о Шекспире, а также публикация Евгения Никитина к 130-летию Адельберта фон Шамиссо с переводами Никитина же.

Когда писался этот обзор, стало известно об уходе Максима Лаврентьева с поста главного редактора «Литучёбы», поэтому выход следующих номеров—под вопросом. Лаврентьев—настоящий подвижник литературы, долгое время практически в одиночку нёс на себе бремя тягот, связанных с журналом. Будет ли журнал таким же качественным при новом главреде и будет ли выходить вообще? Пожелаем «Литучёбе» скорейшего возвращения на литературное поле и двинемся дальше.

«Знамя»:
как сварено стекло?

Подборка Бахыта Кенжеева, которой открывается мартовский номер «Знамени», называется «Варить

стекло». Это название соответствует духу стихов, которые, будучи сделаны словно с усилием, демонстрируют, прежде всего, безупречное мастерство, позволяющее жонглировать образами и растить поэзию из любого сора. Пустота, ощущаемая лирическим героем в настоящем, понуждает цепляться за случайные детали и строить на них стихотворение, зачастую мозаичное:

вымолвишь ты. И я кивну, потому что
мы так долго отлынивали от длины жизни, от её кривых линий,
что дождались часа, когда зрачку ничего не нужно,
кроме луча—пыльно-зелёного, словно лист полыни.

Однако благодаря правоте звука и интонации целое оставляет впечатление убедительно сказанного. Пустота же провоцирует и на заглядывание в потусторонние измерения: так, одно из стихотворений называется «Что же настанет, когда всё пройдёт…». Зачастую в стихах мелькает отголосок Бродского, выраженный в многословном говорении—попыткой «вынырнуть» из этого отголоска служат упоминания самого Бродского, подчёркивающие преемственность. Так, начало одного из стихотворений аллюзирует к хрестоматийному «Я входил вместо дикого зверя в клетку…»:

Я видал в присмиревшей Грузии, как кепкой-аэродромом щеголял кинто,
я гулял с мокрощёлкой по улице Бродского под советским дождём, сухим,
как ночное кьянти в оплетённой соломой бутыли. Сказано: если кто
будет тайно крещён домработницей и получит имя Осоавиахим…

Роман Юрия Буйда «Синяя кровь» стирает границу между остросюжетной беллетристикой и серьёзным произведением: благодаря динамичному сюжету читается с интересом. В романе есть претензия на детективную интригу, но метафора «синей крови»—скорее приманка для разговора о серьёзных вещах: «*…в жилах настоящего художника, будь то писатель, палач или столяр, обязательно должна быть хотя бы капля ледяной синей крови: “Горячая красная кровь кружит голову, порождает образы и идеи, а иногда доводит до безумия. Синяя же кровь—это мастерство, это выдержка, это расчёт, это то, что заставляет художника критически взглянуть на его создание, убрать лишнее и добавить необходимое. Синяя кровь—это Страшный суд художника над собой. Мало научиться писать—надо научиться зачёркивать. Вдохновение без мастерства—ничто. Это, наконец, то, что даёт художнику власть над зрителем или читателем. Нужно знать, куда зрителя ударить, чтобы по-настоящему ранить, но не убить. Но синяя кровь—холодная кровь, это не только дар, но и проклятие… потому что toute maîtrise jette le froid… всякое мастерство леденит…*»

Символично и название подборки Григория Кружкова «Достигший моря»: лирический герой, приблизившийся к некоему пределу («потолок» мастерства и опыта чувствуется и в авторе, что напрямую связано с его возрастом), подводит некий итог пройденному. Мотив времени—основополагающий; в поэтическом мире удаётся то, что невозможно в реальном,—например, «*лежать покорно / в долине под плавным изгибом дёрна, / как Шляпа, проглоченная Удавом*», и даже выронить «часики», которые «одни лишь виноваты» (что вызывает аллюзию к рассказу Тургенева «Часы», где часы, подаренные герою злодеем-отчимом, служили виной остановке времени, и от них невозможно было избавиться). Подборка Кружкова вообще отличается аллюзивностью: так, стихотворение «Стихи мои, клочки, плоды безделья!» с эпиграфом из Тарковского («Стихи мои, птенцы, наследники…») отсылает ещё раньше—к Пастернаку («Стихи мои, бегом, бегом…»).

Темой рассказа Всеволода Бенигсена стало предназначение. В центре повествования—судьба частного человека, которого смерть отца—«*последняя преграда между ним и вечностью*»—заставляет задуматься о смысле бытия. Рефлексия героя, выражающаяся в беспокойно-хаотичных, почти шукшинских размышлениях, контрастирует с нелепыми телеэкранными диалогами, с «непрошибаемым спокойствием» жены. Сюжетный ход—показать героя-«чудика» в окружении злых и непонимающих обывателей—в общем-то, после Шукшина довольно заезжен. Не отстаёт от Бенигсена и Даниэль Орлов, написавший рассказ «Счастливая жизнь победителя» в традициях современной рефлексивной прозы. Размышления героя-индивидуалиста, ощущение себя чужим—всё это не даёт приращения смысла и жанра, но читается легко и интересно: в рассказе найдёт себя если не каждый, то каждый второй точно. Сочинение Орлова—как тёплый свитер, в который заворачивался 100 раз: открытий нет, зато взамен дарится старое и родное ощущение уюта.

А настоящий подарок для читателей—обширная стихотворная подборка Юлии Архангельской, ранее никогда не публиковавшейся в журнальной периодике. Чрезвычайная концентрация лирической прозрачности с почти акмеистическим возвращением словам их первоначальных значений, классическая, ласкающая зрачок строфика, исповедальность интонации… Читаешь эти стихи—как будто набираешь в пригоршни прозрачной ключевой воды. При лаконизме каждого отдельного стихотворения—ощущение полной высказанности. Поздравляю с этой удачей и саму Архангельскую, и открывший её журнал «Знамя».

Мои слова гремят по льду,
плевать! я их не собираю,
я не умею жить в аду,
я от печали умираю,
пожалуйста, скажи мне: стой,
скажи мне: дурочка, не падай;
какой-нибудь совсем простой,
смешною глупостью порадуй…
моя больная голова
так хочет снова быть весёлой,
ты видишь—это не слова,
а только ужас, ужас голый.

Резко диссонирует с этой чистотой и исповедальностью рассказ «Горбунок» Равиля Бухараева

о жизни советских барачных жителей со всеми составляющими похмельно-депрессивного фона, свойственного современной прозе: сцены выпивки, поиск денег на опохмелку, противопоставление местного «пролетариата» и «мещан, обживающихся на буржуйский манер…».

Вместе с тем надо понимать, что такое изображение событий — определённая условность: за страницами рассказа — целая барачная эпоха, которая придаёт тексту сказовость и отголоски которой вызовут узнавание у обитателей той поры.

Из поэтов в номере — ещё и 25-летний Виктор Цатрян. Подборка далека от удачи: при несомненной одарённости автора кажется, что у него отсутствует ощущение стихотворения как единого художественного целого. Из-за этого создаётся впечатление многословия, балансирования на грани прозы и художественно не преобразованной, хотя и живой разговорной речи.

…идёшь, идёшь, спотыкаясь, идёшь, спотыкаешься,
и вдруг хитрец великий дверь приоткрывает, чтоб ты увидел…
А бывает по-другому, когда все те пинки, толчки, подножки,
всё это валится на тебя разом: пешеходная женщина бьёт сына по щеке так крепко,
что ты слышишь сквозь шум дороги и стёкла машины хлопок и даже кожей своей
ощущаешь, как припекает мальчишескую щёку, и тут же врезаешься
в затормозивший резко пикап впереди, и начинается проливной, с крепкой…

Мемуарный раздел посвящён воспоминаниям «старого пессимиста» Игоря Голомштока о Синявских и в целом о ситуации вокруг диссидентов советской поры. Окончание, как обещано, следует. Крайне интересен «Конференц-зал», где опубликованы выступления лауреатов «Знамени», награждённых по итогам 2010 года. Выступления разношёрстны — от полноценного эссе о сущности поэзии и её индивидуальном понимании (Максим Амелин) до кратких рассыпательств в благодарности (Михаил Шишкин), длинного стихотворного «литературного кредо» (Тимур Кибиров), ещё более длинного рассказа о том, как нынешний лауреат (Анатолий Курчаткин) в молодости открывал двери столичных журналов, и рассуждений о различии «широкого» и «профессионального» читателя (Ольга Славникова). В разделе «Публицистика» Григорий Тульчинский продолжает тему агрессивного общества — этой статье тематически предшествовала недавняя публикация Александра Тарасова в «Октябре» («Свастика на стадионе. Субкультура футбольных фанатов и правый радикализм», № 2, 2011).

Монолог Натальи Ивановой «Искусство при свете искренности» посвящён взаимосвязи социальности и «литературного вещества» в тексте. Иванова ставит вопрос, может ли современное искусство быть искренним и при этом не потерять своих художественных достоинств. Готового ответа нет, да и быть его не может, однако автор признаётся, что мечтает об их взаимодополнении «в одном флаконе» — впрочем, с некоторой степенью утопичности («мечтать не вредно»), приводя примеры писателей, у которых «всё в порядке и с искренностью, и с искусством прозы» (Юрий Трифонов, Солженицын с рассказом «Один день Ивана Денисовича», который Иванова называет «ювелирной работой»).

Крайне актуальна статья Ольги Бугославской о феномене «селебритиз». «*На том уровне популярности, на котором находятся celebrities, а это максимальный уровень и максимальный охват, происходит практически полное растворение смыслов и различий. При более скромной известности человек в восприятии окружающих сохраняет профессиональную принадлежность и другие индивидуальные свойства, выходящие за рамки искусственного имиджа. Но, прорвавшись в celebrities, тот же самый человек превращается прежде всего в „известное лицо“*», — так объясняет автор это явление, справедливо упрекая его в размывании представлений о профессионализме. Бугославская, рассуждение которой изобилует конкретными примерами, видит, скорее, положительную тенденцию в сближении элитарного и массового искусства, и с ней сложно не согласиться: в условиях во многом печальной действительности приходится выбирать меньшее из зол. «*Если появление новых изданий будет приводить к повышению писательских гонораров и расширению круга читателей за счёт заинтересованных людей, которых у нас при всех бедах существенно больше, чем предполагают тиражи толстых журналов, то и слава Богу! Только бы не дошло до того, что Михаил Шишкин будет вручать премию „Золотой граммофон“ или „Бренд года“. Чем чёрт не шутит. Пел же Хворостовский с Крутым…*» — иронично заканчивает Бугославская.

В «Наблюдателе» — рецензии Елены Сафроновой (Юрий Кублановский. «Перекличка»), Анны Кузнецовой (Александр Иличевский. «Перс»), Александра Уланова (Андрей Сен-Сеньков. «Бог, страдающий астрофилией»), Ирины Муравьёвой (три романа Владимира Сотникова — «Покров», «Пролитая вода» и «Фотограф»), вашего покорного слуги (Дмитрий Веденяпин. «Что значит луч»), Лидии Довлеткиреевой («Десять кубинских историй. Лучшие рассказы кубинских писателей»), Александра Люсого («Антиподы: Второй австралийский фестиваль русской традиционной и экспериментальной литературы»), Владимира Кавторина (Яков Гордин. «Герои поражений: Исторические эссе, проза»), Льва Оборина (Наталья Громова. «Распад: Судьба советского критика в 40–50-е годы»), Леонида Фишмана (Л. А. Гурский. «Союз писателей Атлантиды: Литературные фельетоны»). А в рубрике «Телеспектакль» Э. Мороз рассказывает о телевизионных спектаклях по чеховскому «Дяде Ване», показанных в постановках разных театров.

«Арт»:
патриотизм без дубов и берёзок

В Сыктывкаре вышел первый номер журнала «Арт» («Лад») за 2011 год. Учитывая то, что я писал о подборке поэтов из Сыктывкара в «Нашем современнике» («День и ночь» № 1, 2011), было удивительно встретить издающийся там познавательный и, что

называется, культурно-вменяемый литературный журнал, позиционирующий себя как «литературно-публицистический, историко-культурологический и художественный».

В журнале чередуются как тексты, имеющие значение для понимания жизни и культуры Республики Коми, так и те, которые интересны вне зависимости от географической находимости. Номер открывается «региональным» материалом о Прометее Чисталёве — одном из самых значительных коми-композиторов, 90-летие которого совпало с 90-летием Республики Коми. В публикацию входит переписка с фольклористом Игнатием Земцовским и отзыв на книгу о коми народных музыкальных инструментах, а также интервью с вдовой композитора — Прасковьей Чисталёвой. Материалы регионального характера представлены также «Изобразительной философией» Валерии Осташевой — преподавателя интерната для глухонемых детей — с иллюстрациями и заметками о её творчестве. В конце журнала — рецензии на новые коми-книги.

Гораздо интереснее материалы, имеющие не только «местное» значение. В разделе «Проза» — рассказы сыктывкарца Владимира Сумарокова, пишущего «Правду о пакте Молотова — Риббентропа». Автор в сниженно-разговорном стиле описывает взаимоотношения Сталина, Риббентропа и Ахматовой. Великая поэтесса представлена в рассказе роковой ведьмой-покорительницей: отшивает увязавшихся проводить её до дома Молотова (тогда «носившего скромную фамилию Скрябин») и Риббентропа, гаркает на Молотова в очереди за помидорами: «*Нелепые ухаживания Скрябина и Риббентропа поначалу её забавляли. Но, узнав, что однажды влюблённые соперники крепко подрались… Анна не на шутку рассердилась: — Мальчишки! — кричала она. — Подите вон! А не то пожалуюсь мужу… — Анин супруг был крут. Он только что вернулся из Африки и привёз подаренное ему негусом копьё с кремневым наконечником… — В общем, Анна решительно прогнала молодых идиотов. Перестала принимать от них букеты и шампанское. Риббентроп обиделся, уехал из России, начал сильно пить, целовать малознакомых женщин, якшаться с подонками и в результате стал фашистом*». Где в рассказе правда, а где элементы исторической мистификации — виднее Сумарокову, выпускнику истфака Сыктывкарского государственного университета. Однако рассказ читается с интересом — что есть, то есть.

А самая интересная публикация — интервью доктора филологических наук Татьяны Снигирёвой с поэтом, лингвистом и литературоведом Юрием Казариным (они старые друзья). Материал является составной частью книги «Поводырь глагола», в которой научные выкладки и просто размышления Снигирёвой над стихами Казарина перемежаются разговором по душам (см. рецензию Константина Комарова на эту книгу в журнале «Урал» № 4, 2011). В итоге получился интересный синтетический жанр — монография-эссе-беседа, — воссоздающий личность Казарина наиболее полно, вплоть до конкретных биографических вех. Герой интервью с немалой степенью исповедальности вспоминает о школьных годах, упоминая дефект заикания, наложивший отпечаток на его творчество. Поэт признаётся, что самым ценным в себе считает внутреннее раздвоение, своё «органическое природное свойство»: «*Я его, конечно, прятал и прячу до сих пор. Поэтому и работаю преподавателем, поэтому и могу общаться с людьми, руковожу Союзом писателей — потому что я этого внутреннего человека скрываю от всех, буквально от всех, даже от себя…*» Делится поэт и своими взглядами на преподавательскую работу, деятельность толстых журналов и многое другое, вспоминает о знаковых встречах своей жизни. Интервью перемежается вставками — филологическим анализом творчества Казарина в контексте его жизни. Минимальная литературная обработка казаринского текста (с сохранением пауз хезитации, инверсий и других особенностей разговорной речи) помогает ощущению присутствия при живой беседе. От этого перемежения складывается впечатление полифонии голосов: эмоциональная, живая речь Казарина, похожая на исповедь, чередуется с короткими вопросами Снигирёвой и её же исследовательскими вставками. В заключение представлена обширная подборка Казарина «Любовью время назову».

Стихи Казарина — поиск и нахождение гармонии в заведомо дисгармоничном пространстве. Размеры поэта традиционны, ровны — но, несмотря на внешнюю сдержанность интонации, от чтения этих стихов тревожно. Привычный топос — осенний сад, дом — становится выходом в более широкое, метафизическое пространство: «*азиатский дом с воротами в Европу*», «*певчая женщина, моющая окно*» и тем олицетворённая с птицей, а квартира наделена эпитетом «*незнакомая*» именно потому, что названа «небо моё». «*Выброситься в окно*» значит «*улететь на юг*»: в такой лирической ситуации основополагающим становится мотив родства всего всему: ничто, уходя, не заканчивается, но перерастает в продолжение себя.

Насмотрюсь на тебя про запас:
всё, что музыкой, светом и взглядом
из Вселенной доходит до нас,
продолжается здесь снегопадом.

Или воздухом, или дождём,
или плачем, печалью и речью,
где пылает оконный проём
окоёму навстречу.

Раздел «Штудии: отечественная литература сегодня» открывается статьёй уже упоминаемой в обзоре Аллы Большаковой. Представитель патриотического направления в литературе исследует феномен нынешнего реализма, который упрекает за показ отрицательных сторон действительности. «*Лично мне представляется, что подлинного художника без идеологии нет. Сама тематика, отбор фактов, их подача, философское наполнение художественного приёма, символика деталей, то, какие ценности ставятся во главу угла, — всё это идеология, то есть определённая иерархическая*

система ценностей, неотделимая в художественном произведении от его эстетики»,—пишет Большакова. С патриотической направленностью связан и выбор фамилий в статье: Астафьев, Личутин, Лидия Сычёва, Сергей Щербаков. То, что разговор о литературном процессе абсолютно не касается поэзии,—уже общее место, которое и замечать-то в который раз утомительно: её присутствие в литературе приходится специально оговаривать. Несмотря на некоторую групповую узость подхода, сложно не согласиться с заключительным выводом статьи о том, что литературный процесс в 2000-х претерпел большие изменения, развернувшись к действительности, *«осваиваемой самыми разными средствами»*. *«И думается, именно переходностью своей нынешний литературный момент особо интересен»*,—заключает Большакова.

В следующей статье филолог, преподаватель русского языка и литературы Шамиль Умеров рассуждает на вечную тему—взаимоотношения власти и литературы, давая характеристики современной социально-культурной ситуации. Тон статьи я бы назвал справедливо пессимистическим. Автор, подводя печальную статистику, аргументированно фиксирует моменты сегодняшнего кризиса—уход культуры, застывшее состояние языка, завоевание литературы Интернетом—и, словно витязь на перепутье, предлагает три выхода из ситуации: глубокую реконструкцию существующего языка; обращение к русской классике, через которую нужно *«занять такую социальную, нравственную и художественную высоту, при которой людям вновь понадобится слово писателя»* (Умеров приводит слова Андрея Рудалёва, возлагающего надежды на новый реализм); «визуализацию» и «шоуцентризм» (впрочем, утопичность последнего варианта автор и сам понимает, предупреждая об опасности превращения литературы в *«доходный бизнес шоумахинаторов»*). *«По какому бы пути ни пошла отечественная литература в новейшее время, от её обретений и потерь, от концентрации или деформации её власти зависит даже не столько её собственная судьба, сколько судьба всей оплодотворявшейся и одухотворявшейся ею русской национальной культуры»*,—справедливо подводит итог сказанному филолог.

Тема «падения нравов» продолжается и в заметках о современной прозе Вячеслава Саватеева. Критик ищет причины упадка современной культурной ситуации в явно русофобском, по его мнению, творчестве постмодерниста Венедикта Ерофеева—и от него переходит к критическому анализу произведений эмигранта Василия Аксёнова, оппозиционного советской власти, говоря о тотальном развенчании последнего критиками 90-х (в пример приводятся высказывания Давида Самойлова, Андрея Василевского). Патриотическая направленность статей в журнале, таким образом, становится всё более явной; слава Богу, что она далека и от националистической парадигмы «Москвы», и от дубов и берёзок антипоэзии «Нашего современника» (в котором, впрочем, места современной литературе не находится вообще). Журнал «Арт» показывает, что защищать русскую культуру можно вполне аргументированно, пусть и слегка однобоко; в эту канву укладывается и высказывание Юрия Казарина, назвавшего «Знамя» *«национальным журналом людей, которые живут то в Америке, то в России»*. Что ж, в качестве констатации факта относительно политики «Знамени»—может, это и так, однако хотелось бы обоснования этого камешка в огород журнала. В конце концов, и эмигрантскую литературу стоит поддерживать—причины, по которым оставляется страна, бывают разные [историческая и социальная подоплёка жизни русских в Германии, к примеру, подробно описана современным прозаиком Дмитрием Вачединым в романе «Снежные немцы» (изд-во «Прозаик», 2010)].

Раздел «Штудии» завершается интереснейшей статьёй Владимира Шапошникова, в которой на примерах произведений толстых журналов последних лет анализируются основные речевые стороны современной литературы: просторечия, диалектизмы, вещность описаний, интерес к частной жизни и внешней стороне быта.

Что видно на «45-й параллели»?

Современный читатель, вне зависимости от возраста, образования, принадлежности к тому или иному социальному слою и так далее, всё чаще «уходит» от книжных магазинов и киосков печати по направлению к сетевым литературным источникам. Причин данного явления много, но главной, на мой взгляд, является возможность для жаждущего духовной пищи потребителя получить «всё и сразу» «здесь и сейчас». Однако интернетовских альманахов много—и немногие из них выдерживают по-настоящему качественный уровень.

К последним с уверенностью можно отнести поэтическое издание «45-я параллель», которое далеко не новичок в литературном пространстве. Не все знают, что бумажный вариант альманаха выходил довольно большим тиражом в Северо-Кавказском регионе (отсюда и название) с 1990 по 1994 годы, затем прекратил выпуск из-за финансовых сложностей. Сейчас возрождённый печатный орган, возглавляемый Сергеем Сутуловым-Катериничем, существует в сетевом пространстве, примерно раз в год позволяя себе издавать бумажную антологию лучших авторов. Нынешняя «Параллель» продолжает лучшие традиции своего «перестроечного» предшественника: печатать как уже сложившихся авторов, так и новичков. Вверху страницы—рубрика «Из первых рук», где размещаются новости вроде информации о дружественных изданиях: например, Фёдор Мальцев пишет о газете «Литературные известия», а Елена Рышкова—о конкурсе «Согласование времён». Проводятся и свои конкурсы внутри сайта.

Стоит поблагодарить «45-ю параллель» за напоминание и регулярную публикацию фактов о полузабытых или забываемых, в том числе покойных, поэтах. В ситуации вакуума любая апелляция к культурной памяти, пусть даже рассчитанная на небольшую читательскую аудиторию, как никогда ценна. Рубрика «Вольтеровское кресло»

существует ещё со времён старого альманаха и традиционно представляет достижения ярких мастеров российской поэзии: в ней уже печатались стихи Александра Межирова, Бориса Чичибабина, Арсения Тарковского и статьи о них. В апрельском номере представлено творчество Сергея Поделкова. Этот поэт, окончивший Литературный институт и долгие годы преподававший в нём, немного не дожил до 90 лет. Имя его отнюдь не громкое — но стихи говорят сами за себя.

С огромной бочкой датская палатка,
дым из трубы летит, касаясь шатко,
железное нутро раскалено от зноя.
Читаю Лермонтова — и над головою
полёт орла и быстрота касатки.

Читаю Лермонтова... Зэков лики
тасуются, как вещие улики,
как знаки в беззаконном мраке.
Красноубийцы — вот живые блики,
из глаз летят и огневеют крики.

Из современных авторов апрельских публикаций стоит выделить Владимира Строчкова — поэта признанного, постоянного автора «Знамени» и «Ариона». Как один из лидеров московского клуба «Поэзия», Строчков эстетически близок кругу метареалистов — его ироничному стилю свойственна перекличка пейзажей с технической реальностью, иногда аллюзирующей к хрестоматийному ерёменковскому «В густых металлургических лесах...»:

Тропинка, вдоль заво́дского забора
бредя, шлифует выпуклые корни,
бугристые, как старческие вены,
и вылезший меж ними из земли
толстенный кабель в мощной арматуре,
сам ставший частью корневой системы.

Что радует в интернет-изданиях — это возможность встретить интересные имена, которые, возможно, никогда не будут замечены столичными бумажными «гигантами». Вот Лера Мурашова: о себе пишет, что работает в компьютерной компании, друзья выпустили её книгу в качестве подарка ко дню рождения. Автор явно непрофессиональный, сочинительством занимающийся в качестве хобби, — но с большим потенциалом. Несмотря на некоторую книжность (множество культурных ассоциаций, в которых можно наблюдать и положительную сторону — образованность), Мурашовой удалось создать атмосферу одиночества квартирного характера, по-новому преподнести затёртый лирический сюжет — женщина в ожидании влюблённого. Определённо — нужна школа в виде, например, обучения на профессиональных литинститутских семинарах, которая поможет автору на пути к обретению собственного голоса.

Скажешь — сгину снегурочкой,
надо — стану Лаурой,
бестолковою дурочкой,
бессловесной натурой.

Иль рабыней смиренной
я на кухне, босая,
буду думать о бренном,
соль в кастрюли бросая.

Впрочем, и не всегда новые и не раскрученные авторы способны преподнести открытия. Много блёклых, ровных стихов без выраженной индивидуальной интонации, с преобладанием банальностей и штампов.

Обнимешь клятвенно и трепетно,
Творя пред Богом обещанья.
Любовь смиренная и вещая —
Залог небесного свиданья.
(Полина Аксёнова)

И таких текстов на сайте немало, что говорит о необходимости ещё более качественного отбора. Тут приходится решать извечный вопрос: стоит ли давать дорогу вроде бы не откровенным графоманам, авторам не без доли способностей, но ещё не сложившимся, и тем путать читателя в ориентирах? Внушать ли им иллюзию на успех подобными авансами — которые, возможно, подстегнут и дадут стимул писать, расти в творчестве? Или вводить различные рубрики, тем самым не уравнивая в правах *неплохие* и *очень хорошие* тексты? Приемлемым представляется последний вариант — редакторам сайта, конечно, стоило бы подумать над рубрикационными названиями.

Выпуск подготовила
Анна Никольская

Римма Алдонина

Собаки ходят босиком

Записка

Я написал записку Кате.
Она записку мне вернула,
Причём, совсем уже некстати,
Мои ошибки подчеркнула!
И смотрит на меня, не злюсь ли.
— Хо-хо! — ответил я с улыбкой.
И написал записку Люсе.
Она прощает все ошибки!

Собаку отдали
Другому хозяину.
И всё для собаки
Смешалось во мраке.
И дом не такой,
И хозяйка не та,
И мальчик не тот,
И в душе — пустота.

Два дня под кроватью
Собака сидела
И есть не решалась,
Хотя и хотела.
Шарахалась в угол
От каждой руки
И тихо скулила
Порой от тоски.

Тут я на полгода
Столицу покинул,
Вернулся и встретил
Знакомую псину.
За новой хозяйкой
Бежала вприпрыжку,
И в щёку лизнуть
Норовила мальчишку,
И с мордой весёлою
И беззаботной
Им палку и мяч
Приносила охотно.

Счастливый конец!
Только кажется мне,
Что в сердце собачьем,
В его глубине,
Тревоги живут
И никак не уйдут:
«А вдруг меня люди
Опять предадут?»

Улиткины именины

Улитка Галина
Справляет именины!
Из садов по всей округе
К ней ползут друзья-подруги.
Тётя Липа приползла
Двадцать первого числа,
А слизняк знакомый Вова —
Вечерком двадцать второго,
А ещё один сосед —
Двадцать третьего, в обед!
И уже в конце недели,
Гости все уже поели,
Через три примерно дня
Приползла ещё родня!
И обиделась на Галю:
— Что же нас не подождали?!

Между тем молва идёт:
Кто-то всё ещё ползёт!

Гну

Я видел антилопу *гну* —
И даже много, не одну.
Толпой бежали эти *гны*
И напылили, как слоны.
У водопоя много *гнув*
Стояло, головы нагнув.
А может, это много *гней?*
Ну как же их назвать верней?!

Собаки ходят босиком
Повсюду и всегда.
Собаки ходят босиком
В жару и в холода.
Они шагают босиком
По стёклам и гвоздям,
А люди гвозди и стекло
Бросают тут и там.

Со мною пёс один знаком,
Его зовут Сигнал,
Он лапу наколол гвоздём
И очень захромал.
Когда я лапу бинтовал,
Он мне махал хвостом,
Просил, чтоб я вам передал:
Он ходит босиком!

Дина Бурачевская

Игрушечное

Цунами

В комнату с воем ворвалось цунами!
Рушится мир, и повержено знамя…
Где мои башни?
Где мои троны?
Где мои ружья и к ружьям патроны?
Где акробат мой любимый безногий?
Нет поездов и железной дороги…
Что же случилось — скажите мне, братцы?

Просто бабуля решила прибраться…

Игрушечное

В стране твоей игрушечной
Команды к бою ждут.
Враги на выстрел пушечный
К тебе не подойдут.

Похожие, как братики,
Отвагою полны,
Построены солдатики
Игрушечной войны.

И закипела быстрая
Игрушек круговерть —
Игрушечные выстрелы,
Игрушечная смерть…

Живым он был вчера ещё,
Стреляя и рубя.
Он умер за товарища,
Он умер за тебя…

Свечу на подоконнике
Поставить поспеши
За вечный упокой его
Игрушечной души…

Уроки

Учить уроки — надо.
Учить уроки — важно.
Но вновь летят снаряды,
И гибнет танк бумажный…

Я трудным занят делом.
Мне не помогут книжки.
Я партизаном смелым
Ползу без передышки.

Свирепствует бомбёжка,
Врагов сметая подлых.
Передохну немножко
И вновь пойду на подвиг!

Звенит моя награда,
И день недаром прожит.
Уроки делать — надо.
Но Родина — дороже…

Зубное

Разболелся у меня
Зуб уже четыре дня!
Я от боли и испуга
Скорбно ползаю по кругу,
Трогаю скулу,
Жалобно скулю.

Но к зубастому врачу
Попадаться не хочу!
Ведь они, зубастые,
Сразу заграбастают
И утащат в кабинет —
Там от них спасенья нет!
И сверлом, и молотком,
Не жалея ни о ком,
Сверлят и стучат —
Взгляд как у волчат…

Вот бы был среди врачей,
Среди злобных палачей,
Добрый доктор, не зубастый,
А немножко улыбастый,
Белый и пушистый,
Мягкий и душистый!
Он бы с ловкостью факира
Ставил пломбы из пломбира,
Сливками с клубникою
Боль лечил бы дикую…

Так я в облаках парила —
И себя уговорила,
И сама пришла к врачу…

Я к нему ещё хочу!

Пришельцы

Когда вечерами
родителей нет,
нас тайно тиранят
пришельцы с планет.

Качают на крыше
антеннами в такт
и с теми, кто ниже,
вступают в контакт.

Ломают игрушки,
стреляют в бойцов.
Швыряют в старушку
сырое яйцо!

Потом поедают
конфеты и сыр
и вновь покидают
доверчивый мир…

Игорь Лагерев

Домовой и компания

Домовой

За печкой, в закутке, куда хозяйка
Не доберётся веником и тряпкой,
Куда пролезть своей когтистой лапой
Не может Кот, разбойник и злодей,
В давным-давно забытом кем-то тапке
Жил Домовой Заботин Ерофей.
Вход в тапок прикрывала паутина,
Паук Плетнёв её по дружбе сплёл.
У дырочки-окна, внутри, картина,
Диван старинный, стул да крепкий стол.
А на столе—краса и гордость дома,
Там самовар красивый и большой!
Нельзя без самовара Домовому.
Без самовара что за Домовой?
Днём Ерофей садится на диване,
Читает «Вестник Дивной Стороны»,
Потом идёт к Грызуниной Мышане—
Заботин и Грызунина дружны.
Вернётся—наколдует булок к чаю,
Варенья. Отдохнёт часов до двух,
А к трём примерно к чаю прилетает
Любитель поболтать Жужжалин Мух.
Расскажет Мух про всё, что за день было:
Не пробралась ли Злыдня за порог,
Что на обед хозяйка наварила,
Не выпал ли из печки уголёк.
Глубокой ночью приплывает Дрёма,
Уляжется тихонько у стола,
А это значит—время Домовому
Приняться за волшебные дела.
Он хворостинкой прочь прогонит Злыдню,
Закроет на замок Плохие Сны,
Почистит звёзды, те, что плохо видно,—
Неправильно, коль звёзды не видны.
Поправит ребятишкам одеяла…
Дом спит. В нём до утра царит покой.
И будет так всегда. Ведь в тапке старом
Живёт за печкой добрый
Домовой.

Паук Плетнёв

Мой дед—Плетнёв.
Отец—Плетнёв.
Я—старший из детей.
Плету я сети много днёв…
Ой, извините, дней.

Могу на спор
Сплести ковёр.
Но вы, я не совру,
Поскольку добр (или добёр?),
Прилипнете к ковру!

Дрёма

Прозрачней ручейка, как воздух невесома,
В упор не разглядеть, не ухватить рукой,—
Круги у потолка описывает Дрёма,
Желая с высоты напасть на нас с тобой.
И только ты прилёг, пусть на минуту даже,
Она тотчас плывёт. Присядет на плечо—
И песенку споёт, и сказочку расскажет…
Когда ты спишь, дружок, ей очень хорошо.
У Дрёмы есть мешок с полезными вещами:
В мешке лежит бутыль, в которой сонный сок,
Стеклянный пузырёк с микстурой для зеванья,
Чтоб сладко ты сопел—особый порошок.
На помощь ей всегда, когда настанет вечер,
Приходит Крепкий Сон, а значит, спать пора…
Их нам не одолеть… Они сильней, конечно…
Уаааааа…
Как следует зевни и сдайся. До утра.

Злыдня

На крылечке у дверей сядет сиднем
И сидит себе, почти незаметная,
Неприятная на вид злюка-Злыдня.
Я вам в дом её пускать не советую.
Невоспитанна она—сразу видно.
Просто, я вам сообщу, безобразница!
Утром влезет в зеркала и обидно
Из зеркал она на нас утром дразнится!
Чашку, с чаем до краёв, приподнимем—
Сразу под руку толкнёт, без сомнения…
Что тут скажешь! Нехорошая Злыдня!
И плохие у неё развлечения…
Оттого-то, оттого, потому-то
Ищет Злыдню Домовой наш старательно.
Как найдёт, тогда не ждёт ни минуты:
Хворостинкой гонит прочь обязательно.

Мышаня Грызунина

Проснулась на закате,
А может, на заре,
Грызунина Мышаня
В трёхкомнатной норе.
Умылась для начала,
Почистила усы
И съела ломтик сала
И ломтик колбасы.
Потом за пианино
Присела у окна.
Из песенок мышиных
Прекрасней всех одна:
Звенело «пи» стократно
В трёхкомнатной норе!
Возможно, на закате,
А может, на заре…

Татьяна Сапрыкина

Укрдыч и последняя капля

Творожок

Творожок купили и забыли — поставили в самый дальний угол. Творожок стоял в холодильнике долго-долго. Очень долго. А между тем там, в баночке, что-то происходило.

Однажды девочка полезла за завтраком и нашла творожок. Поставила она баночку на стол и стала открывать. А из баночки как выскочит что-то жёлтое, с глазками-изюминками, как вцепится девочке в волосы. А глазки злые-презлые: зачем забыли творожок, зачем долго не открывали?!

Стала девочка кричать и бегать по дому. Наконец догадалась сунуть голову под кран, и вода смыла творожок куда положено.

С тех пор боится девочка холодильников — за три метра их стороной обходит. Это она ещё не нашла в другом дальнем углу забытый колбасный хвостик!

Куумба

Если хочешь увидеть Куумбу, нужно встать спиной к чему-нибудь красному и перед этим с минуту обязательно смотреть на солнце. Затем нужно сложить ладошки перед грудью лодочкой и быстро повернуться вокруг себя семь раз. И потом приоткрыть глаза. И тогда в просвет между ресницами можно увидеть, как Куумба бежит от одного края глаза до другого — яркая такая точка света. Если повезёт, она остановится, станет умываться или ещё что-нибудь вроде того. И уж совсем редкий случай — поманит лапкой или чихнёт.

Куумба живёт за ушами у счастливых людей, там она спит, играет, занимается своими делами. Так что, выходит, в том, что ты видишь Куумбу, ничего хорошего нет, ведь счастливые люди про неё даже не знают.

Малина

На краю света растёт малина, Малина как малина — царапается, с жуками. Сладкой мало — так, попадается. Но оббирают… Хоть с бидончиком приходи, хоть с чем — ничего не положишь, всё себе. Придёт кто к краю света, посмотрит, попробует — и пошёл, пошёл повдоль. А край света — да ну его, кто его видел.

Баушка

Потерялась у нас баушка. На Пасху. Пошла в церковь — и нет её. Искали мы баушку везде, а она сидит в парке на лавочке и голубям кулич крошит. Уже почти весь скрошила. Мы говорим:

— Баушка! Чего мы-то есть будем? А?

А она подаёт нам крошки на ладошке, как голубям. Смешно!

Поели мы крошек, легко стало, что мы баушку нашли, и полетели мы. Вон внизу — и церковь, и дом наш, и парк со скамейкой, и мы сами — взяли баушку нашу и пошли. Домой. Чай пить.

Укрдыч и последняя капля

— Бабушка, смотри-ка. Вот тебе луна.

Бабушка тут же, на столе, раскатывает тесто для печенья.

Круглая булочка плывёт, покачивая боками, над тарелкой.

— Чудо какое. Луна садится мне на язык. Э-э-э-э.

Рот открывается широко. Половина булочки откусывается.

— И стал месяц. А тут, — крошки сыплются в тарелку с картофельным пюре и кусочками мяса, — тут звёзды. Звездопад.

Бабушка уже раскатала тесто и теперь вырезает формочкой жизнерадостные сердечки.

Уже почти вся булка скрошена в тарелку.

— Сильный такой звездопад. А на болоте, — картофельное пюре посредством ложки начинает вращаться, — всё волнуется. Туман поднимается.

Ложка с пюре едет вверх, и шмоть пюре плюхается в тарелку.

Бабушка глядит укоризненно.

Потом стучит формочкой о край стола.

— Если ты не прекратишь баловаться с едой и не станешь есть как следует, будет тебе *Укрдыч!*

Ложка с пюре настороженно отправляется в рот.

— Укрдыч? Земляные кочки, — мясо катается по тарелке туда-сюда, — они тоже двигаются. А у него зубы?

— Нет.

— У него рога?

— Нет.

Пюре как-то потихоньку, за размышлением, съедается.

Однако мясо продолжает скитаться.

Барашек

Матюша стащил носочки, скомкал их вместе, забрав под резинку, и зашвырнул под кровать — быстренько, пока мама не видит. Носочки покатились-покатились — белые с красной каёмочкой. Получилась фигурка, фестончатая такая: глазки, ротик, всё улыбается.

Матюша песенку сам себе спел, уснул. Под кроватью темно — где кончается коврик, там начинаются пыльные угодья. Пыль катается, с боку на бок переваливается — комочки, шарики. Недовольна пыль, что новое под кровать пришло.

— Ш-ш-ш-ш.

Кусочек шоколада лежит надкусанный. Книжка раскрытая.

Два барашка, два барашка
Играли на лужайке.
Два барашка, два барашка
Сбежали от хозяйки.

Матюша вздохнул во сне, перевернулся.

На картинке—два барашка на зелёной траве: веселятся, скачут—дальше, дальше в лес. Носочки оглядели себя, морщинки поправили, тут надулись, там подобрались—вылитый барашек получился, даже лучше, чем в книжке. Барааашек. Ещё один.

—Эй!—двое на картинке подняли головы.—Мы эту сказку сто раз слышали. Не ходили бы вы от дома—не к добру это.

А барашки не слушаются—смеются. Побежали в лес, только хвостики мелькают.

Носочки перевернули страницу, а там рысь—огромная, на полстраницы, глазищи—во! Рыжие. На дереве сидит, усами поводит, ждёт, когда барашки прибегут.

А вот и они—показались, поют, резвятся.

—Нет,—покачали головой носочки,—так не пойдёт.

И, пока рысь барашков не увидела:

—Эй, зверь,—закричали,—смотри, какой я барашек! Жирный, свежий, ну-ка кусни меня!

Рысь глазищами зырк-зырк—и вцепилась в носочки зубами: тянет-потянет, рычит—чуть с ветки не упала.

Барашки, как увидели такое, быстренько убежали восвояси. Тянули носочки рысь, тянули: кто кого? Вот-вот вытащат из книжки. Подождали, пока барашки убежали,—и сунули рыси в пасть шоколадку надкусанную и пыльную—пусть кушает!

Уф! Устали носочки, все в шоколаде и пыли вывозились. Пока зверь жуёт и отфыркивается, скорее страницу перевернули. А там хозяйка барашков встречает, ужином угощает, ругает, что долго гуляли.

Ночь настала, ночь настала,
Два барашка загрустили
И в обратный путь к хозяйке
Поскорее припустили.

Обрадовались носочки, что всё так хорошо вышло—и барашки целы, и шоколадка пригодилась. Одна пыль недовольна—летает по углам, шепчется. А скоро и Матюша проснулся, полдничать попросил.

Когда они гулять собирались, мама из-под кровати носочки достала, руками всплеснула и в стирку сдала. В книжке от шоколада страницу очистила—не всё зверь съесть успел—и книжку на полку поставила. А пыль мокрой тряпкой собрала и куда следует переправила—только надолго ли? Завтра новая народится.

Вертелись носочки в стиральной машине и напевали, довольные:

Два барашка, два барашка
Гуляли на лужайке,
Два барашка, два барашка
Сбежали от хозяйки.

А рядом вертелась Матюшина рубашка. Пуговицы—ух—огромные, что глазищи у рыси. Рыжие. Ам! Съела барашка!

Олег Бундур

Не верится

Не выспался

Если нужно просыпаться—
Я легко, вопросов нет!
Только буду натыкаться
На диван и на буфет,

Щёткой я почищу уши,
Мылом я полезу в нос…
Дорогая мама, слушай,
Вот теперь возник вопрос:

Нужен я тебе спросонку?
Что с меня, такого, взять?
Так зачем будить ребёнка?
Дайте мальчику поспать!

Причина

Есть всему всегда причина,
Или повод, иль мотив…
Скачет весело мужчина
Под весёленький мотив.

Он его без слов мурлычет,
Он, видать, доволен всем.
А мужчина—симпатичен!
А мужчине—целых семь!

Только он проснулся утром—
Старше стал на целый год,
Вот и скачет потому-то,
Потому-то и поёт!

Не верится

А я почему-то не верю,
Что папа сто лет назад
Не мог открывать эти двери,
Ходил по утрам в детский сад.

Не знал ещё маму нашу
И пальцами нос утирал,
Терпеть не мог манную кашу
И, чтобы не есть, удирал,

Что лезло в глаза ему мыло
И он не в свои лез дела…
А папа:—Да всё так и было,
И мама сопливой была!

Сергей Силин

Самая любимая

Доморощенные мужички

Гуляла однажды Марфуша на улице и увидела старушку, которая продавала семена овощей. Да не простых — скороспелых. И в десять раз дешевле, чем на рынке. Марфуша и купила пакетик.

Пришла домой, рассадила семена в большой ящик. Полила из чайника.

И пяти минут не прошло, как стали в ящике прорастать кепки да шапки. А ещё через пять минут под колпаками показались головы. А потом туловища в телогрейках и ноги в кирзовых сапогах и ботинках. В руках мужички инструмент держат. Оказывается, продала ей старушка семена доморощенных мужичков.

Но долго переживать не пришлось. Мужички из земли лезут, есть просят:

— Хозяйка, квашеной капусты заказываем!

— Огурцов!

— Суп из крапивы!

На скорую руку приготовила Марфуша манной каши. Накормила мужичков, а те ещё сильнее давай ругаться:

— Это что за еда для работников?

— Где брёвна с досками?

— Ты зачем нас вырастила?

Показала Марфуша мужичкам поварёшку:

— Сейчас приласкаю куда получится, как придётся! Это что за воспитание!

Но доморощенные мужички только сильнее расшумелись:

— Она нам угрожает!

— От горшка два вершка, а туда же!

— А вот как мы президенту письмо напишем!

— Ну и пишите,— возмутилась Марфуша.— Только ужин себе сами готовить будете. А я гулять пошла. Ручка и бумага на столе, картошка в ведре.

И ушла на улицу.

Нагулялась, вернулась назад и квартиру не узнала. Мужички табуретку распилили, себе домов понастроили, в стенах переходы из комнаты в комнату понаделали.

Два мужичка на люстре качаются, трое на коте катаются, несколько в ванной после работы плавают, остальные кто куда разбрелись грибы собирать. Ужин, естественно, не готов.

Увидели мужички Марфушу, сбежались к её ногам.

— Доски принесла?

— Гвозди добыла?

— Всю жизнь без единого гвоздя строим!

— Вам кто разрешил бедлам устраивать?— спрашивает Марфуша.

Мужички видят — хозяйка настроена решительно. Притихли. А один вперёд выступил и говорит:

— Так ведь жить-то нам как-то надо!

— Жить надо,— согласилась Марфуша.— Но разрешения всё по-своему в чужой квартире переделывать спросить не мешает. Вы что, правил приличного поведения не знаете?

— Нет,— переглядываются мужички.— Не знаем! Мы доморощенные.

— Может, вы ещё и читать не умеете?

— Как это?

Нашла Марфуша азбуку, стала учить мужиков читать.

Мужички сообразительными оказались, за полчаса азбуку одолели и за книжку «Правила приличного поведения в городе» взялись. Прочитали и говорят:

— Марфа Петровна, просим прощения, коли что не так сделали! Мы ведь раньше и знать не знали, ведать не ведали, что на свете города есть, а в них по правилам жить нужно. Разрешите нам приготовить ужин с вашей помощью?

— Разрешаю.

И с пятью добровольцами на кухню пошла.

А остальные принялись ходы в стенках заделывать, обрезки собирать, стружку подметать, полы мыть, сапоги да ботинки чистить.

Мама с папой пришли — квартиру не узнали. Всюду блеск, чистота. Доморощенные мужички с Марфушей на диване сидят, фильм про земледелие смотрят.

— Ой!— говорит мама.— Чистота-то какая!

— Так,— говорит папа.— Опять на теневой стороне улицы была?

Тут один из мужичков с дивана слез, к родителям подошёл, колпак снял, поклонился и говорит:

— Просим прощения, уважаемые родители! Надеюсь, вы не станете наказывать свою любимую дочь за то, что она нас вырастила на радость вашему огороду?

— Не станем,— говорит мама.

— Это мы ещё подумаем,— говорит папа.— Тем более что неизвестно, какая радость нас ожидает.

— Мы мастера скоростного земледелия,— поясняет мужичок.— Через десять дней у вас будет сказочный урожай. Только выделите нам в своём огороде маленький кусочек земли для жизни.

— Выделим,— говорит мама.

— Там видно будет,— говорит папа.

На следующий день отвёз папа доморощенных мужичков в деревню. Дедушка на них посмотрел, подивился, затылок почесал, в бороду хмыкнул и рукой махнул:

— Пущай живут. Непаханая земля в конце огорода — их.

Недели не прошло, как поднялась в дальнем углу огорода, за зарослями крапивы, многоэтажная изба с баней. А ещё через три дня в теплицах наросли огурцы и помидоры невиданной величины.

Все соседи к дедушке ходили на урожай удивляться. Половина деревни через него заказала Марфуше семена мужичков купить.

Но Марфуша сколько потом по теневой стороне улицы ни ходила, а ту старушку так и не встретила. Видно, не местная, в гости к кому приезжала.

Самая любимая

Как-то раз купила Марфуша на рынке Золотую Рыбку. Вернулась домой, выпустила её в аквариум, стоит, любуется. Папа подошёл.

— А интересно,—говорит,—три желания она может исполнить?

Тут у него мобильный телефон сработал, и он сразу по делам заторопился, даже Марфушу не приласкал.

— Ты можешь исполнить три моих желания?— спрашивает Марфуша Рыбку.

А та к поверхности воды подплыла, голову высунула и отвечает:

— Загадывай.

— Сделай так, чтобы меня все любили!

— Исполнено,—сказала Золотая Рыбка и ушла под воду.

И сразу в комнату через открытую балконную дверь голуби, воробьи, вороны слетаться стали. Вокруг Марфуши кружат, кричат, ей на плечи садятся. Кот Бусый проснулся, Марфушу в ногу бодать принялся, на руки просится, шагу ступить не даёт. А тут звонок в дверь.

Марфуша от голубей отмахивается, кота ногой отпихивает. Кое-как до двери добралась. Открыла её, а за порогом человек с рюкзаком. В руках россыпь горного хрусталя держит.

— Это тебе, Марфуша, от альпинистов в знак нашей любви,—говорит.—Можно, мы твоим именем горную вершину назовём?

— Ну, назовите.

А за альпинистом директор хладокомбината с двумя вёдрами сливочного мороженого стоит, дядя Вова с огромной щукой в руках с ноги на ногу переминается, управляющий игрушечной фабрикой с ящиком новых игрушек. И ещё люди со свёртками и баулами подходят. Через два часа от подарков квартира ломиться стала. Пришлось на дверь табличку повесить:

«*Приём подарков временно прекращён!*»

Повздыхала очередь, пороптала немного и разошлась.

Выгнала Марфуша из квартиры птиц, закрыла в ванной кота, наелась мороженого, наигралась игрушками, пошла гулять.

Но только вместо гуляния одно мучение получилось.

Прохожие на неё влюблённые взгляды бросают, кланяются, счастья желают, богатства и выйти замуж за саудовского шейха. С балконов ей цветы бросают. Учительница русского языка Ольга Васильевна догнала и просит:

— Марфуша, радость моя, можно я тебе пятёрку с двумя плюсами за год поставлю?

А хотела только четвёрку с минусом.

— Можно,—отвечает Марфуша.—Не возражаю.

Рядом машина остановилась, мэр города вылез.

— Марфуша, любовь наша. Разреши вручить тебе эту награду?

И медаль ей на платье вешает: «*Любимая девочка города*».

За машиной вертолёт приземлился. Из вертолёта спикер Государственной Думы вылез:

— Марфушенька, счастье наше! Не откажись открыть заседание Государственной Думы!

Делать нечего, пришлось в вертолёт лезть.

Депутаты Марфушу аплодисментами встретили.

— Слава Марфуше!—кричат.—Да здравствует всеми любимая девочка Марфуша! Ура-а-а!..

И понесли на руках к трибуне. А там уже табурет перед микрофоном приготовлен. Забралась Марфуша на табурет, микрофон поправила и говорит:

— Дорогие взрослые! Нам, детям, всегда не хватает вашей любви. Гладьте нас, пожалуйста, чаще по головкам, хвалите больше! И ещё. Пожалуйста, любите друг друга! Спасибо! У меня всё.

Депутаты тут же приняли закон «*О всеобщей любви*», который обязывал всех граждан страны любить Марфушу.

У Марфуши от такого понимания её слов голова кругом пошла. Дёрнула она спикера за пиджак и говорит:

— Дяденька спикер, что-то мне домой захотелось.

Спикер тут же распорядился доставить Марфушу назад к дому. Но вертолёт только за два квартала от Марфушиного дома смог приземлиться. Ближе все улицы людьми заполнены, яблоку негде упасть. Все Марфушу хотят видеть, все хотят её по голове погладить, все хотят её приласкать и вкусненьким угостить. Всюду лозунги, транспаранты:

«*Мир! Май! Марфуша!*»

«*Марфуша—наше счастье!!*»

«*Марфуша, мы тебя любим!!!*»

И много ещё чего.

Протиснулась Марфуша сквозь толпу, добралась до квартиры. Открыла дверь, перевела дух, подошла к Золотой Рыбке и просит:

— Золотая Рыбка, сделай так, чтобы всё стало по-прежнему.

— Сделать-то сделаю,—отвечает ей Золотая Рыбка.—Только скажи мне, что тебе не понравилось?

Посмотрела Марфуша на птиц за окном и говорит:

— Не хочу, чтобы меня одну все любили. Пусть все всех полюбят!

— Задала ты мне задачку,—растерянно произнесла Золотая Рыбка и ушла под воду.

И отлетели от окна птицы, разошлись внизу люди, радио перестало транслировать гимн «Я люблю тебя, Марфуша!», а из ванной послышались крики кота.

Освободила Марфуша кота, взяла его на руки.

— Прости меня, неразумную, Бусый!..

А кот соскучился по Марфушиной ласке, носом ей в шею ткнулся, лапами обнял и говорит:

— Мур-р-р… мур-р-р…

Ая эН

Как один мальчик придумывал

Плохой козлиный хозяин

Таня, Саня, Ваня и Маня ходили в зоологический кружок. Однажды преподаватель кружка посоветовал ребятам завести себе какое-нибудь домашнее животное, чтобы научиться за ним ухаживать. Таня решила выращивать собачку Пачку, Саня — кошку Тошку, Маня — мушку Пушку. А Ваня остановил свой выбор на козе Соплюшке. И хотя её так странно звали, коза эта была самая что ни на есть настоящая, честное слово!

Таня кормила свою собачку конфетками и косточками, Саня делился с кошкой едой с собственной тарелки, Маня предлагала мушке всё подряд, потому что неизвестно, чем эти мушки питаются. А противный Ваня морил свою козу голодом и вообще не обращал на неё никакого внимания.

Танина собачка жила в красивой маленькой коробочке на батарейках, Санина кошка — в ящике с игрушками, Манина мушка — в шкатулке с украшениями. А несчастной Ваниной козе приходилось жить в тесноте и обиде.

Через месяц Танина собачка Пачка весила уже целых двадцать семь килограммов (просто отлично для обыкновенного тамагочи). Санина кошка Тошка осталась такой же ослепительно белой (совершенно замечательно для мягкой игрушки, с которой целыми днями играют). Манина мушка Пушка заблестела всеми цветами радуги (ничего удивительного для брошки, которую периодически покрывают маминым лаком для ногтей). А про Ванину козу Соплюшку и сказать-то мы точно ничего не можем. Вроде бы она за этот месяц и выросла, вроде бы и цвет у неё нисколько не изменился, вроде бы и блестела она немного — мы сами однажды видели. И кто её знает вообще, как ей, бедолаге, жилось, когда её Ваня ни разу не взвешивал, ни разу не выгуливал, ни разу никому не показывал… Да что там говорить, он её и из носа-то ни разу не доставал!

Вот какой плохой хозяин был этот Ваня.

Как один мальчик придумывал

Один мальчик думал-думал и придумал речку. На берегу речки росло дерево. Речка была мокрая, а дерево зелёное. Совсем оно было зелёное. На дереве висело яблоко, в речке жила рыбка, а около дерева в воздушном пространстве болталась птичка. Вдруг из яблока начал вылезать нагловатый червяк.

— Эй! Ты чего?! Ты откуда?! Это нечестно! Я так не придумывал! — запротестовал мальчик.

— Ну и зря, — хмыкнул червяк, надкусывая яблоко, — без нас из всей твоей придумки ничегошеньки не получится.

— Всё равно поползи отсюда! — закричал мальчик.

И он зачеркнул и стёр всех червяков, какие только околачивались поблизости.

Через некоторое время с дерева упало яблоко. Потом и листья вниз посыпались.

— Эй! Вы чего?! Вы отчего сыпетесь?! Это нечестно! Я так не придумывал! — закричал мальчик.

Птичка стала собираться в дорогу.

— Эй! Ты чего?! Ты куда?! Это нечестно! Я так не придумывал! — возмутился мальчик.

Рыбка тоже вильнула хвостиком.

— Эй! И ты тоже?! Да вы что?! Я же хотел как лучше! — и мальчик расплакался.

Потом он огляделся. Текла речка. На берегу речки росло дерево. Речка была мокрая, а дерево сухое. Совсем оно было сухое. Ни одного листика на нём не было. В речке не было рыбки, у речки не было птички. Мальчик подумал-подумал и придумал червяка.

Я бы очень хотела, чтобы эта история хорошо окончилась. Но я не знаю, чем она окончилась и окончилась ли вообще.

Сказка про ноги

У одного мальчика по имени Васенька было две ноги. Одна хорошая, а левая так себе. Не то чтобы она была хромая или кривая — просто характер у неё был дурной. Если этому мальчику с утра приходилось вставать не с той ноги — всё, кранты, ему на весь день было обеспечено отвратное настроение. Но даже если он вставал с той ноги, с которой нужно, очень часто ему всё равно приходилось делать не то, что надо, а то, что его левая нога захочет.

Один раз Васенька тихо-мирно сочинял контрольную по математике, а его левая нога в это время долбала стул, на котором сидел отличник Вовочка и тоже писал сочинение. Вовочка спокойно закончил работу, потом схватил стул и со всей дури долбанул им куда попало. Попало по ноге. Но не по той ноге, которая… а совсем по другой. Нога, по которой попало, сломалась и попала в больницу вместе со своей хозяйкой, которую, кстати, звали Леночка.

Вовочка и Васенька долго потом ходили в больницу проведывать частично поломанную Леночку, а по дороге домой играли в футбол, причём Васечкина левая нога, как всегда, особенно выпендривалась. А совсем потом Леночке пришлось стать принцессой и выйти замуж за одного из мальчиков, потому что в любой сказке дело должно закончиться свадьбой, а нам уже пора закругляться. До свидания!

«Не верьте, юноши, не ста́реет она!»

Парадоксы и перипетии литературной борьбы[1]

Короткая реплика Ульяна Лазаревской в прошлом номере «ДиН» («Тайны острова Лапута») вызвала бурную реакцию в блогосфере. Кое-кто увидел в ироническом замечании нашего автора и постоянной читательницы «руку „Москвы“» и даже призвал всех думающих инако к организованному отпору; другие обнаружили в её скромном тексте признаки доноса и склонность к «совку»; третьи усомнились в её начитанности и общей компетентности. Тем временем в редакцию «ДиН» полетели письма — и оказалось, что даже те, что не имеют прямого отношения к вышеупомянутому тексту, явственно с ним перекликаются. Всё это говорит о том, уважаемые читатели, что литературная борьба как общественное явление не только не канула в Лету, а набирает обороты. Более того, она заметно освобождается от таких внелитературных факторов, как делёж дач, квартир и премий. И, видимо, уже никто, к литературе тем или иным образом причастный, не может остаться в стороне. Поэтому мы берём на себя риск представить на наших страницах самые яркие моменты разгоревшегося спора об «эстетическом отношении искусства к действительности».

Кто вспомнит о читателе?

Обращаюсь к автору статьи «Потребности и способности» («День и ночь» № 1, 2011) Павлу Кулешову. В своей статье Вы затронули понятие «русская поэзия». Заявили, что «внесёте ясность». Но, помоему, ещё больше добавили темноты. Это видно из того, как неправильно сформулирована сама тема: этническая принадлежность поэтов.

Позвольте Вам заметить, что никого из серьёзных авторов и читателей этническая принадлежность поэта, как и Вас, никогда не волновала! Главное, чтобы поэт был понятен тебе, «свой по духу». Поясню на собственном примере: во время службы в армии в далёкое советское время я женился на девушке-еврейке. Она работала сотрудницей в газете. Очень любила стихи Пастернака, Слуцкого, Бродского. Я же (по рождению наполовину украинец, наполовину русский) любил Сергея Есенина и Тараса Шевченко.

Почему для меня «своими» были поэты-славяне, а для супруги поэты-евреи? По этническому признаку, что ли? Совсем нет! Мы жили в советское время. Никто из нас даже не задумывался над этими вопросами. Дело в другом. Общеизвестно, что каждая нация по-своему смотрит на мир. Этот взгляд достаётся нам с генной памятью и затем безошибочно выбирает из всех жизненных явлений то, что ему нужно, — по психическому складу, наклонностям, представлениям, которые от матери-отца как будто уже готовыми вошли в наше сознание. Супруга наслаждалась Пастернаком и Бродским, потому что они наиболее полно выражали её представление о красоте мира, смысле жизни. Авторы писали по-русски, но мыслили и чувствовали как евреи. С кровью, со всем багажом подсознания сначала поэтам, а затем читательнице-еврейке через стихи передавались все богатства духовной жизни этого древнего великого народа. При этом вся конструкция стиха, его образный строй — это как струны рояля, которые хороший настройщик, поэт, настраивает на камертон определённой души. Для души, склонной к самоанализу, ироничному восприятию мира, — своё звучание струн. Для наивно-романтической и оттого простоватой, склонной к языческим символам и крайностям в вере и любви, — другое звучание струн. Моему душевному «камертону» ближе был Тарас Шевченко. Мой отец-украинец часто читал мне его поэму «Кобзарь». Я детство провёл в Казахстане. Отец нашёл где-то эту книгу на украинском языке, и я «освоил» её. До армии я долго жил с бабушкой по матери — родом из Курска, — и она познакомила меня с творениями Пушкина и Есенина. Я тянулся к ним, я выбрал их из многих авторов и сотен страниц текстов… Я стал много читать и писать о любви к России, о жизненной силе патриотизма, о необходимости развивать лучшие качества славянской души. Так что в семье любили мы разное, но нас объединяло уважение к «разности», своеобразию наших натур.

А потом рухнул Советский Союз, и вскоре выяснилось: в большинстве изданий, в СМИ нет стихов, которые мне близки. Да и тот, кто хотел бы «настроиться на камертон моей души», не сможет этого сделать. Не пускают, не печатают! Тут все кандидаты на руководство литературным процессом повели себя крайне неправильно. Авторы и редакторы демократических изданий почему-то решили, что литературный вкус моей супруги — единственно правильный и единственный возможный в поэзии! Их оппоненты — почвенники, националисты — неоправданно много

1. Письма читателей не редактированы; напоминаем, что мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

стали говорить об этнической принадлежности и реакционном «космополитизме» издателей. В ответ их противники-демократы по-страусиному «спрятали тему в песок». Этнической проблемы нет, главное—писать талантливо! А что талантливо—будут определять редакторы «Огонька» и «Знамени», «Невы» и «Ариона»! Но при этом обнаружилось: талантливо только то, что в духе Бродского или Мандельштама, или вообще—то, что без идеалов, «без тормозов», но в духе индивидуализма и самолюбования сильной личности,—«порно с чёртом вперемешку»! Обладатели сми организовали безжалостную травлю «русофилов», а те, в свою очередь, тоже ударились во все тяжкие. И все забыли о нас, читателях, даже в одной семье—в силу национальных особенностей—мыслящих по-разному, но далёких от националистических крайностей. А ведь таких очень много. Думаю, большинство!

Говоря, что русская поэзия—явление, скорее, культурное, нежели национальное, автор статьи Павел Кулешов словно бы забывает об этой важнейшей проблеме. А она никуда не делась. Она углубляется, зреет и пухнет, превращаясь в хроническую и опасную.

В разделе своей статьи с подзаголовком «Мнения и вкусы» Павел Кулешов говорит о чём угодно, только не о национальной составляющей художественного вкуса. Как будто её нет. А есть только небывалый рост изданий «для моей жены» и почти полное отсутствие таковых «для меня».

Когда ведущая передачи нтв «Школа злословия» Татьяна Толстая с иронично-злым лицом спрашивает очередного гостя: «А вы в какой системе координат?»—гость, как правило, успокаивает её в том духе, что он любит демократию, Бродского и Мандельштама.

После армии я расстался со своей армейской супругой. Через несколько лет я снова женился на замечательной девушке-еврейке, которая тоже любит Пастернака и Бродского. Когда мы учились в университете, она принесла мне стихи этих поэтов, переписанные в общую тетрадь. «Самые любимые»,—пояснила она. Я тоже полюбил эти стихи, переписал самые близкие мне стихи Пастернака в свой дневник, хотя в целом остался верен своим «славянофильским» вкусам. Мы прожили без малого сорок лет, но теперь (по определению Татьяны Толстой) мы с женой—«в разных системах координат». Жить и любить друг друга это обстоятельство нам не мешает, а вот навязывание такого разделения российскому обществу не только мешает, но, по моему мнению, губит, разлагает его!

В этом же номере «ДиН» в диалоге Ю. Беликова и Н. Воронова приводятся слова нашего великого Виктора Астафьева, который сказал, что «за счёт России и русского народа делаются тяжелейшие вещи» (стр. 119). Точно так же за счёт полного унижения литературных пристрастий таких читателей, как я, создаётся нынешняя литература как «культурное» явление!

Валерий Скрипко, июль 2011, Минусинск

Тайны острова Лапута

Формализм—порочен, утверждаю я. И готова усилить ноту: нет в искусстве ничего более порочного, нежели формализм. Всякое выпячивание формы, «выжимание» смысла из пустоты посредством педалирования формы есть разложение искусства, гниль, смерть, пагуба. Даже самые рьяные реформаторы стиха опытом жизни возвращались к классически ясной структуре текста. А если не возвращались, то… плохи становились их дела. Примеров—тьмы и тьмы. И не буду я тыкать пальцем в самые близкие по времени и самые узнаваемые… Ибо в неразрывном единстве содержания и формы «рулит» (как любит изъясняться нынешний постпубертат) именно и всегда Содержание (да! с большой буквы!). Кажется, аксиома. Ан—нет.

Вот молодой критик Борис Кутенков, настойчиво продвигаемый почему-то многоуважаемым «ДиНом», из номера в номера обливает презрением «почвенников» и «традиционалистов»… Финальная фраза его последней статьи обличает в авторе… дикаря-фанатика? несчастное дитя цивилизации, перепичканное нитратами? Вдумайтесь только: «Литературный мир строится по литературным законам, и попытки выстроить его по каким-то другим законам—патриотизма, православия—заранее обречены». Видимо, «литературный мир» Кутенкова, вроде свифтовского острова Лапута, нечувствительно витает над землёй, вдыхая и выдыхая исключительно Бродского и Поплавского… И можно ли упрекать такого «небожителя» в том, что ему неведомо, как, например, кладётся изба? но вот уличить другого художника в «развесистой клюкве» молодой «лапутянин» готов в любую минуту. Это вперёд, это да!

«Наша стихотворная гармония / Улеглась венцами общежития»,— пишет Владимир Подлузский.

«Какое общежитие имеется в виду, и как можно „улечься венцами“»?—недоумевает Кутенков. Так и хочется посоветовать молодому критику поучаствовать в строительстве русской пятистенки, чтоб он своими глазами узрел, что такое венцы и как они ложатся.

Впрочем, патриотизм, православие и прочая ерунда, с точки зрения эстета Кутенкова,—не предмет поэзии. Этими глупостями занимаются только провинциалы. Ну что с них взять?! Слава Богу, есть у нас Кутенков, без него мы никогда бы не узнали, что в бедствиях нашей литературы всему виной—провинциализм, традиция и смысл как таковой (смысл подобные нашему «лапутянину» деятели ещё—с презрением!—именуют «пафос»). Видимо, этому и научили юношу в Литературном институте (замечу—имени Алексея Масимыча Горького!!!), где он только что с отличием защитил выпускную работу.

Честно говоря, очень хочется осведомиться у главного редактора журнала «День и ночь» госпожи Саввиных, чем обусловлено пристрастие «ДиН» к «лапутянским» опусам? Это что—конъюнктура у вас теперь такая? Ай-яй-яй… а мы-то думали!

Ульяна Лазаревская, июнь 2011, Красноярск

Ответ Академии Прожектёров

Уважаемая Ульяна!

Во-первых, хочу сказать, что Вы не только неправильно поняли смысл моего обзора, направленного против ортодоксальной политики журналов «Москва» и «Наш современник», но и совершаете типичнейшую и, на мой взгляд, непростительную для критика ошибку — прямое соотнесение поэзии и действительности. Из Ваших слов совершенно неясно, каким образом факт того, знает ли автор, как кладётся изба, влияет на качество текста. Между тем для критика первостепенно именно последнее. А стремление к копиизму искусства и действительности (которое неприемлемо — возьмите учебник философии и прочтите высказывания философов на эту тему, начиная с теории аристотелевского мимесиса) отдаёт не только консервативным мышлением, но и пережитками соцреализма. Ну, после Ваших тезисов только и остаётся отправить одну половину поэтов на стройку, другую — на картошку: пусть, мол, познают трудовой быт, только после этого за перо берутся. Только изменится ли после этого уровень письма, или бездарность так и останется бездарностью, а талант — талантом?

Второе. Вычленяя из стихотворного текста голый логический смысл, Вы невольно расписываетесь в узости кругозора — отрицая тем целый пласт поэзии, от обэриутов до представителей уральской поэтической школы (тоже, кстати, иногда печатающихся в «Дне и ночи») и просто герметичных поэтов. В стихотворении главное — звучание, особая напевная интонация, а не голый логический смысл, это скажет вам любой профессиональный стиховед. Кстати, когда речь идёт о смысле поэтическом, нужно быть очень осторожным: какой смысл мы имеем в виду? Поэтический создаётся наложением и даже противостоянием двух звучаний — естественно-речевого и стихового (т. е. от природы противостоит банализированной, профанированной речи, апологетом которой, как я понял из отзыва, Вы являетесь и примером которой являются лексически неуклюжие, но защищаемые Вами строки В. Подлузского). Об узости взглядов свидетельствует и то, что для Вас неприемлемы такие значительные авторы, как Бродский и Поплавский (тут остаётся только развести руками и предположить, что это происходит в силу их «непонятности». Ну что тут можно сказать — и этот взгляд не нов, и мои заверения, что настоящая поэзия требует усилий для своего понимания, вряд ли будут Вами восприняты). За разъяснениями же отличий смысла логического и смысла поэтического отсылаю к критическим и литературоведческим трудам — в частности, к статье Елены Невзглядовой «Уменье чувствовать и мыслить нараспев» (журнал «Арион» № 2, 2009).

Кстати, зря Вы приписываете мне (причём дважды) точку зрения, которую я не разделяю. «В бедствиях нашей литературы всему виной — провинциализм, традиция и смысл как таковой». Ну, про «бедствия» литературы мы речь вести не будем — слишком громко сказано; отмечу только, что одним из недостатков современных литераторов является излишний консерватизм и непонимание особой специфики как поэзии, так и искусства в целом. Про смысл я уже всё сказал, о провинциализме тоже рассуждал достаточно подробно. Грубейшая ошибка, что Вы отождествляете понятия «традиции» и «смысла». Традиция же — понятие растяжимое, и под ней не стоит понимать только официозное советское наследие, где во главу угла ставился логический смысл как таковой — зачастую в целях продвижения явных государственных идеологем. Но любая традиция имеет смысл лишь в своём обновлении и соотнесении с существующим контекстом. А предметом поэзии может быть всё, что угодно, — вопрос лишь в том, какое художественное обличье этот предмет обретает. Кстати, вот, например, Ольга Седакова, Светлана Кекова и Олеся Николаева — вполне религиозные поэтессы, и православными их назвать не будет ошибкой, однако их творчество вызывает у меня неизменное уважение (именно в силу художественных достоинств их текстов). В конце концов, есть целое направление русской духовной поэзии — против которого я не возражаю, но к которому тонны псевдоправославной графомании, пропагандируемой в т. ч. журналом «Москва», отношения не имеют. Огульно обвинять критика в том, что он отрицает что-либо, на основании неприятия им конкретных текстов — неверно: разговор должен быть конкретен и предметен. Поэтому в дальнейшем призываю к более обоснованной полемике. Шире нужно смотреть, Ульяна, шире! С пожеланиями не уподобляться Академии Прожектёров.

Борис Кутенков, июль 2011, Москва

«Фальшивят и в ноту не попадают...»

Нынешние новоиспечённые авторы литобзоров напоминают мне мои детские годы. Тогда в любой мальчишечьей компании был свой рассказчик просмотренных советских фильмов. Фильмы в наш леспромхоз (где я родился и рос) привозили каждую неделю. Собирались мы гурьбой где-нибудь на крыше сарая или на лесной поляне и, раскрыв рты, слушали киношные истории, нами по какой-то причине не увиденные...

Авторитет этого рассказчика был непререкаем: во-первых, он посмотрел фильм, во-вторых, умел неплохо рассказать об увиденном.

А навеяли мне эти воспоминания случайно прочитанные в нескольких номерах журнала «День и ночь» за этот год литобзоры юного литинститутца «на выданье» Б. Кутенкова. И, «обходя окрестности Онежского озера», — я офонарел! Автор нагл, безапелляционен, да ещё уж как-то зловредно не по-русски нагл и безапелляционен. Что ни слово, то какой-нибудь плеоназм (нет на него адмирала Шишкова!), «выдающий», говоря по-кутенковски, «стилистическую и интонационную несостоятельность за органичную связь с традицией».

Ну, такова у нас молодёжь, и литературная — в том числе. Дитяти своего либерального времени. А Б. Кутенков — лишь бледная тень нашего леспромхозовского рассказчика-обозревателя, хотя

пишет много и почти обо всех толстых журналах России…

Как известно, литературная критика зависит от политики гораздо больше, чем сама литература,—а посему и недолговечна, как бабочка-однодневка. Поэтому и спрос читательский с неё строг. А литература может быть и золушкой, и дурнушкой. Если не попытаться разглядеть в ней принцессу!

Допустим, вот как наш неутомимый критик пишет о рассказе Айрапетяна «Обстоятельства»: «Рассказ Айрапетяна «Обстоятельства», близкий по эстетике к Владимиру Сорокину, через сортирный юмор—сценка в клозете—раскрывает вечную для русской литературы проблему маленького человека…»

По-моему, Европа и США давно и успешно при помощи клозета раскрывают мировые проблемы не только своих народов.

А то вдруг задумается критик «о гендерных воззрениях Льва Толстого», или «где преобладают в основном верлибры, пронизанные генетическим ощущением рода».

Ещё пример его изъяснений: «…стихи рассчитаны на погружение в определённую атмосферу, более важную, чем формально-логическая выстроенность: трудноуловимый поток звуко-ассоциативных связей ведёт через кочки и зияния смысла».

Чёрт копыта и рога обломает, не к ночи будет сказано.

А вот ещё блок: «…стихи, не выходящие за грань сатиры, социального фельетона или зарисовки: ирония сочетается в них с «возвышенными порывами». Несмотря на лёгкость восприятия, не оставляет ощущение несовершенства стихов—и оно касается не столько технической стороны, сколько жанровой разбросанности, неопределённости. Так, в подборке можно найти и нечто наподобие социальных зарисовок из уличной жизни, и «альбомное» стихотворение памяти Есенина, и воззвание к Всевышнему, которое в сочетании с иронией, присущей стилю автора, выглядит наряду с пафосом несколько эмоционально наигранным».

Бери этот блок-матрицу и приставляй его хоть к теперешнему Емелину, хоть к былому Саше Чёрному—всем подходит.

А следующий абзац уже не лезет ни в какие ворота:

«Провокативно название работы Юрия Барабаша «„Своего языка не знает…“, или Почему Гоголь писал по-русски?». Исследование магии творчества украинского классика в этнолингвистическом аспекте, с учётом ментально-языкового ракурса и сложных процессов русско-украинского культурного и литературного диалога».

Не от предчувствия ли грядущих борзых критиков перевернулся в гробу Николай Васильевич? Вот так у нашего юного «обзирателя» великий русский писатель стал украинским классиком, а Александр Сергеевич Пушкин в дальнейшем легко может превратиться в «негра преклонных годов» с всемирной отзывчивостью… Да уже и превращался.

Цитирую далее:

«Проза в этом номере «Невы» отличается тягостным урбанистически-депрессивным тоном». И чуть пониже: «15-летняя Нюша, забеременевшая в результате изнасилования немецкими солдатами».

И вот эта, скажем словами продвинутого выпускника Литинститута, «дневниковость повествования, рождающая сопричастность читательскому восприятию,—практически без описания психологических переживаний—помогает создать ощущения присутствия здесь и сейчас, присовокупить к сюжетной ткани собственные ностальгические эмоции», мне порядком надоела.

Не знаю, читал ли Кутенков статьи критика Александра Николаевича Макарова, который открыл читателям много великих имён, в том числе—Виктора Астафьева, стоявшего у истоков создания журнала «День и ночь». А может, наш пострел даже не слышал про такого критика, ежели пробежался походя и по «Нашему современнику», и по «Москве», менторски повякал с уровня моськи на двух грозно идущих по русской земле гигантов? Они, конечно, не приметят критика-моську, но простой неискушённый читатель может сказать: «Ай, моська! знать, она сильна, что лает на слона».

Хорошо сказала о самом крупном журнале России «Наш современник» прекрасная поэтесса из Кирова Светлана Сырнева:

«Журнал, невзирая ни на что, остаётся именно журналом писателей, едва ли не последним оплотом многотысячной армии работников русской словесности. Реальное число его читателей значительно больше числа подписчиков, потому что каждую книжку журнала передают из рук в руки. Для многих писателей, живущих в глубинке, «НС»—единственная ниточка, связывающая их с литературным процессом.

Сегодня, когда от многих периодических изданий неизменным осталось только название, «Наш современник» хранит свой подлинный бренд, традиции, заложенные предшественниками».

А Кутенков озаглавил главку: «„Наш современник“: спасение в землянке от конца света». А «Москвой» он недоволен потому, что журнал делает упор на патриотизм и православие. А что, прикажете делать упор на «переживания» гомиков, набившихся, как пауки, в журнал «Воздух»?

Я бы предложил «ДиНу» подискутировать на темы православия и русской традиции. Традиция—как рай с узкими вратами! Здесь рамки ограничены, точно у русской иконы, но если ты постиг рублёвскую «Троицу», то за твою судьбу можно не волноваться. Ты органически станешь частью своей страны и своего народа! Может, эти грядущие дискуссии помогут нашим неоперённым, только что вылупившим из яйца Литинститута критикам-цыплятам. Может, они станут мудрей и глубже, будут видеть литературные процессы не только в толстых журналах, но и в скрытых глубинах самой русской жизни. И тогда из кутят вырастут литературные волкодавы!

А завершить эту заметку я хотел бы старым анекдотом.

Встречаются два еврея:

— Слушал я «Битлз» — не понравилось. Картавят, фальшивят, в ноту не попадают. Что в них людям нравится?
— А где ты их слышал?
— Да мне Мойша напел.

Так и Кутенков напел читателю «ДиН» о литпроцессе, как Мойша своему другу «Битлз»… А как всё обстоит в нашем цехе на самом деле — мы так и не узнали.

Игорь Тюленев, поэт, июль 2011, Пермь

Литературный процесс и пустота

Ах, кто только не сетовал, что новое поколение не читает. Особенно современную литературу. Как же так? Были самой читающей страной — и вдруг скатились до Пелевина и Донцовой. «Читатель пошёл не тот!» — утверждают писатели. «Писатель измельчал», — парируют читатели.

Ясное дело, виноваты и те, и другие.

Вот и Борис Кутенков в № 2 журнала «День и ночь» за 2011 год вздыхает о том же самом, только не собственными словами, а со ссылкой на Дмитрия Дзюмина: «…русская литература сегодня функционирует в таком странном режиме, когда литераторы варятся в собственном соку, поэты старшего поколения не посещают вечера молодых поэтов, молодые поэты читают только друг друга, старшие не знают младших и т. д. Утрачена групповая идентичность (писатели больше не объединяются в литературные группы из эстетических соображений), утрачен, в конце концов, несчастный литературоцентризм, о котором уже и говорить стыдно, поскольку сказано очень много. Утрачена (и это самая большая утрата) связь писателя с массовой читательской аудиторией, поэтому откуда большинству петербуржцев узнать, например, о молодой петербургской поэзии? Они (петербуржцы) не ходят на литературные тусовки, предназначенные для литераторов. Современная русская литература закрыта для обычных (непосвящённых) граждан. Ситуация усугубляется ещё и тем, что литераторы сами стремятся возводить дополнительные стены, отгораживаясь как от читателя, так и друг от друга».

Конечно, меня неприятно удивило, насколько легко цитируемый (Дмитрий Дзюмин) и цитирующий (Борис Кутенков) путают понятия «русская литература» и «петербургская литература». Не на одном Петербурге клином свет сошёлся. Есть в России и другие города. Впрочем, Бориса Кутенкова можно простить, он человек молодой и на такие мелочи пока ещё, видимо, внимания не обращает.

Главное, меня порадовала постановка проблемы. Ну, думаю, сейчас автор нам всё и объяснит или, по крайней мере, гипотезу выдвинет, как же возникла эта самая «закрытость», куда подевалась «групповая идентичность» и почему все сварились в собственном соку.

Ничего подобного. Никаких объяснений, никаких рассуждений или гипотез. Цитату привёл длинную-предлинную, а проанализировать не удосужился. Вообще такой «приём» оказался для Кутенкова типичным: на протяжении всей своей неприлично долгой статьи он занимается бессистемным перечислением имён и публикаций, развешиванием ярлыков и всевозможными декларациями. Упакованное под общий заголовок, это всё называется обзором поэзии и критики в литературных журналах.

Например, отзываясь о статье Бориса Лукина, Кутенков зачем-то ставит ему в вину «деревенизмы и просторечья». Сам Кутенков, напротив, переполняет свою речь неологизмами, псевдонаучными терминами и иноязычными заимствованиями: «репрезентативность», «инвективы», «симулятивность» и др. Ну хорошо, допустим, «деревенизмы и просторечья» смотрятся нелепо в литературном тексте. Пусть автор обоснует свою точку зрения, если считает себя вправе поучать коллег. Кутенков этого не делает, а сразу начинает критиковать содержание статьи Лукина. И снова отделывается декларациями — одним махом объявляет статью банальной на том основании, что Лукин говорит о проблемах, которые всем хорошо известны. В частности, Лукин поднимает проблему блата в литературной среде и проблему монополизации литературных изданий группой отдельных лиц.

Позвольте, но если проблема до сих пор не решена, значит, она по-прежнему актуальна. Да, к сожалению, Лукин не предлагает никаких решений. Но ведь и у Кутенкова их нет! Однако решение ему и не нужно, его волнует оригинальность. Вот если бы Лукин обвинил в разложении литературной среды инопланетян или иностранную разведку — претензии сразу бы отпали.

Точно так же Кутенков негодует на то, что Лукин в своей статье «пренебрежительно высказывается о Борисе Рыжем» и «ставит через запятую таких разных поэтов, как Кибиров, Гандлевский и Ватутина». Где же опровержение? Где подробные разъяснения о величии Рыжего и перечень отличий Кибирова, Гандлевского и Ватутиной? Ничего.

Вообще, складывается впечатление, что автор обзора совершенно не уважает своего читателя или просто незнаком с нормами публицистической этики. Читатель не обязан понимать автора с полуслова, так же как не обязан он и соглашаться с автором безо всяких на то оснований. Не является ли такое пренебрежение к читателю одним из признаков той самой «замкнутости» литературных деятелей?

Но дело, на мой взгляд, не только в этом. Конечно, хорошо было бы, если бы автор обзора не занимался бессмысленным перечислением названий материалов и имён поэтов и развешиванием ярлыков, а сконцентрировался на работе одного критика или одного поэта, подробно и глубоко проанализировал бы её, выделил какую-то тенденцию, объяснил бы читателям свою точку зрения (поскольку правда ведь любопытно узнать, что он думает).

Предлагаю вернуться к вышеприведённой мысли Дмитрия Дзюмина, с которой выражает согласие и Борис Кутенков, — собственно, единственной серьёзной мысли во всей длинной-предлинной статье. Дзюмину (Кутенкову) кажется, что проблема

нынешнего литературного сообщества заключается в том, что «писатели больше не объединяются в литературные группы из эстетических соображений». Но давайте-ка разберёмся, «а был ли мальчик». Когда это в прежние времена писатели, особенно в России, объединялись из эстетических соображений?

Вспомним золотой век русской литературы. Центрами объединения писателей были крупные литературные журналы. Журналы эти отличались отнюдь не «эстетическими», а политическими убеждениями. Были журналы консервативные и либеральные, были ультра-консервативные и умеренно либеральные и т. д. Конечно, в каком-то роде идеологическая ориентация сказывалась на особенностях стиля того или иного автора, но это уже во вторую или третью очередь. На первом месте, конечно, была борьба идей, концепций и убеждений, которая действительно разделяла и объединяла писателей сильнее, чем членство в любом из нынешних кружков и союзов.

Возьмём революционную эпоху и прочитаем манифест Пролеткульта или ЛЕФа — так они больше похожи на программы политических партий, чем на трактаты по эстетике. Конечно, были внешне аполитичные символисты и ОБЭРИУ, так ведь они были насквозь религиозны, зачитывались Блаватской и Штайнером, толковали Библию, изобретали «Новую церковь». Кстати, те же символисты таки не удержались и опять же разделились по вопросу о Революции. Блок Революцию принял, за что был облит презрением бывших соратников по перу. Мережковский эмигрировал, а позже публично поддерживал гитлеровскую агрессию против СССР. И примеры можно множить бесконечно.

А Кутенков пытается рассказать нам старую сказочку про «чистое искусство». Так послушал бы того же Алексея Цветкова, о котором в обзоре отзывается достаточно уважительно.

Художественная самореализация всегда совершается вопреки существующему «статус-кво» за счёт нарушения не только эстетических, но и политических норм (они ведь тайно увязаны), хотя и с парадоксальным учётом этих самых норм. Это очень давно началось. Можно даже сказать, «всегда было». Нужно ли напоминать радикальную политическую ангажированность йенских романтиков, «придумавшего модерн» социалиста Уильяма Морриса, итальянских футуристов, европейских экспрессионистов и сюрреалистов, «Баухауса», немецкой «новой вещественности», красный партбилет в кармане Магритта, «Ноябрьскую группу» и антидизайнеров-анархистов из групп «Архиграм» и «Архизум». Это не курьёз, а неизбежность. Нарочитый политический «экстремизм» авангардистов не есть досадное недоразумение или просто следствие «мятущейся души».

«Нейтральность» — это всегда лукавое название лояльности.

Да, собственно, ещё сто лет назад о том же писал в своих искусствоведческих работах Троцкий: «Чем беднее эпоха и её художники нравственным содержанием, тем судорожнее художество цепляется за мнимую независимость формы».

Но вернёмся к Кутенкову. Собственно, никаких основ для объединения и преодоления замкнутости он не предлагает, в его статье вообще нет ничего положительного. Если он кого и хвалит, то именно за отсутствие тех или иных недостатков. Так, он по-отечески одобряет критика Абдуллаева за «отсутствие идеологической ангажированности», то бишь за отсутствие внятно выраженных убеждений. Да уж, в наличии убеждений Кутенкова точно обвинить нелегко. Если автор вдруг попытается выразить какую-то идею, то это, по терминологии Кутенкова, говорит об «идеологической ангажированности», а уж если автор эту идею ещё и защищает, то это уже «банальность» и «дидактика».

Бесспорно, можно понять раздражение Бориса Кутенкова по поводу того, что журнал «Москва» «отличается ортодоксальностью и делает упор на патриотизм и православие». Тем более что и патриотизм наш, и православие отдают казённым бюрократизмом. Но что же взамен этой, безусловно спорной, установки предлагает Кутенков? Как всегда, пустоту. Отсутствие как высшее достоинство.

Таков мой ответ на поставленный автором вопрос. Связь писателя с массовой читательской аудиторией утрачена именно благодаря «пресловутому литературоцентризму». Замкнувшись исключительно на узколитературных проблемах, боясь высунуть нос из собственных запятых, писатель становится чужд любому обществу, кроме собственного, начинает вариться в своём соку. Объединение авторов и формирование широкого круга читателей происходит только благодаря идейным установкам, которые надо сначала выработать, а потом иметь смелость в них признаться.

Впрочем, не знаю, хватит ли у Кутенкова и подобных ему смелости чётко и внятно озвучить свои человеческие и эстетические принципы. Ясное дело, на пустоту ярлычок не повесишь.

Дмитрий Косяков, июль 2011, Красноярск

Итак, друзья, полемика открыта! Ждём ваших откликов.

стр. 108 **Астраханцев Александр Иванович**
Красноярск, 1938 г. р.

Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт имени Горького. Автор семи книг прозы. Публиковался в различных журналах и сборниках. Член Союза российских писателей. Председатель Правления Красноярского регионального отделения Литературного фонда РФ. Зам. главного редактора журнала «День и ночь».

стр. 159 **Беликов Юрий Александрович**
Пермь, 1958 г. р.

Родился в Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. В 1980-м окончил филологический факультет Пермского госуниверситета. Автор трёх поэтических книг — «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!» и «Не такой». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (Всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат Международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и Всероссийской литературной премии имени Павла Бажова (2008) за свод избранных стихотворений «Не такой» (московское издательство «Вест-Консалтинг»). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность», где учредил и вёл две рубрики — «Письма государственного человека» и «Русская провинция». Основатель трёх поэтических групп — «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х) и «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (Майами, США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина»), «Иерусалимский журнал» (Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антология русского лиризма. XX век». Награждён Орденом Велимира «Крест поэта». В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр. 218 **Белозёров (Бондаренко) Андрей**
Абакан, 1975 г. р.

Родился в Абакане. Публиковался в журналах «Абакан литературный» (Абакан), «Тверской Бульвар, 25» (Москва), «День и ночь» (Красноярск), «Урал» (Екатеринбург), «Флорида» (Майами, США), «Бельские просторы» (Уфа), в сборниках «Новые писатели» (фонд СЭИП, Москва), «Первовестник» (фонд Астафьева, Красноярск), в Интернете. Участвовал в 6-м и 7-м Форумах молодых писателей России. Является одним из редакторов интернет-журнала «Точка зрения». Вошёл в шорт-лист премии В. Астафьева (2008), лонг-лист премии Казакова (2009).

стр. 159 **Бородин Леонид Иванович**
Москва, 1938 г. р.

Родился в Иркутске. В 1956 году был исключён из ВЛКСМ и Иркутского университета за участие в неофициальной студенческой студии «Свободное слово». В 1962 году ему удалось экстерном получить высшее образование; затем был директором средней школы в Ленинградской области. В 1965 году вступил во Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа (ВСХСОН), программа которого, по словам самого Бородина, заключалась в трёх основных лозунгах: христианизация политики, христианизация экономики и христианизация культуры. После разгрома этой организации был осуждён и находился в заключении с 1967 по 1973 годы. В заключении начал писать стихи, после освобождения обратился к прозе. Его тексты через самиздат попадали на Запад и печатались в журнале «Грани». Сотрудничал с самиздатским журналом «Вече», после прекращения его выхода издавал национально-православный журнал «Московский сборник». В апреле 1975 года, после конфискации третьего выпуска, «Московский сборник» прекратил своё существование. 13 мая 1982 года за публикации на Западе и в самиздате был повторно арестован и приговорён к 10 годам заключения и 5 годам ссылки. Был освобождён в 1987 году. В 1992–2008 годах — главный редактор литературно-публицистического журнала «Москва», с сентября 2008-го — его генеральный директор. Лауреат премии А. Солженицына и Большой литературной премии России.

стр. 157 **Бруштейн Ян**
Иваново, 1947 г. р.

Родился в Ленинграде. Стихи печатались в журналах «Юность», «Знамя», «Волга», «Дети Ра», «Зинзивер», «Сибирские огни», в еженедельнике «Обзор» издательства «Континент» (США), в сборниках и альманахах. Маленькие рассказы вышли в журналах «Зинзивер» и «Футурум АРТ». В конце

2006 года выпустил книгу-альбом компьютерной арт-графики и стихов «Карта туманных мест». В марте 2009 года в Москве вышла книга стихов «Красные деревья», ровно через два года — книга новых стихов «Планета Снегирь» в поэтической серии «Библиотека журнала „Дети Ра“» и, почти одновременно, книга избранных стихов «Тоскана на Нерли» (издательство «Летний сад»). Член лито «ПИИТЕР». Член Союза писателей XXI века.

стр. 33 **Вишнякова Галина Гавриловна**
Астана

Родилась в посёлке имени Микояна Джетысайского района Южно-Казахстанской области. В 1980 году окончила филологический факультет Казахского государственного университета им. Кирова. Работала в сфере молодёжной политики, в Детском фонде Казахстана, в Министерстве информации и общественного согласия РК, Министерстве образования и науки РК. В настоящее время трудится в АО «РД „КазМунайГаз“». Автор книги «Есть тайна у меня…». Стихи и рассказы Г. Вишняковой регулярно публикуются в журнале «Нива» с 2000 года.

стр. 206 **Герман Игорь Викторович**
Минусинск, 1964 г. р.

Выпускник Кемеровского государственного института культуры. С 1985 года работает актёром в театрах Красноярского края. С 1996 года — в Минусинске. Публикации в журналах «Истоки», «День и ночь», в коллективных сборниках.

стр. 203 **Главацкий Сергей**
Одесса, 1983 г. р.

Поэт, драматург, музыкант. Председатель Южнорусского Союза писателей (Одесская областная организация Конгресса литераторов Украины, Одесская областная организация Межрегионального союза писателей Украины), член правления Конгресса литераторов Украины. С 2002 года — главный редактор литературного проекта «Авророполис» (www.avroropolis.od.ua). Составитель Одесской антологии поэзии «Кайнозойские Сумерки» (2008). Организатор Международного поэтического фестиваля «Межгород — 2009» в Одессе. Лауреат Всеукраинской литературной премии имени М. Матусовского (2008). Произведения публиковались в антологии «Украина. Русская поэзия. XX век» (2008, Киев), альманахах «Меценат и Мир. Одесские страницы» (Москва), «Дерибасовская — Ришельевская» (Одесса), «ОМК» (Одесса), «Ковчег» (Житомир), «Свой вариант» (Луганск), «Провинция» (Запорожье), журналах «Российский колокол» (Москва), «Ренессанс» (Киев), газетах «Отражение» (Донецк), «Литературная газета» (Москва), «Литература и жизнь» (Киев), в интернет-журналах «Пролог», «Новая литература», «Точка зрения» и др. В 2006 году вышла книга стихотворений «Неоновые Пожары», а в 2008-м свет увидела книга драматургии «Апокалипсис Улыбки Джоконды», написанная в соавторстве с Евгенией Краснояровой.

стр. 212 **Гончарова Тамара Михайловна**
Красноярск

Родилась в Иркутской области. Работала библиотекарем. Первые опубликованные произведения — стихи в коллективном сборнике «Я пишу стихи» (Москва, 2001). Печаталась в альманахах «Московский Парнас», «Новый Енисейский литератор», коллективных сборниках, журналах «Берегиня» и «День и ночь».

стр. 89 **Гуляева Ольга**
Красноярск

Финалист Красноярского регионального конкурса «Король поэтов». Автор книги стихов «Бабья песня». Публикуется в Интернете — на порталах «Стихи.ру» и «Проза.ру».

стр. 26 **Гундарев Владимир Романович**
Астана, 1944 г. р.

Родился в селе Большеречье Кыштовского района Новосибирской области Российской Федерации. С 1961 года живёт в Казахстане. Работал в Целинограде на радио, 20 лет был литературным консультантом Целиноградского межобластного отделения Союза писателей Казахстана. С ноября 1990 года — главный редактор основанного им и издающегося в новой столице Казахстана — Астане — республиканского литературно-художественного и общественного журнала «Нива». Член Союза журналистов СССР (1963), член Союза писателей СССР (1978), член-корреспондент Российской академии поэзии (2006). Литературным творчеством занимается с 1959 года. Поэт, прозаик, публицист, переводчик. Автор около тридцати поэтических и художественно-документальных книг. Публиковался во многих журналах России, Казахстана и коллективных сборниках.

стр. 169 **Данилкин Владимир**
Калуга, 1986 г. р.

Учился на историческом факультете Калужского педагогического университета. Стихи публиковались в электронных журналах «Пролог» и «Новая реальность».

стр. 155 **Ерёмин Николай Николаевич**
Красноярск, 1943 г. р.

Окончил медицинский институт, работал врачом-психиатром. Заочно окончил Литературный институт имени Горького. С 1981 года — член Союза писателей. Автор более сорока стихотворных сборников, нескольких книг прозы. Лауреат премии «Хинган».

стр. 50 **Есин Сергей Николаевич**
Москва, 1935 г. р.

Заочно окончил филологический факультет МГУ (1960). Работал библиотекарем, фотографом, журналистом, лесником, артистом, главным редактором журнала «Кругозор». Первая крупная

публикация — повесть «Живём только два раза» (1969), напечатанная под псевдонимом «С. Зинин» в журнале «Волга». Член СП СССР с 1979 года. В 1981 году окончил заочно Академию общественных наук при ЦК КПСС и в том же году уволился с должности главного редактора литературных вещаний Всесоюзного радио, чтобы полностью посвятить себя литературному труду. С 1987-го — преподаватель, в 1992–2006 годах — ректор Литературного института. Член правления (с 1994-го), секретарь (с 1999-го) Союза писателей России. Вице-президент Академии российской словесности. Заслуженный деятель искусств РФ. Почётный работник высшего образования РФ. Лауреат Международной премии М. А. Шолохова в области литературы и искусства.

стр. 28 **Иослович Илья Вениаминович**
Хайфа, 1937 г. р.

Родился в Москве. Окончил мехмат МГУ в 1960 году по специальности «механика». Работал в различных НИИ. В 1957–1958 годах участвовал в литобъединении МГУ на Ленинских горах (Д. Сухарев, Н. Горбаневская, Ю. Манин, О. Дмитриев, В. Костров, Ю. Чаповский, Б. Пуцыло, М. Гусев; руководитель — Н. Старшинов). Публикации — с 1958 года. Стихи были включены в машинописный журнал «Синтаксис» № 4 (1960), который не вышел из-за ареста составителя А. Гинзбурга. В 1991 году переехал в Израиль. Профессор технического университета.

стр. 220 **Корамыслов Александр Анатольевич**
Воткинск, 1969 г. р.

Литератор, журналист. Публикации в газетах и журналах «Гуманитарный фонд», «Русский курьер», «НГ-Ex libris», «Культура» (Москва), «Арион», «Воздух», «Дети Ра», «Соло», «Футурум АРТ», «Мир музея» (Москва), «Урал» (Екатеринбург), «День и ночь» (Красноярск), «Крещатик» (Германия), альманахах «Дирижабль» (Нижний Новгород), «Молодой Гений» (Костомукша), «Перелом ангела», «Тритон», «Солнце без объяснений» (Москва), «Черновик» (Нью-Джерси) и т. д., а также в Интернете. Сотрудник Музея истории и культуры г. Воткинска с 2000 года, администратор его официального сайта (с 2005-го по май 2009 года). Член Союза литераторов Удмуртии с 2001 года. Победитель и призёр различных литературных интернет-конкурсов. Член жюри литературного конкурса «Музыка Чайковского в слове» в рамках Международного фестиваля детского творчества «Чайковский сегодня» (Ижевск — Воткинск, 2006). Член жюри Всероссийского фестиваля новой поэзии «Камский анлим» (Пермь, 2009). Номинатор на литературные премии «ЛитератуРРентген» (Екатеринбург, 2008, 2009), «Премия П» (Кыштым, 2009). Региональный представитель в Удмуртии литературного интернет-журнала «Новая реальность».

стр. 201 **Коровин Андрей Юрьевич**
Москва, 1971 г. р.

Поэт, критик, литературный деятель. Окончил Тульский филиал Юридического института МВД РФ, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького (семинар поэзии Ю. П. Кузнецова). Как поэт печатается с 1989 года. Стихи публиковались в антологиях «Прекрасны вы, брега Тавриды (Крым в русской поэзии)», «Лёд и пламень. Антология современной русской прозы и поэзии», «Русская поэзия. XXI век», журналах и альманахах «Арион», «Аркуш», «Волга», «Дети Ра», «Дружба народов», «Журнал ПОэтов», «Интерпоэзия», «Кольцо „А“», «Крещатик», «Литературная учёба», «Новый Берег», «Новая Юность», «Сетевая поэзия», «Сибирские огни», «Симферополь», «Современная поэзия», «Стых», «Футурум АРТ», а также в «Литературной газете» и других изданиях. Организатор Международного литературного Волошинского конкурса и Международного литературного фестиваля им. М. А. Волошина (Коктебель). Координатор Международной литературной Волошинской премии. Куратор литературного салона «Булгаковский Дом» (Москва). Куратор ряда литературных проектов: «Критический минимум» (совместно с Е. Пахомовой) и других. Ответственный секретарь журнала «Современная поэзия», редактор поэтической серии журнала (совместно с А. Новиковым). Заместитель главного редактора журнала «Дети Ра». Соавтор (совместно с А. Новиковым) идеи создания портала «Литафиша.ру», главный редактор портала. Участник Международного попечительского совета заповедника «Киммерия М. А. Волошина». Член Союза журналистов России. Заместитель председателя комиссии по работе с молодыми писателями Союза российских писателей. Участник поэтического объединения ДООС (Добровольное Общество Охраны Стрекоз), основанного К. Кедровым (с 2008). Первый секретарь Союза писателей XXI века.

стр. 240 **Косяков Дмитрий Николаевич**
Красноярск, 1983 г. р.

Выпускник филологического факультета КГУ, «Школы культурной журналистики» Фонда Михаила Прохорова, арт-критик и искусствовед, журналист, поэт-мелодекламатор, основатель дайв-театра, автор и ведущий дискуссионных клубов, преподаватель, сценарист кино и театра.

стр. 170 **Крюкова Елена Николаевна**
Нижний Новгород, 1956 г. р.

Русский поэт, прозаик, искусствовед. Член Союза писателей России с 1991 года. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт имени А. М. Горького (семинар А. Жигулина, поэзия). Публикуется в толстых литературно-художественных журналах России («Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Нева», «День и ночь», «Сибирские огни», «Юность», «Волга» и др.). Финалист премий «Ясная Поляна» (2004, роман «Юродивая») и «Карамзинский крест» (2009, роман «Тень стрелы»). Роман «Изгнание из Рая» — лонг-лист премии «Национальный бестселлер» (2003). Лонг-листер премии «Русский Букер» (2010, роман

«Серафим»). Лауреат премии им. М.И. Цветаевой (2010, книга стихов «Зимний собор»). Лонг-листер премии им. И. А Бунина (2010, «Зимний собор»). Лауреат премии «Согласование культур» (2009, Германия, номинация «поэзия»). Финалист Волошинских конкурсов в номинации «проза» (2009—рассказ «Яства детства», 2010—рассказ «Краденая помада»). Арт-критик, куратор и автор ряда художественных проектов в России и за рубежом (вместе с художником Владимиром Фуфачевым): «Священный бык» (Музей современного русского искусства, Нью-Йорк, 1998–1999); «Небесная колесница» (Марсель, 2004); «Архетип» (Нижний Новгород—Москва, 2006); «Символы Земли» (Кассель, Германия, 2006–2007); «Анестезия» (Нижний Новгород, 2007); «Долина царей» (Москва, 2008) и др. Директор Культурного фонда «Fermata» (США, с 2008).

стр. 24
Кузьмичёва-Дробышевская Ольга Владимировна
Набережные Челны, 1964 г. р.

Родилась в Волжском Волгоградской области. Выпускница училища искусств (по классу виолончели) и педагогического института. С 2000 года сотрудничает с Татарстанским отделением Союза российских писателей как редактор, журналист и организатор литературно-музыкальных встреч. Автор двух поэтических книг, двух песенных альбомов и художественно-документальной книги. Лауреат республиканского литературного конкурса. Член Союза российских писателей.

стр. 80
Кузнечихин Сергей Данилович
Красноярск, 1946 г. р.

Родился в пос. Космынино Костромской области, в семье служащего. Окончил Калининский политехнический институт (1969). Работал инженером в Свирске Иркутской области и в Красноярске, а затем—сторожем (с 1989). Печатается как поэт с 1977 года. Автор книг стихов «Жёсткий вагон», «Соседи», «С точностью до шага», «Поиски брода», «Неприкаянность» и др. Выпустил книги прозы «Аварийная ситуация. Повести и рассказы». «Омулёвая бочка» и др. Многочисленные публикации в журналах, альманахах, антологиях России, ближнего и дальнего зарубежья. Член СП СССР (1991). Награждён медалью «За трудовое отличие» (1981). Зам. главного редактора журнала «День и ночь». Член Международного Союза писателей XXI века.

стр. 225
Кутенков Борис Олегович
Москва, 1989 г. р.

Поэт, литературный критик. Выпускник Литературного института им. А.М. Горького. Автор стихотворного сборника «Пазлы расстояний». Публикации в «Литературной газете», газетах «Литературная Россия», «НГ-Ex libris», журналах «Дети Ра», «День и ночь», «Урал», «Наш современник», «Литературная учёба», «Юность», «Студенческий меридиан» и др. Лауреат и призёр нескольких литературных конкурсов.

стр. 3
Любицкий Владимир Николаевич
Москва, 1940 г. р.

Поэт, прозаик, публицист. Окончил МГУ. Работал в районных и областных газетах, в «Правде» и «Комсомольской правде», гл. редактором журнала «Иллюстрированная Россия» (1993). Печатается как прозаик и публицист в журналах «День и ночь», «Наш современник». Член Союза журналистов РФ.

стр. 224
Минин Евгений Аронович
Иерусалим, 1949 г. р.

Окончил Витебский станкоинструментальный техникум. Служил в войсках ПВО. После службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт и четыре курса Витебского педагогического института. Работал мастером, начальником цеха на Витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах, а также вошли в альманахи и журналы «Знамя», «Дети Ра», «Иерусалимский журнал», «Семья и школа», «Зарубежные записки», «Слово/Word», «День и ночь», «Дон», «День поэзии—2009», «Кольцо „А“», «Побережье», «Галилея», «Литературная учёба», «Литературный Иерусалим», «Флорида», «22», «Литературная газета»—издаваемые в США, России, Израиле и Европе. Ведущий пародийных рубрик в журналах «Литературная учёба» (Россия) и «Флорида» (США), а также в газетах «Литературная Россия», «Литературная газета» (Россия) и «Секрет» (Израиль). Издатель альманаха «Иерусалимские голоса», приложений к альманахам «Литературный Иерусалим», издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для шести музыкальных альбомов, выпущенных российскими студиями грамзаписи. Председатель Иерусалимского отделения СП Израиля, член Союзов писателей Израиля и Москвы, директор Международного Союза литераторов и журналистов (APIA) по Израилю, литературный представитель за рубежом газеты «Информпространство» (Москва). Лауреат Третьего поэтического фестиваля памяти Поэта (Израиль), лауреат премии «Поэт года» (2007) Международного Союза литераторов и журналистов (APIA). Член судейского корпуса Международной литературной премии «Серебряный стрелец» (2008, 2009, 2010).

стр. 205
Пылькин Александр
Санкт-Петербург, 1975 г. р.

Родился в Лебедяни Липецкой области, жил в Рязани. Окончил РМУ им. Пироговых по специальности «классическая гитара» (класс В. А. Кузнецова), философский факультет СПбГУ и аспирантуру этого факультета, защитил диссертацию по теме «Социальная экология смысла» (н. р. А. К. Секацкий). Пишет стихи и философские эссе. Стихи публиковались в журналах «Арион», «Devotion», «Помоечка», «Подвиг Дантеса». Автор семи книг стихов. Шорт-лист премии «Антибукер» за книгу «Стихотворения Александра Пылькина» (2000).

Живёт в Санкт-Петербурге, преподаёт философию в Политехническом университете.

стр. 7 **Ряннель Тойво Васильевич**
Хельсинки, 1921 г. р.

Народный художник России, академик Петровской академии наук и искусств. Член Союза российских писателей, старейший член Объединения русскоязычных литераторов Финляндии, отметивший в этом году свой 90-летний юбилей. Автор стихотворных сборников «Капля в море», «Сверкнула пламенем жар-птица», «Рождение Енисея», «Тропа через век». В разные годы издавались его прозаические произведения: «Живописец Сибири», «Улуг-Хем. Енисей. Ионесси», «Мой чёрный ангел», «Незваный гость». Печатался в журналах «Енисей», «Сибирские огни», «Вокруг света», «Москва», «День и ночь». В настоящее время живёт в Финляндии.

стр. 164 **Слюсарева Наталия Сидоровна**
Москва, 1947 г. р.

Родилась в Китае. Окончила факультет журналистики МГУ. Работала в редакциях различных журналов. Переводчица с итальянского (устный). При советской власти не публиковалась. Автор трёх изданных книг прозы, а также нескольких неизданных книг прозы и пьес.

стр. 149 **Третьяков Анатолий Иванович**
Красноярск, 1939 г. р.

Родился в Минусинске. Окончил Красноярское речное училище. Служил в армии, работал судовым механиком, помощником машиниста тепловоза, литературным сотрудником в газетах. Учился на сценарном факультете ВГИКа, в Литературном институте им. А. М. Горького. Печатался во многих коллективных сборниках Москвы, Красноярска и других городов России. Автор книг стихов: «Цветы брусники», «Марьины коренья», «Птицы над водой», «День сквозь деревья», «Пора моих дождей», «Ковчег», «Галерея», «По дороге к тебе», «На ладонях моей земли», «Встречные поезда». Автор слов торжественной песни-гимна Красноярска и многих других песен. Лауреат Пушкинской (губернаторской) премии Красноярского края. Член Союза писателей России. Член Правления КРО СП России.

стр. 31 **Ударцев Геннадий Серапионович**
Целиноград, 1938 г. р.

Родился на Алтае. С детства познал нелёгкий труд колхозника, затем выучился на токаря. После службы в рядах Советской Армии на Дальнем Востоке учился в Барнаульском машиностроительном техникуме. С начала шестидесятых годов его трудовая биография связана с журналистикой. Работал на Алтае в ряде районных газет. Через несколько лет Г. Ударцев по приглашению переехал в Целиноград, был литсотрудником газеты «Целинный край», а после её закрытия — заведующим отделом областной газеты «Целиноградская правда», где и трудился до выхода на пенсию по состоянию здоровья. Автор около десятка поэтических книг, множества журнальных публикаций.

стр. 151 **Цыганков Александр Константинович**
Томск, 1959 г. р.

Родился в Комсомольске-на-Амуре. Рос и учился в Кемерово, с 1992 года живёт в Томске. Художник, поэт. Автор книг «Лестница» (1991), «Тростниковая флейта» (1995, 2005), «Ветер над берегом» (2005). Стихи и проза опубликованы в периодических изданиях («Литературный Кузбасс», «Сибирские огни», «Урал», «День и ночь», «Юность», «Литературная газета», «Дети Ра», «Крещатик», «Знамя», «Новый Журнал» и др.), антологиях и сборниках. Лауреат литературной премии им. О. А. Афанасьева (Томск, 2006), премии журнала «Юность» (Москва, 2006).

стр. 221 **Черных Наталия Борисовна**
Москва, 1969 г. р.

Родилась на Южном Урале, училась во Львове (1985–1986). Работала библиотекарем в Литературном институте имени А. М. Горького, техником на киностудии «Союзмультфильм», преподавателем в средней школе № 64 города Электросталь, где вела факультатив по поэзии Серебряного века; переводчиком в издательстве «Терра» («Соглашение кузницы» и «Письмена на ножнах меча» из серии «Копьё дракона»), рецензентом в издательстве «АСТ» и т. д. В 1990 году дебютировала в самиздате сборником стихотворений «Абсолютная жизнь», в 1993 году состоялась первая официальная публикация стихов Черных — в парижской газете «Русская мысль». В середине 1990-х примыкала к Союзу молодых литераторов «Вавилон», публикуясь в одноимённом альманахе, и входила в литературную группу «Междуречье», участвуя в выпускаемых ею сборниках; занималась также бук-артом. В 1996 году в издательстве «АРГО-РИСК» вышла первая книга стихов Черных «Приют», за которой последовал ряд других; сборники стихов Черных иллюстрирует собственными рисунками. В дальнейшем стихи Наталии Черных публиковались также в журналах «Новый мир», «Воздух», «Волга», «©оюз Писателей» и др. Весной 2001 года Наталия Черных стала лауреатом II Свято-Филаретовского конкурса религиозной поэзии (2001). С 1999 года Наталия Черных выступает также как автор статей и эссе о русской классической и современной литературе. Очерки о Гоголе и Пушкине были опубликованы в газете «Первое сентября», эссе о Владиславе Ходасевиче — в альманахе «Окрестности». С 2005 года — куратор интернет-проекта «На Середине Мира», посвящённого современной русской поэзии.

стр. 153 **Чечик Феликс Михайлович**
Израиль, 1961 г. р.

Родился в Пинске. Окончил Литературный институт имени Горького. Стажировался в Институте славистики Кёльнского университета. Автор четырёх поэтических книг и многочисленных журнальных публикаций.

стр. 107 **Шабалин Сергей**
Москва—Нью-Йорк, 1961 г. р.

Родился в Москве. В конце семидесятых эмигрировал вместе с семьёй в США. Окончил нью-йоркский художественный колледж «Center for the Media Arts». По профессии—художник-оформитель. Работал корреспондентом ежедневных газет России и Америки. Автор трёх поэтических сборников. Член Союза писателей Москвы. Стихи публиковались в журналах «Континент», «Новая Юность», «Арион», «Слово/Word», «Время и мы» и др.

стр. 43 **Шакир а-Мил**
Сатпаев (Казахстан), 1956 г. р.

Публицист, прозаик. По профессии—горняк. Уроженец Татарстана. Лауреат литературных конкурсов России, Азербайджана и Казахстана, имеет ряд публикаций в журналах и альманахах современной прозы. Печатается только под псевдонимом Шакир а-Мил.

стр. 13 **Ширко Василий Александрович**
Минск, 1948 г. р.

Учился в Узденской СШ имени Пушкина, на журфаке БГУ. Во время службы в армии работал в военных газетах Москвы. После демобилизации трудился в республиканских газетах и журналах, в литературной редакции Белорусского телевидения, в журнале «Полымя». Автор 25-ти книг прозы, публицистики, сказок. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь, заслуженный журналист, почётный член Союза писателей Беларуси. Ныне—главный редактор журнала «Белая вежа» Союза писателей Беларуси и России.

стр. 9 **Шоно (Хамосов) Виктор Иванович**
Братск, 1960 г. р.

Окончил Братский индустриальный институт. Работал корреспондентом газеты «Колымская правда», литературным сотрудником журнала «Байкал», корреспондентом газеты «Аргументы и факты в Бурятии». Публиковался в республиканских газетах и журналах, в Монголии. Автор путевых заметок о современной Монголии «У озера Цагаан-Нуур», романа «Пепел на ладони».

стр. 90 **Эдельман Галина Самсоновна**
Москва, 1938 г. р.

Родилась в Красноярске. Её отец, Самсон Львович Эдельман,—основатель школы алгебраистов Красноярска, мама, Клавдия Константиновна Михайлова, преподавала математику в школах и педагогическом институте. Сама Галина, математик по образованию, несколько лет преподавала математику в Красноярске. Её сестра Ирина, доктор физ.-мат. наук, и сейчас работает в Красноярском институте физики. Много лет Галина Эдельман интенсивно занималась живописью и графикой, её работы неоднократно выставлялись.

Редакционная подписка

Журнал выходит шесть раз в год. В отдельных случаях возможен выпуск сдвоенных номеров. Полный комплект журнала за 2011 год стоит 1320 рублей. Возможна подписка на отдельные номера. Стоимость одного номера (252 страницы) — 220 рублей. Номера журнала доставляются подписчику по мере выхода в течение срока подписки. Подписка производится по России, странам ближнего и дальнего зарубежья. Издания доставляются по почте.

Чтобы оформить подписку, необходимо заполнить квитанцию и перечислить в любом отделении Сбербанка на территории РФ стоимость заказа на расчётный счёт ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“». Оплату можно произвести наличным расчётом в офисе журнала.

По вопросам приобретения журнала обращайтесь по т. 8 (391) 240 10 65,
e-mail: disksid@mail.ru

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ______________________________

Адрес для доставки: ______________________________

____

Назначение платежа:	Сумма

Кассир

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

______________________ (подпись плательщика) ______________________ (дата платежа)

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ______________________________

Адрес для доставки: ______________________________

____

Назначение платежа:	Сумма

Кассир

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

______________________ (подпись плательщика) ______________________ (дата платежа)

Борис и Глеб | холст, масло | 65×120 | 2003 | Нижний Новгород, частная коллекция

Белый Июс | холст, масло | 90×120 | 2000 | Нижний Новгород, частная коллекция

«Под руками *Владимира Фуфачёва* оживает *мир* Центральной Азии, воплощенный в её многоликом *мифе*. Почему Азия? Разве европейские или африканские мифы менее интересны для художника? Дело не в локализации мифологического героя. Вся загадка Фуфачёва отнюдь не в том, что его Миф сугубо азийский или сугубо сибирский (монгольский, китайский, уйгурский и пр.), не в использовании красот этнографии, не в декоре «местного колорита», хотя всеми этими изобразительными составляющими он владеет виртуозно. Он идёт гораздо дальше, особенно в работах последних лет: если раньше он упивался цветом и яркостью, красочным ветром и ритуальной бешеной пляской первобытного Пространства, которое врывалось на холсты не в академический пейзаж—в огромное поле фантастических авторских видений… то теперь буйство цветовых ударов, наложение колористических плоскостей одна на другую, праздник живописной плоти сменились лаконизмом собственно *символа-знака*, и всё подчинилось одному внутреннему императиву: создать *свой* собственный знак, разработать *свою* «периодическую систему» изобразительных элементов, которая легла бы в основу собственного Космоса Живого».

Елена Крюкова

На страницах номера…

Материалы, посвящённые памяти выдающегося поэта *Вильяма Озолина*,— к 80-летию со дня рождения.

«Мы вернёмся назад!..», стр. 76

Рассказы красноярского поэта и прозаика *Сергея Кузнечихина*. Публикация приурочена к 65-летию писателя.

«Из рассказов Петухова…», стр. 80

Мемуары известной художницы *Галины Эдельман* о послевоенном детстве в Красноярске.

«Среди наших игр одна необычная— стёклышки. Дело в том, что твёрдая, как камень, земля нашего двора там, ближе к помойке и дому специалистов,—настоящая кладовая, сокровищница Аладдина. Она буквально нашпигована осколками битой неизвестно когда посуды, фарфоровой, фаянсовой, разноцветного стекла. Надо внимательно вглядываться и потом выцарапывать драгоценные осколки тонкого фарфора с фрагментами прелестных рисунков, с золотой каёмочкой, пожелтевшего фаянса, прозрачные, голубые, просто белые…»

«Стёклышки», стр. 90

Диалог поэта *Юрия Беликова* и главного редактора литературного журнала «Москва» *Леонида Бородина*.

«Если не придёт дерзкий…», стр. 161

Наталия Слюсарева—с воспоминаниями о драматурге Михаиле Рощине.

«На открытом сердце», стр. 166

Римма Алдонина, *Дина Бурачевская*, *Игорь Лагерев*, *Татьяна Сапрыкина*, *Олег Бундур*, *Сергей Силин*, *Ая эН*.

«В гостях у „Жёлтой гусеницы“», с. 240